Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



8



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 8

ИЗ ЦИКЛА
«ОЧЕРКИ ПЕРЕХОДНОГО ВРЕМЕНИ»

ПОЕЗДКИ К ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

НЕВИДИМКИ

ИЗ ЦИКЛА «МЕЛЬКОМ»

РАССКАЗЫ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Издание осуществляется
под общей редакцией
В. П. ДРУЗИНА

Подготовка текста и примечания
А. В. ЗАПАДОВА

ИЗ ЦИКЛА «ОЧЕРКИ ПЕРЕХОДНОГО ВРЕМЕНИ»

Под общим названием *«Очерки переходного времени»* помещаются в настоящем издании очерки и рассказы, написанные в разное время, с <18>64 года до <18>90 года, но не вошедшие ни в первое, ни во второе, полное, издания вследствие того, что на те же темы были написаны впоследствии очерки и рассказы, имеющие между собою некоторую связь и последовательность. «*Нравы Растеряевой улицы*», «*Разоренье*», без всяких дополнений и разъяснений, весьма достаточно омрачают воспоминания читателей о темных временах русской жизни, и увеличивать этих омрачительных впечатлений количеством жизненных мрачных фактов не было никакой надобности.

Если же эти омрачительные очерки я решился поместить в настоящем издании, то основанием этому была та несомненная особенность русской жизни, вследствие которой «переходное время» стало в последние тридцать лет как бы обычным «образом жизни» русского человека. Ощущалось оно до Севастопольской войны, до освобождения крестьян, до судебной, земской и городской реформ. Ощущалось и во время войны и после войны, во время и после каждой реформы; ощущается и в настоящее время. Вот причина, послужившая основанием собрать те очерки, рассказы и заметки, которые касались неопределенных условий жизни и колебаний мысли русского человека, под влиянием новых течений, постепенно осложнявших русскую жизнь.

I. ОТЦЫ И ДЕТИ

Время до и после Севастопольской войны

1

Иван Матвеевич Руднев, служащий в губернском правлении, был «чиновник» в полном смысле этого слова, то есть был уже титулярный советник, в скором времени ждал пряжку за усердную и беспорочную службу, имел многочисленное семейство, упоминая о котором, он не пропускал случая вставить словцо «обременен!», давая тем знать, что в многочисленности семьи он не виноват и терпит эту беду неизвестно из-за чего. Впрочем, подобные оправдания Рудневу приходилось предъявлять уже тогда, когда обстоятельства скрутили его не на шутку и когда ему пришлось разнообразить жизнь исключительно нюхательным табаком да попойками и слушать ежеминутные упреки жены, постоянно повторявшей ему: «Полно тебе цедить-то! Что это такое? Как ни бьется, — а к вечеру все пьян напьется! . .» Жена смутно предчувствует, что конца этому не будет никогда, потому что никогда не кончится печальное положение ее мужа. Муж ее дошел до этого положения не вдруг, а шаг за шагом: и у него тоже был свой золотой век, который, конечно, не повторится; все изменялось самым постепенным образом. Неизменным оставалось только ежегодное рождение детей, которые в настоящую минуту составляют огромную массу ртов, требующих пищи. Разношерстные эпохи, в которые родились и росли дети, развили их совершенно различным образом и разделили их на детей, росших с *призором*, и на детей, росших *без призору*, причем главную роль играли учителя и воспитатели, под влиянием которых росли дети.

Золотой век выпал на долю первенца сына, Павла. В это время Руднев быстро шел в гору; в каких-нибудь два или три года из оборванного, смирного, но в высочайшей степени прилежного писца он превратился в секретаря; почти с невероятной скоростью явились у него свой домик со службами и с баней, хоть и плохенькая, но своя лошадь и, наконец, дородная жена, которая пришлась как раз по мыслям молодого секретаря: была молчалива с мужем, величая его по имени и отчеству, и в видах хозяйских интересов воевала с кухарками и горничными. Картина семейного счастья была скоро окончательно пополнена рождением сына: стало быть, Руднев обладал полным довольством: свой дом, лошадь, супруга, детки, — все как следует. Павлуша, таким образом, родился при самых счастливых обстоятельствах; это глубоко сознавал его родитель и не сомневался в счастье сына, хотя тот родился и не в сорочке. Толпы баб, нахлынувшие в дом Руднева неизвестно откуда и неизвестно как пронюхав про родины, сумели привести тысячи примеров, по которым родившиеся в сорочках оказались самыми несчастнейшими людьми, негодяями, а, напротив того, родившиеся без сорочек были головы над многими головами. Стало быть, и тут хорошо. Влюбленный отец, задолго еще до рождения сына, дал искреннейший обет не щадить живота своего для того, чтобы сын вышел человеком как следует, то есть мог бы выйти в люди и прославить род свой.

Хлопоты и жертвы по этому поводу начались со дня рождения. Сообразно блестящей будущности сына, Руднев, во-первых, устроил великолепнейшие крестины: купель добыли новую, люлька была сделана на заказ: две в городе только и было таких люльки: у губернатора да у Руднева. Пиршество крестин совершалось шумно и торжественно. Пьянство затеялось невыносимое, так что некоторые из сослуживцев Руднева долго потом вспоминали, как проснулись они после крестин в какой-то чужой бане и проч. и проч. Отец в приливе радости как сумасшедший совался с бутылками, угощая гостей, и в это время выслушивал разные пожелания и советы опытных людей.

— Дай бог растить — себе на утешенье! .. Вырастет — вельможей будет! не забудьте нас тогда! — говорили одни.

— Дитя есть мягкий воск! — вставлял приходский батюшка.

— Ты вот что, Иван Матвеевич, — советовал Рудневу один из сослуживцев, опытный в битвах семейной жизни. — Как ты думаешь детей растить?

— Как-нибудь... Как бог укажет. Выкушайте!..

— Ты постой... я выкушаю... А ты, я тебе откровенно скажу, даже не знаешь, как и пороть ребят... Знаешь ли?..

— Кушайте, Семен Прокофьич! Истинным богом говорю вам — знаю!

— Врешь!.. Ничего ты не знаешь и должен слушать меня!..

Но первенец был так счастлив, что положительно не мог рассчитывать на воспитание такого рода. Отец стыдился мысли учить таким образом будущего замечательного человека и, поддакивая советам товарищей, вовсе не хотел им следовать. Он не хотел дать сыну своему печального детства, потому что уже заранее полагал его вполне счастливым; при этом он не думал о развитии его, ибо никогда не слыхал такого слова, не думал подмечать те или другие его наклонности, потому что никогда бы не подметил их; вместо этого он только твердо верил в счастье сына, не думая о том, как оно случится и чем возьмет при этом его сын. С своей стороны, отец, по понятиям множества таких же отцов, делал все: одни крестины чего стоят! сколько шуму и грому, сколько высыпано денег и проч. и проч. Давши сыну хорошую кормилицу, отец, таким образом, сделал все для детства любимого первенца и — не могу утаить — с приятностью ждал в будущем процентов на затраченный капитал в виде беспредельной преданности и беспредельной сыновней благодарности.

Павлуша был выкормлен и сложен хорошо; все, что ни делалось вокруг него, все, что ни говорилось кругом, он сохранил навсегда в своей памяти. Делалось все для Павлуши, говорилось только о нем и о желании ему всяких благ, — а между тем в настоящую пору, когда он имеет время сознательно припомнить свое пряничное детство, ему видится несчастье, корень всяких бед именно в этой безграничной и крайне беспутной любви, которая окружала его. Хороша награда за родительские ласки! Отец, целые дни занятый на службе, принужден был

ограничивать изъявления своей любви покупкою игрушек; игрушки эти были всегда дорогие и самые лучшие, — лучше их уже не было; но они почему-то скоро бросались Пашей. Какой-нибудь покачивающийся на крутых полозьях конь или изящный домик с окнами и дверями, как у настоящих домов, скоро валялись заброшенными где-нибудь под кроватью и вовсе не занимали Павлушу. Раз только отец купил ему коня, который сам бегал на колесах по комнате, — этот конь был скоро тоже заброшен, но не потому, чтобы не занимал Павлушу, а потому, что весь был разобран, до последней ниточки, и все колесики, составляющие скрытый механизм игрушки, были тщательно пересмотрены. Эту игрушку Паша долго помнил и все просил купить еще такую же; но любящий отец покупал ему другую игрушку, втрое дороже: какой-нибудь раззолоченный кивер или саблю и верил, что он делает для сына втрое больше, нежели тот хочет.

Целые дни, по уходе отца в должность, Павлуша оставался на руках матери, которая тоже каждую минуту готова была положить за него жизнь и, как будто в силу этой безграничной любви, старалась очистить голову сына от всякой работы. При этом она руководствовалась тем же правилом, *как и другие*; у других главным достоинством в детях считалось, — чтобы они не мешали и не шумели; настоящей хозяйке куда как неприятно, если резвый ребяческий смех и говор мешает ей думать над шитьем мужниной манишки или заглушит бой часов в зале; чего доброго, пропустишь, когда пробьет два, время прихода мужа и время обеда. За этим, конечно, следуют неприятности. Мать Павлуши принимала все меры, чтобы сделать из сына тихого ребенка, который бы не нарушал гармонии семейного быта, был вполне прилажен к ровному, тихому житью; в видах достижения своих целей она словно маком опаивала, нагружая его разными наставлениями о кротости и смиренстве. Мать была крайне счастлива, видя, что из Павлуши выходил не сорванец, а «дите», имеющее терпение почти молча высиживать целые дни около матери, смотреть на кухарок, являющихся за приказанием: «класть ли корицы или нет?», слушать, как где-то вдали, в кухне, едва внятно стучат ножами. Такие доблести сына поощрялись лакомствами, развивавшими самые назойливые из всех прихо-

тей, — прихоти приятных, чувственных ощущений, что сделало Павлуше много вреда впоследствии. А в ту пору отец, мать и толпы родни не нарадовались на такое послушное дитя, которое мало-помалу делалось вялее, апатичнее.

Под мертвящим влиянием такого воспитания, — в сознании Павлуши ослаблялись даже такие, хватающие за сердце впечатления, которыми изобиловали последние годы Севастопольской войны, последние годы крепостничества и взяточничества. Такие впечатления Павлуше приходилось испытывать довольно часто, слушая вопли и видя слезы «просителей», и в особенности тогда, когда этих просителей приводила к его отцу некая весьма замечательная женщина, известная под прозвищем «Семениха», всегда приносившая детям Руднева лакомства.

2

«*Семениха*», со всеми ее особенностями, сформировалась из условий всепоглощающего в те времена значения «чиновничества», царившего надо всем городским, сельским и землевладельческим населением России; чиновническое царство, насквозь проевшее кляузой и взяточничеством, допускавшим всякую неправду, и население того города, о котором идет речь, — зародило в неглупой голове вдовы мещанки Гребенкиной весьма практическую и несомненно гуманную мысль — стать посредницей между простым, измученным народом и взяточником-чиновником.

В то время, к которому относится этот рассказ (то есть в <18>55—56 г<оду>), ей было уже лет 40, стало быть, по пословице, бабий век оканчивался, но, несмотря на это, в иную пору мороз мог-таки поживиться на счет ее пухлых щек, всегда подвязанных и поэтому слегка сжатых беленьким платочком. В эту пору она уже давно работала на адвокатском поприще; слава ее росла с годами, и имя Семенихи процветало вместе с усовершенствованием искусства по части знакомства мужичьих кошелей со всеми кошелями всякого размера, вплоть до дырявого кармана в жилете самой мелкой канцелярской сошки. В силу этого процветания год от году больше и больше съезжалось на ее двор деревенских мужиков с просьбами,

так что она должна была отворить наглухо заколоченную половину отцовского дома, а у ворот, в видах барышей от приезжего народа, бойкий мещанин распахнул лавчонку и скоро нашел удобным к дегтю и сену присоединить гербовую бумагу, чернила, перья, сургуч; вместе с этим посреди Семенихина двора воздвигнулся навес, какие бывают на постоялых дворах.

Так как грамоте Семениха училась на медные деньги, а приезжим мужикам нужны были разные прошения, то шлялся к ней для этого дела некто, известный под именем Борисыча. Когда-то он служил в одном из судов, но оттуда выгнан; нищенствуя, он нанимался в разные канцелярии дежурить за других, получал за это четвертак и за такую сумму отдавал себя вполне на общую жертву. Многие шутники из неоперившихся писцов употребляли его на свою потеху, заставляли петь петухом, поили пьяным до исступления, сажали на шкаф, надевали на голову бумажный колпак и зажигали его... А Борисыч и не чувствовал, как у него на средине головы выгорала просторная плешь. Пение петухом обратилось у него впоследствии в привычку, и он с особенною ловкостью и тонкостью мог изобразить разницу в пении аглицкого петуха и курского или орловского. С этою забавою он по праздникам шлялся между чиновниками, старался попадать после обедни, когда обыкновенно везде едят пироги, и получал тут рюмку или две водки. Если ему, наконец, претило пить, он не возвращал рюмку назад, а выливал ее в полштоф, который был повешен у него на пуговице. У Семенихи он обитал в кухне в сборной комнате, где и строчил просьбы, и за двугривенный мог настрочить какую угодно кляузу.

Тут же в кухне прислуживала взятая Семенихой из милости старушка Митревна; ее считали полупомешанной от потери сына, которого «угнали» в солдаты. Она ходила просить за него, но оказалось, что все дела она вела и просьбы подавала швейцару в казенной палате, который изумил ее своим видом и золотой палкой, перебрал с нее множество денег и, наконец, уговорил идти в Питер, откуда ее, конечно, препроводили по этапу, и с тех пор она тронулась в уме.

Борисыч и Митревна были обитатели кухни. Сама Семениха помещалась в чистой комнатке, приветливо смот-

ревшей на улицу чистыми стеклами и чистыми занавесками. Здесь принимала она голов, старост и водила с ними чаи. Такая необычная деятельность Семенихи непременно должна была злить соседей и соседок; злить именно в силу единственного обстоятельства, что «не нашего поля ягода». И поэтому, вместе с вступлением Семенихи на ее служебное поприще, начались против нее всевозможные козни и ухищрения, как бы ей отомстить, ущипнуть при случае. Все это Семениха называла «злыднями», продолжала без внимания оставлять разные слухи о том, будто бы она, Семениха, хлыстовской веры, и делала свои дела.

Дела эти ей удавались, потому что она умела «понадобиться» тому, в ком нуждалась сама. От этого в быту нужного ей чиновничества она была «своя». Дети ее любили и с особенною радостью ждали ее появления, ибо знали, что вместе с ней явится полфунта каких-нибудь сластей: пряников, грецких орехов. Чиновные жены души в ней не чаяли, ибо не было другой такой душевной женщины, как Семениха. Случись заболеть ребенку, они не задумывались посылать за нею, и та мигом распознавала, откуда взялась лихая *болесть*. Для этого она клала в самоварную крышку несколько угольков, посыпала их гвоздикой, становилась около больного, приговаривала и дула на уголья.

— От девичьего глазу...

Не щелкает.

— От мужского...

Тоже.

— От бабьего...

Щелкнуло!..

Корень зла отчасти найден, и стоит только пустить в оборот бабьи умы и соображения, как тотчас отыскивается и сам виновник зла.

Или вдруг нападет на чиновницу этакой необыкновенный стих: захочется ей и платье вытащить на солнце просушить, захочется ей пережечь всех насекомых в своих кроватях, перемыть всех ребят, и стоит только Семенихе снять свою шаль, засучить рукава, как все это закипит и зашумит мигом.

Такими подвигами Семениха умела обставить так свою особу, что впоследствии даже одно появление ее производило самое приятное впечатление.

Заручившись, таким образом, где нужно, Семениха смело принималась за свои ходатайства, но при этом далеко хоронила свою смелость от начальственного взгляда, твердо зная, что повиновение и почтение, кому нужно, — вещи не бесполезные.

Подступает рекрутский набор. Пронесся слух, что кто-то вывел мелом на воротах одного дома стишок: «радуйся, вор, близко набор». Некто насажал на воротах двухтесные гвозди и распустил слух, что это от бескорыстия: мужики все к нему ходят; пускать не приказал, — через забор полезли, так это все от этого. А на двор Семенихи валятся мужичьи дровни: полна народом горница, полна кухня, на полатях, на печи — везде народ. Семениха ласково принимает всех, горюет общим горем и, благословясь, принимается хлопотать по начальству. Собирает она горемычных отцов, надевает свою заячью шубку, и плетутся они ранежнько куда нужно. Семениха идет впереди мужиков коноводом и все размышляет, как бы лучше этому делу пособить? С этой целью она часто оборачивается к мужичкам, останавливает и дает им разные советы:

— Тут скоро, милые мои, — говорит она, — советник живет... У него теперича кучеру приказ, бытто не пущать... Ну, это только для виду... авось неровно кто к *самому* сходит, обжалится, дескать, у советника не пущают, избили... это им лестно... Ну а вы, детушки, сложитесь по семитке, да кучеру ихнему Петру Петровичу и дадим... Авось бог даст!..

Просители вынимают гривны, и шествие продолжается.

У ворот Семениха погремела кольцом, и скоро явился взбешенный кучер и тотчас был усмирен.

В сенях битком набито народу; словно на святой неделе, ждут, скоро ли отворятся двери, только жданье это, без сомненья, не с такими светлыми чувствами. Кучер, пока не звонят у ворот, толкается в сенях. Старички робко пытаются завесть с ним разговор.

— Я чай, жутко по перву-то началу?.. — спрашивает один.

— Нет, наш барин добрый.

— Ну, все, чай... должность большая у него?

— Это точно. С перву началу — точно... бытто оторопь... с непривычки.

— Так-так!

— Бывало, дрожишь... Трясь такой тебя хватает — стрась.

— Так-так!

— Ну, теперь привыкли.

В это время Семениха шепчет своим клиентам:

— Как перед него... сейчас в ноги!..

Семениха первая пробралась в переднюю.

Мужики рухнули на колени.

— Рано, рано, никого нету... Эко грохнулись! — шепчет им Семениха.

— Что там за шум? Затворите дверь!.. — послышался из соседней комнаты советницкий голос.

Скоро, однако, советник вышел в халате, сел на стул и стакан чаю на коленке держит. Семениха первая опускается на колени, подстилая на землю полу своей шубки.

— Федор! Кузьма! — шепчет она мужикам и кланяется советнику в ноги.

— Явите божескую милость!

— Как бог, так и вы!

— Батюшка заступник!.. — шепчут мужики, а советник молча смотрел на них, как должное принимая божеские почести, и прихлебывал с блюдечка чай.

Вслед за Федором и Кузьмою Семениха подводила и других клиентов и с тонкостью излагала, в чем дело, не забывая стоять постоянно на коленях.

За ней вползали новые посетители, вводили «охотников», несколько баб выло и причитало.

И с своими горемычными Семениха мытарилась в эту пору дни и ночи. К ней адресовались «охотники», шли рукобитья; она сама зорким глазом следила, чтобы охотник, взявший последние мужицкие деньжонки, как-нибудь не улизнул. Тут же передавались «квитанции», шли магарычи.

Такая беготня и возня шла вплоть до самого приема, и, очевидно, она была небезвыгодна для Семенихи. Но среди неизбежного горя теплое слово бывает дорого. Благодарность Семенихе иные посылают хоть за то, что, лишившись детей, что́ было неизбежно, они благодаря ей не лишились своих стариковских зубов.

Сидит Семениха у чиновницы Рудневой, и пьют они чай.

— Шла я из рядов, — говорит чиновница, — что народу-то там, около приему-то...

— Ох, не говори! .. — искренно соболезнует Семениха.

— Такое вытье! .. Что ж ты чаю-то?

— Не пьется что-то! ..

Семениха вспомнила, что в форточку от Рудневых слышно, как «около приема» воют бабы, потому что губернское правление было недалеко. Она встала на стул, открыла форточку, и действительно сначала стон чуть-чуть слышался, но ветер дунул в лицо, и ухо ясно различило в принесенном вопле тысячи воющих человеческих существ, словно посаженных в печь огненную.

— Ох, мать! .. Я пойду потолкаюсь! — шепчет Семениха с смертельною болью в сердце.

— Что ж... и Пашу прихвати... Фекла! одень Пашу-то! .. — Пашу ловили где-нибудь в саду с салазками и, отчистив от снегу, вели к приему. На пути попадались рекруты с истощенными, испуганными лицами, к которым так не шли черные наушники и мелкие, плоские фуражки; через улицу переехали мужичьи сани, в которых сидели пьяные мужики, один (охотник) без чувств лежал в санях, а ноги его волочились и подскакивали по снегу.

Семениха вела Пашу через рекрутский двор, запруженный крестьянскими санями, и сажала его на окно, в которое было видно, как в широкую и светлую комнату, наполненную разными господами в мундирах, вводили голых мужиков и ставили под станком. У одного мужика было на груди от загара черное пятно; лицо было бледно, и на глаза свесилась прядь белокурых волос, которых мужик поправлять в эту минуту не думал, потому что дрожал всем телом. Особенно дрожали руки и пальцы, мозолистые и острые колена подгибались. И в это время какой-то человек, приподнявшись на цыпочки, провел между теменем мужика и верхней доской стенки белый лист бумаги, — с такой точностью измерялись мужики, не давшие взятки! И должно быть, эта операция страшно испугала мужика, потому что он почему-то вдруг рухнул на колени.

— Лоб! — прошептала Семениха, объясняя это Павлуше, так как именно это слово, произнесенное комиссией, и рухнуло мужика об землю. [1]

---

[1] «Забрить лоб» значило взять в солдаты.

— Боюсь! — закричал Павлуша и бросился к Семенихе, которая стояла вся в слезах.

Когда произошел «всемирный потоп», о чем будет сказано ниже, и когда вместе со взяточничеством кончилось и заступничество Семенихи, все-таки она не утратила уважения и почтения, и ее, даже и после ее смерти, вспоминая, называли «матушкой».

3

Но и эти потрясающие впечатления изглаживались пустопорожним существованием семьи, и Павлуша даже сам стал привыкать не давать воли своему сердцу. Случалось ли ему в окошко глядеть на улицу, причем его хорошенькая головка приходилась между двух бутылей с наливкою, говоривших о полном довольстве в доме, — его иногда подзадоривало желание покататься на ледянке, но это было невозможно, иначе пришлось бы сделаться мужицким мальчишкой, а Павлуша уже хорошо понимал, что это весьма незавидное положение, старался тушить это желание и, не удовлетворив требованиям искренности, разражался продолжительными капризами. Все поощряло такое замирание молодой жизни. Даже отцов начальник, упоминая о котором Руднев несколько бледнел и произносил слова с каким-то страхом, что, конечно, видел Павлуша и невольно заражался отцовским благоговением, — и этот начальник назвал Павлушу «умное дитя» и хотел поставить его в пример своим «сорванцам» за то именно, что на елке, куда был приглашен Павлуша и его отец, они оба имели столько уважения к старшим, что целый вечер недвижимо проторчали в углу, робко посматривая на гостей и не решаясь завязать с ними разговора. Павлуша с завистью смотрел на генеральских детей, обиравших елку, но таил это в душе и забыл горе совсем, когда его *сам* погладил по головке. Поощрения были и другого рода.

Приходит вечером к отцу гость: сидит в гостиной на диване и курит трубку; Павлуша крадется по стульям, не спуская глаз с гостя, и хватается за ручку отцовского кресла.

— Ваш сынок-то?..

— Мой!..

Он гладит Пашу по голове.

— Буян?

— Нет, благодаря бога, тих... Я им доволен... «Я, говорит, папаша, шуметь не буду... нечто я мальчишка?..»

— Умница!.. право умница! — хвалит гость.

— И целый день его не слыхать...

Отец опять гладит по голове.

Гость слишком умильно и масляно смотрит на Пашу и потом говорит:

— А рисовать любишь?

Паша молчит.

— Ну, скажи же: любишь или нет? — допрашивал отец. — Коли спрашивают, отвечай...

— Люблю...

— И краски есть?

Паша молчит опять.

— Ну, скажи же, будь учтив... Есть у тебя краски? Нету? Ну, так скажи, мол, нету!

— Нету!..

— Ну, вот!.. — одобрительно произносит отец.

— Ну, поди же сюда...

— Поди, — говорит отец, — не бойсь!

Паша подходит. Гость запускает руку, украшенную кольцами, в карман и, погремев в нем деньгами, вынимает золотой.

— На-ка вот.

— Напрасно вы, Иван Федорович, — вяло сопротивляется отец.

— Бери-ка, бери, молодец! У нас с ним свои счеты...

— Право, напрасно!

Паша не знает: брать или не брать?..

— Ну, возьми, — говорит отец. — Когда дают, бери. Сам не напрашивайся, а это ничего...

Паша берет золотой.

— Неси к матери, — говорит отец...

Скоро Паша и золотой производят великий восторг в детской в присутствии матери и множества старух нянек.

— Ах, милое дитя! Вот ангельская душенька! Все его любят, все-то его жалуют, — слышится со всех сторон, и несколько костлявых рук поощрительно ползают по голове Павлуши.

— Будешь слушаться — больше дадут! Только слушайся.

— Я слушаюсь.

— И слушайся! И все будут довольны. Все скажут «умница!».

В таком-то роде шло воспитание со стороны родителей.

Наряду с этим ученьем шло ученье и по книжкам; но все как-то урывками. Голова у Павлуши была свежа, а поэтому в короткое время, начиная с довольно глубокомысленных складов вроде фрю, хрю и пр., он достиг возможности рассказать св<ященную> историю вплоть до столпотворения вавилонского и во всех подробностях излагал, как жена Лота превратилась в соляной столб. Из арифметики знал, что счисление происходит от правой руки к левой, и с прописи выводил *«Мудрость у разумного пред лицом, а глаза глупца ищут ее на конце света»*, или что-то в этом роде. Иногда, среди таких рьяных занятий, учитель Паши, большею частью семинарист, отбывал из города за посещением невесты, по случаю открывшегося дьяконского места, и Паша оставался без учителя, имея счастливую возможность забыть всю недавнюю науку. И действительно, с появлением нового учителя Паше большого труда стоило отыскать линейку, грамматику; чернильница делалась обиталищем мух, а перо гусиное похищала нянька, находя очень удобным обметать им клопов, населявших малейшие трещины в стене около ее логовища. Каждый новый учитель приносил с собою и новые порядки; все, что ни делал его предшественник, все было не так: линейку необходимо было сделать длиннее и толще, учебники должны быть другие. Прежде под именем горизонта было «пространство, на которое спирается свод небес»; новый же учитель говорил, что горизонт есть «как бы пространство, на которое как бы опирается хрустальный свод небес».

Много переменилось учителей у Паши, а толку все не было. Наконец родители порешили все учение сынка начать снова, с самого начала, и притом благословясь; для этой цели решено было подыскать хорошего богослова и отслужить молебен пророку Науму. Но случай такой долго не представлялся. Наконец перед рождеством, когда ходят с разрешительной молитвой, дождались-таки молебна.

После молебна батюшка пожелал с ним сам почитать азбуку, утверждая, что это будет много способствовать к преуспеянию его. Явилась азбука московского издания, где на обертке изображены были какие-то долговязые фигуры, весьма напоминавшие сидельцев в мучных лабазах, только одетых в женские платьица и калоши; по всей вероятности, художник здесь изобразил особенно прилежных детей, ибо все они ходили с книжками, держа их или перед самым лицом, или даже выше головы, — это уж самые прилежные.

Пропустив *азы*, батюшка остановился на прописных буквах и читал их *по-нонешнему*, причем выходило: пе, ре, се. Очевидно, что батюшка плохо знал, как по-нонешнему, да притом его развлекали приготовления к закуске; в соседней комнате раздавался стук тарелок, ножей.

Попросили закусить; за столом пошли разговоры.

— Ох, дети, дети! — говорила задумчиво мать.

— Дитя есть мягкий воск! — присовокуплял батюшка.

В передней, чавкая, закусывал дьячок, помещаясь на оконнике, около батюшкиной палки, шапки с ушами и длинной, как колбаса, муфты.

— Благодаря богу, Олухов купец лошадку прислал, — говорил священник от нечего делать по окончании закуски, — все не так по морозу-то... А то уж очень сиверко!

— С вечера началось, — тоже от нечего делать прибавила мать.

— Да!..

В передней кашлянул дьячок.

— Ну, нам пора!

И священник поднялся с своего места.

Уходя, он снова благословил всех и обещал прислать знакомого учителя, семинариста, утверждая, что человек он тихий и притом богослов не из последних.

4

Богослов явился только великим постом, потому что от рождества до масленицы никто об деле помышлять не мог, точно так же, как не мог опохмелиться. Великим постом как-то так случается, что опохмеляются разом

и сразу принимаются за дело. В один день после обеда по залу у Рудневых кто-то делал довольно медленные, но звучные шаги. Это и был присланный батюшкой богослов.

Ожидая выхода хозяина, он по временам сморкался, причем исходил весьма приятный и гармонический звук, и если случалось ему плюнуть, то выходил в переднюю, выбирал самый темный угол и, харкнув туда, растирал непременно ногою, желая таким образом изгладить самые ничтожные следы своего посещения. Наконец хозяин вышел. Начались переговоры, причем учитель между прочим сообщил, что он кончил курс в первом пятке и особенной похвалы заслужил своим сочинением на какую-то мудреную тему.

— Да, мудрена, — сказал хозяин, когда учитель произнес и саму тему.

Настало небольшое молчание; подвели Павлушу, который застал беседу между отцом и учителем на следующей фразе:

— Вот его... — говорил отец, указывая на Павлушу.

— В какое заведение?.

— Куда же? В гимназию хотелось бы.

— В гимназию? — спросил учитель и, очищая нос платком, смотрел на Павлушу таким взглядом, каким смотрит портной на кусок сукна, соображая: можно ли выкроить из него жилет?

— В гимназию? можно! — заключил он.

— Вы его поэкзаменуйте, — добавил отец.

Учитель запихнул платок в боковой карман, сложил на животе руки, спрятав их в рукава, и произнес:

— Ну, скажите молитву ангелу хранителю.

Павлуша закричал:

— «Ангелу мой святый, покровителю...»

— Не та! — холодно остановил учитель. — Тут есть молитва иная... Мы выучим ее... ну... — Учитель задумался и потом произнес: — Что такое экватор? не знаете ли?

— Круг... — робко отвечал Павлуша.

— А эклиптика?

— Круг...

— Все круги?..

— Круги!..

Учитель ухмыльнулся и произнес снисходительно:

— Ну, это мы еще пройдем.

Во время экзамена отец бегал глазами с Павлуши на учителя и под конец заключил, когда дело шло о кругах:

— Как же это, брат, ты так? все круги... а? Видно, ты плохо учил?.. Уж вы, Петр Иваныч, хорошенько его поучите... Комнату вам дадим особую... Что хотите делайте с ним... Только не бить!

— Будьте покойны-с.

— Пожалуйста!.. Так, стало быть, когда же вы переезжаете?

— Да я и теперь могу остаться...

И учитель остался.

5

С появлением учителя житье пошло несколько разнообразнее. День проходил таким образом: просыпаясь, учитель торопился умыться, одеться и отправлялся кушать чай.

— С добрым утром! — говорил он. — Павел Иваныч, целуйте ручки у папеньки и у маменьки...

Паша почтительно исполнял это, и затем не спеша тянулся утренний разговор.

— Вот, Петр Иваныч, мы с женой все думаем, что бы это значило видеть, например, лошадь во сне? — говорил отец Паши.

— Лошадь-с?

— Да... Мы вот вместе один сон видели...

Учитель откусывает сахар, отряхает кусок в блюдечко, делает несколько глотков и говорит, держа стакан с чаем на колене:

— Да ведь как вам это сказать? Разное имеют значение... Один раз то, другой — другое... Весьма это трудно постигнуть.

— Трудно, — говорит жена. — Иной раз ничего не поймешь... а глядишь, к прибыли отзовется.

— Вот и это! — подтверждает учитель, снова поднося полное блюдечко. — В последнее время снам даже никакой веры давать не стали...

— Поживешь — поверишь, — опять говорит жена.

— Это точно... Как не верить? По снам и живешь... Стало быть, нужны они, когда бог посылает?

— Против бога не возьмешь, — вставляет отец.

— Куда! Куда! — учитель машет рукой, ставит опорожненный стакан на стол и, садясь на прежнее место, говорит: — А что вот лошадь изволили видеть, то это означает ложь.. Облыжно обзовут или что...

— Ну вот, Иван Матвеич, примечай, как кто! — советовала жена.

После чаю начинались обыкновенные скучные будни. Муж уходил в палату, жена хлопотала по хозяйству, а в зале начиналось ученье.

Перед началом урока учитель всегда соблюдал такого рода формальность: Павлушу посылал с книгами и тетрадями в залу, а сам надевал шинель, шапку и калоши, обходил двором на парадный ход и являлся, таким образом, как совершенно чужой человек; делалось это для того, чтобы ученик, видя не просто Петра Иваныча, который спал с ним в одной комнате и про которого ученик не мог иметь особенного загадочного понятия, а чужого человека, чувствовал к нему некоторый страх и, таким образом, был бы особенно покорен во время урока.

Ученье Петр Иваныч начал снова, то есть чуть не с азбуки, и живая голова Павлуши, которая в эти минуты могла бы переварить здоровое развивающее сведение, оставив его в своей памяти навсегда,— принуждена была довольствоваться снова бессмысленными двусложными и многосложными словами, вроде: епархиальный, высокопревосходительство, и хотя и в шутку, а учитель довольно долго добивался, чтобы Павлуша мог выговаривать такое слово: данепреблагорассмотрительствующемуся. Слова эти ломали только язык, но ничего не трогали в голове.

Далее, как на главный предмет, внимание было особенно обращено на закон божий.

После закона с особенною ревностию занимались чистописанием. Учитель целые часы, стоя за стулом Паши, с непритворным страхом следил за пером ученика, боясь, чтобы тот толще не вывел там, где нужно тоньше: «Косей, косей! — замирающим голосом шептал он, — налегайте! налегайте тут, ради самого господа!.. Тоньше,

тоньше!.. Как можно слабее, так, так, так, ссссприр! Что вы сделали? Боже мой! Что это такое?» — и проч. Учитель в этих случаях совершенно уходил всем своим существом в разные почерки, раскепы, очинки, росчерки и проч. и проч. Он замирал над пером Павлуши, словно им совершалась какая-нибудь труднейшая операция, где от малейшей неосторожности могла произойти смерть. Паша, невольно поддаваясь влиянию учителя, сам начинал впиваться в интересы правильности букв и чувствовал великую провинность, где выходила буква брюхатая. Кроме учителя, необходимость чистоты почерка подтверждал и сам отец.

— Как же можно! Письмо — это первое дело, — говорил он... — Вот у нас Щукин... самый заскорузлый писчишко, как поналег на чистописание — сразу в Петербург потребовали! Это, брат, никогда за плечами не виснет.

Нагруженный такими знаниями, Паша к концу урока просто-напросто застывал всем своим существом; поднятые кверху брови, при напряженном внимании над бессмыслицами, делали всю его физиономию совершенно глупою; члены ходили вяло; на губах бродила какая-то короткая, но беспрестанно повторявшаяся неопределенная и почти глупая улыбка. Павлуша начинал оттаивать только тогда, когда снова видел мать, няньку, кошку. По окончании урока учитель снова надевал шинель, опять через двор и задние сени возвращался в свою комнату, раздевался и говорил:

— Ффу! устал... Пашенька! сходите к мамаше, скажите, мол, Петр Иванович очень уставши.

Паша через несколько времени возвращался с рюмкой водки в одной руке, а в другой с тарелкой, на которой лежали куски икры и булки. Петр Иванович пил и, водя рукой по груди и животу, говорил:

— Как чудесно! По всем жилкам прошло! Так и расплылось!

— Петр Иваныч! — говорил Паша, — мамаша зовет вас в чайную, монашенки пришли, чай пьют.

Петр Иванович охотно принимал приглашение, потому что, как и другие, рад был убить не нужное никуда время. А за самоваром оно исчезает куда как скоро: в эту пору как-то особенно клейко бежит разговор, поддерживаемый

рассказами монашенок об их трудном, но и невыразимо радостном житии.

Так тянется время до обеда. К обеду обыкновенно является брат Руднева, Семен, живущий здесь из бедности и поэтому помещающийся в общей с Петром Ивановичем комнате, на длинном устойчивом сундуке. Господин этот, о котором я подробнее скажу несколько ниже, всегда приходил из палаты прежде брата и, таким образом, торопил и хозяйку и кухарок к приготовлению трапезы. После него приходил и сам Руднев.

Раздевшись, он подходит к графину и говорит Петру Ивановичу:

— Нуте-ка, перед обедом...

Учитель пьет.

— Ну, как учились?

— Ничего... прилежно.

— Не ленился Павел?

— Слава богу, не пожалуюсь.

Обед начинается молчаливо. Разговоры слышатся только под конец, при последнем блюде.

После обеда в доме настает спящее царство. Везде раздается носовой свист и храп, только кухарка звонко икает в кухне, прибирая посуду. Паша, закутанный в теплую шубенку, гулял на дворе, и в это время, даже среди детских забав, все-таки вспоминались ему сами собою отвратительные книжки и отвратительное ученье, и он даже сердился на себя за то, что он один только так не любит этих книжек и что их любят все другие. Желая быть как другие, он против воли старался полюбить то, что учил, и поэтому мучился больше, чем следует. Только к чаю возвращался он в комнату, где уже встречал проснувшихся отца, учителя, Семена Матвеича и мать. Учитель сидел на прежнем своем месте, держа стакан на коленях. Семен Матвеич стоял у притолоки, держась рукою за дверь, так как росту он был гигантского. Отец, оставив без внимания любимую чашку с чаем, рассказывал учителю, как он видел во сне покойника шурина.

— Подходит будто ко мне... желтый такой... в руке безмен, и говорит: «Иван! Что же ты, говорит, споруч-

нице обещал отслужить молебен». Тут я и проснулся... Что бы это значило?

— Разное предвещает, — тем же тоном, как и утром, решал учитель, наливая на блюдечко чай.

— Отслужить надо, вот и все! — решает жена.

— Надо! Сам знаю... Что будешь делать? за хлопотами пообещаешься и забудешь.

Слышалось всхлебывание с блюдечек.

— Иной раз бог знает что пригрезится, — говорит чиновница.

— Проснешься и не вспомнишь, — добавляет она после.

За чаем следует долгий и скучный вечер. Паша принужден зубрить уроки, его мать шьет, а отец, если не идет в палату *спустить* две-три срочных бумажонки, то беседует в зале с Петром Иванычем. В беседе с учителем Иван Матвеич вспоминал семинарию, как его секли, как сидели они всем миром в карцерах.

Во время разговоров друзья неоднократно прикладывались к рюмкам и часов в девять ужинали. А потом мирным порядком расходились спать. Дремавший уже Паша слышал, как дядя Семен и учитель, стоя рядом, шептали молитвы.

Затем наступала безмолвная ночь с мириадами зловещих и радостных снов.

Таким образом тянулось Пашино ученье. Учитель все больше и больше осваивался с чужими людьми, и чужие люди, в свою очередь, запанибрата сходились с ним. Петр Иванович существовал в свое удовольствие и, уделяя на уроки все меньше и меньше времени, чаще посылал Пашу доложить, что он уставши, и получал водку. Кроме педагогических занятий, на Петре Ивановиче лежала обязанность по субботам ходить с учеником ко всенощной и в баню, причем Паша замечал, что учитель всякий раз посылал куда-то кучера, ожидая в передбаннике его возвращения, и потом уже влезал на полок. Паша никак не мог понять, что делает Петр Иваныч и зачем всегда ему велит идти вперед. Внимание его всякий раз привлекал запах водки и кусок ветчины, валявшийся на подоконнике, которого он не видал при входе в баню.

Житье учителю было покойное, и поэтому он не спешил подготовкой, стараясь как можно больше времени посадить на усовершенствование в разной предварительной дребедени, почему-то считающейся необходимою. Вследствие такой учительской пытки Павлуша мог бы совсем отупеть, если бы ему не пришлось еще раз отдохнуть от наук и снова забыть их. Этому помог отчасти Семен Матвеич — дядюшка, а отчасти принадлежащий этому дядюшке сюртук. Чтобы рассказать, как это случилось, я должен сказать несколько слов об Семене Матвеиче.

6

В то время, когда еще дядюшка Павлуши находился в утробе матери, простой деревенской дьячихи, вся родня и в особенности знаменитая бабка-голанка утверждали, что надо ждать если не тройней, то двойней по меньшей мере; каково же было общее изумление, когда на свет божий явился будущий Семен Матвеич единственною персоною. Явившись, таким образом, сразу в двойном издании, Сеня быстро начал увеличиваться в силе, но зато, к несчастию, в той же мере был скорбен главою. Впрочем, этого положительно утверждать нельзя, потому что угрюмость, которая составляла отличительную черту Сени, не давала ему большой возможности высказывать свои воззрения. С самого дня рождения он был чем-то обижен; словно во время родов его разбудили на самом интересном месте сна и, таким образом, заставили сразу исподлобья смотреть на все окружающее. Нелюдимость отталкивала от него братьев и родных; все называли его недотыкой и бесцеремонно пускали ему в глаза колкости, то есть попросту лаяли на него, не боясь получить хоть какой-нибудь ответ, кроме самого мертвого молчания, говорившего не о беззащитности, а о том, что его ничем не проймешь. Сене больше всего хотелось спать, и все, что ни делалось с ним, — делалось будто впросонках. Впросонках очутился он в духовном училище; здесь, во время постоянного пребывания в «камчатке», не отличался ничем, кроме способности в одну неделю истребить весь запас лепешек, присланный из деревни на трех братьев и на целую треть. Впросонках чувствовал он, что его

секут; впросонках поднимался он на вопрос учителя, напоминая своим поднятием колеблющуюся гору, врал и городил всякий вздор, который для смеху подсказывали ему соседи; смешил весь класс, оставаясь вполне серьезным, ибо не понимал и не хотел понять и прислушаться, что такое творится кругом. Некоторое пробуждение Сеня почувствовал, когда его выключили из семинарии и когда кто-то почти над самым его ухом произнес: «В солдаты попадешь, Емелюшка-дурачок. Нониче исключенных дьячковских детей-то в милицию велено. Начнут тебя драть не розгами, а прутьями железными»... Дело было действительно похоже на правду, потому что брат Иван, служивший уже, и удачно, тотчас же засадил его в писцы, хоть и сознавал, что он годится только в водовозы. И вот гигант Сеня с силами, годными только свалить соборную колокольню, если бы это потребовалось когда-нибудь, принужден теперь выводить гусиным перышком бог знает что значащие слова и фразы. А кругом на него смотрели какие-то зеленые, испитые рожи и ухмылялись над его войной с таким тщедушным врагом, как перо, которое, словно муха льву, не давало минуты покою и мучило невыносимо. С горя или от истощения сил в бесполезной борьбе Сеня засыпал на бумагах и на чернильницах и не обращал бы попрежнему ни на что внимания, если б его не разбудили здесь окончательно слишком часто повторявшиеся толчки брата и сослуживцев. Он действительно проснулся вполне. Пробуждение Сени было не для того, чтобы успокоиться, а для того, чтобы почти испуганно вытаращить глаза. Пробуждение это скоро доказало ему, что он здесь совсем чужой; что в нем и следа нет того, что называется чиновничеством; это совсем какие-то другие люди, которые не понимают, что такое он, Семен, и Семен не понимает, кто они, про что говорят и что такое сам он же, Семен. Оказывается, что он чиновник. Немного погодя оказывается, что он хуже всех... Не будь брата, его, может быть, давно бы гоняли сквозь строй. И Семен Матвеич оскорблен и унижен. Как спастись? Утопиться — грех, на том свете за язык повесят и будут клещами огненными разжигать, — неудобно. В монахи пойти — все равно в святые не попадешь. Надо, стало быть, чиновником как следует сделаться.. Но это было невыразимо трудно, ибо Семен Матвеич решительно терялся, каким

образом попасть в круг чиновничьих интересов? С какой стороны заходить? Дело в высшей степени темное и непобедимое. Семен Матвеич действительно не победил; но и не помирился, а стал вековечным угрюмым медведем. Все это привело его к мысли — никого не знать, жить своим хозяйством и, по возможности, на все наплевать.

На таком решении мы застаем Семена Матвеича в период детства Паши и самого сильного разгара учительской деятельности Петра Ивановича. С целью завести свое особое хозяйство Семен Матвеич по воскресеньям шлялся по рынку, покупал разные вещицы, необходимые для хозяйства; так, в короткое время он купил шкаф, молочник и, наконец, сшил новый сюртук. Но и это не рассеяло его несчастий. По временам ему ясно казалось, что и шкаф и помещавшийся в нем молочник ведут между собой враждебные переговоры: шкаф, сознающий свое назначение, недоволен мизерной посудиной, поставленной в нем хозяином; молочник разыгрывает роль невинного страдальца, и оба вместе принимаются трунить над хозяином: «ну, хозяин, — будто слышит Семен Матвеич, — вот так хозяин!» Но злее всяких врагов был сюртук: стоило Семену Матвеичу надеть его хоть на минуту, как его ударяло в пот, нападала страшная застенчивость, какое-то упорство к застенчивости, хотелось отворотить свою физиономию от людей и сунуть ее в неисходную тьму, чтобы люди не видали, — а сюртук, как нарочно, хватал своего хозяина за плечи, насильно поворачивал его прямо на проклятые чужие взгляды и будто говорил: «подивитесь, добрые люди, что это за харя!»

Одним словом, сюртук оказался какою-то казнью египетскою, и Семен Матвеич принужден был его оставить. Нищенствующая чиновная братия пронюхала об этом и в отсутствие хозяина являлась к нему в комнату, надевала сюртук, уверив домашних, что Семен Матвеич сам приказал, и таскала до тех пор, пока хозяин не ловил где-нибудь похитителя и собственными руками не стаскивал с воровских плеч свое добро. Наконец, чтобы прекратить всякие посягательства на эту вещь, Семен Матвеич обвязал сюртук веревками, повесил его на гвоздь, а концы веревок припечатал к стене, твердо веря, что ничья рука прикоснуться не посмеет.

7

Настало лето; был Петров день. Павлуша, проснувшись, бойко открыл свои быстренькие глазки и увидел пред собою учителя, который сидел напротив, около столика, и брился, обтирая бритву о колено, прикрытое рваным халатом, и для ловкости во время бритья подкладывая язык то под одну, то под другую щеку; руки учителя как-то особенно неловко ходили во время работы, отчего на щеках и подбородке были обрезы, заклеенные синими лоскутками от табачного картуза. Учитель объявил, что по случаю именин сегодня рекреация, учиться не будут, и тотчас же нужно проситься у матери к обедне в собор. В ожидании, пока оденется Павлуша, Петр Иванович ходил по комнате, по временам останавливался за перегородкой, запускал руку за сундук, доставал оттуда некоторую посудину, и Паша слышал через несколько времени довольно резкий и рокочущий глоток, после чего учитель тихими шагами возвращался назад и потом опять торчал за перегородкой, размышляя около заколдованного сюртука.

— Один раз-то? — слышалось Паше... — Эка важность!..

Молчание.

— Разве надеть?

Молчание.

— Надену!

Спустя несколько времени после этого решения послышался снова глоток, и веревки, обматывавшие сюртук, затрещали.

— Надену! — еще раз громче и решительнее сказал учитель и вошел в дядюшкином сюртуке. Одевшись в чужое, учитель как будто вдруг почувствовал за собою погоню и стал торопить Пашу. Скоро мать отпустила их; они тронулись в путь и провели день, полный самых многообразных впечатлений. Они были в соборе, слушали пение архиерейских певчих, среди которого Петр Иванович иногда пускал октавой, подымая кверху голову и долго оставляя недвижимым раскрытый рот. В это время подходит к ним какой-то приятель учителя; они жмут руки, шепчут что-то друг другу на ухо, смеются и, чтобы скрыть это, приседают за народ. Потом учитель берет

Пашу за рукав, делает скорые, короткие кресты, и выходят все вон.

— Теперь в ресторацию, — говорит учитель... — Там весело, орган играет.

Там действительно весело, орган играет «По улице мостовой», половые бегают с чайниками, пьяные подьячие и чиновники горланят во всю мочь, и через полчаса учитель выходит, усиленно держась за перилы.

— Теперь, Павлуша, мы с тобой в Заречье тронем. Никогда не бывал за рекой?..

— Не бывал.

— Ну вот пойдем.

В Заречье они зашли к знакомому дьячку, но не застали его дома: дьячиха со слезами на глазах объявила, что муж допился до последних границ и теперь зачем-то побежал на паперть. Петр Иванович заглянул и сюда: дьячок стоял действительно на церковной паперти, бурчал что-то под нос и стаскивал через голову рубашку; а кругом было полное безлюдье; в зареченской рабочей слободе в эту пору нет ни души, кроме баб, которые занимаются стряпней; иногда вдали, среди тишины жгучего полдня, слышалась звонкая-звонкая девичья песня, и только эта заунывная песенка, пропетая свежим, молодым голоском, будила мертвую повсюдную тишину. Очутившись нагишом, дьячок подпер руками бока и сказал:

— Каков!

— Хорош! — сказал учитель.

Дьячок пристально начал смотреть на учителя какими-то особенно оживленными глазами; потом начал приседать, словно подкарауливая птицу, и, не спуская глаз с физиономии учителя, загребал в руку кусок кирпича.

Учитель и ученик бросились бежать; на дороге их обогнал скакавший по земле кирпич.

Посетив еще многих знакомых, поздно, темным вечером возвращались наши домой. Приближаясь к дому, Петр Иваныч все больше и больше робел и приходил в трезвость. Чувствовалась гроза.

В самых воротах встретилась какая-то фигура.

— Кто? — грозно спросила она.

— Я-с! — робко произнес Петр Иваныч, узнав голос ожидаемой грозы... — Семен Матвеич?.. — ласково добавил он.

— Свои! — грозно брякнула фигура, хлопнув калиткой.

Совершенно оробевший учитель счел необходимостию поскорее проникнуть в гостиную, где пировали уже гости, и целый вечер не мог прийти в себя, боялся выйти за двери, чувствовал, что сюртук сковал его члены и огнем жег все существо.

Семен Матвеич тотчас же вернулся из-за ворот в свою комнату, загасил свечу и лежал, пожираемый всяческими муками. Он решился мстить, а месть, по его горькому опыту, только тогда сильна и имеет смысл, когда наносит ущерб и поражает бока, спину и вообще наносит телесные повреждения. Вооружившись этим взглядом, он в настоящую минуту и рассчитывал исключительно только на бока Петра Иваныча.

Но Петр Иваныч не шел. Из отдаленной комнаты доносилось пение пьяных гостей, и среди них иногда слышался голос учителя. Это еще больше обозлило Семена Матвеича... «Забыл, — думал он, — погоди ж! Не так запоешь!»

Паша между тем, утомленный ходьбой, засыпал за перегородкой, слушая стук неустойчивого сундука, на котором поворачивался добела раскаленный злобой дядюшка...

Вдруг раздается какой-то треск! Паша открывает глаза; не погаснувшая еще свечка валяется на полу, медный подсвечник отлетел под стул... Дядюшка сидит верхом на учителе, растянувшемся на полу навзничь, и, делая какие-то телодвижения, повторяет сквозь стиснутые зубы:

— Нет, врррешь!

— Мммм.. — мычит учитель, вывертывая голову из-под могучей руки, захватившей все лицо в горсть. Паша поспешно спрятал голову под одеяло.

— А? — слышался злобный голос дядюшки и — пощечина. — А? — рычал опять Семен Матвеич, превратившийся в лютого зверя.

А вдали орали пьяные гости.

...На другой день, когда Павлуша открыл глаза, он увидел няньку с половой щеткой в руках.

— Ишь, вȯлосищев-то натрес!.. Мерин! — говорила она, подметая. — Право, мерин!.. Поди, теперича

у Петра-то Иваныча ни единого волоска не осталось... Живодер! Вставайте, Павел Иваныч, ноне че ученья вашего не будет...

— Не будет? — радостно спросил Паша...

— Учитель ваш отошел в лазарет... Дяденька, господь с ним, может ни одной косточки в живых не оставил у него!

Паше было жаль переломанных костей учителя, но зато он и радовался же, что не будет ученья!

Ему дали опять вздохнуть; потом снова служились молебны пророку Науму, снова подыскивались богословы и начинались многосложные слова, новые линейки, все попрежнему! В таких работах стукнуло Павлуше десять лет, а он не годился в первый класс. Руднев принужден был взять гимназиста, которых он вообще недолюбливал. Только после целого года занятий набитая всяким мусором голова стала привыкать к занятиям сколько-нибудь осмысленным. Все-таки поступление Павлуши в гимназию не обошлось без того, чтобы Руднев и тут *не пожертвовал, не жалея.* Жертвы эти шли каждый год, пока не настали новые времена, не дозволявшие никаких жертвований за отсутствием жертвуемого. Другой сын Руднева, которому пришлось явиться в эту другую пору, оставался уже без всякого «призору».

8

Беспризорные дети явились у Руднева совершенно в другую пору его жизни. Эта другая пора, хлынувшая на чиновный люд кучею разных новин, прозвана в провинции *всемирным потопом.* Потоп этот поразил чиновников своею неожиданностью и настал именно в то время, когда люди беззаботно веселились и по возможности все устраивали к своему благополучию.

Вода начала прибывать после войны и прибывала помаленьку. Сначала с почты притащили объявление о какой-то газете, с почтительнейшим письмом к управляющему канцелярией, в котором просили содействия и сочувствия *общему делу* у чиновников, находящихся под его управлением, — сочувствия, необходимого именно теперь, когда настала пора отличить истинное от ложного, злое от незлого, доброе от недоброго. В заключение гово-

рилось, что настало время говорить своим голосом и что подписка принимается там-то. В доказательство же того, что он, редактор, отличил истинное от ложного, — прилагался нумер газеты, имевший совершенно другое название, нежели «Московские ведомости». Это-то последнее обстоятельство и повергло чиновников в уныние; до сего времени они полагали, что под словом *газета* разумеются исключительно «Московские ведомости», а тут оказывается что-то не то. Ни воспоминаний о битве при Баш-Кадык-Ларе, ни о Синопском сражении, ни о генерале Андронникове, ни о каком-либо подвиге русского рядового, изловчившегося под пулями ставить самовар и сквозь тучу ядер умевшего пронести горшок щей. Куда девались все эти герои, сии чародеи мужества? Неизвестно. В прилагаемом листке о вышесказанных героях не упоминалось; словом, было совсем не то. Упоминал ли в этой газете автор о тротуарном столбе, о который он споткнулся, возвращаясь домой, он не пропускал случая сказать: «пора нам, наконец, сознать, что в настоящее время» и проч. Упоминал ли он о покачнувшемся фонаре, — он и тут прибавлял то же. Все чувствовали, что пора; в доказательство пробуждения провинций приводилось, что вплоть от Щадринска до Мозыря и от Гиперборейского моря вплоть до Понта Эвксинского все уже возликовало, все желает кого-то благодарить, обнять, расцеловать, — и, пользуясь этим радостным временем, устраивает литературные вечера, на которых читают «Бежин луг», «рассказ о капитане Копейкине». Все видимо совершенствуется, растет не по дням, а по часам и, по примеру столичных счастливцев, порицает местные тротуарные столбы и покачнувшиеся фонари и точно так же заканчивает эти порицания *желанием,* что «пора нам *сознать*».

Эта газета произвела на всю братию палаты, в которой служил Руднев, какое-то смутное, не предвещавшее добра, впечатление. Не знали, куда деть ее и что с ней сделать. Наконец решили поступить по законам. Для сего сочувствовавшие общему делу чиновники (оказалось, что все до одного сочувствуют) расписывались собственноручно на письме редактора: «читал и сочувствую». Контролер такой-то и т. д. Лист с подписями отправлен к редактору, с почтительнейшим уведомлением о готов-

ности на все, не запрещенное законом (кроме подписки), а самая газета поступила в архив, была насквозь проколота шилом, связана веревкой, конец которой припечатан казенной печатью. И теперь значится за номером, под названием: «дело о журнале таком-то — на стольких листах, — началось и кончилось тогда-то».

Появление этой газеты, представляя собою совершенно небывалое доселе явление, почему-то считалось предвестием недоброго; точно так, как комета с хвостом непременно наводит на мысль о войне или холере. Кроме того, из Петербурга доносились зловещие слухи, что не только нельзя ждать прибавки, но, напротив, в скором времени воспоследует отбавка. Народ находился в тревожном состоянии.

В такую пору, как снег на голову, обрушился в губернское правление новый начальник. Сердца замерли. Старый начальник, удаляясь с насиженного места, заливался горючими слезами, присутствовал на обеде, данном чиновниками в складчину, на котором произносились самые искренние и задушевные речи или надгробные слова прошлому. Речи эти потому и были искренни, что говорившие их и сочувствовавшие им чутьем догадывались, что здесь и над всеми ими совершается заупокойная лития.

Новый начальник начал с того, что самым деликатнейшим образом отказался от хлеба-соли и просил его впредь не потчевать.

Сослуживцы начинали робеть.

Изумление общее возрастало ежеминутно. Вслед за отказом от хлеба-соли новый начальник изумил еще тем, что тут же, подавая всем руку, говорил: «надеюсь найти в вас честных и дельных *товарищей*» и проч., и даже сторожам говорил «вы».

Ошеломленные невиданной доселе начальнической лаской, чиновники после пожатия руки так и окаменели на своих местах. У каждого рука оставалась протянутою вперед; глаза, мутные, словно у замерзающего человека, смотрели в одну точку.

Когда страх прошел и чиновники сообразили все случившееся, то все разом заключили, что с таким мягким начальником можно жить запанибрата. И вследствие этого возликовали.

Но ликование было непродолжительно. Новый начальник, к великому изумлению, не считал особенным достоинством годами приобретенного искусства подписывания бумаг, которое при его предшественнике выводило в люди многих из чиновной мелкоты, не считал особенно полезным для отечества — сидеть в присутствии непременно во фраке, и являлся просто в пиджаке, что на начальника вовсе не походило. Не считал особенно вредным для отечества закурить в присутствии сигару. Все это было чем-то необыкновенным; представление о начальнике сходилось в головах сослуживцев с представлением опять о комете в виде огненного меча; но новый меч этот не рубил головы ни одному из смотревших на него, а все-таки было жутко.

Взыгравшие духом чиновники начинали снова пугаться и скоро испугались окончательно, когда начальник обратился к целому полчищу отборных служак с пожатием руки и с присовокуплением к этому фразы: «Я бы вас покорнейше просил приискать себе другой род службы».

— Ваше п<ревосходительст>во! Да у нас дети! жены! — хором заголосили пришибенные.

— Все, что только будет от меня зависеть... и проч. и проч.

Затем начальник удалился, а толпа чиновников совершенно застыла, с расставленными руками и неподвижными глазами, смотрящими в пол.

Таким образом всемирный потоп обнаружил первые попытки к опустошению. Некоторые из развращенного рода человеческого или старались укрыться в ковчеге, то есть заблаговременно выхлопотать пенсию и закупориться в благоприобретенных лачужках, другие же, подражая Ною, но не от избытка счастия, а от горя, нажали соку из виноградных гроздий и валялись целые дни без задних ног.

Опустошение было ужасное.

Между множеством народа, снесенного при общем крушении, были оба братья Рудневы: Иван Матвеич и Семен Матвеич. Рудневы в эту пору почти что вышли в люди, почти что стали не хуже других, — и в этот момент вода поглотила их. Иван Матвеич в последнее время

был даже приглашен на обед к губернатору по случаю какого-то табельного дня, и хотя он там не решался взять куска в рот, боясь начальников, но все-таки одно присутствие, один выбор из целого стада желающих хоть глазком взглянуть на это пиршество и потом умереть, — что-нибудь да значит... И вдруг потоп!

Семен Матвеич тоже нашел себе место в ряду окружающих людей и предметов; говорю предметов, потому что, в припадке уныния и убеждения в собственной ненужности и негодности, Семен Матвеич часто сожалел, почему он не доска, не стул; на нем бы хоть рубашки гладили, на нем хоть бы сидели. Обстоятельства, однакож, устроили ему иное тихое пристанище.

Новый начальник, осматривая комнаты палаты, мимоходом вопросительно взглядывал на попадавшиеся в шкафах с бумагами бутылки, колбасы и прочее съестное для подкрепления сил, отворил дверь в чертежную и остановился, не решаясь сделать шага далее.

Чертежная была совершенно отдельная комната с большим столом и высокими табуретами; в комнате этой не происходило никаких занятий, и Семен Матвеич Руднев поэтому избрал ее своей резиденцией. В последнее время этот муж совершенно прирос к палате и никогда не оставлял ее, словно сросся с ее стенами и полом. После долгой борьбы за существование Семен Матвеич вздумал повести атаку на чиновничьи карманы. Ближайшим средством к этому было наниматься за другого дежурить и получать за это четвертак. Такого рода занятия понравились ему; они не требовали никаких терзаний головы, исключали всякое присутствие людей, надоевших Семену Матвеичу до тошноты, и, таким образом, доставляли ему и покой и некоторый верх над прочей братией, потому что скоплявшиеся мало-помалу четвертаки навели его на мысль еще более поэксплуатировать народ. Чиновная братия, в большинстве своих представителей ежедневно являющаяся с похмелья, очевидно жаждала опохмелиться и в такой крайности прибегала за четвертаками к Семену Матвеичу, который получал долг вдвойне от самого казначея при месячной раскладке. Поведя таким образом свои дела, Семен Матвеич скоро держал в руках всю палату, всем говорил «ты» и знать никого не хотел.

Привыкнув дежурить чуть не каждый день, Семен Матвеич счел удобным переселиться совсем в палату; с этою целию в пустую чертежную комнату перетащились его сундук и шкаф; в углу поместилось множество образов с лампадами в черных, закопченных киотах; спал он на столе, подложив под голову книгу о входящих и исходящих, и одевался шинелью, все более и более превращавшеюся в лохмотья. В эту пору он не заботился об одежде и вообще о каких бы то ни было расходах на свою персону, так как чувствовал прилив величайшей скупости и скопидомства, которое заставляло его вести войну со сторожем, претендовавшим на оставшиеся сальные огарки или разорванные конверты. Огарки эти, после продолжительной схватки со сторожем, оставались в руках Семена Матвеича и помещались в огромном лубочном ящике из-под сальных свечей, стоявшем под столом и заключавшем в себе самое разнообразное содержание: старые голенища, пуговицы, клубки ниток, ремешки, веревки, гвозди, оторванные подошвы, сломанные и залитые салом медные подсвечники, галуны и проч. и проч. Сургучные печати Семен Матвеич аккуратно вырезывал из отбитых у сторожа пакетов и, перетопив их в печи, уступал регистратору, то есть журналисту, занимавшемуся запечатыванием конвертов, который вследствие этого снюхался с казначеем и делил с ним пополам сумму, назначенную на покупку нового сургуча.

Никто поселившегося здесь Семена Матвеича не смел пальцем тронуть: брат секретарем, остальная братия в руках, старичок управляющий до этого дела не доходил.

Поэтому понятно, что новый начальник, остановившись в дверях чертежной, впал в некоторое изумление: перед ним вместо комнаты присутственного места открылось целое хозяйство, свое житье; хозяин был, по обыкновению, совершенно не в парадной форме. Поверх рубашки и панталон надета была та же шинель, которою он покрывался; на ногах были сапожные опорки с дырами, из которых выглядывали пальцы; на столе избитый самовар с проломанными боками и проч. и проч.

— Что вы изволите здесь делать? — спрашивал начальник.

— Живу...

— Служите?

— Писцом служу-с.

— Да-с... Да-с... Да-с...

Начальник помолчал, держа руки в карманах и закусив нижнюю губу, и потом произнес:

— Ну, не смею вам мешать! — И ушел.

Наутро Семену Матвеичу стоило великого труда одеться в панталоны, сапоги и напялить галстук. Делать было нечего, — звал новый начальник.

Когда Семен Матвеич вышел после аудиенции снова в толпу братий, к нему посыпались со всех сторон вопросы:

— Что? как?..

— Ничего...

— Не кричал?

— Ни-ни...

— И ласков?

— Такой рассыпчатый...

— Руку жал?

— Жал.

— Ну, стало быть, в шею!

Когда действительно это предсказание сбылось, Семен Матвеич вдруг почувствовал, что рука, которую жал начальник, словно отвалилась или кто отсек ее.

Через неделю после аудиенции на пепелище Семена Матвеича суетилось несколько поденщиков из отставных солдат с искалеченными членами после битвы при Синопе и, вооружившись метлами, скребками, швабрами, старались очистить глыбы грязи, которую по всему огромному пространству комнаты расплодил недавний ее обитатель.

Чтобы покончить с Семеном Матвеичем, скажу, что он поселился где-то за заставой, в лачужке, и принимал заклады. А когда всемирный потоп прошел и животные были выпущены из ковчега, то и Семен Матвеич, сознав, что он ничуть не хуже любого из них, выполз и начал проситься на службу опять...

9

Иван Матвеич Руднев был в большом загоне. Обстоятельства, видимо, переменились, и сама судьба смеялась над ним: каково было видеть его мягкой и легко растрогиваемой душе, когда толпы мужиков, так недавно при-

ходившие не иначе как к нему, теперь идут с обнаженными головами к другому секретарю, проживающему напротив дома Руднева. Секретарь был из новых, был холост, танцор и имел за душой какую-то темную историю с одной девицей, не допущенной, впрочем, к подаче жалобы на секретаря в уголовную палату. Отставной секретарь терзался: совесть его была чиста; как голуби ворковали они с супругой десятки лет, но увы, наворковали много детей!

Отставной секретарь сразу съежился; правда, у него были небольшие залежные деньжонки, но так как, на виду у него, денежный поток направился совершенно в другое бездонное море нового секретарского кармана, то Иван Матвеич считал долгом подкрепиться маленько и отдал поэтому внаем полдома... Кроме нового секретаря, его весьма убивала возраставшая год от году семья. Рудневу стоило больших усилий настроить себя на радостный манер при всякой новой прибыли. Каких трудов стоило переносить ему утешения и радости родни, являвшейся на каждые крестины с одними и теми же фразами:

— Вельможа будет... Не забудьте нас...— говорил попрежнему родственник.

— Дитя есть мягкий воск! — повторял священник.

Дети, которым суждено было жить в эту пору загона отца, не могли рассчитывать даже на самый незначительный уход. С первых дней последний сын Петр видел, что на него смотрят как на обузу. Для него не разыскивали лучших и самых свежих кормилиц, не покупалось новых люлек, не покупалось игрушек; все было старое, — из-под кроватей, из-под шкафов вытаскивались лошади с оторванными ногами, хвостами и головами, люльку не смазывали даже в петлях, чтобы она не скрипела, — а вместо кормилицы кормили с рожка, поручив Петрушу и процесс ухода за ним старухе няньке, исполнявшей вместе с тем и должность кухарки. И так как ей поэтому нельзя было разорваться, чтобы успеть и за ребенком ходить и в кухне стряпать, то Петруша большую часть детства провел в кухне.

Здесь постоянно стоял столбом чад и царствовал горячий, удушливый воздух, под люлькой Петруши пищали гусенята, рядом на логовище няньки вывелись

кошки, и вместе с этой народившейся мелюзгой жил и развивался Петруша... Над ним нянька не рассказывала сказок, в которых люди ходят в золоте, все счастливы и довольны, — ей некогда было; Петруша должен быть благодарен и за то, что она хоть укачивала его иногда по вечерам, при свете сального огарка. Закачивая Петрушу, старуха рассказывала ему свое прежнее житье. Рассказывая свою жизнь, старуха иногда брала ручонку Пети и, отыскивая ею под повойником большую яму на своей голове, говорила:

— Видишь, как господа-то? Это утюгом мне... Да что, так ли тиранили!.. По двенадцатому году было, барыня пойдет гулять зимой в мороз, а я за ней босиком иди... Подожмешь ногу, потопчешься, — идешь... Мочи нет... А она видит и нарочно по вершочку шаги делает... Не стерпишь, покатишься по земи замертво...

Сердце Петрушино болело за старуху.

— Терпела я, терпела, — рассказывала старуха в другой раз, — нету моей моченьки, вскочила чуть свет, — сбежала... куда бегу, сама не знаю. Иду босыми ногами, в одной затрапезной рубашке да юбке, по снегу, по сугробам... Нету дороги, — думаю: замерзну. Пришла к речке — дорожка санная, вижу, чернеет, — к ночи дело шло, и прорубь прорублена, — стала над прорубью, — думаю, утону... пущай утоплюсь, некому жалеть... Вдруг санки, священник едет... «Что ты дрожишь?» — Так и так. «Садись, дура...» — «Батюшка, увезите меня куда-нибудь... барыня узнает, убьет...» — «Садись, дурища...» Села я в сани, приехали в город, отыскали мне место такое, что лучше и не надо... Только спустя эдак полгода, под самое рождество, хожу я с хозяйкой по базару за покупками, — вижу, барыня... Так я и обмерла: ноги, руки затряслись... «А, шлюха, садись!» — закричала барыня. Я нейду; взяли силком, сбуторили, ввалили в сани, привезли домой... били, били... Тут мне и голову-то прошибли. Вот они, люди-то, каторжные!

Петруша только и слышал такие рассказы... Он жил в кухне вместе с народом, который работал для господ, и об них, следовательно, думал и говорил не так, как

они. Здесь, кроме вековечной труженицы-няньки, все окружавшие Петрушу имели в своем прошлом одно и то же горе и жили одной надеждой на будущее; кучера, горничные, — все это на глазах Петруши думало и гадало о своей каторжной участи, и все были обижены, только не своей братией.

Призор няньки продолжался до тех пор, пока Петруша не выучился сам бегать и сам не находил для себя занятия. Петруша на свободе забавлялся как умел. Отыскав какой-нибудь старый завалящий сапог, он находил удовольствие в темном уголку напяливать его на свою ножку и в таком костюме медленно путешествовал по двору. Друзьями его, как и всегда, были уж никак не чиновничьи ребятишки, а кучер или дворник. Петруша все больше и больше привыкал понимать мужицкие боли и все больше и больше отбивался от дому. Кучер иногда доставлял Петруше удовольствие: носил его на руках под качели, кормил пряниками, водил даже в театр.

Мать Петруши, давным-давно до бесконечности утомленная детьми, точно так же как и отец, рада была, что их меньше ползает в комнатах, и поэтому вспоминала о Петруше только тогда, когда слышала его пронзительный плач где-нибудь в заднем углу двора, плач, продолжавшийся несколько времени. Только тогда она говорила:

— Что там с ним? Кто его? Посмотрите.

И если плач этот продолжался еще, то мать поднималась с места, шла узнать, не подавился ли он чем?

Как и мать, отец также желал, чтобы в комнате меньше шумели и болтались дети, и поэтому редко вспоминал Петрушу. Как-то раз он, впрочем, вспомнил об нем:

— Что там, Петька-то как?

— Что ему, — отвечала мать.

— Покажите его... Чай, мужик-мужиком...

Чтобы показать барину его детище, няньке стоило большого труда очистить его от всякой грязи, покрывшей руки, ноги и щеки.

Когда Петруша был отскоблен и принесен в комнату, то сразу почувствовал, что ему все здесь чужие; и папашу, и мамашу, и всех и вся он готов был променять

на кухонных котят и гусенят, своих первейших друзей. Здесь особенно папаша как-то недоброжелательно смотрел на него.

— Ну, — сказал он серьезно, — что ж ты не говоришь ничего?..

Плебей дулся и хватался руками за шею няньки.

— Говори! — произнес отец.

Плебей молчал.

— Эге-ге, брат! Так ты вот какой! — проговорил самым тоненьким голоском отец.

И отец скоро показал сыну, что он действительно отец.

Нянька отняла из рук родителей плебея-ребенка и унесла его в кухню, целуя дорогою и говоря:

— Ах ты, моя умница!..

Петруша не понимал, за что его нянька называет умницей и за что отец так нехорошо с ним поступил.

Таким образом, мало-помалу, с годами, сама судьба незаметно развивала в нем любовь к этим угнетенным труженикам, и несколько подозрительно глядел он на всех людей, именовавшихся господами. Он удивлялся, как могла жить с спокойною совестью та барыня, которая избила его няньку-старуху. Удивлялся, почему барин, который вчера избил его знакомого солдата и которого Петруше удалось как-то видеть, не возбуждал ни в ком никакого негодования?..

Отец его, заметив, наконец, что Петруша на свободе совсем отбился от рук, принужден был подумать о сынишке: что теперь с ним делать, драть ли его или учить?

Мать тоже подумала и сказала:

— Ты сначала маленько похворостинь его, а потом, само собою, и учить.

10

Наконец и Петруше нашли учителя, гимназиста, который и начал готовить его в 1-й класс. Петр был относительно учения счастливее брата тем, что имел возможность начать прямо с того, до чего брату пришлось додуматься гораздо позже. Не скажу, чтобы учение Петруши шло особенно успешно: рваные и затхлые учебники не приковывали его настолько к своим страницам, чтобы он

мог бросить бегать на реку купаться или ловить рыбу, играть на погосте в лапту или устраивать змея. Все это предвещало в нем «сорванца».

Сорванец действительно вышел. И в настоящую минуту, когда Павел стоит посредине полного бездорожья, не зная, куда приклонить голову и зачем жить, — Петр крайне надоедает начальству ежеминутными проделками, требующими карцера, черной доски, и пока о дорогах не думает.

II. СЕМЕЙНЫЕ НЕСЧАСТИЯ

1

Итак, — «сорванец» появился, и с каждым днем все больше и больше стала возрастать непомерная разница во взглядах на жизнь родителей и детей, а скоро не было уж такого отца и такой матери, которые не были бы огорчены до глубины души поступками своих детей. Даже на воскресном пироге, на именинах и вообще во всех тех обывательских сходбищах, где рюмка развязывает языки и идет по обыкновению бессмысленная болтовня, и там «дети», непочтительные, дерзкие, безбожники, были первейшею темою собеседования. Горе было так велико, что даже и водка не развеселяла и пилась со вздохами, так же как со вздохом шли жалобы и на детей.

— Где же ваш сынок тепериче, Марфа Ивановна? — ехидно спросил один из гостей, уже «оскорбленных» своими детьми.

— Спит еще, не вставал! — отвечает Марфа Ивановна, смотря в землю.

— Это до одиннадцатого-то часу?.. — возвышая голос и обводя гостей выразительным взглядом, произносит первый.

— Нынче все так! — прибавляет с иронией второй.

— А по-моему, — вскрикивает третий, — взять бы хорошую палку, да!..

И при этом делается рукою взмах, соответствующий назначению палки.

2

От обид такого рода в особенности пострадало в нашей глухой стороне семейство Уполовниковых. Сам господин Уполовников обижен до такой степени, что даже и упоминать не хочет о сих мерзостях и только отмахивается рукою, если ему предложат какой-нибудь вопрос по поводу его несчастий. Напротив, супруга его, Марфа Ильинична, очень желала бы сообщить какой-нибудь теплой душе все тайны своего сердца, но «держание уха востро» не подпускает близко к ней таковой души. Всякий норовит узнать сущность дела в двух словах и уйти; Марфа же Ильинична, напротив, желает объяснить дело в полном объеме.

Целые дни сидит она под окошком, выжидая необходимую ей теплую душу, и, за неимением ее, поверяет свои обиды толстым чулочным спицам, которые, не привыкнув к такому доверию, поминутно спускают петли, путаются и вводят госпожу Уполовникову в немалое негодование.

Но вот под окнами, на противоположном тротуаре, мелькнула фигура знакомого чиновника Кукушкина, и Уполовникова сразу решается не выпускать его из рук. Она высовывается в окно и вопиет своим старческим голосом:

— Батюшка! Семен Семенович! Зайди на минуточку. Сделай твое такое одолжение!

— Не могу-с! .. Не имею времени!

— Да сделай же милость, хоть пирожка?

— Времени не имею-с! .. Не имею времени! И притом... боюсь...

— Что такое, господи! Кого ж бояться? ..

— Да вашего, этого... господина... студента-то... Ну их!

— Да нету его! Давно нету! Уехал! ..

— Не-ету? .. — перебираясь через дорогу, удивленно вопрошает Кукушкин. — Из-за чего же собственно их нету?

— Уехал, уехал! .. Да ты зайди хоть на минуточку-то. . .

— Ай-ай-ай! — недоумевает чиновник. — Да будто бы нету их?

Уполовникова подтверждает это, и чиновник, покачивая головой, направляется к воротам. Теплая душа вхо-

дит в горницу, раскланивается, оглядывает углы и, убедившись, что в них не притаилось ничего ужасного, вроде «господина студента», принимается за закуску, во время которой теплая душа иногда поднимает голову, разевает набитый рот и обращается к Уполовниковой с вопросом: «Да будто бы же? Да неужели же они уж?..» Уполовникова удовлетворяет его вопросам, но не перерывает спокойного течения закуски, твердо зная, что теплой душе в самом деле нехудо бы подкрепиться, прежде нежели на нее она навалится с печалями. Наконец знакомый отирает ладонью рот и, всунув руки в рукава, спрашивает:

— Следственно, матушка Марфа Ильинична, упоминаете вы в том смысле, что их как бы уже нету?

— Уехал, отец мой, и даже не простился!

Теплая душа изумленно смотрит на хозяйку, но тотчас же, вытянув кверху брови, произносит сжатыми негодованием губами:

— Просвещены!..

— Да уж должно быть, что от просвещения этого... от ихнего...

— Да-да-с!.. От обширного ихнего ума! — Гость с сердцем плюет в землю и прибавляет: — Ффу ты, боже мой, до чего, можно сказать... Тьфу! Более ничего!

Чиновница Уполовникова едва владеет собою: руки ее дрожат, петли спускаются и голова не совсем твердо сидит на плечах.

— Так как же вы, Марфа Ильинична, изволили упомянуть-то? Из-за каких же собственно смыслов уехали они?

— Изволишь видеть, как было... На Фоминой неделе, никак этак в середу али в четверг, уж не упомню хорошенько-то, собираемся мы с мужем, друг ты мой, к заутрени... Собрались этак-то, только выходим на крыльцо, — хвать-похвать — подлетает тройка, и сейчас сынок наш соскакивает и прямо говорит: «Я, говорит, папенька, к вам отдохнуть... Уж сделайте милость, говорит, позвольте...» Мы с отцом так обрадовались, так рады и, кажется, себя не помним, сейчас самовар, то, другое... «Нет, — кричит сынок-то, — ничего не нужно, сделайте милость, дайте мне где-нибудь прилечь... Ехал, изволите видеть, семьсот верст, — устал...» И ни слова

не говоря, только что поздоровался, бросился прямо в горницу, в эту вот самую комнату (слушатель испуганным взглядом обводит стены и углы комнаты), вбежал и прямо так на диван и повалился... Спит. Поглядели мы на него — «ну что ж, думаем, с дороги человек устал, пускай в самом деле отдохнет...» Оставили его и пошли своим путем к заутрени. Отстояли честь честью службу, выходим на паперть, встречается Артамон Ильич с Авдотьей Карповной, Кузьма Митрич Чуйкин с женой и прочие наши знакомые. Встречаемся. «Здравствуйте. Что новенького?» — «Да вот, — говорим с мужем, — сынок приехал». — «Это Сережа-то?» — «Он, говорим, Сергей!» Любопытствуют знать, откуда? Отвечаем им: так и так, из Санктпетербурга, мол, прибыл, на почтовых. Кто же, спрашивают, он — то есть, по какой части? Отвечаем им, что главнее по просвещению пошел и в высокой науке состоит... Все очень этому обрадовались, и тем пуще всего любопытство их взяло, что из Санктпетербурга: «Не возможно ли, говорят, нам будет на него взглянуть?..» Тогда отец отвечает им: «Господи помилуй! Что ж это такое за диковина, что и взглянуть на него нельзя? Пожалуйте к нам чайку откушать, я вам его и покажу во всей форме». Пошли все к нам пить чай. Пьем мы чай, а отец идет к Сергею и говорит ему: «Дружок, говорит, многие друзья наши, заинтересовавшись тем, как ты из Санктпетербурга и идешь по просвещению, то очень желают видеть тебя... Пойдем к ним...»

— Папенька, говорит, сделайте милость, увольте меня!

— Но, дружок мой, — говорит отец, — ведь ждут и желают порасспросить у тебя кое-что о столичных новостях.

— Ради бога, говорит, позвольте как-нибудь после. Что я с ними буду говорить, какие новости? Я никаких новостей не знаю...

— Как же это ты не знаешь?

— Ей-богу, не знаю ничего... Не могу!.. Не пойду!.. После.

Завалился и захрапел. А отец так с носом и остался. Как это вам покажется? а?

— Просвещены!

— Рожу свою не мог на минуту в другую комнату высунуть! Очень это отца огорчило; входит в чайную, весь дрожит; однакоже деликатным манером удержался и объявляет: «что так как, говорит, с дороги и заспался, то, сделайте милость, извините его на нонишний раз, а вот в воскресенье покорнейше просим вас откушать у нас чаю, и тогда уж будьте покойны, я вам его предоставлю». С этим гости и разошлись... Как нам в ту пору было горько, кажется — ах! Ну, однакоже, мы виду не подали. Ни-ни!.. Приходит время; замечаем мы — грубость. Что ни спросишь: «ей-богу, говорит, не знаю, никогда не видал»

— Как, мол, дружок, спрашиваем, начальство вас наказывает ли? Или же, опять, в каком чине ваш главноуправляющий вашим заведением?

«Ей-богу, не знаю!» — Только того и есть!

Думаем, думаем, ума не приложим, как быть! А он тем временем каждый божий день зачал с ружьем по болотам шататься. Первое дело — то обидно: ну, неровен час, утонет? долго ли до греха? А второе дело — ружье: постоянно порох, пули, — ну, как да ляпнет невароком? Нечто ружье-то с умом? Иной, случается, маленькие дети ходят, — хлопнет, вот-те и сказ. С кого взыщут-то? К ответу-то отца потянут, — как дозволил сыну? Так ли я говорю? Ну, так это нас беспокоило, так беспокоило, а тут пуще всего, в том опять обида, что глаз домой не кажет.

— Неужели, Сергей, — говорит отец ему, — неужели болото для тебя дороже отца?

— Папенька, говорит, я это для отдыха...

— Да дружок мой, посуди же ты сам, какой же эта стрельба составляет отдых? когда, чего боже избави, можешь ты пулею себя повредить?

— Вот, говорит, пустяки!

— Дружок мой, — говорит отец, — хотя я и говорю пустяки и хотя, говорит, ты отдыхаешь, и болото для тебя милее отца и матери, то все-таки, друг мой, уж извини, говорит, отдыхать ты отдыхай, а отца все-таки уважать должен. Уж извини!

— Да помилуйте, то-се, тиль-виль... — прикусил язычок-то, не потрафит, что сказать, а отец между прочим продолжает:

— Я тебя, говорит, друг мой, прошу в воскресенье быть дома, ибо позваны мною многие наши друзья, дабы видеть тебя. Поэтому очень бы я хотел, чтобы ты оделся в твою парадную форму, как то: в мундир, шпагу и держал бы для виду каску свою; то есть, чтобы гости, видя твой костюм, завидовали бы мне и ценили бы меня... Так как имею я такого сына...

— Хорошо-с! — говорит, согласился.

Подходит воскресенье, пришли гости; выводит отец его, — «вот, говорит, сын мой, извольте полюбоваться!..» Гости, обыкновенно, радуются. Начинают его расспрашивать. Один чиновник был в ту пору, хотел он в Петербург жену везть к ясновидящей, пользовать от полноты, так этот чиновник подходит к Сергею и говорит: «Позвольте, говорит, которые теперича лучшие ясновидящие считаются?» — «Не знаю», говорит. Чиновник обиделся и ушел. Подходит другой и говорит: «Как примерно, будьте так добры, — Исаакиевский собор далеко ли в вышину достигает?» — «Не знаю», говорит. И этот посмотрел на него этак-то, осердился и отошел. Тут уж мы с отцом никаких сил более терпеть не находили. Вызываем его в другую комнату, вызываем и говорим:

— Ты что же это, друг любезный, делаешь?.. Что же это ты, уморить нас хочешь?.. Иди сейчас, отвечай, что тебя спрашивают.

— Я не могу и не пойду...

— Как не пойдешь?

— Не могу!

И уже опять пистолетиной своей подлой вертит, заряжает.

— Брось ружье! — закричал отец.

— Оно, говорит, не заряжено!

— Брось, говорю тебе! Отец я или нет?

В ответ на это он вместе с пистолетиной идет к дверям; мы за ним.

— Брось! — Не бросает и переодевается.

Тут мы уже совсем обезумели от такой обиды. Отец как начал причитать: «Это что такое? Сапог на столе стоит? Где должен сапог стоять? На столе хлеб кладут, дар божий», — и пошел и пошел... Гости слышат, что неладно что-то, потому крик на весь дом, тихим манером за шапки да по домам... Отец-то и после них еще

долго причитал, наконец того, видя его упорство, «вон, говорит, из моего дому!» Сережка, долго не думая, хлоп дверью да и был таков! .. Так и уехал. Сказывали, где-то с товарищем, тоже этаким-то, избу наняли в деревне. С мужиками-то, видно, приятнее, чем с отцом, с матерью...

— Просвещены!

Голова и руки чиновницы дрожали; спицы подскакивали и спускали петли.

— Вот так-то, вот и расти детей! .. — говорит чиновник со вздохом.

— Да! Думали-гадали какое ни на есть удовольствие получить, а заместо того на-ко вот! .

Вообще на бедные головы стариков и старушек каждодневно валится множество всякого рода обид; долго накипают они в сердцах старичков и, не имея исхода, рождают жажду самой отчаянной мести, оканчивающуюся обыкновенно горькими слезами.

III. ОСТАНОВКА В ДОРОГЕ

1

Шестая неделя великого поста была на исходе.

Из столиц и губернских городов, по железным дорогам, в ямских тарантасах, на перекладных тройках, — и в особенности на «своих на двоих», — неслось множество всякого рода людей в деревню, в усадьбу, «ко дворам». Все это, измаянное зимним сезоном, измученное черной работой, стремилось отдохнуть, отдышаться, а главное, поспеть домой к празднику.

Весеннее солнце было до такой степени живительно, что весь этот утомленный, усталый, измученный народ, с его громким говором, раздававшимся в вагонах, на вокзалах, на постоялых дворах и в толпах пешеходов, гремел так же шумно, весело, задорно, как гремела по всем буеракам разгулявшаяся весенняя полая вода.

Дилижанс, в котором я выехал из Москвы, [1] был также в достаточной степени охвачен всеобщим веселым расположением духа. Все пассажиры как-то необычайно скоро перезнакомились друг с другом еще в почтовой конторе и через пять или десять минут все чувствовали себя закадычными друзьями. Единственным исключением был кондуктор, которого омрачало именно это общее веселое настроение проезжающих. Постоянно высовывая из своей каморки (я сидел на переднем месте) свой тощий еврейский облик, он с завистью смотрел на меня и, видя, что и я чувствую себя хорошо и весело, тяжко вздыхал и со вздохом произносил какую-нибудь жалобную фразу:

— Все едут к празднику... всем бог дал! Только кондуктору нет праздника!

— Отчего так?

— Оттого, что нечем мне, кондуктору, услужить проезжающему! Ежели даст проезжий двадцать копеек — так и то бога благодаришь! Ямщики, старосты, смотритель — все отберут от проезжающего! Подсадить не дадут, под ручку поддержать!.. А у кондуктора шесть человек детей! У него тоже должен быть праздник — я ведь крещеный! Хоть бы чем-нибудь мне услужить вам, господин!

Кондуктор замолк, очевидно что-то соображал и, наконец, придумал, как «услужить»: захрипел он на своей исковерканной трубе какую-то чудовищную песню, — чем поистине отравил все чарующие впечатления весны: впечатления оживающих дымящихся теплом полей, игривых, радующихся, певучих потоков, блестящую светлую звучность весеннего воздуха — все это кондуктор растерзал воплями своей трубы. К счастию, шедший впереди обоз заставил его прекратить его терзающую музыку и затрубить так, как это полагается кондуктору. Обругав отборными словами мужиков, которые еле успели посторониться от мчавшегося дилижанса, он еще раз выглянул из своей каморки, очевидно желая убедиться, понял я его услугу или нет? Он играл и ругался, — неужели и это не рекомендует его со стороны желания услужить? Но при-

[1] Московско-Курской дороги еще не существовало.

метив, что этого для меня, очевидно, мало, он и еще постарался увеличить мое удовольствие и нашел для этого необходимым показать ямщику, что он, кондуктор, — начальник.

— Чего спишь, — Мишка — Васька — Федька, — как вас там всех звать, не знаю? Пошел!

Но Мишка, или Васька, или Федька сидел на облучке, и впечатление этого облучка было светлое: сидел там человек, думающий не об угождении господам, а о жизни в деревне, в своей избе, в своей трудовой свободе. Серый армяк, иногда сменяющийся черным армяком или изодранным полушубком, сделает тысячи услуг, не зная о том, не считая их. Этот армяк один, только один из всех проезжающих в дилижансе, добровольно мокнет на дожде, подставляет свою грудь ветру и лицо морозу, и благодаря именно ему мы спокойно мчимся вперед.

Подошел вечер, стало темно, морозно, холодно; чувствовалась потребность надвинуть шапку на самые уши, потеплее закутать колени, ноги, руки... Обаяние весны значительно убавилось, а потом и совсем исчезло. Холодные порывы ветра усиливались по мере приближения нашего дилижанса к большой станции, стоявшей в центре большого подмосковного города на Оке. По мере приближения к месту остановки ямщик начал особенно громко и почти непрерывно кричать форейтору; форейтор, почти не переставая, свистал и звонким, детским голосом кричал: «сва-арра-чивай!..», «с да-арро-ги!..» Желая угодить проезжающим, кондуктор принялся трубить в трубу; резкий и хриплый звук его изломанного инструмента почему-то напоминал шесть человек детей, которым надо пить и есть... Несмотря на это гиканье ямщика, форейтора и кондуктора, дорога делалась труднее с каждым шагом. Фонарь, мерцавший с одного боку кареты (свечку другого фонаря кондуктор вез семейству), освещал мужицкие дровни, троечные телеги, толпы людей, двигавшихся к городу; вот мелькает какая-то окутанная рогожами карета; вон худенькая фигурка жеребенка отскочила от дилижанса, зацепив ногой за постромку и зазвонив колокольчиком, и карета вынуждена была ехать шагом.

Теснота от экипажей и людей, запрудивших улицы города, страшная. Вот какие-то освещенные окна; какие-то

люди двигаются с фонарями между карет и дымящихся лошадей...

— Станция! — говорит кондуктор и, соскочив, принимается откидывать подножки у дверей кареты.

— Г<осподи>н смотритель! — взбежав на ступени станции, зовет нетерпеливый проезжающий. — Пожалуйста, прикажите поскорее запрягать!

— Запрягать нельзя-с!..

— Как? Почему?

— Повреждение моста!.. Мост загорожен... А перевоз приостановлен...

— Почему приостановили перевоз?

— Ледоход оченно большой... Старожилы не запомнят...

Всеобщий протест, негодование, брань.

Ко всему этому оказывается, что на станции уже переполнены все помещения и что вновь прибывающие должны пережидать ледоход в грязных «нумерах» и «гостиницах».

2

Гвоздевское подворье, на которое пришли мы (я и еще один купец), своим видом и устройством напоминало, с одной стороны, постоялый двор, с другой — гостиницу из числа тех, которые любят назвать себя каким-нибудь интересным прозвищем — «Барнаул», «Карлсбад». Эти два рода качеств, заимствованных от гостиницы и постоялого двора и соединенных воедино для удобства господ проезжающих, характеризуют вообще всякое подворье. Грязный двор, обнесенный навесом; колодец с железной бадьей, громыхающей на железной цепи; хозяин с почтительными и тихими манерами, успокоительно действующими на проезжего; жирная баба-солдатка, охотница до подсолнухов, кисейных фартуков и проезжих молодцов, от которых она, впрочем, любит увернуться, выскочив со звонким смехом из жаркой кухни в широкие сени, — вот, главным образом, качества, заимствованные от постоялых дворов.

Качества, заимствованные от гостиницы «Барнаул», гораздо заметнее и многочисленнее. Во-первых, проезжему для ночлега отводят на подворье, как и в гостинице, нумер, а не кладут его, как на постоялом дворе, рядом с бо-

гомольцем или богомолкой, близ кровати молодого хозяйского сына с супругой. Правда, в коридоре, по которому проезжающий идет в нумер, носятся синие волны самоварного дыма; обстановка нумера, с темными стенами, самодвигающеюся и самопадающею мебелью, производит на него грустное впечатление,— но для успокоения его существует хозяин: он так искусно подтолкнет коленом разрушенную кровать к стене, так незаметно сколупнет ногтем наросты сала со стола, с окна и дивана, так солидно скажет: «будьте покойны», «не извольте беспокоиться», что проезжающий действительно успокоится и примирится со всем. Кроме того, водворяя проезжего в нумере, хозяин объявляет ему, «что, в случае ежели что потребуется, — человека кликните, он завсегда тут... не отходит от буфету». Следовательно, проезжему, пожелавшему съесть или выпить, не нужно, как на постоялом дворе, странствовать по пустынным сеням, попадая то в чулан, то в спальню, отыскивая человека, который бы принял в нем участие. Следовательно, на подворье можно видеть и буфет и человека. Буфет состоит из темнокрасного двухэтажного шкафа с тусклыми стеклами, дающими, впрочем, возможность видеть, что в шкафу находится салфетка, вилка, пробка и синяя с рисунками тарелка. Тут же можно видеть и человека: он обыкновенно помещается против шкафа, на руке его всегда надет чей-нибудь сапог, на оконнике всегда виднеется черепок с ваксой; человек этот любит говорить: «ссию минуту», «подаю-с!»; любит рассказать проезжему, сняв с него сапоги, о том, что у одного барина украли шубу в триста целковых, что недавно «у нас» останавливалась генеральша с двумя дочерьми и очень была благодарна; привык он также на вопрос проезжего насчет обеда вытаскивать из бокового кармана писаную карту кушаний, переминаясь с ноги на ногу, внимательно слушать, как барин перебирает эти «бекштесы», «волован аля мушкад», «...с кнелью» и проч., и затем также привык сообщать, что «этого нету», не готовили, потому не требуется, а есть одна солонина; но в особенности любит он забраться к барину в нумер, перерыть в чемоданах, выпить из бутылок с крепкими напитками все, что в них содержится, и растянуться поперек коридора... Все это он делает с человеком, не понимающим, что такое в подворье буфет, нумера и проч.

«Настоящий» посетитель подворья — мелкий уездный чиновник, проезжающий к Троице-Сергию с женой и ребенком, уездный купец, заехавший в город, чтобы посоветоваться с приказным, сельский священник, чтобы посетить консисторию, все они всегда будут довольны подворьем; им не нужно ни буфета, ни карточки кушаний. Исконный проезжающий прямо требует солонину; он невзыскателен насчет грязи нумеров, чашек, тарелок; все это ему знакомо у себя дома; он, напротив, здесь, на подворье, чувствует себя как дома, ему все давно знакомы, все друзья-приятели: он любит расспросить, разузнать, зайти в кухню поговорить с кухаркой:

— Ну что же, Авдотья, как без мужа-то? скучно, а?

Хорошо ему живется здесь. К нему привыкла прислуга и хозяин и знают, как угождать ему.

Проезжающие, наполнившие нумера и общую комнату Гвоздевского подворья в тот день, о котором идет речь, большею частию были не «настоящие» проезжающие, что поставило хозяина, и буфет, и человека в весьма неопределенное положение, почти равномерное тому, которое испытывали и проезжие, укладываемые на голые доски кроватей. Но практический ум хозяина и «понятие» человека выручили их из беды; видя, что в подворье наехал народ «благородный», хозяин порешил прежде всего заламывать за всякую безделицу самые несообразные цены; человек сообразил, что тут надо бросить мужицкие привычки и действовать посредством порций; припомнил он также слова: «по-ганбурски», «с гарниром», выпрямился, вскинул салфетку на плечо и принялся действовать так, что в короткое время все проезжие единогласно вопияли о каком-то, будто бы, дневном грабеже, происходящем здесь.

Между тем к крыльцу подлетали поминутно новые тройки и пары; в коридор и нумера подворья, набитые битком тюками, чемоданами, людьми, входили какие-то новые лица, в черкесских шапках, в остроконечных башлыках, и так же, как и на почтовой станции, громко требовали:

— Лошадей!

— Перевозу нету, вашескобродие! — в миллионный раз отвечал мокрый и запотевший староста. — Лед идет!

— Как лед? Я по казенной надобности!

Всякий новый проезжающий вносил своим появлением новый элемент, несколько разнообразивший вялую беседу проезжего общества. Общество это, несмотря на фактические доказательства невозможности ехать далее, продолжало размышлять на те же вопросы: «Как нет перевозу!», «Что такое лед, лед?» Появление нового лица, его расспросы, почему нет проезду и проч., давали некоторое право на продолжение этих тлетворных разговоров; но едва новый проезжий подзывал человека и приказывал принести себе что-нибудь съесть, как весь интерес нового лица исчезал, потому что и он внезапно начинал толковать о каком-то, будто бы, дневном грабеже, происходящем здесь, то есть становился в разряд обыкновенных проезжающих, решивших уже этот вопрос.

3

Быть участником такого времяпровождения делалось, наконец, совершенно невозможным; некоторые из проезжих торопились лечь спать; мы с купцом выхлопотали себе каморку, где-то на чердаке под лестницей, которая почти загораживала наше окно, и принялись пить чай. Во время этого занятия шли у нас разговоры о разных, имеющих более или менее практический интерес, вещах; наконец мы попробовали спать, но в комнате было жарко, а с дороги делалось просто душно. Кроме того, в коридоре и в соседних нумерах шли беспрестанные разговоры и ходьба, от которой в нашем нумере шевелилась мебель и на самоваре дрожала крышка.

— Однако зверек-то покусывает! — шептал купец, ворочаясь на диване под своей мерлушкой. — Они свежее мясо зачуяли... Ишь! так и рвут шкуру-то!..

Духота, соединенная с непроницаемою тьмою, была вдвойне невыносима. Я зажег свечку и стал курить.

В это время развинтившаяся ручка двери зашевелилась, и в комнату высунулась голова.

Эта голова принадлежала кондуктору.

— Обеспокоил? — как-то вяло проговорил маленький человек.

— Нет, мы не спим...

Кондуктор был в коротеньком и тесном казенном сюр-

туке с светлыми пуговицами; лицо его было усиленно-красно и потно, и страдальческая черта на лбу вылегала еще приметнее, чем днем. Очевидно, его угостил станционный смотритель. Медленно сел он на стул у двери, молча посмотрел на нас и проговорил:

— Покойно вам было в экипаже, молодой человек?

— Очень покойно.

— Н-ну... покорнейше вас благодарю! Я всей душой... Я жизнью своей не дорожу для господ пассажиров. Прикажите чем-нибудь услужить?

— Нам ничего не надо.

— Я обязан угодить, потому мне надо кормить семейство. Господин купец!.. Почивает он?

— Нет, я не сплю.

— Позвольте, что я вам, господин купец, объясню... Я имею шесть человек детей, жена, свояченица... Изволите видеть!.. Я должен жить, получать свое продовольствие... Стало быть, я должен услуживать, угождать... И я готов, перед богом!.. Ну, чем я могу услужить?

— Коли ежели кто желает оказать услугу, он завсегда может это, — проговорил купец.

— Господин купец! Разорваться готов!.. Я, кондуктор, смотрю, как бы не было несчастья... Проезжающий этого не ставит в заслугу! Чем же я могу угодить?

Купец поворочался на диване.

— У меня на всем свете один уголок; в карете келья моя. Меня никто не видит и не замечает. А вы думаете, что кондуктор спит там, в келье-то? Кондуктор в собачий воротник морду свою завернул; стало быть, он храпит? Кондуктор ни дня, ни ночи покою не имеет, господин купец! Кондуктор-то два раза в год семью видит свою, а семья-то растет — есть о чем подумать. Как я сына своего старшего водил в гимназию на экзамен — угодно ли вам знать, легко это мне было? Сколько я не спал ночей?

Мы молчали.

— Я, может, вот эдак-то вот колотился, как господа учителя начали его испытывать: «Что такое рыба?», «Что такое корова?» Извольте видеть! Как вам, легко ли будет, коли ежели вы желаете вашему ребенку благополучия, и вдруг ему этакие слова, что мы не можем дать ответа? Мы, ровно ребята, слезами заливались, как домой шли, когда нас не удостоили на экзамене...

Рассказчик остановился и отер рукавом глаз.

— А почему мы не знаем ответов? Потому, что нам есть нечего! Надо купить книжку, книжка руб серебром. Где я возьму? И остается, следственно, одно — угождать!.. Кому я должен угождать? Проезжающим господам... А чем? И... нечем! И подножки и застежки, — ямщики, староста, смотритель расхватали! Что же должен кондуктор, бедный, нищий человек, делать? Вот кондуктор и начинает трубить в трубу... Кондуктор думает — пусть видят мое старанье! Трубит он что есть духу... а ему: «Замолчи, осел!» Кондуктор прекращает... Он думает, авось этим угодит проезжающим, и молчит в своей конуре.. морду свою в собачий воротник уткнул. А как да в воротнике-то этом вспомнит он все, всякую свою домашнюю беду — вот и начнет он соваться к проезжему: «Угодно вам депешу? угодно вам телеграмму?» Господа! Господин купец, сделайте милость, прикажите услужить бедному человеку!.. Господин купец, не пошлете ли вашей супруге телеграмму? Дайте хлеб!

— Мошка! — произнесло какое-то новое лицо, высовываясь в дверь. — Будет тебе! Пойдем!

Взволнованный своими несчастьями кондуктор при виде появившегося человека притих.

— Это я так, с господами. Спокойной ночи, господа!

Он встал, помялся, что-то хотел сказать, опять сказал: «покойной ночи» — и вышел к товарищу в каком-то раздумье.

Долго еще шумели вокруг нас, долго дрожала самоварная крышка. Наконец все успокоилось...

4

Город N стоит на крутом берегу Оки, окаймленный со всех сторон глухим лесом, который виднелся нам с каждого перекрестка, когда я и какой-то студент, также спешивший домой, на другой день поутру направлялись к реке. Город был большой, торговый. По сторонам улицы виднелись трактиры, постоялые дворы с растворенными воротами; у одних ворот был нарисован на заборе мужик в таком виде: одной рукой он снял шляпу, а другой указывал на ворота, приглашая проезжающих пожа-

ловать туда. Везде, и на улицах и на постоялых дворах, было множество народу. Повсюду котомки, узелки, возвышающиеся на крыльцах лавок, на ступенях кабаков, вместе с разным проходящим народом. Тут плотники, богомольцы, маляры, у которых еще не сошли с сапог и шапки признаки мелу и известки; солдаты с расстегнутыми нагрудниками и с трубками в зубах. Особенно много было народу у самой реки, где на вязком и топком берегу были сложены кучи досок и камня для строящегося через реку моста; здесь же виднелись колья, обмотанные толстым паромным канатом, который лежал тут же на берегу, свернутый большими кольцами.

Мутные волны широкой реки плескали только у берегов, подбрасывая какие-то мокрые плоты и почти наполненные водою лодки. Вся поверхность реки была застлана льдинами; едва колеблясь то в ту, то в другую сторону, тянулись эти серые, иногда рыхлые и синеватые глыбы бесконечною цепью, медленно всползая на острые, окованные железом ледорезы и разламываясь на них; у самой воды, при начале исправляемого моста, стоял какой-то военный с подвязанным воротником и кричал на кого-то. Кто-то, очевидно, был виноват; но кто именно, нельзя было понять, потому что на берегу был сильный и резкий ветер, к которому присоединялся еще шум разрушавшихся на ледорезах льдин. Около военного, имевшего здесь, по-видимому, власть, толпилось несколько проезжающих благородного звания, которые об чем-то очень серьезно рассуждали с ним, озабоченно поглядывая на воду, но о чем они рассуждали — неизвестно. На этих основаниях мы с товарищем ушли отсюда и отправились бродить.

Незаметно миновали мы город и, продолжая идти по шоссе, были привлечены довольно приветливым видом какого-то подгородного сельца. Сельцо это стояло на холмистом месте, было не велико, но и не мало, и от нечего делать мы туда и направились.

В одном из переулков, недалеко от старинной церкви с массивной, рассевшейся оградой, мы увидели домик с вывеской «Школа». На крыльце этого домика сидел худенький старик в полушубке, крытом синим ластиком; на седых, белых как лунь волосах его был надет картуз с широким козырьком; в руках у него была палка. Старик сидел задом к солнцу и, видимо, хотел погреть свою

больную спину. В переулке, защищенном домами, не было ветру, и мы захотели здесь присесть.

— Можно на крылечке у вас отдохнуть? — спросил я старика.

Старик пристально обвел нас тусклыми глазами, туго поворачивая свою дрожавшую голову, помялся и ничего не сказал. Суровый вид и угрюмость, которые резкими чертами лежали на его лице, вовсе не шли к этим тихим сединам его; несмотря на то, что он не ответил нам, мы вошли на крыльцо, сели на лавочке и стали курить. Старик, кряхтя, повернул дрожавшую голову в сторону и не глядел на нас; суровость и грозность поминутно набегали на его почти дремавшее лицо. Несмотря на его преклонные лета, суровость эта весьма была похожа на ту лакейскую гордость, которую любят или любили выказывать дворецкие и другие верные рабы барина, любящие употреблять фразы: «наш барин», «мы», «наше имение». В древние времена, как оказалось впоследствии, он состоял действительно в важных чинах, возможных для раба; когда же надобность в нем миновалась, его отправили караулить школу. Про старика забыли, бросили его; но те черты, которые наложили на его лицо борзые времена и нравы, не могла изгладить даже старость.

Молча сидели мы и курили. Внутри запертой школы кудахтали чьи-то куры. Старик молчал, шептал что-то; палка постоянно шевелилась в его худых, дрожавших пальцах, словно он собирался замахнуться ею на кого-нибудь. И действительно, когда мимо школы прошел какой-то мальчик, старик схватил палку и, стуча ею в пол крыльца, крикнул:

— Я тебе дам слоны слонять!.. Куд-да бежишь-то, пострел? Вот я..

Мальчик, смеясь, глядел на старика и на нас и не спеша прошел мимо; видно было, что угроза эта была знакома ему.

Вслед за мальчиком подошла к крыльцу курица, и на нее старик ополчился:

— Кшь, ш-шельма!.. Эшь шатаются, анафемы, своего дому не знают! Хозяев бы за это бить надо... Управы на них нету, разбойники!..

— Что ворчишь, старик! что шумишь! — панибратски проговорил какой-то человек, напоминавший сельского

писаря, и вошел на крыльцо. — Доброго здоровья, господа! Иду, слышу, старик шумит, думаю, кто это старичку вред сделал? Тебя кто обидел?

— А-а... ты куды хвост-то дерешь? — как-то особенно гневно проговорил старик, быстро повернув к писарю свою сильно дрожавшую голову... — Куды тебя тот-то несет?

— Гуляю.

— Гул-ляешь? Да ты что за гуляльщик такой?.. э? Ты к чему приставлен? к делу приставлен аль к гулянью?.. э? Н-нет управы на вас... Н-нету! Кабы при покойнике барине, царство ему небесное... т-тэк он бы тебя! т-тэк уж он бы!..

— Что ж бы он мне сделал?

Старик как будто задохнулся от негодования; голова его тряслась еще сильнее; он жадно и гневно смотрел в смеющееся лицо писаря и вдруг произнес:

— Кнутьев? а? Что́ бы-ы?.. А кнутиков горячих сотенки две, поболе? э? л-любо? Не х-хочешь?

Писарь тихо улыбался, покачивая ногой.

— За что ж это кнутьев-то? — сказал он.

— Вот те и за что!.. За то вот, что... ременных бы тебе вожгли! У него, у барина-то, может целый полк с кнутьями-то был. Завсегда при нем... Едет. Мужик попадается. Грязь на дворе, а у мужиковой лошади хвост не подвязан. «Почему хвост не подвязан? (Тут старик помолчал.) — Кнутьев!..» Едет в сухую погоду, видит у мужиковой лошади хвост подвязан: «Почему хвост подвязан? — Кн-нутьев!..» Т-эк он бы тебя... Почему ты шатаешься?

— Устал. Отдыхаю.

— Устал? Засыпать ему.

— Что больно много? — сказал писарь, перестав улыбаться.

Старик долго еще горячился и выкрикивал слова: «задрать», «горячих» и проч., замахиваясь и стуча палкой; но мало-помалу он успокоился, хотя руки его не переставали сжимать палку и голова все еще тряслась от гнева.

— Нынче это прекращают! — сказал, наконец, писарь. — Нынче на этот счет очень сокращено душегубство-то!

— Хуже! — резко и решительно сказал старик.

— Почему так?
— Много хуже!
— Да чем хуже-то? Хуже, хуже, чем хуже?
— И-и... и даже много-много хуже... Облюдело!
— Чего это?
— Облюдело! Слышишь, ай нет? Места мало, народу нивесть сколько стало. Друг дружку едят! Бог прогневался... Цветов, трав — нету... Сгасли!.. Бывало, какие цветы-то — нету теперче ни одного! Бог прогневался... В старое время бросишь палку на голую землю, к утру она вся в траве — эво, какая трава была... Нету ничего! Хуже, и совсем ничего не стоит.
— Ну, это ты пустое говоришь!
Старик опять начал сердиться.
— Я свое дело говорю!.. Я, брат, восьмой десяток живу, а не пустое!.. Ну что же, хорошо это, — вдруг оживляясь, заговорил он: — мать за сына в темной сидит? видано это когда?
— Не дерись! нонче, брат, строго.
— И не может мать своего сына, сатану, учить?..
И опять старик пристально уставил на писаря гневные глаза.
— Не в том вещь, — коротко сказал писарь, от которого мы с любопытством ждали объяснения этого факта, так возмутившего старика: — ты, старичок, спину греешь, много не смыслишь.
— Ды-ть, родная она ему чать, ай нет, звери вы!
— Я говорю, не торопись... Прожил ты много, а не все вызнал. Чуточку тебе еще вызнать осталось.
— Тьфу, чтоб вам!
И старик более не говорил. Писарь обратился исключительно к нам.
— Многие не понимают порядков-с!.. Так вот иной шумит, шумит, а что такое? Дело точно что было, посадили одну женщину в темную, ну только это на том основании, что самовольно она сына изуродовала... Нонче этого нельзя. Первым долгом, в настоящее время, надо подавать жалобу... Коли ежели бы она пришла к господам судьям да попросила бы их: «Прошу вас наказать моего сына, я женщина слабая, не могу сына моего сама выучить... удержать, например, не в силах от пьянства», — ни слова бы ей никто не сказал!

Надобно первым долгом доложить, спроситься... А то, эвва, начала его трепать самовольно... Надо сказать суду!

— Нет, кабы баррин... Он-н бы те... — ворчал старик.

— Н-ну, нет, брат; нонче барину твоему тоже вышла бы какая следует статья... по положению... — самодовольно проговорил писарь, закладывая ногу на ногу. — Довольно, брат! Нонче, брат, Европу стараются водворить... а не по-свински!.. Сначала поди-ко доложи, да спросись... а потом бей! Да и то оглядывайся, как бы самого не чесанули... Так-то!

Старик не отвечал, но гневно смотрел в сторону, ища бегавшими глазами какого-нибудь предмета, на который бы можно было ополчиться. Писарь, очевидно, стоял за современность и Европу и был, видимо, доволен.

5

Не успели мы познакомиться с консервативным и либеральным элементами села N, предъявленными нам в лице старика и писаря, как нам пришлось познакомиться и еще с новою личностию. С крыльца довольно чистенького домика, находившегося против школы, спустилась какая-то фигура без шапки и осторожными шажками стала приближаться к нам.

— Наставник! — сказал писарь.

Наставник, в легкой ряске, шел вместе с маленькой девочкой, держа руки в карманах своего костюма. При появлении его у крыльца писарь почтительно раскланялся, а старик, кряхтя и опираясь на крылечные перилы, поднялся с своего сиденья и снял шапку.

— Накрывайся, накрывайся, старик! — мягким, жирным дискантом проговорил наставник. — Здорово, Андрей Ильич! — сказал он писарю и пристально поглядел на нас тем взглядом провинциала, который является у него только при появлении нового лица и в котором ясно видно борение двух вопросов: «не ревизор ли это новое лицо» и «не покровитель ли оно, не благодетель ли»? Завидев этот взгляд, мы тоже поклонились наставнику.

— Кто такие будете? — тихо и осторожно спросил он, и в голосе его ясно слышался вопрос самому себе: «как бы не влететь...»

— Проезжающие...

— Да-да-да! Полая вода... перевозу нет... да-да-да! Откуда изволите?

— Из Петербурга.

— Да-да-да!

«Как бы не влететь», — еще явственнее выражалось на полном лице наставника, напоминавшем нечто женственное по мягкости лица и форм. Да и вообще в фигуре его, телосложении и манерах было много женственного.

— Что же это вы тут?.. Со старичком?

— Да вот, сидим, слушаем.

— Ветх старец-то! Ветх!

Наставник помолчал, подержал руку на темени, в которое било уже ярко и горячо разгоревшееся солнце.

— Так со старичком более? — сказал он. — А у меня в школе-то, признаться, непорядок... Так я и думаю, не насчет ли школы вы?

— Нет-с, мы так... гуляли...

— Да!.. Школа-то у нас в порядке, только что средств недостаточно... Вы по какому министерству?

— Я учитель.

— По народному просвещению! Очень приятно. Да не пожалуете ли в горницу? Что же вам на ветру?

Мы согласились с удовольствием.

Вместе с нами отправился и писарь.

— Очень приятно! — говорил наставник, идя впереди нас. — Настя! Скажи-ка матери, пусть там... — сказал он девочке, бывшей с ним.

Та бегом побежала вперед.

Несмотря на то, что звание наше, объявленное нами наставнику, не могло быть ни вредным, ни полезным для него, тем не менее мысль, что «авось пригодится» или «ну-ко да что-нибудь случится», повидимому не оставляла его. Мне часто приходилось встречать в глуши это настроение и этот взор, ожидающий или Ивана-царевича, который придет в виде нищего к бедному мужику и обогатит; или ревизора, который сначала будет поддакивать провинциалу, закусывать у него, да вдруг и съест.

По всей вероятности, только такого рода соображениями руководствовался наставник, приглашая нас к себе; а он, видимо, был из числа тех ожидающих, которые боятся ревизора.

Мы вошли в чистенькую комнату, обставленную самым обыкновенным образом. Над окном чирикал чиж; на подоконниках стояли какие-то цветы, из которых иные сохранялись под опрокинутыми стаканами; на стене — картинки: Серафим, Саровский пустынник, стоящий под елью на камне; Осип Иваныч Комиссаров-Костромской с надписью: «а ныне дворянин»; на треугольном столике в углу — требник, крестный календарь, какие-то книжки светского содержания, каких обыкновенно не встречаешь нигде, например «Политическая экономия для служащих», «Поучение в сырную седмицу господам офицерам ...ского пехотного полка о чревонерадении».

— Прошу пожаловать! — сказал наставник, введя нас в горницу. — Андрей Ильич, — сказал он писарю, который, поглядывая на свои ноги, мялся в двери: — что же ты? Сию минуту-с! На минуточку! — прибавил наставник, спихнув кошку со стула, и удалился в соседнюю комнату. Рядом с писарем сел на стуле сын наставника, мальчик лет двенадцати; костюм его — сюртук, жилет и даже манишка — напоминали разодевшегося лакея. Разговоры между ним и писарем происходили шопотом.

— Ты что за шапку дал? — спрашивал мальчик.

— Руб!

— Хочешь, я за гривенник куплю?.. Не веришь? Давай об заклад!.. Ну?..

— Ну тебя!..

— Нет! Давай, об чем?

Наставник снова появился в комнате.

— Что это вы изволите? — ласково спросил он, подходя к моему товарищу, который перелистывал какую-то книгу. — Календарь любопытствуете? хе-хе!.. Врет!.. Весьма фальшиво показывает.

— Не утрафишь на всех-то! — сказал писарь.

— И то, пожалуй... Кому как... И то справедливо... День на день не приходит.

Отвечать было нечего. Наставник вынул платок, табакерку, медленно принялся раскрывать ее, похлопывая

пальцем по крышке, и, смотря вверх, почему-то со вздохом говорил:

— Не приходится день-то в день.

Тема, предложенная на всеобщее обсуждение, была весьма не плодовитая. Наставник тотчас же понял это, и так как он был «на всяк час готов», то и перенес суждения свои на другой предмет.

— Так со старичком более? — необыкновенно ласково обратился он к нам.

— Да-с!.. посидели...

— Ветх! Ветх деньми старец!..

— Серчает на новые порядки, — сказал писарь.

— Серчает? хе-хе... Ну, да ведь и года его... Да ведь и в самом деле, порядки, порядки, а как угодно... тяжеловатые порядки!.. Это действительно, надо правду сказать, что... тово они... порядки-то...

— Строгое время стоит! — сказал писарь.

— То-то и есть, друг, время-то строговатое!. Время-то, братец ты мой, не прелюбезное, время-то недоброхвальное!.. Все не так, не в лад... Вон по нонешнему времени-то, уж что такое курица? а я должен за семью замками держать, да замок-то купи, да человека найми. Все из кармана! Вот то-то! Курица, курица, — а тоже, поди-ко, подумай!..

Наставник энергически расправил платок, так же энергически скомкал его и тронул им нос с одной и с другой стороны...

— Нет, в прежнее время простей было, — продолжал он. — Доверие было... Признательнее был народ... Нонче, брат, ежели к тебе на двор забежал цыпленок, — ты его и рассмотреть не успеешь, чей, мол, а уж за ним сто человек бегут... Да и к мировому не угодно ли прогуляться. А бывало, забежит, свернешь ему голову и съешь, и — ничего!

— Как же это можно чужому цыпленку голову свернуть? — спросил мой товарищ.

— Да я почем знаю, чей он! Он на моем дворе или нет? Коли ты птицу держишь — гляди за ней... И мой забежит — и моему свернут голову.

— Уж это без сомнения! — прибавил писарь.

Сожаление о золотом времени взаимного поедания цыплят не представляло для меня надлежащего ужаса

на том основании, что мне приходилось слышать вещи более эффектные и до того невероятные, что им никто не поверит. На этих основаниях я не счел нужным входить в разговор, будучи вполне уверен, что наставник предъявит кое-что еще, несколько покрупнее, из своей нравственной философии.

— Н-да! — произнес писарь, качнув головою, — в нонешнее время действительно, что курица дороже человека.

— Д-дороже! Много!.. Да что такое человек? Ну, что я такое, например? Жил, жил — народил детей. Умри — оставить нечего!.. Перед богом! Может быть, там что-нибудь и есть, — ну, да что это? пустяки! А ведь обязанности-то, изволите видеть, какие, вот у меня две дочери... Обязан я их пристроить? Теперь сын, — сертучишко, сапожишки, шапчонку надобно ему? Так или нет-с?

Мы сказали, что так.

— То-то и оно-с! Н-нет, как можно!.. А вы вот, господа, научите нас, простых людей, как тут быть... Мы вам спасибо скажем.

Научить мы не могли и отказались. Наставник засмеялся и смягчился.

— Нет, в самом деле, — сказал он, — вот вы из Петербурга, все авось что-нибудь посоветуете... Хочу я, признаться, о воспособлении попросить. Учрежден, изволите видеть, комитет, из коего назначают, милостивые государи, вспомоществования или воспособления учащим в виде единовременной выдачи. Как вы посоветуете?

— Прошение подать надобно, — сказал писарь.

— То-то, прошение ли? — обратился наставник к нам, недоумевая.

— Должно быть.

— Гм... Да. Прошение... Ну, а в том случае, ежели рвение мое не будет уважено воспособлением, могу ли я, без опасности, помощника просить? Дескать, десять лет состою на должности, но сил моих нету...

— А много у вас учеников? — спросил мой товарищ.

— Да это учеников-то найдем как-нибудь... Не бог весть... Это мы как-нибудь... Я веду речь к тому, что не известно ли вам, не слыхали ли как-нибудь в столице-

то, какое количество учащихся потребно, дабы выдано было воспособление? Или бы на помощника?

— Нет, не слыхали.

— Гм! Были слухи, будто бы комплект двести учащихся. Ну, предположим, я до пятисот младенцев обозначу, могу ли я в то время претендовать без опасности? Даже, предположим, я и до шестисот обозначу младенцев?

— Зачем же вам помощника-то? ведь учеников не бог весть? — сказал мой товарищ.

— Не в том!.. Помощника не помощника, а все бы я охотнее пятьдесят-то целковых в карман положил. Годится!.. Вот расчет в чем... Помощником-то я бы вот сынишку зачислил... Так как же, господа? Не присоветуете?

Мы ничего не могли присоветовать.

— Не знаете? Гм.

— Первым долгом прошение! — повторил писарь.

Наставник пытливо поглядел на него сбоку, придерживая рукою подбородок.

— Прошение? — повторил он. — Ну, предположим, и прошение. Превосходно, а ну-ко да придерутся? Ведь нонешний народ-то «лукав и преогорчаваяй»?

— Придраться могут. Время строгое! — сказал писарь.

— Вот то-то вот! Ну-ко да намылят шею-то? Прошение, что такое? Подать можно; отчего не подать. А ну-ко да вцепятся? То-то, брат! Мне и самому частенько-таки в голову забредает... — сем, мол, куда-нибудь прошение. попрошу... авось... Иной раз даже и очень тебя буровит: «подай! подай!» Ну, боюсь! Время лютое. Кажется, и ничего бы, а боишься.. Кажется, и резоны есть, и законные основания, а подумаешь... и неловко! Возьмем, например, хоть бы школу эту. Первое дело — староста дров жалеет, следовательно, есть предлог не пойти. Резонное дело. Второй пункт — училище есть дело благотворения — хочу иду, хочу нет. Можно, стало быть, и совсем не утруждаться и возложить дело на помощника. Кажется, чего бы лучше? Какие еще могут быть резоны? Хорошо. Вот и думаю я: сем помощника попрошу? Селение многочисленное, и, следовательно, все права я имею на помощника.

И главное имею в расчете-то, что деньгами выдают на помощника. Ну, и затеешь просьбицу... все целковых тридцать, думаю себе; и затеешь черничок, да вдруг как влетит в голову-то «придерутся», и сядешь! Что будешь делать! Времена тяжкие! Все не в лад!

Наставник со вздохом обвел нас грустным взором, тревожно потер ладонями колена и присовокупил:

— А что это вы говорите — прошение, то действительно: иное время не знаешь, куда деться, так тебя и сует: «подай-ко владыке! подай в земство! подай совету!» Так тебя ровно кто по голове молотит да приговаривает, потому есть резоны. Н-ну, робок! Кажется, и не с чего, а пугаюсь... Время не то!

И наставник глубоко задумался.

Все это он говорил необыкновенно нежным дискантом, достаточно смягченным в глубине жирного и короткого горла. При помощи этого умилительного голоса и обворожительных манер, напоминавших, как уже сказано, нечто женское, престарелый пастырь предъявил публике еще несколько подобного рода суждений, от которых «свежий человек» легко мог бы растеряться, если бы принял в расчет, что суждения эти высказываются при посторонних, в которых, быть может, скрываются ревизоры. Что же, стало быть, хранится в тайниках души этого наставника? какого свойства те соображения, которые высказываются в семье с глазу на глаз, без свидетелей?.. Наслушавшись таких соображений, мы взялись было за шапки, как наставник торопливо побежал к окну, завидев кого-то на улице, и почти с благоговейным испугом произнес:

— Иван Абрамыч! управляющий... нашей барыни!.. генеральши!

Писарь кашлянул и выпрямился, выказав попытку к бегству, но наставник сказал ему:

— Куда ты? ничего!..

— Разбойник первой степени! — шепнул он нам, торопливо оправляясь, и, превратив свое испуганное и за минуту грустное лицо в умиленную улыбку, поспешил к дверям, чтобы встретить «разбойника».

Управляющий был человек лет сорока пяти и обладал манерами, в которых виднелась какая-то умышленная увесистость, желание вести себя по-генеральски, то

есть многозначительно наклонять голову, снисходительно благодарить за предложенную спичку и в то же время внушать собеседнику страх. Завидев чужих людей, управляющий вопросительно взглянул на наставника, который тотчас же весьма кротко произнес: «из Петербурга», кашлянул и взглянул вверх. Осанка и манеры управляющего достаточно свидетельствовали о его понимании света и людей; поэтому читателю будет ясно, что фраза «из Петербурга», подвергнутая влиянию этого понимания, заставила управляющего показать себя перед нами во весь рост. Вследствие этого и были предъявлены публике нижеследующие слова и мысли.

После нескольких визитных фраз о здоровье супруги и деток, о половодье разговор перешел на настоящее время; управляющий поднял высоко голову и, поглядывая заискивающими глазами на слушателей, как это делают профессора, довольно мелодическим голосом произнес:

— По моему разумению, я так полагаю, старинные порядки надо выбросить, как мусор из грязного ведра. Не так ли?

Управляющий посмотрел на слушателей, сидевших справа, и потом на сидевших слева.

— Не так ли? — прибавил он.

Все изъявили полное согласие.

— На том основании, — продолжал управляющий,— что повсюду пошел новый дух и формат. Для того нам требуется, чтобы все, как бы сказать, повернуть против прежнего. Будем говорить так: я погноил двести пудов сена, предположим. Зная науку, я не должен этого опасаться, потому в то же время я получаю удобрение. Справедливо ли?

— Да уж... Это действительно что... вполне! — соглашаясь, пробормотал наставник.

— Следовательно, я должен вводить новый порядок, фасон... Телеги у меня будут ездить в поле с нумерами... Далее: устраивается деревянная башня для обзору, а равно и для набатов. Еще-с: теперь, даже сию минуту, поспевают моего изобретения грабли. Изволите видеть?

— Истинно хорошо! — сказал наставник в умилении. — До чего дивно, так это даже и... и... Водочки не угодно ли?

— Благодарю. Следовательно, мы уже не можем оставаться при старых порядках; тем более что я с работника моего могу стребовать самую последнюю каплю; ибо, коли ежели да при реформах. так ведь я его, шельму.

Но тут управляющий остановился; профессорское выражение его лица, умягченное притом сознанием собственного достоинства, вдруг, почти мгновенно, изменилось самым неожиданным образом: скулы лица как-то перекосились, и слово «шельма» едва пролезло между сжатыми зубами. У оратора на мгновение захватило дыхание; он медленно опустился на диван и алчными глазами смотрел на нас и на наставника.

В комнате настала минута оцепенения. И наставник, и писарь, и мы некоторое время как-то тупо смотрели по разным углам, испытывая над собою что-то весьма неопределенное и очень тягостное.

Управляющий молча курил сигару, довольный каталепсией слушателей, произведенной его речами.

— Как вы полагаете, — обратился он к наставнику,— какого бы цвета флаг на башне повесить?

— Да уж зеленого, я думаю...

— Да так ли? Ловко ли будет?

— Превосходно, то есть уж... И к тому же казна предпочитает...

— Казна? Гм...

Поговорив еще минут пять в этом роде, управляющий величественно поднялся с дивана, почтительно раскланялся с молчавшим обществом и удалился. Мы собрались тоже уходить, ожидая возвращения наставника, который почти на цыпочках провожал своего гостя, бормоча необыкновенно заискивающим голосом: «приступочек. лесенка... ножку! Будьте здоровы. Дай бог вам!»

— Сущий разбойник! — каким-то зловещим шопотом заговорил наставник, торопливо возвращаясь в горницу и оглядываясь на дверь. — Разорил, всех разорил! И барыню-то оплетает! и ее по миру пустит... Этакого злодея, этакого змия...

Наставник в волнении ходил по горнице.

— Что же вы барыне не скажете? — спросил мой товарищ.

— Сохрани меня царица небесная! З-защити меня бог! Что вы? Да он меня и со всей семьей-то в гроб вго-

нит... Что вы это? Как это можно? Этакого игемона, этакого душегуба...

— Вам же хуже!

— Мне? Я его другим манером свергну... Он мне зла много сделал... много! Ну, и я ему порадею... Я напрямик не пойду, а мы набросаем терминку-письмецо в Тифлис генеральше Палиловой.. она нашей барыне родня; а она тайными путями даст знать в Пермь, к родной сестре нашей-то владетельницы, а та уж ей... Так оно как будто бы и неизвестно мне. Уж я ему! А прямиком нет: он злодей, злодей, а все пригодится... У меня семейство... Мне лично следует не ко вреду его поступать, но к пользе...

Наставник до того увлекся планами свержения управляющего в пользу собственного семейства, что не удерживал нас, когда мы окончательно собрались уходить.

— Куда же вы-с? — спросил он как-то вяло, и в глазах его виднелась посторонняя мысль. — Ну, счастливого пути... Дай бог вам!.. Поедете обратно, милости прошу!.. приступочек... Ваня! проводи господ от собак.

Франтовитый мальчик лениво пошел рядом с нами.

— Вы в семинарии учитесь? — спросил мой товарищ.

— Да...

— Что же у вас, как теперь там?

— Обыкновенно. Что же может быть тут интересного?

— Очень много. Например, чем вы занимаетесь?

— Что же может быть тут интересного? Обыкновенно.. Вы эту палку где купили?

— В Петербурге.

— Много ли дали?

— Полтора целковых.

— Э-эх вы! — укоризненно сказал мальчик. — А еще из Петербурга. Хотите, я вам такую палку за гривенник куплю? Угодно вам? Вы не верите... Не угодно ли об заклад? Угодно?

— Нет, зачем же.

— Ну, хорошо. Если я вам такую палку куплю за гривенник, вы свою мне отдадите?

— У меня ведь есть палка. Зачем же мне?

— Да вы передали. Я их — всех лавочников знаю.

Копейки и гривенники сыпались из детских уст

довольно долгое время, но мы уже не слушали этого приятного лепета и не заметили, как проводник наш отстал.

На крыльце школы попрежнему сидел старик и замахивался палкой на какую-то деревенскую бабу, которая с ребенком на руках тихо шла мимо него. Баба была неряшливая, грязная; грубый холст ее костюма и тряпки, в которые был завернут ребенок, были до того грязны, что казались вымазанными сажей. Баба даже не улыбнулась на угрозу старика: по лицу ее видно было, что она едва ли и слышала ту угрозу — она тихо и задумчиво шла босыми ногами по сырой тропинке, укачивая ребенка, и на голос: «вырастешь велик, будешь в золоте ходить» — пела самую отчаянную, даже ужасную песню, в которой, между прочим, было:

Я поставила кисель
На вчерашней на воде...
Как вчерашняя вода
Ненакрытая была:
Тараканы налакали,
Сверчки ножки полоскали...
Накрывала полотном,
Паневеночкой худой...
Паневеночка худая
Под ребеночком лежала,
Ровно три года гнила...

В каких ужаснейших условиях народной крепостной жизни могла сложиться такая ужаснейшая песня?

Баба долго шла за нами и долго пела эту песню.

Больше нам незачем было ходить по селу. Мы случайно познакомились со всеми партиями общества села N. Видели мы ретроградов, одиноко умирающих в одиноком уголке, с сожалениями о ременных кнутьях покойника-барина; видели более молодых представителей этого направления, имеющих виды «на воспособление» своим попыткам к безответному захвату чужих кур, ожидающих даже признательности от авторов ужасной песни. Видели либералов, рекомендующих сначала спроситься, а потом уже оторвать голову чужой курице. Видели даже крошечных подростков, которые, произрастая под охраною всех вышеизложенных направлений и взглядов, далеко превосходят своих учителей, ибо чуть не с дет-

ского возраста знают уж, где можно купить хорошую палку...

Больше нам нечего было видеть, и мы пошли на подворье.

6

Между проезжающими, собиравшимися на Гвоздевском подворье, было заметно сильное уныние, даже некоторое отвращение друг к другу. Тот человек, который называется «попутчик», — хорош, даже незаменим никаким другом, если сходишься с ним на минутку, на полчаса, за чайным столом на одинокой почтовой станции; дорога, берущая проезжего человека под свою защиту, помещающая его между теми безобразиями, от которых бежит человек, и теми, к которым он стремится, властительно освобождает его душу от этих безобразий; обставляет его далекими полями, глубокими снегами, лесами и густит в сердце его все, что уцелело в нем своего, дорогого, все, что осталось в нем после расплаты с тем, от чего бежит он. Ни с кем из соотечественников моих — ни с мужиком, ни с купцом, ни с чиновником — нельзя ближе сойтись, ближе узнать его и, большею частью, полюбить его, как в дороге. Попутчик теряет свою прелесть, как только, доехав до места, расстанешься с ним и на другой день увидишь его идущим с портфелем в палату или сидящим в лабазе. Не узнаешь его в эти минуты, и не хочется как-то узнать его. Приятные отношения попутчиков коротки и скоропреходящи на том основании, что «за расплатою» у них остается очень немного, — мелочь, которая приятно расходуется на первом постоялом дворе за самоваром, и потом уже ничего не остается; остается, правда, возможность предъявлять те мысли и суждения, какие предъявил нам управляющий, наставник, старик и проч. Но не всякому охота делиться этими мыслями, особенно в дороге.

Поэтому-то на Гвоздевском подворье и царствовало всеобщее уныние. Общество, собравшееся здесь, хотя и могло выражаться несколько грамотнее наставников и управляющих, но, будучи еще так недавно связано приятными отношениями попутчиков, не хотело портить этих отношений заявлениями, свойственными откровенности

простых, необразованных людей; все же, что было *своего,* — все это было переговорено несколько раз и надоело. Интересы общества снова было направились к разрешению вопросов: «Почему нет перевозу?» — «Так нет перевозу-то?», но и это опротивело. Настала какая-то друг к другу апатия, которая как эпидемия охватила вместе с проезжающими и коренных обывателей подворья; староста уже не дрожал перед проезжим, громко кричавшим, что у него казенная подорожная: он развалился в коридоре на полу и спал, отрывисто и небрежно отвечая спросонок: «Нету проезду; больше ничего». «Человек», выказавший вчера столько энергии, стоя у буфета, спокойно обгладывал какую-то кость, несмотря на то, что из разных пунктов раздаются возгласы: «Когда же это, наконец? Человек! Что же это такое? . .»

— Подождешь! — говорил он, обглодав кость, и лег на коник спать. Точно так же поступала и прочая прислуга, старавшаяся более забраться на печку и отдохнуть, нежели угождать.

Дух корыстолюбия, овладевший вчера хозяином Гвоздевского подворья, теперь исчез под влиянием довольства и всеобщей апатии. Пожилой хозяин с румяными щеками, вследствие приятельской выпивки, сидел в своих покоях с несколькими приятелями и приготовлялся слушать соловья, которого только что принес какой-то черный худой человек.

— Ну-ка! Вань! — говорил хозяин, — тронь вилочкой-то! . .

Ваня дергал вилкой об столовый ножик. . .

Соловей копошился внутри клетки. . . Слушатели безмолвствовали. . .

— Ну-кося. . . еще! . . — задохнувшись, шептал хозяин.

— Господин хозяин! — кричал проезжающий, вбегая, — сделайте одолжение! Что это такое? Никого не дозовешься! . .

— Будьте покойны! . . Пожалуйте в горницу. . . Сию минуту пришлем!

— Пожалуйста, что это? Это чорт знает что такое!

— Не извольте беспокоиться! Пожалуйте! Ваня! тронь!

— Принесло лешего!.. — говорили слушатели... — Совсем было соловей-то задумался... Чтоб ему!

— Ваня! тронь... Шарманку тронь... раззадорь!..

Раздаются пискливые звуки маленькой шарманки.

— Вилочкой! Илья!.. возьми вилку-то!..

— Это чорт знает что такое! — влетает новый проезжий.

— Будьте покойны!.. пришлем!

И так далее. Апатия всех ко всем увеличилась, по мере приближения к вечеру, до того, что никто не хотел ни идти, ни звать, ни услуживать, ни сердиться. Все осовели и легли спать. Но и спать никто не мог и не хотел.

Наконец на следующий день, рано утром, по коридору подворья шел какой-то человек и громко говорил:

— Господа! пожалуйте! Перевоз открыт! Река очистилась!..

Началась возня и суматоха. Все проезжающие, толкая друг друга, бросились с мешками и чемоданами из своих нумеров; на дворе звенели бубенцы и звякали колокольцы под дугами, вскидываемыми на лошадей.

Погода была пасмурная. Мелкий дождь моросил не переставая. Поверхность реки очистилась, но на средине ее все еще виднелась узенькая, словно пена, полоска мелких льдин. На берегу была грязь, достаточно взмешанная лошадьми, колесами, людьми. Народ толпами валил с берега в большие лодки, в которых начальство распорядилось перевозить проезжих.

— Осторожней, господа! Сделайте милость, не вдруг!.. — кричал кто-то с берега, но его не слушали.

Шум и гам были значительны.

— Отчаливай!.. С богом! — послышалось наконец.

Один из гребцов, натуживаясь, отпихнулся от берега; лодка наша как будто осела книзу и поплыла.

Весла работали неутомимо; проезжающие большею частью стояли и молча смотрели на воду. Дно лодки было завалено тюками, чемоданами, шляпными футлярами, зонтиками. По всем этим предметам весьма нетвердыми шагами похаживал какой-то мастеровой и звал какого-то Сеню.

— Сень! — шептал он, проваливаясь между чемоданами.

— Ты, брат, поосторожней! — говорили ему.

— Будьте покойны. Сень!.. — продолжал он бормотать и вдруг грузно шлепнулся в какую-то яму между чемоданами.

— Послушайте, что же это, наконец? — сердито проговорило несколько голосов. — Ведь это чорт знает что такое?.. Ведь этак можно перевернуть лодку?

— Будьте спокойны!.. — слышалось из глубины чемоданов, где ворочался мастеровой...

— Лёжи! — сказал ему Сеня, — не шевелись!

— Пам-милуйте...

— Лёжи, говорю!

— Никто не смотрит! — обиженно говорил какой-то господин в клеенчатом картузе, с испитым, хотя и не старым лицом. — Ни один шаг ваш не обеспечен так, чтобы вы могли быть покойны за свою жизнь...

— Действительно! — отвечали ему. — Бог знает что такое! Ведь он нас мог всех опрокинуть...

— И кроме того, сам народ положительно лишен какого-нибудь понимания! Не говорю о вежливости... Тут, как хочешь, невольно предпочтешь сторониться от всего русского...

Ответа на это не последовало. Молодой человек в клеенчатом картузе был слегка взволнован.

— Я объехал всю Европу, — сказал он, не обращаясь собственно ни к кому, — и решительно не припомню ни одного столкновения, даже с грубою массою, которое бы не оставило во мне более или менее приятного впечатления... Однако, — вдруг обрывая речь, быстро проговорил он,— посмотрите, на том берегу только две кареты... А нас, пассажиров, по крайней мере на шесть дилижансов?

— Как-нибудь, там... — сказал было кто-то, но тотчас же прибавил: — Кондуктор! Послушайте, куда же нас денут? там две кареты?

— Должна быть депеша! — робко произнес кондуктор, находившийся здесь же. — Мы даем телеграмму... телеграфируем.

— Должно быть, там депеша! — заговорили в толпе. Клеенчатый картуз пристально смотрел на ничтожное количество дилижансов, видневшихся на берегу.

— Потому мы желаем угодить проезжающим! — шептал кондуктор. — Нам тоже хлеб надо.

По мере приближения к полоске льда, тянувшейся посредине реки и оказавшейся довольно широкою, гребцы дружнее принялись за весла; лодка понеслась и с шумом, на всем ходу, перервала эту цепь льдин, царапавших ее бока.

— Слава богу! — сказали все.

Скоро мы были на берегу. Депеши никакой не оказалось. Дилижансов было только два, — а с той стороны перевезти не было возможности. Какой-то приказчик от конторы почтовых карет ходил с бумажкой и карандашом в руке, говорил «будьте покойны», подходил к каретам, опять говорил «не извольте беспокоиться. . .» и опять шел куда-то. Очевидно, он отыскивал смысл в собственных своих поступках; но так как усадить тридцать шесть человек в две кареты было невозможно, то весьма ясно было видно, что смысла в своих поступках отыскать для него было очень трудно, даже невозможно. Не желая долее оставаться в области бестолковщины и имея в виду тот резон, что мы, то есть купец, я и другие пассажиры нашего дилижанса, ждем перевоза почти два дня, то есть более других дилижансов и пассажиров, приехавших после нас, мы заняли свои места в первом попавшемся дилижансе и, ожидая ямщика, слушали, какая идет перепалка из-за мест между тридцатью остальными пассажирами.

Вдруг сбоку нашей кареты появилась фигура в клеенчатой шапке, объехавшая Европу. Господин этот посмотрел сначала на меня, потом на купца и проговорил:

— Господин купец, я бы вас попросил уступить мне место.

— Самим требуется...

— Что же это, наконец? Требуется! Я деньги заплатил за внутреннее место, должны же мне дать хоть наружное-то?

— Мы тоже не задаром едем... Ты иди к своему месту...

— Я с тобой вежливо говорю...

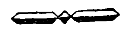
— Ды-ть и мы тебе отвечаем вежливо! Кто ты такой — я не знаю... Говорю, деньги заплачены... Ищи своего места... Я на своем сижу.

— Я уступил даме! понимаешь ли ты, невежа! Слышишь или нет! Женщине уступил, свинья ты этакая!

— Понимаем, да ты не больно ори-то... Я не погляжу, что ты барин-то... мы деньги...

— Кондуктор! Кондуктор! — завопил барин. — Господин кондуктор!

И при шуме начинавшегося скандала дилижанс наш тронулся в путь.



IV. СТАРЫЙ БУРМИСТР

1

— Ишь вон, ноне какие порядки-то, — эва-а!.. Вот так богомолец: идет на богомолье, а в обоих карманах по штофу водки! Паа-аррядок! Уж нечего сказать, хорошие пошли порядки!

— Господи, — воскликнул один из моих спутников, — опять «порядок»! опять о «порядке», опять «порядку нет»! И в поле-то, и в лесу-то нет покоя от этих разговоров!

Действительно, дело было в чистом поле.

Два гимназиста, гостившие в деревне у родственников, сельский учитель и пишущий эти заметки в один славный летний вечер шли путем-дорогою, направляясь вместе с другими богомольцами в один из тех маленьких, третьеклассных монастырей, которых так много в Новгородской губернии. Шли мы берегом реки Волхова, по старой Аракчеевской дороге, густо обсаженной березником,— шли, наслаждаясь самым процессом ходьбы, молчанием дороги, молчанием реки. Все мы, отправляясь пешком на богомолье, делали это в видах отдохновения от разговоров об этих «порядках» и «непорядках», которые уже достаточно истомили нас в столице. И вот, едва только мы «разошлись», только стали входить во вкус физического утомления, как опять уже преследует нас мудрствование какого-то богомольца, похожего на старого отставного солдата, мудрствование, как нам было хорошо известно, всегда почти бесплодное.

Дело в том, что толки о порядках и непорядках, а вместе с толками и бесплодность их, в настоящее время составляют не только достояние столичной, газетной или

журнальной беседы, но сделались необходимейшею принадлежностью и всякого деревенского разговора. Если вы разговариваете не о хозяйстве, не об умолоте или урожае, то, наверное, ваша деревенская беседа идет о «порядках и непорядках», причем бесплодность этой беседы в деревне для вас, постороннего человека, осложняется тем важным обстоятельством, что, во-первых, сами вы посторонний деревне человек, крайне мало понимаете условия народной жизни и иногда в целых, повидимому весьма убедительно произнесенных, тирадах не можете видеть ничего, кроме бессмыслицы; а во-вторых, — и это главным образом, — тем, что разговаривают о порядках и непорядках большею частию старики, люди, у которых было известное, определенное прошлое и которым судьба судила дивоваться на нечто новое, крайне разнообразное и многосложное. Судите же теперь, в какой мере может быть плодотворна беседа, если один из беседующих не понимает ни точки зрения собеседника, ни его языка, а другой старается разобрать новые, совершенно ему незнакомые, небывалые для него явления, руководствуясь только старою точкой зрения. Послушайте, для примера, о чем говорят вот эти две старухи, сидящие вечерком на завалинке.

— Нониче, — почему-то укоризненно говорит одна из них, — нониче нешто такой народ-то стал? И-и, ра-адимая, кабы нонешнюю которую псовку да в нашу бы шкуру, так ведь она что бы страму-то натворила! Поглядеть-то на нонешнюю срамоту, так и то сердце разрывается! Ну, а как же, — спросила бы я ее, псовку, — как же, мол, мы-то терпели? Как же вот, примером, хоть я бы себя взяла, — как же, мол, я-то со-о-орок годочков от слез свету белого, каков только свет белый есть, не видала? Как же я-то понимала свою часть и терпела? Бывало, покойник-то ведь всеё-то меня истиранит: и зубушки-то болят, крохи просунуть не могу, скулы-то свело; и лицо-то, милая ты моя, бывало, измордует покойник, что чугун станет черное... А все терплю. Плачу, а терплю, — по-ни-маю!.. А нониче? — Па-ади-ко, тронь ее, псовку, так ведь она тебя со свету сживет. Пальцем ты ее коснись — и то она настрамит на весь уезд... Ни у нее нету стыда, ни у нее нету страху!

— А так вот, — прибавляет собеседница, — распустила хвост — и вся забота! Нешто, красавица ты моя, есть у них стыд-то? Да нисколько!.. Как же, родимая ты моя, спрошу я тебя, мы-то, окаянные?..

И так идет длинный разговор, из которого недеревенский слушатель не вынесет ничего, кроме недоумения. Почему худо, что теперешние «псовки» не позволяют мужьям тиранить себя? Почему они — псовки? Почему старинное тиранство в разговорах старух как бы предпочитается неудобствам этого тиранства теперь? Почему старинное тиранство переносилось с таким железным терпением?.. Все это для недеревенского слушателя утомительная и бесплодная тайна, — тайна, которая, разумеется, разрешилась бы для него, если б он дал себе труд добиться подлинного смысла таких, например, выражений в разговоре старух, как «знала свою *часть*», «понимала», если бы он допытался у старух, что это за «часть» такая, во имя которой можно бить человека до того, что лицо у него станет «как чугун черное»? и доподлинно бы узнал, что именно старуха выражает словом «понимала». Тогда, разумеется, он бы понял, почему нынешнее время, когда женщины не позволяют себя бить, хуже прошлого, когда их били до полусмерти. Но недеревенский слушатель деревенских разговоров нетерпелив: он, прежде всего, спешит отдыхать, затем он ждет не вопросов, а ответов на вопросы, выраженные газетным языком, и нет ему ни времени, ни возможности сосредоточивать свое внимание на таких выражениях деревенского разговора, которые значат в нем *все*, дают объяснение всей кажущейся ему бессмыслицы и которые, на беду, именно и проходят мимо его столичных ушей.

С ранней весны, на наше общее несчастье, все мы, случайные деревенские посетители, постоянно, ежедневно и ежечасно разговаривали и слышали разговоры о порядках и непорядках. Более двух самых лучших летних месяцев мы имели несчастие ничего не понимать в тех невозможных (на наш взгляд) параллелях, которые вели старики, сравнивая старое с новым. Мы решительно не понимали, почему, например, разбранив нынешние порядки, старик собеседник давал им объяснение выражением: «а все воля!» Не понимали, почему, говоря о том, что теперь все «чаи да сахары», необходимо прибавить выра-

жение: «а как выдрал бы его, всыпал бы ему пятьдесят,— так он бы и чувствовал!» Не понимали, почему, говоря о том, что теперешние девки норовят одеться почище, следует закончить речь словами: «а отчего? Оттого, что страху нет!» Словом, если читатель представит себе, что мы два с лишком месяца только и слышали: «порядки», «непорядки», «нет страху», «чаи да сахары», «воля», «хвосты распустила», «трубочки», «самоварчики», «нет, кабы взять бы палку» и т. д., и ничего в этом не понимали, — то он поймет то негодование, которого не мог не высказать один из наших спутников, когда, даже в поле, вдали от столицы, от газеты, вдали даже от деревни, послышалась так бесплодно утомившая нас речь и о том же бесплодно-утомительном предмете.

Мы было хотели идти пошибче, чтобы оставить собеседника за собой, но он сам не отставал от нас. Он рад был поговорить и ускорял шаг, заметив, что мы делаем то же. Он был длинен, худ, походил не то на старого солдата, не то на деревенского бобыля. Длинные, худые ноги его, обутые в онучи и лапти, проворно и легко ступали по каменистой, плохо уезженной дороге, а худая, костлявая рука спокойно делала большие размахи дорожною палкой. И, не отставая от нас, он медленно произносил по словечку те самые премудрые мнения о «самоварах», «чаях» и прочих непорядках, от которых мы с таким нетерпением стремились отделаться хоть на один день. Говорил он мягким, надорванным голосом, который невольно располагал к беседе, но мы упорно воздерживались от нее.

— Нет, — наконец проговорил он, как бы оживившись, — ежели бы нонешние порядки да при покойнике графе, так что бы только было!.. И-и-и, владыко праведный!.. И-и, сказать нельзя!

В этой фразе чувствовалось уже «повествование», желание, прекратив бесплодные рассуждения, показать разницу порядков на факте. Неловко было не поддержать этого желания.

— При каком графе? — спросил учитель.

— А при Аракчееве графе. Я его очень даже хорошо помню... Уж бы-ыл нача-альник! Чисто антонов огонь!

Сравнение это рассмешило нас.

— Перед богом!.. Кажется, коснись его хошь вот пальцем, так тебя и опалит всего полымем! Уж можно

сказать, что уж... Бывало, кучера-то, которые его важивали, рассказывают: сидишь, говорят, на козлах, а у самого дух мрет, руки и ноги коченеют; гонишь лошадей, а сам бездыханен! Пригонишь к станции, так и хлопнешься об земь.

— Отчего ж это?

— Страху имел в себе. Столь много было в нем, значит, испугу этого самого... Нос у него, у покойника, был этакий мясистый, толстый, сизый, значит, с сизиной... И гнусавый был, гнусил... Идет ли, едет ли, все будто мертвый, потому глаза у него были тусклые и так оказывали, как, примером сказать, гнилые места вот на яблоках бывают: будто глядит, а будто нет, будто есть глаза, а будто только гнилые ямы. Вот в этаком-то виде — едет ли, идет ли — точно мертвец холодный, и нос этот самый сизый, мясистый, висит... А чуть раскрыл рот — и загудит, точно из-под земли или из могилы: «Па-а-л-лок!» Да в нос, — гнусавый был... «Па-а-л-лок!..» Это уж, стало быть, что-нибудь заприметил... И только его и слов было, а то все как мертвый. И уж точно, пуще огня боялись! Уж ежели бы ему на глаза попал поселенец, у которого в обоих карманах водка, так уж он бы дал бы ему понятие. Вовек бы помнил, что такое значит винцо, и детям бы заказал. Так вот какой был человек!.. Бывало, только крикнет кто-нибудь: «граф идет!» — так и грохнешься об земь без дыхания... Ну, а был порядок, уж этого отнять нельзя, у-ух какой был порядок — во всем! За что ни возьмись: что скотина, что пашня — все первый сорт! То есть, бывало, до такой степени, например, вникал, что уж на что, кажется, бабы или бабьи дела какие, а и то чувствовали графский глаз: бывало, иная хлебы не домесила или худо просеяла, — уж это не пройдет ей даром, уж он ее, покойник, выучит, как хлебы печь! А нониче иная, шкура, печет хлеб точно не людям, а свиньям: кажется, взять ковригу да хлопнуть об стену, так она и прилипнет, как замазка. Что же это за хлеб? Нешто это можно назвать печеньем?

Очевидно, опять началась одна из невозможных и невыносимых параллелей прошлого с настоящим, параллелей, где палки чередовались с бабами, бабы с плац-майо-

рами, скот со строгостью и т. д. Учитель не выдержал этой пытки и воскликнул:

— Да что такое, скажи пожалуйста, за порядки такие были? Все палки да палки, а выходит, что были какие-то порядки? Что такое было? Какие порядки?

Вопрос этот, требовавший решительного ответа, на мгновение озадачил старика, как озадачивал всех других стариков, с которыми нам приходилось трактовать о порядках. Но старик скоро оправился и с какою-то особенною живостью сказал:

— Извольте! Вот какие были порядки!

Ужасы, о которых в сильном волнении стал повествовать прохожий, перемешанные с попытками объяснить их в нравоучительном смысле, ясно свидетельствовали, что рассказчик и сам знал палку, был сам изувечен ею, изувечен не только физически, но и нравственно. Она выбила в нем его добрую душу, первенствовала в ней, затмевала впечатления божьего мира, и он, отвыкший от понимания жизни по-человечески, рассказывал о палке в каком-то глубоком помрачении ума. К концу рассказа он так был утомлен напряжением мысли, что некоторое время не мог произнести слова, и только очнувшись немного, мог прерывающимся шопотом пролепетать:

— Так... был. порядок!

И закашлялся.

Да и мы все устали от этого рассказа и тоже сели отдохнуть. Старик уж более ничего не говорил; ему казалось, что он вполне разъяснил нам всю суть порядков прошлого. Он только дышал тяжело, вытирал рукавом пот, кряхтел:

— Вот какой был сурьезный, дьявол!

Последнее слово как-то внезапно сорвалось с его языка, так что мы все невольно улыбнулись, а старик поправился, прибавив:

— Прости, господи, мое согрешение!

Опасаясь, чтоб он вновь не начал речи все о том же, чтобы вновь не возвратился к параллелям, мы предпочли продолжать путь.

— Ступайте, ступайте с богом! — сказал нам старик на прощанье. — Слабы стали ноги-то. Посижу, подожду тут у дороги, не подвезет ли кто?

2

Мы расстались, но, как увидит читатель, ненадолго: судьба сулила нам новую встречу в том же роде. Не подозревая, однако, этой беды, мы, оставив старика, почувствовали себя как будто свободнее. Правда, Аракчеевская дорога, по которой мы шли, благодаря недавней встрече пробуждала в нас не совсем веселые воспоминания: носастая, гнусавая фигура, мертвая на вид и мертвомолчаливая, с тусклыми, холодными глазами, поминутно рисовалась нашему воображению. По этой самой дороге не раз проносилась эта фигура, с полумертвым от страха кучером. Не раз эти деревни, вытянутые в линию, с остатками каких-то казенных выдумок в постройках, с душными, узенькими улицами, с домишками, плотно, как солдаты в шеренге, прижатыми друг к другу, — оглашались гнусавым возгласом: «па-алок!», криком, плачем или подавленным стоном среди гробового молчания. Скоро, однако, эти пытки воображения окончились, и мы, покинув Аракчеевскую дорогу, пошли по узкой лесной тропинке, протоpенной богомольцами к монастырю. Дорога была узкая, а деревья густые, высокие. В лесу было темно и холодно. Солнце село; туман белыми клубами стал показываться то там, то сям в лесной чаще. Скоро стало очень трудно различать дорогу, и мы подвигались вперед, стараясь не отставать от других богомольцев, которые в темноте могли быть узнаваемы только по шуму шагов да по разговору, так как различить в темноте, кто именно идет, — солдат, купец, крестьянин, мужик или баба, — уж не было возможности. Вверху, над лесом, едва белелась полоска неба, где мигали звезды; но ни небо, ни звезды не давали света.

Добрались мы до обители часу в первом ночи. Маленький, старый, одинокий монастырь, сооруженный еще во времена «великого» Новгорода, стоял на низменной полянке, среди густого леса. Здесь было светлей, чем в лесу, — белые стены монастыря немало помогали этому,— но туман лежал на земле густым, как вата, белым слоем, кое-где клубясь большими белыми комьями. В тумане слышались разговоры, иногда смех. Вся монастырская ограда была обложена спавшим народом. Небольшая гостиница была также битком набита народом:

и в комнатах, и в коридорах, и даже на чердаке, везде народ лежал вповалку и, кажется, не спал, так как все как будто шевелились, жались, вздыхали, а иногда довольно явственно слышалось неистовое чесанье кожи и шопот: «Ах, едят-то, проклятые!.. Так и горит кожа-то».

Обойдя гостиницу и не найдя ни единого свободного угла, мы долгое время гуляли вокруг монастыря, не зная, как убить время. Трактир — холстинный балаган — был заперт, и трактирщик, очевидно улегшийся спать, вел с нами переговоры весьма неохотно. «Нету! — отвечал он сурово на все наши требования. — Завтра поутру». Но потом смилостивился и спросил: «Лимонаду не угодно ли?» Но лимонаду мы не пожелали, и трактирщик сделал нам новое предложение: «Вобла есть, — не угодно ли?» Когда и это предложение принято не было, трактирщик замолк, и мы опять пошли бродить. Кроме трактира, неподалеку от монастырской ограды выстроились две палатки с пряниками и орехами. Но и они не торговали. Осмотрев все это, мы, наконец, должны были где-нибудь и как-нибудь отдохнуть. Разыскав небольшой стог сена, своевольно его растеребили и улеглись.

Холод ночи и сырая трава не представляли удобств для отдохновения. Можно было лежать, но спать не представлялось никакой возможности. Лежим, молчим, смотрим на беловатое, усеянное бледными звездами, небо. Народ подходит из лесу и тоже устраивается где попало. Чем глуше ночь, тем меньше сна... На дворе холодно, а в гостинице «едят». То и дело оттуда выходят, а иной раз выбегают мужчины и женщины и, шопотом проклиная что-то, стараются примоститься где-нибудь на траве. Там и сям все чаще и чаще слышатся разговоры. Даже песня откуда-то донеслась...

И слышу я опять знакомую речь.

— И что будет, — произносит знакомый голос аракчеевца, — единому только богу известно!

— Что будет? — прибавляет другой, но уже незнакомый, голос. — Больше ничего не будет, окромя что господь повелит, то и будет!

Итак, вместо одного исследователя старых и новых порядков, неумолимая судьба послала нам в тот же день и в тот же вечер двух. Аракчеевец, вероятно, нашел себе

попутчика и приехал в то время, когда мы разыскивали себе ночлег.

Хотя двух вместо одного и было многовато на нынешний вечер, но волей-неволей пришлось слушать их разговоры: спать не было возможности, а разговаривавшие лежали недалеко.

— Конечно, — после незначительного молчания начал незнакомый голос, — конечно, господь, по своему великому милосердию, еще жалеет нас, подлецов, не забывает нас, дает указания... Примером скажем, вот теперича скот падает, или вот градом выбьет, или пожаром посетит, все это означает, что господь еще не совсем нас оставил, а что нас помнит, хочет вразумить, чтобы мы, безумные, очувствовались. Н-но... я так думаю, что мало нам этого!

— Мало! — с сокрушением сказал аракчеевец и тоном своего голоса еще раз доказал, что в нем была добрая, мягкая душа, только зачарованная могуществом палки. — Перед богом говорю: мало нам этого, мало!

Оба собеседника вздыхают, покряхтывают и опять вздыхают.

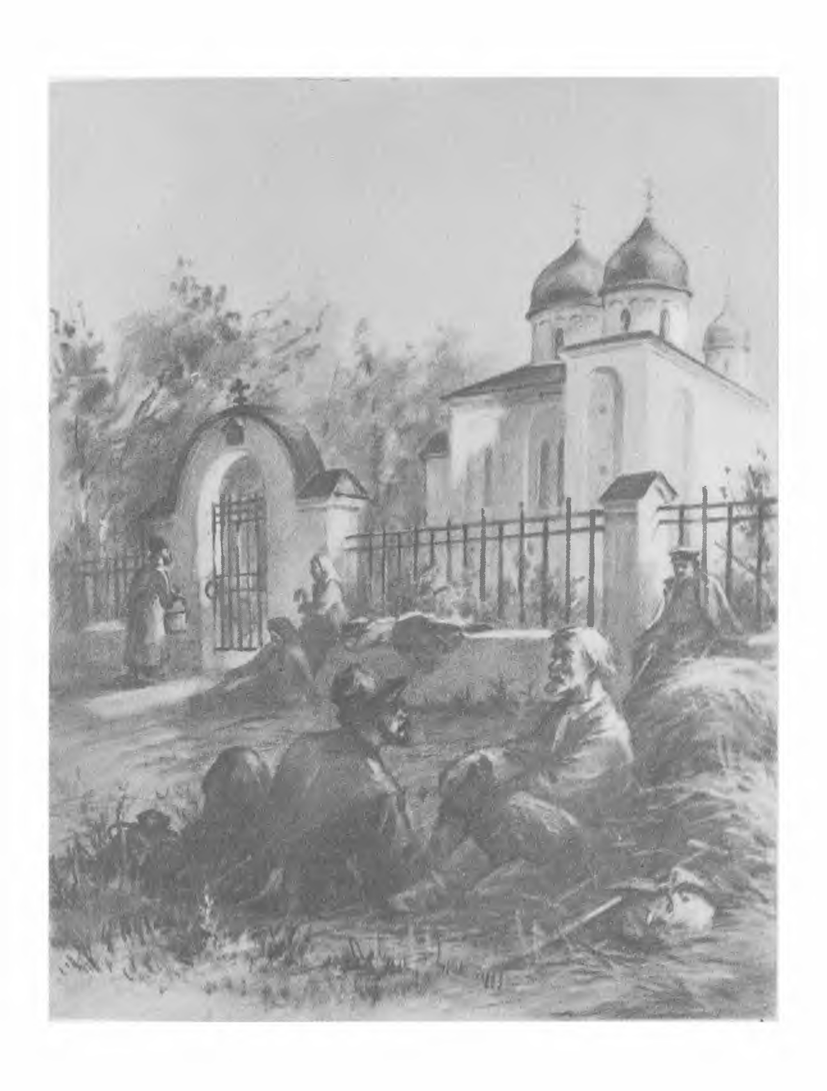
— По нонешним временам, — снова начинает незнакомец, — нам так требуется, чтобы господь за наши грехи, за наше лицемерство, богоотступство и всякое свинство, чтобы он без отдыху бы, без пощады бы стал искоренять нашего брата, — н-ну, тогда, быть может, и будет толк!

— Нет, — добродушно перебил аракчеевец, — мало! Поверь ты мне, мало этого! Ничего это не составляет. Нет, не составляет, — не такой народ! Ты его ежели бы, например, огнем выжег весь или же потопом потопил, и то он не очувствуется и не вступит в раскаяние! Вот как я думаю!

— Д-да! — многозначительно вздыхая, подтверждает незнакомец. — Но ежели господь оставит нас, позабудет, ежели он не будет нас, негодяев, сокращать огнем ли, мором или какими прочими средствиями, то мы и вовсе станем подобны безумцам! И что будет, известно единому создателю!

— Буди его святая воля! — произносит аракчеевец с глубоким вздохом.

После этого разговаривавшие замолкли. Очевидно, что, исчерпав все казни египетские, они затруднялись продол-



жением разговора; но так как не разговаривать было нельзя, то скоро я услышал следующее:

— Нет, — самым решительным тоном произнес незнакомец, — главное дело состоит в том, что нету начальства.

— Это самое и есть! — подтвердил аракчеевец.

— Начальства нет никакого! — еще решительнее проговорил незнакомец. И эта формула, объясняющая современные беспорядки, до того показалась ему правильной и точной, что он оживился, поднялся и сел, проворно почесал голову и еще проворнее произнес: «Нет начальства! Некому взыскать!»

— Во-от! Вот, вот! — тоже, как бы обрадовавшись ясности, проливаемой словами собеседника на все вопросы современности, торопливо и как-то радостно произнес аракчеевец и тоже проворно сел против своего собеседника. — Нету! Начальства нет никакого!.. Ну где ты его видел, спрошу я тебя?

— Нету его!

— Где оно?

— Нету! То-то и оно-то, что нету его!

— Про это-то про самое и я говорю! Ищи его днем с огнем, а его нет. Вот в чем главная причина!..

3

Признаюсь, последние слова разговаривавших решительно ошеломили меня. Тон, каким они были сказаны, не оставлял сомнения в том, что собеседники действительно были убеждены в справедливости высказанного мнения,— они развеселились, оживились, найдя такую точную формулу для объяснения обуревающих нас бед. «Но если, — подумал я, — они действительно не видят начальства и спрашивают друг друга, где оно, то что же это должно быть за удивительное миросозерцание, если оно позволяет им с такой явной уверенностью отрицать один из несомненнейших фактов действительности? Наконец, не видя теперь, в наши дни, нигде никакого начальства, они, очевидно, имеют представление о каком-то своем, особенном начальстве, нисколько на существующее не похожем? Что ж это за неведомое начальство? Мягче оно теперешнего или жестче, добрей или злей? И вообще, если этим

людям мало того, что есть, если им еще чего-то надобно, то что же это такое?»

Все это было до того неожиданно, до того ново для меня, что я, вопреки нежеланию разговаривать о порядках и непорядках, решился вступить с собеседниками в разговор.

— Как так у нас нет начальства? — спросил я автора этого мудрого изречения, предварительно, конечно, познакомившись и поговорив о разных разностях. Между прочим оказалось, что автор этот был седой как лунь, но крепкий, коренастый и румяный старик. При крепостном праве он был бурмистром у одного богатого соседнего помещика, теперь разорившегося. Теперь он живет на крестьянском положении и, повидимому, принадлежит к числу зажиточных.

— Как нету-то? — переспросил он. — Да так и нет!

— Как не бывает-то? — в свою очередь прибавил аракчеевец, по доброте своей как бы радуясь тому, что нет начальства. — Коли нет, так где ж ты возьмешь? Очень просто!

— То-то и есть, — многозначительно проговорил бывший бурмистр, — что нету и взять негде.

— Да помилуйте! — воскликнул я,— что вы говорите? Какого вам еще нужно начальства? Десятские и сотские есть?

— Как не быть! .. Есть и старосты и старшины, — таинственно улыбнувшись, сказал бурмистр.

— Этого-то добра сколь хошь, — дополнил аракчеевец, — этого-то довольно! Десятские, сотские, старосты, старшины...

— Писаря, урядники, члены, председатели... — продолжал бурмистр.

— Управы, братец ты мой, присутствия, правления, следователи, — торопливо исчислял аракчеевец, но бурмистр перебил его:

— Это есть! Этого есть много всего; ну, а начальства, опять же я скажу, нету!

— Да что же это такое? — в изумлении спросил я. — Эти-то люди — что ж они такое? Зачем?

— А господь их ведает. А зачем — это нам неизвестно.

— Но ведь они начальники? — убеждал я, — действительно начальники? Ведь они могут наказать, посадить

в темную, штрафуют, взыскивают?.. А вы говорите «некому взыскать».

— И есть некому! — решительно сказал бурмистр.

Аракчеевец только подмигнул в подтверждение слов бурмистра, а я замолчал и, ничего не понимая, ожидал, что будет дальше.

— Этого-то народу, друг ты мой любезный, — начал рассуждать бурмистр, — сколь угодно! Вот мы считали их, а все еще далеко до конца не досчитали... Это, братец ты мой, не наше дело: что, как, зачем... А мы говорим по нашему, крестьянскому мнению, вот как!.. По нашему-то, по крестьянскому мнению, нам и оказывает, что нету начальства и нигде мы его не видим.

— То-то и есть, — присовокупил аракчеевец, — что не видать его по нонешним временам нигде!

— Нешто можно назвать начальниками хотя бы, будем говорить, примером, старосту или старшину теперешнего? Положим, что действительно цепь ему дана или медаль какая, ну, и действительно, что, правильно это вы сказывали, что, например, он и наказывает, и сечет, и все прочее. Можно бы по всему признать начальником? Ну, а коль скоро мы ежели коснемся до корня, то и оказывается: не начальник он, а живорез, больше ничего!..

— Вот это самое и есть! — подтвердил аракчеевец.

— Что ему требуется, нонешнему начальнику-то, живорезу-то? Сидит он в своей цепи, делает народу прием. Я говорю к примеру. Вот пришел к нему мужик, вывалил на стол деньги: «получай, мол, Петр Семеныч, подати!» Петр Семеныч сосчитал: «верно!», расписку дал, а деньги в сундук запер. «Ступай куда хошь! На все четыре стороны... Молодец, скажет, спасибо!.. Так, мол, вы, ребята, и все бы поступали: отдал деньги — и ступай!..» А другой, тоже, примером, будем говорить, пришел тоже в волость, а денег-то не принес. «Ты что же не принес денег?» — «Нету!» А иной с грубостью скажет: «Откуда, мол, я тебе возьму денег-то?..» А за грубость-то его да за неплатеж — сечь, в темную и прочее подобное... Это не есть начальство, а одно разбойство!..

— Помилуйте, — сказал я, — человек принес деньги, поступил исправно, сделал что ему нужно, старшина его похвалил, что ж он еще должен делать?

— Разбойство это, а не начальство! — настойчивее прежнего продолжал бурмистр. — Ты вот выпорол неплательщика-то; положим, что за неисправность следует попарить человека, это уж... без этого нельзя! Только я спрошу нонешнего-то начальника: а не сам ли ты, негодный, виноват, что у него денег-то нет? Ведь вот пришел к тебе мужик, отдал деньги, ты и пустил его на все четыре стороны да еще похвалил; а спросил ли ты его, откуда он деньги-то взял?

— Во-от это са-амое! — многозначительно шепнул аракчеевец.

— Да, спросил ли ты его? Знаешь ли ты, начальник, откуда эти деньги взялись? Вот теперича по весне раздавали управский овес на посев. Опять же, говорим примерно, овес давали по шести с полтиной куль, до осени. Следовательно, осенью его отдать требуется? Так или нет?

— Так.

— Ну, хорошо. Взял я этот самый овес и сбухал его по четыре целковых, деньги нужны, и подати требуют. Сбухал я его по четыре целковых, деньги старшине принес; старшина меня похвалил, деньги запер, расписку дал, «ступай куда хочешь!» Все честно, благородно, — на все есть расписка и похвала: «Берите, ребята, пример!» Так ли я говорю? Пришла осень — опять подати, да овес изволь отдать с процентом. А овес-то я продал еще весной и похвалу за это самое получил. «Берите, ребята, пример!» Да старшина-то тоже из города получил похвалу, — листы · им за это дают, диплоны разные, как иной раз вот у скотины хорошей бывают аттестаты. Все исправно. Пришла осень. «Ты что же подати не отдаешь?» — «Да нет у меня!» — «Как нету?» — «Да так, как не бывает-то?» — «Ты что же грубишь-то? ..» А как я не сгрублю, когда я последним дураком стал? Берет меня зло, что я без всего остался, или нет? Вот я и стал ему грубить, а он меня драть! Ну, не живорезы ли они после этих моих слов? Спрошу я вас, господин, достойно ли этакой народ назвать, чтобы как вполне того достоин начальник?

— Разбойником, пожалуй что, а не иначе как, — пробормотал аракчеевец.

— А как же быть-то? — спросил я.

— Как быть? А вот как. Я буду говорить про себя, хоть я и не начальник и цепи на мне нету. Пускай, и так обойдется. Коли по мне, так я тоже бы драл, это верно, только драл бы я не в то время, как он разорился, а в то время, как он овес-то продавал. Вот тут-то бы я его не похвалил, нет! Тут бы я уж не сказал: «берите, ребята, пример», я бы тут похвальный диплон не дал, а растянул бы за это за самое да всыпал бы горячих без экономии! Да и того подлеца, который овес-то купил, и того бы отстегал, да овес-то бы отобрал, да заставил бы его посеять, анафему, а после посева опять бы его поддымил веничком, — вот он у меня бы и с хлебом был, и земству бы овес-то отдал, и подати бы отдал! Вот что есть начальство!.. А они что? Ему бы только деньги взять, в сундук положить, а там хоть околей с голоду! Иные начальники-то сами, бессовестные, овес-то этот купят, а потом дерут. Нет, самого бы его надобно растянуть да поддымить!.. Ежели он начальник, он должен смотреть, чтоб у мужика было с чего взять... Что же, я вас спрошу, ежели у мужика не будет хозяйства, то что из этого выйдет? Что вы с него возьмете? Теперь вон на моих глазах мужики сено продают, а с чем они останутся осенью, чем будут кормить скотину, с чего я буду взыскивать? Драть? А они меня жечь начнут — вот тебе и вся недолга!.. Я должен не допустить этого, а который не слушается, то и наказать. А нонешние-то и десятские, и сотские, и старосты, и весь легион, прости господи, им все одно — наплевать! Вот мужик сено продает, всю зиму скотину кормить нечем, а он идет мимо, ему и горя мало. Я б его тут же на месте запорол за эту продажу, а он, дурак бессовестный, только и думает, что «вот, мол, с мужика можно рублишко в подати ухватить», а о том не думает, что мужик на его глазах разоряется... Анафемы этакие!.. Нет, сударь мой, не начальники это. Нет у нас начальства!

— О-ох, нету его! — вздохнув, прошептал аракчеевец.

Бурмистр вынул тавлинку с табаком, понюхал и сказал:

— И мы, братец мой, бивали народ, и очень даже жестоко его колачивали... Я вот пришел теперь угоднику помолиться. Думаешь, не вздохну я? Вздохну-у, милый

мой, со слезами вздохну в своей вине!.. Били, тиранили, но только что мы били умеючи: били мы, например, человека за то, чтоб *себя не разорял*, — вот за что мы били,— потому что мы понимали: ежели он себя разоряет, то и нам ничего не будет... Вот какой был прежний смысл!.. А нонече! Скажи пожалуйста!.. Иду я недавно с нашим старостой (ведь тоже начальник, анафема, считается!), глядим — на болоте мужик косит траву, а сапоги на нем новые. Я и говорю этому начальнику: «Видишь, говорю, или нет?» — «Что такое?» — «Посмотри, мол». Глядел, глядел, хлопал, хлопал буркалами-то, — ничего, мол, не вижу... «Да дурак ты этакой, говорю, ведь твой мужик-то косит в хороших сапогах!.. Ведь, говорю, он не миллионщик. Ведь он, говорю, их в один месяц этак-то издерет, а потом придет зима, в чем он будет ходить? Ты же, говорю, с него подати начнешь драть, а он будет дома сидеть, выйти не в чем. Ведь он же, говорю, должон будет в долг сапоги-то втридорога взять? Ведь зимой-то и дрова возить нанимают и сено возить, мало ли на зиму народу требуется, а он у тебя без сапог будет дома сидеть, а ты его за это драть будешь, безбожная душа? А не то так за эти сапоги-то какой-нибудь, у которого совести нету, заставит его летом проработать месяца два, от хозяйства оторвет, а от хозяйства человек оторвется — пойдет слабеть, пьянствовать... А пойдет пьянствовать — подати перестанет платить, за это ты его будешь драть, а за дранье он тебе будет гадить... Чего ж ты смотришь, говорю? Как же ты не внушишь?» — «Как же, говорит, послушают они тебя!.. Ноне, братец мой, говорит, поди-ка, босиком-то всякий стыдится ходить. Из последнего вытянется, а уж насчет одежи постарается... Коего, говорит, рожна я ему внушу?» — «Коего рожна?.. Нет, по-нашему не так. По-нашему, по-старинному, ежели такое безобразие увидал я, начальник, я б так не оставил... Я бы первым долгом подошел да спросил: «Кто ты такой?» — «Иван Иванов», — примерно говорит. «Чей?» — «Таких-то!» — «Велика ли семья-то у вас?» — «Да вот пятеро, мол, всех-то». — «А работников?» — «Да я, мол!» — «Один?» — «Один!» — «Так как же ты, безумец, в сапогах-то по мокроте осмелился ходить? Ведь сапоги-то, необузданный ты человек, семь с полтиной, анафема ты эта-

кая, а ты их таскаешь зря! А зимой я тебя пошлю в лес за дровами, — в онучах поедешь? Ноги отморозишь, проваляешься без ног всю зиму, семью оголодишь, охолодишь? Н-ну-ка, поди-ка, я тебя переобую!» («Переобул из сапог в лапти», — припомнилась мне поговорка народная...) Так он и будет у меня знать, когда ему в сапогах щеголять, а когда в лапоточках! Небось не трону, кто не заслуживает этого... Иной хоть в бархатных штанах в воду влезь, и то мне наплевать... Спрошу только: «Чей?» — «Таких-то!» Вижу, ежели люди в силах, в достатке, что человеку это не в разорение, так сделай милость: хоть, говорю, в золотой кафтан облачись да на навоз ложись, так шут тебя и возьми, — все мне равно!.. А ноне ведь как? Недавнись поехал я так-то на пароходе по своим делам в город; гляжу, на палубе сидит девочка одна, хорошая, работящая девочка, уж невеста, из нашей деревни. И ее-то я знаю, и мать-то ейную знаю... Их только две и есть с матерью. «Куда, мол?» — «У город».— «Зачем?» — «Покупать». Ну, говорю, слава богу, что на покупку деньги есть... «Свои ли?» — «Вестимо, не чужие». — «Какие такие?» — «Такие вот...» Целую, вишь, весну кору ивовую драли (ведь зубами ее драть-то надо!), грибы собирала, стирала у попа, гряды копала, одно слово, билась, истинно, как говорится, до кровавого пота... Ну, похвалил: «умница, мол...» Славная девчонка, одно слово! Ну, приехали. «Знаешь ли, мол, где лавки-то?» — «Не знаю, дяденька». — «Ну, мол, пойдем, покажу. Покуповала ли когда что в городе-то?» — «Нет, говорит, и в городе-то не бывала...» Вижу, надо девчонку проводить, нельзя так бросить, оберут, ограбят. Да и самому кстати в лавки-то требуется. «Ну, пойдем, говорю, востроглазая, поведу я тебя, покажу... Каких, мол, тебе лавок надо, с каким товаром?» — «А мне, говорит, дяденька, модных лавок, с модным товаром».

— Ишь ведь что, скажи пожалуйста! — воскликнул аракчеевец.

Но бурмистр не слушал его и продолжал:

— «Ах ты, говорю, постреленок этакой! Каких таких модных лавок тебе? Я вот до седых волос дожил, и то не знаю, какой такой модный товар есть!» Ну, однакож, делать нечего, стал искать. Там спросим, туда заглянем, видим, наконец, того, лавку, чепцы да эти самые перья

всякие, чулки и все такое. Увидала, так туда и воткнулась. Я стою в дверях, гляжу... Вижу, шебаршит моя землячка разными товарами, — и красные и зеленые, всякие. И порядочно-таки она промаяла меня, — разгорелись глаза-то... Выскочила, как земляника красная. «Теперь, говорит, в башмачную лавку!» Ну, мол, шут с тобой, пойдем в башмачную уж заодно. Пошли. Покупает сапожки на каблучках, на подковках... Пригнала одни такие-то по ноге, любуется, — хвать, а по деньгам-то нехватает целого полтинника... Плачется, убивается, молит, просит. «Я тебе, дяденька, и яичек, и того, и другого...» Ну, мол, ладно, — и дал. Рада-радехонька, а осталась сама без копейки. «Чай, спрашиваю, есть хочешь? Взяла ли что с собой?» — «Ничего нет!» Ах ты, думаю, все на наряды!.. Дал ей двугривенный на еду да за билет заплатил. Задолжала она мне больше рубля. Ну, бог с ней, думаю, да и не дать нельзя, — аккуратная девчонка. Н-ну, хорошо... Проходит время неделя, две ли или там месяц, встретил ее раз — гуляет, оделась ничего, опрятно: и платьице новенькое и ботинки с каблучками... Не хуже других, честно, благородно. Только, не помню, в какой-то праздник приехали барки сено грузить, кликнули лоцмана девок, все наши франтихи и повалили в своих нарядах! Гляжу, и наша красавица: сапожки с каблучками, платье с бантами, а через лоб веревку перегнула, сено тащит, тридцать, вишь, копеек!.. А изорвет-то сколько? Ведь труда-то, горькая, сколько она приняла, ведь это только подумать надобно!.. Погляди у ней, у сироты, в доме ни пить, ни есть нечего; все, что горемычная выработала тяжкими своими трудами, — все на наряды, потому ей хуже других нельзя быть, обидно, — это кого хошь возьми... Все на наряд убила, не допивала, не доедала, да издерет этот самый наряд, потому перемениться нечем, за тридцать копеек издерет на тридцать рублей. Вот какие горемычные!.. Ведь вот ноне какие стали порядки-то, а вникнуть некому.

— Досмотреть-то, главная причина, некому! — пояснил аракчеевец.

— Да как же и что тут можно досмотреть? — спросил я.

— Не знаю, нонешних порядков судить не могу, а что в наше время досматривали. Умели, знали. Конечно, наше

время было крепостное, не дай бог и вспомнить-то иной раз, а мы все ж понимали правду хозяйственную. Я про себя скажу: я двадцать лет вызудил у помещика, у барина, в бурмистрах, много греха на душу принял, — а что по совести скажу, помнил бога, наблюдал правду, и уж у меня, в моем хозяйстве, таких делов не бывало. Возьми ты вот хоть бы эту горемычную девчонку. Из-за чего она, бедняга, убивается? Хочется ей, чтобы против людей не быть хуже. Вот она из всех сил и бьется, чтобы нарядиться. Да не одна она, а много их, горемык, рвутся по нарядам друг с дружкой поровняться, потому что же они, в самом деле, за горькие такие уродились, что им надо быть хуже всех? Вот они и норовят с прочими франтихами поровняться, не едят, не пьют, не спят ночей, бьются. А позвольте спросить, какие это такие прочие? Кто такие эти модники? Говорят: вот такого-то крестьянина, вот такого-то... «Ихние, мол, девки нарядились, а нам, что ж, в грязи ходить?» Хорошо. Поглядим, какие такие это крестьяне, откуда у них берутся деньги дочерей наряжать. Пошли, поспрошали. Точно, крестьянин считается, за две души платит, точно так же, как вот и этот двудушный, те же самые двадцать два рубля серебром; только у него, окромя наделу, господи благослови, покос пудиков тысячи на три, да овса у мужиков он управского накупил по дешевым ценам, да перепродал по дорогим, да с барином ездил зиму и поболе сотни в карман положил, да то, да другое. Глядь, ан и есть из чего франтовство-то заводить; вот он и нарядил свою дочь, как королевну. А другой-то мужик, тоже двудушный, тоже двадцать два рубля платит, тот-то уж и бьется, тот-то уж и телушку продал за полцены, тот-то и сено прежде времени сбыл, тянется за богатеем всячески, из всех жил вылезает, — глядь, а есть-то ни ему, ни дочери, ни детям, ни скотине нечего, не только что дочери платье сшить!.. А не доплатил подати, его драть! Вот и пошел человек со злом в сердце. . . А кабы по-нашему-то, так не так бы вышло. По-нашему-то, пошел бы я к богатею-то этому, — ежели б то есть я был, примером сказать, начальник, — пошел бы к нему, да, богу помолившись, и стал бы его успрашивать: «Ты откуда, мол, разжился?» — «Так, мол, и так: овес покупал». — «Какой овес?» — «Управский». — «По много ль платил?» — «По четыре серебра». — «А по многу ль про-

давал?» — «По восьми». — «Хорошо ты, друг мой, делал! А между прочим, пойдем-ка мы с тобой в волость, да сниму я с тебя бархатные твои панталоны, да внушу тебе почитание к закону. Ложись, анафема-проклят! Ты как смел управский овес покупать, коль скоро он дан на посев? Ты как же смел из нужды человеку четыре целковых вместо восьми давать? Так-то, братец мой, и волк богатеет, чужое тащит! Не богатей ты, а разбойник, в мутной воде рыбу ловишь!» Да и прописал бы ему диплон, — век бы не забыл! Вот он бы у меня и не наряжал дочь-то королевной, не вводил бы в грех других, не стыдил бы нарядами-то бедноту, а беднота-то не лезла бы из всех сил и жил, чтобы поровняться... Вот что есть начальник! А нонешние? Да для нонешних этакой-то живорез — первый друг и сват! Он грабит, а они дерут ограбленных. Он грабит, а они на награбленное чаи распивают, кофеи, все такое! Вот кого надо растянуть до поддымить березовым составом!

— Во-от! — прибавил аракчеевец.

Бурмистр нюхал табак, волнуясь и торопясь.

4

В это время из-за верхушек леса, давно уже освещенных румяною зарей, показался яркий золотой край солнца, и над лесом вспыхнуло «жаркое полымя» света. Стало теплеть. Народ стал подниматься, но монастырские вороты были еще заперты, и только сквозь маленькую калитку по временам выбегали послушники, направляясь то в гостиницу, то в трактир. Трактирщик затопил «куб» для кипятку. Торговцы орехами и пряниками стали разбирать свои товары.

Спрятав в карман табакерку и перекрестившись на солнце, бурмистр продолжал:

— Мы, конечно, люди старого закону, в новых порядках мы не указчики, а ежели глядеть по-нашему, так большая идет неправда. По-нашему, я прямо скажу, мы глядели на народ хозяйственнее. Конечно, что мы хотели от народа — больше ничего, что пользы для себя; но только мы понимали, что ежели мы разорим, расстроим человека, так и пользы нам не будет. Скажу про себя:

были мы крепостные. Уж должно быть, что так богу было угодно, чтобы быть нам в рабстве, об этом дело не наше разговаривать, стало быть уж такое было повеление божие, чтоб один был барин, а другой был бы мужик, один бы не работал, а другой бы работал на него. Вот поставляет, предположим, господь над нами барина, а барин и говорит: «Вы, говорит, мои подданные, обязаны мне вот то-то и то-то предоставить: денег мне требуется столько, а провизии столько, а всего прочего эдакое-то вот число». Хорошо. Призывает он, барин, положим, хоть меня, раба своего, и говорит: «Мирон! препоручаю тебе все сие к исполнению. Буде исполнишь, похвалю, а буде не исполнишь, то ожесточусь и всех вас до единого разорю и расточу. Помни и поступай!» Вот Мирон и думает: «Барин действительно всех нас может разорить и истязать, потому у него сила и все. Так уж лучше же я как-нибудь по-божески». Вот я и гляжу на народ: народу столько-то, рук столько-то, господской работы столько-то, гляжу и распределяю. Вижу я — один силен, а другой слаб; вижу — один работящ, другой ленив, а третий совсем ослаб. Вижу я и думаю: «Ежели я их так оставлю, да буду только с них взыскивать, да пороть их на конюшне, так они не только что господского не отработают, а и сами в конец изведутся». Вот я и начинаю хозяйствовать; знаю я каждую семью и обсуждаю, так, чтобы сил в ней не пропадало. Для примера обсудим хоть одно семейство. От первой жены остался у хозяина сын, а от мачехи пятеро ребят выросло. Мачеха, конечно, уж мать, одно слово, своих детей любит, а чужих ест: то не так, другое не так, — а малый скучает, гадит ей, тоскует, ни к работе, ни к чему душа у него не лежит... Гляжу я на него и вижу, что у меня в этом малом барская польза пропадает. Пошел, выбрал ему невесту под пару, отделил из отцовского добра, что ему следует, подмог обстроиться и наложил на него, что следует по препорции. Так и смотришь по человеку: «Ты, мол, что болтаешься?» — «Так и так, не хозяйственный я человек. Нет у меня на это талану... А жениться я ни вовек не соглашусь, лучше, мол, я зарежусь, чем с бабой связаться». Что сделаешь с таким человеком?.. А бывает. Вот и надобно ему отыскать работу, а то так-то он изболтается, пожалуй воровать начнет, так лучше же я его прилажу к пользе. Обдумаешь

*

и поместишь либо к скотине, либо к птице, либо по мастерству. Надо человека узнать, что он может, да на том уж и взыскивать. А то эка выдумали — драть! Думают, палкой-то из него и неведомо что выбьешь. Я однова как бился с одним мальчишкой, годов пять мучился, а нет никаких способов. Я его к овцам — плачет, бежит; накажу — опять плачет. Я его к гусям — распустит, спрячется, испугается. Я его на кузню — слаб, силов нет. Я его попу в певчие — не может. Туда-сюда, вбивал, вбивал его в места-то, выпирает его оттедова сила нечистая, хоть брось. Думали было продать его в казачки, да случилось мне как-то в людскую зайти, и вижу я, что на двери чорт нарисован уголем, да такой, что я так и отпрянул, с испугу чуть в погреб не провалился. «Кто, мол, такую образину намалевал?» — Дознался. Федор, этот самый бесталанный. «А, думаю, вот где твоя часть-то!» Запряг лошадь и отвез его в город к живописцу. В два месяца такой вышел молодец — и вывески, и патреты, и, наконец, того, образа почал рисовать. Привез мне Мирона Мученика, моего ангела. «Отпустите в Петербург, а то я задавлюсь, ежели не отпустите!» Что тут делать? Отписал барину. Барин разрешил. Отправили. А года через два слышу-послышу, за четыре, милый друг, тысячи его какая-то графиня выкупила, да за границу! Да таким, брат, стал барином, — сам наш барин сказывал, — рукой не достанешь. Так вот как! А что бы, ежели бы без внимания-то его оставить? Ежели бы я его драл, так, пожалуй, со страху он бы и стал бы мне овец-то пасти, а настоящий-то доход пропал от него. Драть-то я его хоша и драл, а вникать тоже вникал, вот и нашел, в чем его часть состоит. Так-то, друг милый, и во всем надо! Вижу я, начал у меня мужик толстеть да богатеть, так я и порцию с него возьму сообразную... Стал он медом разживаться, я у него и меду отломлю по размеру. Стал он луга снимать, опять же отдай по сообразности. Стал он у меня в двести раз богаче, я с него в двести раз больше и взыщу. Вот он у меня и растет ровненько против прочих. Он у меня вверх, а я ему макушку-то прочь! Вот и другим-то против его толстоты не обидно. Уж у меня бы не было этакой, напримером, несчастной девчонки, как я сказывал: бьется, рвется, а есть нечего. Я бы первым долгом приладил бы ее к мужику, да посадил бы на землю, да дал бы ско-

тину, вот они бы и стали у меня по-человечьи жить. Конечно, бывает, что в мужья-то злодей какой попадется, да ведь как это узнаешь? Это уж дело божье, как господь указал кому какое счастье. А что наша хозяйская часть,— верно говорю, — была правильная! Взыскивали, когда было с чего. Ездили, да и скотину кормили, смотрели, чтоб не напоролась на кол, не влезла в овраг, ноги не сломала, потому она денег стоит. А нынче вот и нет хозяйского-то глазу. Хоть умри, только подати отдай; а отдал подати, хоть опейся. Это, друг любезный, не хозяйство, а разбойство! А что их там тьмы тем, так это мы даже и понимать не можем. Для нашего крестьянского жития *«кто не хозяин, тот и не начальник!»*

5

В монастыре стали звонить. Ворота монастырские отворились. Народ поднялся и направился в церковь.

Отряхая с одежды разный приставший к ней сор, направились к церкви и аракчеевец с бурмистром.

— Пойдем-ка, — сказал мне последний мимоходом, — пойдем-ка, я покажу тебе нашу царицу небесную... кресть-ян-скую! — прибавил он как-то особенно выразительно. — Как было у нас житье крестьянское, на крестьянском положении, то и горести у нас были свои, крестьянские, и с горестями с этими мы к заступнице шли... И она, матушка, тоже была наша, крестьянская... Да и посейчас есть... Вот погляди!

Протискиваясь сквозь толпу народа, мы вошли в какую-то старинную маленькую церковку, где бурмистр указал мне на крестьянскую божию матерь. И точно, никогда не видал я такого изображения: божия матерь была изображена с веретеном! Действительно, изображение как нельзя лучше подходило к общему тону крестьянства, то есть крестьянского хозяйства, которым исключительно жили народные массы.

— А теперь, — сказал бурмистр, помолившись пред иконою божией матери, — пойдем и к угоднику нашему, тоже крестьянский заступник. Из древнейших времен считаем мы его своим покровителем. Книжка тут про его

житие продается, так там сказано, что все мы, здешние окрестные крестьяне, к монастырю этому были приписаны. Лет, поди, четыреста назад уж мы были под монастырем, когда еще Новгород Великим прозывался. В книжке-то сказано, как угодник к царю в Москву ездил все хлопотать, чтоб нас-то царь не отбирал от обители. А царь-то в ту пору собирался Нов-то-город разорять. Ну, царь его и уважил. Вот, друг любезный, мы и молимся угоднику-то нашему, крестьянскому, когда ежели постигнет нас какая крестьянская беда. Видишь, вот что тут нарисован? Погляди-ка!

Мы остановились под монастырскими воротами, где был изображен крестьянин с цепями на руках и на ногах, выводимый угодником из темницы; вверху было написано: «Святитель Иона [1] освобождает земледельца».

Эту надпись я прочитал вслух.

— Ну, вон, видишь! Это, вон, помещик какой-то запер земледельца, стало быть мужика, в темную... И запер-то его занапрасно. Ну, вот наш-то святитель и вывел его тайно в нощи. А то еще в житии пишется, как крестьянин в лесу заблудился. Пошел, вишь, за ягодами, да и не найдет дороги-то назад... Леса-то, брат ты мой, были в те поры темные, дремучие... Вот мужик-то и взмолился разным угодникам, — сначала одному, потом другому, все ему не было помощи. А как призвал да возопиил к своему-то, к нашему-то, тую ж минутою он его и вывел на дорогу... Истинно наш крестьянский заступник!

Мы вошли в церковь; там шла панихида, угодник лежит под спудом, и громким голосом читалась написанная в похвалу угоднику молитва. Были в этой молитве такие стихи:

«О, великий святителю, преблаженне отче наш!

Обидимым вдовам скорый в бедах заступниче!

Сиротам напаствуемым милостивый в напастех заступниче!

Заключенным в темнице, бедствующим, утешительный попечителю!

Тающим гладом милосердый питателю!

---

[1] Иона Отенский.

Скитающимся убогим странникам страннолюбивый страннопримниче!

О, заступниче *бедных* дерзновенный! .. Услыши и нас!»

. .

Панихида кончилась. Мы вышли из церкви и очутились опять в толпе.

— А и нонче, чрез четыреста лет, нету нам другого заступника! — прошептал какой-то задумчивый крестьянин.

6

Рассказ бурмистра, весь проникнутый восторженным поклонением старого раба крепостному праву и крепостным порядкам, хоть и веял по временам неприветливым, могильным холодом неприветливого прошлого, но я слушал его с большим любопытством и вниманием, так как чувствовал, что благодаря этому крепостному панегирику темная для меня деревенская действительность понемногу начинает выясняться. Нет спора, что взгляды старика на современные порядки и непорядки, на современное положение народа вообще, исключительно с «хозяйственной» точки зрения, с точки зрения расстройства *земледельчески-хозяйственной* организации деревни, — нет спора, что взгляды эти узки, ограниченны, но их определенность и подлинность, основанные на многолетнем опыте, невольно овладевали моим вниманием, так как давали возможность хотя что-нибудь уяснить себе в многосложной, исполненной загадок, картине народной жизни. Не говоря о том, что благодаря рассказу бурмистра я мог понять те бесчисленные темные деревенские мелочи, которые становят втупик всякого не деревенского жителя, выражаясь, например, в таких мнениях, как то, что «некому смотреть за мужиком», или что «надо драть мужика за то, что продал сено, управский овес, — и за то, что купил его»; не говоря, повторяю, об этих частностях, даже крупные загадки народной жизни, и те как будто получили возможность быть разгаданными, и все благодаря тому же рассказу старого крепостника.

Чтобы читатель мог и сам лично убедиться в том, какую услугу оказал нам старый бурмистр, приведем некоторые из этих загадок, а потом попробуем разгадать их

на основании мнений и взглядов бурмистра. Далеко ходить за этими загадками нам не приходится, так как если у нас с вами, читатель, есть на столе два-три журнала, да если к тому же мы имеем привычку ежедневно просматривать по нескольку газет, так загадок этих у нас с вами ежедневно, как говорится, полны руки, девать некуда... Возьмем для начала хоть такое явление, как прошлогодний самарский голод.

Осенью прошлого года во всех почти поволжских губерниях оказался страшный неурожай: хлеб тотчас после уборки достиг огромной цены, почти двух рублей за пуд, а спустя месяц стал дороже двух рублей. Печеный хлеб в Самаре, Саратове — этих житницах России — начал продаваться по небывалой цене — 4 и 5 коп. фунт. Неурожай и голод очевидны. Люди, принимающие близко к сердцу народное горе, писали корреспонденции в газеты, переполненные ужасающих подробностей: то вы читаете, что в такой-то деревне вдова-крестьянка *повесилась от голода*; то вам рассказывают о целых деревнях, голодающих сплошь. Корреспондент посещает жилища крестьян и в каждом из них находит истомленных, опухших людей, которые ничего не ели вторые и третьи сутки. Хлеб, присылаемый из голодных мест в редакции газет, потрясает своим ужасным видом. Появляются описания таких пищевых изобретений, от которых волос становится дыбом: один мужик на глазах корреспондента веником вымел амбар, в котором остатки зерна были перемешаны с куриным пометом, прибавил туда лебеды, осиновой коры и все это, замесив, поставил в печь (которая очень часто бывает совершенно нетопленная, так как дров купить не на что). Но и этой *пищи* (!!), прибавляет корреспондент, едва ли хватит семейству, состоящему из семи душ. К описаниям таких ужасных съестных припасов прибавлялось обыкновенно, что «скот продан за бесценок; коровы продавались за один рубль и много два; жеребята двухлетние покупались за 50 коп., телята по гривеннику, а лошадей отдавали почти даром». Под впечатлением этих ужасов самый язык корреспонденций как бы озверинелся, так как о людях начали писать только как о голодных ртах: вместо слова «человек» стали писать «едок». В семье столько-то «едоков». Иногда писалось: «столько-то ртов». Одни ужасы следовали за другими.

А в то же время такие совершенно непреложные, неопровержимые факты, как «голод» и «неурожай», начали осложняться новым неожиданным и совершенно загадочным явлением, а именно: хлеб, который *тотчас после урожая* стоил 2 р. пуд, начал дешеветь. «Что это значит?» — вопрошает недоумевающий читатель. В августе он был два рубля, в январе — около полутора, в феврале — еще меньше, а в марте — 90 коп. Что за чудо? Откуда такая благодать? В самое обыкновенное, более или менее урожайное время, всегда хлеб дорожает к весне, потому что как бы его ни было много, а его съедят за зиму, к весне его останется меньше и цена ему будет дороже. Тут же происходит что-то невероятное. Хлеба *не могло* быть потому, что неурожай полный, видимый, ясный для всех и каждого. Опухшие мужики — не фантазия, а факт, удостоверенный сведущими и добросовестными людьми. Кроме того, из этого неурожая сравнительно самая большая часть собранного зерна куплена-таки иностранными торговцами и увезена за границу. Хлеба, стало быть, осталось в обращении ничтожная часть, да и из этой ничтожной части приобретена земствами голодающих мест тоже масса хлеба, крайне по размерам недостаточная для самого умеренного прокормления населения. Но хотя земство и не могло приобрести столько, сколько требовалось, все-таки оно приобрело столько, сколько было можно. Этот приобретенный земством хлеб должен быть съеден народом. Хлеба нет — очевидно, а хлеб все дешевле да дешевле... К маю месяцу, когда обыкновенно хлеб ужасно дорог, он оказывается по 80 коп. пуд, в июне — 70 коп.

И в конце концов недоумевающий читатель газет поражен таким известием, опубликованным в одном из весенних нумеров любой газеты: «Крестьянин такой-то, выехав на базар продавать хлеб, был несказанно изумлен, узнав, что цена хлеба упала с 2 рублей до 70 к. за пуд. Возвратившись домой с непроданным хлебом, он затосковал и в ночь с такого-то числа на такое-то повесился в риге на вожжах».

Господи боже! — восклицает читатель, у которого все эти известия с самой осени ложились камнем на душу, — да что ж все это означает? То женщина вешается потому, что хлеб 2 рубля, то мужик вешается потому, что он 70 коп. Что же будет, если вместо голода господь пошлет

урожай, хлеб упадет в цене, спустится до 25 коп.? Если вешаются от дешевизны, как и от дороговизны, то при хорошем урожае должна развиться сущая эпидемия самоубийств. А урожай, как на грех, тут и есть. «Небывалые всходы!», «Зерно дало 14 колосьев по 80 зерен!», «С десятины получилось до 200 пудов чистого хлеба!» Читаешь и не знаешь — радоваться или плакать. И действительно, несмотря на огромный, небывалый урожай, уже слышатся голоса: «Едва ли крестьянин улучшит свое благосостояние... Дешевизна хлеба при дороговизне скотины... Самая плохая лошадь на Покровской ярмарке продавалась не менее ста рублей, теленок 12—15 рублей, корова 40—60 руб.», и т. д. Чувствуете вы, что в виде огромного урожая надвигается какая-то новая беда. «Буди воля твоя!» — говорите вы со вздохом и все-таки в конце концов не можете понять, откуда взялся хлеб, когда был неурожай, и почему этот таинственный хлеб начал дешеветь к весне вопреки всяким вероятиям?

Это загадка — нумер первый.

Нетрудно нам отыскать и загадку нумер второй и третий. Развертываем книжку журнала и читаем статью — «Санитарное состояние русской деревни». По словам автора, основанным на самых точных сведениях, доставленных земскими управами, смертность в наших деревнях, благодаря невозможным гигиеническим условиям, возросла за последнее десятилетие до огромных размеров. Цифры рождений и смертности, выведенные автором за десятилетний период, несомненно доказывают, что умирает больше, чем родится. Причиной такого опустошения выставляется дурное питание, а причиной дурного питания — недостаточность *земельных наделов.* Но, думает читатель, если причина — в малоземелье, то ведь, по нашим общинным порядкам, земля убылых душ разлагается на живущих. Страшна и ужасна такая ужасная смертность, но остающиеся в живых, получая больше земли после покойников, могут улучшить свое благосостояние хотя на время. Не тут-то было!

Вот другая статья — «Об отхожих промыслах» — доказывает, что, и помимо смертности, малоземелье гонит народ из деревень. Массы брошенных земель встречаются повсюду. Избы с заколоченными окнами и воротами свидетельствуют, что человеку, поставленному в невозмож-

ность существования, оставалось одно — бросить все и уйти куда глаза глядят. Затем, на основании сведений, доставленных земскими управами, приводится ряд цифр, из которых видно, что отхожие промыслы обезлюживают деревню хуже, чем дифтерит, хуже, чем смертность, непропорциональная рождаемости. Корень таких выселений из деревень лежит, по словам автора, в *малоземелье,* недостаточности наделов, не обеспечивающих самого элементарного пропитания.

«Ведь остается же кому-нибудь земля-то, брошенная умершими и ушедшими в отхожий промысел? Кому ж она достается?» — вновь вопрошает недоумевающий читатель и решительно теряет всякую способность определительно ответить на вопрос, когда третья статья — «О переселении» — доказывает ему на основании сведений, доставленных земскими управами, что деревня высылает ежегодно целые толпы переселенцев. «Целыми вереницами, — пишет корреспондент, — тянутся через наш город переселенцы, направляясь в Сибирь, в Тобольскую губернию... Партия переселенцев в триста человек при ста подводах проследовала через наш город...»

Эти известия являются наряду с известиями об опустошительной смертности и об отхожих промыслах. Смертность опустошает, отхожие промыслы опустошают, земель остается много пустых, зачем же еще искать этих земель за тысячи верст? На этот раз оказывается, что переселяются от густоты населения. Как так? Люди мрут как мухи, санитарные и гигиенические условия безбожны, и вдруг оказывается какая-то густота? Но густота налицо. Сведения, доставленные из достоверных источников, удостоверяют, что за десятилетний период времени густота населения увеличилась до такой степени, что на каждую действительную, а не ревизскую душу, нехватает и по $^{1}/_{4}$ десятины во всех трех полях, и вот этот-то излишек населения, в полном смысле слова обреченный на голодную смерть дома, и ищет новых мест. Итак, что же должен вывести из всего этого недоумевающий читатель? От малоземелья народ мрет, народ бросает землю, идет в отхожие промыслы, идет на переселение от того же малоземелья и густоты народонаселения. Мрет, бросает, уходит, — стало быть, остается после всего этого пустыня, пространство пустой земли?

Таких загадок мы могли бы привести множество, если б и без того не чувствовали неудовольствия, которое должен испытывать всякий человек, более или менее озабоченный народным делом, читая написанное нами.

«Так что же, — слышится нам негодующий вопрос недовольного читателя, — неужели, по-вашему, все, что пишется о народных несчастиях, — вздор и чепуха? Неужели все это пустые фразы и ложь? И, наконец, возможно ли издеваться над народными несчастьями, когда я сам, собственными своими глазами...»

— Нет, — отвечаю я, — все, что пишут о народных бедствиях, все это сущая правда. Не только бывает то, что пишут, а ежедневно, ежеминутно в деревне случаются такие возмутительные вещи, которые могут привести нервного человека в содрогание, и крайне жаль, что такие вещи пишутся только в экстренных случаях, выплывают на божий свет только в такие исключительные минуты, как всенародные бедствия вроде поголовного мора или поголовного неурожая. Все это — и подлинность малоземелья, и подлинность голодовок, и подлинность необычайной смертности — я признаю; я признаю полную возможность самоубийств с голоду, признаю достоверность описанной корреспондентом невозможной пищи (наконец, я сам видел эту пищу и помимо корреспондента); словом, все это я считаю совершенно верным, правильным, достойным сочувствия, гнева, скорби, помощи, и все-таки чувствую, что во всем этом полчище ужасов есть еще что-то, что зависит и от особенных качеств, свойственных современной деревне, о чем именно и была речь в рассказе бурмистра.

7

Предположим, что некоторое лицо, желающее вести беседу о проклятых вопросах деревенской жизни, искренно сочувствуя народу, проникнутое искреннейшим благоговением к «общинному землевладению», пожелало бы разъяснить вышеупомянутые загадки, — и спросило бы меня:

— Откуда взялся хлеб, когда был неурожай, и почему этот хлеб подешевел, вместо того чтобы подорожать?

— Хлеб, милостивый государь, — отвечал бы я под влиянием разъяснений бурмистра, — был там же и взялся оттуда же, где был и голод. В одних и тех же деревнях люди умирали с голоду, ели кору, пухли и т. д. — и в тех же самых деревнях были люди, которые не умирали с голоду, а, напротив, поправлялись и толстели; в одних и тех же деревнях были люди, которые продавали лошадь за рубль серебром, и были другие люди, которые ее покупали за этот самый рубль и которые теперь продают ее назад за сорок и пятьдесят рублей.

— При общинном землевладении? — с негодованием (как мне кажется) перебивает меня воображаемый собеседник.

И как мне ни трудно огорчить вопрошателя, но, скрепя сердце, я говорю:

— При общинном! Увы, при общинном землевладении!

— В одних и тех же деревнях?

— В одних и тех же.

— А смертность?

— Точно то же и со смертностью: мрут больные, голодные, худородные, а отъевшиеся здравы и невредимы! Одни мрут, как мухи, а другие толстеют, как борова.

— В одних и тех же деревнях?

— В одних и тех же.

— И при общинном землевладении?

— При общинном.

Лицо воображаемого собеседника моего вспыхнуло яркой краской негодования. Он, как мне кажется, готов был отвернуться от меня, прекратить разговор; но оскорбление, которое нанес я ему своими ответами, до того взволновало его, что, отворачиваясь и негодуя, он гневно задает мне, так сказать «в упор», такой вопрос:

— Так вы, что же, думаете, что хлеб был припрятан у одних в то время, когда другим нечего было есть?

Слово «припрятан», признаюсь, коробит меня. Я был бы очень доволен, если бы собеседник мой не произносил такого грубого слова, требующего от меня не менее грубого, жестокого ответа; но делать нечего, и, собравшись с силами, я решаюсь произнести ужасное слово.

— Увы! — говорю я, содрогаясь, — припрятан!

Сказав это, я чувствую, что мороз пробежал у меня по коже. Я сам до такой степени потрясен этим словом, что едва я выговорил его, как у меня является непреодолимое желание сказать что-нибудь другое, помягче; но, вопреки усилиям, слышу, хотя и сам не верю, что я опять, подобно ворону Эдгара Поэ, прокаркал:

— Припрятан!

Опять хотел поправиться, — и опять прокаркал:

— Увы, припрятан! Увы!..

— При общинном землевладении? — весь багровый от негодования, вопрошает воображаемый собеседник, видимо желая, чтоб я очувствовался, опомнился.

Но я, как бесчувственный истукан, не могу ни придумать, ни вымолвить чего-нибудь иного, кроме того же грубого ответа.

— При общинном землевладении! — говорю я, не имея силы, чтобы хоть сколько-нибудь смягчить неприятное впечатление моей грубости.

Но воображаемый собеседник уже не глядит на меня, — он не хочет на меня смотреть и не говорит со мною. Это меня задевает за живое. За что такая немилость? И почему такое высокомерное нежелание видеть и знать правду текущей минуты? Не обращая поэтому внимания на надутые негодованием щеки собеседника и не заботясь особенно о том, слушает он меня или нет, я, собственно для того, чтобы доказать, что у меня нет личной причины распускать дурные вести о народе, решаюсь сказать воображаемому собеседнику следующее.

— Если вы, — говорю я ему, — действительно печалуетесь вообще о судьбе народа, то вам нечего бояться и негодовать на новые злобы народной жизни и решительно вредно успокаивать себя на таких делениях деревенского общества, как такие две группы: народ, община, деревня — одно; кулаки, грабители — другое. Такое деление, хотя и вполне определенное, суживает вашу задачу и вашу заботу и приучает как к неосновательному негодованию на порицателей деревенского зла, так и к не менее неосновательным надеждам. Ввиду неосновательности такого деления общества приведу следующий пример.

Во время самарской голодовки земством и государством была оказана помощь народу выдачею хлеба зерном. Помощь эта распределялась вполне согласно пра-

вильности распределения земли, — правильности, доведенной до совершенства. На деле же оказывается, что при таком-то совершенно правильном распределении помощь вся оказывается в руках тех деревенских обывателей, у которых больше земельных душ, то есть больше земли, а у несчастных безземельных ничего не оказывается. Бедняки помирают, а соседи — первый, второй и третий — получают до «препорции», причем больше всех получает тот, у кого по богатству есть еще прошлогодний хлеб и который на получаемую помощь делает оборот. Такую раздачу вы основываете на общинном ручательстве, полагая, что здесь все *друг за друга*, а на деле такая раздача заставляет даже припрятывать хлеб, у кого он есть, чтобы даром *не отвечать* понапрасну за бедных, безземельных людей. Да, наконец, самого поверхностного взгляда на современную деревню достаточно для того, чтобы не подводить «под одно» всех деревенских жителей и все деревенские мнения и желания. Основывать однородность деревенских интересов на общинном землевладении так же несправедливо, как если бы на основании общинного владения петербургским водопроводом, из которого вода равномерно распределена по всем жилищам, от дворца до лачуги за Нарвскою заставой, и притом совершенно одинаковая вода, то есть как во дворце, так и в лачуге вода эта одного цвета, свойства, вкуса, идет из одного и того же источника, по совершенно одинаковым трубам и распределяется каждому по надобности его, — если бы, повторяю, на одинаковости и правильности распределения воды я основал одинаковость целей, желаний, стремлений, хотя бы только до известной степени, между всеми тысячами людей, населяющих тысячи квартир с одинаково проведенною водой; или вздумал бы на основании того, что вода распределена между всеми на основании потребностей каждого, «сколько кому надо», — вздумал бы представить себе, что и средства обывателей распределяются так же равномерно и притом «сколько кому надо»; конечно, едва ли бы с моей стороны в этом не было ошибки. А между тем на основании общинного землевладения строятся именно такого рода фантазии; правильность и точность межевых отношений переносятся в отношения нравственные; равнение *средств* к жизни продолжается

совершенно произвольно и в сфере нравственных отношений до того, что будто бы нельзя помочь вдове отдельно от «мира», и что «за такие дела» мир поколотит благотворителя.[1] Нет сомнения, у деревни есть общие интересы — такие, которые сплачивают деревню и делают ее «как один человек». Но если народ единят вести и слухи о земле, нужда в земле, лугах и вообще потребности и заботы *о средствах* жизни, — если во имя таких потребностей он думает и поступает однородно, все как один, так ведь и Петербург восстанет *весь* как один человек, если я запру водопровод, да и Москва возликует, — вся Москва от Кремля до Грачевки, — если я объявлю, что «будет водопровод»... И все-таки, делаясь в этих случаях как один человек, ни Петербург, ни Москва не спасают себя от тех общественных разъединений, которые существуют в них сию минуту. Деревенская жизнь вступает в совершенно *новый* фазис, становится в совершенно *новые* условия, под совершенно новые влияния и давления, благодаря которым возникают совершенно новые явления, явления огромного расстройства всего организма, а вы (я продолжаю обращаться к воображаемому собеседнику) упорно не желаете вникнуть во всю глубину этого расстройства, отворачиваетесь от них, отделываетесь от них небрежным выражением: «все кулаки!» — потому что вы якобы до такой степени «влюблены» в народ, что не можете переносить грубого с ним обращения... В межевых ямах и столбах (которые в действительности только одни остаются в полном вашем распоряжении, так как во всем прочем вы, как говорится, и пикнуть не смеете) — вы видите и спасение, и блестящее будущее, и проч., и проч. Но межевые столбы были всегда, во все дни и годы русской жизни, а *кроме их* чего-чего не произошло в этой жизни! И помешали ли сии ямы какому бы то ни было, самому злодейскому, давлению? Помешали ли они существенной из язв современной деревни, именно — *разрушению однородности средств* к существованию? Между бедствующими безземельными крестьянами, толпами идущими «на новые места», немало

---

[1] Это безобразие действительно было изображено в какой-то повести, доказывающей справедливость мирских порядков.

есть и родовитых аристократов пашни, которым именно и принадлежит идея идти на *новые* места и начать жизнь *сызнова.* И он идет. Общинные порядки, межевые столбы, ямы, все это осталось так же, как и было на его родине; но стала пропадать та понятливость отношений, соседских и домашних, в которых он вырос и помимо которых он ничего не понимает. Он прет за тридевять земель, чтобы, повторяю, начинать жизнь *сызнова,* с земли; чтобы советоваться только с нею, с солнцем и с небом, чтобы, только слушаясь их, иметь безгрешное право приказывать домашним то-то и то-то, взыскивать, требовать, хвалить и миловать. От керосиновой лампы он идет к лучине, от полусапожек, в которых стали щеголять снохи, к лаптям, от ситцевых платьев к домотканному холсту, — словом, он желает реставрировать весь понятный и в мельчайших подробностях зависимый от безгрешного труда — земледелия порядок. В этом порядке, основанном на труде, в котором «нет греха», он обретает и свое достоинство, и свое спокойствие духа, и свои права гнева, милости, доброты. Он не понимает, а если и понимает, то ненавидит этого соседа-шаромыжника, который понял дух века, стал скупать и перепродавать овес и благодаря грехом наживаемому богатству затмевает его, природного крестьянина, богатеющего только праведным путем, только по воле божьей, дающей талант, силу, счастье. Не желая приставать к шаромыгам и невинно терпеть от разозленного бедняка, этот аристократ пашни снимается с места и идет за тридевять земель. Да и вообще всякий переселенец идет на новые места, потому что на старых стало худо, неловко жить чистому крестьянину-земледельцу, неловко потому, что *оказалось необходимым и возможным наживать деньги грехом,* — не земледельческим только трудом, а разными иными способами и, пользуясь своим крестьянским соседством и крестьянским положением, употреблять неправильно нажитые деньги на еще большее расстройство своих соседей. Словом, в настоящее время в самой маленькой деревне, как и в таком громадном верзиле, как Лондон, становится возможным жить не своим, а чужим трудом. От этих непорядков обиженные ими хотят отделаться «своими средствиями»; а так как эти «средствия» могут в конце концов, после дальних окольных путей, привести к тому, что

можно и должно сделать теперь, и притом просто, спокойно, то воображаемый мною слушатель значительно воодушевил бы себя и укрепил свою энергию в народном деле, если бы сосредоточил свое беспристрастное внимание именно на огромности общественных непорядков деревни, вместо того чтобы возлагать неосновательные надежды на межевые ямы и общинное землевладение: оно не нуждается в защите, но оно не обороняет от непорядков, до того не обороняет, что какие-нибудь живорезы нарочно «вкупаются» в общество деревни, чтобы свободнее опустошать ее.

V. ЗАЯЧЬЯ СОВЕСТЬ

(Из разговоров с другим старым бурмистром)

1

Однажды на письменном столе в моей деревенской рабочей комнате я нашел большой, неуклюжий конверт, запечатанный и закапанный сургучом; и несмотря на многосложнейший адрес, занимавший всю свободную от сургуча сторону конверта, я только с большими усилиями мог догадаться, что конверт адресован действительно мне, а не кому-нибудь другому. Распечатал я этот конверт и нашел в нем следующее письмо, старинным почерком написанное на целом листе писчей бумаги:

«Вы много пишете и ищете ключа к щекотулке действительной жизни, желаете надавить пружину, чтобы обозначилось, в чем заключается будущее народа и в чем состоит действительное благо. Только щекотулка не поддается пытливости вашей!

...Может быть, вы, пишущие и обдумывающие, и есть патриоты истинные, но наверное в числе меньшинства, за громадным большинством подавляющим. В древле бог поддержал Савла: «Савле, Савле! Что мя гониши? Трудно тебе противу рожна прати!» Следовательно, оказал поддержку: «Знаю, мол, что тебе трудно, однако — крепись!» А ноните из тьмы большинства то же самое слышите вы глас, только это глас зла!..

...Много я в жизни претерпел разных ролей и ничего не нашел; рад, что семейство не помрет с голоду, — но и на этот спокой я уже впоследствии только согласился, то есть со взглядами мыслящих в большинстве: «не та честь, которая честна, а та, которая в кармане видна». А в прежнее время я все смотрел на расхищение бога по своим карманам, смотрел болезненно и бессильно. Скорбела моя душа, и даже проект обнародовал о благе, надеялся на сильных, и славных, и именитых; только сильные эти думали о себе, а не о благе, и все разрушилось!

А как все разрушилось, так и сильные стали рыться на пепелище, как после пожарища, ища золота или чего порядочного, и дорылись до моего проекта, да люди-то все тончайшие для своего только блага; для них, подобно Наполеону Третьему, —

Хоть весь свет в огне гори,
Лишь бы быть мне в Тюльери!

А ведь время идет, и прошло двадцать лет, и как я воротился в свою сторону и увидел: думали, что вечные столбы тысячелетия простоят, и никто насчет их пригодности не любопытствовал, и так, мол, прочны для здания, — и что же? Их уже червь подточил, тот самый червь, который на пепелище-то потом рылся, после разрушения-то и пожарища, червь-то, разрушитель всего, и подточил столбы вековые!

...Печатание же о крестьянском быту — все бесполезно; сколько ни пишите, бумага все терпит, а зло идет неустанно, оно не только что не лежит, но и не дремлет, и спать никогда не будет, и всех и вся гонит к розни!

Милостив господь — до время!
Терпит до последних дней!
О, несносно будет бремя
Избранных творцом людей!
Гнев господень возгорится,
Славу явит бог мирам!
На воздусях объявится
И рассудит по делам!
Своды неба потрясутся
От его движенья перст!
Все народы возмятутся
На пространстве многих верст!..»

Тотчас после стихов, без всяких дальнейших объяснений, следовали такие строки: «Ежели угодно меня видеть для беседы, то после осьмого часу, вечернего чаю, могу вас принять у себя; по преклонности моих лет и болезней, ни в каком случае прошу меня не требовать для объяснений». И, наконец, следовала подпись: «бывший доверенный графов Гусыниных, крестьянин -ской губернии Сидор Коробков».

Фамилия Коробковых стала известна мне с весьма недавнего времени; несколько месяцев тому назад принесли с почты вместе с письмами карточку-объявление на толстой бумаге о продаже керосина, такого содержания:

Главный и центральный агент
высших нефтяных продуктов
Н. КОРОБКОВ

получает керосин, масла, бензин, олеофин
из первых рук.
Экспорт бочками по востребованию.
Париж, Лондон, Филадельфия.
Высшие награды.

А вслед за этим объявлением, разосланным по всем селам, деревням и помещичьим домам в окрестности, на станции железной дороги стали появляться керосиновые вагоны-цистерны; «закипело» новое, небывалое керосиновое «дело», и закипело совсем на новый лад; прежде здесь шли только сенные дела, и шли, во-первых, на чистые деньги, — мужику деньги *сейчас* нужны, — а во-вторых, шли так, как богу угодно: сегодня «дают» семь копеек, а завтра двадцать семь, а послезавтра, глядишь, сено и «заиграло» до полтины, а потом опять спустилось до пятака. Словом, как богу и Петербургу угодно, так и шло, такие цены и брали. Совсем не так повел дело центральный агент, — широчайший кредит всем и каждому, конечно под расписку; никакого спора в ценах: «ниже всех» — вот цена, объявленная центральным агентом. И немедленно возникло новое, небывалое в наших местах явление — биржевая игра. У кулачишек, у мужичишек явилась жажда хватать бочки с керосином в долг и тут же перепродавать с барышом. Словом, дела действительно «заиграли», а вслед за тем пошли слухи:

«прогорит», «беспременно прогорит», «лопнет». И в ту самую минуту, когда все думали, что «лопнет» и что агента поглотит вновь прибывший «жид», — повсюду разнеслась новая весть, и весть, правду сказать, до чрезвычайности радостная для всего кулацкого мира, именно весть о том, что центральный «надул жида!» «Надуть жида», то есть перехитрить самую филигранную работу плутовства, — это огромная заслуга и величайшее удовольствие для всех наших кулачишек, толкущихся около станции. И все это сделалось в самое короткое время, и сделал все это очень молоденький, вполне приличный мальчик, лет двадцати, которого я очень часто встречал на вокзале железной дороги. С самой милой улыбкой на молодом лице, с самыми вежливыми приемами обращения, в опрятно надетой шведской куртке, он был совершенно новым явлением среди первобытного кулачья, обиравшего народ «по сенной части»: и манера торговать, и манера надувать, и манера держать себя, и совершенно правильная речь, испещренная словами «экспорт», «коносамент», все это было чрезвычайно ново и возбуждало к молоденькой, веселой, ласковой и предупредительной фигурке центрального агента всеобщее ласковое внимание, особливо после того как он, не теряя ни ласковости, ни вежливости, сумел «надуть жида» и остался после этого тем, чем и был до сих пор.

Мужик, принесший письмо и заглянувший ко мне на другой день, чтобы спросить: «не будет ли какого ответа?», объяснил мне, что этот «центральный агент» есть самый младший сын того старика Коробкова, который прислал мне письмо; что другие дети его держат в разных селах лавки и трактиры, но что сам старик не мешается «в эти дела», так как деятельность центрального агента до того не по сердцу старика, что не раз он грозился «проклясть» сына, несмотря на то, что в Лондоне, Париже и Филадельфии дело его получило высшую награду. Рассказал мне этот мужик, что старик — человек старого «завету», старого «лесу», твердый, кремневый, «упорный», что нониче таких мало стало, что, одним словом, башка на плечах у него здоровая. Была проведена параллель между нынешним шаромыжным направлением наживы, представителем которого был молодой Коробков, и старым образом жизни, образчиком которого

наилучшим образом мог служить Коробков-старик, и все выгоды этой параллели, с крестьянской точки зрения, остались за стариной. Старик честен, внимателен к мужику, не только наживает, но и добро делает, помогает и т. д. Узнал я также, что старик держит, неподалеку от нашей станции, большую мукомольную мельницу, где и живет почти безвыездно.

— Да уж верно, — говорил крестьянин, принесший письмо, — что таких людей по нонешнему времени совсем не видать... Что ноньче? Хотя бы сына его, Николашку, взять, — какое подобие со стариком? Этому, Николашкето, только бы деньги наживать, только бы ассигнации в руки попадали, больше ему ничего не надо, «все, мол, купить можно!» — вот нонешняя манера. Ну, а по-стариковски-то не так, — не туда! Деньги нужны всякому, и старому деньги нужны, только совесть-то ему дороже денег. Возьмет и он деньги, только чтоб совесть не повредить, с сердцем своим посоветуется; вот в чем главное-то дело! Ему бы на своем веку-то как можно было хватать? Полный доверенный по всем статьям, во всех угодьях, — господа эво где, за тридесять земель, — загребай в лапы все-всякое! Да совесть в нем человечья была, вот в чем расчет-то! Конечно, что польза ему была, говорить нечего, но чтобы правду забыть, чтобы, например, бога без внимания оставить, вот уж этого нет! А нонешний уж давно бы и господ и мужиков «под одно» объегорил, да в пиньжак бы вскользнул из полушубка-то, да с цыгарой в зубах в первом классе и укатил бы с курьерским в Петербург; а насчет того, что целую тьму народу на своей наживе потоптал, это ему горя мало! Есть об чем беспокоиться!.. Ну, а старик-то не-эт! Не такой породы!

Еще долго посланный стариком мужик расхваливал и на всевозможные лады, как говорится, расписывал «редкостного по нонешним временам старца», — но не знаю, удалось ли бы ему этими похвалами настолько соблазнить меня, чтобы я возымел желание завязать личное знакомство со стариком Коробковым. Немало уж на своем веку видал я этих «упорных», «твердых» и разных иных наименований стариков, обыкновенно весьма неумеренно расхваливаемых либо стариками же, либо людьми, приближающимися к старости и выставляю-

щими расхваливаемых ими людей как таких, каких теперь и в помине нет. «Теперь таких людей нету! Где!» Выходило даже так, что умри, например, Кузьма Иванович, старик из числа таких, каких теперича нет нигде, — так даже жутко становилось за будущее: «как же это мы все-то, вся-то Россия, жить будем, ежели Кузьма-то Иванович, сохрани бог, умрет?» Но, к сожалению, при более близком личном знакомстве с этими упорными и твердыми стариками, с людьми, «каких мало», — оказывалось, что крепостной опыт этих стариков неширок, невелик по размерам потребностей, которым опыт этот умел отвечать и которые теперь неизмеримо сложнее, шире и многозначительнее. Еще так ли, сяк ли «упорный» старик сумеет начертать довольно яркую картину современной деревенской неурядицы, но чтобы исцеляющим все недуги средством он не почитал прежде всего «строгость» и чтобы в его благообразно-старческих речах не чувствовалось присутствие основной мысли о каком-то религиозно-нравственном кулаке или отечески-доброжелательном тумаке, любвеобильной палке, — этого ни один из «упорных» старцев никоим образом не мог избежать в своих прожектах о том, что надо было бы делать теперь, и выше этого религиозно-любезного кулака никоим образом не мог подняться в своих мечтаниях. Признаюсь, даже и надоели мне эти почтенные люди; конечно, жалко смотреть на человека, который совершенно искренно возмущен непорядками, и нельзя не разделять его огорчения; но один уж язык, которым говорят огорченные старики, положительно иной раз измучивает до последней степени: легко ли дело толковать о тысяче таких вопросов, о которых пришлось думать впервые лет под семьдесят, и впервые же изобретать слова и обороты речи небывалые, чтобы выразить небывалые мысли. Иной бормочет долго, говорит по множеству слов сразу, и таких слов, что только кожа трещит за ушами у слушателя. А в конце концов и окажется все то же — «строгости нет». Думаю, что похвалы мужика не разохотили бы меня на знакомство еще с новым «упорным» стариком и не возбудили бы желания «поскорее», покуда еще г. Коробков не умер, побежать к нему и выведать секрет исцеления общественных недугов, но сам г. Коробков был точно человек «упорный» в желании разговаривать,

ибо в тот же самый день и тот же самый мужик опять принес мне записку такого содержания: «Окончательно уезжаю к своему делу нонешнего числа на ночной, четырехчасовой машине. В противном случае меня невозможно будет видеть раньше как об Святой. Следовательно, могу принять только на короткое время!»

Тон этой записки был так любопытен и занимателен, старик до такой степени ясно давал мне знать, чтобы я спешил к нему явиться, а «в противном случае» я уже сам должен пенять на себя, что я почувствовал невозможность не исполнить этого... приказания, поспешно оделся и пошел.

— Ведь уедет! братец ты мой! — говорил мне тревожным голосом мужик, с которым мы шли вместе.

И оба мы прибавляли шагу.

2

Под ворота, над которыми красовалась раззолоченная вывеска «центрального агентства», мимо ярко освещенных окон керосиновой конторы, прошли мы вместе с моим путеводителем в небольшие темные сени и оттуда поднялись наверх, в светелку, по темной и узенькой лестнице.

Здесь, перед столом, на котором лежали большие желтого цвета деревянные счеты, пачки разных бумаг и связка баранок, вместе с недопитым стаканом чаю, на плетеном «выборгского изделия» кресле сидел крепкий, широкоплечий старик. Одет он был в тонкого сукна русского покроя чуйку, ситцевую рубаху с косым воротом, плотно застегнутую на толстой, обросшей седыми, сильными волосами шее; седая подстриженная борода, седые густые усы, густая шапка в скобку подстриженных седых волос, все это, вместе с проницательным взором и большим выразительным лбом, производило впечатление чего-то действительно крепкого, коренастого, напоминало о старческой силе и прочности столетнего дуба.

Таково было первое впечатление, когда я только что вошел в светелку; старик сидел полуоборотом к двери и, освещенный двумя свечами, стоявшими на столе, ярко очерчивался в типических чертах лица и головы. Но

когда он увидал меня и пожелал приветствовать, то в нем тотчас же сказались старческие годы.

Приподнявшись на кресле и опираясь о его ручки обеими руками, он с трудом мог разогнуть колени и сказал:

— Уж извините!.. Ноги-то начали баловаться. не держут! Все больше сидишь.

И тотчас сел опять в кресло. Приказав провожавшему меня мужику сказать внизу, то есть там, где жил его сын, центральный агент, чтобы нам дали чаю, он извинился еще раз в том, что ноги (обутые в мягкие сапоги) не дали ему возможности быть вежливым так, как бы следовало. Подвигавшись и посуетившись на кресле и что-то пошуршав бумагами на столе, он, наконец, успокоился, сложил руки на груди и, устремив на меня свой пристальный, проницательный взгляд, не только нелюбезно, но даже с некоторою строгостью в голосе сказал:

— Так как же, господин сочинитель, будет у нас с вами насчет, например, России-то?

Я не понял этого вопроса и в недоумении спросил:

— То есть, что же собственно?

— Да ведь растащили нацию-то! — не строго, а уже грозно воскликнул он. — Как-никак, а кажется, что промотали землю-то, да и народ-то порасшвыряли, как гнилую солому. Ведь что же это такое? Возможно ли так-то? Как же это так, милостивый государь?

Я не успел, как говорится, открыть рта, как старик вновь заговорил до того взволнованно, причем волнение как-то так неожиданно, мгновенно и сильно овладело им, что я не только изумился, а даже испугался немного.

— Да позвольте! — вдруг воскликнул он, хватаясь за голову и тотчас же гневно ударяя по столу обеими руками, — ведь бог! бог ведь есть-с! Ведь... да что же это такое? Какому же богу идет это служение? Из-за чего? Что такое нужно? Деньги? Так разве так деньги-то добывают? Ведь все расточено, все брошено, все без внимания! Что же это? Где ум человеческий? Господин писатель! И где ж предел, конец, надежда? Господин сочинитель, я спрашиваю вас, — где окончание этому расточению душ человеческих? За что, кому нужна эта гибель, — а ей ведь конца не видно! Что же в сердце-то есть, если ничего, кроме гибели, не изобретено?

Лицо старика и в особенности глаза налились кровью, пот выступил у него на огромном лбу; он трясся всем телом и как-то шипел, ломая пальцы рук, когда произносил такие слова, как «господин сочинитель, я вас спрашиваю!» или «душа! душа ведь это человеческая».

Я не знал, что ответить старику, но он, очевидно, и не нуждался в моих разговорах, а желал только иметь во мне слушателя, который хоть сколько-нибудь мог понимать его волнения и мысли.

— Двадцать пять годов народишко кой-как да кое-как проковылял после крепости... Но ведь, милостивый мой государь, ведь в нем еще старинная сила была! Ведь это еще бабушкины-дедушкины копеечки-то подсобляли! При крепости мужик все-таки нет-нет да, бывало, и спрячет в подполье рублишко, да и баба как-никак утаит от бурмистра полтинку да спрячет ее в шерстяной чулок, чулок-то заткнет под перемет в сарае. Вот эти-то рублики да полтинники, издавние, старинные, сотни лет они накапливались потихонечку, из рода в род переходили тайком, шопотком, вот они-то еще держали народишко. Из этих чулок вынимали мужичишки деньжонки на избу, на коровенку, на одежонку. Вот где было еще кое-что на мужицкую подмогу — но ведь, сударь вы мой, ведь уж все это выцарапано, все вытащено, ведь телеги не встретишь исправной, ведь скотины нет такой, чтобы полюбоваться, ведь избы просторной не видишь! Ведь все рвется, все гнило, все голодно, все скучно, бесхлебно, все виновато! За что ж это? Куда, как, зачем, какой расчет, кому какой барыш, и предел, предел-то где? Каждый дворишко, где одна лошаденка ростом с зайца, и тот скучит, и тот разбредается! Ни тепла нет в нем, ни радости, ничего нет! Холодно, голодно, скучно — хоть топись! Господин писатель, ведь в этом случае Россия-то должна растаять, как комок снегу! Она тает, тает, как свеча! Но ведь все это создание божие! Для чего же, скажите мне, вы, автор и писатель, для чего же господь-то создал все это? Неужели же в премудрости своей он хотел расточить землю, обратить живых тварей в смертное уныние и тоску мертвенную? А ведь на деле-то так вышло: днем ли глядишь на народишко, ночью ли думаешь, — верьте истинному богу, — никогда не на чем сердцу

отдохнуть! Режет его тупым ножом, режет и днем и ночью... и ничего не видать облегчения!

Подробности деревенского расстройства, в которые, понемногу успокаиваясь, вдался старик, я не буду передавать читателю; все они давным-давно известны: пьянство, распутство, бесхозяйственность, неуважение к старшим. Никаких особенно новых и ярких черт, рисующих теперешнее трудное время народной жизни, старик не прибавил к тому, что уж всем известно, и я не без тоскливого замирания сердца ожидал, что вот-вот зайдет речь и о том «религиозно-нравственном кулаке», который, как я уже сказал, является почти всегда исцеляющим средством от всех современных недугов, если только об этих недугах рассуждают вообще старики. Но, к моему большому счастию, я ошибся.

— А отчего? — пристально глядя мне в глаза, проговорил старик, после того как картина расстройства и непорядков была довольно уж выяснена. И в то время, когда я ожидал обычного ответа — «Строгости нет! Страху мало!» — две крупных слезы затуманили эти пристальные, широко открытые глаза и скатились по затрепетавшим щекам.

— Сердца в людях нет, — вот отчего! — сказал старик глухим голосом, всхлипнув и торопливо утирая ладонью мокрое от слез лицо. — Вот нонешнее поколение! (Говоря это, он энергически тыкал пальцем по направлению к полу, и я понял, что этот жест относится к центральному агенту.) Может ли он быть гневен или может ли быть он добр? Нету! Плюнь ему в рожу, — у него рука не осмелится на оплеуху! Понадейся на него, — не выручит, будет спать покойно, хоть бы ты у него стонал всю ночь под окном. Не гневен и не любовен; со всеми ласков, но у него все подлецы. Ошибаетесь, любезные! (Тот же угрожающий жест по направлению к полу.) Ты думаешь — «мне б только самому было хорошо, а прочие пусть как знают; наплевать мне на них!» Ошибешься! Не будет у тебя уюта ни в доме, ни в совести, пока чужие люди для тебя не люди! Коли твое сердце на чужую жизнь не отзывчиво, так ничего в нем и не будет! своего, брат, не выдумаешь ничего! Ну, да пусть попробуют, поживут на свете без сердца-то! Нельзя жить, чтобы сердца не слушаться; оно есть то самое место, где

настоящая правда. Недаром говорится пословица: «Что бо́г на сердце положит!» Оно как стрелка в часах указывает, что в человечьей душе; в нем то свет засветится, то тьма пойдет черней ночи осенней. Как его не слушать! А вот этого-то послушания и не видим в нонешнее время! Прежде (вот я хоть бы про себя скажу) какой-нибудь бурмистр, мужик, — один стоит над пятью-шестью деревнями, *один за все отвечает,* — ну и глядя по человеку и по сердцу и делает, как придется. Возьми-ка теперь, что́ попечителей, руководителей, указателей, внушителей! Все с жалованьем, все на тройках, все с кантом и с бантом,— а ведь народишко-то не живет, а гниет, как забытый гриб. А ведь, кажется, как бы не пожалеть? И тут жалко, и тут плохо, и тут обидно. Кажется, как бы в гнев не прийти, о правде не зашуметь? Ведь не барин над ними, как над нами бывало, а все ж таки закон. Как же не возопиять-то? Ан вот нет! Только бы с плеч долой! Пером почеркал, в конверт запечатал, — и все тут! А народишко гниет да гниет себе! Не видал я ни гневных, ни любовных людей из попечителей, учителей и указателей!.. Нет, не видал! Пошебаршит бумагой, и поскорей на машину да к себе домой, — «отдохну, мол, — жена на фортопьяне развлечет!» Нет, ангел мой, не получишь ты развлечения настоящего, — потому что сердце твое неправильное; направление-то в нем заячье! Оно говорит «жалей», а ты боишься, — оно говорит «не стерпи, возопи!», а ты опять боишься, ну, и, стало быть, неопрятно у тебя в сердце-то, а фортопьянами этого мусора не вычистишь! Вот как я думаю. Отвыкли сердца слушаться, думают, что квартальный лучше укажет, «как надо». И идет по земле не жизнь, а так, гнилье грибное...

— Но, — сказал я, — ведь все эти руководители и наставители, как говорите вы, ведь все они только исполняют приказания?

Сверх ожидания, это замечание почему-то необыкновенно взволновало старика, и, не дослушав меня, почти он закричал:

— А ты не утерпи да закричи! Приказания! Приказания исполни! Коли велят, все соблюди, под козырек сделай, и ножкой шаркни, и в бумаге нашебарши пером, что следует, да свое-то слово вверни, — ведь ты человек с совестью? Так вот этого-то и нет! Знаем мы, как следует

исполнить приказания, но ведь у человека и свое сердце есть; как же так не возопиять? Извивайся, коли так, перед высшими, ползай, да изловчись же сказать и свое! Как это не изловчиться? Ежели ты своему сердцу веришь, своего сердца не боишься, — так ты непременно изловчишься? Да что вы? Мало ли мне что прикажут! Да ежели у меня сердце замерло от приказа от этого, так я изогнусь змеем, а уж не утаю своего! А то, скажите пожалуйста, — велят врать, а я и ври? А из-за чего ж я живу-то, из-за чего меня господь человеком сотворил? Нет, не так! Мало ли какие бывают злые гонения, а в ком есть сердце, — изловчались; так ли, сяк ли, — а ухитрялись и правду говаривать! Да позвольте, я вам вот сейчас, для примера, документик один предоставлю, так вы и увидите, что значит и приказ исполнять и начальство не обижать, — а дело-то делать так, как совесть и сердце указует!

Проворно роясь в бумагах, лежавших на столе, старик не переставал говорить вполголоса:

— Какая мода! Боятся совести своей поверить!.. Жалованья получают немаленькие... и на тройках все... а умеют только бояться!.. Нечего сказать, очень новая мода!.. Образование великолепное, — а хвостик заячий! Нет! по-нашему не так бывало! И мы боялись, пуще вашего трепетали, только сердце-то свое в помойное ведро из-за господских милостей не швыряли! Вот она! Вот эта самая! — воскликнул старик, вытаскивая из груды бумаг какую-то толстую тетрадь. — Она самая и есть!

3

— Это, изволите видеть, — сказал он, похлопывая ладонью по тетради, — мое оправдание перед барыней, графиней Гусыниной, Варварой Андреевной... Надобно вам доложить, что я сызмальства беспрестанно находился при господах, и то по прихоти своей они меня возвеличивали, так что оказывали полное доверие, то по прихоти своей и ниспровергали до скотного двора, то опять призывали. Был я и награждаем, и по скулам бит, и за бороду таскан, и дран на конюшне, был и лобызаем и хвалим. Все было, все я видел и все претерпел!

Подумать только, милостивый государь, чего только я не навидался, не натерпелся! Ведь власть барина, помещика, — это ведь не чиновничья власть, это ведь не губернаторская, а барская! Что хочу, то и сделаю! Может, у иного желудок расстроен, колотье в этом месте от нехорошего обеда, — и ежели он от этого расстройства меня повредит, сорвет на мне зло, — я молчи! Ни закона, ни защиты нет! Так извольте вы подумать, как было жить в ту пору человеку с совестью, чтобы потрафить каждой господской прихоти и чтобы бога в своей душе не обидеть? Ведь если бы я по-нонешнему-то жил, то и мне бы только господам потакать, что прикажут, то и делать по их указанию; ведь нонешние руководители только и знают, что исполняют точка в точку, что приказано, а там, между-то людей, хоть трава не расти! .. Но во мне была совесть, сердце было чувствительное, а в сердце правда жила, — и не дал я ей помереть, не променял ее на неправду, на свой покой!

— Я этих самых оправданий, — опять проводя рукою по тетради, говорил старик, — на своем веку немало настрочил... И могу сказать, очень искусно навострился правду в глаза говорить. Что я такое? Раб! Вот меня житьишко-то и научило, как тут изворачиваться... Рабствовать-то рабствуй, а правду помни! .. Взять хоть бы вот эту самую барыню-покойницу, графиню Варвару Андреевну... Был я при их особе бурмистром более двадцати годов; было на моих руках пять больших деревень на Волге, всякая малость на моем ответе, все взыскивалось с меня. А ведь покойники господа-то у-ух какие были мастера взыскивать-то! .. Живет эта самая степенная графиня Варвара Андреевна почти без выезда в Петербурге. Дама высокого ранга; на пальце у нее беспеременно пузырек со спиртом висит, на золотой цепочке, — потому она в нервах не крепка. Окроме того вдова, — это надо расчесть тоже! .. Деревень своих она не знает, ничего, с позволения сказать, не понимает, а приказы да взыскания с нее так и летят, как перья из дырявой подушки. Приедет из своих деревень какой-нибудь кузен, родня, Пьер там или Жорж, — «помилуй, говорит, Барб (это у них завсегда такая поговорка, — все навыворот), помилуй! Мне говорили про твоего управляющего — он грабит мужиков! .. У меня с души выходило

пятнадцать рублей, а твои платят двадцать! Это грабеж!.. Неужели некому посмотреть за этим мошенником?» Расстроит ее этаким манером, а та уж и нюхает из пузырька и чепцом трясет и уж приказ пишет... А кузен-то этот советует ей поручить уличить меня в грабеже хорошему человеку, да и хорошего человека сейчас порекомендует: «Вот тебе, мол, хороший человек, — аптекарь у меня знакомый в Балахне, Богдан Богданыч. Честный немец. Заплати ему тысячи полторы в год, он все там разузнает, приведет в порядок!» А та и рада! Сейчас доверенность Богдан Богданычу, а Богдан Богданыч тотчас же мне начинает строчить свои приказания: уж мошенником-то этот Богданыч меня первым делом окрестит да еще напридачу велит, чтоб ему белых грибов два пуда представил я к такому-то сроку, а не представишь — барыне пожалуется, а та опять расстроится, напишет мне бранный приказ... Это вот Пьер приехал и натворил мне хлопот. А то приезжает Поль и уж на другой лад поет: «Помилуй, Барб, у тебя золотари наживают по тысяче рублей в год, а ты получаешь с них оброку только пятнадцать рублей! Это наверно управляющий грабит! Нельзя так! Ты добра, ты ничего не видишь!.. У меня есть в Москве хороший человек, статский советник Белобрысцев, — дай ему доверенность и обяжи бурмистра еженедельно представлять отчеты, и тогда уж будь уверена, что Белобрысцев каждую полушку разыщет... Дай ему тысячи две в год жалованья!» — «Ах! в самом деле!» И глядишь, еще управляющий нашелся! Один пишет мне, что я много беру с крестьян, а другой пишет, что мало, и все объявляют меня мошенником... А там, глядишь, поговорила с кем-нибудь — пишет учить всех мальчишек, непременно учить грамоте, не изнурять работой, кормить бедных нищих, подавать пособия, раздавать всякие вспомоществования... и боже мой, чего-чего нет!.. Это, должно быть, с монахом либо с монахиней поговорила, — а не успеешь опомниться, новый приказ: «Почему в мастеровые не отдаешь? Почему Федька не в столярах?» Это уж, надо быть, Белобрысцев внушил. Да чего! «Предписываю немедленно выслать мне ту самую горчицу, которая была третьего года... очень вкусная и возьми у того самого купца»,— вот какие бывали приказы! Горчицу вспомнила

вкусную и сейчас приказ, — а у меня уж есть приказ учить, помогать, в сапожники отдавать, не грабить и грабить, и Богданычу грибов надо, и Белобрысцев просил два пуда толокна... Вот и извольте тут управиться, потрафить на каждого, потому у каждого полная доверенность, каждый может и сам драть и барыне жаловаться, а барыне все можно. Да ведь на всех этих указателей денег надо накопить, ведь я же должен эти деньги-то на своих начальников из народа взять. Так ежели бы я пононешнему действовал, та́к ведь у меня народ давно бы весь был размотан, растаскан по клочьям. Но я не таков был! Нет! Хотя бы вы и господин и начальник, — а над вами есть бог! Надо и вас иной раз немножечко урезонить, в человеческий ум привесть!

— И урезонивал-с!.. только с хитростию надобно все это оборудывать... Ну, каким родом я, например, этой барыне, графине, скажу прямо правду? Можно ли мне ей сказать, что, мол, все ты врешь, и Богданычи твои врут и ничего не понимают? Ведь сказать так, значит пропасть! «Это грубиян, бунтовщик, дерзкая тварь; если он так смеет говорить, так ведь его хватит и зарезать. В Сибирь его, пока еще не натворил беды!» Вот ведь как вышло бы, если бы я правду-то по правде говорил, а я уже травленый волк, знал, как надо делать, и делал!

— Беру я перо писать ответ и думаю: барыня нервного сложения, и раздражать ее нельзя, а кроме того, что она нервна, надобно еще знать, что она и барыня. И, таким образом, выходит, что для начала оправдания надобно мне притвориться рабом, тварью бездыханною, нижайшею сволочью распростертою, чтобы ввести ее в мягкий дух, разлакомить ее раболепием и распростертым своим видом. Вот я и пишу... (старик взял рукопись и, надев круглые медные очки, стал читать):

«Ваше сиятельство,
графиня Варвара Андреевна!

Приказ вашего сиятельства с супругою Богдана Богдановича я получил сего марта месяца 2-го числа, на который по случаю моей жестокой болезни долго вашему сиятельству не отвечал; теперь же хотя еще я очень слаб, но могу выходить на воздух и хотя питаться слегка пищей, то тотчас же, по собрании сколько есть моих сил

и рассудка, поспешаю обо всем подробно вашему сиятельству довести.

Я всенижайший раб вашего сиятельства и состою по власти вашей. Вы со мною делаете, как вам заблагорассудится, но только то смею доложить вашему сиятельству, что неизвестно, по каким причинам вы меня жестоко наказали, даже, можно сказать, убили негодованием на непредставление отчета о том, сколько собрано с крестьян денег на мирской расход. О том же, в грозном виде, требует ответа его превосходительство г. Белобрысцев, а равным образом и Богдан Богданович из Балахны. Не в силах постигнуть корень той злобы, которая могла пустить столь ядовитые ветви, я притеснен с трех сторон: из Петербурга, Москвы и Балахны, настигнутый врасплох и не готовый к обороне, почувствовал несносный для себя удар и остолбенел, и таково для меня было по слабости моего здоровья легко, что сделался со мною припадок, и после, когда встал, хотя и с полумертвым моим телом, нашелся вынужденным принести жалобу мою перед создателем и сказать: «Господи! Тебе единому открыты сердца человеков, — не видят бо, что творят!»

Что я теперь пишу к вашему сиятельству, к моему оправданию, это есть самая сущая правда, безо всякой лжи. Могу признаться в. с-ву в том, что я нелицемерно, как совестию, так и душою и сердцем, расположен и пребуду навсегда итти к той цели, дабы какими-либо случаями не учинить продерзости и довести в. с-во до беспокойствия; да и есть еще тайна, запечатленная в сердце моем, которую бы должен хранить и взять с собой в путь, когда отправлюсь в жилище праотец, но по теперешним моим обстоятельствам принужден распечатать камень сердца моего и вынуть слова, сказанные мне покойным графом Дмитрием Ивановичем, при разделе по кончине родителя их: доставшись я по разделу его с-ву графу Дмитрию Ивановичу, то призвавши меня сказал: «Сидор! Я знаю, что ты служил батюшке хорошо, надеюсь на твою службу и мне, но буде меня не будет, то служи моей графине Варваре Андреевне и исполняй должность свою в порядке». Я выслушал эти слова, упавши ниц к ногам его, и если мне забыть слова его с-ва

графа Дмитрия Ивановича, то должен быть я заблудшим скотом».

Старик остановился и сказал:

— Так вот пораболепствовал я этаким манером, поразлакомил ее своим низкопоклонением, сделал ей удовольствие, лег вроде пса покорного у ее ног, и думаю: «ну, сударыня, теперича послушай и настоящей правды, отведай серых мужицких щей»:

«А что касается, буде в. с-ву от крестьян ваших или откуда стороною дошли слухи, что с крестьян ваших происходят сборы излишних денег, много более противу прочих селений, то донесено в. с-ву вполне справедливо и никакой в этом клеветы нет. Если угодно в. с-ву, чтобы не превышали сборы у ваших крестьян противу прочих селений, то для этого нужно только в. с-ву оказать крестьянам такие милости: не извольте получать с них вместо сборного хлеба деньги, из вашего господского дома повелите выслать людей или пускай живут где хотят и что хотят едят. Повелите дом оставить без надзора и сторожей и дворников уволить, и тогда крестьянам будет много легче. Почему два года назад с души собрано по 17 руб., а в нонешний год по 22 руб.? Потому первое, — что постоянно двое рекрут; да в. с-ву за хлеб деньгами дадено, да для дома в. с-ву разъездной ямщик нанят за 600 руб., да на дрова для дому, да на починки, да на мелкие расходы по дому же. Извольте из 22 рублей вычесть таких расходов по желанию в. с-ва более семи рублей на душу, и тогда не будет и четырнадцати, а следовательно, менее прочих. Я и сам доложу в. с-ву сущую справедливость, что нонешний или прошедший год, глядя на крестьян, сердце выболело, не токмо затевать какие прихоти. Хмеля не родилось, работ никаких для крестьян нет, хлеб, благодаря бога, хотя и родился, но и тот вытаскали весь, и с трудом, что только можешь собрать денег, отсылаешь в. с-ву или уплачиваешь казенные повинности, в приказ. В течение года не бывает залежного гроша, людям месяца по два харчевых не выдается».

— На-ка вот! — заговорил старик не без злорадства, прерывая чтение. — Понюхай-ка вот этого деревенского-то спирту, из пузырька на мочалке, а не на золотой цепочке! Отведай-ка! .. Разбери-ка, кто тут с кого лишнее-

то берет, кто тут в грабителях-то оказывается! А поди-ка не прочитай, что написано, это уж и против совести: любила читать, как я низкопоклонствовал, так и это люби! Дашь вот эдакого спирту крепкого, под самый нос подскочишь, — да и опять кубарем-кубарем под диван; опять псом прикинешься, чтобы загвоздка-то не больно рассердила.

«Нет, ваше сиятельство, — зачитал старик иным, не злорадным, а рабским тоном, — много есть резонов к оправданию моей невинности, но всего на бумаге не изъяснишь, а полагаюсь на моего создателя, он защитник мой! А вашему сиятельству как заблагорассудится. Я знаю только одно, что вы моя госпожа, а я низкая в доме тварь. А что мне непростительно и сам я признаю, — так это нехватило моей догадки насчет горчицы и подновских огурцов, а равным образом и любимых вашим сиятельством круп. С открытою совестью скажу, что все сие уже я приуготовил, но получая насчет оного как из Балахны от Богдана Богдановича, так и из Москвы от его превосходительства г. Белобрысцева строжайшие приказания и нарекания за бездеятельность и угрозы о строжайшем по вашей доверенности с меня взыскании, а равно и от вашего сиятельства саморучные строгие выговоры и даже от жены Богдана Богдановича, Амальи Карловны, — то совершенно отуманился в уме и утерял правильное мнение о том, куда деваться с огурцами, крупою и горчицей, ибо отовсюду получил натиск, угрозу и строжайшее требование. Своевольно подумывал я отправить оные огурцы и прочие продукты с нарочным прямо в столицу, к подножию вашего сиятельства, но не дерзнул на сей расход и паче того воздержался от расхода на разгон по трем разным местам, откуда шли строжайшие требования, ибо и один разгонный ямщик стоит уж 600 р. серебром, за что справедливо укоряете раба вашего в отягощении крестьян!»

— Хороши ли огурцы-то подновские?— самодовольно взглянув на меня через очки, произнес старик. — И горчица, и все есть! Все ей послал на бумаге с низкопоклонением, а не укусишь, потому что я сейчас же опять превращаюсь в тварь бездыханную.

Старик торопливо перевернул страницу и зачитал:

«Нет, сиятельная графиня! с тех самых пор, как угодно было вашему сиятельству потребовать меня для услужения, я, как заблудший сын в объятия отца своего, бегу с трепетом и приношу жертвы моления моего, возвышаю голос и говорю: «Благодарю тя, господи! госпожа моя, которую, господи, ты мне определил, призывает и простирает ко мне свое милосердие, требует моей услуги!» И счастлив я, и торжествую! То как бы я мог взять в свой рассудок иметь жадность к сребролюбию? А думаю я, что ко вреду моему кто-нибудь внушил вашему с-ву, как я имею семейство и содержу тещу с двумя детьми, то не взял ли я смелость дерзнуть без позволения вашего с-ва выдавать ей харчевые? На что доложу вашему с-ву, что во мне нет той дерзости, чтобы я мог как-либо поступить без позволения вашего сиятельства. Действительно, что теще моей, без поддержания моего, пропитаться было нечем, кроме имени Христова, потому что муж ее стар, промысел его плох; но мой расчет был тот, что теща ли, нет ли, а мне в хозяйстве женщина нужна. От детей же ее никакого мне нет расчета; ведь они, высокосиятельная госпожа, ваши, а не мои, и буде в услугу к сиятельству вашему не годятся, — так ведь их продать можно; ниниче рекрут стоит 2000 руб., — вот вам и деньги, и все ваши расходы на сирот несчастных покроют. Ну только, богом данная нам всем госпожа, хотя 2000 р. за человека и хорошие деньги и очень могут в столице пригодиться, только ведь сначала надобно человека-то вырастить, выкормить его, дождаться возрасту, а потом уже и деньги за него класть в кошелек. И еще скажу: одна девчонка-повеса нарыскала в Москве мальчонку, родила в деревне, а сама завертелась у вас в Петербурге, — оставила на мою шею, и где бы не надо коровы, принужден купить и воспитывать ребенка. Ведь ребенок не щенок, и к тому же безвинная тварь, вырастет — слуга будет, — вот я и положил в мыслях: по вашему строжайшему приказанию, чтобы благодетельствовать бедных и сирых, дабы мягкосердие вашего с-ва благословляли и доброту прославляли, — буду я питать, кормить и поить сирот, вашего с-ва крепостных, дабы они всечасно возносили к всевышнему моления о долголетии вашего с-ва и наследника графского дома, сына вашего, Сергея Дмитриевича. А между тем сколь

мне горько и до изможденния души прискорбно, что стал я в плутовстве подозреваем. Это все одно и то же, что, не судя и не сделав должного определения, взвести человека с завязанными глазами на эшафот! К сему-то случаю могу напомнить вашему сиятельству писанное ко мне некогда вашим с-вом нравоучение по случаю небольшой моей ошибки, которое теперь имею смелость возвратить вашему с-ву; именно: изволили писать, что «не всякому слуху должно верить, а должно сначала в точности узнать, а потом и судить». Почему я и усматриваю, что ваше сиятельство каким-нибудь случаем изволили оное правило затерять или заложить в бюро вашего рассудка, где оно и лежит без последствий...»

— Ну, тут я действительно мало-мальски перепустил через край, — только сейчас же и спохватился:

«Да и худо быть слуге без господина своего и кольми паче обязанного должностию. На всех человек не угодит; будь он трезв, — обнесут его пьянством; будь он честен, — сделают его плутом; а когда находишься перед лицом господина своего, то уж сам господин видит худое и доброе поведение. И вот по какому случаю душа моя желает напиться прохладного нектара, то есть с нетерпением желаю, чтобы бог благословил вашему с-ву возвратиться в вожделенном здравии к нам, в тихое родовое пристанище, где царствует деревенская тишина и спокойствие, не превращается против натуры ночь в день, а день в ночь, не оглушает стук карет, не ослепляет глаз блеск воинских оружий, не надо затыкать сиятельные уши хлопчатою бумагой от грома пушечных ударов; нет надутых гордостию вельмож, не досаждают криком уличные разносчики миногами и устерсами, а существует только одна сельская простота, облеченная в порфиру природной своей красоты! И к тому же осмеливаюсь доложить вашему с-ву, по нонешнему времени для прожития в Петербурге доходов ваших будет мало, и ежели его п-во г. Белобрысцев не внесет 19-го октября в опекунский совет, то вашему с-ву надобно будет принять свои меры. Да и прибытие вашего с-ва в деревню много сделает выгод и для крестьян — именно ваш домашний расход гораздо уменьшится... А моя выгода — подобна будет манне небесной, ибо тогда я уже и лично могу оправдаться...»

— Так вот этаким-то манером брил я эту сиятельную госпожу по всем пунктам. Да всего не перечтешь. А под конец как отбреешь на каждом слове да сделаешь ей же хорошее нравоучение и указание, — ну, думается, и пошутить можно, чтобы у нее-то на сердце легко стало под конец моей науки. Вот хоть бы так...

Старик опять взялся за тетрадь и стал читать, улыбаясь:

«А что касается моей болезни, то доношу в. с-ву, как прошедшего февраля месяца, поутру часов в пять, когда по обыкновению я всегда встаю, пришлось мне чхнуть, и чох учинился несчастный, и до того крепко я чхнул, что почувствовал в правом боку над подгрудными ребрами как будто что у меня оборвалось или хрустнуло, и так жестоко, что я без памяти лежал полчаса, и после того оказалось на боку, от этого вредного чоху, большое пятно синего цвета величиною в табакерку, и сохрани бог, ежели придется кашлянуть или чхнуть, то тут уж наверно будешь без памяти...»

— Ну, вот эдаким манером... Наборможешь ей разного мусору, ну она и не сердится... Так вот, господин, как мы, старики, жили!

Старик откинулся на спинку кресла и, вздохнув, сказал уже значительно утомленным голосом:

— Отчего же в понешнее-то время нехватает храбрости этаким же родом дорожить правдой? Ведь нас, как телят, продавали, с нами всякий владетель что хотел, то и делал, вся жизнь была в чужом капризе, а почему же мы осмеливались совесть свою беречь? Ведь вот я — чего-чего я своей графине не сказал, ведь сколько я ей щелчков-то препроводил, — а почему? Потому что мне сердце велит это сделать, и я хоть и виляю и извиваюсь змеем, — потому всякому человеку шкура его дорога, — а уж ни в чем ей не потакаю! Извини! Я и рабским и холопским манером, а сделал же, чтобы ей совестно стало, чтобы ей стыдно стало своей господской неправды! А ноничe и рабства нет, и горя больше, и зла больше, и слез больше, — а правды-то все боятся! Испугались, спрятались, хвосты поджали, — «только бы день пережить, и слава богу!..» Вот и расползается и рвется клочьями, словно гнилой ситец, житьишко крестьянское.

4

С рукописью в кармане (старик охотно дал ее перечитать) поздно ночью спускался я по темной лестнице, оступаясь на круглых и узеньких ступенях и ища выхода. Шум моих шагов вероятно был услышан обитателями «центрального агентства», потому что в то время, когда я ощупывал клеенчатую дверь этого агентства, не зная куда идти, дверь эта отворилась, и передо мной предстал молодой Коробков с лампой в руках и с своей обычной, тонкой и любезной улыбкой на устах.

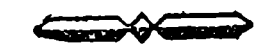
— Посетили старичка? — спросил он, кланяясь и освещая мне дорогу.

— Да, — сказал я, — мы побеседовали кой о чем с вашим родителем.

— Набрюзжал он вам, должно быть?

— Напротив! Я услыхал от него много любопытного... А главное — сердце-то какое славное!

— Ну, да ведь что ж теперь с сердцем-то? И без сердца трудно-с!



VI. «РАСЦЕЛОВАЛИ!»

1

— Господин! — не особенно церемонно пошатывая меня, едва начинавшего засыпать, за плечо, хриплым, режущим ухо голосом произнес хозяин постоялого двора и заставил меня открыть глаза.

— Запираем-с! — прохрипел он, заслоняя своим гигантским телом свет догоравшей на столе скверного «номера» сальной свечки.

— Как? — в недоумении возразил я спросонья. — Теперь который час? Мне ведь на поезд в четыре?

Огромная фигура, омрачавшая благодаря огарку всю комнату мрачною, черною тенью, безмолвствовала. Но я чувствовал, что она вовсе не желает слушать и принимать во внимание моих возражений. Она и ее черная тень как бы напирают на меня с каким-то настойчивым требованием.

— Всего одиннадцать часов!.. Зачем же так рано?

— Запираем-с! — холодно, хрипло и грубо опять отрезала фигура и продолжала безмолвствовать. А я опять еще сильнее почувствовал, что она непременно хочет меня вытеснить из номера, и что никакие резоны с моей стороны не будут ею даже услышаны.

— Вещи ваши старичок донесет.

— Ну, ступайте! — сказал я с сердцем. — Ступайте, я встану!

Безмолвно, не спеша удалился хозяин, но не спускал с меня повелительного взгляда, такого взгляда, который обязывает к безусловному повиновению.

Этот взгляд, да и вообще вся фигура и физиономия хозяина поразили меня еще при первой встрече с ним, на крыльце его постоялого двора «с номерами», где мне пришлось остановиться в ожидании поезда.

Такие постоялые дворы, с такими «пришлыми» неведомо откуда хозяевами, биографии которых были никому не известны во всем округе, стали быстро возникать во время так называемой «железнодорожной горячки», одновременной постройки множества железнодорожных линий. Возникали они большею частию на совершенно девственных местах, у таких станций железных дорог, которые приходилось строить в местностях, где до этого никогда не было никакого жилья. На самую станцию, в буфет или «на вокзал», обыкновенно пробирался, по протекции, какой-нибудь повар, отпущенный барином и освобожденный после 19-го февраля. Но селиться на совершенно новых местах, в двадцати — тридцати верстах от первого жилого места, не было охотников из местных жителей: засиделись они у своих лавок в губернских и уездных городах, застоялись у прилавков своих трактирных буфетов и более тосковали о том, что идут новые времена, чем стремились воспользоваться этою новизною для нового рода наживы. Пионерами таких смелых предприятий, как основание поселка там, где с незапамятных времен стоял дремучий лес, или тянулось стоверстное болото, или разливалось-ходило волнами море песку, — такими пионерами являлись всегда люди пришлые, видавшие виды, прошедшие огонь и воду, правда, не заботившиеся и не знавшие, что и как

должно быть в этих местах в будущем, но отлично и тонко понимавшие все нужды «нового пункта» в настоящем. Бывало, еще и дорога не открыта, еще не достроены станционные постройки, и работа идет по всей линии, да и проселка еще не проложено к станции от ближайших сел, деревень и городов, а уж кто-то откуда-то прибыл, выстроил из теса какой-то шалаш, и «публика», уже рвущаяся к станции по непроездным дорогам, знает, что в шалаше можно получить коньяк, лафит и что за прилавком стоят две «премиленькие штучки», что в шалаше не только продают, но и покупают: и кур покупают у мужиков, и овес, и сено, и все что угодно. В настоящее время на таких, пятнадцать лет тому назад совершенно диких местах, выросли почти целые новые города, отнявшие жизнь у старых торговых и бойких мест и понемногу перетянувшие к себе более или менее смелых молодых коммерсантов. Но начать дело мог только человек не теряющийся, попавши в дремучий лес или в пустыню, человек риска, смелости и почти всегда темной биографии.

Таков, между прочим, был и хозяин постоялого двора. «Каторжник», — мелькнуло мне, едва я взглянул на эту гигантскую темную фигуру. До необычайности пристальные, проникающие одновременно и в душу и в карман глаза, холодные как лед и как лед остро блестящие, сразу говорят всякому, на кого взглянут, что им надобно знать, за какие именно свойства характера и кармана следует взяться и вообще на чем следует *истощить* наблюдаемого человека. Именно свойство истощить все, что в вас есть подлежащего истощению, вот какой был этот взгляд «каторжника», огромного, железного телосложения верзилы, с лицом изрытым, даже изорванным оспой и запечатленным тюрьмой. Как будто клоки мяса были вырваны оспой вместе с волосами из бороды, из усов и из бровей. Большая, по-арестантски остриженная голова была также изорвана, как бы искусана диким зверем, вырывавшим зубами клочья мяса вместе с волосами. И ко всему этому — хриплый, резкий голос, отрубающий слова, как тупым топором.

Что-то жуткое чувствовалось от этого «каторжника», да и во всем его заведении и во всех членах его

хозяйства чувствовалось что-то, заставлявшее ощущать себя как бы в разбойничьем притоне. Чем-то острожным веяло от работников и работниц, и какие-то молодые девицы, — присутствовавшие в заведении в значительном количестве в качестве якобы прислуги, — также производили впечатление каких-то наглых, холодных и бесстыжих существ. За досчатыми стенами постоянно слышался тупой и грубый смех этих девиц, гулявших с конторщиками и приказчиками, дожидавшимися получения или отправки товара. «Ставь, что ль, рыжий!» — слышалась грубая речь девиц. И такое времяпровождение не мешало им исполнять свою должность: придет и «сунет» самовар и пойдет ублаготворять какого-нибудь рыжего. Словом, место было темное, хотя учреждено было, надо отдать «каторжнику» справедливость, в самое «надлежащее» время и организовано самым, по тогдашнему времени, практическим способом.

Денег в ту пору в образованном обществе было пока еще много: были деньги у помещиков, даже еще от первых закладных; были деньги огромные у всех сортов железнодорожников; адвокаты тоже рвали куши «с-нову» непомерные. Бумажками всяких сортов и видов было набито еще множество карманов; у иных инженеров «сотенные» торчали даже из задних карманов, вываливались на пол из перчатки, из портсигаров. Все это надо было куда-нибудь девать. В городах пошла оперетка, появились люди, у которых было по четыре жены, количество буфетов возросло до невероятных размеров. Шампанское целыми пирамидами стало появляться в глухих степях, в буфетах станций, сиявших яркими огнями среди темных пустынь, словом, шел еще всеобщий реформенный «пир горой». Пьяных в поездах бывало всегда множество, и пьяный разговор с пьяным хохотом гудел неумолчно по всем устроенным и неустроенным станциям и линиям. «Каторжник» сумел уловить дух времени и завел свой притон на новом месте. Пять-шесть часов времени, которые приходится ждать поезда адвокату, едущему в город; пять-шесть часов, которые приходится ждать лошадей адвокату, едущему из города; инженер, дожидающийся телеграммы от управления и от m<ada>me X.; помещик, у которого в кармане хороший куш от первой закладной; наконец, толпа разного рода жидовствующих

и православных обнюхивателей новых мест, — все это, привлеченное линией железной дороги к новому пункту, обещающему в будущем большое торговое развитие, все это в то время не хотело скучно проводить время даже и в течение каких-нибудь пяти-шести часов; надо выпить, съесть и «провести время». Ели тогда пропасть, беспрестанно, и все по три, по четыре порции, и пили на всех буфетах одновременно и водку, и вино, и пиво, и шампанское. Как только живы оставались, единому богу известно!

Для удовлетворения таких-то желаний публики, которая не может «праздно» провести и пяти часов и у которой деньги сами просятся из карманов на волю, «каторжник» и воздвиг свою храмину в самую настоящую минуту. Сколотил он на скорую руку девятиоконный дом с двумя сараями, устроил лавчонку для мужиков и, разделив дом на две части, на черную и на дворянскую, положил начало «оживлению» пустынной местности. Мужик тащит к нему кур, хлеб, сено, яйца и «забирает» из лавки. «А на праву руку», в дворянских номерах, господа проезжающие также могут получить что угодно.

— Маша! Проведи господина! .. Это сирота-с! по бедности взял... и другие есть сироты, ваше благородие! .. Пелагея! Поди к барину... убери номер... Лафит? Лимонад? Есть-с! Паша! Поторапливайся к барину с лимонадом!

Хлопанье пробок лимонада и какая-то возня за перегородками доказывают, что и «господин купец» и просто «господин», занявшие номера на дворянской половине, не уступят друг другу в умении «провести время». Словом, хотя все это заведение сколочено на скорую руку, хотя оно и грязно и неряшливо во всех отношениях, но в нем и для мужиков и для господ — *«все есть-с!»*, решительно *все*, чего душа желает.

Когда «каторжник» так грубо разбудил меня, с единственною и вполне ясною целью, чтобы я опростал номер, очевидно нужный для сирот, во всех номерах дворянской половины шло какое-то таинственное распутство: трещали стены, столы, полы, хлопали пробки и мурлыкали какие-то таинственные голоса, изредка прерываемые грубым сиротским смехом. Рассерженный наглостью хозяина и торопливостью укладки вещей, я почувствовал

усталость, но, не видя хозяина, с которым нужно было расплатиться, стал его ждать: сначала присел на диван, а потом и прилег. Сон опять мгновенно оковал меня.

— Господин! — опять неумолимо-повелительно прохрипел «каторжник» и заставил меня почти в бешенстве вскочить, расплатиться с ним (швырнуть в рожу) и уйти.

Ночь была непроглядная, грязь невылазная, и дождь лил ливмя. Состояние духа было самое скверное.

2

— Ах, родимый ты мой! Что ж ты так рано вышел? И чего ж с дороги-то не отдохнул? — ласковым, даже с какою-то, казалось, нежною дрожью, голосом говорил старичок, несший мои вещи. Он плелся позади меня, грузно шлепая по лужам, тяжело дыша и шатаясь на ногах из стороны в сторону, не то от старости и слабости ног, не то от тяжести чемодана.

Ласковый, радушный голос и речь старика приятно подействовали на мою взбешенную «каторжником» душу. Я невольно оглянулся на него, но было темно, да и старик шел нагнувшись под тяжестью моего чемодана.

— Хошь чаю-то попей в вокзале! Чай-то там есть. Погрейся! Да уж и меня, родненький мой, угости, старичонка!

— Пойдем, будем чай пить! — с удовольствием сказал я.

— Ах ты, Христов человек! — еще с большею нежностью и задумчивостью проговорил добрый старик. — Ах, и душа же у тебя добреющая! Вот христианская-то душа у тебя! .. Чаем хочет старичонка побаловать!

Все это было сказано нежно, ласково до чрезвычайности, но мне показалось в этих ласковых речах что-то глубоко ядовитое, хотя я решительно не мог понять, почему мне так показалось. Мне хотелось взглянуть в лицо этого человека, что я тотчас же и сделал, когда мы вошли в вокзал. Оказалось: седой, худой старик с густыми, нависшими на глаза бровями, не дававшими возможности видеть выражение этих глаз. На первый взгляд они показались мне кроткими и старчески-тусклыми. Лицо было изможденное, и щеки глубоко ввалились, как бы

прилипли к челюстям; жиденькая, трясущаяся бороденка также ничего типического к его непонятному лицу и непонятному выражению глаз не прибавляла. Но мне показалось, что он как будто неохотно смотрел прямо в глаза, как-то косил ими и даже, заметив, что я хочу его рассмотреть, тотчас по приходе в вокзал и сложив мои вещи на скамейку, поспешил, не оборачиваясь ко мне, совсем повернуться лицом в угол, где был большой образ с лампадой. Он «истово» молился на образ, «истово» поклонился и направо и налево, затем в отдельности засвидетельствовал почтение поклоном буфетчику, присовокупив: «отцу и благодетелю!», проходившему обер-кондуктору, начальнику станции и каждому из них отвешивал поклоны и непременно также присовокуплял то эпитет «благодетеля», то «владетеля», «первоначальника». И в этом, повидимому чистосердечном, низкопоклонстве было что-то «не то», не настоящее.

Едва заметное нежелание «прямо смотреть в глаза» так смутило меня в этом старике, что я уж и сам не решился взглянуть на него «испытующим взглядом» и, разливая по чашкам чай, когда мы, наконец, уселись за столик у буфета, старался смотреть на чайник и на чашки, а не на старика. А старик опять задребезжал своим ласковым и в то же время непрерывно раздражающим голосом:

— И что же, благороднейший мой господин, не пожелали вы в номерах-то наших поезду-то дождаться? И потеплее бы, и поуютней бы.

— Хозяин сказал, что запирает и что ночью некому будет отпереть, — ответил я ему довольно сухо.

— Запирает!.. И не может отпереть?. Вот какой благороднейший человек хозяин-то наш! Ведь надо же такую иметь доброту в себе! И придумать этак!

Что-то уж совсем «скверное» слышалось в каждом слове.

— Подивитесь, — сказал старик, обращаясь к буфетчику, — каков наш орел-то премудрый и предобрейший!

— Какой орел? Радивонка-то ваш, разбойник?

— Вла-де-тель наш! попечитель и благодетель! Родивон Иванович! А кто такой разбойник, это уж, видно, вам знать... Разбойник! Ишь ведь что! Чудак ты этакой! Тут надобно понимать ангельскую доброту, — вот

как, а не то чтобы... Посуди ты сам: приехал Иван Иванович Изотов, требует номер, а номеров нету. А Родивон Иванович, благодетель наш, столь добр, добросерд, что не может он покинуть человека! Что бы Ивану-то Ивановичу Изотову на дворе-то или бы здесь делать? Ведь он какой человек? Так доброта-то Родивону Иванычу не дозволяет этого! Вот он и вытеснил этого самого господина преприятного!

И он указал на меня, тотчас же торопливо и как-то особенно звонко проговорив:

— И деньги ими, благороднейшим-то господином вот этим (опять указал он на меня), были заплачены за сутки! И то он, Родивон-то Иванович, благодетель-то мой, сердцем своим не поколебался, а за друга своего, за добродетельнейшего Ивана Ивановича Изотова, постоял твердо и господина проезжающего выпроводил вон!

При этих словах я уже не мог не взглянуть на старика. Не то плут, не то сумасшедший, не то что-то вообще загадочное и, главное, злобное несомненно было в нем. Злобное ясно слышалось уже теперь в этих ласковых нежных нотах; не нежность слышалась в дрожании его нервной и ласковой речи, а именно злость, и злость лютая.

— Да как же-с? — взглядом мертвых, тусклых, глубоко спрятавшихся куда-то глаз ответил старик на мой взгляд, поняв, какой именно вопрос в нем заключается.— Ведь это надо какую иметь доброту, чтобы, например, ради ближнего своего вон этак-то, как с вами, поступить!.. А означает, что Родивон Иванович — человек верный и за добродетельного человека постоит! Иван-то Иванович Изотов как с сиротами-то с нашими, с номерными? Как отец, попечитель и наставник! Он о них печется, пригревает на своей груди ангельской! Родивон Иванович ценит это: взял да и уволил господина-то добреющего — вон!.. А ведь Родивон-то Иванович десять годов, по божьему указанию, сам в остроге просидел, и то любовь в нем горит, как неугасимая лампада! Десять годов за невинное убиение! Да! Просиди-ко ты да пламенную душу-то сохрани так, как Родивон-то Иванович, невинно-убивец и невинно-страдалец, душу-то свою сохранил! Вот господь-то ему и дал! Я ему подчиненный

раб, из-за куска хлеба, и целый день я моими ногами еле-еле передвигаю по двору, то по навозу, и по преклонности моих лет не имею часу передохнуть, иной раз крохи не вижу, а как на ангела взираю на Родивона-то Иваныча, на благолепнейшего человеколюбца!

— Разбойник, уж извини пожалуйста, твой Родион Иваныч! — сказал буфетчик коротко и резко. — Колодник, больше ничего, грабитель! Как начальство-то допускает! ..

— Грабитель? Ах ты, благоприятнейший мой господин! И кого ж он ограбил когда? И нешто возможно, чтобы Родивон-то Иванович кого-нибудь ограбил? *рас-це-лу-ет* он всякого человека, а не ограбит! Вот что, превосходнейший мой домоправитель, скажу я! На сколько бы тысяч ни было, на пять, на десять, — не ограбим мы тебя, не разворуем твоих денег, а все твои капиталы рас-це-лу-ем, раз-ми-лу-ем! Ограбить! Вон помещик Лукин, молодой человек, которого Родивон Иваныч принял под свое благословение; что же у него теперь осталось из капиталу? И нешто мы ограбили его и разворовали? Даже и подумать этого невозможно! А что расцеловали его, размиловали у него весь капитал до копеечки, так это окончательно из одной любви! Кто его грабил? И Родивон Иваныч, и весь его сиротский завод, и прочие добросердечные христианские подвижники из простонародия, все до единого ласками, похвалами, почитанием, поклонением, угождением и благоговением так постепенно, тихо, благосклонно, благословенно и расцеловали его со всем его капиталом в две недели!!! И будет помнить и хвалить всевышнего, что не разворован, а расцелован он любезными друзьями, на все пятнадцать тысяч, и должон теперь хвалить силы небесные, потому обиды не видал никакой! Грабитель! Родивон-то Иванович? Да это купель Силоамля! Теперича бедные крестьяне придут к нему, нищие — «дай! дай!» то соли, то деготьку, то хлебушка. «Возьмите! Возьмите, драгоценные мои! (Представляя Родиона Ивановича, старик притворялся совершенным ребенком, не теряя мертвого выражения глаз.) Возьмите! только спросите с чистосердечием!» Спроси у него с чистосердечием, и все он тебе даст, и все от тебя примет, все под цифру подведет: и образ, и сапог, и женин платок, все, многолю-

бивец, приемлет и ничем господа не гневит! Даже единое яйцо, и то приемлет с благословением! «Давайте, говорит, милые мои, дорогие, бесценные мужички, и бабы, и ребята! Давайте все, что вам господь дал, тащите всякое тряпье, и сирот, говорит, беру под кров мой, и деньги сам за них, с благословения божия, выдаю, все волоките ко мне, ведите и несите!» И в расчетах уж чисто завсегда выходит, как вот облупленное яичко!

— Да! — сказал буфетчик. — Истинно так! Кто к нему ни приткнется, от него идет уж точно как облупленное яичко. Это ты верно!

— Да! Уж чисто, бла-го-ро-дно! Уж лучше невозможно! Что ни человек, то расцелует его Родивон Иваныч во всех смыслах, а уж не обидит!

— Однако, — сказал я, не выдержав этой кляузно-иезуитской речи и этой непомерной злобы, прикрытой нежными тонами голоса, — однако вы без милосердия отделываете вашего хозяина. В самом деле, должно быть, он разбойник. И лицо-то у него такое ужасное!

— Должно быть, что и тебя, старика, — присоединяясь к разговору, сказал буфетчик, — он тоже расцеловал хорошо; на обе щеки! Я и сам уж стал замечать, что ноги-то у тебя как будто подламываться стали.

— И подламываются мои ноги! Подламываются, это справедливые твои слова! И веку моего осталось всего на два с половиною вершка, а я возношу благодарение! И только одно во мне есть благодарение и умиление! Расцеловали меня до изнеможения моего не токмо Родивон Иванович, мужественный сиропитатель, а окончательно, со дня моего рождения и поднесь, все до единого, с кем бог привел мне быть и жить. Не разграбили они меня, не разворовали моей совести, моей души христианской, а всего меня, со всеми моими суставами и со всеми моими кровями, слезами, мучениями, только рас-це-ло-вали! только раз-ми-ло-вали! всего дочиста, до капельки! Вот почему я с умилением и с благодарением возношу дух мой к небеси! Расцеловала меня жизнь до последнего издыхания!

Начав свою речь в ответ на слова буфетчика прежним фальшивым тоном, старик неожиданно, с каждым дальнейшим словом, стал как будто терять способность выдерживать эту кляузную манеру мыслить и выра-

жаться. С каждым словом речь его становилась искреннее; искреннее горе ясно стало чувствоваться в его словах, и последнюю фразу он сказал так искренно и с таким непритворным отчаянием, что ни на минуту не оставалось сомнения в глубоком, ужаснейшем горе, угнетавшем его душу.

Чашка, опрокинутая им на блюдечко, билась в его руке, точно он дрожал от лютого холода, и лицо было бледно, как полотно.

3

— Все до единого меня так-то расцеловывали в жизни-то моей! — продолжал он, оправившись немного. — А уж, кажется, и жить-то на свете мне от бога не было указания: думаю я так, что обрек меня господь первоначально в велениях своих на погибель в младенческом еще возрасте. И мне бы по-настоящему, как вот обдумаешь все, как должно, точно что умереть бы надо в зачатии. Потому что рождение мое не человеческое, а рожден я, прямо скажу вам, господа благородные, от пса! Ей-ей, не лгу! Не от человека рожден, а от пса! И мне бы лучше помереть. Какой же может быть человек, ежели он от пса произрожден?

— Да ты что болтаешь-то? — недоумевая над словами старика и смущенный каким-то непонятным озлоблением, снова зазвучавшим в его голосе, сказал буфетчик, сам как будто чего-то испугавшись.

— Чего болтаю? От пса! И рожден я псом под забором, и крещен в смердящей луже, в грязи! У людей есть мать, и мать своего ребенка кормит, молоко ему свое материнское дает, тепленькое, нянчит его. И меня бы кормила и нянчила мать, если бы я родился от матери. Но как я рожден от пса, положен в лужу под забор и теплого материнского молока не видал, то я и не вспоминаю матери, а вспоминаю пса и говорю в молитвах моих: ах бы пес тебя взял! Потому родители мои — псы!

В голосе старика уже дрожали слезы.

— И надо бы мне собачьею смертью околеть, да господь повелел жить. Хотел добрым людям дать способа

добрые дела из-за меня делать. Вот они и взяли меня из навозной ямы, и стали расцеловывать постепенно от своей единственно любви! Богач один, купец, вынул меня из ямы, из навозу. Как мне создателя-то не благодарить? Подумайте-ка!.. Ведь бросили меня маленького, новорожденного младенчика в лужу, в яму помойную! Душу-то ангельскую выкинули собакам!. Ведь сказывали, — у меня, у новорожденного-то, полон рот грязи набило!

Тихо, но неудержимо и обильно, как полая вода, полились из глаз старика слезы. Он вдруг расслаб, подавленный, очевидно, огромной тяжестью всей огромной обиды жизни. Он так заливался слезами, не произнося ни слова, что, кажется, и сам был удивлен, — откуда этих слез взялась такая сила? Он захлебывался, глотая слезы, как бы крупными кусками, и всеми мерами старался овладеть собой. Чрезвычайно долго не удавалось ему привести себя в порядок; но когда он, наконец, очувствовался, то продолжал свою речь так:

— На кухню, по божьему повелению, попал я из лужи-то, к моему спасителю, избавителю и покровителю. Дай ему бог царство небесное! Тоже хороший был кровопиец! С семи лет я уж на работе — полы мету, дрова ношу, и уж уму-разуму учат: то кучер, то кухарка, то сам христолюбец. И все шло на пользу: и палка, и кулак, и кнут... все на пользу мне и поспешание!.. И дай ему, господи, чтоб могилка его хорошенько придавила и придушила! Известно, от кого я рожден, так и характер у меня тоже действительно был собачий. И по совести скажу — только с палкой и можно было со мной на свете жить. Не прощал я своего горя. Не про-ща-л! Ну, иной раз по этому случаю денька два в холодной конюшне запрут без хлеба! Ничего! Мне и честь псовая!

— Это семи лет-то?

— Семи, семи годочков, ангелы мои благосклоннейшие! Семи годочков только! И тогда уж во мне бешеный характер надобно было искоренять! И искореняли!

— Экие жестокие люди бывали в прежние-то времена! — сказал буфетчик со вздохом.

Старик улыбнулся было на это, и улыбнулся добродушно, но тотчас же, и вероятно потому, что сочувствие буфетчика успокоило его расходившиеся нервы, он вдруг

опять был охвачен давнишней привычкой фальшивой и кляузной речи, глаза его опять потускнели, ушли куда-то глубоко-глубоко, скосились, и он стал говорить в таком же тоне и роде, как говорил вначале.

— Жестокие!.. Не жестокие, а самые прелюбезные были времена!.. Нашему брату, псовому отродью, не позволяется себя с дерзостию понимать! Ах ты, добрая душа! Нешто это жестокость, коль скоро сироту берут из лужи и помещают под кров? Да нешто это все? По вступлении моем в возраст мог бы я идтить на все четыре стороны и погибнуть во грехах своих, ибо во грехе рожден я!.. Так благодетель мой, кормилец, заступник и покровитель, богоданный мой человеколюбец, не допустил меня до погибели! По достижении возраста дал я ему формальный документ на вексельной бумаге, что задолжал я ему за мое воспитание, обучение, внушение мне по всем суставам моим очень великолепную сумму. И дал я ему второй документ — мою благодарность и просьбу оставить меня у него, у благодетеля, в рабском состоянии навеки нерушимо, покуда мои долги за внушение мне христианских добродетелей и прочие увечья я не оплачу моими услугами и трудами, а по сколько богоданный отец мой разочтет, в том его святая воля!

— Аккуратно! — сказал буфетчик иронически.

— Да нешто это все? Нешто так обожают-то нас истинные наши отцы и благодетели? Так ли он меня еще успокоил!. В самое то время, как вошел я в возраст, благодетель-то мой был вдовый, пятидесятилетний человек.. Окромя меня, псового сына, не было около него детей. «Женись, говорит: все мне, старику, будет куда чаю сходить напиться, посмотреть на чужую семью». А уж у меня была припасена девица... Кр-ра-ссавица писаная! Но гордая, дерзкая, непокорная. «Выйду, говорит, за богатого!.. Буду ждать, а уж дождусь своего!..» Ну, я благодетелю-то моему и открылся, и опять он по благосердию своему удостоил меня подмогой. Поглядел невесту мою сам, дал мне денег, взял документы: «Женись, говорит, не робей! Отработаешь!..» Показал я моей гордячке деньги, подумала, поворчала, пошла! Подхватил я ее, облапил! И только что облапил, выступает мой добросердечнейший благодетель, и опять он меня расцеловал, прямо сказать, насмерть!

«За тобою, говорит, столько-то и столько-то, и ты мне сослужи службу... Поезжай в такое-то место, за пятьсот верст, обревизуй дело и донеси!..» С благоговением поехал я от моей молодой жены в отдаленное место, поехал на месяц, а пробыл там три года. Не пускает меня благосклонный мой покровитель — хоть что хошь! Кончишь дело, а он новое навалит! И все я с ревностию исполнял, потому благодетель мой также и за меня, за мои труды хлопотал немало на старости своих преклонных лет, потому что, как уезжал я, была моя жена беременна первым ребенком, а воротился я через три года, так что ж вы, благороднейшие господа, думаете? Трое, ангелы мои, бегают, трое! И все в меня, один в один! Это все благодетель-то мой христолюбивый за меня старался, чтобы время-то у моей жены без меня не пропадало в тоске и в слезах. Ну, не ангел ли небеси подобный? И в ножки бы мне надо ему было поклониться, что воспитал он меня, возростил, женил и семейство мне окомплектовал, — да ведь порода-то моя не человечья, а собачья! Чем бы в ножки поклониться, ручку поцеловать, собачий потомок взял да и стал кусаться, да христолюбивому-то наставнику рожу-то ободрал, да волосья-то ему выдрал, а наконец того, уж как так не знаю, и дом моего благодетеля в ту же ночь дотла весь сгорел! И уж как сгорел — на диво!.. Серебро все слепилось в комки!.. Отделка вышла по первому сорту, и переехал я, по случаю пожара, на новую квартиру, следовательно, прямо в острог!.. Так вот как расцеловывают-то. А все для моей же пользы, чтобы меня во вредные дела не путать. Тут-то вот, в остроге-то, я и с благочестивейшим Родивоном Ивановичем встретился и буду ему до гроба молельщик и раб! Мы знаем друг про дружку мно-о-ого хорошего!.. Восемь годиков мы с ним там, в прохладных-то местах, вместе на излечении и для души спасения находились! А как вылечился я, исцелел, отсиделся и отлежался, как дурь-то собачью из меня выдуло, тут уж и супруга моя любимая, ангел мой небесный, тут уж и она тоже для моей же пользы постаралась! Было у ней уже пятеро человек детей, а мой уж по десятому году херувимчик был. Ну, любя меня, — так как она меня пламенно обожала, — то ко мне она не пошла, говорит: «Благодетель мне все состояние обещал по духовной оставить, твоему

же сыну достанется!..» Видите, какой ангел? «Лучше ему жить в богатстве, чем в бедности!» И по этому случаю пламенная моя подруга моего ребенка мне не отдала — «Погубишь!» И я сам знал, что погубить мне его не хитро, и отказался. Куда уж мне, острожному, христианскую душу на свой ответ брать? Отстранен я от моего младенца по доброй моей воле, по истинной моей любви сердечной! Но была во мне горькая горечь о всей моей пропащей жизни, и сам я упросил их, моих благодетелей и благотворителей, оставить меня у них в услужении, на черной работе, в холопах! Хоть одним глазом, думаю, взгляну иногда на моего ангельчика, всё мне отрада. В ножки им, благодетелям, поклонился, ну, кое-как снизошли к моему молению, только чтобы я моего сына, ни боже мой, не касался! И внушили ему, что, мол, мужик этот, который у нас в кухне живет, на дворе работает, — «острожный», и к нему подходить не надо. И все любя моего младенца! И не подходил ко мне мальчонка; да в окончание моей жизни великолепной и он, ангелочек мой, также, по примеру прочих, расцеловал и последние остатки в моем сердечушке... «Подойди-ко ко мне, — говорю однажды, — мой мальчоночек!» Разжалобился я как-то раз, глядючи, как он по саду бегает с детями, играет. «Острожный, говорит, ты чорт!» — и убежал, и детей с собой увел, и нажаловался. «Острожный, говорит, пристает!» Так вот какова ласковая моя жизнь!

...Ну, уж после моего младенчика покончил я с своей жизнью; ушел от них, да вот господь меня и столкнул носом к носу с Родивоном Иванычем, благодетельнейшим христолюбцем! И не покину! И так-то мы с ним вот уж никак в пятом месте все народ на разные манеры расцеловываем, — любо два! Уж к нам не попадайся! Облапим, облюбим, обцелуем, пойдешь от нас, как облупленное яичко! И тебя бы мы, барин благороднейший, расцеловали (старик уже прямо смотрел на меня холодными, сухими глазами и указывал на меня пальцем), и я уж прикинул на тебя глазом, как ты только в номер вошел, да вижу, что у тебя, почитай, ничего нет. И Родивон-то Иванович тоже сразу понял тебя. А то бы, ежели б у тебя в кармане-то было потяжелей, нешто бы ты ушел так-то? Ночью-то? А сирота-то как-кая есть у нас, какая штучка-то сохраняется в светелке! И-и,

голубенок! Да мы тут с сиротами да с прочими всякими обнимками так бы тебя расцеловали в одну ночь, что ты бы и на билет-то попросил у нас же! Вот как!.. А нету вот у тебя, у голубенка, так мы и отпустили тебя с богом, по-хорошему!

— Жду не дождусь, когда это начальство ваш притон накроет! — сказал буфетчик серьезно.

— Вспорхнем, милочка! Вспорхнем в самый раз, не беспокойся! В самое время вспорхнем с места! И в другое, ангелочек ты мой!.. Ммм-ного местов-то!.. Сироты у нас хорошие, обновок по этой части сколько хошь, и денег у людей много... И-и! Ничего! Немало еще народу расцелуем, а потом уж и в огне гореть!.. Всему свой черед! Нельзя!

Долго ли мы еще разговаривали и как расстались, я уже не помню; но мрачная, изъеденная жизнью фигура старика вспоминается мне всякий раз, когда жизнь убеждает, что именно не повинному-то ни в чем человеку чаще всего и приходится рассчитываться за чужие грехи.



VII. НА КАВКАЗЕ

(Воспоминания <18>83 г., февраль—март—апрель)

1

Еще недавно у всякого русского «путешественника-литератора» первая глава путевых воспоминаний была всегда посвящена трогательному живоописанию разлуки с родными берегами и с дорогими сердцу друзьями. Вся такая первая глава была написана путешественником «не чернилами», как пишут в крестьянских письмах, «а слезами». Родина, отечество, родные берега были для него так дороги, он так неразрывно был связан с ними, так страстно, всем сердцем, всем существом своим проникся к ним любовью, что «корабль»,— носивший всегда какое-нибудь задумчивое и во всяком случае благозвучное название — «Эврианта», «Ретвизан», — уносивший путеше-

ственника от родных берегов, казался каким-то бессердечным, жестоким существом, насильно отнимающим путника из жарких объятий близких, дорогих людей и от всего, с чем он сроднился, сросся душою и телом.

Путешественник обыкновенно «едва» не лишался чувств в то мгновение, когда «Ретвизан», наконец, «взмахнет крылом»; только дуновение ветра поддерживало его силы, а все лицо его и все лица дорогих существ, остававшихся на берегу, бывали в момент разлуки «залиты» буквально слезами; сквозь ручьи слез видел путешественник, как остающиеся на родине машут ему платками, шляпами, посылают поцелуи; наконец, и ручьи слез и даль, уже отделяющая путника от родины, мешают видеть ему что-нибудь, кроме неба и моря. Но от самого Кронштадта до Копенгагена он не может отойти от борта и все смотрит в сторону Кронштадта. Затем даже в Штеттине и Гамбурге он пытается устремить взоры в том же направлении, и хотя убеждается, что родина «далеко» и что усилия рассмотреть из Гамбурга Кронштадт напрасны, но мысль о родине во всяком случае не покидает его.

Неизвестно, когда бы мысль эта, наконец, покинула его, если бы на выручку и для начала второй главы не являлась буря. Понемногу да понемногу — сначала «легкая зыбь», потом легкая качка, а там и «шквал», а там, глядишь, и лампой ударило путника, а там, понемногу да помаленьку, придавило его тюфяком, на котором он лежал, мечтая о друзьях и о родине; дальше да больше — и дело разыгрывается не на шутку; после тюфяка и лампы следует удар сорвавшимся со стены зеркалом; немного погодя путешественник «с трудом» вылезает из-под дивана, получил еще удар «евангелием» в кожаном переплете с медными застежками (подарок друга), а высвободившись из этих затруднений и кое-как добравшись до палубы и узнав от капитана, что никакой опасности нет, что это даже не буря, а весьма благоприятный, «свежий ветерок», — вновь ударом огромной волны повергается в глубину каюты и остается в бесчувственном состоянии до тех пор, пока сильнейшие припадки морской болезни не возвратят его к жизни.

И только после всех этих испытаний путешественник решается оставить надежду видеть Кронштадт и начинает

наблюдать чужеземные места и нравы. На пространстве трех-четырех томов он добросовестно и всегда заманчиво для читателя описывает города, древности, обеды, картины, внимательных и любезных начальников, оказывавших содействие, и национальный танец, и встречу акулы, и опять нового любезного губернатора, и местных красавиц, и храм, и танец. Но вот у путешественника оканчивается срок отпуска, данный в департаменте, и уже в предпоследней главе он вновь начинает тосковать о родине, а в заключительной у него нет уже других помыслов, как возвратиться в отечество. День отъезда, который должен наступить такого-то числа, всего через двое суток, кажется ему отдаленным на целые годы; он считает часы и минуты. Наконец начинает считать мгновенья. Наконец едет, но не описывает ничего, все ему постыло. Жадным взором он ищет признаков родины, жаждет родного голоса, родного языка. Вот и Штеттин, вот и Балтийское море. Сердце его стучит, как молотом бьет, когда виднеется Кронштадт. Оно тает в благоговейных ощущениях, когда показывается, наконец, и шпиль и купол Исаакия. Вот и пристань, и друзья, и слезы, но радостные, счастливые слезы! И Морская, и Невский, и Доминик, и звук колокола к вечерне у Владимирской — все это один бесконечный восторг! А вот Николаевский вокзал и отъезд, с кучею счастливейших родных и друзей, в деревню. Начинаются благословенные «тихие» поля, плакучие березы, ивы, нивы, соломенные кровли, пахарь, родной дом, самовар на берегу, удочки в руках, тихая река, соломенная шляпа с широкими полями и... «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!..»

Вот как езжали наши предки, старинные русские путешественники! Теперь не то! Увы! Далеко не то теперь испытывает путешественник: уезжая в чужедальние страны, он чувствует себя точно выпущенным из лазарета или вставшим с кровати после продолжительной болезни, а возвращаясь и оправившись духом и телом, хотя и смутно, но сильно трепещет возможности опять попасть в больные.

Вот и я, путешественник наших дней, испытывал что-то подобное, уезжая если не в чужеземную страну, то в чужелюдную, да и возвращаясь испытывал то же самое.

Не знаю, почему так, но на пути к Кавказу и на пути с Кавказа я ощущал на душе какую-то неисцелимую тяготу и даже как бы отчаяние. Времена ли лет переходные или люди, благодаря этому времени, какие-то половинчатые (в том числе и путешественник, конечно), с помесью старых и новых идей и, следовательно, с помесью в поступках, не знаю, но та публика, которая встречалась на пути от Петербурга до Владикавказа, не давала ни малейшей возможности чувствовать себя хоть сколько-нибудь полегче. Разговор шел вообще о всякого рода «безобразиях», но, в частности, о безобразиях неправедного стяжания сделался решительно преобладающим разговором.

В прежнее время, бывало, кто-нибудь из мужиков рассказывал, как он ходил в Киев и что видел, или как баба-ведунья испортила его жену. Попадался и молодой человек, с которым можно было двое суток говорить о том, как, когда и где и в кого он влюбился, и барыня попадалась, рассказывавшая свои романы, и офицер, участвовавший при взятии Гуниба, рассказывал свои похождения и подвиги. Словом, были «разговоры» по человечеству. Несомненно, есть эти разговоры и теперь, но разговор «о безобразиях» все их заглушает, царит над всеми. Вот едет крестьянская семья из Орловской губернии на переселение в Ставропольскую; поговорите с мужиками, и со второго же слова начинается повесть о всевозможных безобразиях: земельных, мирских, «правленских». Со второго слова начинается повесть о том, как староста обворовал, как старшина обворовал, как обворовал кабатчик. Дорожный мастер повествует о подвигах строителей такие чудеса, о которых во сне не приснится, а подрядчик железной дороги, в свою очередь, выдвигает на сцену чудовищные деяния по части наживы дорожных мастеров. Земец не находит слов, которыми можно бы достаточно точно выразить негодование на безобразия администрации, а господин становой пристав рисует портреты земских деятелей в таком виде, что именно можно «удавиться с тоски», если только изображение хоть чуть похоже на правду. «Никто ничего не делает, а все воруют» — вот корень и основание этого разговора, угнетающего всякие разговоры «вообще», разговоры по человечеству.

Кроме того, надобно прибавить, что разговор «о безобразиях» и «возмутительных фактах» почти единственный из разговоров, который общедоступен, открыт для всестороннего обсуждения, договаривается до конца и постоянно имеет свежий и обильный газетный материал, ежедневно сотнями ручьев и речек, газет и газеток, как мутными потоками, разливающийся среди публики поездов, бороздящих Россию; другого разговора, который бы так же без утаек, умолчаний, экивоков договорился до конца и так же бы обильно получил питание, разговора, который бы не заражал, а освежал мысль разговаривающих, я решительно не слыхал и не замечал.

Напротив того, мне, да, как я думаю, и не одному мне, множество раз приходилось убеждаться в том, что обыкновенный живой разговор живых людей о живых людских нуждах и желаниях «по нонешним временам» сделался необыкновенно трудным вследствие того, что его поминутно приходится поддерживать искусственно, делать усилия для его продления, зацеплять готовую замереть фразу новой фразой, которую надо уметь поскорей отыскать, чтобы беседа не была прервана мертвым молчанием. В отношении внешней отделки такого разговора, так сказать, техники его, общество наше сделало огромные успехи; никогда на Руси не было так много людей, которые бы умели говорить так складно, умно, закругленно, законченно, словом, «красиво»; но вместе с тем никогда этого рода разговор не страдал присутствием того внутреннего холода, которым он страдает теперь. Отсутствие не только уверенности, а и самой тени мысли *осуществления* того, о чем идет речь, глубоко въелось в самый корень души современного обывателя; земец, разговаривающий о земских нуждах, о деревенской неурядице, о народной школе, гласный думы, трактующий о недостатках и задачах городского самоуправления, наконец, просто отец семейства, говорящий о воспитании, все они говорят так резонно и так литературно хорошо, как дай бог сказать любому, набившему руку на передовых статьях, литератору; да и лучше, несравненно лучше любого современного литератора говорит огромное большинство обывателей; но эта блестящая речь страдает тою же болезнию, которою недугует и речь литературная. Как та, так и другая лишены жизненной

энергии, утратили связь слова и дела и отвыкли представлять собственные мысли в реальных, осуществленных формах.

Слушать такие разговоры до крайности тяжело, точно слушать, как «безрукий» говорит (забыв свое увечье), что вот он сейчас протянет руку, возьмет, сделает. Другое дело российские «ордюры»: тут человек может жить вполне и видеть «на деле» осуществление своих мыслей, удовлетворение своего негодования. Вот выплыл из тьмы веков какой-нибудь, как гоголевский Вий, заплесневелый и обомшелый хищник; газета пропечатала все его подвиги, и этот разговор не останется пустым звуком. Мы думали и утверждали, что хищника надо покарать, и его действительно карают, и если не нашими руками, то чьими-нибудь, его все-таки на наших глазах и согласно нашему мнению тащат в Сибирь, в места не столь отдаленные. Других явлений жизни, которые бы так же были ярко и ясно видны, так же были доступны для полного и всестороннего обсуждения и давали бы возможность видеть на деле осуществление ничем не стесненного общественного о них мнения, я не знаю.

Нет такого другого общественного вопроса, общественного дела, которое бы могло быть так же правдиво, просторно и свободно обсуждено и осуществлено на деле, как осуществляется на Руси во всех формах своего развития всякое «ордюрное» дело. И немудрено, что «ордюрный» элемент разговора преобладает и глушит все другие элементы общественной беседы; немудрено, что об «ордюрах» говорят и мужики, и купцы, и чиновники, и земцы, и думцы, словом, люд всякого звания и состояния. Настанет, никто не сомневается в этом, время, когда слова «хищение» и «острог», целыми годами сосредоточивающие на себе свободное внимание общества и свободное общественное суждение, не будут почти единственным исходом для удовлетворения общественной жажды к проявлениям справедливости. Будут царствовать в общественном внимании другие, не такие мрачные темы, и желание справедливости в человеческих отношениях найдет возможность проявляться в иных, мягких и благородных формах, и по поводу иных, также благородных дел. Но теперь «ордюр» царит: и аппетит к нему развит более,

чем к чему-нибудь другому, и негодование он возбуждает более, чем какое-нибудь другое явление русской жизни. Иногда, право, кажется, что русский человек наших дней не может ни видеть, ни понимать насущнейших нужд времени до тех пор, пока не станет на «ордюрную» точку зрения, не расстроит своей печени и вообще, так или иначе, не ожесточит себя.

2

Омраченный и даже, прямо сказать, пришибленный такими, только изнуряющими человеческое существо, впечатлениями, я не удивляюсь, что очень долгое время, в начале поездки по новым местам, мои нервы решительно не поддавались впечатлениям тех красот и прелестей природы, которые давно бы очаровали нормального человека.

Владикавказ, низенькие, малороссийского типа домики, утопающие среди высоких, с детства знакомых и милых тополей, близость и величие гор, обступающих его с юга, даже все это не производило того впечатления, которое должно бы было произвести после снегов, трескучих морозов и вьюг три дня назад покинутого севера. «Хорошо! но мне все равно», — вот что говорили расслабленные нервы.

То же самое или почти то же самое говорили они и в то время, когда ранним пасмурным, пахнувшим весенней влагой утром мы, усевшись в почтовой карете, выехали из Владикавказа в горы.

На мгновение только шевельнулось что-то в окаменелой душе, когда кондуктор затрубил в трубу; звук этой трубы пробудил что-то давно, давно забытое, ранние годы детства, и опять все затихло в душе. Чувствовалась жажда тишины и молчания. И эта жажда не покидала и тогда, когда и горы уже подошли к нам, стали к нам лицом к лицу, удивительные, суровые, непонятные каменные тайны. Ни шатко, ни валко, ни шибко, ни тихо, мерно и ровно катится вперед карета, позвякивая железною цепью тормоза; мерно и ровно звучат удары копыт четверки лошадей, и горы обступают нас понемногу

и справа и слева. Но все молчит в душе, а ощущения начинают отдаваться, если так можно выразиться, уже на теле.

Начинаешь ощущать, что как будто становишься меньше ростом. Еще недавно, час тому назад, в гостинице во Владикавказе, я как будто был порядочного роста, а тут — что за чудо? — становишься все меньше и меньше! И дилижанс, который час тому назад, выезжая из ворот почтового двора, казался какой-то громадиной, едва мог проехать по улице, не зацепив и не своротив с дороги в канаву проезжавших татарских арб, с длинными двухаршинными дровами; теперь же, что дальше в горы, то он все меньше и меньше, и лошади кажутся маленькими, и скоро весь дилижанс, четверка лошадей, три пассажира, кондуктор, кучер, все это (вы чувствуете это на себе) превращается во что-то крошечное, едва-едва ползущее по какой-то как нитке белой и как нитке тонкой дороге, вьющейся у подножия необычайной громады.

Но уже и в этих физических ощущениях таится доля исцеления духовного; чувствуя сначала свою физическую ничтожность, начинаешь иногда чувствовать физическую боль, точно кто ударит кулаком или мороз по коже подерет: такие «непонятные» ощущения начинают потрясать нервы непонятными фантазиями непонятной матери-природы. Иногда вырывается крик: «Ой!», иногда —«Ах!» и инстинктивное желание спрятаться в угол кареты, иногда бессознательный вопль: «Боже мой, что это такое?» Но все это, именно потому, что решительно непонятно, непостижимо, именно потому, что всего этого нет возможности объяснить, нет возможности ответить себе: «зачем? на что нужна этакая страсть? этакая прелесть, этот ужас?» — все это и вытесняет мгновенно всю ту душевную смуту, которую вы, к несчастию, так долго понимали и над которой удручали свой несчастный «смысл».

Нужен был, однакож, хороший удар по нервам со стороны матери-природы, чтобы окончательно «попрать смерть» этого удушающего человеческого смысла. И такой удар мать-природа не замедлила преподнести нам в самом скором времени. Могу уверить читателя, что удар этот ничуть не хуже того удара зеркалом по голове, который приводил в чувство путешественника старых времен, заставляя его оставить мечту об отечестве и пре-

даться наблюдению иностранных людей и дел. Этот «удар» нанесла нам одна из бесчисленных выдумок непонятной природы, которыми полны эти места. Звать эту выдумку «Гудауром».

3

Еще задолго до приближения к станции, которая носит название «Гудаур», проезжающие начинают поговаривать о нем как о конечном пункте всевозможных дорожных ужасов и затруднений. Ямщики, те прямо говорят: «Там живо пойдет! там, с Гудаура, на парочке свезут живым манером! там уж, с Гудаура, мигом!» Слушая такие успокоительные речи, и сам начинаешь ожидать Гудаура, как места отдохновения.

А отдохнуть уж пора; матушка-природа порядочно-таки надивила своими дивами за время с семи часов утра; нервы поустали, да и, кроме усталости, приезд в Гудаур означает окончательное избавление от всевозможных неудобств зимнего переезда через горы. Обвалы, «осовы», снега, погребающие путников, все это предшествует Гудауру, а в Гудауре все это кончается. И как бы для того, чтобы удар, наносимый Гудауром впечатлительности неопытных путников, был сильнее, последняя перед ним станция, самая опасная в зимнее время вследствие снежных заносов и осовов, прошла для нас самым превосходным образом. Дали нам на этой предпоследней станции (забыл и название) возок, открытый, на подобие омнибусов, сзади для входа пассажиров и закрытый спереди и с боков. Видеть ужасы, которые могли открываться впереди нас, благодаря описанному устройству омнибуса нам не приходилось, мы видели только то, что уже благополучно миновали. Месяц стоял в небе; сани ехали по хорошо расчищенной дороге; полозья скрипели, морозец стоял в воздухе; и мимо нас, уходя от нас куда-то вдаль, проползали все самые «страшные места».

Вот ушла «майорша», мрачная, неуклюжая, широкая и плоская горища, снега которой, по рассказам, погребли немало народу; благополучно уплыла другая «страсть господня», с огромной снежной утробой, выпятившейся над самой дорогой и, кажется, готовой обрушиться от малейшего громкого звука, от кашля, чиха. И она, слава

богу, — вон уж куда ушла! И другие страсти ушли также... И вот уже нет никаких страхов, совсем нет; ни громадных вершин, ни пропастей; дорога идет по снежной равнине, освещенной месяцем, равнине, по краям которой виднеются «горки», величины и высоты нашего новогородского леса. И снег скрипит по-новогородски, и даже новогородский разговор начинается, и все ближе и ближе конец всем страхам и ужасам. Наконец и Гудаур. Тут все кончилось. Тут уж вместо шестерки, восьмерки запрягают пару.

— Тут живо!

— Здесь с одного маху!

— Ну, возись, что ли!

— Ночевать пора... отдохнуть! Поскорей бы в Млеты! Спать хочется!

— Живо довезем!

Пара запряжена в телегу, что возбуждает некоторое недоумение: кругом лежат глубокие снега; но вы так устали за всю эту дорогу, так хотите отдыха и так исключительно думаете об отдыхе, зная, что теперь «все страшное кончилось», что теперь *«живо»*, «одним духом», — что «недоумение» вовсе вас не тревожит и вам ничего иного не рисуется в воображении, кроме теплой комнаты и постели. Вы совершенно покойны (все кончилось!), сон клонит вас и что-то укачивает. Что такое укачивает? И почему колеса, скрипевшие по снегу, гремят по камням? Открыв глаза, вы замечаете, что равномерные покачивания то в одну, то в другую сторону происходят от слишком частых поворотов. Едва выехали со станции, как круто повернули и, пробежав пяток шагов, опять так же круто повернули вправо, потом ту же минуту влево, и опять ту же минуту вправо, и так беспрестанно: то вправо, то влево, и круто, почти под острым углом, и всегда под тем поворотом, который только что успели проехать.

— Отчего это так вертит телегу?

— Здесь спуск... — спокойно отвечают вам. — Станция-то — вон она... видите, чуть-чуть, «черненькое» внизу? Туда вертикально одна верста, а с поворотами семнадцать... Здесь шестьдесят восемь поворотов... Спуск с высоты трех с половиной тысяч футов.

«Черненькое», которое вам указывают, вы не видите, но видите, что находитесь на страшной высоте, плоской

и вертикальной, как стена буквально, и спускаетесь маленькими поворотами направо и налево по дороге, которая прилеплена к этой стене, как полки для посуды к стене кухни. «Тут живо пойдет! единым духом!» — почему-то вдруг вспоминается вам, и вы с ужасом представляете себе ту бездну, в глубину которой вас мчат «единым духом», поминутно раскатывая колесами на поворотах, точно полозьями саней.

Чтобы иметь представление о том неожиданном ужасе, который вдруг, нежданно-негаданно, после того как уж «все кончилось», как молния поражает вас, когда вы неожиданно узнаете, на какой дьявольской высоте вы находитесь и в какую бездну вы стремитесь, — необходимо сделать некоторое сравнение. Голая цифра 3500 футов не дает вам представления об этой высоте. Но если я скажу, что Исаакиевский собор в Петербурге имеет (если не ошибаюсь) только 350 футов, то высота Гудаура, с которой вам приходится съезжать, это 10 Исаакиевских соборов, поставленных друг на друга. Теперь представьте себе, что вы, на парочке, «живой рукой» спускаетесь с высоты купола этого десятого собора, и в огромной, нескладной почтовой телеге, беспрестанно виляя с этим нескладным экипажем направо и налево, то есть беспрестанно ставя его боком к отвесу (как ставите вы ногу, поднимаясь на кругу) стены, к которой прилеплена дорога, местами не высеченная в скале, а буквально прилепленная к ней искусственным образом. Отвес, к которому приклеена дорога, так крут, что вы не видите даже дороги, по которой будете сейчас спускаться после первого поворота: она приклеена как будто глубже подножия того перегона, по которому едете вы теперь. Спускаясь с самой вершины горы, с купола ее, вы делаете беспрестанные повороты, точно размахи маленького маятника; намучившись такими размахами своего экипажа и своего тела, вы начинаете замечать, что размахи как будто увеличиваются и точно с каждым поворотом становятся больше и больше. Тут вы уж начинаете замечать и полотно дороги следующего за поворотом участка, но и это не утешение. В сумраке какого-то тусклого подслеповатого месяца, в сумраке ущелья (здесь хребет гор как будто дал долевую трещину, причем одна половина, южная, как бы откачнулась немного; вы спускаетесь по

северной, прямой, как стена) этот предстоящий вам за поворотом путь, на этот раз уже длинный и как стрела прямой, кажется также совершенно вертикально опущенным сверху вниз; белая лента дороги висит, как белая холстина на заборе, и вы с ужасом спрашиваете себя: неужели мы поедем по ней?

Впечатление этой местности, по крайней мере для меня, было до того сильно, неожиданно, настигло меня в такую не располагающую ко вниманию минуту (хотелось спать), место было до того дико, то есть вполне неприветливо, безжизненно, пусто, глухо и грозно, что едва я узнал, на какой страшной высоте мы находимся, едва представил себе эти 3500 футов в мало-мальски реальном виде, как сразу почувствовал какую-то нестерпимую боль в голове, груди, висках. И шум в ушах, головная боль, следствие неожиданного, чересчур уж великолепного (для знатоков) впечатления, до того сокрушили физически, что и доехав до станции Млеты, где уж действительно можно было отдохнуть, я не переставал чувствовать и ужас, и страх, и боль, и замирание сердца, и какое-то смутное, беспрерывное трепетание нервов. Тяжелым сном заснул я, и всю ночь меня давили какие-то кошмары. И Гудаур и наш мужик Семен Никитин душили меня, говоря: «земли, земли давай!», и урядник стоял надо мной в виде «майорши» и тоже собирался душить, и деревенский кулак с огромной утробой из снега хотел обрушить на меня эту утробу и кричал: «довольно попраздновали!»

Я проснулся от собственного крика — и возрадовался.

4

Теплый, без солнца, но нежный, весенний день стоял на дворе. Оглядевшись кругом, мы уже не видели тех жестоких каменных кремневых глыб, неприветливых, суровых линий скал и ущелий северного склона кавказского хребта, которые так нас измучили вчера. Начинаются мягкие, нежные линии красивых, оживленных растительностию гор, гор южного склона, южного типа людей, южного, мягкого, нежного воздуха. Слава богу! Гудаур отбил у меня даже охоту вспоминать о севере: «И так увижу его!» — думалось мне. И я ни за что не

хотел даже думать, даже мысли допустить о нем. Что-то холодное, серое, железное, соединенное в одно, представлялось мне всякий раз, когда мысль вспомнит этот север. «Там, — думалось мне, — никому ничего нельзя, всё проступки да преступления, да «дух» какой-то нужен необыкновенный. Серое, железное! Ну его!»

Я знал, что поездка моя не может быть продолжительна, что мне нельзя входить и вникать ни в какие местные исторические бытовые особенности и подробности; «буду, — решил я поэтому, — любоваться цветами, лицами». О красках, о цветах мы там, на севере, забыли, давно забыли, точно ничего, кроме урядников, и нет на свете. А здесь вот цветы! и какие прелестные, и я могу на них смотреть! Этого давно не случалось, нескончаемо давно. Даже не помню, сколько времени я не видал ни цветов, ни воды, ни неба, хотя ходил и между цветами, и под небом, и у воды. Гнела каменная тоска. Теперь пусть же не будет ее хоть несколько дней!

Новизна и оригинальность внешнего вида новых мест до того овладела моим вниманием, что я решительно не мог понимать, почему «цивилизованные» тифлисцы и вообще кавказцы не любят нецивилизованного, азиатского Тифлиса и Кавказа, почему они говорят: «Мы не можем уж жить этою жизнью». Мне, напротив, именно азиатское-то и нравилось, а вот какой-нибудь грузин, цивилизованный фуражкою с кокардою чиновника казенной палаты, которого встречаешь на Головинском проспекте, был мне не по вкусу. Лучше бы, если бы он был просто грузин, чем грузин с портфелем подмышкой.

И вот этого красивого, оригинального, типического малого, шахсеванца, попавшего прислугой во французский отель, очень, очень мне жаль. Как робко блестят его прекрасные глаза, когда он несет в руках лампу, как он трепещет, боясь ее разбить, и как он боится, бедняга, неумолимо строгого взгляда ординарнейшей французской буфетчицы, зорко наблюдающей за шахсеванцем. Право, казалось мне, лучше бы было, если бы шахсеванец не испытывал этих робких чувств ради лампы. Ведь генерала Евдокимова или Барятинского он не так боялся, как этой ординарнейшей буфетчицы? А уж как эта ординарная французская буфетчица казалась мне ненавистной в таких прекраснейших местах — этого и выразить невоз-

можно. И ведь ничто не берет этот французский буфетный тип. Ни климат, ни народ — ничто! В Каире, в Гонолулу, в Китае, в Огненной земле и в Архангельске — везде эта буфетная порода сохраняет в неприкосновеннейшей шаблонности фигуру, мысли, приемы, движения, обычаи, даже разговоры парижского буфетно-трактирного племени. Истинно жалко шахсеванца! Какой красавец, и как испугался этой куклы!..

И вот этого красавца мингрельца также очень жалко мне: представьте себе, в национальном живописнейшем костюме стоит за буфетом железнодорожной станции и с каким тщанием режет сыр для бутербродов! Жалко! И этому-то живописному красавцу какой-то кулачишка, весь, со всем своим внутренним «я», как бы сделанный из мочалы от мучных кулей, с мочальной бороденкой, покрикивает: «Чилаэк! бутенброту подай!» Истинно обидно. Ох, эта цивилизация и железнодорожные пути! Как они умиротворяют, стирают с лица земли все национальные черты, особенности. В старое время этого мингрельца, я думаю, пушкой нельзя было заставить быть лакеем купчишки с мочальной бородой, а теперь вот цивилизация «с путями» заставила: «шестнадцать с полтиной дает, на хозяйских харчах!»

И утихают перед этими благами цивилизации и дикие шахсеванцы и красавцы мингрельцы. Цивилизация привезла сюда, совсем уж «не к месту», и этого кулачишку, сделанного кой-как, на живую нитку, из мочал и рогож; и много их «обнюхивают» эти новые места, разузнавая, нет ли где каких «способов», чтобы запустить лапу? Можете представить мое удивление, когда в горах, да в тех же самых Млетах (кажется), среди оригинальнейших построек, развалин, старинных замков, башен, вдруг вижу: *«Овощная и мелочная торговля с продажею чаю и сахару купца Белобрюкова»*. Пробрался и прилепил свои сахарные головы, фрукты, китайца, и вот, извольте посмотреть, стоит на крылечке, поглаживает бородку и дивит Гудаур своими сапогами с бураками. Мало этого. Вот Мцхет. Здесь Арагва сливается с Курой (Струи Арагвы и Куры, обнявшись, будто две сестры, и т. д.) — так вот это самое место, где сестры-то обнялись, уже *арендовано* (читаю я в одной из кавказских газет) также каким-то купцом, и уже *дело о злоупотреблениях купца N*

по арендованию рыбных промыслов при слиянии Арагвы и Куры, как слышно, поступило «на рассмотрение» и т. д. Таким образом, не только уж мочальная борода пробралась и запустила свою бакалейную и москательную лапу «в каменную грудь» и в струю рек, но уже и злоупотреблениями озаботилась осчастливить новые места. Все это, под свежими впечатлениями новизны места, было для меня положительно обидно.

Однако, несмотря на то, что каждая минута переезда с места на место и беспрестанная изменчивость и новизна впечатлений давали возможность немедленно забывать всякое неприятное, не подходившее к настроению, шероховатое явление, — как на грех, эти шероховатости, эти толки о разных «делах» и «нуждах» стали все чаще останавливать на себе внимание, решительно в них не нуждавшееся и всячески их отвергавшее.

Так, не помню уже где именно, в первый раз услышал я слово «Нобель». Услышал и пропустил мимо ушей; но по мере дальнейшего путешествия слово это стало повторяться все чаще и чаще. Проезжая в Тифлис и из Тифлиса, в Баку и из Баку, в Поти, все чаще и чаще стали повторять этот неведомый мне звук. Я уж стал примечать, что слышу его раз по двадцати в день, а приехав в Тифлис, стал слышать его на всех путях, во всех местах, каждый день и каждый час. Но вместе с тем к этому непонятному звуку «Нобель, Нобель, Нобель» стал прибавляться другой неведомый мне звук «Палашковский, Палашковский, Палашковский», звук, повторявшийся так же часто и слышанный мною так же на всех местах и во всякий час дня и ночи, как и звук Нобель-Нобель-Нобель. Вместе с тем я стал замечать, что люди, произносившие эти звуки, как бы разбиты параличом, не говорят никаких других слов и вместо слов объясняют свои мысли жестами. Да и жесты все неутешительные: один, произнеся слово «Нобель», вздохнет от самой глубины души и замолчит; другой, сказав «Палашковский», погрозит едва ли не самому небу; третий, произнеся одно из этих слов, беспомощно ударит себя в бедра беспомощными руками.

Мало-помалу, при всем моем нежелании даже догадываться о том, что означают эти звуки, я волей-неволей должен был убедиться, что Нобель и Палашковский начинают на Кавказе новую эру и суть предвестники пришествия Купона! Все они покамест только «коготок» этого самого г. Купона обнаружили, а уж как была потрясена вся кавказская коммерческая старина!

И в Батуме, и в Тифлисе, и в Баку, между Батумом и Тифлисом, Тифлисом и Баку, взад и вперед везде толпятся целые полчища согбенных нефтяными драмами людей, исторгающих каждый раз, когда приходится упомянуть о Нобеле и Палашковском, из измученной груди глубокие вздохи и прискорбнейшие слова: «убьет», «аминь», «могила».

Сколько я мог понять, все дело и все горе происходят от так называемой «свободной конкуренции». А что такое свободная конкуренция — это опытные люди разъяснили мне так: один человек, имеющий средства купить обух, выходит на состязание с другим человеком, у которого средств хватает только на покупку обыкновенной палки. Человек с обухом, подойдя к человеку с палкой, предлагает ему единоборство, говоря: «Я буду тебя бить обухом, а ты меня колоти палкой; если ты мне проломишь голову — твое счастье, а если я тебе проломлю — мое!» Господин Нобель взял в руку орудие борьбы весом в двенадцать миллионов рублей, пришел в Баку и начал единоборствовать с противниками, у которых в руках были не только копеечные палки, а просто только курительные папиросники. И господин Палашковский тоже приготовил заблаговременно полновесную жестянку и тоже стал конкурировать с людьми, у которых в руках только бондарная клепка ценою в грош. Вот в каком виде представилось мне выражение «свободная конкуренция». Старые заводы закрывают, сотни рабочих остаются без работы, пароходы и грузовые суда без груза, а нефть льет, льет, льет фонтанами, ручьями, реками, и в землю, и в реки, и в море.

Впрочем, при самом искреннем сочувствии к бакинским и батумским нефтяным страдальцам и, с другой стороны, при самом глубочайшем несочувствии к тому способу промышленного единоборства, которое назы-

вается «свободною конкуренциею», мы, во имя справедливости, не можем не сказать, что батумские и бакинские страдальцы добрую половину наносимых им ударов должны приписать «полностию» собственному своему неблагоразумию. Имея под руками такие необъятные источники богатства, какие представляет собою балаханская нефтяная площадь, эти промышленные деятели (а еще хвалят армян за их коммерческие способности!) до пришествия г. Нобеля нисколько не заботились о том, чтобы изобрести пункты для продажи этого продукта. Если не ошибаюсь, то только одно бакинское нефтяное общество, не знаю, до или, кажется, после пришествия иноплеменников, устроило несколько складов для своих изделий из нефти по Волге, в Нижнем и по Каме. Вся же остальная промышленная братия ничего не измыслила по части рынка, кроме того, чтобы валить свои продукты в Астрахань.

И целые десятки лет валом валили они свои бочки в Астрахань, все в одну точку, и навалили до такой степени, что не только стало некуда девать этих бочек, не только пресытились все, но пресытился нефтяным запахом самый воздух и вода, пресытилась рыба, пресытилась земля. Да, даже земля пресытилась, и притом до такой степени, что с год тому назад в газетах появилась такая телеграмма: «Астрахань. Здесь (в таком-то месте) бьет нефтяной фонтан». Что же оказалось? Оказалось, что это бьет бакинская нефть, пролитая из бочек и пропитавшая землю складов до того, что ее стало фонтаном выпирать к небесам... в самой Астрахани и едва ли даже не около самых присутственных мест!.. А кого ни спросишь: «как дела?», все говорят: «смерть», «аминь», «могила», «мат», «зарез». Всё только слезы, стоны и нет другого слова, кроме «плохо», «худо», «хуже и хуже».

Да и не с одною нефтью творятся такие несчастия. Есть в этих местах другие, также неисчерпаемые богатства, например рыба, — и то кого ни спросишь: «как дела?», отвечают все то же: «плохо», «худо», «хуже и хуже», а там недалеко уж и до предчувствий о полной гибели и мечтаний о том, что надо хлопотать, ходатайствовать, просить, чтобы «сделали распоряжение» о даровании промышленникам спокойного расположения духа.

Обилие рыбы, преимущественно в известные периоды времени, поистине изумительно. Один ленкоранский обы-

ватель, возвратясь нынешнею весною с загородной прогулки и рассматривая свой разрезанный чем-то палец, рассказал, что этот разрез он сделал о жабру судака, которого поймал руками прямо из реки, по берегу которой шел: такой воистину сплошной стеной идет рыба в известные периоды времени. Да ведь какие великаны попадаются: за день до моего приезда на Куру была поймана белуга весом ни много ни мало в сорок два пуда, причем одной икры выпущено из этой знаменитости семь пудов. По самой сходной цене такая знаменитость не может стоить менее четырехсот пятидесяти рублей! И то все «скучно», «мало», «плохо», «некому жаловаться!» Иной рыбопромышленник, весь от земли до луны обвешанный копчеными кутумами, плетями балыков, сушеными и солеными судаками, лещами, весь на целую версту обрытый траншеями с тузлуком, в котором просаливаются десятки тысяч пудов севрюги, белуги, осетрины и т. д., сидит между этой благодатью, как черная туча, как Дарьяльское ущелье в темную, бурную ночь, и нет у него других слов, кроме «плохо», «мало», «совсем плохо». Я видел одного рыбопромышленника, у которого была поймана белуга с белой, как бумага (собственные его слова), икрой, не имеющей даже и цены, — и что же? Лицо его не только не повеселело, но истинно стало «тюрьмы черней», несмотря на белую икру.

И в этом деле опять-таки ничего не изобретено мрачными предпринимателями, как и в нефтяном. Ничего, кроме Астрахани. Только и знают, что валят миллионы и миллионы в Астрахань и Астрахань, и до того опять-таки навалили, что нынешней зимой сгнило в этой Астрахани без всякого толку одного судака три миллиона штук, сгнило самым бесполезным образом, несмотря опять-таки на железные дороги и пароходы. Там гниют миллионы пудов рыбы совершенно зря, а вот мы, новогородские жители, живущие при самой станции железной дороги, не можем добыть этой, где-то в Астрахани гниющей даром, рыбы. Если и здесь, близ железной дороги, нельзя пользоваться сокровищами морских богатств, от которых там, на море, то есть на месте, тоже только скучают и плачут, то спрашивается, когда же эту сушеную рыбу получит для собственного пропитания крестьянин глухих мест?

6

Единственный раз, когда я не слыхал этого унылого, «как скрип тюремной двери», стона и сокрушения о том, что «плохо», «худо», был при посещении мною знаменитой рыбной ватаги на реке Куре, по прозванию — «Божий промысел». Здесь не говорили ни «смерть», ни «могила», ничего, что слышишь беспрестанно среди нефтяных богатств и рыбных сокровищ других рыбопромышленников. Но ведь, чтобы понять, почему здесь не видно уныния и не слышно унылых слов, надобно знать, что такое *Божий промысел.* Это такого рода место и такого рода рыбное учреждение, что, я думаю, будет не лишним сказать о нем подробнее.

«Божий промысел» находится на Куре, на правом берегу (по течению), недалеко от впадения Куры в Каспийское море. Местность, носящая это название, есть нечто вроде небольшого городка с прекрасными постройками для служащих, больницей, магазином для сетей и других рыбных припасов и снастей. На берегу Куры, или, вернее, *у* берега Куры, над водою, построены огромные сараи-ватаги, где рыбу потрошат, солят, приготовляют балыки, которые потом развешивают за сараем на солнце, приготовляют икру, рыбий клей. Сарай, выстроенный над водой, в нескольких местах имеет спуски к реке, подобные тем спускам, какие мы видим у железнодорожных платформ, приспособленных для вкатывания бочек и перетаскивания товаров с земли на платформу.

К этим спускам промысловый пароход подводит баржи с пойманной рыбой, после чего начинается сущее рыбное разбойство и кровопролитие. Часть рабочих, стоящая на барже, цепляя железными баграми за что ни попало почти всегда живых осетров, белуг, шипов, севрюг и т. д., — швыряет их на плоскости спусков; здесь другими, но такого же устройства, как и первые, железными баграми, запуская их в живое мясо, подхватывают рыбу вверх по откосу, где третий ряд рабочих, тоже железными баграми, тащит ее по полу сарая к месту смерти. Все это время рыба, растерзанная уже в трех местах, еще жива, и таких растерзанных и живых, бьющихся, разевающих рты и оттопыривающих жабры существ скоро накопляется на лобном месте ватаги целые сотни.

Но в то время, когда привезенная в барже рыба еще не вся перетаскана в сарай, кровопролитие уже началось. Рабочие татары небольшим ножиком, вроде сапожного, моментально, в буквальном смысле, умеют срезать спинные чешуйки, отрубить хвост, распороть живот, выдрать из него все, что полагается, и швырнуть еще живое существо другим рабочим, которые, также моментально, выдернут из позвоночного столба рыбы вязигу (после чего она умирает) и настряпают и балыков, и тешек, и головизн. В прежние времена бросали головы осетров в воду, теперь их солят и продают, а бросают только хвосты, внутренности и молоки. Отрубленные головы прежде прямо на лету ловили сомы, которые, говорят, кишели тогда под полом сарая в огромном количестве. Теперь сомов нет, хвосты не привлекают их аппетита, и они предпочитают глотать судаков и кутумов целыми семействами, с головами и хвостами одновременно.

Картина избиения сотен живых существ, огромных, если можно сказать, «мужественных», «солидных», осанистых, эти потоки крови, окровавленные внутренности, эти сцены упорной борьбы с жизнью (последние нервные содрогания замечаются, как рассказывают, даже на кусках рыбы, уж брошенной в соль), эти со страшною силою бьющиеся головой и хвостом об пол сарая, уже лишенные внутренностей полутрупы, с разлезающимися в разные стороны боками, все это производит сильное впечатление, именно впечатление убийства, кровопролития. Но... впечатление это длится несколько мгновений. Я долго не мог понять, почему, чрез пять минут кровавого зрелища, я почти совершенно потерял чувствительность? И я понял в чем дело: не было звука протестующего! Все это совершалось в мертвом молчании: и избиватели и избиваемые молчали. Вот почему и бабы могут заниматься этим кровопролитным делом. Но если бы из тысячи этих трупов послышался бы какой-нибудь звук боли, я уверен, всех бы обуял ужас. Да, молчание успокаивает жестокость, делает ее делом весьма простым, обыкновенным. А сколько хлопот бывает в таких же случаях, например, с поросенком, петухом, курицей! Мужики здоровенные не выдерживают отчаянного крика чувствующей беду птицы, животного.

Вот что значит протест, хотя бы и на курином языке!

Из этого смертоубийственного сарая перейдем в другое помещение того же рыбного капища, в помещение, где приготовляют икру. Икра, вынутая из разрезанной утробы белуги или другой какой рыбы (большею частию мы едим смешанную икру разных рыб; много очень употребляем икры шиповой[1] и очень мало настоящей белужьей, которую почти всю съедают счастливые южане), уносится в ведрах в особое отделение, где ее выкладывают на железные частые сетки (в рамах), положенные на чаны, наполненные на одну треть сухою солью. Сквозь эту сеть рабочие-татары протирают икру руками, отбрасывая негодные остатки; когда икры упадет на соль достаточное количество, льют тузлук (соляной раствор), приготовляемый в особом отделении, и после этого начинают мешать лопатами, смешивая икру с солью и тузлуком. Сухая соль бурлит, как сода, и этим оканчивается все дело; икра готова.

Зерна икры почти не меняют цвета против того, который они имели тотчас после свежевания рыбы; после солки они становятся только тверже, и по твердости узнают, просолилась икра или нет. Затем начинают вынимать икру решетами (она вся всплывает на поверхность) и, отцедив тузлук, ссыпают ее в обыкновенные рогожные кульки; когда кулек наполнен до верха, его завязывают и ставят под пресс. Пресс этот состоит из доски, на которую, — предварительно пригнув ее руками на кулек, — российский мужик садится всем корпусом и, нажимая доску своими природными дарованиями, осчастливливает отечество тем продуктом, название которому «паюсная икра».

Когда россиянин усядется на доску, из всех дыр кулька начинает лить белая, как молоко, жидкость, белок икры; а встает он с доски тогда, когда жидкость перестает литься. Всякий раз, как только россиянин этот сядет на доску, из-под пресса появляется продукт ценностью в сто рублей серебром. На лице российского человека, производящего ежеминутно такие ценности, единственно только помощью природных своих дарований, заметно

---

[1] *Шип* — это *незаконно* рожденный потомок разных случайных родителей, почему и бывает — *«шип»* осетровый, *шип* белужий, севрюжий.

выражение сознания, хотя и не напыщенного, собственного достоинства. И точно, едва ли Эдиссон или вообще какой-нибудь европейский изобретатель, при всей своей эрудиции, может похвалиться такими блестящими успехами. Сел — и получай сто рублей!

Кроме этого изобретателя, производящего паюсную икру, тут помещаются и другие изобретатели того же направления; в маленькие холщовые мешочки рабочие кладут икру руками и приминают ее собственными кулаками; наколотив мешочек достаточно плотно, рабочий завязывает его и завязанным концом привешивает к гвоздю в стене, а затем начинает поворачивать (не спуская с гвоздя) в одну сторону, выжимая белок уже собственными руками; это уже другого рода прессовка, не такая серьезная, как в паюсной икре, и этот сорт продукта называется «мешéчным» (мешéчная икра), продукт превосходный.

Вообще все, что делается по рыбной части для Кавказа, для местных жителей, все делается гораздо лучше, тщательней, гигиеничней, чем то, что делается для массового российского потребления. Например, судак, который идет в Россию, свежуется самым обыкновенным манером: разрежут ему утробу, выбросят, что не годится, и солят или сушат. Тот же судак для местного употребления мало того что потрошится таким же родом, то есть с брюха, но для лучшей солки и сушки ему разрезывают спину и сдирают твердую часть со спины до конца ребер, так что он может быть провялен на солнце во всех направлениях. Балык, который у нас имеет заднюю поверхность неоткрытую, для здешнего употребления разрезывается и на спине в нескольких местах вдоль, тоже для лучшей сушки и солки, чем наш. Для потребления наших рабочих масс, наших миллионов мужиков, мне на иных ватагах приходилось встречать продукты, один взгляд на которые невольно заставит припомнить грубое слово лавочника: «слопают» и вспомнить нашего, «бесперечь» мучающегося «животом» и частенько помирающего от соленой «ржавой» рыбы, потребителя.

Однако, мне кажется, пора уже кончить и об икре и о рыбе вообще. Если я и завел речь об этих съестных предметах, то вовсе не для того, чтобы разжигать съестные аппетиты читателя, а единственно для того, чтобы упомянуть о «Божьем промысле», где первый и последний

раз из всех виденных мною промыслов я не слыхал слова «плохо», «худо», «все стало».

Правда, и на «Божьем промысле» приходилось слышать мне выражение, «что с прошлым — нет никакого сравнения», или «конечно, какое же сравнение — теперь и тогда», но уныния все-таки здесь нет и сокрушения не видно. Что же касается прошлого, то это было действительно что-то необычайное. Если теперь, менее чем в час времени, промысловый пароход подвез на моих глазах две огромных баржи, нагруженных вплотную, по края и верхом рыбой, то что же было прежде, когда лов происходил здесь таким образом: река Кура с одного берега на другой была перегорожена железной «забойкой», то есть двумя рядами железных, вбитых в дно реки, столбов, между которыми вставлялись железные рамы-сетки; рыба, шедшая из моря в Куру, должна была останавливаться здесь вся, как есть вся, буквально, сколько бы ее там ни было, и, остановившись, должна была ждать, пока ее всю выловят. Ловили ее так усердно, что, говорят, все устье Куры и самое море около устья превращались в широкий кровавый поток. Конечно, какое же сравнение! Теперь забойку ломают и рыба может проходить вверх по Куре к истокам. Но и теперь, как видите, дело идет не плохо, не худо. А то, куда ни оглянешься, кого ни послушаешь, — все не ладно!

7

Не ладно, между прочим, и в Ленкорани. Здесь тоже, на несчастье местных жителей, господь бог даровал колоссальнейшие богатства в виде удивительнейших и великолепнейших лесов. Ничего подобного никогда и положительно никто из россиян, живущих в Европейской России (про Сибирь не говорю), не видал и не мог видеть, если только ему не двести или триста лет от роду. Девственные, тысячелетние (едва ли ошибусь, если скажу: теперь уже остатки) дремучие леса ореховых, кедровых, дубовых деревьев поистине поражают своим дремучим великолепием, великолепием именно леса, и могуществом красоты, до которого может достигнуть дерево.

Огромные и в то же время легко и стройно поднимающиеся к небу леса таких деревьев оживлены персидскими деревеньками, огоньки которых, по вечерам мелькая там и сям, почти у подножья этих великанов (решительно не нахожу другого слова), придают этим лесам какую-то непередаваемую прелесть, прелесть сна, сказки. Так вот эти-то чудные леса и послал господь, наряду с нефтью, с рыбой, нашему русскому коммерческому гению на разживу. Гений наш, помолясь богу, подумав о пользах отечества, взялся за топор и занялся лесоистреблением на законном основании и по «билету». Какая дарована ему благодать, можете судить по тому, что все деревья этих лесов — самый лучший столярный материал: орех, красное дерево и т. д. Каждая хорошо распиленная доска такого дерева, привезенная в Петербург, Москву, стоит сотни рублей, каждая фанерка десятки; нужно только пилить, нужно хоть какую-нибудь лесопилку завести. Но наш «гений» орудует и без лесопилок: наймет татар или персиян с первобытными, доисторическими топорами (длинное, более аршина, прямое топорище и маленький толстобокий топор, с лезвием длиною много-много в три вершка), заплатит этим топорам по тридцать копеек за сажень дров и «жарит», сколько влезет. Из одного такого дерева иногда выходит пять — семь сажен дров; провезя их три версты, наш гений продает их по восемнадцати рублей за сажень, для топки печей. Таким образом, не потратив на производство этого сокровища не только ни гроша, даже не в силах будучи оглядеть доверху эту величественную красоту, наш гений, при помощи татарских рук, от каждого срубленного дерева кладет себе десятки рублей. А все скучно! все не знает, кому подавать прошение, чтобы вывели из критического состояния!

8

В описываемое время (1883) было на Кавказе, кроме вышеописанных благословенных мест, такое местечко, которое, по свидетельству очевидцев, даже и местным, туземным жителям понять было невозможно, а следовательно, тем более простительно было не понять мне, случайно заезжему человеку. И точно, сколько я ни

слушал, что рассказывают об этом местечке, — ничего не понял. Это непостижимое местечко было тогда порто-франко и называлось Батумом. Что же такое означает порто-франко, и притом русское? Вот этого-то именно никто и не знал и не понимал. Если бы меня кто-нибудь спросил: «Хорошо или худо то, что называют «порто-франко», я бы должен был сказать — «не знаю, ничего не понимаю».

Если я в любом из русских уездных, губернских, столичных городов захочу что-нибудь купить, то я обыкновенно иду в подходящую лавку и говорю: «позвольте мне ситцу, или позвольте мне вина, или табаку». Все, что я спрошу и выберу, мне завернут в бумагу, получат деньги, и я, покупатель, возьму товар и пойду домой. В Батуме было не так. Если вы вошли в лавку и купили какой-нибудь материи, то вам не завернут ее просто, как в обыкновенной лавке, в бумагу, а поведут в другую комнату, где-то за лавкой, попросят снять пальто, сюртук, жилет и обмотают материей, а обматывая, бормочут что-то: «нельзя-с, порто-франко!» Если вы из этой лавки пойдете в другую и купите, положим, бутылку вина, то вас опять поведут куда-то в темную комнату и опять попросят расстегнуться. Табак также, продать продадут и деньги возьмут, как у нас, а спрячут куда-нибудь в вашем платье. И когда вы, купив чего вам нужно за собственные свои деньги, выходите из лавки, вы мало того, что начинаете чувствовать себя прикосновенным к какому-то тайному похищению, но еще физиономию должны делать веселую, беспечную, точно ничего и не украдено. Что бы вы здесь ни съели, ни выпили, ни купили, все это заставляет вас ощущать, что вы делаете кому-то какой-то вред, у кого-то что-то похищаете. Выпили вы рюмку иностранного вина и думаете: «Ведь это я, кажется, что-то утянул у правительства по части акциза?» Купили табаку, и опять что-то как будто украдено, опять же у правительства. Словом, как только въезжаешь в Батум, так и превращаешься в тайного похитителя чужого имущества. Нет здесь ни одного поступка вашего, который бы не был ущербом правительству. Выехать из Батума, пройти мимо таможенных чиновников с пристани на пароход, это была адская мука! Все у заезжего человека краденое, и поэтому он делает вид беспечный, невинный и представ-

ляется восхищенным морским видом. Все у него краденое, не только под сюртуком и в прочих местах, но и в желудке-то все, что он ел и пил, все неоплаченное пошлиной, безакцизное. Иной едет с пристани на пароход, так на человека бывает не похож, точно верблюд нагружен, а лицо делает такое, как будто бы он и в самом деле верноподданный.

Таково было общее впечатление, которое производил тогда Батум. Приезжали туда просто обыкновенными людьми, а уезжали похитителями чужой собственности, да и вообще частности жизни тогдашнего Батума были весьма загадочны.

Возьмем хоть тогдашнее положение нефтяного дела. Нефтяники рассчитывали на бесплатный провоз в Батум заграничной жести. Из этой жести они думали делать жестянки и перевозить в них керосин за границу. В то время, когда я был в Батуме, благодаря тому обстоятельству, что дело бакинских нефтяников организовал там г. Нобель, оказалось, что все места для нефтепромышленников отнесены за черту порто-франко, вследствие чего жестянка, единственная их спасительница, сделалась недоступной. Раз жесть перейдет через границу порто-франко, она уж обложена пошлиной, а раз она обложена пошлиной, делать жестянки невыгодно, а стало быть, нет возможности дешево продавать керосин, и стало быть, все нефтяное дело проиграно в Батуме. Однако нет. Говорили тогда, что пошлину действительно будут брать, но сейчас же будут ее возвращать. Будет будто бы сидеть на границе чиновник и записывать — на одной странице книги «получили», а на другой «возвратили». В сущности он не будет ни возвращать, ни получать, а будет ему просто положен приличный оклад, с отоплением и освещением; но зачем все это нужно, неизвестно.

Пристани также почему-то строить было невозможно и запрещено: «Нельзя, нельзя и нельзя!» — говорили батумские законы, но пристани кое-где уж были выстроены.

— Стало быть, можно же строить пристани?

— Да! То есть временно... В сущности, впрочем... нельзя!

— Но ведь вот выстроил же этот господин пристань? Ведь вот она?

— Пристань... да!.. Только видите ли: этот господин просил разрешение на постройку купальни. «Позвольте мне, мол, выстроить купальню в море, для семейства». — «Извольте!» Но ведь нельзя же ходить в купальню по водам? вот он и повел от берега платформу в море, сажень на триста, а там на конце и повесил эдакий маленький холстинный саквояжик, купальню. Вот таким образом — можно, а по закону нельзя!

«Переходное время», которое переживала батумская административная мысль, без всякого сомнения, служило полным оправданием всевозможных батумских загадок. Неудобства переходного времени, особливо в идеях администрации, были потому особенно чувствительны для обывателей, что, ослабляя их собственную умственную деятельность, заменяли правильность и основательность здравого рассудка какими-то фантастическими мечтаниями о несбыточных надеждах и ожиданиях, сменяющимися не менее несбыточными предчувствиями ни на чем не основанных страхов и трепетов... «Дадут то-то и то-то...», «Обещали...», «Не сегодня-завтра будут раздавать и деньги и земли; иных простят, а таких-то и таких-то покарают, сотрут в порошок». Или, напротив, вдруг разнесется весть, что «*все* отнимут, *все* закроют и *всех* искоренят...» Если так называемые «переходные времена и переходные идеи» приносили такие результаты на Руси, где все-таки можно, хотя русским языком, выразить не имеющее определенного смысла приказание, то что же должно было происходить в таком месте, как Батум, где русские идеи, не имеющие ни начала, ни конца, должны были циркулировать среди населения, не имеющего понятия ни о России, ни о русском языке?

В то время, когда я был в Батуме, агент одного С<анкт>-Петербургского общества страхования рассказывал, что все местные жители, турки, были убеждены, будто бы их будут жечь, потому что зачем-то нужно, чтобы там, где они живут, была улица. Жители, преимущественно из бедных классов, ничего не понимая, но видя, что готовится что-то необычное, в огромном количестве уплелись подобру-поздорову в Турцию или просто разбежались и пропали зря; а те, кого неволя оставила на старых местах, массами спешили к агенту, умоляя застраховать их имущество в какую бы то ни было цену.

Кстати, чтобы читатель видел, до какой степени было замысловато такое учреждение, как бывшее порто-франко, приведу следующий эпизод. Пили мы в одной гостинице кофе. К кофе было подано между прочим сливочное масло.

— Знаете, откуда получается это масло? — спросил один из местных жителей, бывший с нами.

— Вероятно, здешнее.

— Нет. Это масло из Марсели. Да это и не масло, а так, какая-то композиция. Я выписываю из Марсели и нахожу выгодным, так как здесь иногда подолгу, по неделям, нельзя достать масла.

— Отчего же так?

— Да жители все разбежались. Окрестности пусты. Прежде, бывало, крестьяне придут из гор и принесут всего, что надо, на рынок, а теперь ушли. Как порто-франко стало, так и ушли, потому что прежде крестьянин продаст, бывало, масло и тотчас же купит сапоги, сахару, сукна. А теперь купи-ка он здесь что-нибудь! Его на границе остановят, обыщут, сдерут и прибьют еще... Вот и опустело!

Помолчав, наш собеседник прибавил:

— *Хотят* переселенцев выписать...

— Откуда именно?

— С острова Хиоса...

Почему же именно с острова Хиоса?

— Да землетрясение там было...

— Но мало ли где землетрясения бывают! И на Кавказе и в России мало ли охотников до земли?

— Да кавказцы, грузины, мингрельцы — пожалуй, подойдут сюда. Русским здесь, особливо в горах, не справиться.. С горами надо сживаться десятками, сотнями лет... Впрочем, сюда и без переселенцев приходили старые, местные жители, горцы, мухаджиры, но как-то распропали... ушли, перемерли...

— Что ж, они хлопотали о том, чтобы поселиться на старых местах?

— Хлопотали, конечно, но так перемерли как-то.

— Отчего же их не возвратили на старые места?

— Да знаете, ничего еще неизвестно. Столько столкновений, затруднений. Ну, они и того... прекратились как-то...

— Прекратились? Люди? — в недоумении спросил я.

— Да, прекратились!

И собеседник, помолчав, тихо произнес:

— Конечно, люди!

В настоящее время, когда «порто-франко» уже не существует, ничего подобного, конечно, не может быть в Батуме. Но когда пришлось быть мне — что ни шаг, то неожиданность.

Собрались мы уезжать из Батума.

Пароход отходил в четыре часа утра, но чтобы попасть на него, надо было съехать с берега в семь часов, так как после семи часов все лодки, и казенные и частные, вытаскивают на берег, и сообщения не было. То есть, если хотите, сообщение было, и притом всю ночь напролет, но все-таки существовал такой, и притом довольно строгий, закон, по которому всякое сообщение с берегом после семи часов считалось вполне несуществующим.

Мы не знали, как миновать этот закон, и с семи часов были на пароходе, в двух шагах от города и пристани.

— Хоть бы погулять, — говорили «заключенные» на пароходе.

— Нельзя! Закон! Порто-франко!

— Ну уж, порто-франко! Сиди вот с семи часов, неведомо зачем.

— Отчего меня в город не пускают? — волновался какой-то пассажир. — Где это видано? Что я вор, что ли, что меня в клетку посадили? У меня оборота на двести тысяч, а мне нельзя ходить по берегу?

— Порто-франко!

— Да отчего же я в Нижнем, в Таганроге, в Одессе — по всему свету — могу ходить по берегу, а тут меня не пускают?! Какое же может быть через это кому облегчение?

— Закон!

— Какой закон? Вавилон здесь, а не закон. Тут такой закон, что и иностранец воймя-воет, да и русский ревмя-ревет. Вот какая тут порт-франка!

На пароходе разговоры шли также о явлениях, касавшихся также и вообще батумского переходного времени. И когда таких явлений накопилось немалое количество,

причем каждому невольно представилась какая-то невозможная картина батумских порядков вообще, кто-то не вытерпел и громко спросил:

— Да зачем же все это? Зачем все это нужно? Какие для всего этого основания?

— А видите какие, — ответил также кто-то из пассажиров. — Основания всему этому вот какие: Батум превращен в порто-франко благодаря берлинскому трактату. Это не подарок нам, русским, а неприятность. Европа, делая здесь порто-франко, хочет, силою трактата, сделать брешь в нашей границе для своих товаров; она, на зло нам, и прет сюда с своими товарами. Так поступает Европа. А Россия, для которой порто-франко составляет вред, хоть и подчиняется трактату, но мысль, которая ею руководит, состоит все-таки в том, чтобы порто-франко на деле не существовало, чтобы здесь иностранные товары не только не имели благоприятной почвы для распространения, а, напротив, чтобы всякий иностранец, который сюда сунет нос, навеки бы закаялся соваться. Вот что такое порто-франко батумское. Если хотите, здесь, в Батуме, Россия и Европа сошлись спина со спиной, одна напирает на другую — ну, разумеется, между ними никому пальца просунуть и нельзя.

— Так и есть, что нельзя! — прибавил тот пассажир, который так неодобрительно отзывался о порто-франко. — Говорят, иностранцу носу сунуть нельзя. И московского-то носу не просунешь! Наши, было, сунулись с московским ситцем, так и их обмолебствовали в лучшем виде. Уж можно сказать, хорошее обладили местечко!

9

Когда разговоры несколько поутомили пароходных собеседников, я вспомнил, что мне удалось, находясь в Батуме, добыть пятнадцать №№ местного «Батумского листка», к несчастию уже прекратившего свое существование. А при каких благоприятных условиях начал он свое существование! Прежде всего, к числу благоприятных условий надобно отнести собственное благоразумие редакции, не имеющей ничего общего с фордыбаченьем столичных газет. В первом же №, в первой передовой

статье редакция, опровергая тревожные слухи, ходившие в обществе перед ее появлением в свет, слухи о том, что издание газеты «безнадежно», говорит, что такие слухи и доводы в пользу их исходят «от такого люда, который, инстинктивно только понимая пользу гласности, не всегда способен обобщать факты в той мере, чтобы разграничить дозволенное от недозволенного. Даже круг наиболее читающий, под влиянием органов столичной прессы, очень часто поддается излишнему увлечению, требуя от местной газеты безусловного обсуждения тех вопросов, которые, по самому существу своему, не могут входить в нашу программу, составляя область высших правительственных соображений». И далее: «Не будем поселять раздора между населением, так недавно вошедшим в пределы России, и той властью, которая постановлена для ее устроения».

Как видите, благоразумие, руководившее намерениями редакции, было примерное и заслуживало всякой похвалы. И точно, в № 3-м листка мы находим на месте передовой статьи заметку, в которой сказано, что в опровержение «опасений публики относительно того, что с нашей стороны невозможно иметь суждений о делах и нуждах, так как провинциальная газета состоит под опекою администрации», редакция заявляет: *«Наша батумская администрация не только не стесняет нас, но она как бы помогает нам, наводя нас на те факты и злобы дня, которые имеют действительный интерес для публики. Она заявила, что не только не будет препятствовать нам в обнаружении недостатков и фактов, совершившихся и совершающихся и могущих совершиться, но даже будет помогать. При таком направлении нашей администрации, мы уверены, что дела наши пойдут успешно...»* Итак, благоразумие редакции, увенчанное полным сочувствием администрации, все это сулило редакции светлое будущее. Вероятно, под впечатлением благосклонного направления администрации, она до такой степени почувствовала себя прочной и устойчивой, что в том же № поместила стихотворение «Ребенку», в котором без всяких околичностей и опаски, что называется на «чистоту», задает ему такой вопрос:

Ты хочешь ли быть генералом,
Иль бедным, кротким либералом?

(№ 3, июня 3, <18>82 г.).

И разрешает его, кажется, в пользу либерала, «деликатно» умалчивая о генерале.

И, увы! немногим более чем через месяц газета испустила свой «бедный и кроткий» дух! Накануне своей смерти она писала: «Приступая месяц тому назад к изданию нашей газеты, мы *были уверены* (а столичную-то прессу зачем обижали?), что нам придется идти по тернистому пути. . .» И путь оказался, точно, тернистый. «Мы, в течение весьма непродолжительного времени, несколько раз касались животрепещущих вопросов нашей жизни; путем печати мы просили разъяснений и сведений у лиц, в руках которых находится судьба этих вопросов. Ответы на наши запросы мы получали в форме многозначащего молчания. Невольно рождается вопрос: где причина этого молчания? Не в враждебном и презрительном ли к нам отношении? Мы полагаем, что молчанием не разъяснить всех недоразумений, существующих в нашем обществе» (№ 14). Таким образом, все надежды редакции разлетелись прахом, но южный темперамент редакции сказался и здесь: умирая, она воскликнула: «Не здесь, так в другом месте, мы найдем возможность сказать правду тем, которые боятся ее пуще смерти и геенны огненной» (№ 14).

И точно, она пыталась говорить правду и касалась весьма жгучих, животрепещущих вопросов.

Животрепещущих вопросов в самом деле было пропасть, но все они, сколько можно было судить по статьям листка, были покрыты какой-то непостижимой таинственностию, так что, предлагая их, редакция очень часто прибегала к вопросительной форме речи: «Спрашивается — почему то-то и то-то? На каком основании? На основании каких резонов?» И не находила резонов. Говоря много и горячо о земельных непорядках, редакция пишет: «Насколько нам известно, у нас на Кавказе земли выдавались или людям состоятельным, с обязательством произвести постройки, или же в награду за особенные заслуги отечеству. Спрашивается: чем в данном случае руководствовалась наша администрация? Если первым (основанием для раздачи), то почему мы видим на дорогих землях огороды и постройки, напоминающие макаронные ящики? Если же вторым, то почему не получили землю люди, обагрившие вновь приобретенные земли своею кровию и, быть может, более нуждающиеся в них, чем лакеи, повара,

модистки и т. п. народы, получившие участки? Желательно бы знать, где они отличились и какую отечеству принесли пользу?» (№ 9).

Ответа не последовало.

В № 10 редакция опять вопрошает: «На ком лежит если не законная, то по крайней мере нравственная ответственность за отнятие у города лучшей и необходимой его части? Отчего все это делается у нас спустя рукава? Мы, право, недоумеваем: к чему отнести такое не только халатное, а даже враждебное отношение к своим обязанностям? Чем объяснить такую колоссальную аномалию, как дарение г. Таирову лучшего городского участка? Таирову за 600 рублей отдана земля, стоящая не менее 30 000 руб. сер<ебром>. Не подарок ли это?»

Ответа тоже не последовало, и осталось неизвестным, подарок ли это или не подарок?

В № 15 редакция рассказывает факт претензии г. Я. И. и абхазцев на один и тот же участок; г. Я. И. купил его у помещика бека, а абхазцы явились и заявили свои права. В качестве собственников они стали рубить на этой земле дрова, а управляющий г. Я. И. стал эти дрова отнимать. «Результат подобного положения дел может быть кровопролитным, — говорит редакция и взывает: — Почему не выяснены до сего времени права абхазских поселенцев в Батумской области, когда для этого имеются все данные? Если г. Я. И. признан законным собственником, то почему не принимают меры для защиты его прав? Если же абхазцы обижены и права собственности их нарушены, то почему же не приступить к улажению дела? Для кого же может быть выгодно настоящее положение дел?»

Для кого все это выгодно, опять-таки осталось неизвестным, и ответа не последовало.

Итак, целый месяц: животрепещущие вопросы и жгучие восклицания по поводу их редакции — и никакого ответа. Объяснение, данное Батуму одним из проезжающих, который, как уж читатель знает, сказал, что здесь Россия и Европа сошлись спина с спиной и так крепко напирают друг на друга, что исключают малейшую возможность просунуться между ними, делалось вполне вероятным. Действительно, казалось, что в Батуме сделано все, чтобы отравить его существование; все вопросы: зем-

ледельческий, земельный, городской, нефтяной, все как бы умышленно приведены в такое состояние, при виде которого можно только восклицать: «Зачем? На каком основании? Что это такое? Какой тут смысл и резон?» И не получить никакого ответа, кроме мертвого молчания.

И в самом деле, если уж мужик не может протискаться на базар между этих двух гигантских спин с своими курами, маслом, что может сделать кто бы то ни было другой? Я даже не мог представить себе человека, который бы нашелся, ориентировался бы в этой путанице, узнал бы, в чем тут суть, и на этом знании основал бы свое существование!

А между тем именно такой человек и отыскался почти тотчас же, как только я решил, что такого человека быть не может. И отыскался он в том же самом «Батумском листке».

10

Вот при каких условиях объявился этот феноменальный человек и, как увидите, истинно русский «гений».

Передовая статья, посвященная этому гению, для того, чтобы должным образом осветить его, долго и много толкует о торговом значении Батума. Железная дорога и море с превосходной гаванью вполне обеспечивают торговую будущность Батума. «Все это ясно сознавалось самим городом, и, следовательно, он должен был употребить всяческие усилия для собственного процветания. Для этого город должен был создать особые статьи дохода, которые бы давали ему возможность развиваться и удовлетворять общественным нуждам. С этою целью город строит городскую пристань, единственное место для причала судов, нагрузки и выгрузки товаров. Городская пристань необходима как для торговли, так и для доходов города, и легко представить, что доход этот возрос бы в значительной степени по открытии железной дороги, которая должна увеличить как вывоз, так и привоз».

Все это город отлично знал, понимал и, подумав хорошенько, взял, да и отдал эту самую доходную статью своего бюджета г. Архипову в аренду, предоставив ему право взимать в собственную пользу по $1/2$ к. с пуда

нагружаемых и выгружаемых товаров. Вот этот-то г. Архипов и есть тот самый человек, который знал, что в Батуме можно делать и как именно делать. Не задаваясь никакими вопросами о том, хорошо ли быть генералом или же лучше быть кротким либералом, русский, простецкий ум пошел куда нужно, сделал бумагу, какую требовалось, и стал «владать». Взял он в аренду городскую пристань, а бумагу «сделал» такую: 1) товароотправители и получатели обязаны рассчитываться с откупщиком городской пристани (не сказано: за какой товар рассчитываться, за тот ли, который на пристани выгружен или в другом месте), если товар в действительности выгружен. 2) Не рассчитавши же откупщика, никто не вправе нагружать и выгружать товар. Сделав «бумагу» с такими пунктами, господин Архипов и стал владеть всеми пристанями, всеми товарами, всеми товароотправителями и получателями. В этих двух пунктах и сказывается наш практический гений: выходит, что он арендатор и городской пристани и всех пристаней вместе, какие бы ни выстроились в Батуме. Этот человек, очевидно, знал, что́ делать.

И он молчит и делает.

«Милостивый государь, г. редактор! Прошу Вас дать место в издаваемой Вами газете следующему моему заявлению.

30-го июня, утром, я хотел нагрузить с *таможенной* пристани на пароход 10 пустых бочек; в это время откуда ни возьмись является г. Архипов, откупщик *городской* пристани, в сопровождении полицейских чинов (решительно гениальный ум) и требует от меня расчета за нагрузку бочек. Зная хорошо, что ему отдана только городская пристань, я обратился к стоявшему тут же городскому депутату с вопросом: следует ли уплатить г. Архипову деньги или нет? Я получил ответ, что «нет». Городской депутат, видя незаконное действие г. Архипова, попросил полицейского офицера составить об этом протокол, но полицейский офицер отказал в составлении протокола, заявив, что *наверно так и следует поступать,* как поступает г. Архипов, что он полный хозяин, и что обязанность его, то есть полицейского офицера, помочь ему, а не составлять протоколы. . .» (№ 12).

В № 8 пишут: «2 дня тому назад прибыл заграничный пароход общества «Пакье», нагруженный известью, вы-

требованной и купленной батумскими купцами; г. Архипов является к агенту общества «Пакье» и требует окончательного расчета до выгрузки извести, прекращает выгрузку, и «известь, выгруженная, мокнет на дожде». Теперь спрашивается: имела ли полиция право вмешиваться в дела г. Архипова и содействовать ему?»

Через две недели читаем:

«Говорят, в Батум на днях прибыло одно беднейшее семейство на фелюге, которая пристала на таможенной пристани, и *в то самое* время, когда семейство собиралось выгрузить из фелюги на пристань багаж, состоящий из ветхой постели, является вездесущий г. Архипов, в сопровождении полицейских чинов, и до выгрузки требует расплаты у семейства, быть может не имеющего ни гроша...»

Далее:

«Говорят, г. Архипов остановил мушу (рабочего), стоявшего по пояс в воде и державшего на спине несколько пудов камня, и требовал немедленной уплаты полукопеечного сбора. И все это творится среди белого дня...»

И так далее, и так далее, и так далее!

Нет, если бы пришлось отвечать на вопрос поэта: «Ты хочешь ли быть генералом, иль кротким бедным либералом?», то я непременно бы посоветовал вопрошаемому так ответить: «Ни генералом, ни либералом я быть не хочу. Я хочу быть г. Архиповым!» Русский гений, а что г. Архипов русский, едва ли может подлежать сомнению, выручит его во всевозможных положениях. Никакие затруднения, созданные трактатами, дипломатическими соображениями, расчетами государственной финансовой политики, общественными и экономическими условиями, времени, места, — ничто, никогда не затмевает ясности его целей, не заставляет его колебаться хотя бы только на мгновение. Твердо зная, что в кармане есть несколько «сотельных билетов», этот гений безбоязненно шествует в какие угодно ведомые и неведомые страны и, помолившись, начинает осуществлять свои цели. Где бы он ни был, он всегда найдет почву готовою для того, чтобы цели эти осуществились: всегда, везде, по всем концам Руси, от моря и до моря, от столицы до последней деревушки, везде он найдет возможность составить такую

бумагу, в которой ясною для всех будет являться какая-то мизерная $^1/_2$ к. и тьмой будет покрыта самая суть дела. Суть же эта всегда — получение денег, получка беспрестанная и неукоснительная. Ни одна бочка, ни одна веревка, ни на воде, ни на земле, не минует взора этого гения, взора, который ничего иного не видит, кроме веревок и бочек, и ничего иного не желает, как «получать». Зная, как написать бумагу, в которой из двух пунктов образуется третий, перевертывающий эти пункты вверх дном, он один на всей Руси представляет собою тип, про деяния которого нельзя иначе выразиться, как: «наверно, так и следует поступать, как поступает г. Архипов. . .»

Воистину, это наш, русский, цельный, самобытный тип. Другого типа, равносильного типу г. Архипова по прочности сознания своего существования на земле, я решительно на Руси не вижу.

11

. . .Есть на Каспийском море одно весьма любопытное местечко, носящее на географических картах какое-то странное, «нежилое», если так можно сказать, название: «*Девять фут*».

Подъезжая к этому местечку ночью (когда именно и пришлось ехать мне), уже за десять—пятнадцать верст начинаешь замечать какую-то массу едва мерцающих и скученных в одном месте огней. Скоро пароход вступает в какую-то «водяную» улицу, обставленную, точь-в-точь как на Невском, с обеих сторон фонарями, укрепленными на вехах в якоря, и чем дальше он подвигается, тем ярче становятся огни, которые уже видны издалека. С каждой минутой становится виднее, как много этих огней, на какое огромное пространство они разбросались, и в воображении невольно возникает мысль о близости берега, земли и большого, оживленного, кипучего жизнию города.

Но пароход идет, а ни направо, ни налево, ни вперед нет ни малейших признаков земли, пароход продолжает идти все-таки по морскому, водяному Невскому проспекту, освещенному фонарями. Все вода, и справа и слева, а огней все больше и больше. К огням фонарей

понемногу начинают прибавляться огни судов, мимо которых приходится проходить, и чем дальше, тем этих освещенных огнями судов, барж, пароходов больше и больше, и вот, наконец, пароход останавливается в самой середине огромного каравана всевозможного вида и названия судов. Это и есть «*Девять фут*».

Это город, весь плавающий в открытом море; на якорях здесь качаются огромные баржи, на которых помещаются конторы разных пароходных обществ, транспортирующих клади в Астрахань и обратно. На этих же баржах домики для служащих, у домиков балконы, вышки, в окнах видны занавески, лампа, диван и неизбежная по всей России премия «Нивы»: «Дорогой гость». В самой глубине огромных барж, на палубе которых выстроены конторы и помещения для служащих, устроены помещения и для рабочих, нары, печка, каморки для «старост» и «приемщиков». Таких барж расставлено в разных местах не один десяток, и около каждой баржи скучены десятки перегружающихся судов; все это кишит народом, который работает, играет в карты, пьет водку, поет романсы, назначает свидания, налагает штрафы, рассуждает о харчах, о торговом кризисе, о литературе.

Словом, этот плавающий город, эта русская, из дерева сколоченная Венеция, живет среди открытого моря, покачиваясь на якорях, как и всякий российский город на твердой российской земле, с теми огромными преимуществами против обыкновенных, родившихся и живущих на земле обывателей, которые дает обывателям море и вода. Кроме обыкновенных человеческих ног, рук, глаз, у них есть еще «морские» ноги, «морские» руки (умеют держать совершенно полную рюмку во время самого отчаянного шторма и не прольют капли), «морские» глаза.

Уж и действительно, глаза у этих моряков! В то время, когда вы, обитатель твердой земли, очутившись в море, при самом превосходном зрении не можете, даже при полном свете дня, при полной тишине и глади моря и при всем напряжении вашего зрения, приметить на необъятной линии горизонта малейших признаков какого-либо движения или присутствия какого-либо пловучего предмета, — морские глаза видят этот предмет не только

днем, но и вечером, и с помощию «морских» уст, рупора, передают вам не только то, что именно идет «там», где вы ровно ничего не видите, то есть пароход ли, или парусное судно, но скажут вам и его название, узнают, там ли Николай Иваныч или, вместо его, идет Роберт Карлыч?

Не хуже морских глаз и морской язык девятифутовых обывателей: вон, в темноте, в стороне от нашей «Костромы», несется какой-то пароход, несется мимо нас и куда-то в сторону, но он так странно свистит (точно лает маленький щенок), и притом так долго, что знающие этот лай с совершенною точностью переводят его на обыкновенный человеческий язык так: «Это Филипповский проехал на «Вере»... кланяется... будет якорь бросать...» А вот другой пароход, откуда-то издалека завывает, как голодный волк, завывает раз, два и три, — и опять все известно: «Василий Иваныч зовет Петра Иваныча в шашки играть. Матрасинского вина, говорит, привез из Баку...» В ответ на волчий вой послышался откуда-то жалобный звук, напоминающий плач ребенка: «Жена не пускает! — перевели знатоки, — говорит: напьешься»... Вообще можно еще раз повторить, что местечко это весьма любопытное.

Здесь, на «Девяти футах», идет перегрузка товаров из больших морских судов (если товар идет в Астрахань) в малые, мелко сидящие суда, так как начиная с «Девяти футов» и особенно в устьях Волги, изобилующих песчаными наносами, глубина воды становится неодинакова, а местами бывает весьма незначительна. Точно так же здесь, на «Девяти футах», происходит перегрузка и с мелко сидящих судов на большие, морские суда и грузовые пароходы, идущие в море, по всему побережью России и Персии.

Пришлось и нам, немногим случайным пассажирам огромного, превосходно устроенного грузового парохода «Кострома», принадлежащего товариществу «Каспий», пересаживаться на маленький, речной пароходик, который должен был доставить нас в Астрахань. Дело было в лунную, яркосветлую, тихую весеннюю ночь; и небо и вода сверкали обильным разливом блеска полной луны. Чудесная была ночь, только чистый, здоровый до тех пор морской воздух начал понемногу отравляться запахом керосина, которым была нагружена большая часть судов

и который, кстати сказать, отравляет воздух всего Закавказья, от Каспийского моря до Черного, да запах сырой рыбы, предвестник близости рыбных волжских ватаг.

12

Подъехал к «Костроме» маленький речной пароход, собрали мы свои пожитки, простились с одним добрым спутником, остававшимся на «Девяти футах», и поехали в Россию.[1] Пароходик был мал, да удал, так пыхтел, скрипел, и не «ехал», а, как говорится, «дул напропалую», увлекая нас к берегам родины...

О родине напоминало и отсутствие татарской прислуги; все матросы уж русские, другая пароходная прислуга тоже русаки; и капитан уж не немец или далматинец (не то славянские итальянцы, не то итальянские славяне), которых так много «ходит» в Каспийском море, а чистый русак, в полушубке и с бородой; слышится уж не непонятная татарская, или немецкая, или итальянская речь, а русский, чистый великороссийский говор, крепкое, от нечего делать, по привычке или просто «само собою», сказанное слово. Все русское, все Русью пахнет, сулит близость России.

И однакож что-то стало грызть в груди, и грызло всю ночь, до белого света. Следующий день был счастливее в этом отношении. Проснувшись и выйдя на палубу часов в двенадцать дня, я прежде всего был изумлен невиданным зрелищем: пароход прошел мимо ватаги, на которой работала толпа баб, одетых в белую холстину, по-мужски. Оказалось, что бабы и девки рабо-

---

[1] При слове *Россия* мне припомнился один разговор с извозчиком, который вез меня в Ленкорани с хутора одного местного землевладельца (немецкого происхождения). Вез меня извозчик-молоканин. Дорогой я разговаривал с ним кой о чем и кой о чем расспрашивал: «Какая птица? Как название речки? Что за дерево? Какая в речке рыба?» Между прочим, как-то мне пришлось спросить его: «Что здесь такое?», то есть я хотел спросить, что именно посеяно в поле, неподалеку от которого мы проезжали. Поле было вспахано, виднелись чуть-чуть какие-то ростки, но что такое, я не знал. Молоканин посмотрел на запашку и ответил: «Не видно... так, должно быть, какая-нибудь... *рассея!»* Первый раз в жизни слышал я, чтобы посевы носили такое название.

тают на всех ватагах и всякий раз, когда мимо ватаги проходит пароход, почти всегда очень близко, бабы не упускают случая, всем своим горластым полчищем, бесцеремонно приветствовать проезжающих бесцеремонными словами и движениями, почему не было случая, чтобы все проезжающие мимо ватаги не хохотали до упаду.

Блестящая от солнца поверхность реки во многих местах была усеяна поплавками закинутых рыболовных сетей; чуть не на каждом шагу встречались лодки с рыбаками, едущими метать сети, и другие лодки, полные только что пойманной блестящей рыбы. И над рекой, и над сетями, и над лодками с пойманной рыбой вились и «хохотали» мартышки-чайки. «Какая это рыба?» — спросил я у соседа, похожего на купца. «Теперича пошла вобла. Теперича сплошь все вобла. Ишь, вон ее сколько валит!» — указал он глазами на первую рыбачью лодку, наполненную только что пойманной рыбой; ее было вытащено так много, что она буквально верхом наполняла лодку, и притом форма и размеры пойманной рыбы были так однообразны, одинаковы, что издали казалось, будто лодка наполнена новыми, только что отчеканенными двугривенными: масса рыбы, и вся она одна в одну; и на следующей лодке то же, и еще на следующей, и так без конца. А собеседник мой все толковал: «теперича она сплошь пошла». И дополнял это «сплошь» новыми фактами из рыбьего мира, рассказывал, что когда идет из моря в реки, например, сом, нельзя проехать на лодке, веслом не разобьешь стада; дно лодки стучит этому стаду об головы, а оно все прет, и все сплошь и сплошь.

Это слово «сплошь» напомнило мне и предстоящие картины приближающейся родины: и поля, и колосья, и клячонки, и земля, и небо, и деревья, и птицы, и избы, и мужики, и бабы, — все одно в одно, один в один, с однородными мыслями, костюмами, с одними песнями, словом, вовсе не то, что я видел в течение двух с половиною месяцев, почти все время проведенных в поездках от Владикавказа до Тифлиса, от Тифлиса до Батума, от Батума до Баку, до Ленкорани и т. д. Не было дня, в который бы не приходилось пять раз надевать и столько же раз снимать шубу, переодеваясь то в осеннее, то в летнее пальто, и потом опять влезать в шубу; холод и снег

горных вершин поминутно сменялись весенними красками и картинами горных низменностей; и сейчас только вы видели целые сталактитовые галереи горных замерзших потоков, а через час потоки эти уж журчат, и видна травка, а еще через час — все зелено, повсюду цветы, фиалки, лилии, и солнце печет по-летнему. И что ни местность, то и свой тип обывателя, и костюм, и нрав, и обычай. Вот по сю сторону речки за убийство наказывают Сибирью и тюрьмой, а по ту — убийца только платит денежную пеню и гуляет на свободе. Сию минуту вы пили местное вино такого-то запаха и вкуса, а через час приезжаете в иную местность, где все другое, и народ, и язык, и запах, и цвет, и вкус вина.

Даже наши русские люди, крестьяне-сектанты, поселившиеся, по обыкновению русских людей, в долинах и равнинах Ленкорана, и те, уравненные («хлебушко-батюшка») однородным трудом, «расейской» породой и однообразием местностей во множестве подробностей быта — посмотрите-ка, как они здесь своевольничают в своей нравственной самостоятельности! В этой деревне живут баптисты, а в этой «общие», в десяти верстах целая деревня населена субботниками, а еще в десяти одна огромная деревня, разрезанная рекой, по сю сторону населена молоканами, а по ту православными. Мало того, в ином доме помещается семья, состоящая вся из последователей разных сект: муж баптист, жена молоканка, мать ее православная, а отец «общий». Все это бесконечное, неисчерпаемое разнообразие климатов, растительности, племен, наречий, обычаев, костюмов, религий и сект, меняющееся на каждом шагу путешествия, поминутно возбуждает интерес к жизни человеческой, поминутно говорит о том, как бесконечно разнообразна природа и как еще бесконечней разнообразна, в своих желаниях, душа человеческая.

Не скажу, чтобы я был в особенном восхищении от наших сектантов, среди которых только и речи было, что «о душе», — но я постоянно чувствовал себя с ними легко; я постоянно был в обществе людей, жаждущих сознательной жизни, стремящихся дать смысл своему существованию. Не стесняя своего положения, в которое нас поставила судьба, мы могли вести беседу, хотя и не всегда блестящую, но всегда об общих вопросах, —

добро, зло, правда, — и вели беседу на понятном друг для друга языке.

А пароход делал свое дело и быстро уносил меня от разнообразия впечатлений к однообразию их.

Приехали мы в Астрахань часов в пять вечера, а в семь, как оказалось по справкам, отходил пароход в Царицын; медлить было нечего и мы тотчас послали взять билеты, а сами принялись укладывать вещи. Наконец вещи уложены, оставалось только дождаться посланного, взвалить вещи на извозчика и переехать на соседнюю пристань. В ожидании посланного ходил я по пристани; пристань была совершенно пуста; лениво ходило и стояло по ней человека два-три, не то конторщики, не то приказчики, словом, русские мужики в «пиньжаках». Делать им было совершенно нечего.

В это время со стороны города к пристани шел мужик, молодой парень в коротком рваном полушубке, очень маленьком для его огромного роста, и с огромным вырезом у шеи. Шея его, длинная и голая, была совсем не прикрыта полушубком; на ногах онучи и лапти, на голове рваная рыжая шляпа гречневиком. Пришел этот детина ленивой походкой и стал на пристань, положил одну руку в карман, а другую за пазуху.

Постоял он так минуты две-три, зевнул во всю мочь, и не успел закрыть рта, как один из мужиков, «одетых в пиньжаки», подошел к нему и так двинул в грудь обеими руками, что детина грохнулся на спину, высоко поднял ноги в лаптях, а шапка откатилась далеко в сторону. Поднявшись, детина пошел за шапкой и что-то заговорил, а «пиньжак» пошел назад и тоже что-то говорил, и потом опять стал на место.

Все дело заняло не более двух секунд, но этот эпизод сразу возвратил меня к действительности. За что один «пхнул» другого? Я был уверен, что *ни за что*, что это было сделано так, зря, что малый так же мало ожидал того, что его «пхнут», как и этот «пиньжак» мало думал о том, что вот он кого-то пхнет. Зачем это? Не знаю! Вероятно, поднявшийся с земли парень скажет:

— Ты чего пхаешь? — И вероятно, пиджак ответит:

— А ты чего рыло-то выпер?

— Да мне Иван Митрича повидать надо, чорт этакой!

— Так ты и говорил бы толком, а не пёр идолом!

— Да, еловая ты голова, ты бы спросил, а не пхал!

— Да, наспрашиваешься вас тут, дьяволов!

После этого разговора, весьма вероятного, парень пойдет домой, а пиджак постоит, постоит и тоже пойдет домой. Итак, зачем же все это? «Ты бы спросил!» — ведь это, кажется, резонней? Но нет; этот эпизод тем и замечателен, что в нем «нет резону». «Пхнуть человека без всякого резону» — вот что есть обычное дело в океане нашей жизни и что страшней бездн настоящего океана. Впечатление эпизода было столь поучительно, что я вновь впал в то самое душевное состояние, которое два с половиной месяца тому назад привез с собой в Владикавказ.

VIII. В ЦАРЬГРАДЕ

(Из путевых заметок <18>86 года)

1

Погода во время моей поездки была прелестная, тихая; море — как зеркало, ни парохода, ни паруса навстречу. Чуть покачивает, и задремать под это покачиванье куда как приятно. Походишь, походишь по пароходу, поглядишь на баранов, которых в огромном количестве везут в Константинополь, к празднику Байрама; поговоришь с нашими богомольцами, едущими в Иерусалим и на Афон, да и приляжешь отдохнуть. Часика три-четыре пройдут так, что и не заметишь.

Вероятно, в спокойном и крепком утреннем сне я бы «не заметил» и входа в Босфор, если бы добрый матрос не пришел разбудить меня. Европейский и азиатский берега были уж в нескольких стах саженях, когда я вышел на верхнюю палубу; они почти сходятся между собою, и расстояние между ними не шире Невы. Но затем Босфор, по которому пароход идет два часа, то суживается, то расширяется, образуя направо и налево заливы, небольшие бухты. При входе в Босфор, налево, стоит новая турецкая батарея, очевидно только что «с иголочки»; солдаты и офицеры виднеются на зеленых валиках, а между валиками пушки торчат. И на другой стороне

Босфора тоже есть подходящие приспособления в этом роде: казарменные постройки поминутно и в значительном количестве вырисовываются среди массы домиков, усеивающих все берега Босфора. Густо гнездятся эти домишки по берегам заливов, в бухтах, наполненных массою судов парусных и паровых.

Береговые постройки не бросаются в глаза своей восточной оригинальностию; все они европейского типа и большею частию деревянные; только окна мавританского стиля, запертые клетчатыми ставнями, говорят о чем-то восточном. Но все это не блещет оригинальностию, все как-то ординарно, шаблонно; даже дворцы султанские, мимо которых мы проезжаем, не производят особенно оригинального впечатления. Они стоят как-то в ряду с ординарными полувосточными домиками; ряд казарменных зданий, совершенно такого же художественного впечатления, как и всякие казармы, непременно расположены либо сбоку дворца, либо наряду с ним. Вслед за казармами идут хотя и из белого мрамора, но тоже весьма ординарной постройки, флигеля, один, другой, третий, соединенные между собою переходами: это — гарем Дольма-Бахче, а эти казарменные флигеля, весьма похожие на наши губернские присутственные места, соединяются с дворцом султана. Может быть там, внутри этих дворцов, и есть что-нибудь оригинальное и поражающее, но, глядя со стороны, думается, что поместить в этих трех флигелях триста жен, да евнухов также сотни две, едва ли можно с особенным комфортом и великолепием. Какая тут должна быть куча баб, всякого служебного звания, при трехстах женах; какая куча детей, нянек. Не знаю, может быть все это показалось мне спросонок, но эффекта на меня не произвели ни Дольма-Бахче, ни Чараган, где живет Мурад и где в особом помещении содержится, говорят, тьма-тьмущая отставных гаремных дам.

Чудесные, красивые, гористые, цветущие до верхушек берега Босфора застроены почти только у самых берегов; иногда дома стоят фундаментами прямо в воде, а затем от берега и доверху пусто, а иногда даже дико. Единственное, что невольно обращает внимание в этих предместьях Константинополя, это отсутствие фабрик и заводов, свойственных предместьям всякого европейского,

а теперь и русского города. Неприметно длинной трубы, охающего, воющего или фыркающего паровика, ниоткуда не слышно фабричного свистка, не видно ни черного дыма, ни белого пара, за исключением, разумеется, неумолкаемого свиста пароходов, которые, по мере нашего шествия вперед, начинают буквально кишеть вокруг нас. Взад, вперед и поперек, в разных направлениях, начинают сновать большие и малые пароходы, парусные суда, парусные лодки, а затем бесчисленное множество лодок, каиков положительно покрывают всю видимую глазу поверхность воды.

И чем дальше мы идем, чем ближе подходим к Константинополю, тем труднее становится разглядеть, что такое перед нами: лес, в буквальном смысле, мачт, пароходных труб, флагов, парусов и клубы дыма и пара окончательно застилают перед вами перспективу Золотого Рога, — и когда пароход, наконец, остановился (он останавливается посреди бухты, пристаней нет), то можно было разглядеть только следующее: налево — азиатский берег, Скутари, и на первом плане опять огромнейшие казармы; между Скутари и европейским берегом — кишащая судами и каиками гладь Мраморного моря, с голубыми силуэтами весьма недалеко отстоящих Принцевых островов, и европейский берег, старая Византия.

Этот небольшой мысок с дворцами византийских императоров весьма живописен; дворцы невелики, вроде московских кремлевских теремов, небольшою белою группою, окруженною невысокими стенами с башенками, красиво съютились на этом мыске, утопая среди зелени кипарисов. Рядком с ними — Святая София, с четырьмя огромными минаретами, окружающими серое, закопченное пароходным дымом, искаженное пристройками здание огромного храма. На одной линии с Софией — еще мечети, еще минареты; но потом, по линии к Золотому Рогу, то есть в глубине изгиба бухты, ничего не видно, — дым и лес мачт.

Зато правая сторона видна на большое пространство; тысячи зданий покрывают берег от моря и доверху, и опять-таки ничего бросающегося в глаза. Мечеть Топхане была бы красива, если бы не была выкрашена охрой и если бы не примыкала к артиллерийским казармам и не была бы обставлена пушками и лафетами.

И опять — казарма, казарменная постройка самого ординарного вида мозолит глаза прежде всего. Поистине, не над чем разыграться фантазии. Тем не менее фантазия играет сама собой, без всякого существенного материала; думается, что вот там, где ничего-то не видно от дыма и леса мачт, там, где лежит такое очаровательное место, которое носит очаровательное название Золотого Рога, там-то должно быть чудеса и небылицы в лицах. Поскорей бы съехать на берег и поскорее увидать эти чудеса своими глазами; но, оказывается, необходимо подождать, и прежде всего потому, что выгружают баранов, которыми наполнена вся палуба и весь трюм, и от которых буквально нет прохода. Зрелище этой выгрузки, однако, весьма любопытное; одна часть бараньего стада, помещающаяся на палубе, поражает силою своих стадных инстинктов: целое стадо очертя голову бросается с борта парохода в лодку, стоящую ниже борта на несколько аршин, раз только в эту лодку брошен один баран; другая часть бараньего груза, помещающаяся в трюме, выгружается при помощи лебедки таким образом: по десяти — двенадцати баранов связываются вместе за одну заднюю ногу, и этот бараний букет, головою вниз, весь дрыгающий, дергающийся всем телом, вырывающийся из своих кандалов со страшными усилиями, высоко проносится над пароходом и быстро опускается над той же лодкой.

Наконец палуба очищена, но надобно еще подождать, пока успокоится таможня. Именно это слово говорят вам, когда зайдет речь о переезде на берег и о перевозке вещей. Многие из пассажиров везут в Константинополь кое-какие русские товары в небольшом количестве и, желая избежать пошлины, либо прямо суют в руку бакшиш турецкому таможенному чиновнику, являющемуся на пароход, после чего он немедленно уезжает, или просто пережидают, пока чиновники турецкой таможни устанут ждать, то есть небольше полчасика; да и чего ждать? все это работа на чужих людей; подождите полчаса и смело поезжайте с вещами на берег: чиновники все разошлись, *успокоились*, полагая, что и без того уж им было много труда на пользу отечества.

Переждав, таким образом, все, что следовало нам переждать, мы, в числе нескольких русских пассажиров

и служащих на пароходе, сели, наконец, в шлюпку и поехали на берег. Берег близехонько, но пространство между ним и нашим пароходом до такой степени загромождено русскими, австрийскими, английскими, итальянскими, французскими пароходами, грузовыми, пассажирскими, стоящими на якорях, нагружающимися или выгружающимися, или двигающимися то тихо, то на всех парах, что едем мы с величайшей осторожностию, постоянно озираясь направо и налево, и, наконец, кое-как добираемся до берега.

Эта часть Константинополя называется Галата. Знакомство наше с нею начинается с того момента, когда лодка останавливается близ агентства Русского общества пароходства, о чем свидетельствует вывеска, закопченная каменноугольным дымом и прибитая к двухэтажному, ободранному, почерневшему, облупившемуся дому. Этот облупившийся, веющий гнилью и разрушением дом есть как бы прототип всей той гнили и грязи, с которыми нас сию минуту познакомит Галата в самых широких размерах. Пройдя по узкому и закопченному коридору, мы входим на черный от каменного угля небольшой дворик агентства, через который и проникаем в первый смердящий переулок Галаты. Переулок вымощен булыжным камнем, по которому трудно ходить; он узок и смердящ. Из этого переулка мы поворачиваем в другой, также смердящий, хотя он и носит название Cité Française[1] и хотя при входе в него красуется вывеска: «Русская бакалейная торговля». Из этого смердящего места мы выходим уж не в переулок, а в длинную, шумную улицу, смердящую уже в высшей степени. И здесь-то начинается то самое *разнообразие* впечатлений, о которых вы наслышались от посетителей Константинополя, прежде нежели увидели его сами. Собственно говоря, первое, что поражает туриста в этих смердящих местах, это вовсе не хваленое разнообразие впечатлений, а нечто другое, именно — собаки. Не обратить на них самого пристального внимания невозможно, потому что, едва вы сделали шаг по булыжной и смердящей мостовой, как что-то завизжало, залаяло у вас под ногами и заставило вас броситься в сторону: вы наступили на спящую собаку. Собаки спят

---

[1] Французский городок.

кучами, стаями, спят каким-то бездыханным сном, посреди улицы, на тротуаре, на камне, свесив с него в изнеможении головы и лапы, спят они целый божий день до глубокой ночи, когда просыпаются, чтобы уничтожить всякие объедки, выбрасываемые на улицу. Улицы разделены ими на участки, причем известный участок, от такого-то пункта до другого, принадлежит известной собачьей артели, и перейти из одного участка в другой, чтобы поживиться чужим добром, невозможно. Вора, нарушителя чужой собственности разорвут на части. Всякая собака, которая пожелает «по своим делам» пройти, положим, из одной улицы в другую, непременно ластится к какому-нибудь прохожему, трется о его ногу и этим успокаивает ощетинившуюся уже артель; она как бы говорит этой артели, что идет с хозяином, «по своим делам», что им нечего беспокоиться. Не будь этих собачьих артелей, истребляющих массу всевозможных отбросов, трудно представить, что бы было с этими смердящими улицами и переулками Константинополя, и поэтому название «константинопольских санитаров», которым именуют эти артели, совершенно справедливо.

Отдав должную дань первому, наиболее сильному впечатлению, полученному нами в Константинополе, перейдем и к «разнообразию» впечатлений. Разнообразие это начинается тотчас, как только из смердящего *Cité Française* мы выйдем в главную улицу Галаты. Улица узка, смердяща, обставлена гнилыми, грязными, двух-, много трехэтажными домишками, внизу которых помещаются лавчонки с европейскими товарами всевозможного рода, перемешиваясь с бесчисленным множеством меняльных столиков и турецкими хлебопекарнями. Вторые этажи этих домишек почти сплошь заняты кафешантанами под всевозможными названиями вроде: «Олимп», «Антилоп», написанными по-французски и по-гречески. Эти кафешантаны не что иное как кабаки или, скорее, грязные публичные дома. Днем все эти вертепы молчат и спят, как спят собаки, но часов с семи вечера здесь начинается сущий ад. Необходимо упомянуть, что в то время, когда мне пришлось быть в Константинополе, был «рамазан», то есть пост. Пост этот продолжается целый день, часов до восьми вечера; в этот час, или около этого времени, пушечный выстрел извещает о моменте, в кото-

рый мусульманское население Константинополя может начать есть. Все мечети и минареты освещаются тысячами огней, и весь город начинает жить на всех парах.

В Галате, с момента этого пушечного выстрела, начинается сущий содом: скрипки заливаются во всех шантанных вертепах, везде визжат женские голоса, стучат ноги танцующих и улица кишмя-кишит народом; разнообразие впечатлений, которыми она наделяет туриста в обыкновенное время, возрастает до высшей степени. Вагоны конножелезной дороги, с беспрерывными звонками и скороходами, горланящими во все горло и бегущими перед вагоном, чтобы прочистить ему путь среди несметной толпы народа, перемешиваются с массою напирающих друг на друга фиакров, телег с русскими дугами, навьюченных и ревущих ослов; крики разносчиков, беспрерывные, раздражающие звонки торговцев прохладительными напитками, соединяясь с колокольным звоном греческих и православных церквей и подворий, с визгом оркестров, визгом певцов и певиц, — буквально одуряют и утомляют до невозможности.

Да и глаз утомляется не менее слуха; по нем, по этому несчастному глазу, то и дело бьет что-нибудь новое, неожиданное; солдат, монах, наш мужик-богомолец, а за ним арап, негр, за арапом француженка в турнюре и во всем прочем, за ней иезуит с голой макушкой, за ним турчанка, закутанная с головы до ног, за нею толпа иностранцев и т. д., и т. д. Все это кишмя-кишит, не понимая друг друга, не касаясь одни других, и стоит только раз или два пройти по этой, исполненной якобы разнообразия впечатлений, смердящей улице, чтобы устать, только устать до невозможности. Нет, это не разнообразие парижских бульваров, улиц и переулков. И там японцы, перуванцы, и белые, и черные люди толкутся в общей свалке; но там все племена и народности сошлись в нравственном тяготении к чему-то общему, чего нехватает в обиходе их национальностей, но что́ пленяет их в обиходе, тоне и общем смысле французской жизни; там есть что-то высшее, что-то стоящее над этим черным, белым, перуванским и японским, что-то связующее разнородные национальности в общей идее; здесь только толкучка разных людей, разных племен, разных вер, не имеющих между собою никакой связи, смотрящих каж-

дый в свой угол и связанных только улицей, по которой не возбраняется ходить и ездить кому угодно. Мечта о братстве народов, о том, что люди одна семья, — именно здесь-то, в этом Царьграде, в этом Константинополе, в этой Византии, в этом Стамбуле, никогда не придет вам в голову. В самом обилии названий, которыми именуют «это место» на земном шаре, вы видите уж полную отчужденность племен и народов, молчаливо толкущихся на этих чудных берегах. Вы видите, что племена и народы эти молчат, потому что каждый гложет свою кость, что каждый думает «о своем», и чувствуете, что оглянись они друг на друга, попробуй войти в интересы один другого, и вместо молчания, среди которого снует «по своим делам» эта разношерстная толпа, послышится нечеловеческое рычание и полетят куски мяса, как в собачьей свалке.

2

Здесь же, в Галате, на самом юру и в самом близком расстоянии от агентства Русского общества, находятся три русских подворья, устроенных на средства монахов Афонской горы и предназначенных для приема русских паломников, отправляющихся на Афонскую гору, в Иерусалим и возвращающихся оттуда обратно. На одном из этих подворий, Пантелеймоновском, мне пришлось ночевать несколько ночей. Это самое лучшее, роскошнейшее из подворий; к каждому русскому пароходу, приходящему из Одессы, Севастополя и Александрии, оно высылает монаха, который и приглашает с собой русских богомольцев. На обратном пути из святых мест богомольцы идут совершенно обнищалые, и Пантелеймоновское подворье на один только прокорм этих обнищалых богомолов тратит огромное количество пудов хлеба. Богомольцы, живя на подворье, получают помещение, пищу, чай, словом, все готовое, и платят кто что может. Дом, принадлежащий подворью, одно из лучших зданий Галаты: он обширен, в четыре этажа, прочен, солиден. В больших просторных сенях справа помещается лавка, где продают образа, фотографии, божественные книжки и какие-то афонские лекарства в пузырьках; отсюда же, из сеней, идет широкая каменная лестница во второй

этаж и выше, в номера; они светлы, просторны, чисты, только подушки на кроватях жестки до помрачения ума, и еще есть один недостаток: какая-то умопомрачительная вонь, которая не проветривается никакими ветрами, въедается в платье, в белье и совершенно уничтожает всякую восприимчивость обоняния. Вонь эта, происхождения афонского, от каких-то трав или каких-то масел, поистине ужасна. Ужасно здесь также соседство со всевозможными вертепами Галаты; музыка кафешантанов, колокольный звон, пение русских и греческих монахов, служащих обедни и вечерни; звонки конок, крики разносчиков, сущий ад кромешный. Но среди этого ада подворье есть как бы оазис или остров, населенный русскими людьми всякого звания, преимущественно же мужиками. И островитяне живут, повидимому, в полном разобщении с белым светом и его порядками.

Понадобилось мне выстирать белье, и оказалось, что на острове плохо понимают, что это означает. Богомолки стирать — стирают, а уж гладить — «не взыщите!»

— Нет, этого не можем! — сказал чистосердечно монах-послушник.

— Да вы спросите тут у барыни, куда она отдает белье-то?

— И то правда!

Монах ушел, спросил и, воротившись, сказал:

— Она неглаженое носит...

— Как же быть?

— А уж, ей-богу, не знаю! Мы вот какое носим...

Он вытянул из рукава подрясника рукав рубашки и показал, какое он носит белье.

Но такого белья носить мне не пожелалось.

— Постойте-ка, спрошу тут одну женщину.

Женщина «взялась» и преисправно изуродовала все белье; оно получилось рваное, синее, с крупными мраморными чертами, черными пятнами и желтыми следами раскаленного утюга, словом, всем походило на то белье, про которое послушник сказал: «Мы *вот какое* носим».

— Отче! — сказал я, — это ведь не годится!

— Да ведь с крахмалом?

— Да ведь что же с крахмалом. Оно все черное!

— Будто бы?

— Ей-богу!

— А какое же по вашему бы желанию?
— А по моему желанию надо бы белое.
— Белое!
Отче крепко и чистосердечно задумался.
— А это неужели же не подходит к белому-то?
— Нет, отче, не подходит. Вот посмотрите!
Я положил чистую рубашку вместе с вымытой, и тогда отче только взглянул и тотчас же понял.
— Э-э! — сказал он, удрученно качая головою. — Господи помилуй, господи помилуй, как она его!
— Нельзя ли послать серба (серб был путеводитель богомольцев по Константинополю и говорил по-русски), пусть поищет прачку.
— А что ж? Можно!
Пришел серб, а с ним и отче.
— Найди прачку, пожалуйста.
Серб дико посмотрел на белье, как-то искоса и мрачно; очевидно, и он, знавший все древности византийские, плохо был знаком с «этим делом».
— Нет, — сказал он наконец, — не знаю!
— Да кто тебе-то самому стирает белье?
— У меня шерстяная рубаха, сам полощу.
— Спроси у кого-нибудь.
— У кого тут спросить!..
Словом, дело это оказалось очень трудным и наделало больших хлопот до чрезвычайности внимательной к нуждам своих жильцов братии. Наконец, один монах вспомнил какую-то женщину в Пере и, испросив благословение, увез узел туда. На этот раз все кончилось благополучно.
Все, что братия делает для своих посетителей, делается крайне вежливо, предупредительно, внимательно до последней степени; и на пароход отправит, и с парохода перевезет, и вещи из таможни выручит. Кормят они своих жильцов, повидимому, отлично; мне не приходилось пробовать обительской трапезы, целые дни я был в городе, но частенько встречал на лестнице богомольцев и богомолок с огромными мисками рыбных щей, большими ломтями белого хлеба. Нередко то там, то сям слышится икота, иногда чрезвычайно звонкая, не уступающая звонким нотам кафешантанных певиц. А ведь это уже одно свидетельствует о полном удовольствии.

В бытность мою на подворье, здесь, кроме Н. И. Ашинова, только что «воротившегося(!)» из Абиссинии, от «дружка» негуса Иоанна, проживал еще один замечательный человек. Это бывший оренбургский казак, а ныне афонский монах, живущий на послушании в Константинополе. Никогда мне не приходилось встречать более цельного народного типа и более цельного народного миросозерцания.

Первый раз я встретил этого инока (ему лет сорок пять, он небольшого роста, коренастый, немного тучный, крошечная белокурая бородка и узкие серые калмыцкие глаза) на площадке перед моим номером. Он разговаривал с какою-то богомолкой, высокой, худой пожилой женщиной, с черными проницательными или, вернее, пронзительными глазами.

— В Иерусалим, матушка? — спрашивал монах женщину, перебирая четки.

— Да, ваше благословение, ко гробу господню хочется. Ох, господи помилуй, господи помилуй!..

— А в России-то во святых местах бывала?

— Как же, владыко, как же. Много я исходила по русским прозорливцам!..

Она опять заохала, отирая постно сложенные губы платком; отец Амвросий молчал, прямо смотря ей в глаза, точно изучал ее, поигрывая четками, и вдруг, как бы поняв, что за человек находится перед ним, прямо, просто и тихо спросил:

— Ты блудница?

Вопрос был сделан так спокойно, просто и, повидимому, был так верно направлен, что богомолка вздрогнула, глянула прямо в глаза монаху (не перестававшему спокойно смотреть ей в глаза и играть четками) и, растерявшись, произнесла:

— Грешна, батюшка!

— Грешна?

— Грешна, владыко! Ох, грешна, грешна! И тяжело мне, от этого и иду-то я ко гробу-то.

— И по прозорливым людям от этого ходила?

— И от этого, от самого, от греха моего.

— И тяжело тебе?

— Тяжко, тяжко, отец!

— А ты хочешь, чтобы было легче?

— Да как же не хотеть!
— Чтобы грех-то не давил тебя?
— Истинно так, батюшка!
— Но ведь ты сама знаешь, что делала грех?
— Знаю, батюшка!
— Сама знаешь, что грешила, и думаешь, что какой-нибудь прозорливец сделает так, что греха на тебе не будет? Так? Ну, это ты задумала глупо. Извини! Ты что ж, идешь в Иерусалим затем, чтобы там тебе извинили твою пакость? Простили? И ты опять тогда снова-здорово, с легким сердцем, задребезжишь? Нет, матушка, это не так! Ни к прозорливцам шляться за тысячи верст, ни в Иерусалим колесить никоим образом тебе не подобает. Ты сама знаешь, что грешна, этого довольно. И где бы ты ни была, дома ли, в Иерусалиме, в Камчатке, везде ты блудница, везде совесть твоя говорит, что ты грешна, и, следовательно, если какой-нибудь прозорливец тебя облегчит, то он обманщик, и ты к нему шла за обманом, а не за правдой, и в Иерусалим ты идешь теперь также за обманом: хочешь обмануть сама себя, но не обманешь!
— Да ведь ходят же прочие-то в Иерусалим-то?
— Ходят, конечно! хотят голос совести заглушить, подделать грех на «не грех», вот и ходят!
— Так что же делать-то? Как же быть-то?
— Как быть? Сиди дома, кайся, не греши; знаешь, что грешна, — ну и знай! искупляй грех добрыми делами, отстраняй других от греха. Вот что делать. А сфальшивить против совести с прозорливцами да с Иерусалимами не удастся, матушка! Как ты была, и сама знаешь, что есть ты блудница, блудная жена, так, будь покойна, ты и останешься, и никаким родом переобразить тебя в непорочную невозможно. И куда ты ни ходи, и какому ты богу ни молись, хоть турецкому, все ты будешь, матушка моя, блудодейка. А вполне для тебя довольно того, что ты сама знаешь свой грех, а коли знаешь — не делай, помни о нем, страдай, за других страдай, остерегай! Все это и в избе твоей деревенской можно делать.
— Нет, уж поклонюсь гробу!
— Да поклонись, поклонись, отчего не поклониться. Поклоняться гробу Спасителя нашего следует, только ты не норови обмануть его, не думай, что он согласится подлости твои оправдать. Он простит, — это верно, но

только ты *как следует,* по чистой совести, покайся. Покайся по чистой совести, от всего сердца, — посмотри как полегчает! Уж тогда и самой в голову не придет повторить свой грех. Ну, а после прозорливца, который тебе зубы заговорит, и опять можно начать... Ну, молись богу! все будет хорошо! Ты что, кушала ли сегодня?

— Кушала, батюшка! Благодарим покорно!

— Бога благодари, матушка!..

Богомолка поклонилась, вздохнула и медленно ушла.

— Отче, — сказал я, — да ведь к вам богомольцы перестанут ездить, если вы будете пробирать их таким образом?

Отец Амвросий улыбнулся и сказал:

— Как можно перестать! Греха много, грешников на Руси тьма-тьмущая! Правды искать не перестанут; но русскому человеку непременно надобно говорить сущую правду и прямо в глаза! Я человек неученый, оренбургский казак, никаких кляузных теорий у меня нет и ничего этого я не понимаю, — но по здравому уму сужу так, что в этом-то и есть русское правоверие: не прячься от своего греха, не отвиливай от него, не извиняй его себе ни в каком случае и поступай, как здравый ум скажет и совесть. Не вздыхать, не в перси бить, не умствовать и разные тонкие доводы один под один подводить, а только действительно сознать свой грех до глубины сердца и тогда уж делать только то, что совесть скажет. Вот эта блудница-то, может быть, чью-нибудь семью расстроила, может быть, из-за нее дети чьи-нибудь несчастны. И ей тяжело, она ищет прощения, облегчения. Прости-ка ее, ан зло-то, содеянное ею, как было, так и осталось. А я не прощаю их, не лакомлю текстами, и на жертвы богу не поддаюсь, а прямо носом в грех: «На! Гляди! Видишь? Ну так и хлопочи на самом деле, чтобы этого не было, исправься, перестань!» Я на себе знаю, что значит своей подлости душевной потакать! Сейчас тексты найдутся такие, что не только греха на совести не окажется, а превыше праведника о себе возмечтаешь! Очень хорошо это знаю на себе! Я, батюшка, был первейший блудник, если вам угодно знать, а почитал себя сущим ангелом, выше всех вас считал себя! все казались мне блудодеями, а я один, сущая свинья, только и был неземным существом! Знаю! Знаю, на что способен наш

кляузный ум, звериный! Нашему народу потакать в этом нельзя, его надобно крепко держать в здравом уме! к подлости, зверству, алчности, — мало ли там чего есть? — ко всему этому надобно относиться прямо, начистоту. Не беспокойтесь! Вот эта богомолка запомнила мои слова крепче, чем медовые речи прозорливца. Искренно вздохнет, настоящим образом испугается своего зла и греха и, может быть, настоящим образом поправит его. Ишь ты! набезобразничала где-нибудь в курской губ<ернии>, а каяться идет к иерусалимскому монаху? Нет, матушка, вороти опять в Курск!

— Иерусалим, — продолжал отец Амвросий, — для нашего мужика все одно, что для барина Париж! Насмердит где-нибудь там, в своей деревне, натворит всякой неправды, и, конечно, на душе скверно станет. «Поеду, мол, в Париж, «освежусь!» Там, мол, умные люди такие мне теории предоставят, что я останусь прав, а другие виноваты; не я, мол, скот окажусь, а обстановка, чужие гадкие люди!» Ну, и отдохнет, действительно отдохнет от своей скверны, забудет ее, превознесется, и уже на людей смотрит свысока. Вот и мужичье тоже: нагрешит, животное, дома, в избе, на миру, награбит, назлодействует, накровянит свои лапы, и засто-о-нет! — «Ох, мол, тяжко! Пойду к прозорливцу, не разговорит ли меня, не выйдет ли так, что я не виновен?» В Камчатку идут за этими прозорливцами. За тем же многие и в Иерусалим идут, а здесь им греческие плуты все грехи отпускают. Вот, извольте, посмотреть...

С этими словами отец Амвросий побежал в свою келью и почти тотчас же вынес оттуда какой-то листок.

— Это вот иерусалимская такса, — сколько за что платить.

Такса была напечатана по-русски: «Вечное поминовение — 60 руб. Поминовение годовое — 15 руб. Один раз — 5 руб. Разрешительная обедня — 25 р. Масличное древо — 3 р.».

— Что же это за масличное дерево?

— Да просто кусок дерева какого-нибудь, на память... Но вы обратите внимание вот на это, — «разрешительная обедня» — вот это-то и есть самое подлое дело! Внесите двадцать пять рублей, и греческий патриарх сам простит вам все прошлые прегрешения, простит

всенародно, так что и думать забудешь о своих напастях. И который, положим, мужичишко наворовал в деревне, награбил, наблудил, накровянил свои лапы, после этого точно из бани вышел, с иголочки, вся гадость с души слезла, «брошу, говорит, деревню», то есть наплюю на нее и на всех, кому зло сделал. «Перепишусь в город в купцы, начну жить заново!» Нет! Нет! Нашему народу ни под каким видом нельзя в этом деле снисходить!.. Вот почему я и бьюсь, чтобы здесь, в Царе-то граде, учредить нашу русскую школу, которая бы учила жить только по совести, вопреки всем иезуитским, кляузным учениям! Тут-то, в Царе-то граде, где скопилось всесветное зло, и надобно засветить правду, попроще, да почище, да попрямее, попрямее непременно! У меня и проектец уже давно составлен.

Я не имел времени узнать и прочитать проекта отца Амвросия, но вообще о русской школе в Константинополе сказать кое-что необходимо.

3

Положение школьного дела у разных национальностей, проживающих в Константинополе, таково: *греки* добровольными пожертвованиями содержат в Константинополе *восемьдесят* первоначальных школ; восьмиклассный лицей с 720 учениками, коммерческое училище, женскую гимназию с 400 пансионерок, учительскую семинарию, *восемь* даровых библиотек и дают образование пятнадцати тысячам детей; *евреи и армяне* — имеют здесь элементарные и средние учебные заведения мужские и женские; *французское* правительство отпускает ежегодно 210 000 франков на дело образования на Востоке и субсидирует прекрасно поставленный *Collège St-Benoit; американцы* содержат здесь буквально великолепнейший Роберт-Коледж. Кстати сказать: этот Роберт-Коледж одно из величественнейших зданий на Босфоре и бросается в глаза своими грандиозными размерами гораздо прежде, чем даже самые султанские дворцы. Это роскошно устроенное учебное заведение воспитывает молодых людей *всех балканских народностей христианских вероисповеданий. Немцы,* благодаря лично пожертво-

ванной императором Вильгельмом сумме 30 000 марок, устроили *Bürgerschule*, в которой обучается 300 детей. *Италия* выдает двум своим школам 14 т. франков ежегодной субсидии; *Австрия* субсидирует свою школу 6 000 гульденов; наконец, *английские* и *шотландские* религиозные общины давно уж имеют в городе и предместьях свои школы и деятельно ведут чрез их посредство свою пропаганду.

Все эти сведения, сообщенные мне Д. Р. Б., корреспондентом «СПб. ведом<остей>», близко знакомым с положением школьного дела в Константинополе, собраны комиссиею, образовавшеюся под председательством г-жи Нелидовой и вызванной настоятельнейшею потребностью в русской школе, «выяснившейся особенно неотразимо после приезда в Константинополь г. Тимирязева, делегата министерства финансов, для переговоров о русско-турецком коммерческом трактате».[1] Отсутствие русской школы оказалось чрезвычайно вредным относительно нашей торговли; «между туземцами никто не знает русского языка; ни одна кофейня не выписывает русских газет». Кроме русской колонии, *все славяне* Балканского полуострова с удовольствием увидели бы основание русской школы. И в самом деле, желая иметь какое-нибудь нравственное влияние на Балканском полуострове, каким образом можно было не открыть здесь даже школы, когда решительно необходим русский университет для славянского населения всего полуострова? В настоящее время болгарская учащаяся молодежь направляется в краковский и львовский университеты, чтобы получить высшее образование. Чем же Россия-то хочет влиять здесь, *на месте?* Между тем она до сих пор выдает субсидии греческим школам, субсидии, в которых они, как мы видели выше, вовсе не нуждаются.

А относительно «русской школы» идет только бесплоднейшая и бесконечнейшая переписка.

План школы выработан давным-давно; г. посол, г. консул и особенно секретарь консульства давным-давно хлопочут и горячо сочувствуют этому делу; монахи Афонской горы готовы внести на постройку школы большие пожертвования; сто русских торговых людей,

---

[1] «С<анкт-Петербургские> вед<омости>», <18>86 г., № 51.

проживающих в Константинополе, также выразили желание жертвовать на это дело в особом адресе г. послу. Кроме этого, министерство финансов вполне одобряет план и программу школы, и г. министр согласен внести в государственный совет предложение о ежегодной субсидии училищу в несколько тысяч рублей, *«как только оно будет открыто»*. Таким образом, благое дело пользуется сочувствием двух министерств, покровительством местных представителей власти, сочувствием всех местных русских подданных, не говоря о глубочайшей необходимости ее в смысле нравственного прибежища для славянских народностей Балканского полуострова, и все-таки нет никакой школы! Она не может быть открыта без разрешения нашего ведомства иностранных дел; даже и разрешение-то испрошено г. Нелидовым *год уже тому назад, но не получено* (!) в Константинополе до сих пор по причинам, которых не может понять даже само наше посольство в Константинополе.

Итак, вот как мы, мечтающие о том, что «св. София будет наша», сильны уважением к нашему нравственному влиянию среди наших братьев-славян, и как мы сами внимательны к своей и чужой духовной жизни. Пишем бумаги и думаем, что в этом-то и есть наша сила, пред которой почему-то должен пасть весь Запад и Восток. Судите сами: я только что рассказал историю школы, учреждения в высшей степени необходимого; как видите, оказывается невозможным сделать дело даже и тогда, когда все препятствия устранены. Но, ничего не сделав, мы полагаем, что переписка может заменить настоящее дело; и можете ли представить, что возня эта сделала возможным *назначение штатного учителя* при школе, которой не существует. «Да, в Константинополе живет штатный русский учитель несуществующего училища!» («СПб. вед<омости>», № 51).

Но и это еще не все!

Учитель этот не получает «жалованья ни от какого министерства, только *чины* от министерства народного просвещения» *да запросы* — и как вы думаете? О чем эти запросы? Подивитесь и послушайте: *запросы о том, когда он приступит к «преподаванию»!* Вы не верите, что можно делать такие дела и *так* влиять на Востоке? Ну, так поверьте, что все написанное сущая правда; все это было

уже публиковано и, кроме г. Б., писавшего об этом в «СПб. вед<омостях>», подтверждено нам лицами, занимающими в Константинополе официальное положение на русской службе.

А вот по части кулачества, барышничества, ничего, орудуем и у врат святой Софии. По Галате нельзя пройти без того, чтобы не получить тысячи приглашений из тысячи публичных домов *на русском языке:* «Здравствуй! Заходи! братушка!..» Все российский товар, из Одессы, из «России». У турок нет ничего подобного.

Недурно припомнить также и следующую сценку.

Едем мы как-то в Буюк-Дере с одним русским семейством на лодке и видим, что с берега (лодка ехала близко к берегу) раскланиваются два каких-то человека. Человеки были в «пинжаках» и с бородами «мочалой», а раскланивались с таким гостинодворским жестом, что не было возможности не спросить:

— Кто это такие?

— А это, — ответило лицо, которому адресовались поклоны, — наши русские купцы.

— Что же они тут делают?

— Да приехали цирк русский открывать... кажется, от братьев Никитиных.

Таким образом, относительно нашего нравственного влияния на Востоке и неизбежно вытекающих из него реальных дел оказывается необходимым подождать. А пока наше отечество предъявляет себя в виде «живого товара» и в виде мужика, кувыркающегося в цирке.

4

Храм св. Софии велик, обширен, но не величествен, особенно снаружи; у него есть лицо и изнанка, и вся его красота сосредоточена строителем внутри храма, а вся изнанка, то есть все, что было нужно сделать, чтобы перекалечить храм в мечеть, все это прилажено снаружи, без всякого внимания к внешней красоте. Минареты красивы и хороши как всегда, но чтобы их можно было приладить к христианскому храму, нужно было сделать ненужные в архитектурном отношении пристройки, вынести тяжелые каменные стены, соединяющие магометанские пристройки

с христианским храмом и обыкновенно не имеющие места ни в христианском, ни в мусульманском храмах, взятых в отдельности.

Камень, из которого сделан храм, также обращен наружу изнанкой; он не изукрашен, как собор Парижской богоматери, ни Кельнский собор, которые снаружи-то, пожалуй, красивее, чем внутри. Серый, нешлифованный камень, закопченный каменноугольным дымом пароходов, огибающих вход в Мраморное море и выход из него, мысок, на котором стоит храм (он стоит близехонько от берега Мраморного моря, но место это пустынно и обстроено нищенски), неприветливо смотрят на путника, пришедшего подивиться этому историческому зданию. Внутри храма впечатление, конечно, несравненно более сильное, но в художественном отношении и здесь оно довольно смутное. Кто бывал в Исаакиевском соборе или, еще лучше, в храме Спасителя в Москве, тот может себе составить впечатление размеров храма, а храм Спасителя, кроме того, может дать весьма близкое понятие о внутреннем расположении св. Софии. Нечто вроде коридоров храма Спасителя есть и здесь, когда вы входите с улицы; верхняя галерея, широкая и светлая, совершенно напоминает вам такую же галерею, или хоры, в храме Спасителя, только подниматься надобно не так, как в Москве, по железной витой лестнице, а по наружной каменной, помещающейся в обширной пристройке, и, вернее, не по лестнице, а по широкой, постоянно поднимающейся вверх булыжной мостовой, на которой, идя в темноте, поминутно спотыкаешься, такие там ямы и ухабы.

Внутренность храма св. Софии значительно искажена мусульманскими переделками; не будь их, план ее был бы точь-в-точь такой же, как храм Спасителя, то есть крестообразный, с четырьмя арками, поддерживающими купол. Здесь же боковые, правый и левый, концы креста застроены рядом колонн в восточном вкусе, близко одна к другой расставленных по прямой линии; то же самое и вверху; так что колонны христианской постройки иногда стоят почти рядом с колоннами, пристроенными мусульманами, и бессмысленно загромождают храм.

Неряшливость, вот что особенно бросается в глаза при обозрении храма; кое-как замазано все христианское, кое-как налеплено и напачкано мусульманское; стихи

из корана на круглых зеленых щитах, написанные золотыми буквами, грубо укреплены на веревках так, что и холст, на котором написаны изречения, и деревянные, грубо сделанные рамки, к которым холст прибит, все это говорит, что об изяществе тут мало заботятся, не так, как в «настоящих» турецких мечетях. Внизу храма, впрочем, все гораздо опрятнее, но в верхних галереях полная беспризорность: птичий помет разбросан повсюду и местами в значительном изобилии. Одна сторона верхней галереи обнаруживает стремление развалиться, и пол, неметеный, грязный, местами осел, треснул, глубоко ввалился и вообще покороблен, наподобие того, как покороблены были набережные петербургских каналов после наводнения. Мозаические потолки вызолочены и разрисованы ничего не означающими фигурами и цветами; и позолота и рисунки неопрятны, закопчены и небрежно намалеваны кое-как, так что мозаические изображения кое-где проступают чрез позолоту. Над алтарем, например, ясно видны очертания Спасителя, распростершего благословляющие руки, выступающие сквозь позолоту, и какие-то намалеванные на ней цветы. Как будто сами турки чувствуют, что это все только «пока» ихнее, что в сущности этот храм — чужой, кое-как переделанный на магометанский лад. По крайней мере турок, с которым приходится ходить по верхней галерее, сам ведет вас смотреть проступающий сквозь позолоту лик Спасителя и сам говорит, что «это значит, храм опять будет христианский».

Сверху вид на площадь храма с молящимися не столько эффектен, как в других мечетях, сколько любопытен; весь пол храма устлан широкими цыновками, положенными не прямо поперек, а поперек наискось, сообразно чему и то, что я назову магометанским алтарем, передвинуто с центра христианского алтаря немного правее. Но молящегося народу как-то мало здесь; в других мечетях, как говорится, яблоку негде упасть: вся она заставлена правильными шеренгами молящихся, плечом к плечу; все они буквально моментально и как один человек становятся на колени, делают поклон, разгибаются, опять падают ниц и лежат уткнувшись лбом в пол; дисциплина в молитве образцовая; вот уж, можно сказать: «вкусно молятся турки», как иногда выражаются русские простонародные любители богомолия. Огромная площадь храма,

сколько мне пришлось видеть, кое-где только пестреет небольшими группами молящихся. Вечером вид с хор эффектнее, чем днем. Масса люстр, не таких, как наши, то есть не гроздью, а плоских, с огнями, размещенными по кругу, состоящему из небольших полукруглых извилин, низко и все на одной плоскости, висят над молящимися; сверху видны какие-то огненные змеи, извивающиеся в разных направлениях над толпой молящихся, а вверху, в глубине купола — тьма: на верхних галереях — только зрители, иностранцы, группы человек в пять — десять, и ни одного мусульманина. В куполе св. Софии в четырех углах, на местах соединения с куполом четырех поддерживающих его колонн, когда-то были, вероятно, изображены ангелы с крыльями, сплетающимися над головой, с боков ангельского лика и под ним. Турки «кое-как» замазали лики, налепили на них что-то медное, вроде медных подносов, а могучие крылья так и остались, как были.

Итак, впечатление, получившееся при посещении св. Софии, было весьма смутное: неопрятно, пустынно, заброшено, пусто, беспризорно, «кое-как». Никакие исторические воспоминания почему-то совершенно не шли на ум при виде этого, во всех отношениях искаженного, почти заброшенного храма. Даже иностранцы как-то не интересуются им; да и вообще, среди современных нравственных и политических забот, идей и течений мыслей, на которые наводит вас константинопольская жизнь, для всех св. София как-то в стороне, она как-то одинока со всею своею историею, и только русские считают своею обязанностию посетить ее, снимают шапку, входя во храм, крестятся, говорят: «хорошо бы, если бы она наша опять поскорее стала!» Но, выражая такие пожелания, и сами русские как будто бы поослабели в мыслях, касающихся решения участи св. Софии. Нет огня, страсти в этом желании «поскорей бы была наша!»

Св. София находится, как я уже сказал, в Стамбуле, в этом константинопольском Замоскворечье. Но, воля ваша, наше Замоскворечье сохранило больше своих типических черт. Конечно, здесь больше, чем где бы то ни было в других частях Константинополя, сохранились восточные черты нравов, образа жизни и архитектуры, но все-таки международно-шаблонные черты, вторгнувшиеся

в жизнь Константинополя, и здесь, в турецком Замоскворечье, почти поглощают редкие, характерные особенности Востока. Казарменные постройки правительственных учреждений, шаблонные европейские дома с лавками и кафе внизу, все это изобилует в количественном отношении над постройками восточного типа; эти постройки, со всеми своими характерными особенностями, тонут в океане-море всевозможного рода проявлений шаблонного европеизма.

Турецкий рынок, турецкая улица мозолят вам глаза европейскими товарами, европейскими приемами торговли и разными типами продавцов; вид улиц, со всеми мелочными подробностями, в большинстве совершенно европейский: тротуары, мостовая, фиакры. А переулки, закоулки с турецкими домишками, большею частью деревянными, и закрытые ставни этих домишек так кажутся неуместными и такими жалкими, что и смотреть на них не хочется.

У нас, на Руси, положительно гораздо ярче выделяется мусульманский элемент в тех городах, где он есть, чем это есть в Константинополе, в этом, казалось бы, центре мусульманского мира. Где-нибудь в Казани, в Тифлисе, не говоря о Крыме и о такой прелести, как Бахчисарай, все мусульманское испорчено у нас несравненно меньше, чем здесь, а главное, оно у нас ярче, самостоятельнее и рельефнее выделяется на фоне русской жизни.

Кстати сказать, Бахчисарай восхитителен именно как типический мусульманский город; все здесь, начиная от построек, от внешнего вида улиц, до внутренней жизни всего живущего в нем, все вполне оригинально, без малейших признаков какой-нибудь посторонней примеси или подмеси; торговля, товары, люди, торгующие ими, дома, в которых они живут, — все чисто мусульманское, не только вполне сохранившее свои традиции, но сильное ими, не допускающее мысли о том, что эти традиции когда-нибудь прейдут, напротив, твердое ими и вообще во всех отношениях ярко типичное. А вот в Константинополе, в самом центре мусульманства, все чисто мусульманское теряется на сером фоне шаблонно европейских порядков жизни, видимо чахнет от них и во всяком случае не может не чувствовать собственной отсталости,

слабости и, так сказать, однобокости жизни, таящей в глубине своей нездоровое зерно.

Однобокость, отсутствие в турецком населении силы бороться с твердыми, с каждым днем все сильнее и сильнее налегающими порядками, чувствуется вами, посторонним наблюдателем, едва ли менее, чем самими турками. Женщина, изгнанная из общежития, лучше всего доказывает, что порядок, который считает нужным для своего благообразия и устойчивости запереть на замок целую половину рода человеческого, который находит нужным завязать этому «полу» лицо, рот, очевидно, порядок этот не настоящий и таит в себе какую-то язву.

Не думаю, что я сделаю большую ошибку, если приведу заключительные слова одной мусульманской сказки, как очень хорошо рисующие сущность и строй жизни мусульманина. Сказка, рассказав длинную историю бедняка, всякими правдами и неправдами добившегося в конце концов богатства, заканчивается так: «Теперь, — сказал Мезула жене своей, — ты не будешь упрекать меня в трусости и лености. *И с тех пор* (то есть с момента обогащения) *никто не видал больше Мезулу выходящим из хаты своей»* («Татарские сказки» В. Х. Кандараки, стр. 11). Добиться того, чтобы никуда не выходить из дома своего, это, кажется, и теперь заветное желание турок. Днем турок служит, работает, торгует, но после известного часа он безвыходно дома и, как рассказывают, к нему в это время нельзя пробраться ни по какому самому безотлагательному делу. Вот почему вся служба теперешнего турка заключается в том, чтобы иметь средства — не выходить из дому; можно с грехом пополам выйти, взять бакшиш, и чем больше, тем лучше, ухватить где-нибудь доходный кусок, заложить государственный доход с таких-то и таких-то статей, — и домой, в эту мурью с закрытыми ставнями.

Не раз приходило мне в голову спросить себя: что такое там держит его в мурье с закрытыми ставнями? Точно ли он там блаженствует среди гурий, или, напротив, он среди них как в тюрьме? Особенно неотступно преследовал меня этот вопрос в один из последних дней рамазана, когда султан, по обычаю, берет новую жену, что совершается каждогодно. Весь город турецкий горел огня-

ми; весь турецкий флот в Золотом Роге был иллюминован; мечети, минареты, башня, все было залито огнями; а там, в темной дали Босфора, в Ильдиз-Киоске, фейерверк необычайных размеров: целые снопы, столбы огня летят к небу; оркестры музыки играли часов до пяти утра; все турецкое население опьянело от удовольствия, от музыки и вообще от какого-то раздражающего впечатления свадьбы падишаха, праздновавшего всенародно там где-то, в темных садах, у темных вод Босфора, среди огней и музыки, — свой новый брак. Почему этот праздник? В чем тут величие падишаха? Отчего такая радость и торжество по случаю явно неблагообразного поведения брата льва и дяди солнца? Если он точно наслаждается и если точно толпа рада, что брат солнца может жениться столько раз, сколько ему угодно, то и брат льва и толпа — просто скверны; и этот фейерверк, эта иллюминация, эта музыка всю ночь — только огромное, ни малейшим образом не допускающее никаких смягчений, глубочайшее, публичное падение в самую грязную грязь.

Впечатление глубочайшей грязи от этих мусульманских постов и праздников несомненно; но вот что изменяет несколько ваши мысли по поводу этой грязи: чем объясните вы отсутствие в мусульманском строе жизни таких явлений, как проституция, женское монашество, детоубийство и подкидывание детей? Ведь ничего этого нет. Кроме того, не только в мусульманском мире нет проституток и монашек, но нет и торговок, горланящих: «луку зеленова, лууу-ку-у!», ни торговок, сидящих на базаре на горшке с рубцами, все это делает мужчина: он шьет, он вяжет, он печет хлебы, продает зелень; словом, на трудовом рынке — один мужчина, а женщина там, дома, в гареме, в семье, то есть при своих детях. Получая каждый божий день по жене, можно думать, что мусульманин приносит себя в жертву, берет на свои плечи бремя, сохраняет женщину от всякого зла, давая каждой право быть матерью, то есть сохранить себя в чистоте. А о естестволюбии мусульманина можно судить по множеству фактов, доказывающих, что он чтит естество во всех видах: чтит воду; лес чтит необычайно, и все леса чисты, сильны, могучи; чтит животных; возьмем хоть бы этих собак константинопольских: они плодятся и множатся тут же на улице, и никто не потопит кучу этих ще-

нят, все они вырастают тут же и опять плодятся и множатся. Или это равнодушие? У нас в былое время донские казаки, занятые войной, топили детей и только постепенно стали снисходить к мальчикам, а потом перестали топить и девочек. Собак, кошек у нас топят постоянно, — «жалеючи»; здесь же все это свободно плодится и множится без малейшей помехи. Как так женщина да вдруг не родит, не будет матерью, не познает мужа? И добродетельный турок, надо полагать, старается сделать как можно более добрых дел: дает сотням девушек право быть матерями, множиться, то есть исполнять то, что им непременно надобно выполнить, как женщинам, как существам иного пола. С этой точки зрения ежегодный брак султана можно перетолковать как подвиг, а восемьдесят карет (цифра газ<еты> «Новости»), в которых еле-еле помещается султанский гарем, только свидетельствуют о неисчерпаемой доброте падишаха: сколько он несет бремени! сколько бесплодных смоковниц воззвал к жизни! Истинно второе солнце, и нет с его стороны особенной похвальбы в том, что он титулует себя братом этого самого солнца.

Но на каких бы логических основаниях ни была построена эта жизнь, результаты ее весьма плачевны. Плачевны в нравственном отношении: ничего, кроме слова «бакшиш», не внес мусульманский мир в жизнь той массы народностей, которыми он владел и владеет. Мусульманский мир ничего не сделал ни в литературе, ни в искусстве, ни в промышленности. Но еще плачевнее результаты оказываются в физическом отношении: раса, и особенно высшие классы ее, вырождается и физически истощена уже в значительной степени. Откуда это обилие мрачно задумавшихся, глубокомысленных лиц, которые вы постоянно встречаете в мужчинах около сорока лет возраста? Какие такие думы гигантские удручают их огромный ум? Под тяжестью каких дум состарились эти согбенные старцы, которых вы то и дело встречаете на улице, в кафе, везде? Улыбки, веселого, бодрого лица в массе мужского турецкого населения — ищите днем с огнем и не найдете. Но присмотревшись к этой глубокомысленности, к этим «вдумчивым» лицам, вы видите только серьезность трупа, серьезность лица, в котором замирает деятельность нервов. Что же касается женщин, то положительно, сколь-

ко я ни видал их, все они также изнурены бесплодной тратою сил взаперти и бессмыслием гаремной жизни. Это большею частию чахлые существа, мелкие, бледные, сварившиеся в собственном соку. В одном русском семействе с год времени жила одна гречанка, мошеннически проданная в гарем. Проживя там с полгода, она нашла возможность убежать оттуда и скрылась в русском посольстве. Эти полгода гаремной жизни не столько развратили, сколько истомили ее, отупили, обезглавили, так сказать, обессилили. Лень, тупая апатия к жизни, вот что вынесла она из гарема после шести месяцев жизни в нем, хотя вошла туда здоровой, работящей женщиной, вольной птицей. Положительно всякий раз при виде турчанки, закутанной, завязанной как бы в мешке, с крошечной линией разреза только для глаз, мне невольно вспоминалась наша российская баба. Даже вот в качестве богомолки-смиренницы она куда как не смирна и беспрерывно деятельна: полежала, полежала на своей пароходной койке третьего класса, скучно стало без дела, пошла к повару: «Дай, мол, картофь почищу»; чистит «картофь», про Иерусалим рассказывает и каламбуром на каламбур ответствует. А те наши бабы, солдатские жены, которые первые стали возить почту из Владикавказа до Тифлиса, в то время, когда ни солдаты, ни частные предприниматели не брались за это опасное дело: пули жужжали не только в горах, в темных горных трущобах, но и в самом гор<оде> Владикавказе опасно было жить; никто не брался за эту трудную работу, но бабы взялись, оделись по-ямщицки, и валяй на тройке; иная в полушубок завернет мальчонку, а иная его рядом с собою посадит. Какую массу природных сил развивает наша крестьянская женщина, и какую, стало быть, бездонную пропасть этой женской силы, без толку, злодейски, душегубски, удушает мусульманский порядок жизни в миллионах своих гаремных женщин. Не живут и не благословляют они своих братьев солнца и племянников луны, а сгнивают, тлеют, сгорают сами от собственного, ни на что не направленного, живого огня жизни.

И есть уже признаки, что так будет недолго идти дело: как только умрет валиде, мать султана, «все женщины откроют лица», — говорят одни; другие говорят, что женщины тотчас же снимут чадры и будут так же открыто

ходить по улицам и смотреть в окна, как и все, — «*как только придут русские*». О проявлениях непокорства в мусульманских женщинах свидетельствует и то, что перед праздником рамазана полиция публиковала правила, касающиеся женщин, и строжайше приказывала им соблюдать во время этих ночных гуляний строжайший мусульманский этикет, то есть появляться на гулянье с завязанным ртом, лицом и т. д. Очевидно, дело уже неладно. Гуляя ночью во время рамазана в Стамбуле и глядя на бесконечную вереницу карет, исключительно с женщинами, мы не раз замечали не только почти открытые, вопреки полицейским предписаниям, лица, но и папироску в устах гаремной затворницы.

Но правоверный должен быть правоверным, и зная, что идеал его — «всю жизнь не выходить из дома своего» — колеблется и шатается, в то же время видит и чувствует, что голова его отказывается выдумать какой-нибудь другой идеал, и поэтому все усилия употребляет на то, чтобы всеми правдами и неправдами дожить свой век во имя этого идеала. Распродавая чужим людям свои государственные богатства, он все-таки стремится «сидеть дома, не выходить из дому» и охраняет этот порядок жизни от нашествия иных порядков — только оружием. Казармы, крепости, пушки, солдаты, военные школы, артиллерийские дворы — первое, на что Турция обращает серьезнейшее внимание. Только силою и может держаться эта гниль.

Выходя из Стамбула на плашкоутный мост, соединяющий Стамбул с Галатой и Перой, вы можете видеть влево от себя весь турецкий флот. Он стоит в глубине бухты Золотого Рога, в самом роскошном, живописном уголке, бережется, как зеница ока, у самого сердца Стамбула. Флот в большом порядке и не мал; пушки вычищены, прилажены к своим местам, и вообще весь вид флота таков, что «хоть сейчас». Замечательно, что флот приютился в самом живописнейшем месте Константинополя, в Золотом Роге, и что в то время, когда на 15 верстах берегов Босфора, частию вовсе незастроенных, нет ни одной фабрики, ни одной дымовой или паровой трубы, здесь, в Золотом Роге, в живописнейшей местности, заведены мастерские, кузни, пылают доменные печи, стонут паровики и несется копоть, дым. Испорчено самое живо-

писное место, испорчен удивительно прекрасный берег, от подножия которого идет по террасам, поднимающимся к Пере, роскошная кипарисовая роща. Но когда вы подумаете, до какой степени пушка, корабль, монитор, солдат, ружье и пуля важны для мусульманского мира, что это единственное его спасение и опора, то вам станет понятно, почему естестволюбивые турки решились загрязнить это роскошное место мастерскими и всяким хламом, им сопутствующим: им надобно, чтоб это было под руками, перед глазами, около, близехонько. Сам султан с Ильдиз-Киоском и гаремом, утопая в великолепных садах, затем вторично, уже вместе с садами, утопает среди солдатских казарм и тысяч солдатских ружей и штыков.

5

Теперь мы идем в Перу, и враг, надвигающийся на бедного турка, начинает попадаться нам все чаще и чаще, по мере того как мы подвигаемся из Стамбула через плашкоутный мост. И здесь уже европеец, европейский костюм, европейски одетая женщина — кишмя кишат среди турок, а через несколько секунд мы и совсем уже в европейском городе.

В Перу мы попадаем помощью подземной железной дороги, вокзал которой находится в нескольких шагах от моста. Пробыв несколько секунд в плохо освещенном вагоне, мы выходим на площадку к новому, только что оконченному фонтану; кругом европейские постройки, отели, рестораны, кафе, посольские и консульские дома и дворцы, по-парижски одетые дамы и мужчины, одетые с иголочки, также по-парижски. Конечно, и здесь не обходится без типических константинопольских черт: собаки те же, что и в Галате, и осел иной раз рявкнет совершенно не по-парижски; но здесь вы уж не чувствуете затхлости Стамбула, здесь уже веет чем-то освежающим, дышится легче; словом, здесь вокруг вас все вам знакомей, подходящей и вообще покойней. Такую обстановку жизни вы понимаете, глаз присмотрелся к ней и если не поражается чем-нибудь особенным, то и не оскорбляется ничем, как оскорбляет вас помесь мусульманского

и азиатского с европейским в Стамбуле. Достаточно войти в первый французский ресторан, в кафе, чтобы совершенно забыть, что вы в Константинополе, на Востоке, в азиатчине; все здесь как должно; газеты, услужливая прислуга, карты кушаний, и кушанья все знакомые, не то что какие-то турецкие чебуреки, к которым и прикоснуться-то боишься.

Итак, мы очутились в Европе. Кафе парижское, ресторан, где обедаем, — тоже парижский, и биргалле точь-в-точь такое, как ему быть должно, и немец в биргалле так же сосет свою сигару, как подобает ее сосать немцу, и кегли стучат так же, как следует. Мы в Европе несомненно; но что значит это досадное состояние духа, которое, зарождаясь понемногу, начинает развиваться в вас постепенно, каждую минуту все сильнее и сильнее? Когда вы бывали в европейских центрах, Париже, Лондоне, Берлине, то та же самая обстановка и тот же обиход жизни, какой вы находите здесь, в Константинополе, в фотографической точности, — все это никогда не производило на вас такого дурного впечатления, какое производит здесь. Отчего вам нестерпимо скучно здесь, среди вполне европейской обстановки жизни, то есть среди которой вам никогда не было так скучно, скверно, досадно, тускло?

Мало-помалу это неприятное состояние духа начинает выясняться, то есть вы начинаете видеть, что Европа-то точно Европа, но как будто бы *не вся,* что *в этом* европействе чего-то нехватает и, напротив, чего-то чересчур много. И очень недолго придется вам ждать ответа на вопрос о том, чего именно здесь много и чего нехватает. Нехватает, так сказать, «парадных комнат» европейской жизни, нехватает «господ» европейского жилого дома, нехватает европейского гения, таланта, вкуса, мысли европейской нехватает; словом, нехватает всего, во имя чего *живет* Европа, во имя чего сложился известный порядок. «Господа» — там, в Париже, в Лондоне, в Берлине, в Петербурге; здесь — задний двор Парижа, Лондона, Петербурга, Берлина; здесь прислуга, вкривь и вкось толкующая о господах: «спит», «пишет», «посылает телеграмму»; там, в парадных комнатах, вдали от заднего двора, возникают планы, предприятия, проекты, словом, там идет жизнь; здесь только исполняют приказания,

платят по счетам, не кушая от трапезы господ, приносят те покупки, за которыми посылали господа, и уносят то, что господа велели унести. Не раз я спрашивал наших константинопольских аборигенов: «Да кто же населяет эти пятнадцать верст по обеим берегам застроенного Босфора? Кто живет в битком набитых шестиэтажных домах Перы, раскинувшейся на необозримое пространство?» И мне всегда отвечали: «агенты», «банкиры», «комиссионеры». Я задавал мой вопрос потому, что никакой местной производительности, ни завода, ни фабрики, ничего этого нет; а если есть, то в таких ничтожных размерах, что прокормить всю эту стотысячную массу по-европейски одетых людей нет никакой возможности. Все эти сотни тысяч могут жить только на готовые деньги; но богачей, тузов капитала, которые бы прочно устроились здесь на житье, воздвигли бы свои отели, парки, дворцы, — нет здесь. И пожив немного в Константинополе, вы убедитесь, что ни один магнат, ни один крез, ни один большой ум не будет здесь жить: здесь нельзя жить; здесь можно только считать, платить, получать, словом, делать черную работу денег, а проживать их можно только в настоящем, жилом европейском месте. И точно: ни театра, ни литературы, ни малейших признаков общественного интереса, ничего нет здесь. Все второй, даже третий сорт; все одето в платье из магазина готового платья, одето шаблонно, по-солдатски, однообразно. На гулянье, в саду, стоящем на высоте против Золотого Рога, вы видите отборное константинопольское европейство, и все оно среднего, даже третьего сорта, среднего приличия, шаблонного благообразия, мещанского щегольства; ни одного выдающегося лица, костюма — ни у мужчин, ни у женщин. Француженки, немки, гречанки, итальянки, все они равняются своим купленным костюмом, однообразием невысоко парящего вкуса в туалете и значительно-буржуазною скромностью в проявлении уменья жить в свое удовольствие. Толстоваты они все, грубоваты их корсеты и турнюры, неказисты головные уборы, невыразительны лица, да и речи тоже больше такие, какие говорятся «под музыку» и «на гулянье», а музыка, как и везде, «который был моим папашей» играет, а публика гуляет, а погуляв, чинно-благородно идет по домам, спать. Все европейство, которое пришло сюда, все оно средней руки, конторского

типа, умеренное и аккуратное, весьма пригодное для того, чтобы женщина, вкусившая его, была примерной женой конторщика, конечно примерного и аккуратного и конечно вкусившего того же самого аккуратно-умеренного европейства.

Мало-помалу вы окончательно убеждаетесь, что Константинополь, ничтожный и ничего не означающий как центр мусульманства, ничтожный как город европейский, имеет огромное значение как *одно из звеньев* огромного, многосложного механизма европейской жизни. Здесь ничего не производится, ни в каком отношении, ни ум, ни талант, ни изобретательность ничего здесь не создали и не создадут. В европейском обществе разделенного труда, для проявления деятельности человеческого гения, есть другие места и другого типа люди; здесь только перебрасывают выдуманный и сделанный в Англии ситец с одного корабля на другой, записывают в книгу, выдают квитанции, пишут коносаменты, уплачивают, получают и передают хозяевам в Европу; здесь передаточная станция между европейской фабрикой и всем светом, источником и средством этой жизни. Все эти тысячи домов, унизывающие берега Босфора, эти горы домов в самом Константинополе, битком набитые шаблонного типа народом, как бы оптом купленного в «магазине готовых людей», все это действительно населено мелкой сошкой, маленькими винтиками в огромном европейском механизме. Все это население скучно, низменно, мелко, неинтересно само по себе, но как *частица* механизма европейской фабрики, как винт, необходимейший в этом механизме, оно невольно заставляет вас думать именно об этом механизме, во всей его широте, во всем объеме и значении.

«Владеть Константинополем, значит владеть миром»,— сказал, кажется, Наполеон; я понял эти слова, сидя здесь в саду, над Золотым Рогом, глядя на эту ординарную публику и слушая ординарный оркестр, наигрывавший «который был моим папа-а-а-шей». И теперь ведь Константинополем владеет султан, не без начальства эта земля, но миром он, кажется, не владеет. Этому слову, следовательно, надобно придавать совсем не то значение, какое оно имеет с первого взгляда: владеть миром можно именно здесь, в этом пункте, в этой передаточной

станции, в одной из точек огромного тела Европы, только тогда, когда владетель захочет прекратить правильное течение соков в организме; прерви он сообщение европейских фабрик с рынками всего света и сообщение сырья всего света с фабриками Европы, и он не только будет владеть всем светом, но прекратит во всем свете дыхание, жизнь; разрушит все сущее, весь порядок, все, чего достигла цивилизация; словом, *все* разрушит.

Не знаю, рисовали ли в своем воображении эту картину — о прекращении кровообращения во всем мире, те наши патриоты, которые утверждают, что нам необходимо «владеть» Константинополем. Если они не нарисовали ее, то пусть попробуют представить себе, что будет, положим, в фабричном механизме, если каким-нибудь образом мы вынем из него один только винт, повидимому ничтожный, но на самом деле важный, как и все важно и нужно в известном механизме. Немедленно же все в механизме придет в расстройство, все затрещит, зашатается, и начнется расстройство и разрушение. На это полное расстройство европейских порядков, всего европейского строя жизни, непременно должны рассчитывать все те, кто придает слову «владеть» идею «власти над миром». Но не думаю, чтобы наши патриоты так уж стремились к разрушению существующего европейского порядка. Нехватит у них на это смелости, да и фантазии нехватит на то, чтобы представить себе, какого рода порядками могли бы они заменить уничтоженные?

Но если затруднительно решиться на задушение и разрушение всего европейского строя жизни, и если нехватает фантазии создать что-либо новое, то владеть Константинополем так, чтобы в то же время владеть миром, мы можем лишь в том случае, если, признав существующий европейский механизм за неразрушимый, сами сделаемся в нем первенствующими деятелями, то есть если теперь весь цивилизованный мир имеет в Константинополе миллион своих приказчиков, то нам, чтобы преобладать над миром, не разрушая «существующего порядка вещей», нам надобно иметь два миллиона, вместо тысячи кораблей две тысячи, вместо тысячи фабрик две тысячи фабрик; словом, нам надо развить в своей стране все европейские порядки и довести их до высшей степени. Не сделай мы этого, мы будем владеть Константинополем так же, как

владеют турки, то есть не только не владея всем миром, но не владея ровно ничем.

С другой стороны, чтобы по-европейски преобладать над европейскими порядками, нам давно следовало бы жить вовсе не так, как мы живем: нам следовало и следует обезземелить наших крестьян, распространить и развить до огромных размеров пролетариат, накопить миллионы голодных рабочих, предлагающих за бесценок свои рабочие руки; словом, нам нужно было бы давно развести в своем отечестве все европейские язвы, и тогда наш ситец, наш сахар, сукно — убили бы европейский ситец, сахар и сукно; наш приказчик возобладал бы над европейским, оттер бы его, а за ним оттер бы и подавил капиталиста, и наш капитал всосал бы в себя капиталы мира. Вот тогда мы опять, владея Константинополем, были бы в то же время и владыками мира. Но разве мы не опоздали в этом направлении? Разве мы догоним на этом пути Европу? Разве мы посмеем, наконец, расстроить наш народ до такой степени, чтобы он стал делать самый дешевый в мире ситец? И какие бы усилия мы ни делали для того, чтобы расстроить и расшатать наш народный организм, для того, чтобы пожинать успехи и лавры на европейский образец, мы во всяком случае «опоздали» уже. «Не догнать тебе бешеной тройки!» по части ситцев и миткалей. Не надо бы крестьян освобождать да гуманствовать, а уж после того, как согрешили против Европы, сделали один раз по совести, уже теперь поворачивать назад невозможно; ничего путного не выйдет, то есть пролетариат, пожалуй, можно сделать и у нас, и даже очень, очень хороший пролетариат, только не знаю, будет ли он ситцы дешевые делать, он уже отведал удовольствия мечтать о том, что он «сам хозяин», и едва ли возблагоговеет пред перспективою вечной поденщины. Нет, вообще поздно, поздно нам догонять Европу по части ситцев и сахаров. А владеть Константинополем и миром во имя ситцевого преобладания над Европой, и притом владеть сейчас, теперь же, это даже и не мечтание, а нечто не подлежащее никакому суждению.

Но после всего этого зачем же мы стремимся сюда? Зачем нам св. София, зачем огромные жертвы, которые мы готовимся принести, да наконец, во имя чего, какого бога все это? Хотим ли мы перервать в этом пункте

артерию мирового капиталистического кровообращения и обескровить Европу, со всеми ее порядками и строем жизни, и на разрушенном выстроить новое? Нет, такой прямой и жестокой цели у нас нет; напротив, мы сами постоянно расстраиваем себя, добровольно заражая себя европейскими недугами, и нашей, неевропейской, формулы жизни — нет, мы не скажем ее в двух словах.

Если же мы не хотим, не можем и, наконец, не имеем достаточно ясных доводов, которые бы давали нам право перервать кровеносный сосуд и обескровить весь существующий европейский организм, то пересилить этот организм на том поприще, на котором он действует, превзойти его в его же делах, в его успехах, это для нас, для нашей самостоятельности — очевидная гибель и смерть. И этого мы не хотим и не можем сделать, хотя и делаем, то есть заражаем сами себя европейским злом.

Итак, опять-таки: чего же мы хотим, зачем нам нужно быть здесь, что мы сделаем, что мы скажем нового всему свету, когда, наконец, придем сюда?

Эти вопросы неотступно угнетали меня в тот самый вечер рамазана, когда султан праздновал свой брак. Я и кой-кто из русских сидели вечером в саду, слушали музыку, смотрели на иллюминованный флот в Золотом Роге. Вокруг нас кишела толпа константинопольского европейства, та самая буржуазия третьего сорта, о которой я уже говорил; эта третьего сорта прислуга европейских господ ежесекундно напоминала мне о самих господах, заставляла думать *обо всем* строе европейской жизни, напирающей на этот замкнутый и разлагающийся мир азиатский. Никогда, как в этот вечер торжества с самым низменным и унижающим человека смыслом, никогда более ярко не представлялось мне бессилие всей этой азиатчины перед напряженно-деятельным европейским миром, идущим ей на смену, стирающим ленивца с лица земли, для того чтобы добыть хлеб своим труженикам, силу своему гению, пищу своему неумолчно работающему уму... Эти приказчики с приказчицами ежесекундно говорили о напряженном труде европейского общества; эти огни, фейерверки, музыка — говорили об апатии, лени и умирании. Мы-то при чем тут? И при чем тут св. София?

Св. София невольно вспомнилась мне, как одинокая, чуждая среди этих двух совершенно определенных течений константинопольской жизни, — и какая-то жалость к этой лишней, одинокой, сумрачной зрительнице чуждых ей жизней, целей и стремлений взяла меня за сердце. Взяла меня за сердце почему-то жалость и к нам: и мы чужды всему этому, чужды так же, как и София; но вот мы почему-то здесь, почему-то хотим быть здесь, и оба в каком-то странном, неопределенном положении.



IX. ВЕРНЫЙ ХОЛОП

(Из частной переписки)

1

Накануне каждого нового года у всякого обывателя является желание обозреть как свое, так и общественное поведение за прошлый год и определить в нем «хорошие» и «нехорошие» мысли и деяния, также личные и общественные. Как всякий обыватель, я, по обыкновению, предавался таким размышлениям и накануне <18>89 года, по сообразив, что канун <18>89 года — канун года не заурядного, а последний день и последний час двадцатипятилетия земского строения, оживотворившего все стороны всенародной жизни, я понял, что мне не под силу будет одолеть, в короткие часы новогодней ночи, даже и сотую часть того, что пережито и сделано народным старанием в эту четверть века. Однако потребность и желание думать и размышлять об уходящем в вечность двадцатипятилетии не покидали меня и совершенно неожиданно заставили вспомнить, что в моих бумагах есть довольно много писем от читателей, написанных, очевидно, вследствие настоятельной необходимости разобраться в современной суете сует и выяснить связь или разницу между прошлым и настоящим.

Не откладывая дела в долгий ящик, я тотчас же принялся пересматривать и перечитывать письма читателей, но — увы! — очень и очень скоро потерял всякую охоту к этому трудному занятию. Да, трудному! — Достаточно было просмотреть пять-шесть такого рода писем, авторы

которых один за одним доказывали полнейшую бессмыслицу существования всякого русского человека, чтоб пропала всякая охота продолжать чтение писем, уже читанных по мере получения. Я хотел тотчас же собрать и заключить их в тот пакет, в котором они находились прежде, когда мое внимание случайно привлекли в одном письме подчеркнутые строки такого содержания:

«...И как на грех, такая бессмыслица жизни угнетает нас всех тогда, когда все мы, все общество, всякий барин и всякий мужик, ощущаем вообще задачи жизни несравненно многосложнее, чем прежде, и когда вообще *личное* понимание друг друга, личные друг к другу отношения положительно *изменились в лучшем смысле*».

Эти строки, как случайно сорвавшиеся с пера автора, заинтересовали меня и, прочитав его письмо, я нашел в нем нечто ободряющее «унылого человека» и решился сделать из него кой-какие извлечения.

2

Посвятив несколько ничего не значащих строк указанию причин, по которым, при таком успехе в осложнении отношений барина и мужика, все-таки «ничего не выходит», и которые я пропускаю, как совершенно ненужные, автор продолжает так:

«Все партии, — пишет он, — люди всех направлений прежде всего в наше время, волей-неволей, должны думать о народных массах, уже не могут существовать, не думая о них, о их положении, о их будущности. По-хорошему или по-худому думают представители общественных партий о народе, все равно, но они несомненно думают уже о нем так много и так всесторонне, как никогда в прошедшие крепостные времена не бывало. Это раз. Но самое важное и отрадное в том, что все поколение людей, выросшее умственно и нравственно в пореформенные времена, хотя и ничего путного на деле не совершило, но уже неискоренимо озабочено народным делом; дело это вошло уже в плоть и в кровь, и сущность *личных* отношений современного барина к мужику несравненно человечнее, чем это было лет тридцать — сорок тому назад. «Пошехонская старина» М. Е. Салтыкова заслуживает

глубочайшего нашего внимания и благодарности к ее автору, как подлинный документ наших *личных* отношений к обществу и к народу, изобилующих фактами полнейшего невнимания ни к своей, ни к чужой человеческой личности.

Не знаю, помните ли вы очерки И. А. Гончарова «Слуги», которые ничуть не менее ярко изображают именно *человеческие* отношения барина и мужика в недавние еще от нас времена?

В этих очерках прежде всего поражает и заслуживает благодарности та неприкрашенная и ничем не смягченная искренность, с которою автор передает о своих взглядах на народ и о своих личных к нему отношениях.

«Простой народ, — пишет он в предисловии к этим очеркам, — то есть крестьян, земледельцев, я видел за их работами большею частью из вагона железной дороги. Видел, как идут наши мужики без шапок, в рубашках, в лаптях, обливаясь пóтом. Видел, как в Германии, с коротенькой трубкой в зубах, крестьяне пашут, крестьянки жнут в соломенных шляпах; во Франции *гомозятся* в полях в синих блузах, в Англии в плисовых куртках, сеют, косят или везут продукты в города. Далее, видел работающих на полях индийцев, китайцев на чайных, кофейных и сахарных плантациях. Проездом через Сибирь видел наших сибирских инородцев — якут, бурят и других, — и *все это издали, со стороны, катясь по рельсам, едучи верхом, иногда с борта корабля, и не вступал ни в какие отношения: — не приходилось, случая не было*».[1]

Этот отрывок с поразительной ясностью показывает неизмеримую разницу отношений между «барином» и «мужиком», возможную, как видите, не больше как лет сорок тому назад, и решительно невозможную в настоящее время. И в настоящее время в нашем обществе есть еще остатки крепостничества, прямо проповедующие «розги» для пользы народа, и они, вероятно, видят народ только из вагона, «издали»; но если и такие наблюдатели находят нужным проповедовать о пользе розог и вообще думать о каких-то мероприятиях по отношению к народу, стало быть, им *уже надо* почему-то думать об

---

[1] Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 174—175. (Изд. Глазунова, СПб., 1889. — *Ред.*)

этом; не зная народа, они знают, чувствуют, что у них уже есть к нему *какие-то отношения,* тогда как сорок лет назад можно было жить, не имея к нему *никаких отношений,* можно было прожить век в таких условиях, что *не приходилось* даже и касаться народа, и если *приходилось* видеть его из окна вагона, вообще издали, так только потому, что нельзя его не видеть: он сам лезет в глаза, копошится и гомозится на пашнях, то в рубахах, то в куртках, то в соломенных шляпах.

В настоящее время нет десятилетнего ребенка во всей России, который бы не знал или по крайней мере не чувствовал своих отношений к народу. Не о качестве этих отношений говорю, а о том, что отношения эти лежат уже в *личном* обиходе жизни всех российских обывателей.

Европейский «барин» также весь век живет без всяких «отношений» к европейскому мужику; но кто же может сказать, что для него достаточно только видеть его из вагона, достаточно заметить, что он в куртке и над чем-то «гомозится», и потом забыть? Не видит он ничего больше, но думает о том, чего не видит, уже много, много. Разве мало он употребляет самых существенных усилий, чтобы обуздать эту «невидимку», хотя и не имеет с ней никаких непосредственных *отношений?*

Точно так же и у нас, во всем нашем обществе, «народ» стал уже предметом серьезного внимания; немало и у нас размышляют об обуздании, но еще более, и во всем почти пореформенном поколении, относительно народа уже живут исключительно симпатичные о нем мысли. В личных ежедневных наших отношениях к народу, в каких бы положениях он с нами ни сталкивался, мы не можем уже не относиться к нему иначе, как «к человеку», чего решительно могло не быть лет сорок тому назад, и притом в среде так называемого «избранного» общества, то есть людей высшей интеллигенции.

Те же рассказы И. А. Гончарова о «Слугах» доказывают это как нельзя лучше. В предисловии к ним почтенный автор, сделав искреннее признание о том, что он не имел к народу *никаких отношений,* с тою же искренностию сообщает, что не раз ему приходилось за это слышать упреки: «Зачем не шел в народ, не искал случая сблизиться, узнать, изучить его? Эпикуреизм, чопорность, любовь к комфорту мешали?» «Упрекая меня в неведении

народа и *мнимом к нему равнодушии,* замечают в противоположность к этому, что я немало потратил красок на изображение дворовых людей, слуг. Это правда. На это бы прежде всего можно было заметить, что *слуги, дворовые люди, особенно прежние крепостные, тоже «народ», тоже принадлежат к меньшей братии».*[1] И, следовательно, будучи внимателен к этим представителям народа, автор снимает с себя обвинение *в мнимом к нему равнодушии.* Все это высказывается, повторяем, без всякой утайки, но посмотрите, какая непомерная разница в этом *неравнодушии* по отношению к народу, к меньшей братии, в недавнем прошлом и в настоящее время.

— *Тебе цены нет!* знаешь ли ты, Матвей? — так в конце долголетней совместной жизни говорит «барин» своему слуге, характеризуя ему же его личные качества.

В числе портретов «слуг» портрет Матвея сосредоточивает на себе все симпатии автора. Чем же он так хорош, что, воротясь из кругосветного плавания и найдя Матвея в том самом виде, в каком он был раньше, «барин его не мог не высказать ему самого искреннего о нем мнения», слагавшегося в течение долголетнего опыта совместной жизни? А вот чем:

«Я жил (при Матвее) точно семейный; безопасно, уютно, не заботясь о целости своего гнезда и добра, и благословлял случай, пославший мне такого друга-слугу. Да, друга, потому что в нем обнаруживались признаки хотя рабской, то есть лакейской, оставшейся от крепостного права, но *живой преданности ко мне* и *к моим* интересам, материальным, разумеется. Внимание его *ко мне,* заботливость о моем спокойствии и добре, его *неподкупная честность* (он, несмотря *на жадность* (?), не продал бы меня ни за какие миллионы), потом его трезвость и аккуратность, все это если не привязывало меня к нему, то заставило дорожить им. Потеряй *я его* — он был бы незаменим».

Словом, Матвей был по отношению к барину образцовый слуга. Ни одной барской копейки он не утаил и точностью и аккуратностью изумлял самого барина и выводил его из терпения. Таков Матвей был *для барина,* за что и получил от него искреннейшее приветствие:

---

[1] Стр. 175.

— Тебе *цены нет!* Знаешь ли ты, Матвей?

Но каков был Матвей сам по себе? Каковы были его *личные* качества и что он вообще был за человек? Теперь для нас эти вопросы о человеке самого простого положения имеют обоюдно важное друг для друга значение, а тогда как было в этом отношении? Матвей был крепостной человек, и чтобы выкупиться на волю, постоянно копил деньги. Для этого он почти ничего не ел, кроме селедки, и не пил ни капли вина, хотя однажды, на праздник пасхи, *объелся* положительно *до полусмерти.* Еще задолго до пасхи он мечтал «запечь» окорочок. «У него даже глаза блестели и явилась смачная улыбка. Он почти облизывался. Чуть румянец не заиграл на щеках. Потом он внезапно принял свой *мертвый вид*». У него был всегда мертвый вид, так как он почти постоянно голодал, копя каждую копейку. Но в известные моменты Матвей объедался ужасно, до того, что, по случаю одного такого обжорного дня, барин чуть было не лишился этого примерного слуги, почему и подробно рассказывает хлопоты с излечением слуги от последствий этого обжорства. В обыкновенное же время Матвей почти буквально ничего не ел, а все копил деньги на выкуп. Надобно было ему накопить семьсот рублей. «Где же накопить такую большую сумму? — спросил его барин. — Из жалования трудно!»

«— Процентами! — тихо, почти с лукавой улыбкой, сказал он... — В долг деньги берут и хорошие проценты платят! — Это (ростовщичество) не грех, барин! И наш ксендз (я исповедался ему) сказал: «Ничего, говорит, если не жмешь очень! Только на церковь не жалей!» Я что ж? только два процента беру в месяц и вперед вычитаю только половину». [1]

«Я *забыл сказать,* что у Матвея была *целая* кладовая разнообразных предметов, например шуб, женских платьев, офицерских пальто, лисьих салопов, бархатных мантилий, развешанных по стенам его комнаты и по коридору, тщательно прикрытых простынями, частью лежащих на полках, иногда на полу. То английское седло высовывается из-под кровати, то пара пистолетов висят на гвоздях. Золотые и серебряные вещи он хранил, кажется, в моих шкафах с платьем и посудой».

---

[1] Стр. 251—254.

Разговор о ростовщичестве между барином и слугой начался в видах опасения барина, чтобы его самого не приняли за ростовщика, но кончился тем, что Матвей мог беспрепятственно продолжать свое дело: «Я махнул ему рукой, чтобы шел вон». На этом разговор и кончился. Прожив весь свой век впроголодь и в постоянном напряжении мысли нажить копейку, Матвей уже по возвращении барина из кругосветного путешествия, прослужив ему несколько лет, задумывает жениться.

«— Ты? жениться хочешь? Неправда! — сказал барин, встав в изумлении с кресел, и *закатился* хохотом.

— Правда, барин, правда! — заторопился он и будто застыдился.

— Ты, семейный человек, с женой? с детьми? — И он опять захохотал.

— Бог с ними, барин, с детьми! Какие, барин, дети? Стану ли я таким пустым делом заниматься? Это баловство, тьфу!

Он пошел, плюнул в угол, и воротился.

— Она почти старушонка! — прибавил он.

— Тебе-то что за охота связать себя?

— У ней деньги есть, — шопотом говорил он, — говорят, за тысячу будет, и больше, две может быть... Она знает, что и у меня тоже есть. Будем вместе дела делать... Снимем большую квартиру, кухмистерскую откроем... Залу снимем, отдавать под свадьбы... Как наживемся, страсть!.. Вот, барин, без хозяйки этих делов нельзя делать!» [1]

Таким образом, жадность к копейке, к наживе, составляла основную черту всей нравственной жизни Матвея. Ко всем окружающим, кроме барина, у него нет иного отношения, как из-за копейки.

Но это еще не всё.

Кроме мысли когда-нибудь объесться до отвала, до полусмерти, которая вызывала на мертвом лице Матвея даже румянец, было еще одно обстоятельство, которое также «вызывало *жизнь* в мертвенно бледном слуге». «Это — *ловля воров и расправа с ними. Никогда,* ни в каком охотнике, ни прежде, ни после, мне не случалось замечать такой лихорадочной страстности к погоне за

---

[1] Стр. 235—253.

самой интересной дичью, как у Матвея за ловлей воров *и, главное, за битьем их.* Не раз он, *сияющий, блещущий жизнью, как бы внезапно расцветший цветок* (!), доносил мне, что в доме, иногда по соседству, поймали где-нибудь на чердаке, в подвале, или застали в квартире, в лавке, вора». Когда барин сказал ему раз, что воры могли украсть у него деньги, Матвей ответил: «Куда ворам! Я бы изловил их... и вот как! — Он показал руками, каким бы манером он *истерзал* вора». В рассказе приведено несколько сцен ловли воров, когда этот мертвенный человек *расцветал, как цветок,* и сияющий, *блещущий жизнью,* передавал барину свои радостные впечатления, испытанные им при истерзании ненавистных ему людей, но я не буду передавать их здесь, так как все это до чрезвычайности отвратительно, да и того, что уже приведено выше, весьма достаточно, чтобы отношения Матвея к барину и к «не барину» вообще были совершенно ясны.

Ясны также из вышеприведенного и отношения барина к слуге, который есть тот же народ. При всей мерзости запустения в совести Матвея, его намек уйти, расстаться с барином, возбуждает в последнем искреннее горе.

«— Ты хочешь покинуть меня? — почти горестно воскликнул я.

Я вздохнул.

— Что же делать, простимся! — сказал я.

— Я вам другого поставлю, барин, такого же!

— Нет, Матвей, такого мне не найти!» [1]

3

Спрашиваю теперь, кто из всех, буквально всех, живущих на Руси в настоящее время, не исключая даже тех, кто проповедует пользу восстановления розог, кто с такою *неподдельною* искренностью может смотреть на простого человека так, как это было возможно сорок, пятьдесят лет назад, то есть разделять в этом человеке его личную нечисть и грязь от качеств, проявляемых только в положении слуги? Может ли кто-нибудь, зная Матвея в нераздельном виде, сказать про него: «тебе цены нет»? Нет,

---

[1] Стр. 248—262.

не думаю. В настоящее время буквально всякий российский обыватель привык уже ценить людей, хоть еще и в малой степени, единственно по их человеческому достоинству. Человеческое существо, виляющее хвостом пред барином, наживающее деньги с заимодавцев и неистовствующее над всяким, кто также хочет взять чужое, только на иной манер, эта фигура не может вызвать никакого и ни в ком умиления, если бы в нем и сохранились все качества «верного пса». Между барином и лакеем, как между *людьми,* не было *никаких отношений*; теперь они несомненно существуют и обязательны в самых обыденных отношениях барина и мужика.

Табачник, который носит вам самодельные папиросы, по мере продолжительности вашего с ним знакомства, *не может* не оставаться для вас только обликом человеческим, носящим наименование *табачника.* Писать с него только *портрет* невозможно уже современному писателю. Будет минута, когда табачник, получив деньги за тысячу папирос, не уйдет, как обыкновенно, домой, неизвестно куда, а *осмелится* (он сам чувствует, что это как будто и можно уже сделать), попросит прислугу сказать, что он хочет повидаться с вами и сказать два слова.

— Извините, сделайте милость! Побеспокоил я вас... Я хотел книжечки какой попросить... Работу кончаем в девять часов, делать нечего. Очень бы хотелось почитать!

Этот вопрос, со стороны ли лакея или дворника, горничной, кухарки и вообще со стороны всякого простого человека, российский обыватель всякого звания непременно должен услышать сегодня или завтра от своего меньшого брата, и как бы он ни старался устранить себя от такой «неожиданной» близости отношений, ему уже нельзя сделать этого. Волей-неволей он уже чувствует, что *обязан,* — просто даже из *приличия,* — обратить внимание на его желание, обязан подумать: «что бы такое дать ему почитать?» и не может не перерыть всего количества книг, находящихся у него под руками, не может не передумать о том, что ему подойдет, будет полезно и что нет. А когда табачник, прочитав книгу, вздумает с вами поделиться впечатлениями и попробует пересказать содержание, разве вы откажете ему? И если он что-нибудь переврет или не так поймет, позволите ли вы себе «расхохотаться» над его глупостью, как бесцеремонно мог

делать старый барин? (рассказ «Валентин»). Конечно, нет, и, засмеявшись, не оставите ошибки без разъяснения.

И, таким образом, если бы вы начали ваши более близкие отношения хотя бы и с неохотой, сложность жизни и уже проникшая в ваше сознание необходимость внимания к «меньшому брату» заставит вас все более и более осложнять эту случайную близость отношений. Табачник, видя и в вас не барина, а человека, непременно ощутит надобность поговорить с вами впоследствии и о податях, о заработной плате, о своем семейном положении и, против вашей воли, осложнит ваши личные мысли о личном деле мыслями, и немалыми, о «меньшом брате». Если бы случайность вдруг унесла куда-нибудь с ваших глаз этого табачника и прервала бы между вами «всякие сношения», то и тогда ваши человеческие отношения вообще все-таки останутся не такими узкими, как были прежде, и невольно принятая забота о меньшом брате никогда уже не иссякнет из сознания, раз оно приняло ее. Наше сознание приняло эту заботу о народе; уже она составляет почти вопрос личной жизни всего, что, в прошлом поколении, было чисто совестию и впечатлительно. . .»

Я опускаю множество страниц, посвященных исключительно опять тому же нытью и омрачению того более или менее светлого впечатления, которого коснулся автор в приведенных выше отрывках.

X. КАК РУКОЙ СНЯЛО![1]

(Из текущей жизни)

1

В первые годы переселенческого движения, когда оно не могло еще быть предметом внимания правительства, как это мы видим теперь, затруднения, испытываемые

[1] Года два назад в газетах было сообщено как «слух», что в связи с преобразованием уездных управлений решено приступить к преобразованию и сельских. Перечислив дела, остающиеся в ве-

переселенцами, были поистине неисчислимы. Люди наживы первыми воспользовались этими толпами ищущих счастья в чужой стороне людей, чтобы взять с них все те рубли и копейки, которые составляли все их достояние.

Один из пароходчиков, приняв на пароход огромнейшую партию переселенцев, едва вмещавшуюся на пароходе, обязал их, кроме того, брать съестные припасы непременно у него же, на пароходе; с этою целью он не позволял переселенцам покупать на пристанях, и если были дрова на пароходе, то шел мимо пристаней; если же надобно было остановиться и нельзя было удержать народ от дешевой покупки продуктов, тогда он наверстывал свои убытки тем, что шел медленным ходом, так, чтобы дешево купленной провизии все-таки нехватило переселенцам до следующей пристани и чтобы опять-таки они вынуждены были брать продукты у него же, по самым высоким ценам. Теснота, нечистота, продолжительные голодовки, все это развило между переселенцами всевозможного рода болезни. Пароход, пристав, наконец, к г. Т<омску>, привез больше десятка трупов мужиков, баб и детей и целые сотни нищих, проевших в дороге все свое достояние и распродавших уже на пристанях все свои пожитки.

Общество г. Т<омска>, конечно, не могло и подозревать, что на его, так сказать, шею идет огромнейшая, совершенно чуждая ему забота. У общества и без того было много своих домашних дел. Семья, «хлеб», служба, а то и романчик, и винт, и кутеж, и клуб, и сплетня, и «скандал». Канцелярская маята, как дело механическое, мастеровщинское, не особенно осложняла интересы личной жизни. Скука, как известно, даже весьма приметная черта в общем «времяпрепровождении» губернского общества. Так вот, в такую-то среду людей, скучно маячивших жизнь изо дня в день, незаметно вторглось большое, совершенно

дении сельского схода, корреспондент сообщает, что, за исключением этих дел, «все прочие дела будут *изъяты* из ведения сельских сходов и составят предмет заботы административных властей». Довольно своеобразное определение сущности преобразования, как «изъятие» из ведения обществ «всех прочих дел и забот», — привело мне на память, из виденного и читанного, несколько таких фактов из текущей действительности, в которых эти изъятия имели уже видимые последствия. Кое-что из виденного и читанного пересказано в настоящей заметке.

незнакомое ему дело. Когда пронесся слух, что на берегу реки происходит между прибывшими переселенцами что-то недоброе, в обществе возбуждено было только любопытство. Явилась возможность поехать «посмотреть», хоть бы только для того, чтобы прокатиться. Огромное большинство зрителей, несмотря на ужасы, которые были перед его глазами, так и не додумалось бы до какого-нибудь дела в пользу несчастных, если бы в числе глазеющей толпы не было, по обыкновению, частицы того меньшинства с чутким сердцем, которое тотчас же, не задумываясь, откликается на чужое горе. Звякнул пятак в чей-то рваный картуз, и одно то уже, что пятак звякнул о другой пятак, который, очевидно, был положен в шапку тихо и незаметно, дало зрителям возможность понять, что кто-то хочет помочь бедным, и у каждого явилась потребность вспомнить и о собственном кошельке. Быстро стали звякать не только пятаки, а уже и двугривенные, а еще немного спустя зашуршали в шапках и бумажки. Порыв — помочь несчастным — не кончился этими случайными пожертвованиями, но с каждым часом выяснялся обществу, как прямая его обязанность.

В широких размерах начались сборы пожертвований; жертвовали все и всем, кто что мог, — деньгами, вещами, продуктами; учитель, музыкант, булочник, сапожник, словом, всякий обыватель, которого забирала за живое необходимость помощи несчастным, считал, что ему нельзя не присоединиться к общему делу, и отдавал ему все что мог; сапожник жертвовал сапоги, булочник вез в комитет целый воз всякого рода своих продуктов, учитель устраивал публичные лекции, музыкант и певец устраивали концерты, литературные и музыкальные вечера. Даже праздные дамы, и те устраивали вечера танцевальные не иначе, как в тех же целях — помощи несчастным переселенцам. Звук пятака о пятак скоро преобразовался в переселенческий комитет, со множеством членов жертвователей и деятелей, и вся эта масса людей, захваченная случайным, неожиданным делом, затронувшим в ней долго не тревожимую жизнью потребность любви к ближнему, стала проявлять себя все в большем и большем обременении собственных своих плеч, все большим и большим количеством забот и «прочих дел», вытекавших из скромного вначале желания — помочь чем-нибудь переселенцу.

Мало того, что все трупы были похоронены, а больные помещены в больницы, были одеты раздетые, накормлены голодные, но для приюта и пристанища бесприютных людей были с поразительной быстротой выстроены обширные бараки. Изманвающая суета сует обыденной городской жизни для огромного количества обывателей потерялась, пропала, исчезла в их сознании, а постороннее, чуждое личным интересам дело стало для многих и многих именно *«предметом* личной *заботы»*. Дело разрасталось, но всякий искренний деятель не мог не видеть, что делается «мало», ничтожно сравнительно с тем, что надо бы делать, что переселенческое дело огромно, что оно дело государственное, и что, вследствие этого, необходима капитальная помощь из Петербурга, необходима основательная постановка дела. Искренние печальники вопияли об этом во всех тех местах, откуда могут дойти до Петербурга вести о трудном и важном деле переселения и о беспомощном положении переселенцев. Не дремала в изображении горькой действительности переселенческого дела как местная, сибирская, так и великороссийская, столичная пресса. И из всех этих усилий и содействий, наконец, вышло и дело.

«Приехал новый чиновник!»

2

Весть эта, как благодатный дождь, оросила и освежила все сердца, истинно истомившиеся в трудной работе организации помощи переселенцам. Все искренние работники и старатели о «несчастненьких» были глубоко рады, что, наконец, дело это признано «серьезным», важным, и что теперь оно будет поставлено так, как должно. Искренняя радость искренних деятелей распространилась и на всех сотрудников и сотоварищей их. Все вздохнули свободно, радуясь, что «теперь все пойдет хорошо».

Марья Ивановна, которая еще вчера не знала минуты покоя и не давала покоя никому из своих знакомых и даже незнакомых городских обывателей, неумолимо теребя их и выматывая из них пожертвования для переселенцев, услыхав о приезде нового чиновника и искренно

этому обрадовавшись, нашла, наконец, возможным удовлетворить давнишние просьбы своей приятельницы, пойти вместе на бульвар и послушать музыку. Приезд чиновника, снявший с ее совести (*изъявший из ведения*) скорбь о том, что она хоть и бьется для переселенцев, но все-таки этого мало, дал ей возможность с истинным удовольствием провести этот вечер. Уж и нахохотались же они с приятельницей и с другими знакомыми! Да и музыка была просто прелесть!

На другой день они тоже пошли на музыку: теперь *там* есть!

И Семен Петрович тоже был истинно рад, что дело стало на «твердую почву». Облегчение нравственной тяготы дало ему возможность вспомнить, что он давным-давно уже не играл в винт, который он так любит.

— Слава богу! — говорил он, торопливо одеваясь, — теперь дело стало твердо! — И затем стремительно умчался в клуб, жадно отдался любимой игре и чувствовал, что давно, давно он так хорошо не проводил время.

Даже Марья Кирилловна обрадовалась приезду чиновника. Все время ее муж решительно не давал ей возможности разыграть с ним «хорошую», обстоятельную сцену ревности, этак часов до пяти утра. Целые дни он суетился и бегал по переселенческим делам, да и она, Марья Кирилловна, также должна была бегать, во-первых, для того, чтобы подкараyливать мужа, а во-вторых, потому, что ведь все порядочные дамы также бегают. Но приехал чиновник, и Марья Кирилловна вздохнула от истинного удовольствия.

«Ну, теперь слава богу! — подумала она, — кончилось!»

Да и было на чем расправить свой «темперамент». Муж также с радостью, что дело стало *«на твердую почву»*, всю ночь не был дома, всю ночь кутил с приятелями и даже в семь часов утра был у Захарьиных и пил с женой Захарьина чай. Пил чай *с ней!* .. Этого было довольно!

— Слава богу! Приехал новый чиновник!

Таким образом, «умирание» чувства долга к ближнему началось в обществе с момента радостного сознания, что дело это приняло *хороший оборот*. Все были этим довольны, но сознание того, что это уже «не мое», а чье-то чужое дело, дело, которое куда-то «отошло от меня»,

понемногу стало устранять из жизни каждого деятеля потребность личного соприкосновения с этим делом.

«Со ступеньки на ступеньку», «помалу, по полсаженки», забота о чужом горе понемножку стала забываться обществом, стала выходить из обихода его личной жизни. Толпа рваных, голодных переселенцев, таких же самых, которые до приезда чиновника возбуждали сострадание и обязанность помочь, теперь заставляла только радоваться, что есть уже по этому делу новый чиновник, и тщательно указать к нему дорогу.

— Батюшки! Отцы наши! Помогите сиротам! — как и прежде, слышалось под окнами. Но теперь обыватель не считал себя обязанным расспросить переселенца о том, откуда он, куда идет, какие у него средства, — как это он считал необходимым для себя сделать два месяца тому назад; теперь он (но все-таки еще с искренним сочувствием к несчастному) лишь подробно объясняет ему только одно, — как найти нового чиновника.

— Иди, друг любезный, прямо вот по этой улице... Видишь церковь? Желтая? Так пройди ты церковь и поверни направо и потом опять поверни налево, ну, а там спросишь! *Он тебе все сделает!*

А еще миновало несколько недель и месяцев, и стали слышаться уже и такие разговоры:

— Батюшки, отцы наши! Помогите!..

— Переселенцы?

— Переселенцы, отцы наши, родимые!

— Идите к чиновнику! К чиновнику идите!

— Да где ж он, батюшка, этот чиновник-то будет?

— Спроси у городового!

В конце концов одно из тех *«прочих дел»*, которое было «изъято» из мирского ведения и сделалось *заботой* не общества, а специально назначенного лица, «как рукой сняло» с общественной совести и, конечно, умалило размеры общественной деятельности.

3

Сказать, что это могло произойти вообще от нашего равнодушия к общественным делам, нельзя. Нет, вот хоть бы в гор. Томске, где *все* переселенческое дело теперь лежит на *одном* лице, и где общество ни в чем ему не содей-

ствует (да и не может содействовать, так как *чиновник* не может принимать пожертвований), существует «Общество попечения о начальном образовании в г. Томске». Дела этого Общества всецело, всею тяжестию лежат на общественных плечах, не вверены никакому специально назначенному лицу, не изъяты из *всех прочих забот* томских граждан, и что же? деятельность членов этого Общества как нельзя лучше доказывает, что об апатии общественной не может быть и речи. Деятельность этого Общества изображена в отчете в таких подразделениях: 1) *Теплое платье и плата за право учения.* Из 315 просивших того и другого, выдано пособие 300, из которых 135 — круглые сироты. 2) *Сверхштатные учителя и учреждение своих школ.* В 1888 году таких *своих* школ было в Томске 13, с 1383 учащимися обоего пола (почти поровну). 3) *Публичные воскресные чтения и вечерние повторительные классы.* Число слушателей доходит до 500 человек. 4) *Профессиональное образование.* Открыты: женская рукодельная школа, женская кулинарная школа и воскресная школа «технического рисования». 5) *Народная бесплатная библиотека.* В 1887 году в ней было 2381 названий сочинений и 796 подписчиков. *Расход* на все это в 1882 году, при начале деятельности Общества, был 664 р.; в настоящее время (в 1887 г.) он вырос до 8361 руб. В приходе в 1882 году было 3676 р., а в 1887 году — 12 456 руб. Вся деятельность, весь ее приход и расход держится исключительно на добровольных пожертвованиях людей, сочувствующих делу и считающих его в числе своих личных нравственных обязанностей. При начале своей деятельности Общество заявило, что оно «открывает прием пожертвований *всевозможными вещами,* имеющими какую-нибудь ценность, начиная *с полкопейки»* (?). И кто только и чем только не жертвовал на это дело! Рабочая артель в 1883 году пожертвовала 6 р. 25 к. В реестре пожертвований находятся: верблюжья и овечья шерсть, грифельные доски, картины, мебель, дверные петли, лайковые перчатки, кресты, пуговицы, готовое платье, книги, материалы для платья. А затем идут пожертвования сотнями, тысячами, а в 1887 году почетный гражданин г. Томска жертвует Обществу каменный двухэтажный дом, приспособленный для помещения

библиотеки, народного театра и публичных чтений (Отчет, 1887. Томск).

Читатель видит из этого, самого микроскопического, пересказа «очерка деятельности Общества», что общество, ощутив в личном обиходе своей жизни нравственную потребность в известном общественном деле, не задумывается тотчас же приступить к осуществлению этого дела собственными средствами и не чувствует тяготы добровольно взятого им на себя бремени.[1] Но что было бы, если бы и забота о библиотеке, о пособиях платьем и платой за учение, о школах, о специальных училищах, о воскресных и повторительных курсах и т. д. была бы снята (изъята из ведения) с плеч общества, сделалась бы *предметом заботы* (и, конечно, ответственности) особо назначенных лиц, располагающих определенными суммами на поддержание всего, что устроено на общественные пожертвования? Не было ли бы это, якобы «упорядочение дела», опять же ослаблением нравственной жизни добровольных радетелей общества, не было ли бы это убытком в развитии и распространении в обществе гуманных идей и отношений?

Освобожденный от сознания сложности своих общественных обязанностей, обыватель забывает понемногу трудность того дела, которое лежало на его плечах, и привыкает только критиковать действия того лица, которое

---

[1] Пример деревенского «общественного» дела: «Из *Покровского* уезда Владимирской губернии пишут, что за недостатком школ здесь стали открываться временные, передвижные школы, только на зиму. В деревне Губинской обосновался захожий грамотей Иван Никитин (из Богородского уезда) и открыл временную школу грамотности. Крестьянин Гордей Епифанский, *сочувствуя делу грамотности,* предоставил в распоряжение заезжего педагога только что отстроенную им, после пожара, светлую, просторную избу, *а сам живет в чужом углу.* За две недели, как началось учение грамоте в избе Епифанского, сюда набралось уже до двух десятков детей. Значит, в школе есть *надобность. Раньше* в Губинской, *года за два,* также организовал школу заезжий педагог Карташев. Продолбив здесь зиму с детьми буквари и часослов, он на лето, «согласно божьей заповеди», обрабатывал землю, а на следующую зиму перекочевал в соседнее селение Язвищи. И здесь Карташев со своею передвижною школою пробыл только зиму. *Как ни упрашивали жители педагога остаться* для дальнейшего обучения детей, он отказался: «Будет с вас и этого! — сказал он — теперь сами старайтесь, коли уразумели пользу учения». («Нов<ое> вр<емя>»).

теперь этим делом заведует. И действительно, нельзя не пожалеть о положении этого «особо назначенного лица». Лицо теперь *одно* должно делать массу всякого рода дела: расспросить и разузнать во всех отношениях положение каждого из двадцати тысяч переселенцев, которые осаждают его по указанию его места жительства обывателями. Он *один* должен заботиться об их одежде, пище, здоровье; он один должен заботиться о том, чтобы устроить переселенца в путь, не дать его обмануть барышникам при покупке лошади, телеги; помочь ему деньгами, списаться с его российскими родными, с местными властями, взыскать с отставного солдата Емельянова, проживающего в Обояни, рубль серебром, который тот взял и не отдал; он должен озаботиться нарезкой каждому из двадцати тысяч человек участка, должен удостовериться, удобен он или нет, должен вести огромную переписку с обществами, откуда выходят люди на переселения, переписываться с местными по крестьянским делам учреждениями, с Петербургом, министерством, должен писать целые диссертации, доказывающие, что кроме выданных пяти тысяч необходимо выдать еще хоть тысячу рублей, так как наплыв народа, не имеющего где приклонить голову, возрастает с каждым днем.

Спрашивается, может ли лицо, на плечи которого возложено большое общественное дело, исполнить его так, чтобы оно в самом деле было «делом» и чтобы не мучилась его собственная совесть?

4

Теперь посмотрим на последствия «облегчения» от мирских забот среди деревенских обывателей и приведем примеры из жизни как тех крестьянских обществ, которые уже пользуются правом взваливать свои грехи на чужие плечи, так и тех, которые все мирские тяготы всецело возлагают на самих себя.

Наилучшим образчиком таких обществ, которые, вследствие расстройства своих внутренних порядков, уже нуждаются в посторонней помощи, могут служить нам сообщения местной печати о народной жизни южнорусских губерний, так как нигде в других местностях России вся

сложность влияний, которые расстраивают трудовую жизнь, не достигла той остроты, как это мы видим на юге.

Малоземелие, недоимки, огромные арендные платы, все эти недуги нашего великороссийского крестьянина, тысячами идущего в переселение, все это ничто в сравнении с теми новоявленными недугами, которые разъедают жизнь южнорусских деревень. Кроме общих для всей страны земельных непорядков, нигде, как на юге, с такой смелостью не орудует господин Купон. Орудует он здесь в виде крупнейших землевладельческих хозяйств, со всеми механическими усовершенствованиями. Орудует он в виде огромнейших акционерных промышленных предприятий: каменноугольные и железные копи, табачные плантации, свеклосахарное производство. Купля, продажа, перевозка, все это идет на юге в огромнейших размерах, и все это дело «наживы» мало того что требует несметной массы рабочих рук, не может не стремиться и к тому, чтобы руки эти были только руки, которые бы брали то, что им дадут, и покорно бы опускались, когда им не дадут ничего.

Какая-то, прямо притеснительная по отношению к народным массам, мысль явно видна во всех отношениях Купона к крестьянину, к рабочему человеку. Припомним, что́ прочитано нами в газетах в самое последнее время: управление юго-западных железных дорог обращается с просьбою к трем архипастырям (одесскому, киевскому, литовскому) о том, чтобы они, чрез духовенство своих епархий, повлияли на народ в смысле внушения ему неуважения к праздничным дням; Купон жаловался, что мужики *ни за какие деньги* не идут по праздникам на работу, расчищать заносы, чтят бога больше Купона, а это уж совсем не по нынешним временам. Когда же архипастыри отказались ему содействовать, то Купон пожаловался в другие места, и мы читали в газетах, что требование Купона, кажется, осуществилось.

Но что говорить о таком «крупном» купонном деле, как общество юго-западных железных дорог. Самые микроскопические деятели купонного дела, и те тоже почему-то хлопочут только об «утеснении» рабочего человека. Недавно мы читали проект какого-то инженерика, который придумал так «урегулировать» это движение, чтобы рабочий обходился нанимателю дешевле пареной репы;

придумал нанимать их на местах отправления, то есть додумался до того же «способа», который давным-давно практикуется городскими скупщиками с едущими на городской базар крестьянами: они ловят крестьян за городом и скупают у них весь товар в тридешева, не давая, таким образом, доехать до базара и узнать настоящую цену. Спрашивается, зачем ему, инженерику-то, в рабочий вопрос соваться? Нет, суется. Да что инженерик!

В симферопольском окружном суде разбиралось дело *о сопротивлении властям* крестьян одной деревни, кажется Херсонского уезда. Крестьяне эти жили на весьма неудобном месте. Разлив реки с каждым годом все более и более заносил песком их луга, но этот же разлив давал им и хлеб: в их руках был перевоз с одного берега на другой; на лодках перевозили они людей и товары и успевали зарабатывать столько денег, что на них можно было содержать скот, покупая ему корм. Земство, видя, что этот перевоз дает хороший доход, и забыв уважение к принципу самоуправления деревни, отдало этот перевоз какому-то еврею-пароходчику. Неожиданно для крестьян на реке появился пароход, забрал пассажиров, товары и перевез все это «одним духом» к берегу той деревни, у крестьян которой был этот перевоз отнят. Крестьяне вышли всем обществом на берег; у всех были в руках длинные жерди, и с помощью этих жердей они вступили *в сопротивление*... пароходу. Сопротивление пароходу (или, как сказано в деле, «властям») было весьма успешно: пароходу нельзя было пристать к берегу, высадить пассажиров и выгрузить товар, и он должен был уйти назад, получив даже некоторые повреждения. Так вот за это-то сопротивление, конечно осложненное вмешательством и настоящих властей, крестьяне и были преданы суду, но суд их оправдал. А не виновато ли тут и земство в чем-нибудь?..

Вообще решительно *во всех* отношениях «старшего брата» к «меньшому брату» замечается постоянно как бы *косоглазие*. Косит глазами старший брат, косит он и на Купон и на меньшего брата, и поэтому потерял всякую возможность видеть дело меньшого брата в настоящем его виде. Надобно заметить, что Купон у него никогда и ни в чем не виновен, а меньшой брат, поставленный последним в безысходное положение, в лучшем случае ока-

зывается *невиновным* в своей погибели; но виновник этой погибели всегда прав и всегда неприкосновенен.

Чтобы видеть яснее, какова жизнь «меньшого» брата на юге, необходимо привести еще несколько примеров *косоглазия* (иногда, кажется, решительно умышленного). В вышеприведенном примере *косоглазие* не заметило того, что виновато *земство,* а вот в следующем случае оказывается также вполне невинным явно виновный заводовладелец. На одну из фабрик в Киеве явился наниматься в работники крестьянин, буквально великан и гигант; нужда привела его на фабрику, и поэтому, узнав, что денная плата дает только шестьдесят пять копеек, гигант задумал для скорейшей «поправки» взяться еще и за ночную, которая давала еще такую же плату. Безжалостный хозяин согласился на это предложение, то есть сообразил, что человеку нельзя не спать в течение трех месяцев (таков был договор), и что если бы гигант и выдержал эту муку, то суд ему не поверит, если он потребует с хозяина ночную плату, которой тот, очевидно, и не думал платить. Но гигант сдержал свое слово: в течение дня он только дремал, и то лишь в обеденный час, и это продолжалось три месяца. Через три месяца от него остались только кости да кожа; он исчах, ослаб, весь развалился, разбился вдребезги и, едва-едва, как дряхлый старик калека, передвигая ноги, добрался до суда, где ему пришлось взыскивать с хозяина за *ночную* работу. Ему присудили и за дневную и за ночную всего что-то около ста двадцати пяти рублей, а явное и возмутительное бесчеловечие хозяина осталось совершенно безнаказанным.

Или: киевское губернское по крестьянским делам присутствие разослало недавно инструкцию волостным правлениям, в которой указывает меры к прекращению в народе пьянства. Указав волостным старшинам и судьям и сельским старостам их права в этом деле, обязанности и ответственность, инструкция в 5-м параграфе[1] гласит так:

«В сельском быту закон предусмотрел особые виды пьянства и установил *особые наказания;* так, например, напивающиеся пьяными до окончания обедни в праздничные дни и являющиеся пьяными на сельский или волостной

[1] «Киевск<ое> слово».

сход *должны быть наказываемы арестом*; найденные на улице или в другом месте пьяными до беспамятства должны быть присуждаемы к общественным работам сроком на один день; бывающие более времени в году пьяными, чем трезвыми, *покупающие вино под залог одежды и прочей домашней утвари, а также под залог скота, земледельческих и др. необходимых орудий и полевых произведений, особенно еще не снятых и остающихся на корню, и, наконец, расстраивающие свое хозяйство по причине пьянства и сделавшиеся несостоятельными к платежу казенных податей и повинностей должны быть наказываемы розгами.* За неисполнение со стороны волостных и сельских должностных лиц правил... *в первый раз* подвергают виновных *штрафу деньгами, во второй раз аресту, в третий же раз* — удалению их от должности или *преданию суду*».

Издав эту инструкцию, крестьянское присутствие, очевидно, полагало, что оно разыскало и покарало всех виновных в пьянстве: и пьяниц и начальников над пьяницами; наказаны будут и те, кто пьет до обедни, и тот, кто валяется в канаве, и тот, кто разоряется: арест, общественные работы, телесное наказание; наказываются также и начальники: штраф, арест, увольнение, предание суду. Но почему же не сказано ни слова о том, как именно наказывается тот разоритель, тот хищник, который берет *под заклад одежду, скот, земледельческие орудия, домашнюю утварь, полевые произведения,* то есть почему не обращено никакого внимания на этого истинного разорителя народа, существенный интерес которого есть именно народное разорение и благодаря которому крестьянин приходит к невозможности платить подати и повинности?

Безнаказанными остаются и те микробы ростовщичества, которые, в особенном множестве, изъедают преимущественно в южнорусском крае городское и сельское население.

В газете «Волынь», издающейся в Житомире под редакцией духовного лица, мы читали раздирающую душу корреспонденцию сельского священника о кабале, в которой находится духовенство Волыни, попадая в руки ростовщиков с семинарской скамейки. Жалея родителей, но нуждаясь в необходимом, семинарист занимает у ростовщика рублей двадцать пять, дает вексель на сумму, пре-

вышающую действительный долг во много раз, обязуется при помощи уроков и какой-нибудь переписки уплачивать проценты и делает это в надежде окончательно *«расплатиться по получении прихода»*. Это отлично известно ростовщику, и так как урок и переписка не всегда помогают уплачивать даже проценты, то обыкновенно двадцатипятирублевый долг, при переписке векселей и приписке процентов, к окончанию курса семинаристом, вырастает в сотни рублей. Наконец, получается *приход*, «паства», причем происходит поистине потрясающее явление: одновременно с «пастырем стада» является в приход и ростовщик с векселем. Все это совершается на глазах паствы, которая не может не видеть, почему за свадьбы, похороны, крестины пастырь не может не брать больших денег.

Если мы припомним теперь хоть только то, что сказано выше, то не можем не видеть, что ничего гуманного, внимательного ниоткуда не идет в народную среду. Человек, который *ни за какие деньги не желает* идти на работу, будет работать тогда, когда это прикажут, и притом столько времени, сколько будет нужно, и также исключительно по чужому приказанию получит за свой труд то, что дадут. С другой стороны, деревенский человек, нуждающийся в работе и сам ищущий ее, только и видит, что его стараются захватить врасплох, напрягают усилия, чтобы воспользоваться только его силами и затем отпустить ни с чем. Все это он видит вне деревни, ища по белому свету куска хлеба, все насторожилось против него; все же, что находит он по части поддержки в расстройстве у себя дома, в своей деревне, все это исчерпывается исключительно разорительной помощью хищника, безнаказанно истощающего остатки его средств.

Не подлежит сомнению, что огромное количество южнорусского народа, отрываемое разрушительными влияниями от деревни и опять ими же возвращаемое в деревню обратно, но уже в истощенном виде, с огорченным и сердитым сердцем, ложится тяжким бременем на тех общественников, которые почему бы то ни было усидели на своих местах. Из этой изломанной толпы выходят массы неплательщиков, людей, не имеющих средств к жизни, требующих помощи, а иногда с угрозой или прямо силой добивающихся ее. Те, кто видит беду, снимаются

со старых мест в переселение: на Сахалин, в Сибирь, на Кавказ; те, кто остается, ограждают свою неприкосновенность теми же самыми способами, какими ограждает свою неприкосновенность и сам господин Купон.

5

В виду всего этого, в нашей когда-то тихой деревне, «с вишневыми садочками», могут в настоящее время быть возможными факты такого рода:

«В одной из моих прошлых корреспонденций [1] я отметил *все чаще и чаще* повторяющееся *выселение в Сибирь по приговорам сельских обществ.* Так, например, было в Михайловском обществе, где *единовременно было выслано тридцать человек.* Нечего и говорить, что подобные приговоры грешат зачастую многими несправедливостями, в чем, конечно, они разделяют вполне участь всех действий пресловутого крестьянского *самоуправления* (?), где зерцало заменяется ведром водки, этим оракулом голосистых самоуправников. Но тот факт, который я сообщу сейчас, превосходит границы всякого благоразумия и всякой справедливости и является яркою иллюстрациею к способам составления таких общественных приговоров. *По постановлению Белозерского крестьянского общества* Мелитопольского уезда *тринадцать крестьян присуждено к высылке в Сибирь, а до приведения в исполнение этого приговора, все они заключены под стражу в центральном симферопольском тюремном замке. Прибыв сюда, приговоренные к высылке подали* в губернское по крестьянским делам присутствие *жалобу,* в которой указывают, что для того, чтобы составилось *требуемое законом* большинство голосов на приговор о выселении, *были занесены в него имена умерших членов общества и даже самих выселяемых.* Далее, кажется, злоупотребление волостных заправил идти не может».

Факт этот мы считаем вполне достоверным, так как дня через два после обнародования его в «Московских ведом<остях>» в газете «Киевлянин» было сообщено, что местное по крестьянским делам присутствие предпи-

[1] Из Симферополя. «Моск<овские> вед<омости>».

сало волостным правлениям *не спешить* отправкою денег, платимых обществами за ссылаемых ими членов, а вносить их в уездные казначейства и, таким образом, дать крестьянскому присутствию время разобраться в той тьме-тём приговоров о ссылках зловредных общественников, которыми это присутствие завалено. [1] Таким образом,

[1] Вот как широко пользуется этим правом ссылки наш мужик над своим братом-мужиком. В десятилетие 1867—76 годов сослано в Сибирь вообще 151 585 ч., причем в З. Сибирь *по суду* сослано *семь тысяч*, административным порядком и, главным образом, по приговорам обществ 78 500 чел. В течение 7 лет (70—77) сослано вообще 114 370, из них адм. пор. — 63 443. Наконец, в 1880—1886 г. выслано 120 065 — адм. пор. 64 513 и по суду 55 552 ч. («Сиб<ирская> газ<ета>»). Об этом же праве крепостных владельцев (а теперь исключительно мужиков) мы читаем следующую цитату из Палласа, приводимую Н. М. Ядринцевым в его статье «Поездка по Западной Сибири и в Горном Алтайском округе в 1878 году». Описывая состав населения сибирских поселений, Паллас, между прочим, говорит: «Другое хуже обстоятельство, о котором нельзя умолчать, есть то, что в российских областях у дворян *в зачет рекрутов для населения Сибири* крестьяне *безотчетным образом* принимаемы бывают. Я слышал, что между ними есть больные, уроды, безумные, женатые, но кои уже долгое время в бесплодном супружестве жили, и много старых и сединами покрытых людей, кои размножению подобных себе людей вполне неспособны. Еще неизвинительнее есть сие, что многие состарившиеся отцы от их многолюдных семейств, даже и от их жен, бесчеловечными и корыстолюбивыми господами разлучены и в сии страны, исполненные печали и бедности, посланы. Многие сказывали со слезами свою печаль об их оставшихся детях, с коими бы они в Сибири были счастливейшими, нежели под иною какою властью, себя считали и благодарностью исполненным сердцем благословлять бы стали того, который бы их избавил от рабства» (стр. 21. «Записки Западносиб<ирского> отд<еления> имп<ераторского> рус<ского> геогр<афического> общ<ества>», кн. 2, Омск, 1880 г.). На 19-й стр. той же статьи сказано: «Окончательное создание тракта на Барабе, на протяжении 600 верст, выпало на долю тобольского губернатора Чичерина, который в четыре года населил степь помещичьими крестьянами, сосланными за развратное поведение в зачет рекрут». Выше мы видели, из каких людей развратного поведения состояли эти выброшенные помещиками люди. Все, что не нужно, убого, что лишний рот, — все вон, в Сибирь. Слабые старики разлучаются с сильными семьями, выбрасываются семьи, от которых нет «приплода», а также старики и старухи; все же сильное, молодое остается во власти помещика «для хозяйства». Каким ужасом веет от этой крепостной старины! А вот та же, еще более возмутительная, ссылка крестьян крестьянами, практикующаяся в настоящее время, и не только не убавляющаяся, но возрастающая постоянно (*все чаще и чаще*), почему-то не воспрещена до сих пор.

оказывается, что с приговорами о ссылке в Сибирь приходится иметь дело *одновременно* двум губернским присутствиям по крестьянским делам — симферопольскому и киевскому, разъединенным значительным одно от другого расстоянием, причем известия об этих приговорах появляются в газетах почти в один и тот же день или не более как в течение двух дней. Прискорбнейшее явление в народной жизни — очевидно, дело вовсе не случайное, и г. корреспондент «Моск<овских> вед<омостей>» говорит совершенную правду, указывая на то, что такие явления начинают проявляться в деревнях *все чаще и чаще.*

Но едва ли прав тот же г. корреспондент, говоря, что этот ужасный факт иллюстрирует участь *всех действий пресловутого крестьянского самоуправления.* Нет, этот факт никоим образом не может вытекать из *само*-управления; *само*-управляющиеся общины никогда не додумались бы до такого легкого решения вопросов общественной жизни деревни; никогда мысль выбросить вон из своей среды человеческое существо, чтобы не думать об его судьбе, никогда бы она не пришла в голову ни единому общественнику, ибо каждый обыватель в общественных делах судит о своем соседе, ставя всегда самого себя в его положение; а ведь никто бы не пожелал, находясь в крайнем затруднении, предложить сослать на поселение самого себя. Не будь этого *облегчающего* мирскую *заботу* права сваливать общественную обязанность на чужие плечи, мир, сельское общество, должны бы были волей-неволей *думать* об иных мерах к устройству расстроившихся в хозяйстве односельчан. Стали бы миряне ходатайствовать о прирезках, додумались бы до казенного кредита, пошли бы с печалями в земство, к начальству, послали бы ходоков с прошениями в «высшие места» и всегда ясно выражали бы свои требования, то есть то, что нужно для них, чтобы деревенская жизнь была не маята, а жизнь. Все это пережито народными массами во всех подробностях, но какие бы приемы ни изобретали эти массы и их «ходатаи», никогда в них *самовольно* не могло родиться даже и тени мысли, чтобы просить и ходатайствовать о праве удалять обременяющих общество излишними заботами членов сначала в тюрьму, а потом в Сибирь. Это право не исходатайствовано самоуправле-

ниями деревень, оно дано им со стороны и наконец-таки привилось и въелось в народную совесть. Вот *один только* пример облегчения народной совести от *«всех прочих дел»,* пример *изъятия* общественных забот *«из ведения»* общества и возложения их на чужие плечи, то есть превращения забот общественных в *предмет забот* посторонних деревне деятелей, но я уверен, что читатель и теперь, после одного только факта «облегчения», уже невесело чувствует себя.

6

Совершенно иное впечатление производит русская деревня, находящая смысл как личной своей жизни, так и жизни общественной единственно только в «мирских делах и заботах».

В корреспонденции из Обояни[1] между прочим находим следующий факт, по особенным причинам свойственный именно этому уголку Курской губернии.

«Беглецов из Сибири,[2] успевших перейти ее границу, по большей части ловят в пограничных губерниях, Пермской, Оренбургской и друг<их>. Если беглец из Восточной Сибири, то он на вопросы полиции заявляет себя бродягой, не помнящим родства, и тогда его отсылают обыкновенно на поселение в Омскую или Тобольскую губернию. Таким образом, беглец хитростью приобретает лишний шанс на вторичный побег, так как уже достиг того, что переселился из Восточной в Западную Сибирь. Но что интереснее всего, это то, что *бóльшая часть заявляют себя уроженцами Обоянского уезда; их, конечно, отправляют в обоянскую тюрьму, что им и нужно.* Здешняя тюрьма переполнена подобными беглецами, и пока идет следствие, они здесь благодушествуют. *Причина этого следующая. По всей России нет лучше тюрьмы по материальным условиям и по массе подаяний. Все приле-*

---

[1] «Курский листок».

[2] Огромное большинство этих беглецов — всё те же сосланные по общественным приговорам. Если общества великорусские могут их изгнать, то и общества сибирские, куда их навязывают насильно, также не задумываются составлять подобные же приговоры. И вот по Сибири и по России снуют тысячи темного и бесприютного народа.

гающие к Обояни деревни населены староверами; весь уезд, да и сам город переполнены также староверами. Последние, люди всё зажиточные, особенно как-то симпатично относятся к беглецам из Сибири. Раскольники грудами доставляют арестантам мясо, птицу, рыбу, а белый хлеб в таком изобилии, что его не поедают, и служители делают из него сухари и отсылают на базар.

«Вот для примера меню обеда. В *скоромный* день: щи с говядиной, пироги, каша с салом, жареный гусь или куры. В *постный:* щи с грибами, пироги, рыба, картофель, капуста, — кто чего желает. Чай, сахар, все это в огромном количестве доставляется в тюрьму старообрядцами. Вот почему обоянская тюрьма в особенности так переполнена беглыми».

Мне, конечно, возразят, что этот пример, взятый из такой замкнутой среды, какова среда раскола, не может быть примером для наших православных деревень, прежде всего вследствие коренного между ними различия, именно религиозной розни. Но достаточно побыть на одном только собеседовании православных миссионеров с старообрядцами, чтобы вполне ясно увидеть, как слабы орудия обороны старообрядческих начетчиков против их православных обличителей, и что, следовательно, религиозную рознь раскольников и православных вовсе не следует смешивать с *бытовыми* порядками русского крестьянства, сохранившегося в наиболее самобытных формах; сочувствуя этим *бытовым порядкам,* нет надобности смешивать их с религиозными заблуждениями среды, где порядки эти сохранились. Если разоренная деревенька Неелово или Горелово, под влиянием *лже*учения какого-нибудь безграмотного *лже*учителя, стала вдруг собираться с силами, поправляться, перестала пьянствовать, прекратила семейную бойню и пошла вообще к настоящему благосостоянию, то, интересуясь именно изменением взаимных отношений сельчан и обновленным строем их трудовой жизни, нет никакой надобности симпатизировать и восхвалять ни *лже*учения, ни *лже*учителя, или негодовать на то, что вчерашние «неплательщики», став порядочными крестьянами, присвоили себе некрасивое наименование «шалапутов» или еще хуже — «дыропёков». Но вполне признавая, что учение дыропёков есть *лже*учение и что «неплательщики» преобразились от влияния *лже*учителя,

нельзя же, глядя на небывалое прежде огромное стадо скота, не придавать этому никакой цены и смотреть на него как на *лже*стадо, а на огромный табун лошадей как на *лже*табун, на внимание к ближнему как на *лже*внимание.

Таким образом, беспристрастное суждение о том, что́ в расколе бело и что́ в нем черно, и справедливое разделение одного от другого дает читателю полное основание обсудить и приведенные выше в корреспонденции из Обояни факты также только с точки зрения бытовых, экономических особенностей раскольничьей общины, и тогда окажется поистине непомерная разница в чистоте совести людей, «облегченных» от мирских забот, и людей, полагающих в этих заботах цель своей жизни.

Чтобы отделаться от «вредных элементов» собственного своего общества, *облегченная* правом ссылки их община всё-таки не может сделать этого, не пожертвовав своим карманом; чтобы *выбросить* вон из своей среды тридцать человек, надобно уплатить в казну более трех тысяч рублей; чтобы выслать тринадцать, — и то нельзя истратить менее полуторы тысячи рублей. Но, уплатив деньги за своих братьев, ближних, расстроившихся людей, внимание к которым было бы обязательно хотя бы из чувства самосохранения, они получают облегчение от многих мирских забот, кому-то передают «ведение» о них, хотя бы опять-таки *за деньги.*

В другой такой же деревенской общине *те же* самые деньги тратятся совершенно иначе. *Бродяга,* которого производит *на свои деньги* община, облегченная от забот, находит самую радушную поддержку в той общине, где *заботы мирские* составляют именно завет, основание всего строя жизни и взаимных отношений. Не только раскольники, действующие во имя нравственных обязанностей, но и немецкие колонисты, руководящиеся строгим расчетом, не истребили бы в своей среде «для облегчения» самих себя ни единого человека, и на три тысячи рублей наверное прикупили бы земли и «отсадили» на нее излишних в колонии членов.

Мы, конечно, рады, что губернские по крестьянским делам присутствия уже как бы испуганы этой прискорбной деревенской «новостью» и просят волости повременить платить деньги за ссылаемых по общественным при-

говорам, раньше чем будут рассмотрены приговоры; но можно быть вполне уверенными, что дальше того же оправдания *ни в чем* не виноватых людей, то есть дальше уничтожения приговора — нынешняя «справедливость» к меньшому брату не пойдет. Те злые люди, которые задумали выбросить на произвол судьбы своих собратий, только получат обратно деньги. Но никому из всех, кто будет обсуждать эти приговоры согласно духу времени, наверное и в голову не придет оставлять эти деньги в казне или земстве для устройства земледельческих касс (болгарский крестьянин имеет такие кассы) или для покупки расстроенным людям земли при помощи Крестьянского банка.



ПОЕЗДКИ К ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

1. ОТ КАЗАНИ ДО ТОМСКА И ОБРАТНО

1888 г.

I. РАЗДУМЬЕ

Решив весною 1888 года ехать в Западную Сибирь, с исключительною целью видеть положение переселенцев, я, однакоже, крепко призадумался о плодотворности этой поездки, когда наконец, как говорится, «дошло до дела», то есть когда я уже ехал по Волге, приближаясь к Казани. Предстояли мне впечатления, без сомнения не облегчающие сознания, уже крепко утомленного сутолокою только что миновавшего петербургского зимнего «сезона», и вследствие этого, вопреки существенным целям поездки, утомленное сознание стало вопиять о крайней необходимости отдохновения. И чем ближе подходил пароход к Казани, тем с большею настойчивостию вопияло оно о предпочтении тепла и блеска южной природы суровым картинам севера, которые обрисовывались в моем воображении. Всякий раз, когда я смотрел на отваливающий от пристани пароход, и знал при этом, что он идет на юг, в Саратов, Царицын, Астрахань, мне ясно виделось, что пароход этот весь веселый, от веселого флага до спрятавшегося в воде колеса. Все в нем играет, он не идет, а летит, как ласточка, и свистки его поют, как соловьи. А когда от той же пристани отходил пароход в Каму, в Пермь, и я знал это, мне тотчас же представлялось, что пароход не только не бежит и не летит, а упирается, что навстречу ему бьет холодный ветер с Ледовитого океана, что свистки его воют, а не поют, как соловьи.

Не говоря уже о том, что страна, в которую я ехал, носит наименование «Сибири», совершенно выделяющее

ее из ряда обыкновенных, общежительных на белом свете стран, вспоминались мне и другие, крупные и мелкие черты внешних и внутренних ее оригинальностей, и все они (или по крайней мере то, что заставляла вспоминать заранее предубежденная мысль) не влекли к этой суровой и таинственной, как мне казалось, стороне. То ли дело поехать бы на юг, на Кавказ, в донские степи, в горы! Все там как бы рвется к солнцу, к небу и само хочет блистать, как солнце. Всадник взбирается на коне выше облака, а облако само идет на землю. К небу и выше неба несутся горы! По горам тянутся к солнцу леса, тянет из них солнце всякий цвет и плод, фрукт, всякое растение, то есть всякое богатство юга, вплоть до веселого вина, в котором также спрятался солнечный луч. Роскошествует природа, но и всякая тварь также желает франтить, не говоря о человеке, франтовство которого выше всякого описания. Франтят здесь птицы по лесам, и рыбы в реках и в морях, да и речонка не пробежит прилично, а гремит, бурлит, шумит и вообще ведет себя необузданно. Нет здесь уголка, который не был бы уж олицетворен и увековечен стихом русского и нерусского поэта.

Бывал я в этих веселых местах, и не так весело смотрел на них в прежнее время; но теперь, когда мне приходилось ехать в гости к Ледовитому океану, юг рисовался мне в очаровательных образах. Но ведь и там, куда я еду, тоже есть горы, и реки, и леса, но какие они? В каком-то беллетристическом произведении я читал описание этих гор и нашел, что они не гордыбачат перед солнцем и небом: «Точно стадо гигантских животных, покрытых частой и жесткой щетиной (так было изображено автором произведения), молча и недвижно лежат на огромном пространстве, как бы в дремоте». Щетина! Что же тут приятного? Да притом, казалось мне, не к небу, не к солнцу рвется там природа и человек, и не на солнце родится и живет там всякое богатство, как оно родится и живет на юге, где даже керосин, и тот норовит сам выскочить из-под земли и ударить вверх, к небу, а живут они и родятся в самых глубоких, темных недрах земли, в соседстве с трупами мамонтов, ихтиозавров и других допотопных представителей «допотопного Купона». Человек

не только не перескакивает здесь через облака и не ездит выше черной тучи, но лезет под землю, в темную глубину самой непроходимой и непроницаемой тьмы, копошится в ледяной грязи, в ледяной воде, добывает богатства под ударами нагайки, под угрозою пули, под приманкой сивухи.

Страшна казалась мне эта темная, глухая, бесконечная тайга, но еще страшней было знать, что в этой-то бесконечной тайге, может, *бежит* человек. Страшно то, что человеку надобно *бежать,* обрывая в чаще леса свое платье, рубаху, тело, бежать без оглядки, «не пимши, не емши». Это бегство в необозримом пространстве лесной глуши и пустыне, на десятки верст в окружности не имеющей признаков живой человеческой оседлости, тем еще более ужасно, что беглец бежит от какого-то другого человека, у которого на плече заряженное ружье. Ужасна фигура беглеца, но ужасна и фигура того человека, который найдет этого беглеца в тайге, «учует» его след, как собака, за целые версты, настигнет, вобьет пулю в спину и отымет украденное золото. Золото! Вот оно в руках этого оборванного, опоенного, развращенного беглеца, сто раз на своем веку случайно избежавшего смерти от голода, от пьянства, от каторжного труда. Он напал на самородные россыпи и прямо вытаскивает из земли куски, в которых заключается состояние целых деревень. Что же он делает? Меняет это золото в конторе на всякие лакомства, варит в котле чай из шести фунтов чая, валит туда же в котел голову сахару, льет вино, жрет все это, распутничает, покупает по четыре новых азяма в день, которые тут же топчет в грязи, в пьяном виде дерется, убивает и опять бежит по тайге, бежит, как дикий, голодный, больной зверь, и в криках, в стонах, оглашающих безжизненную лесную глушь, умирает, лежит мертвым, гниет, и в конце концов в мертвой тишине ночи мертвой тайги слышно хрустение человеческих костей, — лакомится какая-то хищная тварь мясцом человечьим.

Не подлежит никакому сомнению, что эти исключительно мрачные картины вспоминались мне из прочитанного о Сибири только под влиянием соблазна, при виде убегающих от казанской пристани пароходов, наполненных счастливцами, стремящимися на юг. Все, что напоминало

только мрачные, свойственные исключительно Сибири особенности, все стало припоминаться одно за другим, и, наконец, *Сибирь* обрисовалась как страна, в которой живет исключительно *виноватая Россия,* а раз овладела эта тяжкая мысль и, не сдерживаясь, начала определять разновидности всех русских *виноватых людей,* стало вспоминаться все пережитое, передуманное, перечувствованное. Все лица человеческие, которые возникали в памяти, все они, казалось, были заключены в какой-то заколдованный круг безысходного осуждения. За что? Почему? угнетало и мучило мысль бесплодной мукой и еще сильнее возбуждало желание миновать эту трудную, ни в чем не облегчающую поездку. И я бы долго не додумался до какого-нибудь решения, если бы меня не выручил «добрый человек».

II. ПО КАМЕ ДО ПЕРМИ

Выручил меня, по обыкновению, «добрый человек», наш русский крестьянин. Пошел я по пристани и вижу в отворенные ворота сарая, что там, в глубине его, масса простого народа, — мужики, бабы, дети, старики и старухи. Оказалось, что это переселенцы из Курской губернии. Одни едут в Омск, другие в Томск, а из этих пунктов — на участки уже отведенные.

Незначительного разговора с этими людьми было вполне достаточно, чтобы образумиться, прийти в себя, вспомнить цель давно решенной поездки и понять ее как дело, которого нельзя покинуть для «отдохновения».

Как только я образумился и на душе стало покойнее, все окружающее начало спокойно восприниматься в том виде и в той сущности, в каких оно доступно глазу, не омраченному темными мыслями. Прежде всего Кама совершенно утратила все свои мрачные черты, преждевременно изобретенные моим расстроенным воображением. В начале, при впадении в Волгу, она, правда, ничем еще не обнаруживает своих характерных особенностей: низ-

менные, едва не в уровень с поверхностью воды, песчаные берега, зеленеющие чахлым кустарником, — и вообще ничего еще нет достойного внимания. Непривлекательны также расположенные ближе к устью Камы деревни и городки; почерневшая солома, завалившиеся плетни в деревнях и какие-то серые кучи разбросанных построек в городках, ничем все это не лучше обыкновенного русского захолустья и поэтому не останавливает внимания. Но чем дальше, тем все больше и больше вырисовываются типические черты как самой реки, так и ее береговой жизни.

Широким и глубоким, сильным и спокойным потоком течет эта река в крепких, прочно ограждающих неизменность течения реки берегах. Здесь даже левый берег несравненно выше и несравненно крепче держится на своем месте, чем левый берег Волги; благодаря его чрезмерной низменности бедная Волга-матушка измучилась в поисках своей прямой дороги. Низменный, песчаный, заливаемый весною обильными водами Волги берег этот награждает ее грудами песку, мусора и корья, нанося поперек ее течения целые горы препятствий. Какая-нибудь затонувшая баржа, расшива — весьма достаточная причина для того, чтобы спадающие с песчаной низменности воды натащили на это препятствие груды песку и заставили бы широкое течение реки разбиться на два нешироких и мелких рукава. А на юге, от Царицына до Астрахани, бедная река отбивается от этих несметных песчаных туч, несущихся на нее и справа и слева десятками своих течений, отмахивается от них всеми, так сказать, пальцами обеих рук и окончательно изнемогает, добравшись, наконец, до глубокого моря.

Не так поступают с Камой ее верные стражи, крепкие, твердо знающие «свое дело» берега. И справа и слева берега эти высоки (с правой стороны даже иногда очень высоки), и не песчаны и бледны, как на милой, измученной Волге, а красноваты, иногда даже темнокрасны, что говорит о массах железных руд, дающих этим берегам особенности цвета и твердости. Твердые, крепкие берега гладко и правильно отшлифованы неизменным в долгие годы течением Камы, иногда поражают своей тонкой отделкой, то есть удивительной правильностью линий, проложенных по красной почве резцом твердой, не менявшей

своего направления струи. Красноватые берега холмисты, мягко волнообразны, а растительность, покрывающая их, так же радует взгляд некоторыми особенностями. Какая-то отчетливость, тщательность в обрисовке как самого растения, так и его цвета невольно почему-то напоминают произведения «добросовестнейших», трудолюбивейших художников, тщательно старающихся изобразить на картине все, что надо, непременно в самом точном виде, в самом подлинном цвете. Иногда ведь и белое стекло может казаться золотым от лучей заходящего солнца, а синий пруд делается от тех же лучей красным. Но добросовестнейший и честнейший рисовальщик, любящий только «правду», напишет солнце, какое оно есть по сущей правде, и воду, какова она в действительности, и дерево в том цвете, какой ему свойственен. Благодаря хорошей погоде берега Камы производили впечатление именно этой тщательной резкости в цветах и очертаниях покрывающей берега растительности; красный обрез берега, неправильной линией своей вершины соприкасающийся с холмистой и волнообразной поверхностью удаляющегося от берега пространства, самым резким образом отделяется от этого пространства своим цветом. Берег густо красен, а кайма его вершины бледнозеленая, и этим бледнозеленым цветом окрашена на далекое пространство волнообразная даль берега.

Только что глаз запечатлел эти два, как ножом отрезанные друг от друга, цвета — красный и бледнозеленый, как на этом бледнозеленом фоне с величайшею тщательностью очертаний вырисовывается черная ель, — то маленькая и тонкая, то высокая и стройная, как минарет, то темная-претемная, как кипарис. Сплошных еловых лесов я что-то не приметил на Каме; сколько я мог видеть (тогда, когда, конечно, смотрел, а этого ведь нельзя было делать во весь переезд беспрерывно), ели — это какие-то странники, прохожие, большими толпами, но один за одним, пробирающиеся куда-то, и всегда разных лет и возраста; маленькая плетется по бледнозеленому полю, а за ней большая, а за большой опять подросток, а за подростком старый-престарый старик. То они плетутся, идут по чисту полю, то, как переселенцы, группами селятся в чужих сосновых лесах. И тоже никогда они не растут одна под одну, а все по своему «карахтеру»: одна

маленькая, другая большая, третья поменьше. И как они хороши, когда одинокими прохожими или небольшими колониями протянутся по вершинам возвышенностей. На чистом бледном небе, особливо вечером и особливо при полной луне, ясно очерчиваются тогда силуэты многолюдных городов с высокими церквами, колокольнями, башнями, минаретами, зубчатыми стенами. Иногда вполне веришь и видишь, что пароход идет прямо к какому-то большому городу, а потом и оказывается, что это все сделали прихотливые ели.

Вместе с особенностями природы понемногу стали видимы и особенности прикамского побережного житья-бытья. За Чистополем, этим городком, дающим весьма немногосложное впечатление обыкновенного российского захолустья, пошли совершенно необыкновенные на Руси многолюдные и зажиточные деревни. Соломенная крыша окончательно исчезла. Просторные улицы, просторные постройки, все это совершенно необычно для жителя русских внутренних губерний, знающего, что такое деревня И таких просторно устроившихся деревень и широко раскинувшихся сел, нередко с двумя и тремя церквами, встречается здесь, в течение часа пароходного пути, не один раз. То, что пароход не останавливается около этих сел и деревень, доказывает, что пароходу еще нечего с ними делать, что села и деревни не принимали еще и не отпускали от себя никакого продажного продукта, и что, следовательно, они действительно села и деревни по преимуществу земледельческие.

Встречаются по Каме, правда, и такие села и деревни, которые имеют связи с разными, главным образом железными, заводами, и тогда около них есть пристань, а с пристани садится на пароход тот самый «пинжак» с рваными локтями и рваным козырьком, который доказывает, что Купон уже «проник» и произвел все то, что ему произвести подобает.

Приятно было смотреть и на эти просторные деревни, и на эти своеобразные берега, и на самую многоводную Каму; но все смотреть да смотреть и не сказать ни с кем живого слова, наконец, станет и скучненько. И, конечно, наилучшие собеседники — переселенцы.



III. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Переселенцы помещались на палубе в третьем классе; на любимовских пароходах[1] палуба закрыта и сверху и с боков, так что проезжающие защищены от дождя и ветра. Но жара от машины и от кухонь сильно портит воздух в помещении третьего класса.

На этот раз на пароходе ехало две партии переселенцев, обе из Курской губернии, но из разных уездов, причем одна партия, в четыре семьи, были малороссы из южных уездов Курской губернии, а другая, из шести семей, великороссы из северных уездов губернии. Малороссы ехали в Красноярский округ, где уже имели своих земляков-поселенцев, и шли на готовую землю. Великорусские переселенцы ехали в Томский округ, где тоже им уже были отведены участки, и даже нумера участков обозначены (14 и 25) в проходном свидетельстве. Малороссы-переселенцы были одеты опрятнее наших, ели аккуратнее и в определенное время, целыми семьями, в кружок, и вообще во всех их поступках было гораздо больше обдуманности и сообразительности, чем у черноземных великороссов, которых отличала какая-то бабья доброта, бабья распоясанность во всех отношениях и, к сожалению, весьма значительная нищета в одежде. Малороссы были все в сапогах, великороссы все в лаптях, в онучах, в самых дерюжных рубахах, штанах, сарафанах. Малороссы спали, всегда что-нибудь подстилая; наши валились прямо на пол, заплеванный подсолнухами, и только под ребят подстилали какие-то не совсем чистые дерюжные лоскутья. Бедность и несытость не подлежали никакому сомнению в курских переселенцах-великороссах, тогда как у малороссов, очевидно, была хоть и небольшая, но все-таки «копейка» где-то припрятана.

Но в этих, кой в чем непохожих друг на друга, партиях была одна вполне однородная для всех их черта: не столько бедность, нищета, трудность жизни в материальном отношении побуждала их к переселению, сколько явная *боязнь разрушить нравственные семейные связи.*

---

[1] За проезд от Нижнего до Перми с переселенцев брали по 2 р. Кушанье переселенцы могли готовить на кухне матросов бесплатно.

Все ехали семьями, в которых были старики, старухи, уже неспособные к работе, которые поэтому даже прямо будут бременем во время трудной поры устройства на новом месте.

Из разговоров, особенно с великорусскими переселенцами, ясно было видно, что боязнь разбрестись из «своего дома», уйти от отца, от матери, жить в чужих людях и страх при жизни исчезнуть друг для друга, что он-то и гнал эти семьи в далекие края, заставляя и старого и малого крепко прижиматься друг к дружке, жить «увместях», и если пропадать, так пропадать также «увместях».

Один из таких великороссов-переселенцев, распоясанный мужик, с распахнутой душой, все выкладывающий перед всяким встречным с первого слова, поразил меня именно обилием нежнейших чувств к своей семье. Конечно, и он говорил о нищете, о податях, о неурожаях, о крайней степени малоземелья и крайней высоте арендной платы, но разговор об этих материальных невзгодах, страшивших его главным образом с точки зрения неуплаты податей и недоимок и вообще провинности против начальства, очень часто прерывался самыми нежными словами именно об этих близких людях.

— Вон она, маменька-то старушка, сидит! Поехала ведь!

Радостно сияют при этом его «простенькие» глаза.

— Не останусь, до смерти не разлучусь с тобой, Михайло! Двух дочерей и со внучатами уже замужними оставила, простилась с ними навеки, а от меня не отстает! Вот она какова, маменька-то!

И эта радость чувствовать около себя такую горячую, вечную любовь, кажется, была единственной силой, которая давала ему возможность обольщать себя надеждой, что он на новом месте справится и все уладит по-хорошему. Он *один* ехал на *новое* место со старухой матерью, женой и пятью человеками детей, мал мала меньше, и всякий раз, когда разговор касался практических вопросов и когда они очерчивались в весьма непривлекательных предчувствиях, он, видимо, старался ободриться, прихрабриться и для этого опять радостно говорил о маменьке, о жене, о ребятишках. То, что они неразлучны, любят друг друга, не покинут один другого, — в этом был источник его мечтаний об успехе.

Все эти семьи бедны и помяты работой, это видно с первого взгляда; но что все они семьи, любящие друг друга, как наши черноземные, или крепко сплоченные нравственными и материальными связями, как малороссы, в этом нет никакого сомнения. Один из малороссов-переселенцев ехал с женой, с тремя сыновьями, из которых двое были женаты, и с тремя внучатами. Сыновья его могли постоянно поддерживать его хозяйство и свои семьи отхожими промыслами. Каждый год за два летних месяца они трое приносили с Дону 150 руб., то есть все, что нужно на покрытие неминуемых платежей. Но стоило поговорить с отцом этой семьи побольше, чтобы несомненно убедиться, что его влечет на новые места не столько расчет, сколько забота о молодом поколении, которое начинает расти и множиться и тем осложняет семейные отношения. Старик живет заботою о своих ближних, об отношениях мужей к женам, отцов к детям, блюдет их, не дает их в обиду, и участь всех их, до внучка включительно, для него значит не меньше денежного заработка. Практичность, заметная в нем и не имеющая никакого сравнения с нежнейшею непрактичностию того великорусского мужика, о котором я сказал выше, она для него только средство не разрушить и не убавить многосложность семейных связей и обязанностей.

А что этот человек не разиня, не распахнутая душа — это верно. Распахнутая душа черноземного переселенца сразу отозвалась на мое желание видеть его «бумагу».

— Да с полным удовольствием! — И мужик с распахнутой душой тотчас вытащил ее из-за ворота. Там, на груди, в кожаном самодельном бумажнике, застегнутом на крупную солдатскую пуговицу и прицепленном на ту же тесемку, на которой висел медный крестик, — там была у него спрятана «бумага» и десятирублевая бумажка.

— Вот и деньги-то все тут! — разлюбезнейшим тоном проговорил он и вытащил запотевшую на груди бумажку. — Право, ей-богу!

— Как же ты доберешься до Томска-то?

— А эво-то что! — указывая рукою на берег, с развеселым лицом проговорил он.

— Что там такое?

— А хлеб-от! Видишь какой? сырой, зеленый, чуть белеть еще начинает... Ну, и в тех-то местах, в Том-

ском-то округе, должно быть, он в той же поре. Авось, господь даст, подоспеем к жниву-то... Я да жена, всё двое! Поработаем!

Распахнутая настежь душа раскрыла все свои тайны в одну минуту; открыла и бумаги, и деньги, и планы на будущее, и все свои нежные сердечные чувства и привязанности.

Душа, сосредоточенная в себе, не распахнутая настежь, но живущая не менее многосложно, чем и распахнутая, вела себя со мною много осторожнее. Когда я спросил о тех местах, куда они идут и как об этом сказано в бумаге, чтоб посмотреть на карте (которая со мной была), то кто-то из сыновей старика малороссиянина, с которым я говорил, сказал мне:

— Вона в батька!

Тогда «батько» обернулся к сыну, сурово посмотрел на него из-под нависшего на лоб чуба и строго сказал:

— Нема ни якой бумаги в батька!

— Деж вона?

Батько помолчал и потом кратко ответил:

— Искурив на цыгарки.

— Ну, — сказал я на это, — уж это неправда. На цыгарки ты ее не искурил, потому что тебе без нее нельзя идти. А просто ты не хочешь мне дать ее почитать.

— Та искурив же ж...

— Не искурил ты, а не хочешь!

Батько пожал плечом и, свесив голову с чубом, а руки опустив между расставленных колен, опять замолчал. Молчал и я.

— Та дай ему тую бумагу! — наконец сказал он недовольным тоном, не разгибаясь, а только обернув голову к своему сыну. — Не хай мене бог... коли в мене ни якой бумаги не було!

И сын тоже не сразу исполнил родительское приказание! Он сначала поглядел на меня, потом на отца, и потом уже не спеша вытащил из кармана жилета кошелек, а из кошелька какой-то крошечный сверток. Развернув этот сверток, он достал из него еще какую-то бумажку, исписанную и местами разорванную.

Это было простое письмо из Красноярска, от земляков, теперешних переселенцев-малороссиян, поселившихся там раньше. Замечательны эти письма «от земляков».

Очевидно, пишут их не земляки, а строчит кто-то из *тамошних*, отлично набивших руку в писании таких писем. Все они (мне много приходилось их видеть впоследствии) написаны почти по одному и тому же образцу, и во всех них постоянно находятся одни и те же выражения и посулы насчет будущих благ. «Паши сколько хошь, коси сколько хошь, дров сколь угодно, руби без запрету, скота много, цены дешевые... Выбирайте двух человек, пущай придут осмотреть. Лучшей жизни не найтить!» Всё в одном и том же роде.

— Это не та бумага! — сказал я.

— Та нехай мене...

Я прервал упорного старика и завел речь о том, как ему жилось на родине и отчего он ушел. И вот тут он заговорил совершенно другим тоном; в нем сказалась такая пропасть юмора, что публика, слушавшая его рассказы, умирала со смеху.

Рассказывая, например, о потраве, за которую владелец брал огромные штрафы, он тут же и представил «в лицах», как эту потраву производит разыгравшийся жеребенок, который прибежал в поле за своей маткой. Оставить жеребенка дома нельзя, да и мать соскучится, а возьмешь его в поле, он обрадуется и начнет играть.

— Стоишь, — говорил он, — глядишь на жеребенка, а у самого только дух захватывает... Прыгнул раз, — на пять карбованцив! Прыгнул два, — на пятнадцать! завертел хвостом, повалился, болтнул всеми четырьмя копытами, — хвать и все сто рублей на шее! Побежать за ним догонять, натопчешь на столько, что и всю жизнь не расплатиться!

Невозможно передать в моем пересказе ни по-русски, ни по-малороссийски виденного и слышанного: что это была за необычайно комическая картина! И таких сцен остроумный старик рассказал, а главное представил в лицах, множество. Пан, накладывающий штрафы за бродяжничество курицы (1 к.), определяющий до последней полушки размеры всяких убытков от заблудившейся свиньи, от цыпленка, разыскивающего свою мать-наседку, фигура этого пана была изображена поистине высокохудожественно. Мы уже давно отвыкли думать о том, что делается в этих темных углах, где живут какие-то темные паны, владетели разных «отрезок». Остроумный

старик всем нам напомнил, что эти маленькие тираны, с неизвестными фамилиями, нигде, ни в какой общественной деятельности ничем не обнаруживающие даже своего имени, и в то же время величайшие изобретатели всякого рода прижимок, — существуют на Руси в огромном количестве.

Когда какой-то из переселенцев-великороссов спросил старика-юмориста, за много ли денег продал он свою усадьбу, старик опять и сразу совершенно преобразился. Юмор пропал, и осталось опять то же выражение лица и та же манера разговора, как и в начале моей с ним беседы.

— Та ничого нема! — жалобным и недовольным тоном заговорил было он и принялся при помощи пальцев доказывать, что вырученные за усадьбу деньги разошлись все до одной копейки. Но ему не дали не только докончить этих расчетов, но даже и начать их объяснение.

Российские переселенцы громко и дружно подняли старика на смех:

— Ну уж, брат, врешь! Уж это врешь, брат!

— Врет! Не хочет говорить... У них, у хохлов, завсегда деньги есть! Это что!

— Та...

— Врешь! Врешь, старина!

— Та...

— Что? у него нет денег? — произнес какой-то приказчик, неожиданно появляясь среди толпы переселенцев. — У хохла-то нет? Врет, врет!

— И вестимо есть! у них завсегда есть! Не то, что у нашего брата.

— Есть у них! Есть... Хочешь я тебе покажу, сколько у тебя денег? — весьма развязно продолжал приказчик, что очень смутило старика. — А не хочешь, так прямо говори, а не утаивай. А то мы тебя свяжем, вытащим кису-то и сами пересчитаем? А?

Старик сильно омрачился, а зрители распахнули свои пасти в самом беззаботном смехе, умея и привыкнув еще «и не так» подшутить над человеком.

Этой шуткой, заставившей уйти из толпы шутников, закончилась первая встреча с переселенцами.



IV. ОТ ПЕРМИ ДО ТЮМЕНИ

Пермь и переезд по Уральской горнозаводской дороге до Екатеринбурга прошли без особенно приметных впечатлений. Непомерная, совершенно неожиданная жара, начавшаяся еще, вопреки всем вероятиям, на Каме, где я с полною уверенностью ожидал всяких прелестей, свойственных близости Ледовитого океана, — окончательно доконала в Перми, и во всю дорогу до Тюмени, да и здесь, припекала без всякого милосердия. Все время жара стояла днем около сорока градусов, а часто и выше сорока, и размаивала до состояния постоянного полусна. Благодаря такой случайности (старожилы не запомнят таких жаров) ослабленные нервы отказывались воспринимать вообще какие бы то ни было впечатления. Раз только они, и то на самое короткое время, ощутили было некоторое тенденциозное беспокойство, но ощутили только потому, что затронуты были соображениями о весьма мрачных подозрениях.

Ехали на пароходе и потом по железной дороге какие-то, так сказать, «отдельные» от обыкновенной проезжающей публики личности. Что-то было в этих личностях «особенное», а главное таинственное, не говоря о разнообразии форменных костюмов, свидетельствовавших о принадлежности каждой из этих «отдельных личностей» к разным министерствам, — все они первое время усердно занимались чтением каких-то толстых книг, которые одним видом своим говорили, что в них напечатаны не стихи и не романы. Иной раз дунет ветер, — глядь, и выдует из книги огромнейшую таблицу или огромнейший чертеж или карту с явственно обозначенными «пунктами» (красненькими кружками), очевидно, означающими места, где зимуют разные сибирские раки и против которых «отдельные личности», очевидно, имеют какие-то тайные намерения. Глядя на эти потрясаемые ветром «таблицы», и карты, и чертежи, я, не знаю почему-то, вспоминал так часто встречающиеся в сибирской прессе слова: «Кажется, в будущем году нам, наконец, *улыбнется* такая-то реформа», «Неужели же нам никогда не *улыбнется* надежда на такую-то реформу?» Или: «надежда, *улыбнувшаяся* нам, увы!» Вспомнилось мне все это, и я с какой-то тревожной подозрительностью



подумал обо всех этих «отдельных» личностях: «Уж не «улыбки» ли это, ожидаемые так долго, наконец, в образе человеческом, едут в Сибирь? Не опрометчиво ли поступали господа сибиряки, вопия о том, чтобы им «оттуда», наконец, улыбнулись? А как возьмут, да и станут в самом деле улыбаться без послабления? Что тогда?»

Однако, несмотря на полное расслабление и отупение от жары, иногда нельзя было кое-чего не видеть и не воспринять из впечатлений окружающего. Нельзя было не видеть этих гор, просторно расступающихся по обеим сторонам дороги, — гор, не теряющих впечатления этого простора даже в самой крайней дали горизонта, где они очерчиваются только туманными силуэтами, где они по светлому небу чертят непрерывную, неправильную линию вершин, мелко иззубренную все тою же островерхою елью.

Хорош и вполне типичен Урал на Чусовой: широкая долина, с широкими, свободными изгибами реки, обставленная не напирающими друг на друга и не тискающимися горами, впервые дышит на вас сибирским раздольем и простором; все, что вы видите кругом себя, эти долины, переходящие в горы, без всяких резкостей, медленными подъемами, как бы говорящими: «не к спеху!»; эти реки, широкими размахами своих изгибов доказывающие, что и они поступают здесь единственно только по своей охоте, что никто им здесь не указчик, и «потому, что́ хочу, то и делаю», и, наконец, эти горные хребты, разместившиеся друг от друга без всякого стеснения, как самодовольные хозяева всей этой шири и простора; все это, веющее простором, свободным своевольством и могучей, но смирной силой, — все это уже не наше, черноземное, а новое, здешнее, чисто сибирское и для нас необычное.

Есть, впрочем (особливо за Чусовой), и такие места, где сила природы выходит из пределов смирного настроения и невольно рождает какое-то жуткое ощущение. Есть за станцией Чусовой такие места, когда горы идут близехонько с обеих сторон поезда, и тогда тайна их могущества невольно охватывает все существо как бы некоторою оторопью. В чем эта тайна жуткого ощущения? В этой ли могучей высоте или в дремучей растительности, плотно и тепло одевающей огромное тело горы снизу и доверху, — не знаю и не могу определить. Но знаю,

что, взглянув на это могучее тело, плотно и тепло одетое густым мехом леса, невольно скажешь себе:

— Эко, силища-то какая!

И, глядя на эту силу, почему-то «пикнуть не смеешь», молчишь, притаив дыхание, и вздохнешь свободно только тогда, когда вагон уйдет в какую-нибудь искусственную выемку или на равнину, очень болотистую и непривлекательную.

За Екатеринбургом впечатления начинают принимать уже более определенный смысл, и притом довольно многосложный. Прежде всего значительно убавляются резкости горной природы; начинается наша, знакомая нам, россиянам, степь, поля, луга, а вместе с ними идут уже не заводы, не болотца с кучками мужиков-золотоискателей, а деревни, стада, крестьяне. Все это прямо наше, российское, но в то же время есть во всем этом что-то и новое, чего сразу решительно не поймешь и не сообразишь. Не говоря уже о просторе, о приволье, которыми веют на вас эти поля, луга и стада, не говоря о достатке, который виден в этих просторных постройках сел и деревень, где нет ни одной соломенной крыши, — чувствуется, что есть тут, во всем видимом, еще что-то неведомое для нас. Оно тоже почему-то веселит, поднимает в душе что-то радостное, и загорается ожидание чего-то необычного.

— Нет барского дома! — вдруг озаряет мысль молчаливо сказавшееся слово, и вся тайна настроения, и вся сущность непостигаемой до сих пор «новизны» становится совершенно ясной и необычайно радостной.

Нет барского дома, но есть крестьянин, живущий на таком просторе, расплодивший там огромные стада, настроивший такие огромные, просторные деревни, есть человек, проживший на своем веку без малейшей прикосновенности к барскому дому: когда мы, обыватели Европейской России, видели такого крестьянина?

Настойчивое желание видеть «своими глазами» «такого русского мужика», не знавшего самого главного и самого важного, что пришлось знать и перетерпеть нашему великорусскому крестьянину, это желание, едва родившееся, тотчас же осложняется мыслями о многострадальной жизни именно «нашего», хорошо знакомого нам, мужика. «Как на грех», этот самый мужик теперь же, вме-

сте с вами, в этом же поезде, мчится из России, бежит от всех уже достаточно «улыбнувшихся» ему улучшений. И как бежит! Вот в этих пяти вагонах его *везут* на поселение, за железными решетками, а в других пяти он *сам бежит* на это поселение, добровольно. Посмотрите, что за народ сидит и там и там. Это все один и тот же народ, с тою разницею, что один «бежит *от греха*», сам: один догадался убежать во-время *от греха*, а другой не выдержал, наскочил на грех, не избежал греха, и бежит уже за железной решеткой. Но грех-то и там и там один и тот же. Он заключается именно во всей этой истории великорусского крестьянина, о которой сибирский мужик не имеет понятия. Не имеет он понятия о барском доме, о «на конюшне», о бурмистре, о «барской барыне» или о «барском барине»; не орудовал над ним барин-вольтерианец, не орудовал и не делал опытов барин-аракчеевец; не был он проигран в карты, пропит с цыганками, заложен и перезаложен; не был он дрессирован просвещенным агрономом, не был бит в морду Карлом Карловичем, не мечтал он о том, что «отберут землю», что земля божья, что вода божья, что леса божьи, и не разочаровывался во всем этом в такой убийственной степени, как наш, в конце концов доведенный до «греха», до бегства от него на край света или до пересылки, из-за него же, по этапу.

Ни при каких иных обстоятельствах «грех» нашей жизни не виден с такою поразительною ясностью, как именно здесь, на этом переселенческом пути из России в Сибирь.

«Последнее слово науки», пароход и вагон, мчат на «ковре-самолете» на поселение одинаково ни в чем не повинного и уже повинного в том-то преступника. Одна перевозка «виноватого» в течение двух-трех недель обойдется оставшимся на родине неплательщикам во сто раз дороже, чем то, что желал бы виноватый теперь мужик иметь на своей родине; там, на родине, он двадцать лет вопиял о *прирезке*, жаловался непрерывно в течение многих лет, что негде пасти скотину, что есть ему нечего, что платить нечем, и ни в чем не получил удовлетворения; в волостном правлении его «сажали», понуждали, злили. Злой он колотил жену, обиженная жена жаловалась в суд; суд опять наказывал мужика, мужик со зла про-

пивал все женино добро, разорялся, воровал сначала хомут, а потом лошадь, а потом и что-нибудь еще посолиднее. И вот таким путем, со ступеньки на ступеньку, он достиг, наконец, до вагона; европейская выдумка точно о нем только и думает: с кандалами на ногах, он теперь аккуратно получает завтрак, обед, ужин, чистое белье, баню, «вентиляцию».

В том же поезде и на том же сказочном «ковре-самолете», по полутысяче верст в сутки, мчится «от греха» и родной брат этого кандальника. Он бежит от того же самого греха, от которого и кандальник стал кандальником. У него тоже тотчас после того, как он претерпел тяготы крепостного права, оказалось так мало средств к труду, а стало быть, и к жизни, к удовлетворению своих и государственных потребностей, что он тогда же стал жаловаться *«по форме»*, «на бумаге», и неусыпно, в течение двадцати пяти лет, ждал все той же прирезки. Когда его наказывали за недоимку, он не бил со зла жену и не пропивал со зла ее трудового добра, а прямо, и вместе с женой, продавал это добро и платил. Продавали они и лишнего теленка, лишнего цыпленка и платили; нарастали новые тяготы, новые недоимки, — не роптали, не протестовали они злом или буйством, а покорно разбредались всей семьей по кабальным местам, по фабрикам, заводам, забирались за заработком на Дон, на юг, куда только ноги могли донести. Десятилетние ребята их уже стояли за сохой, были наняты, законтрактованы. Растративши все свои силы, все свои достатки, надорвавши силы молодого поколения с самого раннего возраста и окончательно потерявши малейшую возможность к чему-нибудь приложить свои руки, они, наконец, и летят на ковре-самолете в неведомые им места.

Мчит их ковер-самолет, робких, испуганных неизвестностью, оборванных и изнуренных, в большинстве совершенно неимущих и в лучшем случае увозящих на ковре-самолете, кроме пяти ребятишек (всегда без шапок и сапог) да пяти пудов сухарей, много-много пуда два «имущества» на всю семью. Это положительно *все*, что осталось от всей «родословной» истории этих крестьянских семейств, вынесших на своих плечах могущество чьих-то других родословий: два мешка «имущества», пять

пудов сухарей и пятеро ребят без шапок и без сапог, — вот результат пустопорожней суеты нашей внутренней жизни и нашей бездействующей совести.

Как же не дать огорченной всем этим мысли отдохнуть в мечтаниях о крестьянине, который ничего подобного не испытал?

V. ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ ДЕЛО В ТЮМЕНИ

Переселенческая станция, конечно, была первым местом, которое я посетил по приезде в Тюмень. Да и во все короткое время пребывания в Тюмени мне невозможно было уделить даже и малую часть времени, чтобы познакомиться собственно с Тюменью. Не мог я, конечно, не заметить, как хорошо место, где расположен этот город, как удивительно хороши берега и самая река Тура; но не мог не пожалеть, что тюменский обыватель не сумел сберечь для себя этого великолепного изгиба высокого берега, хотя бы для своего отдохновения, для прогулки; ведь вид-то какой! Тюменский обыватель устроил с этим берегом совершенно неблагообразные вещи; пройти по нем с одного конца до другого невозможно; можно видеть его только тогда, когда улица упрется в самый берег; а там, где она уперлась и где вы подумали, что, наконец, можете идти направо или налево по берегу, там, под углом к этому берегу, начинается новая улица, вправо или влево, застроенная домами, за которыми и опять не видно берега. Кроме сожаления о пропаже этого чудного вида на простор долины за р. Турой, пожалел я и о самой Туре.

— Что это, как будто чем-то пахнет? — спросил я сторожа в купальне.

— Это еще слава богу! Сегодня воскресенье, заводы не работают; а как в будни, да пустят они свою грязь, так чисто дохнуть невозможно!

Как раз против купален расположились кожевенные заводы, специальное дело Тюмени. При более подробном разговоре об этом деле оказывается, что «ничего невозможно поделать», ни купальню перенести, ни заводов.

Молва гласит, что об этом идет уже давно речь и толки, но все «ничего невозможно». Купальню даже и вовсе невозможно перенести ни выше, ни ниже: выше будет далеко, а ниже — начинается уже настоящий кожевенный смрад. Таким образом, и место хорошо, и вид великолепный, и река «лучше не надо», а купаться нельзя, потому что можно, во-первых, заболеть какой-нибудь накожной болезнью, а во-вторых, даже и задохнуться.

Но что действительно хорошо в Тюмени, это, во-первых, все, что делается по переселенческому делу, и, во-вторых, все, что касается удобств, связанных с передвижением и перевозкой по Тоболу и Оби. Пароходная набережная превосходна: снабжена всеми удобствами для нагрузки и выгрузки товаров, для рабочего и проезжающего, подъездные пути удобны, вымощены, словом, все сделано вполне хорошо. Для проезжающих, кроме всех этих удобств, на пристани гг. Игнатова и Курбатова устроены даровые помещения, нумера и общие комнаты, где проезжий может жить, в ожидании парохода, бесплатно. Этого нигде я не встречал и не видал.

Но опять-таки повторяю, что самое лучшее и самое важное, что только есть в Тюмени, это именно «переселенческий пункт». Все, что касается этого сложного дела, все поставлено здесь хорошо, правильно, добросовестно и дельно. Конечно, все это могло бы быть сделано и еще лучше, и желательно бы было, чтобы количество средств, расходуемых как частным переселенческим Обществом (которому принадлежит постройка и содержание переселенческих бараков), так и размеры суммы, расходуемой на помощь переселенцам, могли бы быть увеличены, и притом увеличены значительно. Это даже положительно необходимо для того, чтобы дело, поставленное так хорошо и добросовестно, могло, при возрастании переселенческого движения, сохранить возможность не ослаблять, за недостатком средств, своей теперешней плодотворной деятельности. Средства необходимы. Но и то, что делается теперь на те средства, какие есть, — все это делается хорошо, добросовестно, а главное вполне по-человечески, без малейшей тени благотворительной фальши, и тем менее без канцелярщины и пустой формалистики.

Здесь-то именно и подобает быть пределу всяким пустопорожним формальностям и всяким фальшивым сочув-

ствиям «народу»; этот народ потому-то и попал на ковре-самолете в Тюмень, на переселенческую или арестантскую баржу, что над ним уже был полностью проделан опыт фальшивого сочувствия на словах и формального решения его судеб на бумаге. Вся бумажная и сочувственная народу фальшь завершила уже над ним свои операции. С этого момента надо, волей-неволей, начинать относиться к человеку просто по-человечески. Острожника уже драли там, здесь надо ходить за ним, как за больным, вентилировать в его помещении воздух; надобно поить его лекарством, принимать участие в оставленной им на родине семье, писать ему письма, читать полученные им письма, думать о месте, где он будет жить, что будет есть и пить, — то есть делать именно то самое, что и надобно было бы делать там, «на самом месте-то преступления».

Человеческое внимание, обязательное к острожнику, к убийце и каторжнику, тем более делается неминучим по отношению к переселенцу. Нельзя ему не помочь, нельзя его предоставить неизвестному, нельзя поставить его в положение человека, который может пропасть, умереть с голоду. И я с великим удовольствием могу сказать, что собственными моими глазами видел, что отношения людей, заведующих таким большим народным делом, вполне соответствуют ему. Дело делается по-человечески, то есть именно так, как оно и должно бы было делаться также и там, в глубине России.

Вот, например, письмо переселенца из нового, года два назад устроившегося поселка:

«Ваше высокоблагородие! Отпишите сделайте вашу божецкую милость в волость когда ж пришлют остатки по дому не имеем пропитания живем в бедствии и нищете. Бес капейки!»

Или еще лоскут бумаги!

«Свидетельство.

Я нижеподписавшийся крестьянин Казанской губернии (название уезда, волости, села), будучи в полном разорении, ибо почва и песчаные пространства, при неурожае, при всех моих силах моего многочисленного

семейства, до такой нисчеты дошел, неимея пять лет урожаю, весь продан за долги то прошу Вас, отец и благодетель христа ради неоставьте меня с пятью детьми без пропитания. С подлинным верно»... Все это нацарапано каким-то грамотеем, который выбрал, вероятно из «Сельского вестника», мудреные слова, но не смог выдержать научного изложения далее трех строк; после слов «с подлинным верно» идут уже совершенные каракули подлинного крестьянского письма: «безграмотство родителя моего удостоверяю сын его Федор».

Спрашивается, что такое эти каракули и лоскутья с формальной точки зрения? Это не прошения, не жалобы, ходу формального им нет; наконец, самая бумага, не гербовая, уже прекращает всякое их значение. Так это и было всегда там, «на местах преступлений». Так было и здесь, в Сибири, когда переселенческое дело не сделалось, наконец, предметом хоть сколько-нибудь серьезного внимания. Такого рода лоскутья и прежде не выбрасывались в мусор и не выметались вместе с ним вон из дома; нет, они вкладывались в огромный лист писчей бумаги, с разными буквами в верхнем углу; на бумаге, за номером 155 666, писалось отличным почерком, что, за непредставлением гербовых пошлин, лоскут сей возвращается «без последствий» в то самое место, откуда пришел; все это запечатывалось в пакет, отсылалось на почту, достигало волости, которая вызывала человека, живущего «бес капейки», за сто верст, и вручала ему собственный его лоскут обратно, «без всяких последствий».

В настоящее время дело стоит здесь совсем уж не так. Всякий такой лоскут есть действительная просьба, подлинная жалоба человека, нуждающегося в помощи, которому и надобно помочь на деле. Из этих двух примеров вы видите, что дело переселенческое не ограничивается только приютом на тюменской переселенческой станции. Необходимо хлопотать за человека, живущего «бес капейки», там, «на месте преступления»; необходимо известить его о том, что о нем хлопочут, понудить и повторить просьбу, если замешкались с высылкою денег, оставшихся от продажи за долги дома. Все это необхо-

димо сделать для заброшенного на чужбину человека, и все это делается.

Кроме помощи переселенцам, необходимой им здесь, в Тюмени, на билеты, на харчи, на покупку телеги, — помощь эта не сегодня-завтра потребуется и с места нового населения. «Ваше благородие! лошадь околела, нет способов!», «Ваше благородие... Есть нечего. Хлеба нету...» И на эту помощь необходимо сберечь частицу ассигнованных министерством сумм. Но «помощь постоянная требуется и во множестве других случайностей» жизни переселенца.

— Ваше благородие! У меня деньги пропали! Явите божескую милость.

Деньги пропали у ходока, деньги мирские; нет возможности ни воротиться, ни идти вперед. Надобно искать их, хлопотать, ехать к начальству и в случае неудачи выручать, переписываться.

Точно так же исследуется даже и тот запутанный документ, удостоверенный «родным сыном Федором», о котором была речь выше. И это подлинная просьба, хотя и не на большом листе и хотя нацарапана в самом бессмысленном виде. Человек, который вытащил из-за пазухи этот лоскуток, подписанный его сыном, как единственное свое право на участие к нему начальства, может быть уверен, что именно этот-то безграмотный лоскут и есть действительное его право на внимание и попечение о нем. Это я также видел своими глазами.

— У тебя есть какой-нибудь документ?

— Как же, есть-с!

— Ну-ка, покажи...

Из-за пазухи, и затем из тряпки, выматывается тот самый лоскут, о котором была речь.

— Да это не документ.

— А как же не документ-то? Ведь пять годов неурожай был? Помилуйте! Из-за чего же мне платить-то? Тут вполне удостоверено.

— Если бы хотя начальство подписало, а то ведь сын... твой...

— Так я и начальникам показывал. «Удостоверено, говорят, по безграмотству, правильно...» Пять годов неурожаю. Явите божескую милость!

Непонимание, неумение даже понять начальнического вопроса, все это еще недавно обрекало нищего пешехода на полное невнимание. Что с ним делать? В самом лучшем случае можно было сжалиться, дать гривенник и сказать: «не взыщи!»

Ни тени подобного отношения к переселенческой нужде в настоящее время уж нет во всем том, что я, к великому удовольствию, видел здесь в первый же день.

VI. В ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ БАРАКАХ

Жизнь переселенческого барака начинается с раннего утра. Уральский поезд приходит в Тюмень в 5 часов утра с минутами, и переселенцы (приезжающие непременно с каждым поездом), забирая свои пожитки, плетутся прямо в переселенческий барак. Мирской толк «калякает», что иногда Уральская дорога поступает с бедным народом слишком формально. Иной раз большая переселенческая семья не в силах бывает сразу перетащить с вокзала свои вещи, а нанять извозчика не на что; зная, что через день, через два ей, этой семье, выдадут пособие на покупку лошади и что тогда можно будет уже на ней съездить и получить вещи, переселенцы оставляют эти вещи на день, на два невзятыми из багажа, и всякий раз дорога не упускает случая взять с них за «полежалое», что весьма значительно увеличивает стоимость перевозки. Между тем и сама дорога иногда ставит переселенцев в затруднение, а убытков, которые они от этого несут, на себя не принимает. Однажды она набила товарный вагон тюками с табаком и переселенческими мешками с сухарями; соседство это пришлось мужикам не по вкусу, просьба о разгрузке была уважена, но вот как: вагон с табаком и сухарями отцепили, оставили его на какой-то станции или полустанке, а поезд ушел в свое время далее. Покуда перегрузили вагон и доставили сухари в Тюмень, ушел пароход, и переселенцы должны были напрасно харчиться целые четверо суток. Впрочем, при мне же был случай, что и Уральская дорога бесплатно пере-

везла несколько полтавских переселенцев, не взяв с них ничего ни за проезд, ни за багаж. Сделалось это, как говорят, благодаря участию пермского губернатора. Хорошо это, конечно, но надобно бы вообще относительно переселенцев выработать какой-нибудь определенный и непременно самый снисходительный образ действий. Уральскую дорогу переселенцы не хвалят. Пароходчиков по Каме и Волге одобряют (2 р. от Нижнего до Перми и даже до 1 р.). Хвалят и одобряют Нижегородскую дорогу (ничего не берет за багаж), одобряют вообще Москву («Дня не ждали! Сейчас с вокзала на вокзал переправили!»), а вот Курскую опять не одобряют, ни в чем не послабляет бедным людям. От Тюмени до Томска берут в 3-м классе парохода вместо 6 рублей 5 рублей 10 копеек и за багаж по 50 коп. пуд. [1] С детей как на пароходах, так и на железных дорогах также, смотря по возрасту, берут и за полбилета и за $^1/_4$. Берут плату с четырехлетнего возраста. Недавно, впрочем, в Тюмени появился новый предприниматель, некто Функе. Выстроив на заводе г. Игнатова два парохода, он устроил специально переселенческие рейсы. Перед самым моим приездом ушел в Томск и Барнаул один из таких пароходов, вместивший более тысячи человек. Плату г. Функе назначил очень низкую — 5 руб. не до Томска, а до самого Барнаула, и надо думать, что предприниматель не останется в убытке.

Переселенческие бараки, куда направляются переселенцы прямо с вокзала, лежат за городом, на высоком берегу Туры, в небольшом от нее расстоянии, в просторном, со всех сторон открытом месте. Бараки расположены большим четырехугольником, причем три стороны пока только забор, а четвертая, обращенная к реке, застроена жилыми помещениями. По углам левой, от входных ворот, стороны выстроены большие кухни, а между кухнями большой барак, разделенный на четыре отделения. Каждое отделение просторно, с тремя большими окнами, перерезанными широкими нарами, идущими вокруг

---

[1] 50 коп. брали за пуд «багажа», а багаж этот главным образом сухари. Пуд муки стоит 60 к.; сосчитав все эти тарифы — во сколько обойдется пуд сухарей от Курска до Томска?

стен. Воздуху много, потолков нет и в крыше сделаны приспособления для вентиляции. Человек сто смело могут поселиться в каждом из этих отделений и тут же поместить свои вещи; но в нынешнем году бывали дни, когда в бараках скапливалось более полуторы тысячи переселенцев, вследствие чего в дождливое время теснота в бараках бывала необыкновенная. Общество, устроившее бараки, говорят, будет строить в будущем году еще такой же новый барак, причем во всех бараках, как в старых, так и в новом, будут сделаны печи; в прошлом году переселенцы шли и в декабре, а с февраля, когда еще зима везде на Руси стоит настоящая, переселение уже начинает принимать значительные размеры. Там же, на переселенческом дворе, помещается и флигелек с аптекой, с комнатой для больных и с конторой, где записываются все прибывшие переселенцы. Все это может быть сделано и лучше и просторнее.

Некоторые нетерпеливые, лихорадочно стремящиеся поскорее, не теряя ни минуты времени, попасть на новые места, тотчас же по приезде бегут к *заведующему* переселенческим делом чиновнику П. П. Архипову и теребят его своими требованиями. Таким образом, дело начинается с раннего утра, и дело самое хлопотливое. Каждого переселенца нужно подробно расспросить о его положении и средствах и сделать так, как ему будет лучше и удобнее.

Вот этот нетерпеливый человек с огромной, в девять человек, семьей умоляет отправить его на пароходе; ему не под силу ждать; он в сильнейшем нервном расстройстве. Он до того спешит, до того «не примает» во внимание никаких резонов, что односельчане, которые идут с ним, приходят просить заведующее переселенческим делом лицо уговорить этого нетерпеливого погодить *только* день.

— Все бы уж увместях! Как же так бросать-то своих? Куда же мы одни-то?

— А мне чего ждать-то? чего мне годить?

— Да дай хоть рассудить-то! Погоди!

— Рассуждай не рассуждай, идтить надо! Мне ждать не подходит. Отпустите, ваше высокоблагородие, сделайте божескую милость!

— Остановите его, ваше сиятельство! Как же мы-то? Уж увместях бы.

Это несогласие требует продолжительных толков и внимания к малейшим мелочам жизни этих людей. Часа два битых нужно доказывать выгоду того-то и невыгоду этого, урезонивать, усовещевать. В конце концов всегда оказывается, что обе стороны приходят к такому решению, которое выгодно для них обеих. Высчитывается, что ехать нетерпеливому человеку на пароходе невыгодно, приводится цифра платы за билет, за багаж и расходы на продовольствие. Доказывается, что, доехав до такого-то места на пароходе, далее необходимо ехать сухим путем и, следовательно, покупать лошадь. На покупку надобно просить ссуду и, следовательно, резоннее всего не спешить, купить лошадь и ехать всей партией на лошадях до места.

Но и на этом резонном соглашении дело не оканчивается. Положим, что переселенцы убедились, наконец, ехать на лошадях, — надобно похлопотать еще и о покупке этих лошадей, позаботиться, чтобы не пропали деньги даром, чтобы барышники не надули. Любопытное дело: в прошлом году прошли через Тюмень внутрь страны более восьми тысяч человек, которым необходимы были лошади. Полагая по одной лошади на десять душ, вот уже восемьсот голов; кажется, количество весьма почтенное для любого предпринимателя, занимающегося «лошадиной частью»? Между тем все эти лошади покупаются у местных жителей, изнуренные, искалеченные, в большинстве совершенно негодные к работе, еле способные дотащить ноги до места, да и то еще слава богу, если дотащат. Никто из промышленников не попытался здесь, на таком большом деле, даже и денег-то нажить с расчетом. Наживает деньги плут, надуватель, и наживает огромные деньги. С нетерпеливого мужика он дерет втридорога; 15 рублей цена молодой лошади, а барышник берет с переселенца за клячу 35 и 40 р. Нетерпение попасть скорее на место, не сидеть праздно, ехать — делает то, что и практический мужик постоянно попадается впросак при покупке лошадей у барышников; бывают случаи, и очень частые, что барышники продают *пьяных* лошадей. Накатит ее водкой, доведет до самого азартного настроения духа; нетерпеливый мужик не рассмотрит, отхватит ее «обем рукам» и, тотчас же отправившись в путь, скоро видит, что его надули, лошадь

ослабла, еле передвигает ноги. Чтобы избежать таких случаев и не задерживать человека на пути, не запутывать его новыми пособиями (ведь их надобно возвращать), надобно и лошадь-то видеть собственными глазами, и с продавцом переговорить, — не плутует ли? — и знатоков спросить, и тогда уже выдавать пособие на ее покупку. В большинстве случаев приходится, однакоже, при всей осторожности в этих покупках, приобретать товар весьма дурного качества.

Не всегда, однакож, урезонивается нетерпеливый человек. Я видел одного из таких нетерпеливых. Сговорившись не оставлять своих «курских» и ехать на лошадях, он, по счастию, в тот же день уже купил и лошадь и телегу. Нетерпение снова овладело им в еще большей степени, чем прежде. Едва он приехал с лошадью и телегой в барак, как тотчас же принялся таскать в телегу вещи. Валил он их как попало, один узел на другой, торопился и был весь мокрый от пота.

— Ребят-то куда ж посадишь?

— Эво, колько места ребятам!

— Да ведь на них свалится этот мешок-то! И этот!

— Авось нет!..

— Да постой, постой! — урезонивал его старый гвардеец-сторож (к несчастью, однако, «убивец», хоть и неосторожный), — не спеши ты, не суетись! Ты подумай, как ты ребят по жаре повезешь? Видишь, как палит? Ведь они огнем сгорят...

— Авось ничего... рядном... у баб есть!..

— У баб, у баб! Чего ж ты рядном их будешь кутать, и так жарко... Поди вон наруби хворостины, видишь вон у берега?

— Эво чего!

— Да ты не дури, бестолковый человек! Сделай кибиточку, накрой рядном-то... Долго ли сбегать нарубить? Чего ты как угорелый суешься? Надо толком справить, дорога дальняя...

— Справим и дорогой!

Так и не урезонили нетерпеливого, уехал, не подождав своих, даже ни на кого не оглянулся.

Бывали и не такие еще случаи нетерпения добраться до места. Рассказывают, что такие нетерпеливые просто-

напросто бросали в поле больных своих товарищей и даже близких родственников, а сами уезжали далее.

Нервное возбуждение, как следствие коренного переворота в жизни, играет в переселенческом движении не последнюю роль, особливо между женщинами. Переселенцы, неожиданно возвращающиеся на родину, не дойдя еще до назначенного им места и, стало быть, даже не попробовав жить на новых местах, в большинстве случаев делают это под влиянием нервного расстройства своих жен. Оторванная от всех привычных связей, родственных, соседских, оторванная от всех мелочей трудового дня, которые наполняли всю жизнь, лишенная в этой долгой, длинной дороге возможности жить всем тем, чем жилось и без чего все окружающее начинает только пугать неизвестностью и тайной, — нервная женщина впадает в припадок какого-то безотчетного испуга, страха; ничего не видит, не знает, не чувствует, кроме того, что оставлено дома, и той жизни, какая была там. В таком безотчетном ужасе она иной раз просто соскакивает с телеги, бросает детей и бежит, сама не зная куда, полагая, что домой, а за ней, в паническом страхе, бегут и мужики.

Как рассказывают, с женщинами бывали и другие, более потрясающие случаи. Одну такую женщину постоянно связывали веревками всякий раз, как она выходила из вагона или парохода. На переселенческой станции в Тюмени ее неустанно караулили, так как она только и думала о том, чтобы убежать домой. Рассказывали даже, что упорство ее не идти в Сибирь было так велико и непоколебимо, что когда на родине пришлось, наконец, двинуться из родной деревни в дальний путь, ее, бунтующую, должны были приковать к телеге. Рассказывают еще про одну девушку, которую родители отдали замуж, утаив от нее то обстоятельство, что семья, в которую она вошла, не дальше как через месяц уйдет в переселение. Не раскрыли ей тайны ни муж, ни мужнина родня. Неожиданность была для нее так велика, что она сразу как бы помутилась умом, таяла, как воск, и постоянно заливалась слезами.

Вообще переселяющиеся женщины возбуждают иногда глубокое огорчение за их положение и участь. Вот идут на переселение молодой мужик, баба и трое ребят.

Они переселяются форменным порядком; у них есть и увольнение от общества, и бумага, в которой точно обозначен пункт, на котором они поселяются. Они ходили, истратив все до копейки, и оставляли на родине старуху, мать бабы, с двумя ее внучатами от другой дочери, вдовы, также умершей, мальчиками двенадцати и девяти лет. На переселение матери, жены мужика, не было уже никаких средств; о ее переселении не хлопотали и не писали; не значится она в числе уволенных из общества, ни в числе причисленных к какому-нибудь переселенческому участку. Она решилась остаться дома, на старом месте, пока ее дочь и ее муж справятся на новом.

Но чем ближе подходил день разлуки с дочерью и зятем, тем жизнь старухи становилась мучительнее. Как она справится одна и на старости лет? Положим, что мальчик в двенадцать лет по теперешним порядкам — работник, и будет законтрактован, и деньги даст своим трудом, но ведь с отъездом дочери и внучат у нее оторвется от сердца все дорогое. И старуха не выдержала. Без всяких разрешений и бумаг собрала она что у нее было, последние остатки имущества, и, забрав своих мальчонков, уехала с дочерью и зятем в Сибирь. Не могла она расстаться с ними. Когда я увидел эту семью, отношения между семьей дочери и старухи были такие: она не отставала от дочери и зятя, не теряла их из своих глаз ни на минуту, но держалась как чужая, то есть не давала дочери малейшей возможности думать, что она сядет на ее шею. Зять же и дочь, так неожиданно испуганные выдумкой своей старухи и одолеваемые страхом трудности предстоящей жизни, также как бы не замечали своей матери, а может быть боялись расчувствоваться. Всю дорогу старуха сама вымаливала себе уступки в проездной плате, просила христовым именем и ни на шаг от своей семьи не отставала. Здесь же, в Тюмени, дело ее приняло крутой оборот, настала решительная минута: дочь и зять могут получить пособие (у них все по форме), а у нее нет ни денег, ни лоскута бумаги. Дочь может уехать, и тогда что же будет с ней?

Часу в седьмом вечера идет переспрос всех прибывших переселенцев и проверка их видов и бумаг. Дочери и сыну объявлено было приходить завтра за деньгами на покупку лошади. Когда шел об этом разговор, ста-

руха со своими внучатами стояла в стороне; когда кончился разговор, дочь и сын поклонились и ушли с своими ребятами, не смея сказать чего-нибудь о старухе. Тогда старуха вышла сама с двумя мальчиками.

— Как тебя, и откуда? — перелистывая список, спросили ее.

— Да меня, батюшка, нету в бумагах! Я без спросу ушла...

— Куда же ты идешь?

— Да я бы с дочкой хотела в одном месте жить, с зятем. Не дай ты мне отстать от них. Помоги мне, отец родной!

— Так есть у тебя зять, ты с ним и иди!

— Нет! Не возьмут они меня! Им самим невмоготу.... Им взять нельзя меня! А ты помоги мне, тогда я пристану к ним, не расстанусь!

Вот положение, не предусмотренное никакими существующими правилами о переселениях. Ушла сама без бумаг, добралась до Тюмени, идет куда-то, не имея определенного пункта для поселения, идет, побуждаемая только жалостливым сердцем, не смея и думать о том, чтобы отягчить собою трудное положение дочери.

— Помоги мне! Пусти с ними вместе... Помоги! Помоги, батюшка! Тогда они и сами меня возьмут!

Дело было понято и сделано так, что на следующее утро благодарить за него пришел уже старухин зять, для чего не поленился нарочно пойти в город.

— Благодарим покорно, васскобродие! Берем старуху нашу. Пишите ее к нашей семье, и с внучатами с ейными... Слава богу! И пускай уж все увместях!

А вот уж и совсем беспомощная женщина. Вдова с пятью детьми, из которых старшему десять лет. У нее была там, на родине, одна мужицкая, то есть платежная душа, и, след<овательно>, она имела «надел», и она поэтому переселяется по всей форме: и в списке значится и бумагу имеет, но она нищая буквально; кроме того, она больная, у нее все лицо покрыто какою-то густою, малинового цвета сыпью; она плохо видит больными глазами. Поистине страшно было смотреть на эту обремененную детьми, одинокую женщину. И какие славные были у нее ребята!

— Где же твои дети?

— А вон старший-то! Ваня! Подь сюда!

Старший мальчик, весь оборванный и босой, покраснел, как девушка: так ему совестно было выделяться из толпы и предстать в своем нищенском виде. Да! мальчик этот был и нежен, и симпатичен, и глаза у него прекрасные, словом, он был ничуть не хуже чем наш с вами, любезный читатель, родной сын, этот милый гимназистик, — только вон он не ел целый день, раздет чуть не донага, нет на его голове шапки, а на ногах сапог. А то он совершенно такой же милый мальчик, как и наш родной и любимый сын!

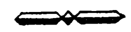
Немало и личной тревоги возникает на душе постороннего посетителя тюменских бараков, когда он хоть немного освоится с интересами толпы, наполняющей переселенческий двор. Здесь отношения его к крестьянину принимают совершенно иной характер и смысл, чем это было при обыденных отношениях барина к мужику. Никогда он не слыхал от него такого простого слова о его нужде и никогда не имел случая так просто, как здесь, расспрашивать его о его желаниях. В нашей обыденной жизни нет таких минут, которые бы мы могли исключительно посвятить вниманию к народной нужде, и видели бы, что разговор о помощи и о нужде не просто разговор, а действительная помощь, не пустое слово, а самое настоящее дело. И получаса таких разговоров совершенно достаточно для того, чтобы исчезла всякая возможность видеть хотя малейшую разницу в желаниях человека, так сказать, культурного, и желаниях и нравственных потребностях этого разутого мужика, окруженного кучей разутых ребят. Здесь (именно здесь и нигде больше) такой разутый человек, мужик, не пришел к «барину» наниматься, не продает барину дрова или поросенка, здесь барин не нанимает его за двугривенный принести то-то или отнести, наколоть дров или запрячь лошадь; здесь он находится просто в положении человека, исключительно заинтересованного делом общечеловеческим, и пред ним не мужик, не извозчик, не нищий, не ломовик, а точь-в-точь такой же человек, как и он сам, только барин обут, одет и сыт, а мужик голоден, бос и наг. Но в разговорах барина и мужика друг с другом оказывается, что оба они одинаково пекутся о детях, одинаково озабочены их судьбою, одинаково желают им

счастья, одинаково мучаются об их темном будущем, печалятся о семействе, о старухе матери. Оказывается, что оба они дорожат собственной совестью, честью, хотят жить «порядочно», чисто, словом, что они именно *родные братья*, никогда не встречающиеся в жизни при таких бескорыстных условиях, как здесь, на этом дворе тюменских бараков. Часто ли удавалось культурному человеку без всякой корыстной цели или без всякой личной надобности, но по простому указанию человеческой совести, приходить к простому бедному мужику и говорить ему:

— Тебе надобно помочь. Тебе трудно. Тебе надобно земли, лошадь; тебе нужно кормить-поить детей. На-ко, возьми эти деньги.

Никто из нас никогда этого не видал, а стало быть, и не знает, что значит видеть в этом босом человеке, в его босых детях, в изнуренной жене — наших родных братьев, точь-в-точь таких же, как наши, — детей, и точь-в-точь таких, как наши, — жен.

В обыкновенных наших отношениях никогда не придется нам испытать ничего подобного; никогда как братья, как люди с совершенно одинаковыми печалями жизни, мы не сходились так близко друг с другом и никогда не ощущали такой неправды в разнице положения. И вот почему до сей минуты не приходит желания «набросать» какую-нибудь «жанровую картинку», чтобы хоть немного повеселить читателя.



VII. РЕКА-ПУСТЫНЯ. — ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В ТОМСКЕ

Под вечер жаркого июльского дня, после восьмидневного почти непрерывного движения по реке Оби, пароход компании Игнатова, наконец, бежал уже по р. Томи, приближаясь к г. Томску.

Река Томь была действительно «река», то есть были у нее ясно видимые берега, и притом берега живописные, и виднелись по этим берегам кое-какие строения, в которых, очевидно, жили живые люди; все это говорило, что

бесконечная водяная пустыня Оби, без берегов и почти без признаков человеческого жилья, окончилась, что начинаются «жилые места», что скоро можно быть опять среди людей, которые «живут», а не только «едут», и думают и говорят лишь о том, что «много ли, мол, проехали?» да «скоро ли приедем?»

Всем истомленным впечатлениями пустынной реки пассажирам парохода нетерпеливо желалось поскорее очутиться в городе, в суете, в движении привычной городской жизни. Нетерпеливее и взволнованнее всех были, конечно, переселенцы, для известного числа которых в Томске должны были окончиться их скитальчества, так как участки, нарезанные им для поселения, находились от этого города сравнительно уже в недалеком расстоянии. Но и всякий иной проезжающий, купец, чиновник, ученый или просто турист-путешественник, не могли не ощущать удовольствия вновь попасть в обычную колею жизни, от которой оторвало их восьмидневное пребывание на этой пустынной реке.

Иногда кажется, что река Обь вовсе даже и не река: затоплено водою необозримое пространство леса. Из воды торчат верхушки деревьев, потопленных, вероятно, дремучих лесов, потопленных как будто бы парков, групп деревьев, одиноких деревьев, кустов. Кое-где видна крыша потопленного рыбацкого домишки. По временам, в два дня раз, видится церковка, также как бы стоящая на воде. В два дня раз пароход, идущий между этими верхушками затопленных лесов, древесных групп и одиноких деревьев, пристает к берегу, причем место причала всегда носит какое-нибудь географическое название, напр<имер> Сургут, Нарым, но на берегу нет и не видно ни Сургута, ни Нарыма, а лежат только тьмы-тем дров, заготовленных для парохода, стоит остяцкая юрта из березовой коры, да неподалеку от нее какая-то пустая хибарка с почтовым ящиком у запертой двери. В Нарыме, впрочем, на берегу выстроена церковь и есть лавка, да и город сравнительно недалеко; во всех же других пристанях, имеющих на картах каждая особенное наименование, ничего нет, кроме дров да штук пять торговок, неведомо откуда взявшихся с булками, молоком, рыбой, ягодами, а затем опять вода, потопляющая леса,

вода и вода целых двое суток, чтобы два часа иметь удовольствие видеть землю.

Действительно, первое время непривычно чувствуешь себя среди этой пустыни, но в конце концов выходит как-то так, что не можешь не быть благодарным судьбе именно за то, что она дала возможность «окончательно» прервать всякую связь с изнурительными впечатлениями действительности, дала возможность на целые восемь дней отстранить себя от всяких «злоб дня» и тем успокоила измаявшиеся нервы.

Чего стоит удовольствие сознавать хотя бы только то, что в географических картах река эта значится не в том полушарии, где живут господа Бисмарки и другие великие люди, и где огромный кулак, образующийся из дружественного рукопожатия трех монархов, германского, итальянского и австрийского, именуется эмблемой мира и всеобщего благополучия. Нет! Пароход Игнатова везет вас совсем в противоположную сторону от этого кулачища: впереди вас не Пруссия, не германская граница, то есть не загородь от дружественного союза, из которой уже высовываются сверкающие кончики штыков, а бесконечная тайга, обширность, тьма и духота которой не дают вашей мысли даже и тени возможности предположить в ней что-либо подобное дружественному против вас союзу. За тайгой рисуются страны, обитаемые народами мало ведомыми — китайцы, японцы. Дальше океан, а за океаном Америка, страна без Бисмарка и Буланже. Канцлер и три дружественные фигуры, заслоненные собственным триединым кулаком, уходят от вас куда-то назад, затуманиваются и, наконец, совершенно исчезают, забываются; тяжкое бремя тяжких мыслей покидает вас, и освобожденному хоть на время сознанию есть свободные минуты отдохнуть и побыть спокойным.

Иной раз и сама жизнь этих пустынных тайговых мест какою-нибудь неожиданностью отбрасывает вас от современности на такие непомерные расстояния, что потом и дороги-то к этой современности долгое время отыскать не можешь.

В Тобольске пришлось мне ждать тюменского запоздавшего парохода более шестнадцати часов.

Все это время я провел на пароходной пристани, где для проезжающих устроена комната. Три деревянных

дивана и два деревянных стола, выкрашенные красной масляной краской, — вот убранство этой каморки. Компаньонами моими в ожидании парохода были какие-то сургутские торговцы, люди мещанского типа и костюма. В Тобольске закупили они всякого товару и всего понемногу: керосину, чаю, сахару. И ничем бы они не привлекли моего внимания, если бы не следующий тайговый эпизод.

В ожидании парохода один из этих торговцев спал, другой «лечился» какой-то настойкой от живота: выпьет рюмку этой настойки и некоторое время сидит, открыв рот и охая, так эта настойка жжет ему все нутро, а потом и ляжет в изнеможении. Третий, младший, продолжал бегать на базар, который был близко, и покупал там, что могло бы пригодиться в Сургуте. Раз притащил ковер в два рубля, другой раз женское платье, шелковое, истрепанное, но отличнейшей работы. Платье это, вероятно, много перевидало на своем веку, пройдя от Парижа до тобольского базара, где какая-нибудь несчастная арфистка, оставшись без куска хлеба, сбыла его торговке за полтинник и дала этой торговке возможность нажить рубль. Сургутский мещанин тщательно рассмотрел это платье во всех отношениях и нашел, что оно пригодится его дочери, еще только двенадцатилетней девушке, чем и засвидетельствовал о размерах роста двенадцатилетних тайговых девиц.

Скоро возвратился он с новой покупкой; он принес трех живых стерлядок, купленных тут же у парохода с лодки.

— Пора уж и закусить! — говорил он, положив этих стерлядок на стол. — Хлеб есть, соли надо попросить!

Пока он ходил за солью, стерлядки прыгали по столу и как бы стремились уйти.

— Погоди, чего прыгаешь-то? — с солонкой в руках входя в комнату, говорил мещанин и подхватил готовую упасть на пол стерлядь. — Чего трясешься-то? Озябла? Вот я тебя сейчас погрею в теплом месте!

Он принялся будить сонного товарища и приглашал больного принять участие в завтраке.

— Поднимайся! Давай настойки по рюмочке. . . Вишь какая свежина!

— Почем? — спросил больной.

— Две копейки за тройку... Вставай.

Разговаривая так, он вынул из кармана брюк ножик, раскрыл его и... разрезал рыбе брюхо! Затем он вырвал внутренности, вынес рыбу, чтобы ее вымыть, и когда принес назад, рыба, хоть и зарезанная, обнаруживала еще признаки жизни.

— Сейчас, сейчас обогрею тебя, голубушка! Не торопись! Будешь в теплом месте!

Положив почти живую еще рыбу на одну руку, он другою зачерпнул соли и щедро посыпал ею рыбье тело. Она забилась.

— Постой, не дерись! Не будет обиды!

И затем он быстро отрезал часть стерляди у хвоста и стал ее есть.

— Как? — воскликнул я в изумлении. — Живую? Сырую?

— Очень просто!

Мещанин чмокал сырым мясом, чрезвычайно искусно снимая его зубами с оболочки рыбьей кожицы.

— Очень даже просто! Прямо едим живое мясо, кровушки тоже пососать очень приятно!..

Отхватив другой кусок от стерляди, в которой еще теплилась жизнь, он пососал этот кусочек, почмокал и опять искусно снял зубами сырое мясо с рыбьей кожицы.

Изумление мое при виде этого «живоеда» было, вероятно, до того велико и так явственно сказалось в тоне моего голоса, которым я произнес мой вопрос, что и другие живоеды, находившиеся в комнате, заинтересовались моим, очевидно, необыкновенным положением ошеломленного зрителя. Они с улыбкой смотрели на меня и говорили:

— Как же? Живьем едим! Сырьем... Ничего! А зимой и мясо сырое тоже едим... мерзлое, ничего! Нам это надо, нельзя нам иначе, такая наша жизнь!

А затем пошли разговоры и об этой самой жизни, из которых оказалось, что по местным условиям живоедство есть даже необходимость. Но хотя невероятное зрелище и получило, наконец, некоторое объяснение, все-таки впечатление получилось в высшей степени необычайное. Почти мгновенно я был перенесен мыслью в царство и времена ихтиозавров и летучих ящеров и потерял

всякую возможность, по крайней мере в скором времени, каким-либо родом добраться до понимания и ощущения самого себя в современных условиях жизни.

Совершенно иного рода впечатления испытывали переселенцы, всю дорогу поглощенные нетерпеливым желанием поскорее доехать «до места», до земли и до нового местожительства, и чем ближе пароход подходил к Томску, тем сильнее возрастало в них нетерпение. Томск для большинства переселенцев имеет роковое значение; здесь оканчивается дальняя дорога и предстоит только небольшой переезд до участка, отведенного переселенцу, и вместе с тем предстоит начало новой жизни, начало нового хозяйства на новой земле.

Истратив на переезд до Томска все средства как собственные, так и выданные в помощь от казны и от благотворительного комитета, множество переселенцев с полной уверенностью и без малейшего сомнения надеются, что в Томске-то именно и будет им дано настоящее пособие не в пять и не в десять рублей, а много побольше, так как на обзаведение и начало хозяйства много надо денег. Десять, даже тридцать рублей пособия — это едва только хватило на прокормление семьи и лошади или на харчи при переезде на пароходе; здесь, отправляясь на новые места, нужно иметь денег на всякую малость.

Но именно в Томске-то и ожидает этих мечтателей полнейшее разочарование. В 1888 году в Томске не было и благотворительного общества,[1] и все пособия шли единственно от г. Чарушина, бывшего тогда заведующим переселенческой станции. Г. Чарушин находился поэтому в том же беспомощном положении, как и сами переселенцы.

Имея в своем распоряжении не больше пяти-шести тысяч, он не в силах выдавать на семью более пяти руб-

[1] В настоящее время уже есть благотворительные общества и в Томске и в Иркутске. Последнее оказывает переселенцам небывало щедрую помощь. В три дня, с 23 по 26 июля, через Иркутск прошло 46 семей переселенцев, в количестве 276 душ, включая детей; в пособие им благотворит<ельное> общество выдало 2366 р.

лей, круглым счетом, причем и из этих-то денег должен был уделять немалую часть на ремонт бараков, не имеющих ни малейшего подобия с бараками тюменскими.

Переселенческие бараки выстроены в Томске второпях и попыхах. При начале переселенческого движения какой-то предприниматель, вздумав нажить на этом деле «деньгу», набил свой пароход переселенцами битком, препятствовал им покупать на пристанях харчи, поставил их в необходимость брать все съестное у него же на пароходе по ценам, невозможным для переселенцев. Результатом этих корыстолюбивых планов было то, что пароход привез к Томску озлобленную и ожесточенную толпу, полуголодную, почти разорившуюся и привезшую с собою несколько трупов как взрослых, так и детей. Томское общество, под живым впечатлением испуга пред неожиданным появлением в городе такой массы недовольного, измученного и голодного люда, поспешило кое-как устроить для него помещение и кое-чем ему помочь. Помещение, таким образом, могло быть устроено только наскоро, причем сделано, конечно, невольно множество недосмотров. Станция выстроена на низменном, болотистом месте; каждую весну оно все затопляется водою, так что теперешние бараки заливает чуть не до потолка,— по крайней мере двери заливаются доверху. Самые бараки сколочены из толстых досок и притом кое-как. При таких условиях никакие ремонты не поправят дела, хотя постройки, сделанные г. Чарушиным (баня, забор), не имеют с прежними постройками «кое-как» никакого сравнения. Сырость, неуютность, долго не просыхающие лужи на неровной, изрытой местности двора, все это требует расходов для очистки и осушки и все-таки не приводит ни к каким видимым результатам, кроме видимого потрясенья переселенцев, когда пятирублевкой, выданной г. Чарушиным, окончательно разрушаются все фантазии о начале новой жизни и окончательно делается ясным, что ни о какой иной помощи не может быть более и речи.

— Что ж это такое? — весь ослабевший от голода, усталости, а главное от испуга перед будущим, бледными губами лепечет иной мечтатель-переселенец, держа в дрожащей руке пятирублевку.

Он стоит как бы в столбняке.

— Это вы, очень просто, хотите нас, бедных людей, со света извести! Просторней будет! Очень это просто теперь оказывается нам!

Стоит только бросить эту мысль в толпу переселенцев, окружающую пораженного пятирублевкой бедняка, чтобы мысль эта тотчас же получила полное доверие толпы.

— Верно! верно, — слышится среди нее. — Кабы нас, бедняков, разорить вконец не хотели, *так богатых бы, а не бедных, на пересел-то заманивали!* Богачей надо бы переселять-то! у богатого есть деньги и всё есть! Сам может справиться на новом-то месте. А нашего брата подманивают богатеи только для подвоха. Только бы нас с места увести, а там подыхай, наплевать!

— Да и есть один чистый обман! Ежели бы не было подвоха, так нас всех бы надобно по этапу препроводить! Вот как надо-то, ежели бы по совести с нашим братом поступали! [1] По этапам едут на сменных лошадях, везде на ночлегах приют, пища и баня... Конокрадов и воров этаким-то манером предоставляют, а привезут на место, сейчас ему должны и земли порезать! Почему же мы-то должны христарадничать? Ни крова, ни хлеба, ни приюта! Дрожишь по ночам голодный, с малыми ребятами, в поле...

Вина падает, конечно, на «чиновника».

Глядя на эту несчастную пятирублевку, дрожащую в мозолистых руках взволнованного кровной обидой крестьянина, поистине не можешь надивиться, что на такое важнейшее дело не находится почти никаких средств. Переселенческое движение, принимающее с каждым годом все большие и большие размеры, есть дело государственной важности; оно тихо и мирно разрешает тысячи всяких неправд, отравляющих жизнь крестьянина; оно оживляет и оплодотворяет пустыни, дает место, труд и жизнь переросту народонаселения. Дело это жизненное, государственное. Каким же образом на правильную, серьезную постановку этого дела нехватает средств в нашем-то «обширном отечестве»? [2]

---

[1] Случай подобного рода рассказан ниже.

[2] Много потерпевший от затруднений переселенческого дела, г. Чарушин пришел к мысли о необходимости учреждения «пере-

VIII. ПОЕЗДКА К НОВОСЕЛАМ

Помимо разочарования в помощи и поддержке немало терпит переселенец и от того «плутоватого» человека, который во всех тех торговых местах, — от села до губ<ернского> города, — где есть базар, ухитряется влачить свое существование исключительно надувательством простодушного крестьянина. Здесь, в Сибири, плутоватый человек, предки которого большею частию не могут похвастаться хорошими фамильными преданиями, пользуется неопытностью крестьян-переселенцев с гораздо большею развязностью, чем на наших российских базарах. Обо всех затруднениях, переживаемых переселенцем от «плутоватого», пришлось услышать от одного из самых, повидимому, деятельных радетелей по делу именно утеснения нашего пришлого крестьянина, который, как бы даже похваляясь, рассказал без всякого стеснения все свои плутни с переселенцами.

Ознакомившись с переселенческою станцией и побывав у г. Чарушина, по совету и указанию последнего, я и один мой приятель поехали посмотреть на житье-бытье новоселов, поселившихся в сорока верстах от г. Томска года два тому назад.

Взяли мы у «дружков» пару лошадей и тронулись в путь, и всю дорогу наш ямщик (оказавшийся из «плутоватых»), молодой, здоровенный парень, с каким-то ухар-

---

селенческого банка», который может превратить скитальчество, голодовку и попрошайничество Христовым именем в плодотворную и трудовую жизнь. Всех владельческих земель в Европейской России, из которых могут быть делаемы покупки при помощи крестьянского банка, г. Чарушин насчитывает до 90 миллионов десятин. В то же время в одной только Томской губернии насчитывается земли до 70 миллионов десятин, из которых 20 милл. могут считаться вполне свободными и вполне удобными для новоселов. Затратив в Европейской России сумму примерно в 150 тыс. рублей, крестьянский банк может устроить около 400 семей, тогда как на ту же сумму в пределах только Томской губернии, по расчету г. Чарушина, может быть устроено более 700. Уже из одного того, что учреждение переселенческого банка оказывается неизбежным для лица, близко знающего переселенческое дело, можно видеть и понять, что такое значит эта несчастная «пятирублевка», стремящаяся отделаться от широкого и важного общественного дела.

ским удовольствием хвастался своими проделками относительно переселенцев.

Кстати здесь сказать: этот парень, при внимательном рассмотрении, оказался евреем, но чтобы узнать это, нужно было пробыть с ним очень долгое время, — сразу никак бы никто не догадался, что это еврей: ухарская развязность сибиряка, ленивая, чисто российская речь, все настоящие ямщицкие ухватки, все это было вполне неподходяще к тому, чтобы даже подозревать в нем что-либо не только еврейское, а хоть даже что-нибудь инородческое. Вообще надобно сказать, что евреев в Сибири множество, но все они обрусели почти до неузнаваемости. На всем протяжении пути от Томска через Омск на Тюмень самый богатый дом (иногда роскошный), самая богатая лавка непременно еврейские. Значительное число лиц, содержащих почтовые станции, евреи и еврейки. Обстановка их жилищ так отлично скопирована с жилища зажиточного сибиряка, что и в голову не придет сомнения относительно национальности обитателей этого жилья. Отсутствие в переднем углу образов довольно ловко заменяется другими аксессуарами жилья российского человека: портреты высоких особ, виды сражений и однообразные гравюры грубовато-немецкого юмористического содержания, словом, вся та живопись, которая выходит из одних и тех же коробов российских книгонош и коробейников. Взглянув на эту привычную для глаза живопись, проезжающий сам дорисовывает воображением все, что должно быть в переднем углу (где и цветы к тому же есть бумажные), и не сомневаясь делает крестное знамение, и только тогда, когда, напившись чаю, уходит из комнаты и, по сибирскому обыкновению, непременно должен нагнуться в низких дверях, замечает на притолоке двери какую-то стеклянную трубочку, точно тонкий термометр, а в трубочке видна бумажка с еврейскими буквами. Тогда только ему сразу становится понятным, что он находился в еврейском доме, и только тогда, начиная всматриваться в лица хозяев, он замечает в них что-то не совсем русское. Вот такой-то трудно разгадываемый тип обруселого еврея и был наш возница, но все, что он рассказывал нам по части надувательства переселенцев, к сожалению, не есть особенность исключительно еврейского умения

нажить деньгу даже на бедняке и нищем, ибо, как известно, надувательство не чуждо и нашим соотечественникам.

— Говорят, что сибиряки недовольны переселенцами, что они сердятся на них, зачем сюда идут, отбирают землю? — спросил ямщика кто-то из нас двоих, ехавших в тележке.

— Может, которые и сердятся, — лениво отвечал ямщик, — а для нас, томичей, как переселенцы покажутся, точно солнце засияет! Мы их очень почитаем...

— За что?

Помолчал ямщик и с сибирской развязностью и ленью в тоне голоса сказал:

— Глупы они! Вот это нам и приятно!

Наглость таких мнений ямщика совершенно терялась в той непринужденности его наглых мыслей, которые были в нем как бы врожденными.

— Будто уж они все такие дураки, как ты говоришь?

Ямщик улыбнулся, подумал и, обдумав свой ответ, повидимому, весьма тщательно, не спеша и с расстановкой каждого слова ответил:

— Они дураки по нашему, по сибирскому мнению... А так они, сами по себе — ничего! По-ихнему, по-российскому, они даже и не дураки... И работают хорошо!

— Хорошо работают?

— Д-да! Уж что касается работы, нечего и говорить! Мы так не умеем, да нам и не надо! Мы ленивые... Ну, а уж они так действительно работники! Так вот, кажется, и издыхает на работе. Мы к этому непривычны.

— А ведь вы, сибиряки, сильней и крупней наших мужиков?

— Мы действительно будем поогромней их. А что насчет силы, так, пожалуй, ваши-то лапотники и посильней нашего брата.

— Будто! Вы такие верзилы?

— Верзилы мы точно что верзилы, а что развязны от легкой жизни в суставах, это тоже верно! Пробовали наши с вашими на базаре бороться, и все за вашими верх... Право! Маленький, худенький, голодный, холодный, а как возьмется да изловчится, глядь, и опрокинул нашего верзилу. Нет, по своей части они ничего, народ понятливый, ну, а уж по сибирской ни аза не смыслят!

— Ну, например?

— Да и не знаю, каких и примеров-то вам представить, так они глупы... Идет мужик по дороге, подходит к нашему обозу и говорит: «Что, ребята, не видали ли моей лошади? Каряя? . .» Ну не дурак ли, позвольте вас спросить? Мы идем обозом в двадцать, тридцать подвод, и то у нас от воров объездной караулит, постоянно ездит особый человек вокруг обоза, смотрит в оба, чтобы не срезали места, не отмахнули лошадь с оглоблями. А этот разиня полагает, что вор пойдет с его лошадью по дороге! Кажется, должен бы глупый человек понять, что ведь нашему брату-сибиряку есть где спрятать его кобылу. . .

Говоря эти слова, ямщик указал кнутом направо и налево, то есть обратил наше внимание на дремучий лес, окружавший дорогу с обеих сторон.

— Ежели он этого не понимает, так его окончательно на всякой малости можно провести. Я вот сбыл им пять кляч таких, что на живодерню не возьмут. А я взял с них вдвое против цены за настоящую лошадь.

— Да неужели же они не видят, что ты продаешь клячу?

— На его-то глаза она не кляча. Это мы знаем, что она такое. А ему она оказывается, как орел! Потому он не знает наших уловок. . . Она лошадь обозная и за телегой всегда пойдет, хоть даже и при издыхании. Вот и просишь приятеля ехать впереди в то самое время, как идет продажа. Приятель едет как будто по своим делам; ваш мужик ничего не видит и не понимает; видит, что кляча бежит, — ему и любо. Купит, запряжет, а она ни с места. Ну, конечно, кое-как расхлещет, выедет за город, а там в поле и завоет с нею. . .

Наглые речи эти становились совсем скверными, но надобно было выслушать «плутоватого» до конца, и потому никто из нас, слушавших ямщика, не выразил открыто своего негодования.

— Да и хорошую-то сибирскую лошадь ваш мужик даже кормить не умеет. У него и хорошая лошадь свалится с ног на двух сотнях верст, а мы кормим так, что она пройдет у нас три-четыре тысячи верст и не только не похудеет, а еще того лучше станет, раздобреет, посильнеет втрое, станет втрое дороже.

— Как же вы это делаете?

Извозчик весьма подробно и тщательно объяснил нам способ кормления лошадей, практикуемый сибирскими извозчиками, перевозящими кладь на тысячи верст. Я боюсь, что не буду в состоянии подробно и точно передать этой оригинальной системы кормления, и заранее каюсь перед читателями, и в особенности перед читателями-сибиряками, в тех ошибках и неточностях, которые, я уверен, будут в моем пересказе. Сколько я понял, особенность кормления имеет конечною целью не истощить, а развить до высшей степени силы лошади. В этих видах лошадь, идущая в обозе, в первые дни выхода с места, где взята кладь, то есть в самое трудное для нее время, обречена сибиряком почти на полную голодовку, вследствие чего и должна, как бы в отчаянии, напрячь все силы своего организма, чтобы преодолеть непомерные трудности пути, В минуту такого всестороннего напряжения сил, ей на второй или на третий день дают самое малое количество овса и полведра воды; на следующий день прибавляют к этой порции еще овса и еще немного воды, и так постепенно поддерживают ее в неослабеваемом нервном напряжении, причем порция корма ежедневно увеличивается, и, наконец, лошади предоставляется есть, сколько потребует ее возбужденная сила. Эту-то непомерно развитую силу и задерживают сибиряки в лошади системою постепенно увеличивающегося корма до тех пор, пока количество корма не будет вполне соответствовать количеству развитой в лошади силы. Прежде она делала свое тяжелое дело, так сказать, «нервами», сибиряк поймал момент их наивысшего развития и количеством корма удержал это развитие сил в лошади навсегда. Теперь она идет сильная, здоровая, тогда как в начале шла нервная, голодная.

Вот как я понял уловку кормления ямщиками сибирских обозных лошадей. Система, как видите, жестокая, но все-таки довольно остроумная.

— А ваши накормят ее, набьют ей брюхо сеном и едут. Ей и так тяжело, но она еще больше устает от своего брюха, а когда она, пройдя верст двадцать, устанет совершенно, ее пускают на траву. Не понимают, что с такой устали и аппетита-то у нее настоящего нет, она жует лениво, вяло... Ее валит ко сну, а они опять ее

вялую запрягают. В этих делах они ничего не смыслят, это уж говорить нечего. Иная и хорошая лошадь, а измается с ними на второй сотне верст.

— Ну хорошо, — сказал я. — Этого они в самом деле не могут понимать; ну, а еще в чем они глупы?

— Да мало ли в чем? Он вот покупает телегу и не может рассмотреть, что *подосье* (железная пластина, вделанная во всю длину нижней части осей для крепости) не железное, а черемуховое, и покупает телегу, а она у него и ломается на пятой версте.

— Да почему же он дерева не может отличить от железа?

— Очень искусно подражаем под железо, не ему распознать этого дела. Мы делаем подосье из черемухи таким родом: выстругаем как железную пластину, обмажем сапожным варом и сушим в холодном месте. В жарком сушить нельзя, дерево вберет в себя сок и глянец. В холодном же месте оно засыхает с блеском. Да и вы бы сами, господа, не доглядели, дерево это или железо? Уж поверьте, умеем подражать бесподобно. Черемуху берем, мало впитывает соку. Ну вот, так и едет ваш неуч с деревянным подосьем. Конечно, потом опять воет!

Не знаю, осталась бы на этот раз или нет наглость нашего рассказчика без возражений, если бы приближавшийся поселок, привлекший к себе все наше внимание, не заставил совсем перестать слушать его разговоры, которые, к тому же, с самого начала пути постоянно прерывались под впечатлениями окружающей природы.

Что могла значить вся эта хитрая, плутовская механика сравнительно с прелестью того уголка, в котором, наконец, удалось-таки поселиться нашему российскому переселенцу, измученному и истомленному земельными безобразиями дома, трудностью и продолжительностью дороги и всеми затруднениями бедности, недостатков и незнания чужой стороны? Проходимцы могут его надуть, ограбить даже, разорить и вообще ужаснейшим образом затруднить его жизнь, — но раз *бог привел* ему добиться или уже просто только *доползти* до источника всей его жизни, до целебного ключа всех его скорбей и болезней, до «земельки», он вновь оживет, вновь соберется с си-

лами и умом, и даже памяти в нем не останется обо всех горестях пережитого, и тем менее о ничтожных надувательствах плутоватых людишек.

А вся та местность, по которой мы ехали к новоселам и среди которой они устроили свое поселение, была поистине прекрасна, даже роскошна. Подгородние около Томска места чрезвычайно красивы и живописны. Это какой-то бесконечный роскошный парк, раскинувшийся на холмистой местности, с просторными луговинами, заросшими густою и разноцветною травою, или желтеющий местами золотистым колосом пшеницы, ржи. Верстах в тридцати от Томска, кроме широкой линии дороги, пролегающей через этот парк, весь он изрезан проторенными, отлично укатанными проселками: это томичи проложили дороги к своим дачам, к заимкам, где живут в летнюю пору; на пространстве этих тридцати верст, и вправо и влево от большой дороги, в полночь и заполночь можно всегда встретить томичей, едущих на дачи или возвращающихся оттуда, из гостей. Все это пространство оживлено движением, а в пору нашей поездки было оживлено особенно, так как на лугах и на жнитве шла одновременная и горячая работа. Кстати здесь сказать: «поле» сибирского крестьянина не похоже на поле нашего российского земледельца; нет в нем этих разноцветных клеток на полях, квадратов, треугольников, зеленых и черных полос. Рожь и пшеница растут на луговинках, между несрубленными деревьями, там, где можно вспахать и засеять, не изнуряя себя трудом. Пашни имеют поэтому самые прихотливо очерченные границы; а иногда тут же, в поле, среди колосьев овса или пшеницы, своевольство не стесняющегося в своих хозяйственных фантазиях сибиряка-крестьянина помещает засаженную картофелем гряду, что для «нашего» пахаря составляет уже прямое нарушение полевых порядков и обычаев; а своеволец-сибиряк давно уже сказал себе: «что хочу, то и делаю», и мудрит, как ему угодно. Но хоть все это хозяйство и говорит, что в поступках сибиряка нет старания хорошенько походить и понянчиться с пашней так же, как нянчится с ней наш российский мужик, все-таки приволье, простор и вообще вся «благодать», окружающая вас,

несказанно радуют за участь изможденного «курской культурой» крестьянина. «Слава богу!» — думаешь о нем, видя, что он уже копошится на этих покрытых хлебом или травой луговинках роскошного леса. Правда, он копошится здесь пока еще как поденщик, но хоть и в этом нищенском положении, а все-таки он уже здесь, уже добрался до места. Узнать нашего «курского» весьма легко: если вы видите на работе человека высокого роста, в картузе, красной рубахе, черных плисовых или розовых ситцевых штанах и кожаной обуви, это — сибиряк. Если же перед вами мелькает во ржи какой-то маленький человечек, всегда без шапки, всегда в домотканной рубахе и вообще весь одетый, обутый и обмотанный в продукты всякого рода растительности: лык, мочал, пеньки, — так это наш, «курский», то есть существо, для которого жизнь «не пимши, не емши» сделалась почти патриотической обязанностью. Как же не радоваться за этого «курского» пахаря, когда видишь его в этом роскошном лесу и на этом неистощенном поле, под этими чудными, могучими кедрами, пышными и нежными, как липа, и развесистыми, как дуб могучий?

Скоро перестал болтать и разговорчивый ямщик, чем доставил нам еще большее удовольствие. Скоро торная дорога кончилась, и мы очутились в лабиринте новых, только что проложенных дорог; это были дороги, проложенные новоселами, пробиравшимися к новым, неведомым местам; они все еще заросли травою, и колеи их были некрепко наезжены. Путались они, очевидно, в этом лесу, много наследили, наколесили путей в разные стороны, и, подвигаясь по ним, надобно было пользоваться всяким случаем, чтоб расспросить у случайного прохожего или проезжего мужика, «как пробраться к новоселам?» Указания были всегда такие, что их надобно было твердо помнить:

— Будет тебе три дороги и по праву руку четвертая, и поезжай ты по середней: увидишь пень, и от этого пня поверни на леву руку, и т. д.

При всех усилиях общими силами запомнить все эти мельчайшие признаки верного пути, мы поминутно сбивались с дороги, так как на каждом шагу были и другие пни, и другие повороты, и еще новые, быть может, только сейчас проложенные колесами следы. Лес был густ, не-

тронут, девствен и молчалив. Рабочая суета большой дороги кончилась; пошли девственные, нетронутые места. Истратив на розыски поселка не один час времени, мы, наконец, были и обрадованы: между деревьями мелькнула на солнце новая, точно золотая, деревянная крыша, и лошади наши скоро добрались до загороди и до какого-то подобия ворот, а вместе с этим открылась перед нами и часть нового поселка.

IX. ПОСЕЛОК

Был пятый час летнего вечера. Большой овраг, начинавшийся по правую сторону от ворот загороди, был, очевидно, только что очищен от леса на самое незначительное пространство; неподалеку за этой расчисткой высокие, могучие деревья опять загромождали овраг по обеим сторонам и скрывали его дальнейшее направление. Войдя в загородь, мы осмотрелись, — не было нигде ни души. По другую сторону оврага, то есть по правую руку, на вершине холма стоял новенький, уютный домик, с цветами на окнах; он стоял один-одинехонек, еще и кой-как огороженный; но множество уже очищенных от коры жердей было прислонено к одной стороне его крыши. Ни единой живой человеческой души не было около него; не лаяла даже собака. По левую же руку от нас было, очевидно наскоро, выстроено несколько землянок; над землей возвышался сруб бревен в пять, не больше, с маленькими оконцами; сруб этот был покрыт дерном, положенным плоско, на накат из жердей, служивший потолком этих землянок. И здесь также не было видно живой души. Кроме этих построек, как раз против ворот загороди, шагах в пятидесяти от нее, стояла буквально «избушка на курьих ножках, на веретенных пятках»; квадратная, без крыши и с неопиленными углами сруба, она имела всего одно оконце, притом рама была вставлена в него боком, чтобы было окно подлинней, хоть и пониже. Но и тут был уже виден в окне цветочек в горшке. Вместо

крыльца лежали камни, по которым обыватель мог «влезать» в свое жилище, а не входить, ибо этот квадратный домик своими четырьмя углами стоял на четырех довольно высоких столбах. Очевидно, со временем будет сделано, по сибирскому обычаю, подполье, но теперь его нет, и дом стоит на четырех «курьих ножках». На двери его висел замок, и кругом все было тихо. Курица, однако, уже бродила вокруг «избушки на курьих ножках».

Оглядывая местность, постукивая в окна пустых жилищ и окликая пустынное пространство, мы не получали никаких благоприятных результатов и были даже в некотором разочаровании: на поселке должно было быть поселено сто восемьдесят семей; он существует уже три года. Неужели эти три полуземлянки, эта избушка на курьих ножках и этот хоть и хороший, но единственный жилой дом, неужели это все, что достигнуто переселенцами в течение трех лет?

Недоумение наше продолжалось, однако, недолго: близ ворот загороди показался крестьянин, также, очевидно, не сибиряк: рубаха и прочая снасть были домотканной работы, белые, холстинные, но не было в этом крестьянине чего-то и специально «курского». Рассмотрев его поближе, оказалось: борода выбрита, на голове картуз, а рубашка вправлена в штаны, все это *не наше*. У нашего и борода есть, и рубаха навыпуск, а шапки, по обыкновению, почти всегда нет, по крайней мере в работе. Познакомившись с этим крестьянином, мы с двух слов узнали, что он чистокровный поляк; что в избушке на курьих ножках живет томская мещанка, дети которой построились тут же, только в другом месте, и что в хорошем доме, на правой стороне оврага, живет «кержак». Этого короткого знакомства с поселком было уже достаточно для того, чтоб заинтересоваться его будущностью: коренные сибиряки, коренные кержаки и коренные поляки сошлись на одном поле, все одинаково начинают жить трудами рук своих на новых местах.

Но нам более всего хотелось видеть *наших* «мужиков», которых здесь было много. Поселенец-поляк взялся указать нам дорогу к русским, и мы пошли вслед за ним, а за нами поехал ямщик, тщательно и с любопытством всматривавшийся в окружающее и, видимо, заинтересованный

им. Начало новой жизни в новых, девственных, чистых, как ключевая вода, впечатлениях окружающей природы осенило как бы каким-то светлым веянием и эту оплутевшую душу. Впоследствии это осияние оплутевшей души было как нельзя лучше доказано совершенно случайными обстоятельствами, о чем я своевременно и расскажу. Теперь же пойдем за нашим проводником.

Путь наш шел таким образом: спустившись в овраг, мы стали с трудом подниматься на возвышенность, обставленную высокими деревьями, и здесь, на площадке, увидели несколько домов опять-таки польских поселенцев. С площадки опять стали спускаться в долину и в уголке ее опять заметили одинокий домик какой-то кержачихи, и опять «с горки на горку», пока наш путеводитель не распрощался с нами около своего, как у всех, неогороженного дома. Оказалось, что хотя путеводитель и разъяснил нам дальнейший путь, но исходным пунктом для дальнейшего следования принял свой собственный дом, который, к сожалению, отстоял от нашего русского поселения на весьма далеком расстоянии. Нам пришлось с полчаса колесить по задам русского поселка, пока мы, наконец, не заслышали крика петуха, лая собаки, блеяния овцы и не почуяли, что *наши* тут, где-то близко, а судя по «хоровому» началу, слышавшемуся в обилии куриных и овечьих звуков, не могли не ощущать радости при мысли о том, что наконец-то мы увидим жилое место, а не одинокие домики в лесу.

И скоро под горой, заросшей величественными деревьями, между которыми было уже много срубленных, очевидно на постройку, в просветах леса замелькали крыши, засверкали новыми стенами два-три десятка новых построек, и перед нами, наконец, открылась «улица», наша, российская, широкая. Она еще плохо и редко застроена, но уже и в том, что есть, — видно что житье пойдет здесь «на миру»: все будут жить на глазах у всех, все будут знать всех и всякому будет про всякого известно все.

Вот именно эта-то разница в тоне и строе домашней и общественной жизни всех тех разнохарактерных типов переселенцев, которые волею судеб обречены были составить здесь, на чужой стороне, одно общество, эта разница

и трудности, из нее вытекающие, и были предметом нашего разговора в первом из переселенческих дворов, где мы остановились пить чай.

Надобно сказать, что все выстроенные новоселами дома ясно свидетельствовали, что выстроились только люди состоятельные, переселенческая беднота пока еще гнездилась в амбарах и пристройках к этим богатым домам. Первый дом (где баба, за отсутствием мужиков, не приняла нас напиться чаю и указала на соседей), хоть и не был огорожен как следует, был, однако, очень просторный, уютный и на дворе имел флигелек, который отдавался в наем пришлым переселенцам; точно так же и следующие постройки говорили об известного размера состоятельности их хозяев. Особенно был типичен, в отношении обилия домашнего трудового разнообразия, тот дом, в котором мы остановились пить чай.

Здесь также не было хозяев, они были на работе. С кучею малых ребят, девчонок и мальчишек, оставлен был мальчик лет двенадцати; просьбу нашу о самоваре он тотчас же удовлетворил самым простым ответом:

— Идите, напою!

Покуда наш юный хозяин ставил самовар, мы пошли осмотреть двор. Он был не вполне устроен; для скотины не было еще помещения, за исключением кой-какого навеса, забросанного сверху клочьями соломы. Но в то же время чего-чего не было уже проявлено здесь по части человеческого труда и мастерства, в промежуток времени не более как в два-три года!

Дом этот стоит на краю небольшого оврага, в низине которого была врыта кузница. Самая печь находится в помещении, вырытом под землей и защищенном сверху толстыми пластами дерна; около кузни станок для ковки лошадей, точило для кос и наковальня.

Поднявшись от кузни наверх и обойдя дом, мы сразу нашли две мастерских, токарную и тележную; делают колеса как городского фасона, так и для деревенских телег. И как вся эта механика умно придумана! Токарный станок устроен так: в левый угол маленькой каморки воткнут крепкий березовый сук, воткнут так, что тонкий его конец сильно напирает под потолок; к этому тонкому

концу привязана веревка, которая, спускаясь вниз, плотно обвивается вокруг куска дерева, который надобно обточить на токарном станке, и, обвившись, падает ниже станка, где образует петлю. Вставив ногу в эту петлю, токарь пригибает веревку книзу, веревка плотно обтягивает предмет (вследствие того, что березовый сук тянет ее кверху), и дерево поворачивается. Отпустив на мгновение ногу, токарь дает волю березе, которая вздергивает конец веревки к потолку и таким образом опять поворачивает дерево. Для более же быстрой работы над кусками дерева большого объема устроена в другом флигельке другая мастерская. Там устроено вращаемое руками колесо; перекинутая с него веревка обращает малый вращающийся винт, на котором навинчен кусок обтачиваемого дерева. При этом аппарате кусок обтачивается «кругом»; при том же, который описан выше, его можно обточить сначала только с одной стороны, а потом уже и с другой. Стан колес стоит в Томске рубль; приведенный же в окончательный вид, то есть превращенный в настоящее колесо со втулкой и спицами, он стоит от четырех до шести рублей. Много во всем этом самой хитрой механики, «выдумки», и если к этому мастерству прибавить всю многосложность земледельческого труда, то поистине нельзя не позавидовать разнообразию и интересу той *трудовой жизни*, которая наполняет этот «мужицкий» дом.

Осматривая все эти «механики», мы познакомились с двумя крестьянами-вятичами, которые только что пришли в поселок и жили в описываемом доме на квартире. Они тоже были мастера «по этой же части», то есть по токарной и столярной, но один из них был, кроме всего, мельник; мельничное дело он знал до тонкости и задумывал устроить мельницу. Бабы этих вятичей были на работе; мужики работали в токарных мастерских, а дети бегали и играли с хозяйскими детьми под начальством того двенадцатилетнего мальчика, который ставил нам самовар. Познакомившись, все мы сели на бревне, валявшемся на дворе, и мало-помалу к нам стали подходить кой-кто из поселенцев.

Пришел старый-престарый человек, переселившийся вместе с детьми, образовавшими уже две новые семьи. Он пришел сюда уже не для работы, а просто дожить

век при своих детях, и будучи близостью конца жизни поставлен в необходимость быть только беспристрастным зрителем того, что творится перед его глазами, он нахвалиться не мог всем, что видел его потухавший взор.

— И в мыслях-то всю жизнь не было, чтобы этакую благодать господнюю увидать! *И заспать не заспишь,* сколько я господу благодарен!

Трудно было понять глубину благодарности к богу, выраженную словами «заспать не заспишь». Но подумав и сообразив, что такое сон трудового человека, можно понять и размеры того душевного волнения, которое не дает этому утомленному человеку сомкнуть глаз. Известно, что наработавшийся мужик может спать таким «мертвым» сном, что о пожаре своей избы догадывается только тогда, когда огонь схватит его уже за бороду, за ноги и за рубашку. Каково же должно быть его волнение, возбужденное в нем благодарностью к богу, когда он, в ту минуту, когда бы ему следовало спать «мертвым» сном, не может сомкнуть глаз? Господь так неожиданно посетил его, наградил его таким счастьем, что в трудовом человеке исчезла возможность хоть на минуту забыть эту необыкновенную «милость», и даже сон, в котором он может забыть самого себя, и тот покинул его, уступив место непрерывному ощущению благоговения перед необыкновенным милосердием.

Все здесь кажется этому старику удивительно прекрасным, и мысль его не только не в силах найти во всем видимом какого-нибудь недостатка, но, очевидно, не в силах воспринять и того, что̀ в видимом так неожиданно хорошо. Что касается до молодого поколения мужиков, так или иначе отведавших уже не крепостной жизни и имевших соприкосновение со школой и книгой (все это, да знает читатель, далеко не бесследно отразилось уже на поколении «освобожденного» народа), то они хотя и веселы и рады, что попали действительно в хорошие места, лучше которых и в самом деле ничего не надо, но кое-что уже критикуют, хотят сделать поудобнее, на свой образец, и уже желают кой о чем «ходатайствовать». Так, оказывается, что невозможность совместного сожительства великороссов, кержаков и поляков составляет одну из главнейших забот всех

трех различных типов людей, живущих трудами рук своих.

— Ежели бы мы, российские-то, отдельно от них жили, у нас бы все дела в полчаса решались. Загородь, плотина, да что угодно, все бы одним духом: собрались, порешили, рассортовали народ по очередям, ан дело-то и готово! А тут как придут поляки да кержаки, да всякий тянет на свою сторону, как ему лучше да приятней, так бывает, по шести ден галдим, а все толку нет!

— Да кержакам и полякам тоже неохота по нашему-то вкусу жить!

— Кому охота!

И, вероятно, никакого «толку» действительно и не будет, так как самого поверхностного внимания к каждому из этих *крестьянских* типов вполне достаточно для того, чтобы чувствовать их огромную нравственную друг от друга отчужденность.

Все они *одинаково* пашут, косят, сеют, возят навоз, но все они уже совсем неодинаковы прежде всего по внешнему виду; *наш* — босиком, без шапки, плохо вымыт, плохо чесан; двенадцатилетний сын *нашего* не всегда замечает, что ему давно бы пора утереть свой нос и вымыть по крайней мере хоть одну щеку, если не все лицо, еще «со вчерашнего» сохраняющее следы падения с лошади в грязь; и тот же двенадцатилетний мальчик-поляк, такой же крестьянин, и одет чисто, и острижен, и шапка на нем такая, как у всех городских людей. В пиджачке, высоких сапогах он делает крестьянское дело и как-то так обходится с собой, что ему не надо говорить: «и когда ты нос-то утрешь?» Такой же самый крестьянский мальчик-кержак, не похожий ни на полячка, одетого почти по-городски, ни на мужика, почти совершенно раздетого, носит на себе также своеобразный отпечаток: он одет в хороший, крепкий, чистый русский костюм, и вообще внешность его чрезвычайно опрятна и благообразна. То же разнообразие и во внешнем виде взрослых поляков и кержаков, и в особенности женщин и девушек. Когда мы приблизились к дому поляка (который указывал *нам* ту дорогу, какая для *него* была ближе), к нему, одетому в одну рубашку и порты работнику, выбежали навстречу две девочки, десяти и двенадцати лет, одетые чрезвычайно опрятно, причесанные

по-городски, обутые в крепкие, хотя и грубые, башмаки; они работали в огороде и, следовательно, делали то же крестьянское дело, как и наши *девчонки;* но вот девушки такого же возраста у *«наших»* действительно уже не девушки, а *девчонки*: в одних рубахах, с растрепанной косичкой, босиком и с грязными ногами. Через три-четыре года они будут уже женами, и их дети будут ходить так же босиком, с раздутыми животами, как и сами они. Опрятность и чистота кержацких женщин также ни в какой мере несравнима с нашими, но зато нет у них и веселья, песен, «горелок». Деньги, как подспорье к земледельческому труду, всегда имеющиеся, как известно, в некотором количестве как у раскольников, так и у поляков (которые идут не иначе, как продав свой лоскутик земли на родине за хорошую цену), конечно, имеют большое значение во внешнем благообразии жизни, но кто же не видал мужиков прямо *богачей*, семьи которых однакоже погрязают в неопрятности, не хуже самых бедных крестьянских семей, где человек, именуемый *«савврасом»*, вовсе не редкость, и где внимание к собственному носу савраса пробуждается в последнем не иначе, как вследствие хорошего «леща», данного родителем без церемонии и даже при гостях.

Причина разнообразия во внешнем и внутреннем образе жизни людей, живущих совершенно в одинаковых условиях земледельческого труда, заключается именно в нравственном содержании жизни каждой отдельной *личности* этих групп. Разницу в содержании и качестве личной жизни нашего крестьянина и крестьянина-кержака можно очень ясно видеть из наблюдения, сделанного покойным Кельсиевым при изучении им раскола. Однажды ему пришлось поздней ночью заехать в такую деревню, в которой (он заранее знал это), кроме православных крестьян, живут еще какие-то инородцы, до сего дня сохранившие еще многие языческие обычаи и неряшливую простоту образа жизни полудикого народа. Желая ночевать непременно в доме православного крестьянина, он въехал в деревню, остановился у первого дома, постучал в окно, и, когда в нем показался человек, Кельсиев спросил его:

— Что, скажи пожалуйста, здесь *христиане* живут?

— Нет, батюшка! — с какою-то жалобною нотою в голосе отвечал ему мужичок, — *мы церковные!* Нам *этого* некогда! Над нами барщина!..

Этот крестьянин как нельзя лучше характеризует свое слабое соприкосновение с делом веры. Ему недосуг быть настоящим христианином; на нем лежит такая масса физического труда, что ему в пору только по большим праздникам побыть в церкви, поставить свечку, причаститься, повенчаться, окрестить ребенка, похоронить мертвого, и вообще за трудовым недосугом он едва-едва в состоянии исполнить только церковный обряд. Сравните теперь эти размеры духовной жизни, едва возможные для человека, поглощенного трудом, с размерами личной духовной жизни кержака. Для него труд в поле, труд в обозе, в лавке только средства для жизни *в доме*, для удовлетворения потребностей, требуемых его нравственными *убеждениями*. Мало того, что образец своей личной жизни он берет из книжных указаний, в которые, несомненно, верует твердо, но и всякую малость домашнего личного обихода (вплоть до употребления в пищу того или иного животного) исполняет также всегда «по закону», или по крайней мере всякую малость стремится исполнить непременно по закону. И чтобы не кривить душой в своих убеждениях, он всеми мерами старается оградить их от всякого на них посягательства таких порядков жизни, которые он считает решительно враждебными святыне его души. Кроме идеала личной жизни, он лично живет еще и борьбою с врагами этого идеала, изобретает средства уйти, схорониться от этого врага и, следовательно, кроме личной жизни, согласно только личным убеждениям, живет еще критикой несогласных с его идеалами порядков. «Антихрист» олицетворяет для него всю враждебную его совести летопись фактов, накопленных в осуждение неправильной жизни его предками в течение целых столетий, и весьма точно очерчивает малейшие попытки внешних влияний помрачить его жизнь, совратить с праведного пути и погубить.

Человеку, в котором личность и личная жизнь *не главное*, а еще пока второстепенное дело, не на чем сойтись с человеком, для которого *главное-то* и заключается в личной жизни, по убеждению, по указанию *своей*

мысли. Связь на купле и продаже может быть между кержаком и церковным, это связь товара и рубля; но общей жизненной, духовной связи и между ними быть не может: кержак сердито смотрит на церковного, а церковный не любит и не понимает сердитых вообще, а тем более «сердитых христиан». Если же ничего общего между собою не найдут такие, повидимому друг к другу близкие, люди, как раскольник и православный, то оба они не найдут ни малейшей нравственной связи с поляком, как и поляк с ними.

Личная жизнь поляка обильна семейным, биографическим материалом ничуть не менее, чем личная жизнь кержака.

В этом сундуке, приехавшем в Сибирь чуть не с австрийской границы, хранятся такие семейные «реликвии», о которых нельзя забыть всю жизнь и которые дают *фамильную семейную особенность* почти каждой польской семье всякого звания и состояния, по тем или другим причинам поселившимся в Сибири. Этих реликвий совершенно достаточно, чтобы около них сосредоточивался центр главнейших личных интересов, исходный пункт взглядов на все отношения к окружающей среде. Оборона убеждений, о которой свидетельствуют семейные реликвии, не похожа на оборону убеждений кержака, который прятался в дебрях от врагов, а частенько и деньгами откупался. Не могу сказать, так ли сильна и в польской крестьянской семье критика общего строя жизни, как сильна она в кержаке, в его тонком изучении всех примет антихристова пришествия и всех хитроумных антихристовых проделок; но что предания семейные, фамильные, составляют в польской семье центр жизни и весьма достаточны для того, чтобы личная жизнь польской семьи и польского дома была полна ими, в этом, кажется, не может быть никакого сомнения.

Таким образом, вся личная жизнь, все личные интересы, общественные и исторические идеалы у всех этих, повидимому одинаково трудящихся, людей совершенно разнообразны и решительно недоступны пониманию ими друг друга. Кержаку решительно невозможно иметь с поляком какие бы то ни было нравственно одинаковые стремления и цели, точно так же как и поляку семейные предания не дают даже и нити к какому-нибудь нравствен-

ному товариществу с кержаком, с церковником, государственным, так сказать, человеком. И я не сомневаюсь, что *опыты* слить в одну сельскую общину такие неподходящие элементы, — кержака, церковного и поляка, не приведут ни к каким благоприятным результатам. Сколько я знаю, и сейчас уж идут ходатайства о том, чтобы начальство расцепило, так сказать, этот подневольный союз совершенно не подходящих друг к другу людей и порядков их жизни.

Русские, которым отведены места в другой колонии, почти сплошь населяющейся поляками, ходатайствуют о перемещении их к «своим»; кержаки ходатайствуют о том, чтобы к ним причислили побольше «ихних людей», а поляки, конечно, жаждут быть также в своей среде. Если же «опыт» слияния не подходящих друг к другу элементов удастся хотя бы и в слабой степени, то дело это будет воистину необычайным.

Во все время нашего пребывания в поселке «плутоватый» человек неотступно следовал за нами; все, что видели и на что смотрели мы, видел и он; все, о чем мы говорили, он слышал, и слушал все с особенной внимательностью. Его развязная, базарная разговорчивость совершенно его покинула; среди босых мужиков, он, по-городски одетый ухарь, примолк и вообще, очевидно, стеснялся и конфузился. Пробовал было он иногда вставить в разговор какое-нибудь развязное словцо, но оно всегда было совершенно никем не только не понято, но даже и внимания ничьего не обращало.

Весь обратный путь он упорно молчал и, очевидно, о чем-то крепко думал. По приезде в Томск я его уже не видал, но случайно очень обстоятельно узнал о том, что поездка к новоселам произвела на него самое образумливающее впечатление.

Простившись за рекою Томью с моими милыми томскими знакомыми, я выехал «на дружках» дальним конным путем в Россию. Возницею моим был тощий, сгорбенный, истощенный старичок, в рваной шляпе городского фасона, торчавшей на затылке. С полпути между Томском и первой станцией старец этот вступил со мной в разговор.

— Это мой сын возил вас тогда к новоселам! — Старец обернулся ко мне, и я тотчас же узнал в нем самого кровного еврея.

— Как уж он хвалил! — продолжал старец. — И жена моя давно-давно уже просила меня бросить наши занятия, уйти жить в деревню... А сын мой, наглядевшись на жизнь новоселов, так ее расстроил, что она захворала... Плачет теперь. Отдохнуть хочет в крестьянской жизни. Измаялись и измучились мы с ней, а ребята все исплутовались.

С большой скорбью рассказал он всю свою жизнь. В молодости он хотел принять православие, но отец, заметив это, немедленно поспешил его женить на дочери своего компаньона по какому-то предприятию, кажется винокуренному заводу.

— Мне было лишь семнадцать лет, как он меня запер в тюрьму.

— В какую тюрьму? за что?

— То есть просто сказать — женил. Дети у меня пошли каждый год. Мне вот теперь едва сорок лет, а я измучен заботами как восьмидесятилетний старик!

Режущие душу впечатления производили эти сообщения еврея о своей семейной жизни. Было до глубины души омерзительно, что он и теперь, на старости лет, отзывался о жене как о тюрьме.

Но он, повидимому, не сомневался в преимуществе своего страдания и продолжал.

Скоро после женитьбы отец его разорился, проиграл какое-то дело, вышел из компании и тяжко заболел, и женатый сын, уже обремененный своею семьей, должен был кормить его всякими средствами до самой смерти. В то же время его компаньон сошелся с другим сотрудником и процветал; и в то время, когда жена его превращалась в поденщицу, в мужичку, и растила ребят своих для всяких мужицких промыслов, извоза, разносной торговли, ее сестры, одна за другой, шли совсем иной дорогой: в родне матери плутоватых ямщиков оказались профессора, инженеры, доктора, что, конечно, отдалило всех счастливых родственников от плутоватых родственников-ямщиков на неизмеримое расстояние.

— Плачет, плачет моя жена! Хотя умереть просит в деревне, на воздухе, в честном труде... Что делать? Я и сам знаю, что это хорошо!

До конца пути он печалился о своей жизни, о своей загубленной жене (и все-таки загубившей его), о своих исплутовавшихся детях и не мог забыть насилия, сделанного над ним в ранней юности его родным отцом. Деревня, крестьянский труд казались ему истинным и единственным спасением и облегчением от всех его и всей его семьи унижений и страданий.

— А что, если я осмелюсь, пойду к «чиновнику», попрошу его?

— Пойдите, быть может и в самом деле он поможет вам.

— Но ведь я еврей? Ведь «жид»! Меня истеребят мужики!

— Мужики не тронут доброго человека, но не знаю, дают ли евреям землю.

— Все-таки я попробую... Хотя месяц пусть отдохнет на свежем воздухе моя больная жена.

Не знаю, что предпринял этот бедный еврей, но знаю, что такой необыкновенный, образумливающий плутоватого человека переворот во взглядах на успех в жизни, какой произошел с ямщиком, сделали светлые впечатления недостроенного поселка.

X. ХОРОШЕГО ПОНЕМНОЖКУ

Приводя в некоторый порядок как личные впечатления, вынесенные из непосредственных наблюдений переселенческого дела, так и мнения людей, близко к нему стоящих, и, наконец, припоминая по возможности все, что можно было почерпнуть относительно этого дела из сведений, сообщаемых сибирскою печатью, в конце концов опять-таки приходится сказать, что в переселенческом деле хорошо только то, что делается главным образом в Тюмени и частию в Томске.

Не знаю, кого из заведующих переселенческими станциями должны благодарить переселенцы прежде всего за прекращение канцелярской волокиты по их перечислению из великороссийских волостей в сибирские. Я уверен, что оба они одинаково участвовали в этом прекрасном деле и одинаково ходатайствовали перед высшим начальством о сокращении переписки с волостными правлениями и прочими захолустными властями; в настоящее время всякий бедный человек, явившийся в Сибирь, но непременно только на одну из упомянутых станций, не будет истощен ожиданием каких-то бумаг, не будет отправлен по этапу, словом, не будет жертвою педантических капризов «бумаги», но, по возможности, получит все, что ему надо, то есть главным образом будет знать, что в известном месте для него, бедняка, отведен клок земли.

Не знаю также, кому принадлежит почин в ходатайстве о сложении с переселенцев арендной платы министерству государственных имуществ. До назначения гг. Архипова и Чарушина переселенцы платили аренду за казенную землю, на которой они селились (по 18 к. за десятину), и, как причисленные к какому-нибудь сельскому местному обществу, платили наравне с ним и все лежащие на членах повинности. Теперь они платят только казенные повинности, а арендной платы не вносят. Я знаю, что об этом долго, много и настойчиво хлопотали оба лица, заведующие переселенческим делом, и хлопоты их оказались успешны. Затем, все что требует, помимо надела землей, переселенческая нужда, невзгода, непредвиденные на чужой стороне случайности, все это по возможности удовлетворялось, было предметом самого тщательного внимания этих лиц, и все это опять-таки заслуживает самой полной и всеобщей благодарности.

Но если вы представите себе, что Тюмень и Томск суть единственные светлые точки на всем огромном протяжении огромных пространств, которые переходит переселенец, то вы увидите, как мало всего этого для того, чтобы переселенческое дело стало действительно делом, и какая масса хлопот лежит на плечах лиц, которые этим делом заведуют. В Тюмени г. Архипову помогает, кроме имеющихся у него средств от казны, частное общество,

но общество это может располагать очень и очень скромными средствами.[1] Прошлую зиму в Салтаминской деревне, близ Тюкалинска (Тобольской губ.), *девяносто* семей переселенцев находились в самом бедственном положении. Приехав туда осенью, они жили в землянках, даже лаптей не имели, и от продолжительного голода *так ослабели, что не могли даже просить милостыни.*[2] Г. Архипов помог им; но мог ли он сделать это как следует для девяноста семей, в которых народу должно быть около четырехсот человек? Средства, которыми он располагает, до крайности незначительны; а ведь таких случаев *ослабения* наверное бывает не один в течение зимы. Говорю «наверное» потому, что известия о подробностях жизни переселенцев доходят до общества только случайно, — найдется добрый человек и напишет корреспонденцию. А не найдись человека, умеющего держать в руках перо, бедные голодающие не найдут возможности даже и заявить о своем положении. Уже одно то, что они поселяются на новых, *нежилых* местах, становит их в положение слишком одинокое и заброшенное.

В Томске, где не было общественной помощи, дело было еще труднее. Около 26-го июля 88 года, на берегу Томи, «начиная от полицейской будки, что у моста, вплоть до пристаней, то есть на расстоянии не менее полутора верст, разместились целым рядом переселенческие таборы. Народу скопилось до трех тысяч человек, а на этой же неделе ожидается еще две тысячи человек. 22-го июня, после 15 суток пути (от Тюмени, то есть вдвое

[1] В отчете этого общества с 1-го ноября 1885 г. по 1-е ноября 1886 г. показано, что, дав приют и помощь 5712 чел. (в том числе 2296 детей), оно могло израсходовать из своих средств (2012 р. 63 коп.) всего 1180 р. 22 к. (28 больных были приняты в больницу, а 302 человека получили лекарства). Кроме этой крошечной суммы на такую кучу народа, обществом было роздано пожертвований: 400 книжек издания комиссии народных чтений, 10 пудов муки, 6½ ф. чаю, 7 ф. сахару, 107 аршин ситцу и 12 арш. кумачу. *Новые сведения:* В 87 г. поступило пожертвований 2005 р., израсход. 1488 р. В 88 г., по 1-е ноября 89 г., было в приходе до 3819 р., израсход. 3418 р. В 87 г. прошло через Тюмень 13 910 душ, в 88 г. — 22 436 душ, израсходовавших от места выхода до Тюмени 256 914 руб. соб. денег (Отчет Тюм<енского> б<лаготворительного> к<омитета>.

[2] «Сиб<ирская> газ<ета>».

дольше, чем ходят пароходы Игнатова), прибыл в Томск пароход Функе «Барнаул» с двумя баржами, наполненными переселенцами. На одной из них оказалось около четырехсот человек, и в числе их четыре трупа умерших в пути. На другой день прибытия умер еще один переселенец. Между детьми свирепствует корь и оспа. На другой барже, оставленной г. Функе *пока* на Оби, при устье Томи, следует в Барнаул до ста человек, и между ними, по словам переселенцев, которые ехали с ними, — *уже двенадцать трупов».* [1] Вот один только переселенческий день нынешнего года. Три с половиной тысячи человек, несомненно в большинстве крайне нуждающихся во многом, шестнадцать трупов, которых надобно похоронить, и множество больных детей, которых надобно было лечить. Все это такие дела, от которых невозможно отделаться перепиской, бумагой, формальным вниманием, а надобно в самом деле эти дела сделать, для чего необходимы средства.

Средства г. Чарушина можно видеть из отчета за 1887 год, напечатанного им в «Томских губернских ведомостях».

«Всех переселенцев за лето 1887 г. прошло 5474, да *обратных* 127 душ обоего пола. Больных из них было 433 чел. (пищевар<ительные> орган<ы> — 122). Из них *приютом,* то есть станцией, воспользовалось 668 *семей,* [2] лечением — 433, отпуском готового стола, выдачею хлеба — 103 семьи, предоставлением работы — 27, *денежным пособием* — 339. Приют в бараках *«по стоимости остановок на постоялых дворах»* исчислен г. Чарушиным в 1600 р.; медикаменты и плата в городскую больницу — 63 р. 19 к., отпуск пищевого довольствия — 20 р., заработной платы за постройку барачных помещений — 88 р. 68 к., безвозвратных пособий 331 р.; заимообразных пособий — 3970 р.».

Итак, на 5601 человека можно было оказать *всякого рода помощи* лишь на 6080 р. 87 к., то есть обрадовать его на всю предбудущую жизнь лишь одним только рублем серебра с гривенниками. Вы видите, как это мало и как затруднительно положение человека, поставленного в положение раздавателя «милостыни», не говоря о ничтожности этой помощи для самих переселенцев, которые тратят на одну дорогу не десятки, а сотни рублей, выра-

---

[1] «Сиб<ирская> газ<ета> <18>88, № 48.

[2] Здесь счет идет уж *на семьи,* а не на единицы обоего пола.

ботанных потом и кровью. Но размеры пособия примут решительно комический смысл, если мы, рассмотрев вышеприведенные цифры денежной помощи, выкинем из них те деньги, которые, во-первых, должны быть обратно возвращены в переселенческую контору, то есть 3970 р., и, во-вторых, те 1600 р., которые только *живописуют* размеры помощи, денег же никаких не означают и изображают только то, что благодаря бараку осталось в карманах переселенцев, — *стоимость остановок на постоялом дворе,* то в конце концов и окажется, что размеры реальной помощи, по всем отраслям и «таблицам» всяких недугов, скорбей, болезней, не превышают суммы — *одного гривенника на человека*; на 5601 человека приходится подлинного милосердия всего на 510 руб., то есть даже меньше, чем на гривенник. А ведь между этими нуждающимися в пособии переселенцами бывают и такие, что *от слабости не могут даже милостыню собирать.*



XI. ОБРАТНЫЕ

Но, несмотря на всю важность дела оживотворения необозримых, веками впусте лежавших русских земель, старая канцелярская суматоха, старая бумажная суета сует еще не утратила в этом серьезнейшем деле своего тлетворного влияния и значения. Сведения о переселенческом движении, которые мы можем получить в Тюмени и в Томске у заведующих станциями лиц, совершенно не дают нам ни малейшего понятия даже и о размерах этого движения вообще, и вот именно в этом-то, никем и нигде не выясненном, движении переселенческое дело попадает большею частью в канцелярские руки и запутывается до невозможности. Массы народа идут в Сибирь, очень часто минуя Томск и Тюмень, и, таким образом, ускользают от расследования своего положения и по крайней мере счета. Идут не только в Тобольскую и Томскую губернии или на Амур, а и в Акмолинскую область, пробираются и к Семипалатинску, идут южными дорогами Южного Урала.

В 1887 году в одной Тобольской губернии, кроме Тюмени, прошло — через Курганский округ — 1881 человек, через южные волости Тюменского округа 88 ч., через Ялуторовск 1015 чел. Курган и Ялуторовск — города, то есть места, где есть грамотные люди и есть начальство, обязанное вести счет прибылому народу; но массы этого народа тянутся и более глухими путями, где не найдешь ни пера, ни карандаша. Читая случайные корреспонденции сибирских газет, вы постоянно встречаете известия о каких-то толпах переселенцев, которые идут куда-то или откуда-то возвращаются и которые никоим образом не могли быть ни в Тюмени, ни в Томске, так как оттуда они непременно были бы определены к месту и притом (в последнее время) могли бы выбрать и место поселения лично, в присутствии землемера.

Переселение, кроме того, не ограничивается передвижением масс из Европейской России, оно идет и в самой Сибири. «С прибытием переселенцев из России жители Томской губ. *сами уходят* на восток, — читаем мы в № 43 «Сиб<ирской> газеты».— 4-го июня через город прошло 19 семей, на 52 подводах, запряженных в одну, две и даже три лошади; кроме того к редкой из подвод не было привязано по паре или по тройке лошадей. Все они, очевидно, очень состоятельные люди и ушли, по их словам, *от тесноты,* вследствие ежегодного прилива новоселов. Это известие, бросая на тесноту Томской губ., имеющей семьдесят миллионов десятин земли, какие-то таинственные, загадочные тени, еще более осложняет возможность выяснить себе вообще основания переселенческого движения.

Относительно положения *обратных,* которые двигаются назад также неведомыми путями и также в значительном количестве, во всей тщательно веденной «Сибирскою газетой» хронике «переселенческого движения» мы находим за весь год только одно известие, в № 54 (от 17-го июля). Обратное движение переселенцев за время от 21-го по 30-е июня было из Енисейской губернии (в то же время из Томской и Тобольской идет движение в Енисейскую): оттуда ушло тридцать семь семей (двести восемнадцать человек), не прожив на местах своей оседлости и трех лет. Причина нового передвижения — недо-

статок средств на обзаведение и неполучение приемных приговоров. Хроника переселенческого движения велась газетой самым тщательным образом; в ней всегда записано, что только можно записать, но не подлежит сомнению, что в ней многое множество всякого рода явлений, сопряженных с этим делом, просто-таки не могло быть записано, и именно потому, что не было *случая* напасть на тот или другой случайный факт; иначе хроника не ограничилась бы сообщением одного только этого факта в течение одного года. В доказательство того, что обратное движение дело весьма немалое, могут служить целых *три* корреспонденции из какого-то неведомого сельца *Ужура* (Ачинского округа), где, очевидно, *случай* дал возможность какому-то доброму человеку обратить внимание на беспрестанно повторявшийся факт возвращения переселенцев обратно. Что же такое этот *Ужур*? Искал я его на довольно подробной карте издания Ильина и не нашел. Во всяком случае это село, где нашелся только «случаем» корреспондент, внимательное к народу постороннее лицо, и вот благодаря только этой случайности мы имеем *только* из этого захолустья, из этой мышиной норки, даже неприметной на огромных пространствах сибирских пустырей, целых три корреспонденции, дающих возможность заключить, что обратное движение вовсе дело не маленькое.

В корреспонденции от 7-го февраля мы читаем:

«Случаи выселения новоселов из Минусинского округа обратно в Россию за последнее время стали очень часты и способны принять характер хронического явления. 27-го января через наше село проехало обратно, на 7 собственных подводах, 6 семейств выходцев из Пермской губ. Екатеринбургского уезда. Некоторые из них прожили в Минусинском округе 5 лет, другие всего год. Здесь им *пришлось* (почему — *не удалось* узнать) взять *в аренду* землю и другие угодья, принадлежащие *какой-то* вдове казачке. Первые года два арендная плата была 1 р. за десятину, а с течением времени *владелица* постепенно возвысила ее до 5 р. Таким образом, при существующих ценах на землю в Минусинском округе, где за 1 р. казаки продают десятину земли в полную собственность, арендная плата представлялась уж слишком дорогой. К числу причин, вместе с высокой платой за аренду, имевших влияние на их решение переселиться, они относят: 1) неопределенность своего положения; 2) трудность освоиться с условиями таежной жизни и 3) близкое соседство несимпатичных им переселенцев раскольников».

В корреспонденции от 19-го марта рассказывается, что 18-го марта в с. Ужур вступило шесть подвод с шестью семьями, всего около двадцати пяти душ. Семьи эти, отправившиеся без предварительной отправки ходоков к своим полтавским землякам, уже поселившимся в Березовской волости, пришли туда слишком поздно.

«Когда прибыли они на место, перед Петровым днем прошлого года, то волость не могла уже предоставить в их распоряжение ни одной пяди свободной земли; земля, в виду предполагавшегося размежевания, была уже распределена между наличным составом населения. Вновь прибывшие остались за штатом. «Хорошо еще, — говорили переселенцы, — что была летняя пора, везде надобились работники; ну, взялись за работу: косили, жали — тем и перебивались. Что заработали в лето, то проели зимой. Теперь вот идем в Колыванский округ, Томской губернии. *Знакомый мужичок сказывал,* что там за деревней Кочки много еще есть свободных земель... Ну, а там, — что будя: худо ли, хорошо ли, все едино останемся, — дале идти *некуда*! Ко двору воротиться не к чему: домишки и скот распродали, а землю сдали в общество... А все *виноват солдат* (который поселился там раньше их). Пишет: «выезжайте, здесь рай, а не жись, — какую избу купил за 30 р., да пара коней, с телегой в придачу, на железном ходу, стоила мне всего 30 р.!» говорит. А как поглядели мы это, так все наврал: его тридцатирублевая изба не лучше избы нашего цыгана-кузнеца, а телега вовсе не телега, а просто дровни, да еще на деревянном ходу. Мы это и говорим ему: «ведь ты, братец, разорил нас!» — «Разорил и есть! отвечает, да я и сам, братцы, разорился! .»

Наконец, в третьей корреспонденции, от 5-го июня, рассказывается плачевная история двадцати восьми семейств, два года назад переселившихся из Пензенской губернии и поселившихся на землях некоей знаменитой тайной советницы Безкоровайной, в так называемой Ирбинской даче. Как об этой владетельнице, так и о даче мы скажем ниже более подробно, как о деле в высшей степени важном для ознакомления с *подлинными* сибирскими порядками. Теперь же достаточно будет сообщить, что Ирбинская дача, давно уже отчисленная в казну и все-таки находящаяся в полном владении наследников тайной советницы, не дала возможности переселенцам прочно и с уверенностью утвердиться на арендованной ими земле. Арендная плата была подходящая для них: 1 р. в год за десятину; за копну сена 3 к., за строевое дерево 10 к., за сажень дров 60 к. «Все ничего бы, — говорили переселенцы, — да прошел слух, что Ирбинская дача должна отойти в казну, и что нас выселят. Стали мы *хлопотать*

через своего адвоката, *чтобы оставили нас на старых местах, если дача отойдет в казну, но дело наше не выгорело.* После этого мы и порешили уйти добровольно, чем ждать, пока выселят нас». И вот двадцать восемь семей пошли вразброд: шесть семей, которых видел корреспондент, шли на томский переселенческий пункт, надеясь на помощь г. Чарушина; десять семейств *застряли* где-то под Абаканском, по случаю разлива Енисея, не решаясь поступить так, как поступили шесть семей, которые, вопреки запрещению, подкупили паромщиков и перебрались с опасностью жизни на другой берег, за что и были, во-первых, высечены по пятнадцати ударов, а во-вторых, оштрафованы по пятнадцати рублей. Застрявшим переселенцам придется ждать переправы полторы недели. Что касается остальных двенадцати семей, то о них корреспондент говорит так: «Остальные двенадцать *рассеялись* по Минусинскому округу». Во время следования этих *обратных* попался им на дороге пермский переселенец, одинокий, без всяких бумаг, но с семью ребятишками; шел он с самыми светлыми надеждами, но рассказы *«обратных»* ошеломили его, подействовали, по словам корреспондента, убийственным образом. Однако он пошел далее, неведомо куда, так как ему ничего иного не оставалось делать.

Выше мы видели, что *обратных* на томской переселенческой станции можно было отметить только тридцать семь семей, притом один только раз, в промежуток времени с января по июнь, между тем как в этом микроскопическом уголке Сибири отмечено случайным корреспондентом уже до сорока семей, возвращавшихся обратно. Что же творится в тех бесчисленных сибирских норах и трущобах, которых не отыщешь ни на какой карте, и откуда не присылается никаких корреспонденций? Цифра обратных, миновавших Томск, относится к краткому промежутку времени между 21-м и 30-м июня; сведения корреспондента говорят о том, что движение обратных было и в феврале, и в марте, и в июне (5-го числа), тогда как ни февральских, ни мартовских отметок о количестве *обратных* нет в томской переселенческой хронике.

Из этого можно видеть, какая путаница царит над переселенческим делом и в какой беспорядочности оно находится, — хотя в бумажной суете сует и нет недостатка.

«Крестьяне нескольких обществ *Краевской и Армашовской* волостей Ишимского округа,[1] в числе 51 человека, *нуждаясь в земельных угодьях,* так как все они дети отставных солдат, обратились в тобольскую казенную палату в начале 1882 г. с просьбою о перечислении их в *Ашлыковскую* волость Тобольского округа и наделения их землей из дачи *Балахлейских* юрт, где свободной земли более чем достаточно». Так началось это дело и пошло таким порядком. Казенная тобольская палата 21-го июня 1882 года составила постановление об удовлетворении просьбы крестьян и занесении их в оклад по *Ашлыковской* волости, а также и о наделении их землею. Но несмотря на постановление казенной палаты, утвержденное губернатором, земли не были отведены новым крестьянам. Прождавши *полтора года*, они снова обращаются за разъяснением к тобольскому губернатору и получают ответ, что ходатайство их передано в казенную палату, от которой и *зависит* все их дело и которая, как мы знаем, уже решила его в их пользу. Прождав еще *полгода* ответа казенной палаты и ничего не дождавшись, крестьяне, в половине 1885 года, снова пишут прошение, на этот раз уже на имя председателя губернского совета по крестьянским делам. В августе того же года просители были извещены, что прошение их пересылается из Тобольска в Омск, в управление государственных имуществ Западной Сибири. Получив это *решение*, крестьяне опять стали ждать чего-то и ждали ровно двадцать месяцев; прождав эти двадцать месяцев и не получив ровно никакого ответа, они вновь принялись за писание просьб и сначала пишут опять тобольскому губернатору, который опять *препровождает* ее в Омск, откуда, наконец, 22-го августа 1887 года и приходит бумага за № 7566.

В бумаге этой сказано, что именно в этом году, то есть через пять лет после подачи первой просьбы, сделано (конечно, *надлежащее*) распоряжение о наделении их землей, хотя, как мы знаем, еще пять лет тому назад они были наделены уже ею по решению казенной палаты.

Однако, несмотря на обилие всех этих просьб и бумаг, земля крестьянам опять-таки не была нарезана. Подождав еще некоторое время, крестьяне надумали опять

[1] «Сиб<ирская> газ<ета>» <18>88 г., № 9.

приналечь на «прошения», и на этот раз подали «одним махом» в два разные места, — и в управление государственных имуществ в Омск и в тобольский комитет по крестьянским делам. В Омске прошения не рассматривали, о чем, однакоже, крестьяне были уведомлены опять же «надлежащим» образом через межевое управление; на второе же из Тобольска им ответили, что наделение их землею зависит единственно только от омского управления государственных имуществ, дав, однако, указание, что на медленность наделения и на отказ омского управления государственных имуществ они могут жаловаться прямо г. министру, и кроме того присовокупили самое приятное сообщение, что дело их передано для скорейшего исполнения г. Архипову. Здесь оно благополучно и окончилось, как тому и быть следовало.

Но омское управление нашло, что дело рассказано совершенно неверно, и при бумаге препроводило в газету опровержение всего рассказанного. Из этого опровержения[1] оказалось, что 51 чел. крестьян, якобы желающих переселиться из *Армашовской* волости в *Ашлыковскую*, ничего подобного не желали, так как испокон века были старожилами этой самой *Армашовской* волости. Около пятидесяти лет тому назад они, привлеченные доходностью извозного промысла, самовольно переселились из Пензенской губ. и заняли именно те самые Балахлейские юрты, в которые, как утверждает газета, они *хотят переселиться*. Здесь все эти крестьяне *спокойно проживали сорок лет,* пользуясь земельными угодьями по соглашению с инородцами. Затем, *в 1879 году,* когда число душ крестьян значительно увеличилось, они обратились в тобольскую казенную палату о причислении их к месту жительства (так как до сих пор жили *спокойно* без всякого причисления, прямо своевольно) и о наделе землею. Палата, пересчитав их по пальцам в первый раз в своей жизни, объявила им,что ни причислить, ни наделить их землею *нельзя*, так как ей неизвестно еще, имеют ли право владения этой землей и сами инородцы, и предложила надел в даче *Ашлыковской*, то есть предложила перейти на другое место, чего старожилы *армашевцы* не похотели, а как самовольно сорок лет жили *спокойно,* так и стали про-

---

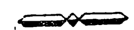
[1] «Сиб<ирская> газ<ета>», № 21.

должать: стали самовольно присвоивать себе необходимые для пашни земли, сенокосы, занялись высидкою дегтя и вырубкой строевого леса, и это *своевольство* шло во все время их ходатайства, до тех пор, пока только в прошлом, 87-м году не было расследовано, что татары не имеют права на Балахлейский участок, и тогда же просители были уведомлены бумагой за № 7566.

Таким образом, и газетная статья и опровержение благополучно закончилось на одном и том же нумере *бумаги* — 7566; но какая невозможная околесица тянулась, как оказывается, не с 1882 года, а еще с 1879! Вся непрерывная *восьмилетняя* волокита ни на волос управлением не опровергается, и, следовательно, и казенная палата, и управление государственных имуществ, и крестьянское присутствие сделали то самое, что рассказано в газете. Оказывается, что никакое ведомство, до подачи крестьянами прошения в 1879 году, не знало об их существовании, а когда узнало, то одно из ведомств тотчас же *наделило их землей,* а другое тотчас же отказало в наделе и нашло выход для крестьян в переселении с тех мест, где они *спокойно жили сорок лет*; оно не остановилось перед такой мерой, в то время когда и само еще не знало, чья это земля, на которой живут переселенцы, и узнало об этом только в 1887 году.

Между тем в том же опровержении, очевидно под влиянием гуманных веяний времени, мы находим такие строки: «Все удобные земли заняты *старожилами*; правильно ли заняты они, это вопрос, разъяснение которого и составляет всю трудность дела. *Пренебречь интересами старожилов, употребивших много упорного труда на разработку находящихся в их пользовании земель, потому лишь, что эти земли приглянулись переселенцам, едва ли было бы справедливо».* Этими трогательными словами опровержение хочет устыдить автора опровергаемой статьи, который, приняв крестьян-старожилов за переселенцев, просьбы которых не удовлетворяются по годам, сказал несколько слов в защиту переселенцев вообще. Опровержение, в свою очередь, становится на защиту *старожилов,* тогда как то же перо, которое пишет эту защиту, несколькими строками выше свидетельствует, что оно же само предписывало 51 чел. *старожилов, спокойно проживших на одном месте сорок лет,* разорить себя пере-

селением, то есть *пренебречь плодами упорного труда, употребленного на разработку занимаемых ими земель,* хотя в то же время само и понятия не имело, чьи такие это земли, и, чтобы разузнать это, не поцеремонилось морить людей ожиданием в течение *восьми лет.* Вот как суетится целые века эта неутомимая бумага, и вот от нее какой толк!



XII. КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТАЙНЫ

Возвратимся опять к разговору о судьбе тех двадцати восьми семейств, о которых мы уже говорили раньше, чтобы яснее видеть, до какой степени переписка тяжело отражается на крестьянине. Все эти двадцать восемь семей *разбрелись* с земли, арендованной ими у наследников г-жи Бескоровайной, единственно только под давлением совершенной неопределенности своего положения, зависевшей исключительно от неопределенности канцелярских мероприятий. Нужно впасть в полное отчаяние, чтобы, бросив родину, распродав и расточив имущество, вновь решиться предпринять тысячеверстный обратный путь туда, где заведомо не будет уж ни малейших средств начать новую жизнь.

Ирбинская (якобы) заводская дача, в которой арендовали землю двадцать восемь несчастных семей, до сей минуты представляет собою решительно невероятное явление. «Владелица дачи, — читаем мы в специальной статье, посвященной этому делу, — *никакого завода там никогда не заводила,* а вела кляузные процессы с казной, сдавала в аренду золотые промыслы в черте своей дачи и собирала оброки, как помещица, с живущих на ее земле крестьян». Несмотря на вопиющую несправедливость таких действий, генеральша Бескоровайная до самой смерти пользовалась оброком с неизвестно чем ей обязанных крестьян и оставила дачу в сто тысяч с лишком десятин благополучному наследнику. *Несмотря на решение* енисейского губернского *суда, присудившего Ирбинскую дачу возвратить казне,* «оказывалось невозможным выжить

наследников из не принадлежащей им земли». При жизни своей г-жа Бесковайная «не выполняла *никаких требований, поставленных ей казной:* казна предъявляет иск, но г-жа Бескоровайная продолжает хозяйничать; пока дело, вполне бесспорное (о том, что она, как незаводчица, не имеет права на землю), тянется десятки лет, с крестьян должным порядком собираются оброки, даже сама администрация помогает взыскивать недоимки, посторонние лица снимают прииски и дело не кончено до сих пор».

Таким образом, земля, по всем божеским, человеческим и, паче всего, по подлинным законам принадлежащая казне и прямо подлежащая заселению пришлыми переселенцами, почему-то *отдается* почти *в вечное владение* г-же Бескоровайной и ее наследникам, а переселенцы, имеющие на эту землю неотъемлемое право, оказываются в необходимости разбрестись кто куда и расточить свое достояние.

И в то же время то же управление, *во имя этих самых переселенцев,* отчуждает стотысячный завод у владельца, заводчика Пермикина, пользующегося тут же, рядом с г-жей Бескоровайной, своим правом на основании высочайшего повеления, и взамен отчужденных у него владений предлагает ему равное количество трясин и дебрей. В видах устроения переселенцев, оно отчуждает от владельца завод, который вовсе не нужен переселенцам, а земли, которая им нужна и которая лежит тут же в размере ста тысяч десятин, оно не находит почему-то возможным нарезать.

Все это подлинные факты. Сумеет ли кто-нибудь из читателей этих писем понять и уяснить себе тайну, из которой истекает такая поистине непостижимая неурядица? Думаю, что не сумеет, как не сумеет понять и разобраться в этой тьме и переселенец, которому, как видите, наилучший исход — уйти на край света. Не сумел бы понять и я, при всем моем желании, если бы одно случайное обстоятельство не пролило некоторого света на отношения людей (знающих «сибирскую подноготную») к сибирской власти, конечно старых времен.

Случайно я получил самую точную копию с письма одной тайной советницы, фамилия которой почти до последней буквы схожа с фамилией тайной советницы Бескоровайной, которая беспрепятственно могла нарушать всякие

божеские и человеческие законы и передала знание этого секрета, как кажется, и наследникам, потому что и они владеют землей попрежнему самым беззаконным и самым спокойным образом. Тождественность копии с оригиналом удостоверена тем самым лицом, которому письмо это писано и которое уж не могло оправдать привычных надежд г-жи Б-ной и передало его для опубликования в газете, что, кажется, и было исполнено несколько лет тому назад.

Письмо это адресовано в г. Минусинск, *г-ну помощнику начальника Енисейского жандармского управления Минусинского и Ачинского округов* (№ заказного письма 564. Получ<ено> в Минусинске 7 февраля из Петербурга). Как светская женщина, г-жа Б-ная начинает свое письмо самыми тонкими любезностями, хотя изложенными довольно безграмотно:

> «Не имея чести лично Вас знать, слышавши же о Вас, как о деятеле *вполне энергичном*, решаюсь покорнейше просить Вашего содействия и помощи в получении следуемых мне доходов с крестьян за землю и прочего моего имения, находящегося в Минусинском округе».

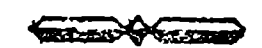
Все в этих строчках свидетельствует о желании изложить свою просьбу как можно вежливее; но тайговая бесцеремонность обхождения не дает г-же Б-ной выдержать благообразный тон долгое время, и она почти тотчас же начинает говорить уже своим тайговым языком:

> «Подробности Вам передаст мой доверенный (имя рек и адрес); *теперь же сообщу Вам, что за 82 и 83 годы можно* **с о д р а т ь** *тысяч по десяти за каждый год, да еще за предыдущие не все получено.* Если вы изъявите Ваше *доброе* согласие мне помочь, то прошу Вас удержать в свою пользу на расходы по моему делу за 82 и 83 г. по 20 (двадцать) процентов с рубля дохода с крестьян, а за 84 по 15% (пятнадцати) с рубля того же дохода... Примите уверение в моем уважении к Вам и преданности».

Не без основания, должно быть, эта почтенная дама просила отвечать ей: *«Петербург, Почтамт, до востребования»*, — 4000 руб. *на расходы*, это ведь *взятка*, да и вообще все дело *сдирания* темное; кто-нибудь мог бы узнать об этом замысле, а ведь это не принято в петербургском большом свете, чтобы просто-напросто *«содрать»* шкуру и поехать в оперу, как ни в чем не бывало. Делая же это дело тайно, бойкая дама могла бы являться в свет без всякого стеснения; она надеялась, что лицо, к которому

она написала, непременно тотчас же начнет «сдирать», — взятка огромная. Но надежды почтенной дамы не оправдались. Быть может, кто-нибудь и теперь *сдирает,* только не то лицо, к которому было адресовано письмо.

Но как ни удивительно все, что мы рассказали относительно затруднений, разрушающих в нашем крестьянине надежду на возможность хорошо и просто устроиться на новых местах, мы далеко еще не исчерпали всех темных сторон переселенческого дела. Помимо затруднений, исходивших из непонятных нам канцелярских соображений, есть в Сибири такие учреждения, в деятельности которых, касающейся переселенцев, среди всяких недоразумений иногда проглядывает видимое нерасположение к пришлому народу, замышляющему завладеть во всяком случае чьими-то и кому-то принадлежащими землями.



XIII. ОМСКИЕ ПОРЯДКИ

На обратном пути из Томска в Россию мне пришлось на некоторое время остановиться в Омске, где сосредоточены: во-первых, общее центральное управление собственно Степным генерал-губернаторством и, во-вторых, центральное управление государственными имуществами *всей* Западной Сибири, то есть такое учреждение, в ведении которого находится необозримейшее пространство земель от Ледовитого океана до Туркестана и от заботливости которого зависит участь каждого крестьянина, живущего или появляющегося на этой территории, чтобы жить земледельческим трудом.

Место, как видите, чрезвычайно любопытное, и в переселенческом деле, как центральное управление, ведающее все казенные земли, имеет большое значение. Но, к сожалению, времени для пребывания в Омске у меня было очень мало, и поэтому я, для ознакомления читателей с положением переселенческого дела в Степной области Западной Сибири, должен ограничиться сведениями, исключительно заимствованными из местной печати.

Не сразу, однакож, удалось мне разобраться в такого

рода материале, так как, быть может вследствие дальности расстояний от Омска до Томска, приходящие в Томск известия очень и очень часто противоречат одно другому самым коренным образом, появляясь иногда в одном и том же нумере газеты. «Официальные данные» в том же самом номере опровергаются, а иногда нет возможности определить, какие именно из центральных омских «управлений» совершают то или другое мероприятие по переселенческому делу.

«Из Омска нам сообщают, [1] что *состоялось распоряжение о водворении* в Акмолинской области *всех переселенцев*, прибывших до весны настоящего года, для чего командируется начальник переселенческого отряда г. А. Дуров. *За это переселенцы единственно должны благодарить генерала Колпаковского»*. В следующем № 35 опять весьма приятное известие: «С удовольствием можем сообщить, что министерство государственных имуществ решило вопрос о взимании арендной с переселенцев платы в отрицательном смысле. Не только повышенной арендной платы, как проектировало омское управление государственных имуществ, но *никакой арендной* платы с переселенцев на казенные земли взиматься не будет».

Но едва автор этой заметки дописал последние строчки своего известия, как тут же под чертой, заканчивающей статью, печатается циркуляр, опубликованный 1-го апреля 1888 года в «Семипалатинских областных ведомостях». Приводим его в дословной перепечатке:

«Г. Степной генерал-губернатор, предложением 17-го марта сего 1888 г., за № 1105, *в видах прекращения совершенно беспорядочного переселения крестьян разных губерний в Степной край,* предложил к исполнению следующее распоряжение:

1) Уездные начальники обязываются приказать волостным управителям и аульным старшинам, чтобы они внимательно следили за прибывающими переселенцами и немедленно доносили в уездные управления о каждом вновь прибывшем (после 15-го марта) переселенце.

2) Уездные начальники немедленно требуют вновь прибывших переселенцев в свои управления и проверяют, имеют ли эти переселенцы увольнительные приговоры

---

[1] № 34 «Сиб<ирской> газ<еты>».

от своих обществ; если приговоров нет, то уездные начальники предлагают вновь прибывшим переселенцам *выселиться из Степного края,* объявив им, что *никаких земельных наделов они не получат в означенном крае; если же переселенцы эти не выселятся в течение трех месяцев* после предварения их уездными начальниками, то эти последние входят с представлением к военному губернатору о *водворении таких бродячих людей этапным порядком из пределов Степного края.*

3) Если переселенцы имеют увольнительные от своих обществ приговоры, но не имеют разрешения на переселение от своего губернского начальства, то уездные начальники предваряют таких крестьян, что впредь до разрешения на водворение в Степном крае, которое может последовать лишь по сношении с центральными правительственными учреждениями, они, переселенцы, *никакою землею пользоваться не имеют права,* за исключением лишь тех земель, которые сдаются за плату в арендное содержание жителями городов, станиц, крестьянских селений и киргизами».

В § 4—5 излагаются подробности и формальности арендных договоров, и мы опускаем их.

«6) *Всех переселенцев из Сибирских губерний немедленно выдворять, с разрешения начальника области, этапным порядком из Степного края, отправляя в места причисления».*

«Предлагаю гг. уездным начальникам принять распоряжение его высокопревосходительства к руководству и неуклонному исполнению, причем предваряю, что, в силу указаний его высокопревосходительства, всякий волостной управитель или аульный старшина, *не донесший* уездному начальнику в течение двух недель, подвергается в первый раз аресту на семь дней, а во второй раз удалению от должности; всякий уездный начальник, не исполнивший указанных здесь обязанностей, подвергается: в первый раз замечанию, во второй — выговору, в третий — перемещению на низшую должность».

«Настоящий циркуляр семипалатинского военного губернатора,— говорит одна местная газета,— идет вразрез со всем тем, что мы до сих пор привыкли видеть в деятельности Степного генерал-губернаторства. Распоряжения ген. Колпаковского, касающиеся экономического и адми-

нистративного устройства вверенного ему края, отличаясь всегда определенностью, носили на себе следы несомненных забот об участи оседлого и кочевого населения».

Как видит читатель, циркуляр этот не похож на бесплодное бумагомаранье, однако и он заставляет в том же №, и, пожалуй, даже той же самой рукой, которая писала радостное известие, написать следующие слова: «Настоящий циркуляр *идет вразрез* со всем тем, что мы до сих пор привыкли видеть в деятельности г. генерал-губернатора». За исключением подобных циркуляру вполне достоверных известий из Омска, известия о многочисленных мероприятиях многочисленных учреждений, сосредоточенных в Омске, вообще не дают ясного понятия о целях их деятельности. Кажется, ведь и комитет *колонизации* при Степном управлении и *комитет* о переселенческом деле при управлении государственных имуществ должны бы делать одно и то же дело (колонизатор тот же переселенец); но почему однородное дело делается на основании разных усмотрений, разных комиссий, — это пока не подлежит определению.

«Из Омска нам пишут,[1] что там произошла *чернильная революция,* не вполне, однако, ниспровергшая чернильный порядок. Некто г. Симонов стал приготовлять хорошие чернила по *два рубля за ведро* (!!!), тогда как г. *Розенплентер,* местный аптекарь, богач, брат начальницы женской гимназии и член попечительного совета этой гимназии, *берет за ведро* (!!!) *шесть рублей.* Омск, городок канцелярий, изводит чернил целые моря, и потому г. Симонов, естественно, получил *большие заказы;* но *некоторые* из учебных заведений не решаются изменить г. Розенплентеру». Когда, спрашиваю я всякого крещеного человека, мог он даже только подозревать, что где бы то ни было могло существовать ведерное потребление чернил? Каково же поглощение этого продукта, если г. Симонов находит выгодным продавать *по два* рубля *за ведро,* тогда как чернила еще вчера продавались по шести? Вы только представьте себе *ведро чернил* вместо этой крошечной баночки в 15 к. и подумайте, каким ро-

[1] «Сиб<ирская> газ<ета>», <18>88 г.

дом можно нуждаться в таком непомерном резервуаре этого снадобья?

Но, хотя я и был изумлен этим неожиданным известием, вместе с тем тотчас же понял очень много таких вещей, которые были для меня, как для человека, не знающего условий сибирской жизни, совершенно таинственными. Во время поездки по Оби, руководствуясь путевым указателем г. Павлова, [1] я не мог понять мельком прочитанного сведения о том, что в 1852 году писчебумажный завод в Тобольске, ныне закрытый, продавал писчей бумаги на 8781 р. в год. Казалось просто непонятным, зачем и почему в этих глухих живоедных и кровопивных местах основывается писчебумажный завод? Теперь же мне стало ясно. Тобольск в ту пору был такой же центральный пункт, как теперь Омск, и, следовательно, поглощал бумагу в большом количестве, как теперь должен поглощать ее и Омск.

Такое умозаключение выяснило мне старинный *центральный пункт* управлений, как место неусыпной переписки. Дремучая тайга и степь необъятная, а в глубине ее «управление», командующее над территориями, размеры которых превышают размеры Западной Европы. Можно ли было что-нибудь сделать в *самом деле путное,* при условии одних только неизмеримых расстояний, отделяющих центр неизмеримыми расстояниями от окраин, даже от ближайших мест, где находятся подчиненные губернии, второстепенные органы управления? У кого хватало смелости думать, что он в самом деле делает дело, споспешествующее жителям села Дырявина, когда он знал, что прошение о помощи едва только через полгода дошло от жителей Дырявина до управления, что ответ дырявинцам о том, что прошение их послано *надлежащим* порядком в Петербург, опять-таки не есть действительное дело, так как в Петербурге бумага пролежит год, а придет в центр через полтора года, и даже если бы в ней и заключалось приказание *надлежащим* образом удовлетворить дырявинцев, то уведомление об этом дойдет к дырявинцам тогда, когда их совсем и на свете не будет, или когда они, не дождавшись решения, разбредутся кто куда.

---

[1] «Три тысячи верст по рекам Западной Сибири». Очерки и заметки А. Павлова. 1878.

Вот почему я думаю, что сибирский чиновник старого типа *не мог не быть убежденным,* что вся его переписка — только формальность, что все эти бумаги решительно ни для кого и ничего ровно не значат, что никому от них нет ни малейшей пользы, но что бумаги эти в то же время необходимы, что их надобно писать, что в этом писанье — служба, жалованье, положение.

Сколько мне ни приходилось разговаривать с чиновниками «нового типа», то есть людьми, в которых уже прочно воспитана потребность совестливого отношения к делу и вовсе нет привязанности к бумагомаранию, все они, каждый по своему ведомству, ознакомливаясь в архивах с историей и трудами этих ведомств, теряются в обилии пустопорожней переписки, как бы нарочно не дающей никаких точных сведений по подлежавшей их ведению отрасли управления.

Межевание сибирских земель началось со времен Алексея Михайловича и непрерывно идет до сих пор; но те молодые землемеры, которые хотят узнать что-нибудь достоверное относительно землевладения, теряются в той бессмыслице, скрывающей как бы какую-то тайну, которая разверзается в документах, касающихся двухсотлетнего межевания и наполняющих архивы. Повидимому, все эти «планты» точно «планты»: и масштабы есть, и красками разными «пущено», все как должно; но на «планту» помечено, что он неверен и передан для пересмотра, который идет десять лет и на одиннадцатый является опять еще более неверным, чем был, для того опять, чтобы новая комиссия еще на тридцать лет затянула дело перемежевания. А тот таинственный человек, который *сунул* своевременно в руку, которая разрисовывает «планты» разными красками, спокойно здравствует на незаконно присвоенном месте. И так решительно по всем ведомствам старинной системы управления. Бумага, «плант», решение суда всегда написаны, начерчены, занумерованы по всей форме и строгости закона; дело же и действительность, сокрытая под грудою бумаги, — совсем другое. Житель города Ишима Семен Матвеев Курдюмов в апреле 1887 года найден убитым и ограбленным и предан погребению, — так написано в бумагах; на деле же он, этот самый Семен Матвеев, здрав, невредим и едет с вами в Пермь по железной дороге. Только он уже не ишимский

житель, а крестьянин-кержак с. Баранкина, Тарского округа. Умер же он по всем бумажным правилам, потому что был пойман как фальшивый монетчик, которому предстоит каторга. Убийца его не разыскан. Или также вот этот господин, очень хорошо одетый, хотя, видимо, в самом деле обтесанный топором в человеческий образ; он также едет с вами из Перми, куда ездил по делам, а все знают, что ему бы надо было быть в каторге, так как он своеручно ухлопал своего гуртовщика. *«Замяли»,* говорят вам о таких делах и называют какой-нибудь городишко, где ничего иного нет, кроме канцелярии, где «на столе чернил ведро, под столом стоит другое. . .»

Взятка, сование в руку, и даже не в темном углу, а открыто, «как должное», несомненно имели в былое время огромную силу. Эта затхлая старина как нельзя лучше выразилась, между прочим, хотя бы в деле крестьян, хлопотавших восемь лет о том, чтобы им дозволили жить там, где они прожили уже сорок лет «спокойно». Переписка «сама по себе» в старое время была уже «делом» и строчение бумаг совершенно пустопорожнего содержания, без всякой корыстной цели, единственно только из любви царапать что-то на бумаге, занумеровать, отправить, требовать ответа и отвечать. Однако эта бесцельная переписка дожила и до наших времен, но, к сожалению, практикуется уже над делами важнейшего значения, каких в старину и не бывало; но что именно старина изобрела пустопорожнее строчение и довела его до степени действительного дела, веруя, что в этом пустопорожнем бумагомарании есть настоящая служба отечеству, — в этом, кажется, не может быть сомнения, особливо ввиду нижеследующего смехотворного примера.

В первом томе (за 1879 год) «Записок западносибирского отдела императорского Географического общества», в статье г. Н. Н. Кострова «Колдовство и порча в Томской губ.», собрано не столько фактов народного невежества, сколько доказательств того, до каких размеров может дойти пустопорожность переписки, единственная цель которой — оправдать сумму «канцелярских расходов» и так или иначе истратить определенные по канцелярскому бюджету ведра чернил. Из массы самых невероятных

«переписок» по поводу самых бессмысленных дел я приведу только одну переписку «О женщине, родившей двух кротов» и перескажу как можно короче это смехотворное дело, собственно для того, чтобы читатель мог видеть, насколько такая пустопорожняя переписка способна сделать что-либо путное для страны, в то время, когда задачи этой переписки стали уже совсем не смехотворными.

В 1809 году сельское общество д. Менщиковой (Каинского округа) заметило, что дочь крестьянина Чердынцева, Марья, беременна, а потому, чтобы не дать ей возможности извести ребенка, призвало ее на сходку. Здесь Марья совершенно просто объявила, что она беременна, прижила ребенка с Павлом Парыгиным. По освидетельствовании Марья оказалась беременной и была отдана под надзор отца. Но скоро она вышла замуж за крестьянина Усть-Тартасского форпоста Каргополова, который взял ее «зазнамо беременную». Через две или три недели после свадьбы она уехала с мужем на заимку, и здесь, на последний день масленицы, после предродовых мук, в присутствии матери своего мужа, Екатерины Каргополовой и повивальной бабки Анны Елисеевой, родила двух кротов, из которых один был мертвый, а другой живой, но Екатерина Каргополова раздавила его с испуга ногой. Муж Марьи, убиравший в это время во дворе скот, вошел в избу и видел также двух кротов, рожденных его женою, и тотчас же дал знать в Усть-Тартасский форпост об этом необыкновенном происшествии. Приехали старшина и понятые; все они видели кротов и взяли их для представления по начальству. [1]

Кажется, не надобно обладать особенной проницательностью, чтобы понять, в чем тут дело. Зазнамо беременная девица была взята как сильная, работящая женщина в хозяйственное семейство. Муж на это «не серчал», как видим, так как и Парыгин давно уже ушел и находился неизвестно где в отлучке. Но мать мужа Марьи, привезя беременную невестку, конечно, всячески должна была желать, чтобы на новом месте, среди чужих людей, жена его сына пользовалась также и хорошей репутацией, и вот выдуманы два крота, которые родились только при матери мужа да при деревенской повитухе, которая за рублик не

[1] Стр. 14.

задумается и соврать так, что бабы поверят. Казалось бы, начальство прямо должно было узнать, где и куда девался ребенок, который должен был родиться. Да? Но так просто дела в мире переписки не делаются. Сделать дело просто — не в обычае образцового чернилоеда, почему он и предпочитает канцелярскую волокиту простому и скорому делу. На дело, о котором идет речь, пошло два года.

Как только старшина и понятые представили двух кротов по начальству, начальство, по обыкновению, устранило из дела главное — розыск ребенка, — но принялось строчить. Началось следствие, при котором «все поименованные лица показали всё то же, что сказано выше». Свекровь и повитуха видели, как Марья родила кротов, все прочие видели только кротов, объяснив, что все это произошло от порчи, а кто испортил Марью, не знают. Так показывали деревенские темные люди. Но вот ученый доктор Яворский посмотрел на дело с высшей точки зрения. По освидетельствовании этим доктором родильницы оказалось, что ей 25 лет от роду, телосложения она плотного, здорового, но одержима легкой родовою горячкою. По уверению бабки, роды начались, как обыкновенно, свойственными периоду беременности припадками, в результате которых и было, что вместо ожидаемого ребенка «выпали два зверька». По осмотре этих зверьков доктор Яворский нашел, «что они из породы кротов и, по описанию Гесснера, называются *обитателями подземными четвероногими;* относительно же зарождения их в матерней утробе человеческого рода весьма сомнительно, поелику нет до сего времени подобных опытов, которые подтвердили бы сию возможность, *хотя, впрочем, невозможно утвердительно отрицать*».

Здесь следует самое точное доказательство того невероятного факта, что *женщина все-таки может родить двух зверьков.* Я не привожу подробного описания этого удивительного дела, потому что оно объяснено до чрезвычайности *нескромными* предположениями. В конце этого неприличного реферата доктор Яворский прямо говорит, что даже *с невиннейшими существами* бывали подобные примеры, и только *в сем случае* «не можно утвердительно сказать».

Эта неприличная бумага пошла во врачебную управу, которая, рассмотрев научный реферат доктора Яворского,

также и самых зверьков, нашла, «что означенные зверьки суть в таком виде, в каком они бывают при рождении, но как испытателями естества до сих пор опытами не доказано, чтобы человек мог родить собаку, или кошку, или какого другого зверя, и почитают все сие за басни, да и по судной медико-хирургической науке г. Пленка, которая бывшею государственною комиссиею при *оной* (?) типографии отпечатана и разослана для соображения, значится, что никаким наблюдением доказать не можно, чтобы от человека распложалось животное... да и сам г. Яворский утвердительно о таковых родах не пишет, *а только возможность оных не отвергает,* то управа, основываясь на оной судной науке, не утверждает сей случай родов быть истинным».

С таким «заключением» врачебной управы дело поступило в каинский уездный суд. Суд дал такое заключение: «как ту крестьянскую жену, Марью Каргополову, в рождении двух зверьков, по обстоятельствам дела, почесть не можно виновницею, то посему, сообразно силе «Воинских процессов» 2-й части 5-й главы и 9-го пункта, оставить от сего дела свободною, а что она показывала на себя... то хоть в том утвердительного ничего не найдено, однакож за сие... по 263 ст. Устава благочиния, оштрафовать ее пенею...»

Но гражданский и уголовный суд не согласился с таким решением уездного суда и счел необходимым командировать особого «благонадежного чиновника» (прогоны, суточные, подъемные). Командирован был асессор томского губ<ернского> прав<ления> Залетов, который и произвел *новое следствие,* причем *открылись* только два обстоятельства, а именно, что *после рождения кротов* у Марьи, по показанию ее самой и свекрови, не было капли молока и что Павел Парыгин ушел в солдаты и остался поэтому не спрошен, а затем все остальные показали то же, что и прежде. Поэтому гражданский и уголовный суд постановил следующее решение: «так как из дела видно, что при всех разысканиях не обнаружено, чтобы Марья Каргополова родила или истребила младенца, хотя беременность ее и была приметна, а потому и *нельзя решительно заключить, чтобы* объявленное ею *рождение двух кротов было только выдумкою, тем более что о рождении ею зверьков уверяют ее свекровь и ее повивальная*

бабка, то сколь сие ни *умоверно* и как ни подозрительно, однакож, по необнаружению следствием главным образом обмана, приговорить ее к телесному наказанию опасно, и для того, на основании «Воинских процессов» 2 ч. 5 главы 10 п. и указа 1763 г. февраля 10-го дня, оставить ее от дела свободною, *впредь до изобличения».*

По этому совершеннейшему образчику прародительской переписки ведется такая же переписка и в настоящее время, с тою, однако, разницею, что прежние искусники бумагомарания были много гуманнее нынешних. Девицу, совершившую *неумоверный* поступок, несколько раз, как мы видели, пытались наказать, искали случая оштрафовать и даже упоминали о телесном наказании, однакож не решились сделать этого, полагая, что такое беззаконное сечение есть дело *опасное.* Нынешние же потомки писчебумажных предков, напротив, будучи столь же невнимательны к сущности дела, однакож не церемонятся постановлять мероприятия, иногда весьма тягостные для людей, которые обращаются к ним за помощью. И вообще нельзя не видеть, что во множестве совершенно нового рода дел дела эти решаются большею частию *по старому* способу, не имеющему с тем новым способом, выработанным самою жизнию, удовлетворения народных нужд, который практикуется в Тюмени и Томске (только!), — ничего общего.

В одном из предшествовавших писем мы упомянули о девяноста семьях, голодавших прошлую зиму. По «новому» способу дело это исправлено таким образом: «В конце третьей недели поста г. Архипов лично прибыл в деревню Салтаимскую. Ознакомившись с положением переселенцев, он раздал им *более 1000 рублей,* причем имеющим какое-либо имущество давал *меньше* (по 10 р.), а *не имеющим ничего* давал *больше* (по 20 р.), обещая дать ко времени посева на семена. До этого времени салтаимовцы надеются просуществовать на это пособие.[1] Вот *нынешний* способ отношения к народу, как видите, совершенно не признающий переписки там, где надобно делать добро. Тем, у кого *ничего нет,* дают больше, нежели

---

[1] «С<ибирская> г<азета>», № 32.

тем, у кого что-то *есть*! Подивитесь этому! Ни одно ссудное сельское товарищество не дает копейки тому, у кого *ничего нет,* а дает именно тому, у кого есть, и чем больше у него есть, тем больше и дадут. Здесь же совершенно наоборот, то есть совершенно так, как и быть должно.

Но, с другой стороны, и положение чиновника, заведующего переселенческим делом, во всех отношениях совершенно новое; во-первых, у него есть эта тысяча рублей, а у деятелей канцелярии нет на это дело ничего, кроме чернил. Г. Архипов заведует только Тобольской губернией, а омское управление заведует *всей* (!) Западной Сибирью, которая состоит из губ<ерний>: Тобольской, Томской и Степного генерал-губернаторства, причем это последнее состоит из трех огромнейших областей: Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской. Чтобы судить, какова эта территория, достаточно сказать, что одна Томская губерния, по сведениям «Памятной книжки» Томской губернии 1884 года, имеет территорию размером в 759 068 квадратных верст и, «сравнительно с пространством западноевропейских стран, *превосходит:* владения Великобритании в $2^{1}/_{2}$ раза, Пруссию в 3 раза и Францию в 2 раза». Спрашивается: есть ли, при таких условиях, какая-либо возможность делать на таком огромном пространстве небольшому штату чиновников что-либо мало-мальски путное? Представьте себе территорию двух Франций и назначьте на всю эту территорию пятнадцать межевых чинов, а затем и решайтесь осуждать их за то, что они ничего путного сделать не могут. Нет, мы далеки от осуждения, и если говорим все это, то единственно для того, чтобы и читатель не осуждал добросовестных чиновников, которые действительно должны радоваться, что хоть чернила-то стали продаваться по два рубля за ведро вместо шести. Да разве одно только переселенческое дело всей Западной Сибири и нарезка казенных земель составляет главную заботу управления государственных имуществ в Омске? Далеко нет: права на земельные владения старожилов также еще почти не выяснены достаточным образом, и в настоящее время выдвигается новый вопрос: как бы переселенцы не разорили вконец старожилов, которые уже и начинают переселяться *от тесноты* из территории,

равной двум Франциям, в другую, ничуть не меньшую, таїговую территорию. Словом, дела бездна, но пока еще нет необходимых средств для его выполнения.

Кроме центрального управления государственных имуществ всей Западной Сибири, в Омске сосредоточены органы местного управления Степным генерал-губернаторством. Имея в своем распоряжении не столь необъятную территорию, как *вся* Западная Сибирь, Степное генерал-губернаторство может поступать более определенным образом, не ограничиваться перепиской, а совмещать слово и дело воедино. Но все-таки было бы желательно, если бы кто-нибудь из лиц, живущих в Омске и знакомых с положением переселенческого дела в Степном генерал-губернаторстве, ознакомил бы русское общество с действительным положением этого дела и сообщил о нем возможно подробные и обстоятельные сведения.

Прискорбные эти страницы о переселенцах позволю себе закончить указанием на развитие благосостояния одной переселенческой партии, очевидно счастливо избежавшей всякого соприкосновения с канцелярской волокитой и справившейся с своими нуждами без всякого содействия «бумаги». Партия эта в 1866 году поселилась в Бийском округе, Верх-Чумышской волости, и образовала д. Ивановку. При начале поселения средства к жизни этих пришельцев были самые нищенские: [1]

	1866	в 1875	в 1882
Рогатого скота	12	250	361
Лошадей	65	240	344
Овец .	не было	400	900
Свиней	не было	120	200
Хлеба дес<ятин> . . .	25	260	393
Картоф<еля> дес<ятин>	1	4	4
Гороху дес<ятин> . .	не было	4	4
Конопл<и> десят<ин>	не было	20	40
Льну десят<ин>	1,9	4	4

---

[1] (Памят<ная> кн<ижка> Томск<ой> г<убернии>, <18>84).

Слабо развивался бабий (огородный) труд, но ведь сколько же этого труда ушло уже на уход за скотиной! А весь секрет такого благосостояния вот в чем: переселенцы сами нашли себе «по вкусу» место и жили без вмешательства бумаги.



XIV. ОБРАТНЫЙ ПУТЬ. — ЯМЩИКИ И ТРОЙКИ. — КНУТ И СВИСТ

Заканчивая мои письма о летней поездке в Западную Сибирь, я очень сожалею, что кроме переселенческого, то есть общерусского дела, мне не пришлось коснуться в них явлений собственно сибирской жизни. Чего стоит типический образ крестьянина-сибиряка, так называемого *старожила*, который понятия не имел о крепостном праве и удовлетворен по части земли сверх всякой меры, доступной жадной до земли фантазии всякого крестьянина. «Виноватая Русь», то есть тысячи ежегодно выбрасываемых порядком жизни Европейской России людей всякого звания, состояния и качества, это тоже особенность, свойственная только Сибири. Только здесь и можно видеть правых и виноватых в подлинном их виде, тогда как внутри России, целыми десятилетиями, правый может казаться виноватым, а виноватый правым. Но чтобы иметь право говорить хотя бы только об этих двух особенно приметных явлениях собственно сибирской жизни, надо много видеть, много наблюдать и еще больше читать, что уж написано об этом другими. Все это для меня было делом невозможным, вследствие крайнего недостатка времени, и поэтому, заканчивая настоящим письмом мои заметки, я скажу еще кое-что только о том, что мне пришлось, хоть и мельком, видеть самому и о чем вообще можно говорить, не рискуя впасть в большие ошибки.

Обратный путь на лошадях, от Томска до Тюмени (через Омск), казалось бы, должен был дать проезжающему массу всякого рода разнообразнейших впечатлений. Верст более трехсот от Томска за Колывань проез-

жающий имеет возможность испытать очарование природы Алтайского округа, хотя она здесь очерчивается уже в самых малых размерах. Здесь Алтай только начинается или только оканчивается, — но все-таки и здесь есть возможность «подумать», как он должен быть хорош «там»! Удовольствие «думать» о прелестях Алтая продолжается, к сожалению, очень недолго: при бешеной быстроте сибирской езды не успеешь и «подумать» о том или другом впечатлении, как уже кругом все другое и все новое. Мелькнуло что-то хорошее со стороны Алтая, глядь, а уж тройка мчит по скучной Барабе, по степи, распластавшейся на необозримое пространство; расстояние между небом и землей стало вдруг как-то ужасно огромно, тогда как несколько часов тому назад, в начинавшихся или оканчивавшихся прелестях горного округа, небо было ближе к земле, и земля поднималась к небу; здесь она упала низко-низко и небо ушло от нее невесть как далеко.

Огромная однообразная площадь, окружающая вас, не веселит взгляда. Грифельная доска, черная, тусклая, сухая, гладкая, — вот основной фон и цвет земли этой огромной площади. Колеса повозки оставляют на этой грифельной доске такие же следы, как и настоящий грифель. Темной, голой лысиной резко очерчиваются эти черные, гладкие, сухие и тусклые лоскутья земли, между низкорослой, часто корявой растительностью, раскрашенной разноцветными красками, всегда сплошными (красное вторгается сплошным красным клином в серое или зеленое) и всегда отравленными как бы примесью какой-то посторонней краски: в синюю подбавлено чего-то серого, в красную — желтого, в зеленую — красного, причем «подбавленное» всегда производит только муть и портит цвет, делая его не чистым, а как будто во что-то запачканным. Такими мутными красками красятся тюменские ковры.

Даже бешеная сибирская езда, достигающая на Барабе, благодаря гладкой, как доска, дороге, наивысшей точки неистовства, даже она не в силах с свойственной ей быстротою изгладить, как бы следовало, скучное впечатление скучных красок степей, перенося вас с быстротою молнии опять в новую обстановку окружающей при-

роды. Впрочем, может быть, сохранению впечатлений Барабы способствует и то, что тройка, миновав ее, мчит уже по таким местностям, к которым глаза давно уже пригляделись и в наших великороссийских местах. Вот пошли такие же самые местности «с горки на горку», как и у нас идут они от Москвы вплоть до Харькова; а вот те же самые ишимские болота, трясины, гати и тот же самый прутняк, какие нам знакомы и в Новгородской губернии. Чем ближе к Тюмени, тем природа обычнее для великорусского проезжего. Даже крайняя неисправность дорог около Тюмени, объезды почтового пути по лугам, вместо прямой дороги, — все это близко знакомо нам в нашем великорусском отечестве. Дороги же чисто сибирские, от Томска до Омска, через всю Барабинскую степь, нисколько не похожи на наши: содержатся превосходно, «как скатерть»; после каждого дождя, тотчас, как только засохнут сделанные проезжими по мокрой земле кочки, вся дорога ровняется при помощи особенных катушек и вновь делается «как скатерть».

Во всяком случае на протяжении 1500 верст вопрос о разнообразии впечатлений, кажется, не может подлежать сомнению; впечатлений во всяком случае должно быть много, и притом всякого сорта; но прежде всего восприятию их препятствует необыкновенная быстрота и вообще своеобразность сибирской езды.

До первой станции от Томска проезжающие едут большею частию не на «настоящих» сибирских лошадях и не с настоящими сибирскими ямщиками. Меня, например, вез еврей на клячонках, которые, кроме гоньбы с проезжими, были изнурены уже и городской работой.

Совсем не то подлинная сибирская тройка и сибирская езда, с которыми проезжий начинает настоящее знакомство только на второй или, вернее, на третьей станции. На этой станции не выводят уже заезженных клячонок из конюшни, а сначала идут «ловить» лошадей в поле. Одно это роняет в непривычное к «сибирским» ощущениям сердце проезжающего зерно какого-то тревожного ощущения. Пока «ловят», времени много для разговора, но самое это слово «ловят» и значительный промежуток времени, употребляемый на это дело, смущают вас и ослабляют интерес к разговору. «Гонят!» — говорит кто-

нибудь из домочадцев, разговаривающий с вами, и тотчас прекращает разговор, чтобы бежать помочь хозяину, который, наконец, «поймал и гонит». «Помогают» все, кто есть в это время на дворе и даже на улице. Надо махать руками, гаркнуть, даже заорать, чтобы дикие лошади всунулись в ворота и вбежали беспорядочною толпой во двор. С беспокойством видите вы, что лошади эти не заезженные клячи, а своевольные, несмысленные существа, едва ли даже знающие свои лошадиные обязанности. Посмотрите, что нужно делать, чтобы надеть узду на такую несмысленную тварь: добрая хозяйка насыпала овса в какое-то лукошко и, ласковым голосом подманивая ни о чем не догадывающуюся, наивную, растрепанную, только что валявшуюся на сене лошадку, осторожно подходит к ней с лукошком, всячески стараясь сосредоточить все ее внимание на овсе. А в то же время хозяин, как будто бы и не обращающий на лошадь никакого внимания, осторожно подвигается к этому же дикому, но наивному созданию с уздой, держа ее, однакож, за своею спиной. С величайшею осторожностью хозяин и хозяйка выполняют свои специальные обязанности и после долгих стараний наконец-таки успевают сделать как-то так, что, когда лошадь прикоснется к овсу и сделает попытку пошевелить губами, в рот ей попадет не овес, а железная узда, и тогда только наивная тварь очувствуется, рванется, но тотчас же опомнится и пойдет в оглобли.

Таким образом, все, что делается на ваших глазах, прежде чем вы поедете, не сулит вам ничего хорошего. Но уж совсем нехорошо начинаешь чувствовать себя, когда, наконец, «все готово» и когда хозяин скажет:

— Пожалуйте, господин, садиться!

Сам он, однакож, не садится, он даже вожжей в руки не берет, а только укладывает их осторожными движениями рук на козлах таким образом, чтобы за них можно было ловчее схватиться, и все время тихонько произносит: «тпр. . . тпр. . .»

— Нет, уж садись сначала ты! — говорит проезжающий, у которого начинает что-то холодеть в груди.

— Да я вскочу-с! Не беспокойтесь! Духом взмахну на козлы!

Этих успокоительных уверений вполне достаточно для того, чтобы проезжий окончательно упал духом и возопил:

— Нет! Ни за что! Садись ты, я сяду потом!

— Да не извольте беспокоиться! Духом вспорхну!

— Ни за что на свете!

— Н-ну! Михайло, затворяй ворота! Ты, дедушка, держи коренную-то, держи крепче, навались на нее!

Ворота заперты, лошадей держат, но когда осторожно усаживающийся ямщик все-таки старается всячески не дать лошадям заметить, что он берет вожжи, проезжего нисколько уже не радует и то, что, по его настоянию, ямщик уже сидит на козлах. Напротив, страх окончательно овладевает всем его существом, и если же, наконец, он и садится в повозку, так единственно потому, что невозможно этого не делать, точно так же как преступнику нельзя не класть голову под топор гильотины.

Наконец голова под топором, и проезжающий в повозке.

— Отворяй! Пущай!

Что же это такое происходит?

По плану деревни, расстояние от того постоялого двора, где запрягли тройку, до местной церкви определяется с версту; от церкви до поскотника (караульщика у ворот для окружающей селение загороди) будет версты две, а от поскотника до торной дороги, окопанной канавами, еще верста. После слова «пущай!» все эти расстояния исчезают; испуганный глаз проезжего едва ощущает облик отворяемых старых ворот, и, кажется, одновременно и тут же, где мелькнули ворота, мелькает и храм и поскотник, и вот чистое поле, всё вместе и всё как во сне! Не знаешь, кто тут сошел с ума и пришел в неистовство, ямщик ли рехнулся, очумел и в беспамятстве не видит, что и он, и проезжие, и лошади должны разбиться вдребезги, или эти лошади взбесились и дошли до такого исступления, что с ними не справится никакая сила, и что ямщик в ужасе опустил руки и обомлел.

Чем все это кончится?

Не раньше как на пятнадцатой версте проезжающий, наконец, узнает, что такое с ним случилось: оказывается,

что ни ямщик, ни лошади не впадали в исступленное состояние, не бесновались, а делали свое дело так, как следует его делать по сибирскому обычаю, — просто *ехали* «на сибирский манер». На пятнадцатой версте ямщик сразу остановит своих бешеных коней, слезет с козел, походит около повозки, покурит, поговорит. Но неопытный проезжающий, хотя и имеет случай сознать себя не погибшим, но еще решительно не в состоянии прийти в себя и получить хотя бы малейший интерес к «окружающей действительности». В пору только отдышаться и почувствовать, что в организме произошло какое-то ужаснейшее потрясение. Возможность какого-либо внимания к окружающему возникает в неопытном проезжем не ранее, как на третий, четвертый день знакомства с сибирскою ездой; все же эти первые дни проезжающий должен употреблять единственно на напряженнейшее внимание к самому себе, к собственной своей участи, к изобретению всяких средств к своему спасению. Он придумывает, как бы ему «выскочить», как бы удержаться «руками», упереться «ногами», и только тогда, когда он вполне сознает, что все его физические средства израсходованы, что изобретательные способности его исчерпаны, когда он весь встряхнут, как мешок с орехами, тогда только он может, наконец, дать волю и умственной деятельности, а следовательно, и вниманию к окружающей действительности. На третий, четвертый день, когда принцип сибирской езды понят вполне, когда все «суставы» во всех направлениях растрясены, и когда изнеможение охватывает человека уже с головы до ног, и притом распределяется по всему организму вполне равномерно, тогда уже вступает в свои права и духовная деятельность. Еле добравшись до станционного дивана или даже до ступеньки станционного крыльца, можно уже найти в себе возможность для внимания к окружающему, к природе, людям; можно ощутить и потребность побеседовать с этими людьми.

Большинство сибирских ямщиков *«мчит»* проезжего, так сказать, «по привычке», по установленному для *сибирской* езды обычаю: то «дует» сломя голову, то передохнет, а потом опять дует. Да и тройка также приучена

понимать, как ей поступать; ямщиком такой дрессированной тройки может быть десятилетний мальчик, и даже просто калека без ноги, лишь бы мог сидеть на козлах. Иногда, впрочем, такие ямщики оказываются весьма неудобными: какая-нибудь случайность (прохожий встал из канавы, быстро выбежала из лесу скотина, что со мной и случилось) пугает забитую дрессированную тройку, и она так же безумно бросается в сторону, в овраг, в канаву, как и безумно мчалась по дороге. У таких обученных «мастерству» ямщиков весь процесс езды идет самым шаблонным образом; кнут, покрикивание, посвистывание, все это делается только по обычаю. Но есть действительно сибирские ямщики, ямщики-артисты, и даже не ямщики, а дирижеры, причем кнут, это — жезл капельмейстера, а тройка — оркестр. Этот артист-художник, видимо, заинтересован талантами своего оркестра, любит в одном исполнителе одно, в другом — другое, принимает их особенности к сердцу и ставит своей задачей — развить в своих любимцах все их дарования. Когда такой ямщик иной раз сойдет с козел поправить дугу, узду, расправить космы, растрепавшиеся на лбу коренной или пристяжной, он делает это так же, как нянька с детьми на прогулке: внимательно посмотрит в лицо ребенка, поправит волосы, пообдернет платье и шапочку также поправит. И лошади у того ямщика смотрят на него как дети на няньку, знают, что он их «прихорашивает», а не подошел к «рылу» за тем, чтобы доказать, что он заметил вредные идеи и что кулак у него то же, что «недреманное око». В езде такого ямщика вы постоянно примечаете стремление превратить скучное ремесло в дело любимое и интересное. Кнут, и свист, и речь, которыми он располагает для возбуждения в тройке разных мотивов езды, только знаки, понятные умному и понимающему дирижера оркестру.

Говоря об особенностях сибирской езды, никоим образом нельзя не обратить внимания на роль, которую играет в этой езде именно ямщицкий *свист*. Свист вообще, это — знак, сигнал, тон, который ямщик дает лошади, вызывая в ней известное настроение. Но при огромных сибирских расстояниях, при пустынности мест, свист, очевидно, помогал и в других дорожных случайностях: в темную, осеннюю, дождливую ночь или зимнюю вьюгу, с одного

конца обоза надо дать знать по всей линии повозок о том, что на дороге ухаб или что, по случаю грязи, передовой своротил с дороги, едет лугом, лесом. Мало того, что надобно дать знать по всей линии, — надобно еще и ответ получить от всех ямщиков всех повозок, растянувшихся за передовиком, надо убедиться, что каждый слышал и понял предостережение. Мне пришлось в течение шести темных августовских ночей ехать в одной партии с семью повозками почты. Я старался не отставать от почты, иначе один не решился бы ехать в темную ночь. И тут я убедился, до какого совершенства разработана эта ямщицкая специальность. В разных случаях передовик дает пронзительные свистки самого разнообразного качества, и такими же разными в разных случаях и разными по разнообразию выдумок каждого ямщика ответами откликаются на каждый случай и все ямщики по всей линии. Непрерывно идет над всем поездом какое-то адское беснование звуков, и когда по обыкновению, въезжая в деревню, поезд начинает мчаться уже в совершенном бешенстве, адские, беснующиеся звуки достигают одуряющей дикости.

Не одни, однакож, ямщики разрабатывали это сигнальное дело пустынных пространств. Немало поработал для его развития и «лихой человек», грабитель, разбойник и душегуб. Дать знать в темную ночь *своим,* засевшим под мостом, товарищам, что идет обоз или что приближается подкарауливаемый прохожий, нельзя иначе, как посредством только этого знака. Выстрел мало того что может быть замечен на том пункте, где мелькнет огонь, но он и заглохнет, щелкнет как орех в щипцах, иссякнет в этом огромном пространстве пустыря или в душной глуши тайги. Нужен звук, — может слышать его и проезжий, но ему не суметь уловить места, откуда он идет. И вот выработался разбойничий, могучий, грозный, даже просто ужасающий, беспощадный и немилосердно жестокий свист. Один ямщик, может быть сам человек «бывалый», поистине потряс меня таким разбойничьим свистом. Он начинал его, скосив и сжав челюсти, какими-то сложными звуками, в которых жалобная, унылая нота как бы умирающего человека вилась между какими-то ухарскими, резкими, беспощадными звуками; все эти звуки первое мгновение слышались тихо, хоть и все разом, но

тотчас же, как развертывается змея или, еще лучше, кнут палача, — развертывался и свист в огромном пространстве, вверху где-то, именно как свистящий, длинный, толстый кнут палача, режущий своим острым концом воздух и вот-вот готовый вонзиться в живое тело, которое жалобно-жалобно, из всех остатков сил, вопиет, как ребенок, и ждет смертельного удара. Этот, очевидно, выработанный грабителем и душегубом свист, свист, в котором слышна горячая, только что удалым манером пролитая кровь, так ощутительно отозвался именно в коже моего тела, что я «Христом-богом» просил ямщика не свистать, когда он попробовал было развернуть кнут палача еще раз. Ямщик понял, что я «испугался», улыбнулся и был, очевидно, доволен, что произвел именно то впечатление, какое и требуется. Проезжий купец с деньгами в мешке, услышав такой свист, замрет на месте и сам отдастся в руки.

XV. КОЛЫВАНСКИЕ, КАИНСКИЕ, ТЮКАЛИНСКИЕ И ДРУГИХ МЕСТ БРОДЯГИ И ТЕМНЫЕ ЛЮДИ

Кроме однообразия дальней дороги и удручающего впечатления пустынных, мало оживленных пространств, побуждающих даже и любознательных путешественников поскорее выбраться на белый свет, к «вокзалу», — не веселит также и безлюдье самой дороги. Только в торговые, ярмарочные месяцы оживает она; в остальное же время года, особливо летом, она до чрезвычайности пустынна. Товары и арестанты идут в Сибирь пароходами, и поэтому весь тракт не оживлен движением. В десять дней, я не знаю, встретил ли я десять встречных проезжих, кроме, конечно, почты, изредка небольшой партии переселенцев, да кое-когда крестьян, возвращающихся или едущих с полевой работы или на работу, да и то только по близости сел. Но иногда целый день не встретишь ни единого, более или менее «благообразного», проезжего, но зато прохожего, и притом всегда «неблагообразного», встречаешь почти на каждом шагу.

Бродяга, человек подозрительного вида, постоянно останавливает ваше внимание и заставляет подумывать о чем-то, не похожем на размышления о красотах природы. На эти мысли наводят и другие иллюстрации «тракта», находившиеся в связи с размышлениями об этих таинственных прохожих. Вот у самой дороги стоит почему-то крест, новый, только что поставленный. Такие кресты ставятся над могилами. И точно, ямщик объяснит вам, что здесь зарезали недавно двух торговцев. А под другим, уже почерневшим, но все-таки недавно поставленным крестом лежит убитый торговец огурцами, возвращавшийся с ярмарки года полтора тому назад.

— Что, у вас там не пристукивают? — лениво спросил меня, записывая подорожную, станционный смотритель на какой-то станции. Спросил вяло, сонно, от нечего делать.

— Не слыхать, — сказал я. — А здесь разве бывает?

Флегматик-смотритель предпочел сначала окончить запись, а потом не спеша ответил:

— Третьего дня прикокнули одну женщину... С вас восемьдесят пять, да за повозку... Прикокнули бабенку какую-то!

Правда, не слышно, чтобы бродяга-грабитель очень был охоч до проезжающего, но тем не менее грабитель, во всех видах, орудует во всех пунктах этого тракта самым развязным манером и делает свое грабительское дело в самых широких размерах. Пересматривая корреспонденцию в одну только «Сибирскую газету» настоящего года, мы среди мелких известий о самых мельчайших местных неурядицах и дрязгах, кроме таких же корреспонденций о грабежах и всякого рода воровских проделках бродяжного человека, находим еще отдельные, специальные статьи, посвященные этому же воровскому делу, как бы обозрения воровского мастерства за известные периоды времени; да и самое количество кратких известий и кратких корреспонденций о воровском деле бесконечно превосходит количество известий решительно обо всех других явлениях местной жизни. «Колыванские Рокамболи», «Наша небезопасность», «В осадном положении», — такие, специально грабительству посвященные, статьи доказывают, кроме постоянных мелких известий, то, что грабительство широко и прочно разрабатывается в Сибири и в наши дни.

Чтобы познакомиться, хотя слегка, с положением воровского дела на сибирском тракте, сделаем несколько извлечений из «Сибирской газеты». Первый город от Томска *Колывань*. Только в трех номерах «Сибирской газеты» мы находим такие известия: «Из Колывани извещают, что она стала облюбованным пунктом всевозможных мошенников, откуда они распространяют свою деятельность на окрестные села и деревни. Недавно отсюда был выслан в Тюкалинск ссыльный А. Натус, действовавший в компании с другим корифеем мошеннического мира, Живаховым. В настоящее время при полиции содержатся еще двое мошенников, Третьяков и Михайлицын. Они оба (помимо разного рода мошенничеств) *выдавали* себя за делателей фальшивых кредитных билетов и обирали, таким образом, простоватых людей, падких до «блинков».

Самый тон этой корреспонденции дышит особенностями таких условий жизни, в которых мошенничество понимается во множестве оттенков. Здесь мошенничеством уже почитается то, что плуты *только выдавали* себя за подделывателей; они не настоящие фальшивые монетчики, и поступки их потому гнусны, что вводили в заблуждение *простоватых людей*. Простоватые же люди, желающие получить фальшивых денег, совсем даже и не порицаются, хотя, получив *настоящие* фальшивые бумажки, стали бы также надувать других «простоватых», то есть простых крестьян. Действительно, настоящие, неподдельные фальшивые монетчики поступают не так, как Михайлицын или Третьяков, а делают дело, как должно. Колыванский казначей до того уже пригляделся к фальшивой монете местного производства, что даже знает, кто какую монету делал и чья это работа. Раз как-то он недосмотрел и отправил фальшивый двугривенный в числе денег, следовавших в уплату жалованья учителям местной школы. Там рассмотрели фальшивую монету и возвратили ее казначею со сторожем.

— Да они совсем зазнались! — сказал, посмеиваясь, казначей. — Чем она худа? Вон С—нцов делает, так у того хуже материал, да и то добрые люди берут. А эти хоть куда! Правда, красновата, но сработана чисто и уж не изогнешь!

Про С—нцова же сказано только: «Кузнец, резчик, слесарь и вообще на все руки мастер». Самое сокращение

фамилии свидетельствует о том, что С—нцов может обидеться на обличителя и что вообще про него еще нельзя сказать прямо, как про Михайлицына, «мошенник». Видно, что он человек свободный, известный, но почему-то еще неприкосновенный.

Относительно одного из поименованных в известии из Колывани «мошенников» мы находим довольно подробное сообщение — о Живахове. В статье «Колыванские Рокамболи» сказано, что Живахов мещанин из ссыльных и звать его Семен Евстафьевич. Он стоял во главе целой шайки плутов, в числе которых особенно заметны: рядовой Инякин, колыванский мещанин-доброволец Петров и бывший начальник тюменско-ачинского пересыльного тракта, и теперь ссыльный, тобольский мещанин Анненков. Все они образовали собственную свою *следственную комиссию* и отправились обирать раскольническую общину, отстоящую от города в ста пятидесяти верстах. Нужно сказать, что в этой общине уже был свой грабитель, некто Никита Федоров, который давно уже «вымогал» из общины деньги всякими способами и особенно доносами губернатору и министру внутренних дел. В последнее время доносы перестали действовать, и местный плут обратился к содействию колыванской «следственной комиссии». Он приехал в Колывань, вступил в переговоры с Живаховым и пригласил его в тайгу для производства следствия над раскольниками, якобы по его доносу. Живахов тотчас же принял это предложение, преобразил себя в губернатора, Анненкова сделал чиновником особых поручений, прочих плутов понятыми и 26-го февраля настоящего (<18>88) года содрал с раскольников четыреста рублей и со всей комиссией возвратился на раскольничьих лошадях в Колывань, откуда и скрылся. Не раз он подвергался высылке из Колывани, но жил всегда поблизости в какой-нибудь деревне. Говорят, что, разыскивая его в настоящее время, полиция получила из Каинска от чиновника по крестьянским делам сведения об этом артисте, причем целый лист кругом надобно было исписать, чтобы перечислить только уголовные дела, по которым Живахов привлекается к ответственности. [1]

---

[1] Способ производить всякого рода хищения именем начальства и в образе чиновника практикуется в Западной Сибири вообще

В числе плутов, пользовавшихся в Колывани обширной известностью, был, кроме Живахова, о котором мы только что говорили, еще некто Натус. За плутовство его *выслали* в Тюкалинск. Этот город стоит на нашем тракте, и мы своевременно будем там, но теперь скажем только два слова о положении воровского дела в Тюкалинске, чтобы видеть, насколько благотворно может подействовать на Натуса пребывание в Тюкалинске, а не в Колывани. Вот первое попавшееся известие: «Из Тюкалинска, от 17-го марта, нам пишут о *разграблении обоза.* На расстоянии четырех верст от города было совершено с неделю тому назад нападение на обоз, шедший из Ирбита. *Грабителей было так много, что обозчики разбежались, оставив грабителям весь обоз».* Вот легкий намек на те удобства жизни, которые может найти в Тюкалинске г. Натус. Мал золотник, да дорог, и мы, оставив разговор о Тюкалинске до его очереди, возвратимся на наш «тракт».

За Колыванью следующий город будет — *Каинск.* Самое название говорит, что именно здесь Каин убил брата своего Авеля. И до сих пор Каиново дело процветает здесь в таких размерах, о которых мы, великороссийские

с большим успехом. В нынешнем же году киргиз Семипалатинского уезда Джаныбеков, посланный одним казаком в степь для розыска украденных у него лошадей, *вздумал* разыграть роль чиновника, командированного генерал-губернатором для размежевания земель. Для вида он купил на базаре игрушечную саблю, крестьянский красный шарф, заменивший портупею, еще какую-то мишуру и позументы, подговорил себе в письмоводители «другого грамотного киргиза Батанова» — и пустился в путь. Кое-как был подделан открытый лист за подписью губернатора; затем в случайно попавшемся на чье-то имя «похвальном листе» было вычищено чужое имя и вставлено фальшивое имя межевого чиновника. Деятельность этой межевой партии состояла в том, что, приезжая в какое-нибудь глухое место, они начинали якобы межевать и всегда находили, что заимка богатого владельца стоит не на своем месте. С полным успехом объехали они на обывательских лошадях несколько волостей Семипалатинского уезда и перебрались в Усть-Каменогорский. Опьяненные удачей, они здесь дошли до такого нахальства, что потребовали к себе волостного начальника и письмоводителя и на этом «нарвались». После ареста оказалось, что этот «чиновник» уже давно известен как вор. Успех же его по межевой части ясно доказывает, как велика в народе нужда в правильном размежевании. (С<ибирская> г<азета> № 50).

жители, даже и понятия иметь не можем. Известий о каинских грабежах и грабителях — масса; но мы удовольствуемся только одной корреспонденцией, рисующей дело грабежа в течение нескольких только дней по порядку, и для нас будет совершенно достаточно, чтобы видеть, что такое творят там грабители, и чтобы прийти в неописуемое изумление, узнав, что терзаемые грабителями каинцы находят возможным определять эти терзания выражением: «это еще *слава богу!»* Итак, *«слава богу»*, что в Каинске происходит пока только следующее:

«Жулики образовали целые летучие отряды, которые стали настоящей грозой не только беззащитных товарных обозов и беспечных каинцев, с их деревенскими соседями, но и солидно вооруженных револьверами проезжающих. В последнее время разнесся слух, что жулики хотят ограбить почту; вследствие чего, 18-го февраля, начальник конторы обратился к полиции с просьбой отрядить конвой для охраны почт. К марту месяцу в Каинске уже увеличено число караульных, установлены постоянные ночные разъезды полицейских, причем в помощь последним на ночь дается несколько солдат. По тракту, в обе стороны от Каинска, по распоряжению губернатора, устроены объезды караульных, которых выставляют крестьяне окрестных деревень. Единственная деревня, которая *упорно,* несмотря ни на какие настояния начальства, *отказалась* поставлять караульных, это д. Осиновка, находящаяся в самом близком расстоянии от Каинска, и притом, по некоторым причинам, разграбляемая жуликами беспрерывно, беспощадно, без всякого снисхождения. Причина этой особенной ненависти такая: один из жуликов приехал прошлой зимой в Осиновку на лошади, которая была в этой же Осиновке украдена у татарина.[1] Лошадь узнали, отняли и жулика повезли в город. Повез его тот самый сотский, у которого украдена была пара лошадей. Жулик дорогой вызвался за три рубля указать сотскому место, где находятся его лошади, и когда его через три дня выпустили, он не замедлил явиться с товарищами к сотскому в Осиновку за тремя рублями. Но

[1] Почти одновременно с этой кражей была украдена у сотского этого же села пара лошадей с повозкой и кошовка у почтосодержателя.

сотский по данному жуликом адресу нашел только одну лошадь и не захотел платить трех рублей. Жулики стали требовать, но сторону сотского принял народ, и их избили. С тех пор организованные каинские шайки ни на одну минуту не оставляют осиновцев в покое и грозят сжечь». В «Сибирской газете» я нашел описание целого ряда подвигов этих шаек, в течение только нескольких дней февраля нынешнего года.

Грабежей, совершенно беззастенчивых, бесцеремонных, совершаемых открыто, среди бела дня, такое множество, что в этом письме нет возможности перечислить их. Положительно нет конца и краю. И при всем том несчастные ограбляемые жители (иной раз и сами принимающие участие в грабежах, по охоте) находят возможным, рассуждая о тех разбойствах, которые читатель только что узнал, говорить такие слова:

— Теперь еще что! Теперь еще слава богу! — говорят каинцы. — Теперь стоят морозы, холод. Лапотишек и одежонки у жулья нет, многие так, *без дела* и сидят в кутузке. А вот тепло-то пойдет, тогда этих мастеров столько выползет, что и житья не станет!

— Но ведь есть на это жулье полицейская расправа? — возражает слушатель, удивленный этим «слава богу».

На это знатоки местной жизни отвечают только улыбками.

— Ну, подержат их, — говорят эти опытные люди, — двое-трое суток при полиции, да и выпустят. А жулик вышел и тотчас грозится *припомнить*.

Вот почему, между прочим, не решались выставить караул и осиновцы.

Не знаю, продолжать ли мне хронику этих разбоев по всему тракту? Поистине, фактов неисчислимое количество, и притом повсюду, но в особенности в Западной Сибири. В Тюкалинске, например, делалось, до недавнего увольнения всего тюремного начальства, следующее. Один богатый торговец, желая отомстить другому, также богатому торговцу, обвинил его в том, что он, подкупив погонщика его скота, купил у него двести пятьдесят штук баранов. Погонщик (ссыльный) подтвердил это ложное обвинение под присягой, и богатый человек был заключен в тюрьму. Вероятно, враг его так хорошо платил за это, что никакие просьбы и ходатайства не действовали.

Попав в тюрьму, он, как богатый человек, подвергся нападению арестантов, которые требовали с него 150 р. и грозили убить. Едва-едва он занял сколько-то денег у знакомых мещан. Никакие жалобы на опасное положение свое среди подлинных грабителей не получали удовлетворения. Это тянулось до тех пор (с 26-го декабря по 16-е января), пока родной отец заключенного не поехал лично жаловаться тобольскому губернатору. Все эти деятели, совершенно одинаковые в своих поступках с арестантами, теперь уже уволены. И чем дальше в глушь, тем весь этот тюремный народ (и караульные и арестанты одинаково) делается все развязнее и бесцеремоннее в обращении с местными жителями. «По дороге из Тюмени в Туринск (читаем в № 20) на каждой станции, от нечего делать, ссыльные кутят, играют в карты; где происходит дневка — деморализация сильнее; в крестьянстве нарождается повадка пользоваться тем, что лежит плохо. Все это отражается и на конвойных солдатах, которые чувствуют себя здесь, как и арестанты, «свободно и развязно». Завидев партию, крестьяне предпочитают сворачивать с дороги, особливо женщины, с которыми и солдаты и арестанты позволяют себе всякие бесчинства». Вообще преступники, то есть бродячий, мошенничающий народ, ведут себя в Сибири вполне свободно. Его только пересылают с места на место или на время сажают в темную, откуда опять скоро выпускают на свободу. Арест и пересылка — это только антракты в несколько дней, для перехода из одного места в другое, а большею частью антракты между одним мошенничеством и другим. В статье «Наша безопасность» (из Верхоленска) пишут: «Недавно один из местных жителей наткнулся на грабеж и тотчас уведомил полицию». Жулики, «при своем аресте, в присутствии полицейского начальства, стали угрожать ограбить в самом скором времени указавшего на них и даже убить его, что они неоднократно подтверждали даже в кабаках, *куда ходили из тюрьмы, уже содержась под стражею»*. Полиция обещала принять меры, однакож упомянутый обыватель был-таки ограблен начисто. «Замечательно, что все это происходило (взлом окна) засветло, в двадцати шагах от полиции». Паника, которую вызвали открытые грабежи,

до того овладела жителями, что они решительно отказываются от всякой защиты и обороны... Несколько человек, днем, толстыми поленьями бьют *кого-то* на улице, шагах в шестидесяти от волостного правления, и на ужасающий, пронзительный крик жертвы, раздававшийся более двадцати минут, сельский обход явился уже тогда, когда разбойников и след простыл. К утру следующего дня несчастный умер. Боясь угроз жуликов, волостное правление, при котором они содержатся «в каталажке», дает им полную свободу. Недавно три арестанта, обвиненные в грабеже, *пользуясь полною свободою* разгуливать по улицам Верхоленска, ограбили мещанина Яковлева. А потом, конечно, воротились в «каталажку» — делить награбленное. Факты один за другим, и всё в том же самом роде, — без числа. Об одних конокрадах, широко разработавших свое дело, можно бы было написать целый трактат. Начальство, к которому обращаются за защитой, советует обращаться непосредственно к ворам и с ними входить в сделку. И это действительно единственный исход.

XVI. ССЫЛЬНЫЕ ПОСЕЛЕНЦЫ

Нет никакого сомнения, что ежегодный прилив таких же бродяжных и темных людей целыми тысячами, ежегодное увеличение тысячами уже существующих сотен тысяч такого же народа, — нет сомнения, что такое ненормальное, противуобщественное явление наносит народонаселению Западной Сибири коренной, глубокий вред во всех отошениях. Поистине, нельзя не дивиться, по каким резонам сотням тысяч этих людей не выработано никакого определенного положения.

Мольбы сибирских жителей и сибирского начальства о прекращении или по крайней мере о приведении дела ссылки в какой-нибудь порядок идут из всех городов Сибири с незапамятных времен. «Почти *все* города Тобольской губернии, администрация Тобольской и Томской

губерний и генерал-губернатор Западной Сибири неоднократно, самым решительным и категорическим образом, высказывались против ссылки. Уже *десять* лет тому назад ген.-губернатор Западной Сибири заявлял высшему начальству о *переполнении* ссыльными городов». Но до сих пор дело стоит так, как было с незапамятных времен, и внутренняя Россия ежегодно поставляет в города и села Западной Сибири тысячи такого сорта людей, которым она не может позволить жить в городах и селах Европейской России. Что бы сказали москвичи, если бы все московские жулики и всякие темные люди, ежедневно и еженощно забираемые в многочисленные кутузки, были бы водворяемы на жительство среди обывателей, то есть были бы *высылаемы* из кутузок и острогов на поселение в обществе, среди людей добропорядочного образа жизни? Никому и в голову не может прийти, чтобы можно было, в каких бы то ни было видах, делать что-либо подобное, а между тем все это делается над Сибирью уже «около *трех* веков»,[1] а когда и как прекратится это непостижимое дело — решительно неизвестно.

Года два тому назад в печати прошел слух, что «решено избавить Сибирь от этого проклятия». Но из дальнейших разъяснений этого слуха оказалось, что речь идет о прекращении *ссылки по суду;* ссылка же административным порядком, *по приговорам обществ,* будет только изменена в некотором отношении. Между тем именно ссылка по приговорам обществ, административным порядком, тяготеет *исключительно над Западной Сибирью.* Все ссыльные разделяются на пять категорий: 1) *каторжные*, из которых в тюрьмах Западной Сибири остаются только дряхлые старики, не могущие следовать пешим этапным порядком, холостые, оставляемые *иногда* в тобольской каторжной тюрьме, да осужденные в крепостные работы (оставляются в усть-каменогорском каторжном отделении); 2) *ссыльнопоселенцы,* которые *почти все* направляются в Восточную Сибирь;[2] 3) *ссылаемые на житье* по приговорам судебных мест распределяются по

---

[1] «С<ибирская> г<азета>», № 3.

[2] В силу выс<очайше> утв<ержденного> мнения госуд<арственного> сов<ета> 15-го июня 1859 года.

Западной и Восточной Сибири, соображаясь с судебным решением; 4) *водворяемые рабочие-бродяги* все направляются в Восточную Сибирь, и, наконец, 5) *ссылаемые* в административном порядке. Эта категория сама уже распадается на две группы: а) ссыльные *по распоряжению правительства* водворяются, по тому же распоряжению, и в Восточной и в Западной Сибири, и б) *ссыльные по приговорам обществ* — водворяются *исключительно в одной Западной Сибири.*

Не думайте, чтобы «общества» уступали судам и администрации в количестве высылаемых ими вредных элементов. С 1827 года по 1846 год, как мы уже знаем,[1] в распоряжение Тюменского приказа препровождено было 159 755 человек. Из них *по суду* сослано уголовных 49%, а административных 51%. В десятилетие 1867—76 годов сослано 151 585 чел., причем *по суду* сослано в Западную Сибирь *семь* тысяч, а административным порядком 78 с половиною тысяч. Далее, в течение семи лет (1870—77 г.) сослано было 114 370 чел., из них административных было — 63 442 чел. Наконец, из последнего отчета инспектора Тюменско-Ачинского тракта (1880—1886), то есть за шесть уже лет, выслано 120 065 чел., причем административных 64 513 чел., а по суду 55 552 чел.

Таким образом, с каждым годом наплыв в Западную Сибирь людей, ссылаемых, так сказать, *«по вкусу»* сельских обществ, принимает все более и более непропорциональные размеры, сравнительно с количеством ссыльных *по суду.* Не знаю, есть ли где-нибудь в свете что-нибудь подобное этому своеобразному сорту виноватых людей, которых нельзя предать суду, но сослать можно? Там, где и извозчик платит штраф, если он нарушит постановление, воспрещающее вылезать из саней и топтаться на тротуаре, когда нет десяти градусов мороза, там ссылаются сотни тысяч людей, не подлежащих никакому точному обвинению в каком-либо явном нарушении закона. Сколько мне известно, о людях этого типа *виноватых* мы в нашей литературе не имеем никаких сведений. Нет никакого сомнения, что сельские общества не часто могут ошибаться в своих постановлениях. Конокрады, например, как подлинные враги хозяйства, даже

[1] Том III, стр. 247. (См. стр. 251 этого тома.)

прямо убиваются обществами насмерть, и для людей такого сорта ссылка по приговору общества может почитаться еще милосердием и снисхождением. Но кто же не знает значения так называемого *воротилы* в наших сельских и городских самоуправлениях? Нет ли в этих сотнях тысяч по приговорам сосланных людей и таких, которые сосланы миром, обществом единственно вследствие железных пут, которыми воротила закабалил все сельское общество? Да и вообще, в чем собственно выражаются *вкусы* относительно ссылаемых лиц тех ссылателей, которые находят невозможным или неудовлетворительным простое предание «вредных им» лиц суду и следствию? По суду ссылается (1867—76 г.) только *семь* тысяч, а *«по вкусу» — семьдесят восемь тысяч*. Чего же смотрит суд-то? — могут сказать на это.

Господин Бунаков попадает в Сибирь после того, как он сам привез на вокзал свою мертвую любовницу в мешке, то есть уж окончательно не мог притворяться долее человеком религиозного направления и почетным гражданином; теперь только на суде можно будет знать подробно всю его пятидесятилетнюю биографию. Почему же он мог так долго не быть высланным «по общественному приговору», если вся его деятельность была противузаконна и когда, на глазах общества, он был виноват постоянно и на каждом шагу: он взял у крестьян деньги на покупку для них земли и купил ее на свое имя, причем государственные и земские платежи платили за него те, у кого он обманом оттягал землю; пожертвовав из этих земель триста дес<ятин> на школу, он получил почетное гражданство в то самое время, когда сидел в тюрьме за покушение на убийство; совершая явно, «на глазах всего общества», все эти явно беззаконные деяния, он мог быть председателем земской управы. Кого же «общества» ссылают, если Бунаковы могут быть председателями? Точно ли уж так чиста «общественная совесть», что ей в течение десяти лет опротивело целых восемьдесят тысяч человек, тогда как за то же время законный суд мог набрать только семь тысяч виноватых? Неужели же суд, еле-еле наловив семь тысяч, проглядел восемьдесят тысяч таких молодцов, с которыми ничего нельзя поделать иначе, как сослать в Сибирь?

Явление, как видите, весьма многосложное и достойное внимания, но пока нет речи даже и об его выяснении. Каждый год в Западную Сибирь прибывают тысячи ссыльных, на которых рассердилось «общество», и покоя не дают коренным обывателям Западной Сибири. Битком набили ее, бедную, этим бесприютным народом. Необходимо принять во внимание, что Западная Сибирь не вся подвержена этому бедствию. Степное генерал-губернаторство освобождено от водворения ссыльных; исключен из числа мест ссылки также весь Алтайский округ, то есть больше половины всей Томской губернии, кроме того, ссыльные почти не водворяются в Березовском и Сургутском округах Тобольской губернии, тогда как при общей площади губернии в 26 749 кв. миль на эти округа приходится 18 375 кв. м<иль>. Остаются, таким образом, для приселения ссыльных третья часть Тобольской губ<ернии> и менее половины Томской. В этих местностях можно по закону водворять ссыльных только там, где надел не ниже 18 д<есятин> на душу,[1] и *притом в такой пропорции,* чтобы численность ссыльных *не превышала* $^{1}/_{5}$ *численности коренного населения.* Этот до сих пор существующий закон давным-давно нарушен во всех отношениях. Генерал-губернатор Казнаков (1881 г.), в виду крайности, допустил приселение в размере $^{1}/_{3}$ сравнительно с количеством коренных жителей, и все-таки переселение превзошло и эту норму. Таких волостей, в которых по вышеупомянутому закону (18 д<есятин>) можно водворять ссыльных, во всей Тобольской губ<ернии> считается 110, коренное население которых составляет до 262 000 душ. По закону, одна пятая будет равна 50 тысячам человек с сотнями, но по 1887 год сюда водворено уже 72 082 д<уши>, то есть более против нормы на 19 684 д<уши>. В Тюкалинском уезде (в том самом, где грабителей напало на обоз *так много*, что ямщики разбежались) на 46 000 душ числится 16 639, то есть уже более даже и $^{1}/_{3}$.

---

[1] То есть 15 дес<ятин> на душу местного жителя и 3 д<есятины> на случай приселения ссыльного; пять домохозяйств отделяют в его пользу по 3 д<есятины> и образуют ему такой же, как и у них, 15-дес<ятинный> надел. Все эти сведения заимствованы из специальной статьи о ссылке в № 8 «С<ибирской> г<азеты>», 1888.

И в то же время в эти, по всем законам и нормам не подлежащие уже для приселения, места ежегодно вливался ссылаемый «по вкусу, а не по суду» народ все в большем и большем количестве: в 1875 году количество ссыльных было 4500, а в 1886 году — 6777, в настоящее время, наверное, уже вдвое.

Вполне соглашаясь с тем, что такой народ — великое зло для ни в чем не повинного и трудящегося крестьянства, читатель, может быть, в то же время не решится все-таки не принять во внимание, что какой бы там ни был этот сорт ссыльного, а он все-таки, получая землю, превращается также в крестьянина, населяет землю и, следовательно, оживляет пустынные места. Так должен думать читатель, который не привык входить в подробности, а привык быть довольным, если *мы* вообще, как бы там ни было, расширяемся и умножаемся. Но — увы! — даже и такие мечтания патриота-читателя окажутся не имеющими ни малейшего основания, если только он войдет в подробности дела. Если какое бы то ни было сельское «общество» имеет право выгнать от себя «вредного члена», то точно такое же право имеет и то сельское общество, в которое этого вредного члена желают водворить. Как русское, так и сибирское общества пользуются одним и тем же правом — высылки человека, который им не по вкусу. Мне передавали лица, близко знакомые с делом, что учреждения по крестьянским делам в Тобольске и Томске завалены ходатайствами сельских обществ Западной Сибири о выселении этих незваных-непрошеных людей. Если такие ходатайства удовлетворяются в Европейской России, то они должны удовлетворяться и в Западной Сибири, и вследствие этого на земле действительно остается только 5% ссыльного люда, — все же остальное количество образует огромное бродяжное полчище и массу рабочих рук, покупаемых сибирским предпринимателем за такие цены, какие ему вздумается дать, «во всяком случае дешевле пареной репы».

Кроме самого законного желания не иметь в своем обществе вредных элементов, на чем основана уверенность, что крестьяне-старожилы, коренные жители мест, обработанных трудами целых поколений, будут охотно раздавать из своих земель участки для каких-то темных

людей, ссылаемых, то есть, очевидно, ненужных там, где они были? Ведь те же общества, за одно только причисление к своему составу *переселенцев,* людей вовсе не темного сорта, брали по пятидесяти рублей с семьи, и только тогда, когда у них самих земли было более чем достаточно! Почему же они будут покоряться какой-то непонятной необходимости — собственными руками устраивать собственное свое расстройство, отдавать свою землю даром такому постороннему, пришлому лицу, которое оказалось негодным для общества таких же крестьян и хозяйственных людей, как они сами? Нетрудно представить то «внимание» сибирских обществ, которое они могут оказывать выброшенным, оставленным без внимания обществами крестьянства Европейской России. Стоит на минуту представить себя среди такой недружелюбной среды, чтобы уйти куда глаза глядят от этого «надела», который надо отрывать у пяти человек, то есть нажить прямо пять самых задушевных врагов. Не уйди сосланный «по вкусу» добровольно на заработки в город, его водворят приговором, и вот, хотя по бумагам и числится, что «водворено» множество народа, но на деле это несметное множество только «выдворено» из всех пространств Европейской и Азиатской России. В то же время такое положение человека, который оказался ненужным, во-первых, обществу российскому, во-вторых, обществу сибирскому, в-третьих, не подлежащим суду, в-четвертых, не имеющим права даже на тюрьму и паек, — такое положение прямо обязывает его стать на нейтральную почву, то есть жить вне общества, вне тюрьмы, вне суда. Каждый год строить новые тюрьмы на 7000 человек — дело невозможное; впору только в существующих «каталажках» дать время «погреться» нейтральному человеку, и то не больше трех дней, потому что нехватает мест для всех, достойных «каталажки». Вот почему Колывань ссылает свои вредные элементы в Тюкалинск, а взамен этого подарка получает все тюкалинские вредные элементы, с прибавкою каинских, которыми и спешит опять обменяться с своими добрыми соседями. Тюрьма не может поглотить этого рода ссыльных, и эти выброшенные жизнью «в пространство» десятки тысяч людей, запутавшихся в бесчисленных грехах

с голода и холода, наполняют фабрики, заводы и гибнут на приисках. Но известная часть их предпочитает пользоваться своим положением иным способом, налагая на местных обывателей своего рода ясак: срезывает тюки и короба с товарами и заставляет выкупать их у себя, ворует лошадей, и тоже заставляет выкупать у себя же, словом, проделывает все, что выработала долголетняя бродячая жизнь.



XVII. ОПЯТЬ „ПРИСКОРБНОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ" И... КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЮ!

Незаметно, потихоньку и помаленьку, накоплялось на душе много тяжких и скорбных впечатлений о виденном, слышанном и читанном в короткое время поездки, и сибирская жизнь, едва мелькнувшая перед моими глазами, с каждой минутой, приближавшей поездку к концу, все ярче и ярче выяснялась во всех ее многочисленных и многосложных особенностях. Хотелось бы воротиться, пожить подольше, побольше видеть, и хотелось этого особенно тогда, когда бешеная тройка, несмотря на непроходимую грязь, лужи, похожие на озера, мчала меня уже к Тюмени, затем и по Тюмени, и примчала на вокзал. Огоньки переселенческих бараков, мелькнувшие в стороне дороги, среди непроницаемого мрака темного августовского позднего вечера, еще сильнее взяли за живое и увеличили огорчение разлуки со всем «страждущим и обремененным», — что и есть «главное и особенное» в сибирской жизни. Томила меня тоска — о невозможности когда-нибудь еще раз видеть «сибирскую жизнь» — и на железной дороге, возбуждая желание, чтобы поезд не так быстро мчал назад, не так безжалостно отрывал от только что воспринятых впечатлений. Не знаю, в каком настроении доехал бы я до центра отечества, если бы отечественная жизнь не изобиловала так называемыми «прискорбными недоразумениями», одно из которых и не замедлило совершиться.

Когда уже было совсем темно, равномерный шум в глубоких водах реки Камы пароходных колес и машины вдруг превратился в какую-то шумную сутолоку: послышались пронзительные свистки, пароход закачало, вода заплескала в окна, и, наконец, весь корпус парохода потрясло до основания. Очевидно, он крепко ударился во что-то и стал.

— Конкуренция! Очень просто! — говорил тоном знатока какой-то из пассажиров, когда все, бывшие на пароходе, толкая и давя друг друга, всею массой высыпали на верхнюю палубу.

Тьма была глубокая.

— Ему, подлецу, дают свистком сигнал: «помоги!», а он ишь прет, ухом не ведет! — говорит еще кто-то, но кто, разобрать нельзя. — Чем бы помочь нам...

«Он» был чей-то пароход, который, во-первых, наскочил на наш, не предупредив никакими знаками, и, во-вторых, шел, не обращая на нас никакого внимания. Баржа его едва не разбила корму нашего парохода.

— Это что вы изволите говорить? Чтобы, то есть, он помог нам?

— Да! Я говорю, ему, подлецу, свистят, «помоги!», а он...

— А он и ухом не ведет?

— Видите, прет, точно не слышит!

— А вы желаете, чтобы вам помог, конкурент-то?

— Конечно, должен помочь!

Не дав договорить фразы, невидимый возражатель раскатился самым отчаянным смехом.

— Помог? конкурент-то? Ха-ха-ха!.. Боже мой милосердный! Это чтобы конкурент-то помог?.. Ха-ха-ха!. Просто отчихаться не могу, что вы сказали!

Этот смехотвор действительно и хохотал, и кашлял, и чихал. С хохотом и чиханьем он, оттесненный толпой от собеседника, не преминул, однакож, прокричать ему откуда-то из дальнего угла:

— Вот, если бы вы пожелали, чтобы вас с пароходом ко дну пустить или, например, пополам рассадить пароход, вот это бы он «с удовольствием!» Сделайте одолжение!.. А вы желаете, чтобы помог? спас? конкурент-то?..

Конкурент чтобы спас, да? Чтобы дьявол вам слюбезничал? сатана-то чтобы подобрел? Уж это напрасно! Не такие времена!.. Рассадить, утопить — так! А то, чтобы...

Скоро совсем не стало слышно его речи, хотя его хохот и чиханье опять слышались откуда-то долгое время. Его болтовня развеселила публику, да и я чувствовал себя очень хорошо, потому что ясно видел, что мы застряли на весьма продолжительное время. Пароход так солидно врезался в берег носом, что верхняя палуба его была заметно поката. Куда мы врезались, за темнотою нельзя было разобрать, но с берега уже доносились человеческие голоса; слышались слова и речи, исполненные «меда и дегтя» по отношению к пароходу «вообще» и в особенности недоброжелательные к пароходному начальству.

— Вот так ловко воткнулся! Посиди, погуляй тут у нас с недельку!

— Так вас и надо, мошенников! Только с нас дерете! А-а-а! воткнулся! — орал в глубокой тьме, очевидно, чей-то пьяный голос.

— Капитан! — зевал кто-то зверским хрипом. — Деньги отдай, слышь? Протокол составлю!

— За что деньги? — спрашивал кто-то из пассажиров.

— У меня плот на этом месте стоял, двести дерев! За что! Я вас проберу! Капитан, выходи! Деньги отдавай!

— Прр-ткол на них, подлецов!

Такие недружеские отношения берега к пароходу производили далеко неблагоприятное впечатление и отнюдь не сулили скорого избавления от беды, и я видел, что благодаря участию судьбы я имею время не вдруг попасть в «срединные места».

— Чего так орете? — сказал, наконец, капитан невидимым существам. — Какие плоты? Что врешь, осел? Сколько вас там? Берите по рублю на человека, идите работать!

— Ребята! Слышь, по рублю!

В темноте слышно шлепанье по грязи множества босых ног.

— Ру-у-у-б-лю! — в кулак гудит кто-то.

— Ау!

И как бы с горы шлепаются звонко и плотно в грязь эти босые ноги. «Рубль», очевидно, действует.

— Живей, живей! — понукал капитан.

Скоро засветился на берегу фонарь, очертились облики каких-то темных фигур.

— Водочки по стаканчику, ваше благородие! В холодную воду лезть надо!

Скоро появилась и водка; враждебного тона как не бывало. Деготь кончился, начался мед.

— Благодарим покорно! Дай бог вам!

— Ну ладно, ладно, живей! Шевелись!

На берегу появились еще фонари; босые люди в рваных рубахах и штанах полезли в холодную воду. В руках у них были какие-то жерди, которые, сравнительно с огромными размерами обнаружившейся, благодаря мели, носовой части парохода, казались просто зубочистками. Нельзя было и мысли допустить, чтобы эти зубочистки могли совершить что-нибудь путное с этою массою железа, которая плотно, со всего разбега, была втиснута в крутой берег из цепкой, железистой глины. Решив, что с этими зубочистками микроскопические фигурки рабочих не совершат ничего путного, я ушел в свою каюту и предпочел лечь спать. Крики, «охи» и все те разнороднейшие звуки, облегчающие тяжелый народный труд, доносившиеся в круглое открытое окно, нимало не беспокоили меня. Я начинал уже дремать, когда пароход вдруг шевельнулся, осел в воду и поплыл. И тотчас же с берега понеслись опять самые несимпатичные для парохода слова:

— Стой! отдай деньги!

— Деньги отдай! Дьяволы этакие!

— Ребята, уходит! Не пущай!

— Садись в лодку!

— Протокол! Стой!

— Гони, ребята! Уйдет!

Но пароход не ушел. В то же круглое окно очень скоро послышались опять медовые речи. Мужики, подплывшие на лодке, вероятно полностью получили деньги.

— Благодарим покорно!

— Дай бог, вашскобродие, много лет!

— Счастливо!

— Дай вам господи!

И пароход понесся еще быстрее прежнего, стараясь наверстать «опоздание», да и месяц к тому же выглянул откуда-то крошечною точкой света.

«Нет, — подумал я, — мчит-таки в страну севера!»

И с этой минуты мысли мои невольно также пошли в «обратный путь», к интересам жизни уже «невиноватой Руси».

2. ОТ ОРЕНБУРГА ДО УФЫ

1890 г.

I. „БАШКИР ПРОПАДЕТ“

— Пропадет башкир! Пропадет! Беспременно пропадет этот самый башкир!

Вот одна из тех особенностей, характеризующих современное положение Оренбургского края, о которой, прежде всего другого, всесословная молва встречных людей всякого звания, как говорится, «прожужжит уши» всякому, незнакомому с этим любопытнейшим краем, раз этот пришелец пожелает что-нибудь разузнать о нем.

Гибель башкира, начатая хищником побольше сотни лет тому назад и уже на нашем веку выразившаяся в самых бесстыдных размерах и приемах, не требует подробного изложения, во-первых, потому, что оно не исчерпано даже и в двух томах добросовестнейшего труда Н. В. Ремезова, а во-вторых, потому, что у всякого впечатлительного русского человека позорное дело расхищения башкирских земель оставило столь неизгладимое впечатление, что никогда не забудется и без напоминания об этом позоре.

В общих чертах можно сказать только одно, что «подлог» есть первоначальник так называемой культуры Оренбургского края. Он есть то зерно, которое первым занесено из недр нашего отечества на девственную почву башкирских земель, и которое, разрастаясь тончайшими и бесчисленными нитями своих бесчисленнейших ветвей и отростков, опутав взаимные отношения людей хищнического общества, сумело прорасти и в оберегаю-

щие закон учреждения, разрослось и здесь, и переплелось отростками и ветвями в единую, темную, дремучую, как глухой темный лес, кляузу.

Учреждение Дворянского и Крестьянского банков, кажется, должно приступить к расчистке этого дремучего леса. На основании беззаконных, подложных документов на владение похищенной у башкир земли можно было десятки лет эксплуатировать так или иначе беззаконно захваченную землю, имея дело лишь с частными лицами. Банки уже не то, что частные лица, и чтобы дать денег под залог частного имущества или же приобрести это имущество для переселенцев, банк должен иметь в руках действительно *подлинные* документы на владение. Но вот таких-то документов немалое количество владельцев, повидимому, вовсе не имеет. В бытность мою в Уфе, общественное мнение было сильно взволновано делом, касавшимся именно этих подлинных документов, необходимых для представления в Дворянский банк, из которого долговременный владелец обширной земельной собственности желал получить солидных размеров ссуду. Административный совет, которому подлежит решить, *можно ли признать землю, предлагаемую в залог, выделенною из башкирских владений или нельзя?* — распался, как гласит молва, на две совершенно враждебные партии: трое стоят за невозможность утвердительного ответа, остальное же большинство упорно отстаивает владельческие права, хотя представитель межевого дела, после самого тщательного изучения всей продолжительной тяжбы владельца за свое право, со всевозможными «инстанциями», мог вывести только *предположение*, что земля *«должно быть»* или *«кажется»* принадлежит владельцу. А материалы для такого заключения — целые горы бумажной переписки за целые десятки лет!

Не подлежит никакому сомнению, что такие *неподлинные* владельческие документы замучают бесконечными и в то же время бесплоднейшими, продолжительнейшими хлопотами новые кредитные поземельные учреждения и в особенности изнурят переселенцев ожиданием той отдаленной (вследствие канцелярской проволочки) минуты, когда можно будет узнать, продадут им или не продадут подлежащий сомнению участок? Замучают и изнурят эти «неподлинные документы» главным

образом потому, что, во множестве случаев, они имеют формальные достоинства вполне подлинных документов.

Множество владельцев, вроде Бунакова, имеют в руках *приговоры* башкирских обществ о продаже ими участков тем или другим лицам, и такие лица имеют полное право и продавать свои владения и закладывать их без всякой опаски, что и практиковалось ими беспрепятственно до настоящей минуты. Препятствия, без всякого сомнения, были, и не один приговор оспаривался башкирами судебным порядком, а иногда и явным сопротивлением, но общее хищническое направление идей всегда умело достойным образом покарать протестующих. Напуганные этою карой, башкиры притихали на долгое время, но явная гибель, которая грозит им, повидимому, вновь возбуждает в них стремление к протесту, так как и сейчас всесословная молва толкует о том, будто бы в высших правительственных сферах найдено необходимым начать проверку не только документов на владение явно не подлинных, но и таких, которые вполне безукоризненны в формальном отношении.

Но если бы даже башкиры и могли бы, паче чаяния, иметь какой-нибудь успех в возвращении своих владельческих прав, все-таки нельзя не видеть, что успех этот будет делом случайным и во всяком случае запоздалым. Возвратив незаконно отнятую территорию, башкир непременно должен отдать ее законным порядком, так как ему нужны деньги, так как деньги-то и испортили его.

Начал он свою погибель с семикопеечной аренды, отдавая тысячи десятин земли за тысячи копеек. Несомненно, что копейка убавила размеры его личных забот и положила начало любви к праздности; поэтому, когда вместо копеек стали предлагать башкиру рубли, он уже не мог не соблазниться ими. За долгосрочными копеечными арендами пошли рублевые купли на вечные времена. Покупки навсегда отняли у башкира огромнейшие территории его владений, и, зная теперь, что он уже не хозяин в этих владениях, он передвинулся от них подальше, на новые, девственные места. Но и тут не мог угаснуть в нем аппетит к копейке и рублю, тем более что появился новый возбудитель этого аппетита.

Прежде был хищник, теперь пришел переселенец и стал предлагать башкиру гораздо большее количество

копеек за десятину земли, чем давал хищник. Хищник давал семь копеек, а переселенец семьдесят, то есть немного меньше той цены, за которую башкир не так давно решался продавать землю на вечные времена. Как не отдать в аренду и той земли, на которую башкир только что передвинулся? И отдает башкир опять новые огромные территории, отдает пока только в аренду, но идут года, и приходит опять сокрушитель башкира, настигает его тот же переселенец, которому опять стало мало земли и который опять сует башкиру деньги за аренду.

Привыкнув уже к рублям, к сотням и тысячам рублей, башкир теперь, при последнем, так сказать, издыхании, стал «драть» за аренду под озимое не меньше как рубля по три, по четыре, чувствуя, что пришельцы «нуждаются» в земле, что она примыкает к арендованной или купленной ими через Крестьянский банк. Но нехватит у него, расслабленного в своих хозяйственных порядках притоком денег, то есть правом безделия, сил противустоять соблазну, который неминуемо предстанет перед ним. Переселенцы разочтут, что высокая аренда тяжела для них и что лучше и эту новую, подходящую землю прикупить. И вот опять башкир передвинется подальше в четвертый раз, и опять туда придет бородатый человек, потолковать насчет «земельки».

Велики, конечно, те пространства больших башкирских владений, куда отодвигается понемногу башкир, но велики и силы, наступающие на него, и раз он не сумел так или иначе противостать этим силам, будущность не сулит ему ничего иного, кроме оправдания пророчества и предвещаний, которые сулят башкиру новоселы.

— Пропадет башкир, пропадет! Беспременно должен пропасть этот самый башкир! — с искренним соболезнованием предвещает новый житель покинутых башкиром пространств и, пожалев «пропащего» нехристя, перекрестившись, берет в руки топор.

— Ну-ко, господи благослови! — молвит он с обычным облегчающим грудь передыханием и начинает, благословясь, валить под корень первое дерево для сруба своей собственной избы на покинутой «пропащим» башкиром девственной земле.

II. ПРОСТОР И БЕЗЛЮДЬЕ

В настоящее время весьма обстоятельно выяснено, что переселенческое движение крестьян из внутренних губерний прежде всего направилось в Оренбургский край. Жалкое и поспешное расхищение башкирских земель не может быть понято во всем объеме, если не принять во внимание, что хищник, захватывая огромные и в те времена действительно почти необитаемые пространства башкирской земли, совершал это дело с самыми определенными и очевидными целями; он знал, что необитаемые места не останутся необитаемыми и что в самом непродолжительном времени придут арендовать и покупать их несметные массы дозарезу нуждающегося в земле крестьянина.

Не подлежит также сомнению, что нуждающийся в земле человек был давно уже запримечен хищным глазом хищного человека, и хотя во времена расхищений такой человек появлялся в крае еще в самом незначительном количестве, а видом своим и нищенским попрошайничеством «Христа ради» ни в какой степени не походил ни на арендатора, ни на покупателя, — хищный глаз уже видел, что именно этот-то нищий в самом скором времени и станет оплачивать каждую затраченную им копейку полным рублем. Могущество всякого кулака, всякое хищническое богатство всегда созидается бедным, нищим человеком, и оренбургские хищники башкирских земель не могли быть исключением из общего правила.

Мы знаем, что хищное чутье и предвидение не обманули хищников. Первая переселенческая станция была устроена как раз в преддверии Оренбургского края, в Сызрани, устроена гораздо ранее таких же станций в Тюмени и Томске. Известно также, что в первые два-три года в отчетах сызранской станции количество проследовавших через нее переселенцев значилось уже в тысячах семейств. С тех пор движение в Оренбургский край шло непрерывно и непрерывно идет по сей день; ниоткуда не было такого обилия корреспонденций и целых статей (особенно в провинциальных изданиях), касавшихся переселенческого вопроса, как именно из Оренбургского края. Казалось бы, что в настоящее время, то есть в наши дни, пустопорожние башкирские земли

должны быть уже достаточно заселены переселенцами из внутренних губерний, и что пустыни постепенно превращаются в жилые и оживленные человеком места. Но в действительности, несмотря на то, что заселение идет безостановочно и особенно усилилось после учреждения Крестьянского банка, все-таки четыреста верст пути от Оренбурга до Уфы по местности, наиболее населенной переселенцами (она прилегает к большой дороге), иногда поистине очаровательной, далеко не изобилуют человеческим жильем и не часто радуют встречей с прохожим или проезжим новоселом.

Объяснение такой видимой безлюдности, при непрестанном притоке переселенцев, таится в размерах арендуемой и покупаемой пришлыми крестьянами земли. Сведения об этих размерах мы находим в заметке К. Е. Сувчинского (заведующего оренбургской переселенческой станцией) «Переселенцы в Оренбургской губернии», напечатанной в настоящем 1889 году. Сведения, собранные в этой заметке, относятся к 1886 г., причем по сообщениям волостных и станичных правлений, количество переселенцев обоего пола исчислено в 109 485 душ, но г. Сувчинский, приведя эту цифру, отрицает ее подлинность и утверждает, что *действительная* цифра новоселов была к 1886 г. значительно больше, именно — от 150 до 180 тысяч. К тому же времени, из общего числа переселенцев, 73 831 душа[1] успели уже образовать 437 хуторов, преимущественно на арендованной земле; количество же общего пространства заарендованной переселенцами земли, определенное по сведениям, доставленным из уездов Оренбургской губернии, выражается в размерах, невозможных для крестьян внутренних губерний, именно: в Троицком уезде приходится *на двор* 38 дес<ятин>, в Челябинском 28 дес<ятин>, в Орском 33, в Оренбургском 22, в Верхнеуральском 18, а в среднем выводе 26 дес<ятин> на каждый двор, причем *двор* означает известное количество *платежных, а не наличных* душ.

---

[1] Относительно остальных тысяч переселенцев сказано, что они «проживают среди более богатого местного населения, большею частью в качестве работников, так как не имеют средств обзавестись самостоятельным хозяйством» (стр. 3).

Таким образом, оказывается, что крестьянский двор внутренних губерний, положим в *три* платежных души, имеет только 9 дес<ятин>, в пять душ — 15 дес<ятин>, и то в самом счастливом случае; тогда как *двор* оренбургского переселенца, в среднем выводе, имеет 26 дес<ятин>, то есть почти столько, сколько крестьянин внутренних губерний мог бы иметь на десять платежных душ, а такие семьи едва ли возможны, так как при десяти *платежных* душах *наличных* должно быть более по крайней мере в пять раз,[1] а таких патриархальных семей давным-давно нет в черноземной России и в помине. Следовательно, двор примерно в три платежных души имеет в Оренбургской губернии втрое более земли, чем двор крестьянина внутренних губерний, и вдвое более, чем двор, имеющий пять платежных душ.

Все эти цифры, показывающие число переселенцев, хуторов и пространства заарендованной земли, относятся, как сказано, к 1886 году. Не подлежит сомнению, что с тех пор все эти числа увеличились в значительных размерах, чему особенно помогло учреждение Крестьянского банка, который в 1886 году мог уже содействовать покупке переселенцами 5893 десятин, причем число платежных душ было 1886, имевших 321 двор, в 11 хуторах, основавшихся пока в одном из уездов губернии, именно Оренбургском.

Приняв во внимание, что новые, после 1886 года, аренды и покупки нимало не стеснили переселенцев в размерах подворного количества земли (этому нет никаких оснований, — земли многое множество), можно будет легко понять, почему безлюдность и обширность безлюдных пространств бросается в глаза постороннему наблюдателю, прежде чем он заприметит те три-четыре землянки новоселов, которым принадлежит эта огромная территория, предусмотрительно запасенная не только для наличного количества душ, но и для будущих поколений, которые несомненно будут множиться. Четыре землянки, едва приметные даже и на самом близком

---

[1] В одном товариществе, купившем землю при содействии Крестьянского банка, *платежных душ* считается 50, а наличных — мужского пола 170, и женского 173, всего же 343 *едока*.

от них расстоянии, владея земельным наделом хотя бы только на две платежных души на каждый двор, теряются со всем своим населением далеко в немалом пространстве двухсот десятин принадлежащих им владений. Хутор в пятьдесят платежных душ владеет уже тысячами десятин, о чем в великороссийских губерниях крестьянину и во сне не приснится. Иногда владения новоселов тянутся и вширь и вдаль на несколько верст, и вообще так обширны, что всему наличному количеству жителей, вплоть до ребятишек, если бы оно сосредоточилось для работ в одном месте или разбрелось для той же цели по огромной территории, можно было бы только потеряться среди этих обширных пространств, но уж никак не оживить их, — так малочисленно население сравнительно с размерами арендуемой им земли.

В нынешнем (89) году пустынность простора и безлюдность видимых глазом земель имела, кроме обширности владений, еще и особенную причину. Три года подряд надо всем крестьянским населением Оренбургского края тяготел неурожай. Не только был съеден весь хлеб, но распродан почти весь скот, и голодовка зимы последнего года в такой степени была повсеместна и ужасна, что правительство вынуждено было на одно только пропитание голодающих израсходовать до 200 000 р.[1] «Проев» все, что можно было проесть, крестьянское население постепенно убавляло размеры посева, а в последний год сократило его до последней возможности, так как и семян было почти негде достать, все было съедено. Пережив три ужаснейших года, крестьяне и в нынешнем году пережили минуты глубокого отчаяния. Весенние морозы истребили всю рожь; за морозами начался палящий, иссушающий зной, и надо всем населением висела видимая и окончательная гибель. Но в июне и в июле хлынули дожди и все, что не почахло и не было убито морозом, все ожило, и ожил упавший дух крестьянства, хотя малый посев, очевидно, не удовлетворит не только всех крестьянских нужд, не

[1] Со слов крестьян, получавших пособия из этих 200 тыс<яч>, можно сообщить, что на каждую живую душу обоего пола и до пятилетнего возраста (всего 60 т<ысяч> д<уш>) выдано было по 2 р. 50 или 60 к., причем предполагалось, что денег этих должно хватить каждому, получившему пособие, на четыре месяца.

поправит огромного хозяйственного расстройства, но едва ли будет достаточен и для домашнего обихода.

Там, где кроме бурьяна ничего не уродилось в течение трех лет, обильно уродилась огромная недоимка, и прежде всего, конечно, Крестьянскому банку, а затем великому множеству всякого рода учреждений, которые неумолчно теребят взыскания едва-едва устроившихся в непросохших землянках новоселов. Что-то нужно получить волостному правлению, что-то требует сельское общество, к которому приписался хутор, и сквозь дебри, едва тронутые топором, проникает к землянкам уже форменный *«окладной лист»*. И удивительное дело: какой-то невидимый для обитателей землянок гений, неведомо где пребывающий, уже с точностью определил *доходность* местности, которая едва только увидела образ человеческий и в которую до появления переселенцев ни единый живой человек не заезживал и не захаживал. А между тем невидимое существо с точностью обозначает цифру доходности, — вот она: 963 р. 81 к. Да, даже до копеек сосчитана доходность местности, в которой только что устроилось несколько землянок, и сообразно с цифрой доходности устанавливается с нее процентная сумма платежа: столько-то рублей и столько-то копеек. Вообще, в землянках новоселов уже накопилось такое количество всякого рода бумаг, которое, кажется, превосходит количество посевов, предназначенное на покрытие всяких требований, начертанных на этих бумагах. Впрочем, о внутренней жизни поселков и хуторов будет сказано ниже.

Безлюдье, таким образом, увеличилось в настоящем году вследствие крайне малых размеров запашек. Незачем ходить в поле, когда там ничего нет. Но эти пустынные местности, открывающиеся взору путника по обеим сторонам дороги, вообще так всегда хороши, живописны и так настойчиво призывают человека к привольной жизни, что впечатление «безлюдья» и «пустынности» совершенно забывается под влиянием мечтаний о приближающейся минуте полного оживления этих прекрасных мест.

Весь путь от Оренбурга до Уфы вообще производит самое приятное впечатление. Приволье, обилие сил природы — чуются даже и в сравнительно невзрачных

местностях, которые минуешь по дороге. Но иногда на протяжении двух-трех перегонов, то есть сорока — пятидесяти верст, случается проезжать поистине очаровательные места, не теряющие своей прелести ни на одну минуту. Места эти большею частью самые безлюдные, почти нетронутые ни плугом, ни топором, но на каждом шагу невольно ощущаешь горячую, любовную заботу природы о том, кто непременно должен здесь жить и для которого эта любящая мать-природа приготовила пышную, роскошную встречу.

Все, что дает человеку счастье, все до мелочей, кажется, предусмотрено этой заботливой матерью, бесконечно любящей свое любимое детище — человека. Разостлала она пологие, тучные поля для посевов, а холмистые, с мягкими очертаниями, возвышенности приспособила для всего растущего, чему нужен солнечный припек; и луга, пышные и густо заросшие, придвинула к студеным ключевым речкам, иногда расширяющимся в небольшое озерцо; и как бы в охрану всего растущего от жгучих ветров песчаных пустынь, от холодных суровых ветров из холодных пустынь севера, повсюду, там, где очевидно было «необходимо», разрастила она чудные рощицы; дуб, береза, липа, вяз — все как на подбор, все «первый сорт», все сильно, крепко, каждый лист блестит полнотою здоровых соков; но все это, «выращенное» с любовной заботой к человеку, не рвется ввысь и вширь, чтобы затмить поляне солнце или чтобы омрачить ее черными, сплошными тенями. Чудные рощицы, выращенные заботливой матерью по вершинам холмов, по краям полей, по краям узких ущелий, как заботливые няньки только лишь охраняют все, что нужно для счастия человека. Но человека этого пока не видно, хотя кажется, что он, как будто.. уже тут. и притом повсюду... Вот и поет он, и девичьи хоры слышатся из-за горки и из-за рощи; и в речке плещутся и смеются ребятишки, стучит где-то топор... Материнская забота природы о благе человека, о просторе жизни его живой души до такой степени овладевает сознанием путника, что видимо безлюдные места кажутся ему наполненными кипучей, бьющей ключом жизнью.

III. НЕПРОЧНОСТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ПОКУПОК И АРЕНД

Однако пора перестать предаваться мечтаниям, навеваемым чудными картинами природы, и ознакомиться с положением не мечтательного, а действительного обитателя и жителя этих очаровательных пустынь. В виду такой практической цели необходимо заранее оградить воображение читателя от малейшей возможности впасть в тяжкий грех мечтания о каких бы то ни было благоприятных для края перспективах. «Настоящее» для его жителей таково, что у первого же порога первой переселенческой землянки исчезает в сознании очевидца всякое представление не только о будущем вообще, но не приходит в голову и из прошедшего ничего такого, что бы могло дать хотя какое-нибудь уяснение настоящей, видимой, очевидной тяготы жизни, начинающейся за первым порогом первой землянки. У первого же порога первой землянки очевидец найдет то самое «разбитое корыто», которым с незапамятных времен и начинается и оканчивается всякая русская волшебная сказка; начинаясь в тоске и страдании, продолжаясь мечтаниями о светлом, привольном житье, она, после целого ряда бесчисленных мучений, перенесенных искателем приволья, приводит его опять-таки к горю и страданию, и перед ним — «опять разбитое корыто».

Явное, всему обществу давным-давно известное расхищение башкирских земель не только не составило предмета судебного преследования, но даже и с экономической точки зрения не вызвало до настоящего времени никаких определенных мероприятий. Правда, по сведениям, собранным г. К. Е. Сувчинским, мы узнаем, что на основании высочайшего повеления от 10-го июля 1881 года получили в аренду казенную землю 1787 душ; но этот единичный благой пример не имел ничего общего с действиями местной администрации. За исключением протестов губернатора г. Щепкина и обличений сенаторской ревизии, вызвавших некоторое количество судебных преследований против нескольких единичных личностей, похищение у страны несметных земельных богатств не сделалось общим вопросом, затрагивающим экономические интересы всей страны, — и те деньги, которые

уплачивались бы крестьянами в казну, уплачиваются ими хищникам, безнаказанно эксплуатирующим народную нужду.

Мы уже знаем, что из общего числа переселенцев, перечисленных к 1886 году (109 485), только 73 831 душа образовали 437 хуторов на арендованной земле, и вот какова прочность владения и оседлости этих людей на арендованных землях.

«К сожалению, — говорит г. К. Е. Сувчинский, — *большинство* этих поселков образовано на заарендованных землях *по условиям, не имеющим силы бесспорных документов*, а именно: из 437 хуторов — 125 хут. 3211 дворов проживают по условиям, засвидетельствованным у нотариусов; 73 хут. 1933 дв. — в станичных или волостных правлениях; 41 хут. 1140 дв. — по общественным приговорам казачьих или башкирских обществ; 30 хут. 767 дв. — *по домашним условиям*; 20 хут. 347 дв. — по условиям, заключенным *у сельских старост и поселковых атаманов*; 18 хут. 219 дв. — в уездных полицейских управлениях; 2 хут. 19 дв. — *у приставов*; 3 хут. 129 дв. — с чиновниками управления государственными имуществами (хутора эти образованы на казенных землях, снятых в аренду с торгов); 1 хут. 12 дв. — в оренбургской палате уголовного и гражданского суда; 49 хут. 1143 дв. — *по словесным условиям*; 1 хут. 62 дв. — *у непременного члена*; 9 хут. 207 дв. — с управлениями отделов Оренбургского казачьего войска; 3 хут. 31 дв. — сведений не доставлено» (стр. 4).

Пересчитав тех лиц, которые без малейших сомнений в своем праве подписывали свои имена под договорами, *«к сожалению, не имеющими силы бесспорных документов»*, решительно удивляешься, почему между этими лицами не попадается ни аптекарей, ни пономарей, ни зубных врачей? С другой стороны, не менее удивительным кажутся и те три случая совершенно правильной сдачи земли в аренду «с торгов», которые практиковались чиновниками министерства государственных имуществ. Удивительно это как единичный случай действий «по закону», в то время как организация крестьянского землевладения предоставлялась в полную власть сельским старостам, приставам, атаманам, полицейским чиновникам, уголовной палате, непременным членам крестьянских присутствий и даже не самим этим присутствиям. Здесь берут деньги с земледельца по «словесным условиям», «по домашним договорам», по приговорам волостных и станичных *обществ* и просто по приговорам волостных и сельских *правлений*. Повидимому, всякое учреждение,

которое может приложить к бумаге какую-нибудь печать; затем всякое хищное существо, притаившееся с своими «владениями» и боящееся какого бы то ни было прикосновения к своим фальшивым бумагам этой самой «*какой-нибудь* печати», но все-таки умеющее нацарапать «домашний договор»; наконец, такое хищное существо, которое окончательно боится не только «печати», но вообще трепещет при одном только виде бумаги, пера и чернила, и которое способно только *словесно* уверить арендатора-крестьянина в своем владельческом праве, — все это смешение языков решало земельный вопрос, важнейший для всей страны, по собственному своему усмотрению, вкусу, расчету и расположению духа. Ни один из решителей не имел с другим ничего общего; значение сельского старосты оказывалось равносильным значению чиновника министерства государственных имуществ. Хищник, боящийся пера, бумаги и чернил, равнялся в своих правах с уголовной палатой, нотариусом, полицейским управлением, непременным членом; *словесное уверение* оказывалось имеющим равное значение с отдачей земли в аренду «с торгов».

Для нас, как посторонних только наблюдателей оренбургских деяний, нет никакой возможности прийти к каким-нибудь определенным выводам о размерах царящей над массою переселенцев всякого рода незаслуженной ими тяготы. Г. Сувчинский и в этом случае оказывает нам великую помощь. В его заметках мы находим характеристику тех разнообразнейших положений, в которых находится масса переселенцев, нуждающаяся (все как один человек) только в одном, именно «в земле»:

«Из общего числа переселенцев (109 485 д.) *только* 9,1 проц. устроилось *прочно* в поземельном отношении. Именно: 5,8 проц. приобрели земли на свои средства; 1,7 проц. при содействии Крестьянского банка и 1,6 проц. получили казенные земли в аренду, на основании высочайшего повеления 10-го июля 1881 года; *все же* затем *остальные, составляющие до 91 проц., собственной земли не имеют*; из них: 53,2 проц. проживают на заарендованных землях отдельными хуторами; 1,7 проц. в городах, 3,2 проц. на заторгованных землях и, наконец, 32,8 проц. в селениях бывших помещичьих и государственных крестьян или же в казачьих поселках и выселках.

Значительное число переселенцев, поселившихся среди коренного населения Оренбургской губернии, объясняется отчасти обилием земель, которыми пользуются местные жители, а затем *бедностью переселенцев, не обладающих достаточными средствами для*

того, чтобы обзавестись самостоятельным хозяйством, и вынужденных проживать среди более богатого населения в надежде на заработки. Из числа означенных переселенцев 7740 семей, 35 792 душ проживают в работниках 2696 семей, или 10 786 душ, то есть 34,6 проц.; занимаются хлебопашеством 2791 семья, или 15 005 душ — 36,1 проц.; занимается ремеслами 1650 семей, или 7377 душ — 21,3 проц. и занимается торговлей 609 семей, или 2 627 душ — 8 проц. Так как труд деревенских ремесленников, вследствие примитивных требований от них, оплачивается так же плохо, как и труд чернорабочих, то оказывается, что *свыше 55 проц. указанных выше переселенцев не имеют самостоятельных средств к жизни и находятся в самых плохих экономических условиях.* Отсутствие достатка подтверждается, между прочим, тем, что *большинство не имеет собственных домов,* а именно 50,3 проц.»

Вот каковы итоги долговременной организации народных масс «по оренбургскому» способу. Способ этот дал возможность *прочно* устроиться только 9% (10 181 д<уша>) из общего стотысячного количества переселенцев, насчитанных волостными и станичными правлениями, и из 150—180 тысяч, считаемых г. Сувчинским за проживавших в Оренбургском крае «в действительности». Из 10 181 счастливца оказалось только 6509 душ, которые смогли на *собственные средства* приобрести в собственность 42 065 дес<ятин>, устроить на них 30 хуторов с общим числом 1128 дворов; затем оказались счастливцами те 1787 душ, которые воспользовались высочайшим повелением о сдаче им в аренду 5604 десят<ин> казенной земли (девять хут<оров>, количество дворов не обозначено), и, наконец, едва народившийся Крестьянский банк также осчастливил нежданно-негаданно, «не по оренбургской системе», давши возможность приобрести 5893 десятины, устроить одиннадцать хуторов с 321 душой. Высочайшее повеление и учреждение Крестьянского банка, как видит, конечно, читатель, ни в какой мере не могут быть включаемы в характеристику организации народных масс «по оренбургской системе»; точно так же не входит в эту систему организации и покупка земли на собственные средства. Приобретение имущества на собственные средства — дело столь постижимое и столь обязательное для всех приобретателей на всем белом свете, что не должно быть принимаемо даже и в малейшей степени во внимание, раз дело идет об исключительных качествах оренбургской системы организации масс и землевладения.

Таким образом, если мы исключим из имеющихся в наших руках цифровых данных все 10 181 душу, устроившихся вопреки основной идее оренбургской системы, то сущность ее выразится в цифре 99 304 душ, *не имеющих собственной земли.* Если же мы возьмем цифру *действительную*, достигающую 180 тысяч, то оренбургская система выразится в грандиозной цифре 169 819 душ, в течение десятков лет не добившихся возможности *иметь собственную землю.*

IV. ХУТОР НЕДОИМЩИКОВ КРЕСТЬЯНСКОГО БАНКА

Заглянем теперь в один хутор, основанный года три тому назад новоселами и уже имеющий «по бумагам», во-первых, наименование, во-вторых, недоимку Крестьянскому банку с пенею за все шесть полугодий, и успевший уже утратить всякое право на какое бы то ни было снисхождение.

Дорога хоть и плоха и мало наезжена обитателями хутора, но живописный простор окрестностей, умеряя впечатление неудобства езды, возбуждает настойчивое желание видеть тех людей, которые, хотя и утратили все права на какое бы то ни было снисхождение, кажутся все-таки счастливыми уже тем, что так или иначе, а добрались до этих привольных и очаровательных мест.

Желание это осуществляется довольно скоро. Часа через полтора извозчик, указывая кнутом, говорит:

— Вон и Трехсвятский хутор!

Но глядя самым пристальным взглядом по направлению кнута, мы действительно видим *«что-то»;* но представления о хуторе, то есть о двух-трех избушках, хотя бы самых мизерных, о двух-трех соломенных крышах, над которыми вьется дымок, свидетельствующий о «жилом месте», этого мы не видим. Какие-то черные груды, напоминающие в кучки сложенный торф или кизяк, небольшого размера, разбросанные где попало, не дают ни малейшего представления о человеческом жилье;

удивляет даже скелет тележонки, примечаемый вами неподалеку от этих черных куч, и неожиданный лай собаки, когда нигде не видно ни единого человеческого существа и вообще нет никакой возможности представить себе, чтобы здесь могли жить люди. Однако живут. Лай собаки и «тпру!», произнесенное извозчиком, остановившим лошадей около одной из черных земляных куч, вызвали на божий свет живых людей, мужиков, баб с грудными младенцами, подростков. Оказывается, что народу много, очень много живет в глубине этих черных куч земли; маленькое окошечко смотрит из ямы, по краям которой в несколько слоев наложены толстые куски дерна, как кирпичи, и такими же кусками дерна застлана плоская крыша; нагнувшись в три погибели, можно заглянуть в эту, в буквальном смысле, конуру и в миллионный раз убедиться, что «золотые» руки нашей крестьянской женщины даже и такой ужаснейшей конуре могут придать облик некоторого уюта. Какой уют может быть в яме, вырытой в земле аршина в четыре длины и в три ширины? А вот оказывается, что может: стены вымазаны крепкой красной глиной, прилажена из той же глины печурка в аршин величины; в порядке приткнуты к ней кочерга, ухват, водонос, и люлька с ребенком качается в уголке. Шевелиться, ходить в этой клетке нельзя, — и вот вы видите, что люди, живущие здесь, как бы только жмутся друг к другу, спасаясь от непогоды или присев для отдыха, конечно «потеснившись». Заглянув в эту клетку, наполненную преимущественно женщинами и детьми, мы видим, что нас приветствуют поклонами, но что все приветливые люди удручены не горем, а таким отчаянием, которое нельзя высказать словами, которое притупляет способность слова, мысли и выражается в глубоком вздохе и мертвом молчании.

Молчаливые люди, как бы не имеющие сил очнуться, прийти в себя, выползают из своих нор, конечно без шапок и без сапог, и, вынужденные отвечать на вопросы нежданного агента банка, дают ответы как бы впросонках, без начала и конца; но это продолжается недолго; не договорил один, надумает и договорит другой, а вслед за ним и третий найдет, что добавить, и скоро полусонное состояние слетает с сознания толпы и начинается то, что

определяется словом «галдение», но что в действительности есть самая жгучая потребность сразу высказать и выкричать все свои муки. Каждый говорит свое. Одновременно слышно: «банк», «пало две лошади», «неурожай», «господи-батюшка!» (стонет баба), «плант»... «обман»... «помирать!»... «бог даст». «адвокат». Крайнее нервное возбуждение, овладевшее толпой в момент взаимного излияния, неотразимо свидетельствовало, что у каждого из них и у всех вместе много-много накопилось на душе горького горя.

Разговор о том, как шло дело «с самого начала» и как оно пришло к мучительному сегодняшнему дню, всегда начинается «сам собой», даже без вызова со стороны постороннего посетителя. Вот выступает из толпы человек, который пережил все несчастья с самого начала до сего дня и который знает каждую мелочь, касающуюся жизни всех бедствующих теперь в «новом» хуторе его «товарищей», и всякий раз в пересказе о всех несчастиях, неудачах и бедствиях новоселов выясняются как последствия тех хозяйственных расстройств, которые побуждают оставить родные места, так и те неведомые, неожиданные затруднения, свойственные исключительно оренбургской системе землевладения, которые осаждают уже расстроенного человека и на новых местах.

Хутор, о котором идет речь, может служить, так сказать, образчиком «последнего предела», до которого могут довести людей эти местные оренбургские влияния, предоставленные последовательному своему развитию. Помимо коренных оснований общего расстройства новоселов, жители упомянутого хутора, возникшего три года назад, осенью прошлого года, вследствие двухгодичного неурожая и полнейшей голодовки, вынуждены были разбежаться с хутора «кто куда», побросали свои землянки, даже разрушили их, частью прямо потому, что озлобились на горькое горе жизни («рассерчали и разломали все!» — сказала мне одна женщина), частью потому, что каждый кусок дерева, каждый кирпич было «имущество», копейка, нужная на хлеб. Весною Крестьянский банк решил обезлюдевшее место продать с публичного торга, но весною же опять на хуторе появились живые люди. Промучившись и проголодав с семейством зиму

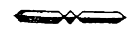
в работниках, некоторые из них вспомнили о своих землянках и воротились.

Так как большинство переселенческих «товариществ» образуется из людей, собравшихся кто с борку, кто с сосенки (больше всего такие образуются из выходцев черноземной полосы внутренних губерний), то случайно сошедшиеся товарищи и разбежались из хутора по разным местам. Пользуясь этим и зная уже «порядки», те из товарищей, которым надобен был приют безотложно (много детей), решились возвратиться на старые места уже с расчетом, что можно воспользоваться, во-первых, оставшимся имуществом неизвестно где блуждающих товарищей, а во-вторых, привлечь на новые места новых товарищей, которые еще и в мыслях не имеют счастия мечтать о землянке. Один из самых практических мужиков первый явился на старое пепелище, первый разломал чужие землянки и сделал себе землянку на две половины, а затем, собирая новое товарищество, стал переуступать оставшиеся, хотя и полуразрушенные, землянки другим «припущенникам», обязываясь внести платеж примерно за одну душу (чего никто не делал), но выговаривал за это право пользоваться лошадью, если она была. Словом, ни одного шага не было без расчета, и все по «крестьянскому обычаю». Таким образом, к июню месяцу поселок был населен, но из «товарищей», записанных в купчей, было не более двух; все остальные были «припущенники», разобравшие «души» ушедших по частям, по кусочкам.

Между тем некоторые из старых товарищей, неведомо где пребывавших, прослышали, что на старом месте опять собираются «люди», и сами стали возвращаться. Но на своих местах и в своих землянках они увидели чужих людей, которые оказались *законными* владельцами их имуществ и наделов, законными потому, что, взяв землянку и землю, они приняли на себя и огромный долг банку, оставленный возвращающимися, у которых нет уже ровно ничего, чтобы иметь право взять хотя капельную часть новоявленной «банковой» «души». Старые, по банку, товарищи встретились с новыми обитателями, не имея никаких средств к жизни, в ту минуту, когда эти новые уже успели, по наущению коновода, поделить по душам землю и сдали из двухсот десятин,

которых не было средств обработать, пятьдесят дес<ятин> под покос какому-то купцу на два года. Расчет был такой: поделить арендные деньги по душам, обзавестись на них скотом и начать свое хозяйство. Но так как подобные отдачи в аренду, когда товарищество еще обременено долгом банку, требуют разрешения совета Крестьянского банка (банк может быть вынужден продать участок ранее срока аренды и тем возбудить иск арендатора об убытках), — то, вероятно, не будет утвержден советом и приговор хуторян, хотя для них и выгодный.

Таким образом, обыватели этого хутора, изъедаемые язвами непорядков домашних и оренбургских и приведенные нуждою к хищению, хотя и «по закону», чужого добра, но по закону же не имеющие возможности поправиться, стать на ноги, и уже успевшие посеять семена злобы и вражды среди людей этих пяти едва приметных землянок («Две землянки сломал, дьявол, чужих, для себя, да мою, дьявол, отдал чужому!» — злобно шепчет какой-то босой и оборванный человек, шепчет потому, что уже боится дьявола, боится, что из-за хлеба в работники не возьмет), — представляют собою образчики «последнего предела», до которого могут быть доведены люди последовательным развитием неблагоприятных хозяйственной жизни причин. Здесь, как видим, люди дожили уже до нравственного падения, но причины эти настолько однородны для всего количества переселенцев Оренбургского края, что вообще во всех хуторах все новоселы непрестанно ощущают тревогу жить на свете.



V. ПОДСТАВНЫЕ ДЕПУТАТЫ

Сведущие в делах Крестьянского банка лица, а также и те местные обыватели, которые имели возможность близко узнать положение оренбургских переселенцев, утверждают, что всякий раз, когда почему-нибудь окажется нужной проверка наличного состава крестьян, образовавших товарищество, — никогда не оказывается

в наличности именно тех товарищей, *которым принадлежит инициатива покупки,* которые были доверенными от других товарищей и несли на своих плечах все хлопоты, вплоть до выдачи крестьянам купчей крепости. Так как такого рода проверки постоянно возникают из необходимости выяснить причину продолжительных неплатежей и так как неплательщики в объяснение этих причин во множестве случаев указывают на негодность приобретенной ими земли, то лицу, делающему расспросы, вполне естественно укорить самих покупщиков, сказав им примерно так:

— Теперь вы говорите — земля негодная. Зачем же вы добивались покупки, лезли в неоплатный долг и уверяли, что земля «первый сорт»? Ведь вы видели, какая земля?

Этот упрек сразу становит дело на надлежащую почву:

— Да мы ее, землю-то, впервые увидали, когда купчая в руки попала. А до того времени и слыхом не слыхали, какая-такая земля есть.

— Но ведь от вас же были доверенные, которые утверждали, что «лучше нам не надо»?

— Да ведь мы доверили им троим, потому что они сами первые в товарищи-то шли! Ежели наш брат хвалит, да берется еще уладить компанию, да за хлопоты берет кто что сможет дать, да и планы у него в руках с печатями, и все те он планы растолкует, — так как же мы не доверим? Мы здесь чужие; как и где купить — не знаем; денег у нас копейки нет, чтобы послать ходоков, а тут люди добрые сами берутся уладить, да люди-то такие же, как и мы грешные, — мужики. Кажется, ведь никто худа себе не пожелает?

— Но ведь и член банка также нашел, что земли удобные?

— Так ведь член также нашим доверенным поверил. Он ведь не знает местов и, стало быть, сам должен спрашивать тех, кто знает, и, конечно, наперед всего наших же доверенных. Уж будьте покойны, сумеют последний булыжник в прекрасном смысле объяснить... Только бы с рук сбыть землю. Теперь мы вот как это знаем!..

— С чьих рук сбыть?

— Да с хозяйских! Теперь вот по нашей купчей значится, приобрели мы от советницы Андроновой, а почесть никто и в глаза ее не видал, знали ее только доверенные... Андронова-то госпожа и наградила их! Не для нас оборудовали, а для советницы! Вот в чем расчет-то!

— Когда же они вышли из товарищества?

— Да они и дня с нами не были на этих местах-то. Всучили купчую да окладной лист, и след простыл! Сегодня нет, завтра нет... Слышим-послышим, один на железной дороге в артельщиках, другой в городе в приказчиках... А мы пришли сюда — и сели на мели... Да два года неурожаю, а уж долгу наросло — выше головы!

Товарищей, не оказывающихся при проверке списков, — по словам людей, близко знающих дело, — вообще много в каждом новом поселении: иные уходят домой, в Европейскую Россию, соскучившись в новых местах, иные из боязни платежей; но во всех тех хуторах, иногда уже в сорок, пятьдесят дворов (землянок), где все жители поголовно, при малейшей попытке узнать их положение, начинают хаять купленный ими участок, всегда оказывается, что он куплен «по доверенности», что они только *теперь* видят, какая это земля, и что покупщики — «доверенные» исчезли неизвестно куда.

— «Удобная» было написано! Вон она какая удобная! Нанимали распахать десятину одного мужика, земли ему давали, сломал две сохи, плюнул да ушел.

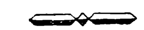
— Лугов, вишь, пятьдесят десятин; эво, вон они какие, луга-то! Болото! Не то зубом, топором не возьмешь экой травы!

Словом, весь поселок до единого человека вопиет о собственной своей гибели; все на деле оказалось совершенно не так, как на бумаге, и нет во всей этой толпе ни единого человека, который, повидимому, не был бы близок к полному отчаянию, причем вся вина сваливается на тех доверенных, которые «обделали дело», «всучили» и ушли.

Судя по отчету г. К. Е. Сувчинского (до 86 года), 46% всей земли арендовано крестьянами у частных владельцев, причем наибольшее число договоров, почти близкое к числу заключенных у нотариусов (34%) и в станичных правлениях (21%), заключено *по словесным условиям* — 12% и *домашним* (?) условиям — также 12%. Сроки же аренды таковы: самый дальний — 12 лет —

39%, затем наибольшее число аренд на 6 лет — 18% и, наконец, на один год — 9%. Таким образом, из огромной массы тех 90% переселенцев, которая до сих пор *«собственной своей земли не имеет»,* лишь 40% имеют возможность арендовать земли на 12 лет, а вся остальная масса в наилучшем случае еле одолевает 6-летнюю аренду, и затем сравнительно большое количество переселенцев (9,7%) в силах арендовать землю только на один год, причем из общего числа договоров на долю таких фантастических, как словесные и домашние, приходится 24%.

Всех этих черт, намечаемых цифрами, весьма достаточно, чтобы представить себе огромную массу крестьян, не ощущающих вообще прочности своего существования, перебиваясь со дня на день, зарабатывая деньги на аренду в работниках, живя в чужих избах, передвигаясь для заработков с места на место, и не видящих впереди ничего, кроме непрестанной маяты из-за куска хлеба. Появление спасителя в такой измаявшейся среде, который сулит вековечную оседлость, показывает планы, сам собирает *себе* товарищей, говорит, что нужна только самая малая приплата (в том трагическом поселке, который описан выше, товарищи доплатили лишь 50 рублей, а 2000 с небольшим ссудил банк), не может не действовать на истинных мучеников самым возбуждающим образом; всякий, у кого есть что-нибудь продать, есть какая-нибудь коровенка, есть заржавленная соха, которой не было дела целые годы, всякий с радостию присоединяется к покупке: «Теперь есть на что понадеяться, земля будет; а там, бог даст, и все будет по-хорошему!»



VI. БОРОДАТЫЕ МЛАДЕНЦЫ

К сожалению, такие покупки «очертя голову», как и среда переселенцев, в которой «подставные» депутаты имеют постоянный и несомненный успех, — это среда наших так называемых *«курских»* переселенцев, крестьян ближайших к Москве черноземных губерний.

Исторические влияния «Москвы» и условия хозяйства именно на «черноземе» никого так нещадно не побивают «на новых местах», как именно наших крестьян черноземной полосы. Сущность «московских» влияний, в самом элементарном виде, может быть определена, как значительное ослабление в сознании крестьянина значения его личных интересов, домашних и вообще каких бы то ни было *личных* удобств жизни. Его «воля» до Юрьева дня была постоянным стремлением «убечь» из-под одного кулака под другой; когда же решено было лишить крестьянина своевольства в перемене и выборе кулаков и, в попечительной заботе о сельском населении, признано было за благо навеки прикрепить вольного к одному кулаку, тогда он понял, что он уже «сам не свой», и целые столетия как нельзя лучше оправдывал это свое решение.

Его женили не для него самого, а для того, чтобы образовалось новое тягло, то есть новая платежная душа для пользы владельца. Нам уже известно, [1] что владельцам до освобождения крестьян предоставлено было право людей, негодных в хозяйстве, больных, старых, калек, сдавать в зачет рекрут, причем все такие лишние для хозяйства люди переселились в Западную Сибирь как пригодные будто бы для ее колонизации.

Не касаясь таких исключительных случаев, мы не можем не видеть, что, будучи уже освобожден, он в большинстве случаев поставлен был не в лучшее положение, чем оно было в старину: неправды, пущенные в ход многими беззаконниками при наделении его землей, оставили его попрежнему работником на чужих людей, ознакомили его с небывалыми штрафами за потраву, за клубнику, исклеванную курами, за два-три лишних взмаха косы на не принадлежащей ему земле; от него окопались канавами, и в конце концов, дожив до непомерных цен за аренду, достигавших до 25 р. за десятину на один посев,— он и ушел из дому, предчувствуя близость безнадежного положения. Унесен был он веянием «уходить на новые места», как былинка; увлечен этим веянием его наивный ум так же, как может быть увлечен наивный ум ребенка.

Перспективы об устройстве своего личного благосостояния у него нет, он не привык знать и желать с точ-

---

[1] Том III, стр. 247. (См. стр. 251 этого тома.)

ностью того-то и того, из чего слагается его личное счастье и благосостояние, и потому нельзя не верить, что, отойдя от родных мест, он «пужается» как ребенок, который побежал в лес за птицей и «испужался» леса. Его раза два воротят с дороги домой и два раза повернут опять на дорогу. Его спасение тогда, когда он пристанет к партии, к людям, которые идут — не сомневаются. Но нужда может заставить его отстать от партии, остановиться, чтобы продать полушубок, и он опять один и испуган, опять почти не знает, что с ним делается.

Ко всему этому, наивный утомленный человек, не знающий, что такое расчет в личных делах, идет в дальний путь почти без копейки, проедает имущество, и если в какой-нибудь деревне, станице кто-нибудь примет его с семьей в работники, так и сомнения быть не может, как он будет этому рад. И с этого первого пристанища на чужой земле начинается та многолетняя маята, с годовыми арендами, с передвижениями с места на место, которая в конце концов бросает измаявшихся людей в руки ловких посредников и сопровождается теми покупками земли «очертя голову», о которых мы уже говорили.

Во время проезда через Оренбург, на переселенческой станции, мне пришлось, единственный раз во все мои поездки, видеть «своими глазами» несколько *«курских»* семейств, повидимому не знавших крайней нужды и даже имевших некоторые *средства.* Для подлинного типа *курского* переселенца иметь средства — дело невозможное; курский — всегда без средств, без копейки, иначе он не был бы курским. Поэтому несколько курских семейств, не знавших нужды и имевших некоторые средства, были для меня явлением совершенно неожиданным. Народ, мужики и бабы, парни и девки были рослые, но какие-то мягкие, нежные; все молодые бабы были, так сказать, пышного телосложения, и девки, видимо, приготовлялись быть такими же пышными, как их замужние молодые сестры. Выражение лиц и в особенности глаз у всех этих мягких в суставах, нежных в телосложении людей, всякого пола и возраста, было почти детски наивное; у ребятишек, пожалуй, еще и играли в глазенках

искорки любопытства, но у пышных баб и «нежных» молодых мужиков ничего, кроме светлой, чистейшей наивности, не выражалось. По глазам трудно было отличить бабу от мужика, а обоих вместе от ребенка. Да и вообще в мужиках было что-то бабье, и на моих глазах молодой мужик нянчил ребенка, как истинная баба. Мне даже почудилось, что и от него пахнет теплым молоком, запах, который весьма ясно ощущался среди пышных баб, когда я вошел в большую комнату переселенческой станции. Все бабы были в какой-то суматохе: мыли рамы, подтирали полы, вообще прибирались. Глядя на это, я понял, почему именно мужики нянчат грудных детей, но затем с двух слов, которые почла нужным сказать одна из пышных баб, я узнал, что вся суматоха происходит потому, что семьи собираются уходить обратно...

— Да давно ли вы пришли?

— А кто е знает! — выпрямившись, поправляя одной рукой повойник и держа в другой мочалку, мягким и веселым девичьим голосом ответствовала молодая пышная баба и смотрела большими, но истинно ребячьими глазами.

— С неделю как пришли! — прибавила другая и затем сразу все затараторили. Ни в ребятах, ни в девках, ни в бабах не было и тени мысли о какой-нибудь трудности предстоящего пути, все они точно в игрушки играли и все знали только одно, что надо мыть полы и рамы.

— Ты у мужиков спроси, — наконец сказала мне одна из пожилых женщин. — Спроси-кось, они там на дворе... Увспроси-кось!

Но и от молодых мужиков, которые пахнут женским молоком, тоже ничего путного узнать мне не пришлось.

— Ходили наши... трое...шш! шш!.. — не то бабьим, не то детским голосом, растягивая слова, проговорил он и замолк, раскачиваясь с ребенком, завернутым в ваточное одеяло.

— Шш... шш... Там вон... старики... Шш... шш...

— Не раскачивай его!—тягуче пропела баба, во весь рост и во всей своей пышности стоя на крыльце с грязным ведром.— Дергаешь его. Полегоньку... да шушукай!..

— Шш. ну, ну, шш... Старики там...

Но и старики не блистали пониманием собственного своего положения и только как бы недоумевали о причинах своего появления в Оренбурге и решения почти тотчас же возвратиться обратно.

— У чиновника-то? Как же, были... ходили... Посылал он в три места...

— Что же, ходили вы?

— В одно-то место ходили..

— Ну и что же? Нехорошо?

— Как сказать? Неохота взяла.

— Отчего же? Если в одном месте нехорошо, отчего в другом не посмотреть? Далеко ли вы ходили?

— Да верст, почитай, за пятнадцать..

— Только за пятнадцать верст? и раздумали?

Молчание, раздумье и протяжный ответ:

— Народу не видать... Увспросить некого... Жутковато стало!

Нужно было восстановить в памяти этих пугливых людей все то, что делается у них на родине, и расписать им всю благодать, которую они, имея и скот и некоторый достаток, могут найти здесь. Надобно было, как говорится, «долбить» о предстоящем им разоренье, о том, что, уйдя из дому с достатком, они воротятся нищими, надобно было даже напугать их детски наивный ум, чтобы он образумился хотя бы от испуга. В конце концов недоумевающие о своих поступках старики, неожиданно для них тронутые за присущие им бабьи качества и особенно указанием на то, что их бабы и ребята имеют здесь отличное помещение, не промокнут под дождем, не простудятся и не «помрут», а что тем временем они спокойно отыщут самое благословенное место, почувствовали сначала потребность вздоха, потом как бы вспомнили о самих себе и порешили еще раз сходить к переселенческому чиновнику:

— Надыть попытать! . Люди вон на базаре толкуют, погибель, мол, здесь одна! Эво как!

— Мало ли что говорят. Говорят такие же как вы, — пошли да воротились, да разорились.

Необходимо было самое непрерывное «долбление» в одну и ту же точку, чтобы мысль о *собственном* своем самосохранении, наконец, хоть немного возобладала над пугающими случайностями. Но при всем моем старании

я оставил переселенцев, не будучи уверен в том, что они примут хотя какое-нибудь обдуманное решение, хоть они и повторяли несколько раз:

— Надыть попытать! Завтра пораньше надо к нему.. Пока что поспрошаем...

К счастию, потом я узнал, что курские младенцы всякого пола и возраста наконец образумились и «принялись» искать «местов» по самым точным указаниям.

Таким образом, крестьянин черноземной полосы, у которого исторические влияния почти «отшибли» всякую смелость думать о средствах и путях к достижению собственного своего благополучия, даже и при благоприятных в материальном отношении условиях, все-таки не защищен от внешних влияний, даже просто внешних впечатлений, которые постоянно затемняют в его сознании неокрепшую мысль о праве на личное счастье и довольство.

С другой стороны, в этих же с борку и с сосенки собравшихся хуторах, изнывающих и стонущих от неурожаев и от «обмана», учиненного посредниками, несмотря на то, что всем поголовно нечего есть и уж вовсе нет возможности что бы то ни было и куда бы то ни было платить,—привычка знать, что живешь на свете для того, чтобы *платить*, оказывается и здесь, на новых местах, опять-таки преобладающей над личными заботами. Двенадцатилетний мальчик не только знает, как знает его отец, свои платежные обязанности, но в мельчайших подробностях может рассказать о хозяйстве и средствах всех до одного из хозяйств, образовавших хутор. Сколько кур, овец, огурцов, даже яиц — и то, кажется, знает до тонкости всякий про всякого и всякий караулит всякого, чтобы он вещь известной стоимости не проел «зря», а, продав, взнес бы в уплату в банк, а то если он не будет платить, то за него «прочим» придется отвечать, хотя «прочие» также ровно ничего не платят.

Оборванный, голодный и холодный обыватель одного хутора, уже не молодых лет, очевидно до мозга костей проникнутый огромностью значения платежа и сам изнуренный им до последней степени, на моих глазах, с явным, до злобы доходящим раздражением, протестовал против попытки одного из товарищей продать свою избу.

Товарищ, выстроив себе избу, не мог, однако, начать хозяйства, потому что нехватило денег и лошадей; тогда он вздумал сделать так: устроил рядом с домом землянку (обмазанная внутри отличной красной глиной, она не всегда похожа на мышиную нору), а избу решил продать и на вырученные деньги купить лошадь, сабан и начать хозяйство. Бог даст урожай, тогда и опять изба будет. Кажется, что здесь худого, и кто вообще может препятствовать человеку жить в избе или землянке, да и задуманное товарищем дело задумано, как видит читатель, вполне резонно и умно. Однако крестьянин с отшибленным сознанием неумолимо кричал, даже пищал на сходе:

— Нельзя этого дозволить! Он дом продаст, деньги изведет, в банку не заплатит, кто отвечает? Все мы же в ответе!

— Мы всем имуществом в ответе, — не умолкая пищал он, трясясь всем своим голодным телом. — Как же он смеет самовольно поступать? Из-за него наше имущество опишут!

— Не дозволять ему никаким родом! — дребезжал он и бесновался среди общего хора толков.

К счастью, таких помешанных на подавляющем значении «платежа» стариков не часто встречаешь в новых хуторах.

Ко всему этому необходимо упомянуть едва ли не о самой существенной причине неудач черноземного крестьянина, поселившегося на новых местах. Это — вековая рутина приемов обработки земли, практиковавшихся черноземным крестьянином на старых местах. «Чернозем» и земледельческий труд на нем во внутренних губерниях далеко не родня с «черноземом» и обработкой его на новых местах Оренбургского края. Не раз нам приходилось слышать от «курских» переселенцев, что у них заработная плата упала до самых ничтожных размеров, что для пахоты нанимают почти детей, двенадцати-тринадцатилетнего возраста, которым платят очень мало и поэтому не очень нуждаются во взрослых рабочих. Это будет вполне понятно, если принять во внимание, что так называемая «Соха Андревна» бороздит поля черноземных губерний целые века, только расшевеливая рассыпчатую землю; ходить за ней легко может даже и двенадцати-тринадцатилетний мальчик. Но та же «Соха Андревна»,

примененная на «нови», это то же, что столовая ложка при наливе парохода нефтяными остатками. На первом же шагу она прекратила бы свое существование, превратившись в прах, а вместе с ней и лошаденка потеряла бы всякую уверенность в возможности сделать что-нибудь путное для своего хозяина. Не преодолел бы, не измучившись вконец, этой нови и сам идущий за сохой черноземный крестьянин; никогда ему под соху не попадались камни, корни, крепкая, как сталь, глина и никогда он не напрягал своих физических сил до такой степени, как должен напрягать их здесь.

Но если бы наш черноземный крестьянин, повторяем, являлся на новые места хотя с какими бы то ни было средствами, с каким-нибудь рублишком, оставшимся от окладного листа, то, быть может, он и приладился бы постепенно к непривычным условиям труда на новине. Утаенный рублишко дал бы ему возможность обзавестись скотом, приспособившимся к работе на этой неподатливой земле, приобрести орудия, подходящие к тем же качествам новины. Но в том-то и дело, что «московские влияния» совершенно отучили его от мысли хотя что-нибудь утаивать «на черный день», то есть на собственные нужды.

VII. ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С «РУБЛИШКОМ»

Огорчительно это в особенности еще и потому, что, посещая хутора, населенные крестьянами из местностей, удаленных от Москвы на более или менее значительные расстояния, хотя и видишь общие для всех переселенцев трудности начала жить *сызнова,* но безнадежности их положения в будущем почти не ощущаешь или во всяком случае не думаешь о ней. Посторонившись от Москвы, каждый такой переселенец прежде всего не утратил возможности жить на свете «своей головой», «своим умом» и вследствие этого сумел-таки «первым долгом» припрятать в мотке ниток или в чулке некоторое количество недоданных рублишек. А это главным образом и помогает

ему поступать по возможности именно так, как велит ему «своя голова».

Впервые пришлось ознакомиться с обиходом жизни таких хуторян в один и тот же день, и притом через несколько часов после посещения хутора, населенного переселенцами с безнадежным будущим.

Оба хутора отстояли друг от друга в двух, много в трех верстах, и возникли в местности совершенно, до мелочей, однородных качеств: та же ключевая речка, извилистая, иногда переходящая в глубокие озерки, обросшие разнообразнейшей цветущей растительностью, тот же пологий к этой речке наклон всей чрезвычайно красивой местности, та же почва, та же крепкая, как сталь и красная, как огонь, глина, — словом, все до мельчайших подробностей одно и то же. Что же касается общего, в настоящее время, для всех переселенцев Оренбургского края материального расстройства, то об этом можно судить по следующему обстоятельству: день, когда пришлось быть на хуторе, населенном крестьянами из отдаленных мест, был праздник апостолов Петра и Павла. В честь их и хутор носит название «Петропавловского»; так вот, в такой-то день своих патронов, в сорока дворах не нашлось рубля, чтобы пригласить священника и отслужить молебен. Все хуторяне сожалели об этом, но все-таки не в силах были собрать и рубля и вообще испытывали такую же нужду, как и черноземные хуторяне. Там говорили «съел» — лошадь, корову, овцу, то есть проел; в этом хуторе то же слово произносили по-малорусски: «зьив». В этом вся разница относительно истощения материальных средств обоими хуторами, то есть никакой. Но во внутреннем обиходе жизни между одним и другим хутором — разница оказалась весьма значительная.

Хутор этот населен крестьянами из южнорусских губерний, а южнорусский крестьянин, как давно уже известно всем, недодал такое количество карбованцев, что в этом отношении не только черноземному (об этом и говорить нечего!), но вообще всякому счастливому обывателю отдаленных мест ни в каком случае нельзя и думать с ним поравняться. Если крестьянин великорусских губерний почти весь век свой жил, не жалея себя, то южнорусский крестьянин, напротив, испокон века не желал дать себя в обиду. Он ушел на новые места не по-

тому, что нечем было «платить», а потому, что он не хотел платить и отдавать того, что нужно самому; знал он и перетерпел все, что претерпели и претерпевают все великорусские крестьяне — и непомерные арендные цены, и штрафы за курицу, за теленка, за потраву, за прикос, словом, знал и испытал все лежащие на народной массе обязанности; но когда великорусский крестьянин приходил от всего этого только к отчаянию и бегству «очертя голову», южнорусский только укреплялся в энергии обороны самого себя. Только силою его личной инициативы можно объяснить ту смелость и решительность, которую *ленивый* Хома, прославленный своею беспечностью, проявляет в настоящее время в переселениях действительно «на край света», из Полтавы, Чернигова—на Амур, в Уссурийский край, в глубину Средней Азии. Наш крестьянин внутренних губерний, и преимущественно, конечно, крестьянин черноземной полосы, может совершить этот путь единственно только «по этапу»; южнорусский делает это на свои средства, несмотря на то, что управление добровольного флота, в виду препятствия этому, как предполагалось, неосмысленному движению, стало взимать (кроме 90 р. проездной платы) еще и залог с каждой переселяющейся семьи в 600 р. И все-таки каждый пароход везет на край света сотни семей южнорусских крестьян.

Хуторяне, о которых идет речь, «недодали», конечно, гораздо меньшее количество карбованцев, чем недодали их собратья, переселяющиеся на край света; но и тем количеством карбованцев, которое было ими припрятано, они сумели распорядиться весьма умно и основательно.

Прежде чем купить ту землю, на которой образовался Петропавловский хутор, крестьяне послали в Оренбургскую губернию доверенных лиц. Лица эти не *исчезли* из числа товарищей, как это постоянно случается в хуторах, набранных с бору и с сосенки, и все находятся на жительстве в хуторе. Эти доверенные искали подходящего места *четыре года,* и мало того, что искали, но исследовали качества земли, засевали маленькие лоскутки, дожидались времени жатвы. Это делалось в разных местах, и только после того как доверенные нашли подходящее место, в котором надо было жить и им самим, они приступили к покупке. Но и после совершения покупки переселенцы еще не тронулись со старых мест; предва-

рительно они выделили из своего товарищества несколько человек, которые, прибыв весной на новые места, запаслись скотом и орудиями, распахали уже несколько десятин и засеяли. Когда прибыли переселенцы, у них был свой хлеб.

Раздел участков сделан был при помощи частного землемера, приглашенного также на счет товарищей. В хуторе «случайных товарищей» также сделан раздел земли по душам (то есть по деньгам), но хотя глазомер и выработан нашим черноземным крестьянином в совершенстве, все-таки в случайном хуторе обыватели поговаривали о какой-то «ошибочке».

— Одна ошибочка действительно что есть!

— Есть ошибка, верно! Чего уж!

— Там, пожалуй, разглядеть, и побольше ошибочков-то найдется!

— Ну, чего уж!

Хуторяне-южноруссы, напротив, утверждают, что план и все эти клетки вполне верны, и все хуторяне довольны землемером. План сделан «на вечные времена», и вообще земля не выйдет из рук членов и семейств товарищества никогда. Та же самая, стальной крепости, глина, которая удручает нашего черноземного крестьянина, дает возможность южноруссам строить отличные, красивые, теплые землянки из так называемого «воздушного кирпича» — он красен, как огонь, велик, прочен и красив. И во всех мелочах домашнего обихода видна та же постоянная отчетливость и определенность в поступках.

Какая разница, хотя бы, например, в устройстве собственной хаты, землянки, избы и окружающих ее жилых хозяйственных построек в этих двух стоящих рядом хуторах.

У малороссов хаты стоят задворками к речке, и от самого плетня, огораживающего задворки, вплоть до речки идет огород, и здесь же во дворе кладовушка для овощей, погреб, все поблизости к хате.

— И *бабе* легче буде воду носить с речки, — говорил хозяин хаты, показывая свое хозяйство.

Перед хатой, которая ставится очень близко от холмистого подъема местности (чтобы не пропадала хоро-

шая земля) и лицом к ней, также есть амбарчики, но за ними прямо идет выгон, где пасется скот.

— Вот из оконца *бабе-то* и виден скот... И волы и овцы!..

Два раза хозяин упомянул об облегчении бабьего труда, два раза он вполне ясно и точно объясняет каждый шаг в своем хозяйстве.

Но вот в соседнем хуторе, где есть и бабы, и огороды, и речка, и изба, но где люди до переселения весь век жили, «не жалея себя», там как-то не примечаешь особенной ясности ни в целях жизни, ни в поступках обывателя.

Изба, поспешно сколоченная кое-как, или та же землянка ставится здесь как раз наоборот, то есть лицом к речке, «на полдень»; затем перед рядом изб отведено огромное пустопорожнее пространство земли (которое у малороссиян уже под огородом) под «улицу», улица эта образуется из ряда амбаров, противоположного ряду изб. Так как у амбара обыкновенно складываются бревна, сохи, бороны и всякий хлам и так как к нему надобно подвозить и зерно и овощь, то и между амбарами и кругом них пропадает также весьма много пригодного для огорода места. И так как лучшая часть земли, наклоненной к речке, истрачена без всякого толку, то огород, который, наконец, начинается за амбаром, оказывается малым, а для пополнения его разведен еще кусок огорода на задах, то есть пройдя двор и загородь для скотины.

Положим, хозяину приятно видеть свой амбар каждую минуту, приятно также, чтобы и дом стоял на «полдень», да и на речку весело посмотреть, «на крылечке посидеть, на улицу поглядеть», — но ведь бабе-то (о которой и разговору нет, так же как не было и нет разговору о мужике) приходится таскать коромысла с водой на зады, через пустыри, между амбарами, через широкую пустопорожнюю улицу, через двор, через загородь, приходится подниматься из-под горы на гору, то есть совершенно напрасно тратить силу неутомимой работницы, которая к тому же редко когда не бывает *«тяжела»*.



VIII. ВЯТИЧИ

По счастию, в удовольствии видеть оригинальность и самостоятельность жизни «своим умом» никогда не ощущается недостатка, раз только хуторяне пришли на новые места из отдаленных от «Москвы» местностей. Разнообразие в обиходе жизни хуторян, случайно сделавшихся на новых местах самыми ближайшими соседями (на старых они жили в совершенно различных местностях), иногда выражается в таких необычных для каждого из этих «ближайших соседей» формах, что все они могут только недоумевать и дивиться, глядя на необычные, для каждого из них, порядки в жизни друг друга.

— Не то что даром, а дай ты мне тысячу рублей, и то я в таких местах жить не буду! — не только искренно, а даже с некоторым испугом говорит извозчик из черноземных, дремучим лесом пробираясь с проезжающим по пятиверстной просеке к хуторам, населенным вятичами. И действительно, не только черноземному, приютившемуся на привольных местах и равнинах близ большой дороги, немыслимо даже и подумать о возможности жить так, как живут вятичи, но и южнорусский крестьянин, также весьма и во многом совершенно непохожий на черноземного, и тот бы испугался этих лесов, хотя и не пугается переселений на Амур. На русском и на малороссийском языках они одинаково выразили бы испуг пред непостижимым для них размером труда, который положил вятский крестьянин хотя бы только в эту просеку.

— Ведь это дебрь непролазная! — сказали бы по-русски и по-малороссийски одинаково привыкшие к труду на безлесной равнине земледельцы.— Ведь тут и медведь-то, и тот заблудится, дороги к берлоге не найдет!

Глушь и дебрь, плотной, непроницаемой стеной стоящие по обеим сторонам узенькой просеки, вполне соответствуют этим страхам людей равнины, и заставляют почти забывать те мучения езды по просеке, которые приходится претерпевать на каждом шагу. На каждом шагу и телега и лошадь ломают свои колеса и ноги на пнях, которые поминутно попадаются на пути. Каждую минуту лошадь спотыкается на этих пнях, а колеса, ударяясь и затем со скрипом всползая на них, тотчас же рас-

катываются в глубоких выбоинах около каждого пня и ломают телегу беспрестанными судорогами и корчами. А ветви деревьев каждую минуту стремятся хлестнуть и лошадь, и извозчика, и проезжающего по лицу, по глазам и всячески стараются сорвать с проезжающих шапки.

Но дебрь, глушь лесная, несмотря на постоянную потребность самообороны во время езды по просеке, она-то и внушает мысль о размерах положенного на эту просеку труда. Могучие вековые деревья (дуб, вяз, липа, береза) высоко поднимаются над подростками, а подростки тонут в чащобе всякого рода растительности: прутняк, высокая трава, ползучие и вьющиеся растения опутывают и корни и ветки всего этого растительного живья душной и тесной дебри; хмель первенствует в этом опутывании и развешивает свои гирлянды по могучим сучьям и ветвям могучих деревьев, иногда до самой вершины.

Кроме тесноты и духоты живущей дебри, вся она переполнена массою уже почахлой растительности, иссохшим прутняком, огромными скелетами когда-то могучих стариков лесного царства, разбитых громом, изломанных бурей, свалившихся от истощения и по пути падения к сырой земле прекративших существование всему, что попадалось мертвому телу мертвого лесного великана. Но эта просека, изумляющая размерами труда, положенного в нее вятичем, еще только начало действительных изумлений, которые начинаются с той минуты, когда изломанная лошадь вывозит изломанную тележонку с изломанными путниками из просеки на широкий простор полей.

Теперь уже не просека, шириною в три — три с половиной аршина овладевает вниманием путника, а широкое пространство засеянных и колосившихся полей, очевидно отнятых трудами тех же рук того же вятича и у того же дремучего леса. Среди широкого пространства засеянных полей, как улья огромнейшего пчельника, рассеяны массы пней, которые при пахоте и посеве несомненно надо было обходить и лошади, и пахарю, и косуле. Видишь, что косуля на каждом шагу должна была зацепляться за корни этих пней, которых, очевидно, нет никакой возможности вырвать из земли. Понимаешь, что и жнитво, возка снопов среди этих пней — дело непости-

жимой трудности, и понимая и видя все это, решительно не понимаешь, какая нечеловеческая сила могла совершить все это не более как в течение трех лет?

В три года сделана просека длиною в четыре-пять верст, расчищены и засеяны десятки десятин из-под леса, выстроено пять хуторов, от пяти до пятнадцати изб в каждом, при каждой усадьбе слажены все необходимые хозяйственные постройки, — погреба, помещения для скотины, навесы, наилучшим образом расчищены эти же дебри для огородов, где не подобает быть пням в таком количестве, как в поле, где борьба с ними на пространствах десятков десятин уже решительно невозможна. И это все совершено в три года, в три года положено прочное начало жизни на новых местах, в диких лесных дебрях, и продолжение устроения, видимо, не прекращается ни на одну минуту. Рубит и тешет топор, стучит в кузнице у речки молот, пилит пила; свежими щепками, обрубками, кучами нарубленных и очищенных для построек дерев полны все дворы, вся улица [1] и все незначительные пространства вокруг избы.

Непостижимо и непонятно все это для постороннего наблюдателя, точно так же как и для всякого крестьянина, привыкшего к труду на безлесных местах. Но все эти загадки разгадываются самым простым образом, как только обыватель этих новых изб, заслышав звуки стонущей и охающей повозки, на минуту оставит свой топор и выйдет на улицу посмотреть, кого бог принес. И у этого крестьянина надеты на ноги лапти, та же на нем домотканная рубаха и прочая одежа, те же онучи, та же борода, словом, все то же во внешнем виде, что и у его ближайшего соседа, но живет он не так, как живет его сосед, и не так, как сосед, работает своей головой, и то, что его соседу смерть, то вятичу жизнь.

Дерево в обиходе его жизни имеет первенствующее значение; в каждой избе точно мастерская; на самодельных токарных станках выделываются ступицы колес, затем и самые колеса, и, наконец, целые повозки; стул, который выносит на улицу вятский переселенец и предлагает проезжему присесть, также собственного его изделия,

---

[1] Сторона улицы, противоположная ряду изб, образуется загородью огородов.

и все эти поделки продаются на базарах ближайших сел и деревень, населенных старожилами. Лубок, лыко, мочала, — все это дело рук вятского крестьянина; короба, обшивка колесных и зимних повозок, приготовление мешков, корзин, лукошек, деревянной посуды и мебели, — все это говорит, что вятский крестьянин знает цену дремучему лесу. Но зная ему цену, он знает также, как с ним и справиться, совладать, покорить; кузница, да и не одна, составляет поэтому непременную принадлежность всякого хутора, населенного вятичами. Кузнечные молоты, не переставая, стучат по наковальням; топоры всяких размеров, пилы, земледельческие орудия, орудия, необходимые в кустарном производстве, — все это делает необходимым иметь две-три кузницы в каждом поселении вятичей: постоянно надо ковать, точить, сверлить.

Пила и топор, вот с чем начинает он дело, на официальном языке именуемое «лесоистреблением». Задача его — как можно скорее отодвинуть от себя эту непроницаемую стену леса, и он идет с своим топором и пилой не поперек подлежащей истреблению десятины лесной дебри, а вдоль ее, причем ведет в ней такую же просеченную дорожку, на которой ему можно действовать только в размерах, доступных его рукам в правую и левую сторону. И так как так же поступают все его односельчане, то ряды начатых ими просек, не более трех аршин ширины, быстро отодвигают стену дремучего леса; топор рубит, пила пилит и валит на землю все, что спилено и срублено, и шаг за шагом подвигается вперед хозяин пилы и топора и таким образом выбирается к свету, к ничем не заросшей полянке.

После очистки всего спиленного и срубленного, что требует несомненно большого умения и знания, топор сопутствует вятскому крестьянину и при превращении освобожденной из-под леса земли в пашню. При всяком затруднении, которые на каждом шагу должна преодолевать косуля, вятский крестьянин пускает в ход топор, рубит корни и дает возможность косуле и лошади продвинуться вперед. Вятские крестьяне утверждают, что ихние лошади сами чувствуют, когда не следует рваться и тратить свои силы бестолку, и останавливаются всегда, когда нужно облегчить их трудное дело при помощи топора. Кроме всего этого, лес необходим вятичам

и потому, что пчеловодство в их средствах жизни имеет весьма немалое значение. В глухих дебрях, на полянках, к которым еще нет просек, повсюду рассеяны пчельники.[1] Ульи также составляют предмет своеручного производства вятичей.

Так идет своеобразная жизнь вятичей, и идет как и у всех, живущих на свой образец переселенцев, хотя и здесь, как и везде и у всех, долги и неплатежи, особливо Крестьянскому банку, возросли уже выше головы. Куча писаных и печатных требований, *касающихся* всякого рода платежей, и здесь собрана уже в большом коробе, конечно местного, кустарного производства. Здесь у вятичей общие для переселенцев требования и угрозы, не в пример прочим, даже еще пополнены собственными требованиями и угрозами переселенцев самих к себе; так, например, мирским приговором постановлено: «За порубку леса, как в общем, принадлежащем товариществу, так и в отдельных для каждого двора участках, вносить по 2 рубля за каждый дуб, по 1 р. за вяз, по 50 к. за воз дров, воз лык и т. д.», причем прибавлено: *«а за озорство — по пяти ударов розог»,* а если озорство будет сделано и во второй раз, *«то деньгами и розгами вдвойне».* Даже и эта добровольно налагаемая вятичами на самих себя угроза и острастка, как соответствующая их собственным предначертаниям, все-таки понятна в своей оскорбительной для человека сущности, не в той бессмысленной и бесцельной оскорбительности, с которою эти же пять ударов получали в наших волостных

---

[1] При посещении вятских хуторов нам рассказывали об одном старичке, великом любителе пчеловодства. Каждую весну он на свои средства приходит к своим переселившимся односельчанам и учит их на новых местах всему, что касается его любимого дела. Осматривает пчельники, днюет на них и ночует, показывает, как и что надо делать, и когда сделает все, что нужно для успеха дела знать молодому поколению его односельчан, он уходит обратно домой.

И к нашим черноземным приходят с старых мест, но — увы! — приходят только за взысканием оставшихся за переселенцами недоимок и частных долгов. Появились какие-то антрепренеры, специалисты по части этих взысканий, выродившиеся из неудавшихся кабатчиков и кулаков. Общества сговариваются с ними на условия получения половины всего, что будет выцарапано ими при содействии местного начальства. В сущности же эти специалисты, не неся никакой ответственности пред обществами, только новый род разорителей народа.

правлениях только за то, что человеку нечем платить недоимок. И все это, вместе взятое, то есть все сделанное вятичами, как и другими хуторянами, пришедшими из отдаленных мест, вполне сознательно, с целями вполне определенными, невольно радует за человека вообще, на каждом шагу проявляющего работу своей мысли и дающего, хотя на малое время, полную возможность не видеть в нем только неплательщика.



IX. СИБИРСКАЯ ДОРОГА И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Долголетний опыт выяснил нам неурядицу переселенческого дела (неразрывного с неурядицей в положении земледельческого класса на старых местах) исключительно только в образе множества человеческих существ, почему-то оказавшихся в безысходном положении. За исключением только что обнародованного (24 сент<ября> 1889 г.) законоположения об организации переселений на казенные земли, единственная *новая* черта, сколько-нибудь отличающая в наши дни всегда унылую картину переселенческого движения, — это значительно увеличившиеся размеры правительственной и частной благотворительности.

Правительство, выдававшее до настоящего года от пяти до десяти т<ысяч> на каждую из переселенческих станций, с будущего года увеличивает размеры пособий переселенцев более чем на сто т<ысяч> р<ублей>. Частные пожертвования с сотен рублей возросли до тысяч, но в то же время весной 1889 года сибирские телеграммы доносили до нас такие раздирающие душу стоны и вопли, каких мы не слыхивали до настоящего времени.

Быть может, именно эти раздирательные вопли и были причиною моих «мечтаний» о возможности наилучшим образом устроить и организовать переселенческое дело. Мечтания эти возникли одновременно с вестями и слухами о постройке Сибирской дороги и выразились в таких соображениях:

Когда менонитам, колонистам Таврической губернии, стал известен закон 1873 года о воинской повинности, сто шестьдесят пять семей решились переселиться в Америку. Семь человек депутатов, которых таврические менониты послали в Америку, чтобы осмотреть новое отечество и выбрать подходящие для поселения места, объехали весь запад Америки, и как представители значительной партии переселенцев, они всюду пользовались *даровыми билетами* и *помещениями от тех железнодорожных компаний, земли которых они осматривали.* Выбор пал на долину Арканзаса, тогда еще *почти совершенно пустынную,* и вся земля под поселение была куплена у *компании железной дороги* по два доллара, с рассрочкой на одиннадцать лет, причем компания обязалась выстроить в центре купленной земли два больших дома для временного помещения имевших прибыть переселенцев. В 1874 году последовало переселение менонитов. Дома были уже готовы, и с лишком восемьсот душ поместились в них. Мениониты решили поселиться общинами и кинули жребий, — сперва между этими общинами, затем в тех из них, которые с самого начала решили перейти к участковому землевладению, между членами. В два-три месяца были построены жилища, *и дикая прерия обратилась в густо заселенную страну.* Дома, выстроенные железнодорожной компанией, были обращены один в школу, другой в церковь, и жизнь новых поселений пошла своим путем. Один очевидец, посетивший менонитов четыре года спустя, везде нашел станции и полустанки, через каждые три-четыре мили, повсюду элеваторы для хранения хлеба и приспособления для нагрузки скота.[1]

Этот поучительный пример широко и плодотворно осуществленного дела, — заселения и оживотворения пустынь при содействии американских компаний железных дорог, — полагаем, окончательно затмевает суетные цели защитников и противников Сибирской железной дороги. И те и другие хотят только «укрепиться» на Тихом океане и не дать ходу китайцам, и все это в пределах только

[1] Подробный отчет о колониях менонитов в Америке напечатан в «Устоях», 1882 г., № 10, г. П. Дементьевым, лично посетившим колонистов на новых местах.

Приамурской области; на всем же остальном пространстве Сибири железная дорога стянет в Сибирь только темных людей со всей империи.[1] В Америке темных людей, несомненно, тьма-тьмущая; туда они стекаются не только со всех концов республики, но буквально со всех концов света; и однакоже мы видим, что американские капиталисты, затрачивая огромные капиталы, думали не о темных людях, а о тех миллионах трудящегося народа, которым нет места в густонаселенных странах и которые хлынут на новые места, оживят пустыни, и у компании железных дорог образуется и продавец, и производитель, и потребитель.

Если бы в проект предполагаемой Сибирской железной дороги, как непременное условие, вошло и решение переселенческого вопроса, и если бы постройка шла вместе с заселением прокладываемого пути, то «первые же вагоны» привезли бы не сотню темных плутов, но массу переселенцев, народа, жаждущего земли, бедствующего от безземелья, привезли бы сотни тысяч и миллионы. И схлынуло бы в Сибирь на новые места прежде всего все то несметное множество рабочих рук, которое ежегодно не находит возможности применить свою трудовую силу и, истощенное голодом, массами возвращается с Кавказа, с Поволжья, со всего черноморского и азовского побережья. Схлынет еще более многочисленный на Руси—*безземельный,* истощенный тяжким и бесплодным трудом на лоскутке земли, арендуемой за большие деньги, и тысячами ссылаемый в настоящее время сельскими обществами как «вредный», хлынет и он, совершенно утратив необходимость быть вредным, и предпочтет краже огурцов или курицы работу на полотне железной дороги и наверное осядет там, где и работал. Схлынет туда все жаждущее земли, со всех концов России (как в Америке, со всех концов света), и все, что есть разноверного, разноплеменного, все объединится ближайшим соседством и взаимными отношениями.

При таких условиях не гремела бы Сибирская железная дорога пустопорожними вагонами, а везла бы миллионы производительных сил, везла бы все, что нужно для обихода жизни новосела-крестьянина, и тогда было

[1] «Вост<очное> об<озрение>», № 30.

бы дело и для торговли и для промышленности, было бы что привезть и что вывезть.

Сибирская дорога — это воскресение из мертвых несметного количества безземельных крестьян и вместе с тем воскресение из мертвых сибирских пустынь, оживотворение их живою жизнью, и вообще великое, всероссийское и всенародное дело. После всевозможного рода мероприятий, направленных к «упорядочению» переселенческого движения, спрашивается, до каких собственно существенных благ дожили тютемские горемыки? Дожили они только *до бумаги*, свято хранимой, как драгоценность, у каждого горемыки на груди; в бумаге обозначен лотерейный номер надела, который где-то и кто-то нарезал горемыке в Сибири. Бывает, что безземельный и выиграет в лотерею «земной рай», но чаще всего он получает пустой билет, проиграв все свои рублишки до копейки, и плетется опять на старое пепелище. Еще горшее бедствие ожидает его, если он «завязит коготок» в кредите Крестьянского банка. Банк прежде всего отберет от него (в виде приплаты) все те рублишки, которые крестьянину необходимы, «дозарезу» необходимы, на начатие хозяйста на новых, только что купленных местах, и затем обременит безземельного огромнейшим долгом, не позволит ему рубить лес, если он есть, не позволит отдавать в аренду ни лугов, ни пашни, а через шесть месяцев, после полного истощения всех средств к существованию, потребует уплаты процентов и погашения. За шесть лет своего существования, крестьянский банк изъял из крестьянских сбережений 15 020 235 рублей, да долгом обременил в 58 012 256 руб. И все это непомерное количество денег израсходовано для *покупки* (якобы) лишь 1 607 291 десятины; то есть на 752 721 существо пришлось лишь мечтательное владение еле-еле двумя десятинами.

Ни лотерейные билеты, ни затруднительные условия кредита в Крестьянском банке ни в малейшей степени не содействовали, не содействуют и не могут содействовать оживлению и заселению кавказских, оренбургских, среднеазиатских и сибирских пустынь. Пустопорожние вагоны гремят по всей Закаспийской дороге, от Самары до Оренбурга, от Самары до Уфы, до Златоуста, до Челябинска. И гремят они в плодороднейших степных мест-



ностях, в очаровательных приуральских предгориях, где цена земли ничтожная сравнительно с теми ценами аренды за квадратные сажени, которые обречены во внутренних губерниях платить *безземельные земледельцы.*

Таковы наши мечтания, но не такова действительность. К ней мы и возвратимся, заканчивая наши заметки.

3. НЕ ЗНАЕШЬ, ГДЕ НАЙДЕШЬ

(Рассказ крестьянина-сибиряка о «российском»)[1]

I

На большом западно-сибирском «тракту», в глубине обширного двора, принадлежащего коренному сибиряку из «дружков», приютилась переселенческая семья, отставшая от партии и поджидавшая другую, чтобы не быть в дороге одинокой. Там, в углу двора, виднеется маленькая ветхая повозка на маленьких полусгнивших колесах; около повозки толкается, отмахиваясь жидким хвостом от оводов, тощая и также, соответственно повозке, микроскопическая лошаденка. Около повозки и лошади копошатся какие-то сероватого цвета люди; кто мужик, кто баба, не разберешь: тощи они, серы, малы; мальчик или девочка бегает тут же около повозки и лошади, также разобрать довольно трудно. Двор обширен, а «российский» переселенец дожил в своих местах до таких микроскопических размеров во всех отношениях, что издали, от ворот или с крыльца, не сразу разберешь, что там такое копошится в углу? Видно, что есть там что-то живое и движущееся, а разобрать сразу, что именно там есть, не разберешь.

Однако скоро оказалось, что переселенец запрягал свою микроскопическую лошаденку в микроскопическую повозку и собирался уезжать. Скоро повозка его выбралась из-под палящих лучей солнца, стала видна ясно и приблизилась к крыльцу настолько близко, что я мог довольно хорошо разглядеть ее в подробностях. В повозке сидели ребятишки, мальчик и девочка, в таких же серых от грязи рубашонках, какие были на тощей матери и на тощем отце. Забота или равнодушие выражались на лицах крестьянина и его жены, хорошенько

нельзя было понять, но кажется, что то и другое одинаково отражалось на этих простых, добрых, усталых лицах. Не знаю почему, мое внимание привлекла та дерюга, которою была покрыта кибитка, кой-как устроенная из древесных ветвей; вся эта покрышка состояла буквально из заплат, тщательно, всякими швами и всякого сорта нитками, пришитыми одна к другой, и я, всматриваясь в эту дерюгу, неожиданно ощутил какое-то впечатление безмерного страха, но не успел выяснить себе его (это сделалось впоследствии), потому что на крыльце появились хозяин с хозяйкой и вступили с переселенцами в разговор. Переселенец кланялся, держа в руках шапку, кланялась и его баба; оба они благодарили за приют. Жаловались, что нечем благодарить и что трогаться надо, потому что с час времени назад «по тракту» проехали три повозки с переселенцами и переселенцу хотелось догнать их на ночлеге, чтобы потом уже и ехать дальше вместе.

Кибитка, дрожавшая и колебавшаяся, прошла мимо моего тарантаса и исчезла. Скрипнули отворявшиеся ворота и скоро захлопнулись, затворяясь. Переселенцы уехали, а сибиряк хозяин с своей женой-сибирячкой, люди молодые, румяные и оба, так сказать, просторного телосложения, уселись неподалеку от меня на крыльце. Они только что покончили «с прикусками» и большим самоваром и, ожидая пока вскипит другой и пока поспеют новые «прикуски», вздумали посидеть на крылечке, на солнышке.

— И что это за народ за такой, эти «российские»! — с насмешливым недоумением проговорил, как бы рассуждая с самим собой, хозяин-сибиряк. — Как российский встрелся, — нет с ним никакого разговору, окромя как — «земля, земля, земля», да «душа, душа, душа». Только и всего, и никаких слов у него нету больше.

— Да еще «бог»! — прибавила сибирячка, огласив двор звонким фальцетом, доказывавшим, что она принимала в уничтожении «прикусок» не малое участие.

— Вот и это еще! Это верно! Бог также во всяком случае; что ни слово, то «бог, бог, бог», а промежду того опять же «земля, земля, земля», да «душа, душа, душа». О чем ты с ним ни заговори, уж никаким родом он не минует, чтобы не обернуть разговору округ земли,

да округ души, да бога, между прочим, завсегда во всякое слово примешает, — хоть ты что хошь!

Сибирячка на этот раз ответила на соображения своего мужа только повторением фальцета, более звонким, чем прежде, и ничего не прибавила лично от себя к наблюдениям своего мужа.

— Оборачивается винтом в этих самых словах и никаким родом его оттуда не вывинтить! И все ведет к одному — «отдай!» Тоже это ихнее любимое... «Кабы бог дал, так бы и туда отдал и сюда отдал... Бог-то не дал, а там говорят «отдай!». Там отдай, здесь отдай. Отдай да отдай! «Кабы две души», «да земли», «да бог бы дал», так бы и отдал. А то чем отдашь? Коли бог... земля, душа!» И пош-шол, и пош-шшол оборотом, оборотом винтить, винтить, хоть ты помирай! И чего живет, никаким родом не сообразить!

Последняя фраза, сказанная с самым искренним недоумением, доказывала, что она есть результат весьма продолжительных наблюдений сибиряка над «российскими». Мне вздумалось потолковать с ним подробней (ведь сибиряк-крестьянин не знал ни бурмистра, ни Карла Карловича), и так как в это время самовар был готов и сибирячка уносила его с крыльца в дом, приглашая туда же и мужа, то и меня взяла охота пойти туда же и побеседовать за чаем.

II

Скоро я был в большой чистой избе, с потолком, полатями, лавочками и полом, выкрашенными масляною краской желтого цвета, сидел за таким же выкрашенным столом, пил чай и разговаривал. Разговор шел на ту же тему, которая была предметом размышлений сибиряка, когда он сидел на крыльце, и я передавать его не буду. Но кое-что он и пояснил в своем определении.

— И ведь какой народ! Ни одет, ни обут, и есть ни ему, ни ребятам почитай что нечего, а толкует только о земле да о душе. Иной раз глядишь, глядишь на них (много мы их перевидали), да и сам, признаться, о боге-то подумаешь! Должно быть, что действительно премудрость какая-нибудь мыкает их по свету! По-на-

шему этого не сообразить. С одним таким-то переселенцем российским такой на наших глазах оборот вышел, что и нехристь, а и тот в бога уверует.

— Это ты про Андрея рассказываешь? — припомнив что-то, спросила сибирячка.

— Да нешто мало их, таких-то Андреев? Что ни российский, то и Андрей.

— Нет, уж с Андреем вышло совсем особенное!

— Со всяким то же самое! — сурово опровергал муж, опоражнивая чашку за чашкой.

Судьба этого Андрея так заинтересовала меня, что я постарался вызвать сибиряка на подробный рассказ о нем.

— Года с два, никак, Андрей-то этот в наших местах показался. Пришел он с прочими, со своими же «курскими», и всем им как раз надобно было в наших местах оставаться; земля им отведена тут около нашего села, в тридцати верстах. Приехали они, выправили в волости бумаги и ушли на новые места, а Андрей не поехал, остался. Тут же вот, у нас на дворе, примостился, амбар пустой выпросил. «Чего же ты, говорю, не едешь с своими-то?» — «Да боязно мне, говорит, ехать-то... пообгодить надо... Горе, говорит, со мной случилось...» — «Что же такое?» — «Да сын, говорит, двенадцати годов, на дороге у меня помер». Сказал про сына-то и сейчас что-то, как вон у них всегда бывает, «земля, земля, земля», «душа, душа, душа». Тогда я не вникал в это, не понимал и дивлюсь, что он про сына-то не говорит? Спасибо, баба, — в повозке она больная лежала, — подняла голову, завыла на весь двор и рассказала: «Хворать начал еще в Тюмени... Выехали оттуда, жар его стал палить. Пить просит, знобит его... А остановка в поле, ночи холодные, так и скончался!» Ревет баба, горько убивается; и у мужика слеза было показалась, только он ее рукавом утер и сейчас же опять за свое. «Бумага-то, говорит, у меня дадена на две души. Это ведь тридцати десятин по здешнему. Коли бы ежели сын-то был жив, я бы тридцать десятин взял... половину бы отдал на съём. Есть, говорит, из наших и с деньжонками люди, возьмут в аренду... Все бы я справился кое-как, деньжонок бы получил да и сам бы поработал, было бы с чего взяться... А как

господь-то меня покарал, сына-то взял, ведь по бумаге-то мне на две души не дадут... Да и баба-то уж больно убивается, скучит по родному детищу. Ослабла совсем, какая она теперь работница. А мне одному тоже трудно взяться. Вот и не знаю, как быть? Обгодить надо». И опять повернул на землю да на душу. Даже спросишь о бабе, — поправляется ли, мол? «Мается», говорит, и в ту же минуту опять и про бумагу и про землю. Так уж мысли у него такие все скучные были. Потолковал я с ним так и раз, и два, и три, — все то же самое... Скучит все про землю, да про душу, да бога поминает... Ну, думаю, живи как знаешь; оставил его, перестал с ними разговоры разговаривать.

— Они тогда у нас недели с две прожили! — прибавила с своей стороны сибирячка.

— Не упомню хорошенько, две ли, три ли недели; только я этого Андрея не касался. Попросит хлеба, — дашь... Поработает. И все молчит, все, я вижу, одно и то же думает, а баба все лежит в повозке. Молчит, молчит, да как взвоет на весь двор, да как начнет причитать, душа разрывается. А потом опять молчит. Спросишь иной раз Андрея: «Что это баба-то твоя убивается?» А он отвечает: «Как же не убиваться? Тоже нарождение наше, какой парень-то был, да опять как ежели бы жив был». Ну, и все как обыкновенно. Не дослушаешь и уйдешь. Так и шло время. «Чего он дожидается?» — думаю, однако не расспрашивал, не касался. Только однажды — гляжу, и сам он идет ко мне. «Так и так, говорит, баба-то моя ведь тяжелая... Того и гляди родить ей придется. Уступи мне, сделай милость, амбарчик на время». Тут я понял, чего он дожидается. И анбарушку ему дал, а баба моя и повитуху ему указала. Узнал я это, и так мне стало его, признаться, жалко. Как ему быть с больной бабой в чужой стороне? Ничего, почитай, у него нет, и самим-то есть нечего, чем и ребенка-то кормить? Баба хворая, тощая; мучается она, что сын у нее помер, покою не знает, плачет. Такие прискорбные они мне показались, не видывал я такого бедствия. Пропадают люди прямо на глазах. «Эй, Андрей, Андрей, — говорю ему как-то однова, — плохо твое дело! Как-то ты справишься? И что делать-то будешь?» Пропадает, думаю, как трава от морозу. А между

тем, вижу, не то: смотрит на меня Андрей, и лицо у него нескучное! Как бы уж тут-то не заскучать? Ведь беда идет неминучая, дело видимое, а он, наоборот тому, даже как бы и повеселел. «Авось, говорит, бог и поможет?» — «Что же, говорю, все бог да бог. Ты сам видишь, какие твои дела». А он ту ж минуту выхватил из-за пазухи свою «бумагу», да и отрапортовал мне: «Ведь баба-то родит либо сегодня, либо завтра. А ну, как господь даст, опять мальчика? Ведь тогда прямо тридцать десятин по бумаге должны выдать. А ежели мне тридцать-то десятин, так ведь я в аренду половину-то!» И пошел, пошел колесить и винтом, винтом оборачивать — и бог, и земля, и душа! То есть плюнул я и ушел прочь! И не подходил! А только от людей слышу: идет в амбаре — страсть господняя! Слышу: «родила девочку!» Думаю: «ну! пропал мужик»! И точно, рассказывают, свалился, говорят, Андрей с ног. «Руки, говорит, на себя наложу. Пропал я, кричит, пропал, пропал, пропал! ..» Плачет даже! .. Потом слышу: «померла девочка». Весь двор, все наши бабы в один голос говорят: «Слава богу!» Вижу, и Андрей очнулся, ходит по двору, а что теперь будет делать, на что надеется, не спрашиваю. Говорю бабе моей: «Оставим его в работниках вместе с его бабой?» Жалко ведь, истинно жалостно смотреть. И порешили было так, но Андрей не остался. Напал на него и на его жену необыкновенный страх, обуял их испуг какой-то. Баба его первая испугалась: и сына у них нет, и еще ребенок умер, и зачем это они в этой чужой стороне? «Домой, домой, домой! — взмолилась баба, — опять в свои места». И мужик-то тоже совсем обезумел... Так мы и не видали, как они второпях со двора съехали. Спрашивали мы потом у новых переселенцев, не встречали ли таких-то и таких-то «курских». И сказывали нам также ихние, «российские», что видели их, «едут», а потом говорили, что видели их уж без повозки, без лошади под Пермью. А наконец и совсем слух о них прекратился... Так они и канули. Мы так и почитали, что не дойдут они до места и сгинут где-нибудь в чистом поле. И что ж, однако, вышло?

Вероятно, то, что вышло, было до того необыкновенно, что и сам хозяин-рассказчик и его жена, не раз вздыхавшая во время рассказа, вдруг развеселились, и лица их засияли самым радостным выражением.

III

— То есть такое вышло удивительное дело, кажется и в сказках такого не рассказывается! Проходит года два, мы и думать-то забыли про Андрея. Раз как-то, уже нынешним летом, слышу, какая-то баба, которая при родах Андреевой жены была, говорит: «Арестанты, говорит, прошли сегодня в пересыльную, и кажись будто Андрей с женою там...» А у нас тут за селом, — сами чай видели, — большая пересыльная тюрьма. «Не обозналась ли, мол?» — «Нет, говорит, как будто они самые». Что ж, может, и грех от бедности попутал. И еще прошел месяц, ни слуху, ни духу не было. Однова я вышел на крыльцо, утром, — смотрю: Андрей и жена, и новая повозка с лошадью! И такие они превеселые, здоровые — удивление! «Как так? — спрашиваю их. — Откуда? Каким манером? Сказывали про вас, что в арестантской партии вас заприметили?» — «Точно, говорит, точно так! Привел бог поетапом проехать! Дай бог здоровья начальству! Отправило поетапом! Накормило, пригрело, приютило! В жизнь свою мы такого удовольствия не видали, как в поетапе!» И уж как рады-то! то есть ежели и двести тысяч выиграть, и то этак-то не обрадуешься! Стали расспрашивать, и рассказали они нам: «Добрались мы, говорят, до своих мест, в лютую зиму, пешком. еле живы. Как уж добирались, об этом и вспомнить страшно... Добрались до своего села, приютились в работниках. Потребовали нас в волость и спросили бумаги. А бумаги-то у нас уж сибирские; мы уж оказались не курские, а ваши, сибирские, к вашему обществу приписанные. Как поглядел писарь в бумагу-то, осердился и говорит: «Вас, говорит, надо поетапу, обратно!..» Как он сказал «поетапу», так баба-то и упала без чувств, думала — «в каторжную работу». А очнулась, взвыла, как малый ребенок. Еле-еле ее на телегу полумертвую положили... А потом, как повезли нас, смотрим мы и дивуемся: ничего худого нету, все хорошо. И одежу дадут, и ночлег, и три раза в день кормят, и каждую неделю баня... «Что́ такое, думаем, чего мы боялись? Дай бог всякому как в поетапе пожить!» И что дальше, то лучше! ни копейки не спрашивают, а все дают; кончили тракт, помчали по машине, а потом пароходом, а потом пешим ходом, с роздыхами, с остановками...

Отъелись, отдышались мы с бабой, как этого и в жизнь не бывало... Порумянела даже, мол, моя старуха, погляди-кось! Ей-богу!» И точно, и мужик окреп, повеселел, а баба и совсем стала похожа на человека. Точно совсем другие люди пришли! Рассказали они потом, как их довезли до города, где была переселенческая станция. Там их выпустили на волю, указав им, где живет начальник; начальник им помог, дал денег взаимообразно на лошадь и повозку да пять рублей на харчи; помогли и другие добрые люди, заглядывавшие на станцию посмотреть переселенцев, и вот они уже здоровые и не скучные, а совсем даже веселые, опять к нам приехали... И такую они пустили славу про «поетап», что теперь и на поселке и в партиях только и слышно, что про этот самый этап. «Отчего нас по этапу не везут? Это богатые пускай едут на свои деньги, а нас, бедных, обязательно ублаготворить по этапу! Ишь, Андрюшка-то с своей бабой разъелся как!..»

— Ну, а сам-то Андрей, как теперь? — спросил я, — какие у него теперь мысли в голове?..

— Да какие? Какие были, такие и остались. Как-то встретился я с ним на базаре, заговорил с ним, спросил: «хорошо ли, мол, теперь?» — «Земли, говорит, нарезали на одну душу, да бог даст баба родит мальчика, потому что она опять тяжела, так тогда как раз по бумаге выйдет... Я, говорит, думаю беспременно мальчика, потому не было скучных мыслей. Коль бог даст, так тридцать-то десятин...» Н-ну, окончательно, опять тот самый оборот винтом и округ того же самого.. «Ну, говорю, ладно!» Так и разошлись, и с тех пор не видал его, да и пущай его. Надоедно даже!

— Так вот... незнамо как живут! — умозаключила сибирячка и, в виду присутствия постороннего лица, постаралась скрыть еще один фальцет.

IV

На этом окончился разговор собственно о «российских». Не знаю, удовлетворит ли он читателя и даст ли ему ответ на вопрос: «И чего живут?» Не в видах уяснения этого вопроса, а только для того, чтобы читатель сам мог сосредоточить на нем внимание, мне остается

передать еще только о том впечатлении, которое произвела на меня дерюга, покрывавшая переселенческую кибитку.

Рассматривая ее (потому что повозка довольно долго была перед моими глазами), я понял, что она почти вековая летопись неустанного крестьянского труда. Вся она состояла из заплат, сшитых одна с другой и нашитых одна на другую; несомненно, что здесь были труды прапрабабушек, переданные в виде обносков прабабушкам; эти передали останки обносков, с придачей и своей работы, бабушкам, а бабушки, перештопав, перешив все эти заплатки предшествовавших поколений, передали их внучкам, и вся эта летопись неустанного, непрерывного труда едет теперь, защищая от дождя и солнца, куда-то в неведомую даль, не суля ничего, кроме опять-таки продолжения того же самого неустанного труда. Об этом неустанном труде, из века в век, из поколения в поколение, говорила каждая нитка дерюги. Рисовались трудные работы с посевом льна, с его обработкой и превращением в нитку, в холст, в рубаху, и, наконец, в эту заплатку. Бессонные ночи пряденья, тканья, шитья, все это из поколения в поколение делалось единственно только для того, чтобы прикрыть наготу человека, опять-таки неустанно трудящегося для кого-то и для чего-то, так как в конце этих вековых трудов не получилось ничего иного, кроме неразрешимого вопроса:

«И чего живут?»

Да, даже и дерюга, эта не печатная, а безгласная летопись векового труда, как видим, не способствует выяснению этого вопроса, а так как она была, кроме мнения сибиряка, единственным моим воспоминанием о положении «российского», то приходится и очерк этот окончить все-таки на том же нерешенном вопросе...

НЕВИДИМКИ

СЛЕПОЙ ПЕВЕЦ

(Из путевых заметок)

1

Едва только греховодник Купон прикоснется своею антихристовою печатью к тихой степной станице или к тихому черноземному селу на тихой реке и запечатлеет это прикосновение, бросив на тихом берегу пароходную пристань, а в привольной степи станцию или вокзал железной дороги, — так с той же минуты и в станице и в селе начинает твориться что-то никогда не бывалое, никому не известное и, главное, нечто такое, чему никак нельзя не повиноваться. Какая-то неведомая сила разламывает беленькие уютные домики, утопавшие в зелени тополей, и строит огромнейшие, столичного фасона дома; строит одно здание вслед за другим, без отдыха и остановки, наполняет эти здания гостиницами, огромными невиданными прежде магазинами, из которых как бы сами собой лезут и сами собой надеваются на всех, попросту одетых обывателей, новые, небывалые костюмы, пиджаки, визитки, всякие необыкновенные шляпы, турнюры. Неведомая сила, не говоря ни слова, не приказывая через полицию, начинает выгонять мирных жителей, проводивших тихие летние вечера за игрою в дурачки, в кафешантаны, в загородные сады, заставляет слушать шансонетки на непонятном языке, учит не стыдиться коротких, выше колен, юбок, выразительных движений акробатов и наездников цирка, и сразу, по щучьему веленью, гипнотизирует массы скромных и совершенно невинных девушек, дочерей местных обывателей, выгоняя их на новый промысел на новом тротуаре. Вчера одна из этих невинных девушек думала выйти замуж за дьячкова сына или за приказчика в овощ-

ной лавке, получающего три рубля; другая собиралась торговать калачами, а третья и ее подруга совсем было решили идти в монастырь. Но пришел антихрист, изумил тысячами неожиданностей, прервал и уничтожил все мысли, воспитанные исконною жизнью, в тихой семье тихой станицы, тихого села, и, оставив без своих мыслей, «внушил» страх «пропа́сть», живя с пустыми руками, осрамил простой самодельный наряд, осрамил наивные мечты быть счастливой с приказчиком, с дьячковым сыном и вытащил, почти без сопротивления, точно виноватых в невежестве и бедности, в сады, в «шантаны», на гулянья, в номера, закабалил одежой, шляпкой, зонтиком, ботинком с каблучком.

Такого рода последствия прикосновения антихристовой печати к тихим уголкам русской земли большею частью приветствуются людьми безразличного образа мыслей о себе и ближнем, как радостные события, как благодатный дождь, оросивший пустынные места и пробудивший в них жизнь; но в ком есть капля чувства, чтобы ощущать в делах человеческих разницу между «медом и дегтем», между добром и злом, тому нельзя, без ощущения кровного огорчения, равнодушно смотреть на эти внезапные, мгновенные процветания наших тихих сел, тихих станиц. Приглядевшись и притерпевшись на своем веку ко всяким жестокостям жизни и даже привыкнув немалое количество их почитать «неизбежными фазисами», я все-таки не мог не испытать, при виде этих внезапных процветаний, того самого ощущения, которое иногда выносилось с кладбища, где только что зарыли милого и симпатичного человека. Два года тому назад он, милый человек, был жив, сидел, веселый и здоровый, под этим окном, любовался вечером и тополем; сидел он в одной рубахе, распоясанный, и от жары был даже босиком, но, главное, он был прост, добр, весел и, еще главнее, был жив. А теперь он одет, застегнут, обрит, причесан, но уже мертв, бледен, с истощенным лицом, хотя и в красивом, глазетовом, позолоченном гробу.

Хорошо, весело было проехать по грунтовым дорогам Кубанской области, когда еще «чугунка» только строилась и только еще носились слухи, что она «когда-то будет». Что́ будет после этого, никто не знал, да и не думал об этом. Овощный приказчик вполне еще верил в свой пред-

стоящий брак, и невеста его терпеливо ждала того дня, когда ее жених наживет пятнадцать рублей, чтобы заплатить за свадьбу. Тихо тянулись светлые, несуетливые дни; солнце не спеша шло по небу целый божий день; не торопилось оно и начинало садиться лишь тогда, когда уже видело, что стала позевывать вся Кубанская область. Для шутливого разговора, от которого даже и в стариках играла жизнь, времени хватало ничуть не меньше, чем на работу. Но прошло два года, припечатал антихрист к «тихому месту» шумный вокзал, и вся эта благодать пошла прахом. За огромными зданиями пропала древняя станичная церковка; ранний, до заутрени, унылый, тревожный, пронзительный свист паровика поглотил скромные, редкие, осторожные звуки колокола, начинавшего призывом к «заутрене» тихий станичный день; пропала мягкая дорога, и каждое колесо затрещало, загремело по каменной мостовой; суета, огни, суматоха встречных и поперечных пиджаков, шляп, турнюров, зонтиков. Суматоха без разговоров, молчаливая, деловая; молчаливая, скучная, задумчивая, обремененная антихристовыми печалями толпа, снующая по гуляньям, бульварам, циркам, снующая под звуки скрипок, духовых инструментов, под хлопанье турецкого барабана, который как будто всеми силами старается растолкать этот удрученный антихристовою печатью народ. Нет, это уже гроб глазетовый, обитый серебряною парчой, и в нем уже не живой, хотя и разукрашенный, покойник.

2

В таком новоявленном, внезапно процветшем городе Кубанской области пришлось мне года два тому назад прожить целую неделю. Перед этим я был в нем еще двумя годами раньше, и хотя в нем и тогда были уже заметны кое-какие следы пришествия антихриста (новая гостиница, какая-то панорама и лотерея), но все это было еще в самом слабом намеке и вовсе не мешало вполне ясно ощущать и видеть жизнь большой, обильной довольством станицы, тихого, простого, ленивого, но не купленного и не проданного уголка. Несказанно поражен был я блеском глазетового гроба, когда заглянул сюда еще через

два года после первого посещения: степной город, то есть большая, богатая станица, был уже припечатан антихристом к новороссийской железной дороге, чрез станцию Тихорецкую был уже скован рельсовыми железными объятиями со всею Россией, а чрез Черное море и Новороссийский порт — со всем белым светом. Он уже присосался ко всему белому свету, и белый свет присосался к нему. И уже жадно пьют они друг из друга «свеженькую кровушку».

Не будь у меня самой настоятельной необходимости прожить в этом городе неделю, и не имей я в это время работы, которая приковывала меня к столу и почти не выпускала из номера новой гостиницы, — я не знаю, как бы я пережил эту неделю тоски при виде преобразованной в город станицы и тихой станичной *жизни* в шумную, трескучую городскую суету сует. Но хотя обязательная работа и держала меня почти постоянно в номере гостиницы у стола и у пера, все-таки нельзя было не выходить на улицу. Палящий июльский зной раза три, а то и четыре в день непременно выгонял меня на Кубань в купальню, и тогда я волей-неволей должен был видеть реформированную Купоном жизнь нового города. Путь мой из гостиницы на Кубань лежал по большой улице, мимо училища и собора, мимо целого ряда новеньких с иголочки магазинов, кондитерских, контор нотариусов, мимо вывесок ссудных касс, зубных врачей, парикмахерских и т. д., вплоть до третьего перекрестка, обогнув который я уже шел до Кубани по прямой линии, мимо большой базарной площади, бывшей в это время положительно человеческим рынком.

В особенности было многое множество станичных молодых женщин и девушек (старух ведь не берут на работу), которых всякого рода «арендатели» буквально расхватывали целыми толпами на полевые работы. В это время во всех направлениях дорог, идущих к Темрюку, к Крымской станице и за Кубанью, постоянно мчались фуры и всякого рода повозки, нагруженные этим живым товаром; человек по восьми, по десяти молодых женщин и девушек сидят, свесив голые ноги по бокам фуры, и иногда песни поют, а иногда молчат, точно бараны, которых везут на продажу и которые не понимают, что̀ с ними делают. Огромное количество их везут на табач-


ЛѢБЪ

ные плантации, огромное количество их поглощает Ростов на табачных фабриках, огромное количество их, тысячами, моет в Дону овечью шерсть. Все это приходит полное цветущего здоровья, приносит с собой детскую способность придавать труду оттенок простой, изящной, радостной игры, но как все это гибнет, как все это истаптывается под ногами Купона, как все это рвется в клочья! Одни рассказы о пришлых и уже отведавших благ Купона рабочих, о том, что творится с этими молодыми женщинами на одних только табачных плантациях, которые мне пришлось слышать, производят непередаваемое словами, кровное огорчение; и ведь с детским весельем, даже, пожалуй, с песнями, постепенно только замирающими, гибнут они. Сколько молодой, живой силы, могучего здоровья чувствуешь, бывало, в этой сплошной массе молодого рабочего народа, пробиваясь сквозь их плотные ряды (они теснятся около какого-нибудь «арендателя») по дороге в купальню. Ранним утром их бывало на базаре буквально видимо-невидимо. Точно из бани жарко натопленной выйдешь, выбравшись из океана этой продающейся, живой человеческой силы, и тут же, на каждом шагу, видишь, как эта сила выматывается из человека.

Вся правая сторона базара застроена новыми домами, переполненными всякого рода питейными заведениями; портерная сменяется кабаком, кабак — трактиром без машины, а этот последний сменился огромным вертепом, с неустанно ревущим оркестрионом, конечно, дешевого изделия. Во всякое время дня, особливо в самые ранние часы, в часы похмелья «после вчерашнего», а вечером, после оконченной работы, для похмелья завтрашнего, — все эти пьяные места бывали переполнены народом обоего пола и всякого возраста; в окна, открытые от жары, духоты, трактирного кухонного смрада, видны были толпы рабочего народа, кучами облипавшего крошечные трактирные столики. Город «процветал» не по дням, а по часам, строился, красился, прифранчивался на все манеры, и рабочий народ валил сюда тысячными толпами. Пьяного народа, горланящего песни или беспомощно склонившегося над столом, свесившего голову за спинку стула, как из мужчин, так и из женщин, даже из самых юных девушек, всегда было во всех этих заведениях множество. Пришлый народ зарабатывал и пропивал, входил

в случайные связи, совращал и сам совращался с пути. Много всякого безобразия приходилось мне видеть в открытые окна заведений каждый раз, когда я шел на Кубань, и под конец моего пребывания положительно едва мог переносить эти ревущие звуки органов, эти уханья барабана, медного скрежета органных тарелок, аккомпанировавших угасанию живой силы в сивухе и в грубом распутстве.

Наконец, слава богу, настал день отъезда. Поезд отходил днем; часа за полтора до отъезда я заглянул на почту и в первый раз в течение недели имел случай пройти по городу необычным для меня путем. Возвращался я через базар, но уже с противоположного конца, и должен был перейти его весь и поперек. В этом конце звуки неистовствовавшего органа были почти совершенно не слышны; по временам только едва-едва слышалось его гуденье и только в таких случаях, когда в нем сразу занеистовствует очень уж много инструментов. Но среди непривычной тишины, в этом углу базара неожиданно стали слышаться откуда-то какие-то иные звуки, унылые и трогательные. Они так были неожиданны, после пьяного кабацкого рева и грохота трактирных машин, что я невольно остановился и прислушался. Звуки ясно доносились до меня и ясно напоминали звуки церковного органа. Что-то глубоко одолевающее душу горькою печалью слышалось в них, хотя они были как-то отрывочны и, прозвучав, растрогав, замолкали на несколько мгновений. Скоро я уловил тот пункт, откуда они доносились, и пошел по их направлению. Огромная толпа народа окружала то место, откуда они шли и слышались все яснее и яснее, но, к сожалению, замолкли в то время, когда я стал торопливо проталкиваться опять сквозь ту же горячую, сплошную массу человеческих тел.

3

Звуки замолкли, толпа замерла в благоговейном молчании, и я увидел следующее: прямо на земле, то есть на толстом слое навоза, стоял, покосившись набок, старый-престарый гармониум. От дождей, от ветхости он был самого жалкого вида; задняя часть для защиты механизма от пыли была кое-как завешена грязным лоскутком пест-

рой фланели, по-видимому вырезанной из женской юбки; какое-то дорогое дерево, которым был когда-то отделан инструмент, местами было совершенно ободрано, а местами вздулось пузырями и уже лопнуло. Подвижные бронзовые подсвечники были отломлены, а наверху инструмента стояла деревянная чашка, точь-в-точь такая, какую протягивают прохожему, прося подаяния, слепые нищие.

За этим жалким инструментом сидел слепой человек, полный, как бы отекший, слегка рябой. Куча густых черных волос, топорщась на затылке, закрывала весь его лоб. Песок густо напитался в эти густые волосы, густо покрывал инструмент и весь нищенский костюм (рваный пиджак и грязную рубаху с расстегнутым воротом) слепца. Он сидел на старом, мягком, но тоже совершенно оборванном кресле и, повидимому отдыхая, нюхал из тавлинки табак. Несмотря на его впалые, мертвые глаза, лицо его не носило отпечатка горя или несчастья, напротив, оно было самое добродушное, веселое, даже до того веселое, что ослабляло те впечатления печали, которые доносились от места, где был слепец и его гармониум. Он как бы не замечал, что он слеп, и, повертывая в жирных, коротких, хотя, признаться, грязных-прегрязных пальцах свою березовую тавлинку, разговаривал с народом всегда с легкою улыбкой на губах.

А к нему подходили из толпы разные люди довольно часто.

— Отпойте, будьте милостивы, нашей Корсунской! — робко, почти шопотом, просит старенький крестьянин, подходя к гармониуму без шапки и кладя в деревянную чашку пятак.

— «Заступница усердная»? — спрашивает слепец, поворачивая лицо как раз в ту сторону, где шепчет крестьянин, и уничтожая этою чуткостью слуха всякую тень неприятного впечатления его слепоты.

— Уж будьте добры, нашей Корсунской! Не прочим каким...

— Прочих, душа моя, никаких нет! — поплотней привалившись спиной к креслу и понюхивая табак, уж прямо с улыбкой, добродушнейшим голосом, начинает он рассуждать. — Есть это у вас упрямство: то Корсунской, то Почаевской, то Владимирской... Упорство этакое, чтобы «нашей»!.. Отпой «нашей», а не чужой!

Слышатся в толпе какие-то голоса и возражения, но сразу их не поймешь.

— Никаких «прочих» нет, а есть одна владычица богородица! Одна! В тысячах местах она являлась, а все одна, и во всех местах ей одна похвала. «Заступница усердная, мати господа вышнего!..» И нет ничего больше... «Нашей!..» Одна она владычица!

Слепец крепко понюхал и отер нос скомканным платком непостижимого цвета.

— Ну, пущай уж! Отпойте хошь!

— Вот так бы и надо!

Слепец потер нос и прибавил:

— Отпою! Очереди надо погодить. Раньше псалом просили...

Во время этого разговора из толпы постоянно выходили крестьяне, казаки, мужчины, женщины и клали деньги в чашку. Один высокий русский мужик, плотник, с инструментами и мешком за спиной, поспешно проходя мимо толпы и слыша разговор о божественном, оглядел все это, минуту пораздумал, потом, быстро сняв шапку, перекрестился, проворно вынул из кошелька две копейки, положил их в чашку и, взяв оттуда копейку сдачи, поспешно пошел «по своим делам». Деньги каждую минуту звякали в чашку, каждую минуту люди подходили и просили отпеть либо то, либо другое («Упокой, господи, душу раба твоего...» и пр.), а слепец сидел, поигрывал табакеркой, очевидно ясно ощущая каждый звук копейки, падающей в чашку, и, повидимому, вовсе не скучно себя чувствовал.

Из среды обыкновенной массы рабочих и деревенских людей, которые толпились около слепца, иной раз выделялись какие-то странные личности бродяжного, бесприютного типа, доказывая постороннему наблюдателю, как много в народе этих странствующих оригиналов и как мало мы знаем наш народ, понимая его только как земледельца. Неожиданно подошел из толпы какой-то рослый детина; блестящие, возбужденные, как у дервиша, глаза, раскрытая, опаленная солнцем грудь, нищенский костюм, меховая рыжая шапка и какие-то сумки, повешенные через оба плеча справа и слева, и, наконец, длинный, в рост человека, посох, — все это говорило, что человек этот

какой-то фанатик скитальчества, беспокойный искатель чего-то, а пожалуй, и проповедник.

Последнее подтвердилось очень скоро. Протолкавшись сквозь толпу, он протянул слепцу руку, на которой не было двух пальцев, и сказал нервно и торопливо:

— Возьми руку-то! .. Пощупай! .. Что? узнал?

Слепой несколько секунд молча ощупывал руку и вдруг, как будто что-то вспомнив, весь просиял и с юношескою улыбкой обернулся в сторону странника.

— А-а-а! Кузнецов? Ты, что ли?

— Я, я, я, Кузнецов! Вспомнил?

— Как не вспомнить! .. Ну, как же ты? Откуда? Куда?

Но пока слепой говорил это, Кузнецов уже кричал ему:

— Не говори! Не спрашивай! Нельзя нам при народе болтать! Понимаешь? Одно — всем укажу пути! Всем пути укажу! Молчи, не разговаривай! Понимаешь?

Кузнецов вырвал у слепца руку и рванулся к толпе, а слепой опять понюхал табаку, тихо рассмеялся и, слегка повернув голову в ту сторону, где он ощущал присутствие Кузнецова, смешливым тоном сказал ему:

— Эх, Кузнецов, Кузнецов! . Всё ты, я вижу... пути всё у тебя! Уж ежели мы с тобой пути будем показывать, так все, брат, от нас разбегутся! Пути!

И слепой засмеялся, но Кузнецов попрежнему, еще не дослушав его слов, опять кричал:

— Молчи, молчи! не говори! Укажу, укажу пути! Оставь! Прощай!

— Ай идешь?

— Иду, прощай! Спаси тебя Христос! Укажу!

— Ну, с богом!

Слепой еще раз со смешком сказал: «пути!», затем протянул руку к чашке, ссыпал из нее деньги в горсть и положил в карман; потом торопливо понюхал табаку, отер нос с тем же приемом и, подвинувшись с креслом немного вперед, спросил толпу:

— Кто желал «Помилуй мя боже»?

После незначительного молчания какой-то мужичок выделился из толпы и почти шопотом сказал:

Мы.

— Ну вот, извольте.

4

Слепой придвинулся с креслом к инструменту, протянул руки к клавишам, низко нагнулся над ними, и в ту же минуту лицо его приняло умное, даже глубоко умное выражение. Тихим речитативом, тихим и мягким тенором, он не пропел, а с глубоким чувством произнес медленно, вразумительно первый стих псалма: «Помилуй мя, боже, помилуй мя!»

Осторожное прикосновение к клавишам, двумя, тремя тягучими скорбными нотами, придало этому покаянному вздоху рыдающее выражение, — и толпа была сразу взята этими звуками «за душу», «за живое». Приходилось мне бывать на богослужениях в католических соборах за границей, в Париже, Кельне; сравнивать музыку церковных органов с музыкой ветхого гармониума на базарной площади, конечно, было бы делом «неуместным», но мне кажется, что в речитативах и музыке базарного певца было одно несомненное достоинство: речитативы его возбуждали в толпе *понятные* ей душевные муки и скорби, прямо проникали в душу, в совесть слушающей толпы; в речитативах слепца звуки только усиливали смысл и значение, как бы пересказываемых им, душевных терзаний псалмопевца. Красота, сила и могущество *звуков* органа и хора поглощают простой и трогательный смысл *слова,* выраженного в духовной песне. Эти звуки органа и хора волнуют, потрясают, то радуют, то разжалобливают, но действуют, главным образом, только на нервы слушателя, волнуя их неясно сознанным, хотя и могущественным впечатлением. Великолепный архиерейский хор в нашем православном кафедральном соборе также потрясает только нервы слушателей, стремясь к тому, чтобы в сильные моменты религиозного пения громокипящими звуками был переполнен весь огромный храм, вплоть до самой дальней глубины всех четырех куполов. «Хорошо!» — говорят знатоки хорового пения, когда дьякон сумеет расколоть своим многолетием несколько аршинных стекол в окнах собора. И точно хорошо, даже, как выражаются любители, «любо-два».

Но все это ничто сравнительно с вразумительным, задушевным пересказом внятными, *понятными* каждому живому человеку словами, который сразу захватил за

душу всю толпу простого народа, как только слепец произнес первое слово и усилил его осторожным, в меру взятым, простым, подходящим к смыслу слова звуком своего полугнилого гармониума.

Омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня...
Беззакония мои я сознаю и грех мой всегда пред тобою...
Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя...

Когда, при каких условиях русский простой человек, этот вечный недоимщик, неплательщик, этот постоянный разрушитель доверия к России крупных финансовых фирм, постоянный напоминатель всему отечеству о предстоящих неурожаях, засухах, голодовках, когда это существо, с представлением о котором всегда мерещится какое-то и чего-то разорение, изможденне, непосильное растрачивание сил, питаемых мякиной, древесною корой, — когда и при каких наилучших обстоятельствах своей жизни могло бы это существо хоть только ознакомиться с ощущением своего личного падения, греха, личного страдания, личною скорбью о самом себе? Тот же псалом весь век бормотал ему сельский приходский дьячок, также в недалеком от него расстоянии — с клироса и также с целью наполнить звуками «кумпол» сельской церкви. О покаянии во грехах и батюшка напоминал перед великим постом с амвона. И каяться ходил всякий из этой блуждающей по лицу земли русской толпы простого народа, плетущегося за куском хлеба, за пропитанием для своего семейства... Но никогда никто из всей этой темной, удрученной куском хлеба массы не ощущал самого себя и не задумывался над самим собою, над своею совестью, над своею душой в таких огромных, неожиданных размерах, как это заставил его невольно ощутить простой, задушевный, выразительный пересказ базарным музыкантом понятных всякому живому человеку слов о понятных человеческих грехах и скорбях.

Слова, исходящие из страдающей души человеческой и проникающие в такую же страдающую душу, которая никогда не придавала им никакого значения, да и теперь лишь ощущает только то, что затронуто что-то горькое в душе, — эти слова на неизмеримо далекое расстояние унесли все мысли толпы от ее ежеминутной, вековечной трудовой маяты. Толпа вся состояла из тех же самых

трактирных и кабачных, опухших или истощенных рабочих, привлеченных «процветанием» когда-то тихого и чистого места. Крестьяне, казаки, женщины, продающиеся на плантации и на разные полевые работы, — словом, всё был тот самый народ, которого всякий видит не иначе, как живущим под властью каких-то суетных забот, тревог, огорчений и вообще не светлых, не широких мыслей. И вся эта масса ординарных, иногда ничего не внушающих лиц, или внушающих только тяжкие мысли и ощущения, была поистине неузнаваема. На опухших, кабачных лицах легли черты детской слезливости, а у иного тряслась голова и из тусклых глаз падали слезы куда ни попало. Слышались глубокие вздохи, иногда всхлипывания, и вообще вся толпа превратилась в скорбящего человека, человека с сокрушенным сердцем, совсем не похожего на ту человеческую силу, которая бесцельно тратит себя в лошадином труде и в смрадном кабаке.

Нет! нигде, ни на базаре, ни на черной работе, ни в кабаке, никогда не забирала такая горькая тоска о самом себе, какая забрала толпу словами и звуками базарного певца и базарного инструмента. Слова и звуки, до мельчайших подробностей, слушались всею толпой и среди ненарушимой тишины. Солнце ярко и внимательно смотрело на этих крепко задумавшихся людей, и они без шапок, с вспотевшими головами, с огорченными лицами, жадно припадали своими сокрушенными сердцами к простым, но «за живое», «за душу» берущим словам:

Возврати мне радость спасения твоего!

5

Быстро мчался поезд, убегая от процветающего города и направляясь к станции Тихорецкой, но я расставался с ним далеко не с тем удовольствием, которое ощущал несколько часов тому назад, при приближении минуты отъезда. Теперь я бы охотно остался в этом городе еще на целую неделю, лишь бы мне хорошенько разузнать подробности о слепом базарном певце и музыканте, ближе сойтись с ним, познакомиться, послушать его рассказы о том, что видел он на своем веку. Но нельзя было остаться ни минуты, и я волей-неволей должен был отка-

заться от истинного удовольствия хотя бы еще раз видеть и слышать этого человека. Однако желание все-таки хоть что-нибудь и от кого-нибудь узнать о нем не покидало меня и в дороге. Не раз я обращался с вопросами к моим соседям, пассажирам третьего класса, все людям простым, большею частью чернорабочим, прохожим и перехожим людям, полагая, что если им известны базарные кабаки и базар вообще, то не может быть неизвестен и базарный певец.

Почти все до единого, к кому я ни обращался, знали его, слышали, все были растроганы его псалмами, все хвалили, но никто ничего более обстоятельного о нем не знал. Раза два я пересаживался и перетаскивал мой дорожный мешок из вагона в вагон, входил в знакомства с новыми проезжими новых вагонов, но все было безуспешно; наконец, уже под самою Тихорецкою станцией, на мое счастье, попались мне преприятные собеседники. Это были наши великороссийские мужики, переезжавшие на заработки на другую половину Северного Кавказа, к Ставрополю, так как в «этих местах» дюже много «набило» народу со всех концов России.

Все они знали певца и все хвалили.

— Уж чего лучше! Уж разжалобит, так разжалобит! Уж нечего сказать!

— Хорошо, одно слово, хорошо! И везде он, по всем станицам, по ярмаркам ездит, и везде его почитают!

— В наших местах и не слыхивано, чтобы этак-то божественное петь!

— Так тебя слезой и прошибает!

— Кто ж он такой? — спросил я, вдоволь наслушавшись искреннейших похвал.

— А бог его знает! Звать-то его Семен Васильевич... в Киеве, вишь, в монастыре, монах его, слепого, научил музыке-то... А так, чтобы толком сказать, нет, этого не знаем.

— Хочешь знать, кто таков Семен Васильев? — громко и храбро провозгласил какой-то мастеровой из железнодорожных. Развязный парень, в картузе набекрень, заняв ногами два передних места, сидел у окна на противоположной от нас стороне и крутил папироску из газетной бумаги.

— Коли знаешь, так скажи.

— Адвокат! вот кто Семен-то Васильев!

— Слепой-то? — в изумлении спросили мужики, да и я не мог не воскликнуть:

— Как? Этот слепой и певец — адвокат? как же может это быть?

— Очень просто! Примал дела, решал по законам!

— Слепой?

— Окончательно!

— Верно, верно! — подтвердил слова мастерового новый собеседник, по внешности мелкий торговец. — Верно! Действительно, был когда-то... занимался. Теперича он оставил это занятие, а года два тому назад очень много делов делал.

— А как же он мог делать это?

— А очень просто: были у него законы, книги... И вот он заставлял читать их свою жену; она читает, а он запоминает... А когда вытвердил, так приказал жене сделать с боку книги обрез. Как какая часть оканчивается, так она и вырежет... Так оно, если сбоку смотреть, ступеньками вышло. И он щупом знал, на каком вырезе надо отвернуть и по какому делу какой вырез... Покажет жене пальцем, на каком месте надо книгу открыть, и заставит ее читать закон. «Читай мне статью такую-то», — ну, та и читает, а потом пишет, что он приказывает, и бумаги за него подает.

— Да кому же охота идти к слепому, когда есть настоящие, зрячие адвокаты?

— Э-э-э! господин, разве мало тут темного народу-то по Кавказу ходит? Пришлый он, темный, ничего не знает, где ему адвоката искать? Он и так-то путается, как во тьме кромешной. Здесь его, пришлого-то, иногороднего, любят теребить. Там отдадут в аренду, деньги возьмут и гонят, а иной, недобрый, мало прогнать, еще и взыскивает... И условие написать на аренду земли, и от напрасного взыска вывернуться. Мало ли делов! Темный, несведущий человек, как паутиной, ими опутан. Тут и слепому будешь рад-радехонек, только бы заступился.

— А заступался?

— А как же? Прежде оченно его хвалили... Все подробно рассудит, расспросит, бумагу напишет, укажет, к кому идти. Посоветует, хорошо посоветует! Хвалили!

— И деньгу тоже хорошую наживал! — развязно при-

совокупил мастеровой. — Огребал, можно сказать, деньгу-то!

— Ну уж и огребал! Тоже, язык-то у тебя как обух молотит! Откуда ему огребать-то?

— И не токмо огребал, а и под проценты пущал, вот что, ежели тебе угодно знать! Да! под заклады давал! Понимаешь? чуешь? Под заклад!

— Нет, почтенный, это не он. Это, ежели сказать правду, женино дело! Действительно, очень может быть. Но только это женино дело... Она тоже тонко дела понимала и много помогала мужу. Теперь вот он без нее-то как без рук!

— Умерла? — спросил я.

— Умереть не умерла, только время провела! — опять провозгласил мастеровой.

— Рассталась, то есть, — объяснил мелкий торговец.

— Ра-зо-шлась! — иронически произнес мастеровой.— Подобрала деньжонки, да и удрала, с богом по морозцу. Ловкая дама! Умерла очень приятно!

— Действительно, надо сказать, скрылась она, — объяснил мне торговец, — неизвестно где находится... Вот, как она ушла-то, ему уж пришлось дела-то судейские бросить. Куда! И много по этому случаю огорчается на него народу. Где какие бумаги, не знает, сам сыскать не может. Много убытку натворил!.. Напутал!.. А то, бывало, день псалмы поет, а после обеда по судебным делам принимает. Ну, теперича ему осталось только что петь, да инструмент... вот все его имущество.

— Что ж, хорошо, хорошо поет! Дай бог ему здоровья! Хорошо!

— Этого уж не отнять! Камень, и тот заплачет.

И опять много-много хвалили слепого певца.

— А что, ребята, чудится мне, будто иной раз, во псалме-то, словно бы и не по нашему вкусу поется?

Это проговорил новый собеседник, молодой плечистый парень, все время слушавший разговоры молча, пожевывая белый хлеб. Парень был рослый, сильный и с добродушным лицом, но в его глазах, маленьких и бледнозеленоватых или бледносероватых, был какой-то нездоровый блеск и какая-то неподвижность выражения. Не то в них таилась скрытая, но острая злоба, не то до болезненности острое горе. Ел он не спеша, как будто лениво, но каза-

лось, что нервы его не так спокойны, как кажется с первого взгляда.

— В псалме-то не по твоему вкусу? — оборвал его мастеровой. — Очнись, прочухайся!

— Пра, не по-нашему! — сдержанно улыбаясь и вовсе не смущаясь окриком мастерового, говорил парень, не спеша продолжая жевать белый хлеб.

— А ты слухал, как слепой-то пел?

— Как не слухать! Плакал, не то что... В неделю-то раза по три от работы отрывался, даже стал все слова запоминать...

— Ну, так что же не по-твоему вышло?

— Оно, коли ежели взять, как человек кается, так хорошо. нечего говорить! Это в псалме хорошо! Вот я с перву-то началу эти слова-то и принимал к сердцу. Все мы грешные. Мы ведь какие анафемы-то? (острая черта не то злобы, не то душевного недуга мелькнула в глазах парня). Нешто нашему брату, ежели сказать по совести, можно вполне доверять? Когда перед арендателем-жидом тихоней притворяемся — есть тут правда? Норовишь сам его оплесть! Ведь на уме одно: только бы его-то оборудовать хорошенько, в дураках оставить! А бабе, случаем, не наплетешь разве всякого? Не обманешь?

— Нечего сказать! Хорош паренек! — нравоучительно проговорил мастеровой.

— Да и сам-то ты нешто так и не норовил оплесть человека, чтобы тебе лучше было?

— Оплесть — не оплетал, а охулки на руку не клал!

Слушатели рассмеялись, а мрачно настроенный парень продолжал:

— Вот так оно и есть по нашему-то вкусу! Виноват пред богом! Уж пойду каяться, так не к тебе, не к арендателю и не к бабе! Только к богу! Только он может меня помиловать... Распахнусь весь! Подлец я! Обманщик! С умыслом один глаз на грехи закрывал, будто не вижу! Прости меня все, кого я обидел и надул, — не легче мне от этого. Только бог, он может меня очувствовать... Перед ним — разорвусь! Ни пред кем так не откроюсь, только пред ним... Покаюсь из всех сил! Раздерусь, а с пустыми словами к нему не пойду!

— Чего? — совершенно не понимая, что говорит мужик, прищуриваясь, сболтнул мастеровой.

— Да, не пойду с пустяком к создателю! Ты сам не знаешь, отчего ты оподлел, очертел, — он знает! Перед ним надо только распахнуться! Всю нечисть-то оказать вполне! Вот, мол, сколько в меня нечисти нанесло! Как мне быть? А чтоб с умыслом подходить — это... уж мне не по вкусу!

— Хорош, хорош паренек! — иронизировал мастеровой. — Хорош!.. Оказывается, умеешь ты грехов на душу-то намотать!

— Да, брат! Много у меня грехов, много! И у тебя, поди, не мало?

— Ах ты, чудодей этакой! — снисходительно засмеялся мастеровой. — Болтает неведомо что! Так слепой-то не по вкусу пришелся?

— Нет, брат, по вкусу он мне! Дай бог ему здоровья! Призри его, господи, добро он нам делает! А не по вкусу мне, чтоб молиться с хитрым умыслом, это мне не по вкусу! За слезу-то и спасибо Семену Васильеву! Это дело доброе!

— Перед богом доброе дело!— подтвердили несколько голосов. — Что хорошо, то уж того отнять нельзя!

— Я и на работе плакивал с холоду, да с голоду, да со злу, — продолжал парень, — да не та была слеза!

В таких разговорах незаметно подошла и станция, и все мы разбрелись, кто куда.

6

Со дня этой неожиданной встречи со слепым базарным певцом, оказавшимся к тому же и крестьянским адвокатом, прошло уже три года; но пройдет и еще три, а мне кажется, что эта мимолетная встреча не изгладится из моей памяти. Ежедневная «газета» приносит нам десятки известий о многих невзгодах народа и о многих проектах мер, предпринимаемых к облегчению его изнурительной жизни. Но до крайности редко и на этих мелко-премелко напечатанных и длинных-предлинных столбцах слышатся слова, касающиеся духовных надобностей народа. Мы рады, благодарны, искренно ценим труды подвижников на пользу народного благосостояния, но не можем также не ценить и тех не имеющих определенного наименования,

звания, положения «невидимок», которые среди темных народных масс, из-за совести или просто из-за куска хлеба, удовлетворяют, как умеют, те требования духовной жизни народа, которым в расходных статьях всевозможных бюджетов не оказано решительно никакого внимания.

Не подвижники эти «невидимки», радетели о духовных надобностях народа, — это просто добрые люди или же, повторяю, люди простого расчета, куска хлеба; но в том и в другом случае — честь им и хвала — они умеют понять, что народная душа расстроена не менее народного кармана, и ощущают надобность прийти ей на помощь, откликнуться на ее заботы и печали. Семен Васильевич берет деньги за псалмы, но ведь и «гречаники» он бы мог отдернуть как следует для пьяных приказчиков, кутил купчиков и вообще для всяких веселых людей. Денег, конечно, эти веселые люди надавали бы ему гораздо больше, чем это могут сделать крестьяне и рабочие. Но почему-то он чувствует себя лучше и приятнее, когда вокруг него толпится душевно растревоженный, умиленный простой человек, дающий ему свои копейки от чистого сердца и — он знает это — «за дело». И если Семен Васильевич предпочитает трогать народ «за душу» не для веселья, а для пробуждения в ней скорби о самой себе, то, стало быть, кроме хлеба, у него есть и добрая мысль о меньшом брате, и, переезжая на волах из станицы в станицу, с ярмарки на ярмарку со своим инструментом и с табакеркой, он до некоторой степени сознательно заботится о пробуждении народной совести. Его нельзя не почитать наряду с теми «невидимками», радеющими о народной совести, которые, невидимо и непонятно для нас, делают в народе добрые дела несравненно большего размера.

РОДИОН РАДЕТЕЛЬ

1

Вспомним, что можем, о наших простых, русских, истинных, добрых, искренних радетелях о чистоте народной совести, борцах с народным невежеством и дикостью,

о людях, вносивших в темную народную среду хотя крошечный, но несомненно истинный свет.

Сижу я во время одной из моих поездок в пустом номере какой-то гостиницы, в каком-то городе, — не то на Каме, не то на Волге, не то на Оби, — и ожидаю утра, чтобы ехать куда-то, а куда именно, хорошенько уже не помню. В руках у меня старый номер «Губернских ведомостей», так как никакой иной газеты в гостинице не оказалось. В неофициальном отделе читаю я сказание об одной древней, чудотворной иконе, и в моем воображении рисуется такая картина.

2

Дело это было «в лето от миробытия 7393, а по р<ождестве> Христовом 1685 года маия в 22 день, при державе благоверных государей и великих князей Иоанна и Петра Алексеевичей, и при патриархе Адриане». В эти далекие от нас времена, в тех местах, которые в настоящее время лежат в Сольвычегодском уезде, были дремучие, темные леса, с разбросанными там и сям поселками. В диких местах проживал дикий народ, сохранивший множество языческих преданий и обычаев. Если в наши времена в Вятской губернии сохранился обычай весенних игрищ «между сел», так в такой глуши, да притом двести слишком лет назад, дикие языческие обычаи держались еще в полной силе, а постоянные связи с дремучим лесом, с диким и немилосердным зверьем, не способствовали смягчению нравов, внося во все бытовые отношения ничем не смиряемую грубость проявления животных инстинктов. Кое-где были бедные деревянные церковки, с священниками, жившими почти таким же крестьянским обычаем, как и само дикое лесное стадо, которое они пасли. Но что могли значить эти кое-где разбросанные церковки, когда «кабак» уже пробрался и в эти глухие места, пробрался со всеми своими антихристовыми влияниями, и не только кабак пробрался но и «чортово зелье — табак» уже знакомо было еще полудикому человеку. Можно представить, какое влияние эти новшества — чортово зелье и кабак — могли иметь на людей, в жизни которых господствовали еще, в самой сильной степени,

только одни инстинктивные побуждения? Очевидно, народишко спивался и безобразничал и от новшеских гнусностей и от языческих привычек и вообще «утопал во грехах». Болезни, смерти, скотские падежи и всякое расстройство шли параллельно успехам кабака, неразъединимого с чортовым зельем. Житье было темное, пьяное, распутное; непристойное слово гудело и в кабаках и в семьях, и все шло в этой жизни врозь, к худу и ко греху.

Но был среди всех этих погрязших во грехе «мужичонков» умный-преумный крестьянин по имени Родион. Он всею душой страдал и печалился обо всех своих гибнущих братиях, тосковал, явственно видел, как они все гневят бога, что бог грозится на них большим наказанием за все их животные безобразия, — знал, что нельзя оставить все эти гибнущие христианские души без помощи, что надобно спасать эти души, если видишь, что они погибают, что нельзя молчать и быть равнодушным ко всему этому, что недаром какой-то «невидимый глас» укоряет его и дни и ночи во грехах людей, среди которых он живет. Надобно спасать их от погибели. Ему дана эта печаль от бога, он не может ее отогнать от себя, и вот впечатлительный «Родион-земледелец» неотразимо чувствует, что ему пришло время исполнить божие повеление.

Ранним майским утром, на зорьке, меж кустов и высоких деревьев, по лесным тропинкам, шла вразброд, возвращаясь в деревню, нагулявшаяся за ночь «между сел» дикообразная толпа мужиков и баб. По тамошним местам май месяц — начало весны, первые дни весеннего тепла, самое время разыграться нечестивым мужичонкам. И вот шли растрепанные, иногда в разорванных платках, с изорванными сарафанами бабы; шли они кустами, словно стыдились мужиков, хотя поминутно и выглядывали оттуда и голосами бабьими пищали, а у иной бесстыжей даже еще охота не пропала и песни петь: вдруг захлопает в ладоши, заведет голосом, только прочие изо всех кустов, из разных глухих мест загалдят на нее, осмеют. Мужики плелись с одурелыми лицами, хоть и из них были неугомонные и сильно еще одурманенные сивухой. Солнце начинало всходить; яркий, понизу, меж кустов и деревьев промелькнувший луч говорил, что

начинается белый день, и как бы стыдил распутную толпу.

— Братцы! — воскликнул один из распутников, еле волочивший ноги, — а ведь это Родион лежит! Никак помер!

Родион, бездыханный, со сложенными на груди руками, недвижимо, как покойник, лежал при дороге. Лежал на спине, с вытянутыми ногами, обутыми в лапти; шапка валялась в стороне. Как вкопанный остановился около Родиона один из распутников и стоял как пень, а за ним стали останавливаться и другие, и из лесу стали выходить и приближаться к мужикам разгульные зверьки — бабенки и девки. Все это сходилось и скапливалось около бездыханного Родиона, и стояла толпа, пораженная его смертью. Одна уже смерть Родиона отшибла у толпы все ее нечистые мысли. Родион не похож был на них ни в чем; давно он им грозился, сулил что-то, твердил о боге, да не слушала его зверообразная толпа. И вот он скончался и лежит с таким праведным лицом... Наверное, ангелов божиих видит!

— По-ме-р! — шопотом, на какой способны медведи, передавалось из уст в уста, и толпа продолжала стоять, заражаясь совсем иными мыслями, чем те, с которыми шла домой после игрища.

И вдруг бездыханный Родион, оставаясь бездыханным, медленно поднял мертвую руку, вытянул ее вверх и медленно опустил на лоб, потом на грудь, словом, осенил себя большим крестом, и продолжал лежать бездыханно. Эта неожиданность совсем преобразила настроение толпы: перед ней совершается что-то чудесное, невиданное, что-то имеющее связь с небесами, которые Родион, очевидно, видит: душа у него там, на небесах, у бога, а здесь, на земле, лежит только тело. Говорено было об этом зверообразным дуботолкам, что есть тут большая разница, не хотели вникнуть, а теперь вот явное дело — ушла душа на небо, она у бога, в раю, а здесь только тело, и, стало быть, надобно за душу-то побаиваться! Все распутные мысли исчезли в толпе, как дым, и у всех в воображении были небеса, ангелы, бог, сияние и золотые ризы угодников. Орда зверообразного народа затихла, «перепужалась» близости суровых взглядов бога, которые она теперь явственно ощущала на своей шкуре, даже

прямо на самом темени, и каждый ясно слышал, как у каждого и во всей толпе мужиков и баб колотит, как молотком, испуганное сердце.

В эту минуту Родион открыл глаза, и хотя происшествие происходило двести лет тому назад, но я, сидя с газетой в гостинице уже в наши дни, во второй половине девятнадцатого века, несмотря на огромное расстояние времени, разделявшее меня от Родиона, как будто мельком приметил, что Родион был все время не совсем бездыханен и что у него как будто бы по временам шевелилось что-то в глазу, точно он хотел посмотреть, каково-то настроение распутной орды людей, и лежал, ожидая, пока орда окончательно преобразится в своем распутном настроении, испугается греха, почувствует страх наказания, и вообще когда у этих истуканов начнут, наконец, трястись даже поджилки. Очень может быть, что я делаю на Родиона недобросовестный поклеп, и каюсь в этом; но несомненно то, что Родион открыл глаза именно в ту самую минуту, не пропустив лишнего мгновения, когда волки, разбредавшиеся с игрища, превратились, душевно, в самое кроткое стадо овец.

— Жив! — не медвежьим шопотом, а шелестом листьев прошелестела эта весть по всей толпе из конца в конец, не раз и не два.

Родион хоть и ожил, но продолжал лежать, крестился широким, медленным крестом и шептал так, что все слышали: «Пресвятая владычица богородица, спаси нас! Спаси нас, пресвятая богородица! . .» Толпа с каждою минутой становилась чувствительней, нежней, предчувствуя, что с Родионом совершилось что-то чудесное; иные стали бережно подходить к нему, помогая оправиться, встать на ноги, подняли и надели шапку, и все время Родион, как бы пораженный чем-то необычайным, ни на кого не глядя и весь поглощенный какою-то страшною мыслью, не переставал креститься и шептать: «Пресвятая богородица, спаси нас!» Наконец он как будто что-то вспомнил, оживился, взгляд его прояснел, засверкал каким-то гневным выражением, и он твердо сказал толпе:

— Все идите за мной! Несу вам повеления пресвятыя богородицы! Все за мной идите!

Толпа, которая разбрелась бы по разным мелким поселкам, хлынула за ним как один человек. Родион шел

без шапки, вперед всех, постоянно крестился и громко говорил: «Пресвятая богородица, спаси нас!» А за ним стала также повторять этот возглас и вся масса народа. Чем дальше шли, тем шли скорее, тем более все возбуждались, и скоро вся масса народу ввалила в село Рождественское, стоявшее невдалеке от места воскресения Родиона.

— В церковь божию! — командовал Родион. — Бей в колокол! Беги за священником!

Удар в колокол, как набат, всполошил все полусонное село. Священник не успел расчесать свои спутанные волосы и бороду, хотя и взялся уже было за деревянную гребенку таких размеров, о каких теперь не имеют уже понятия, выскочил спросонок в чем был и, без шапки, в лаптях, бросился к деревянной и бедной церковке. Возбужденный чем-то неожиданным и грозным, греховодник-парень дул в колокол без милосердия. Только что поднявшееся солнце, понизу, широкими ослепительными лучами освещало улицу, кишащую полураздетым, лохматым, босым народом. Все это в испуге валило к церкви, затем вломилось внутрь храма и с биением сердца, в мертвом молчании, ожидало, что будет. Священник в тревоге облачился в старую рясу, которая была у него в алтаре, в испуге вошел на амвон и в испуге спросил толпу:

— Господи, помилуй нас! Что приключилось? Не несчастие ли какое?

— От пресвятыя богородицы принес я, Родивон, объявление всему крестьянству! Сама пречистая повелела мне: «Иди в Рождествено и скажи священству и мирским людям, что я тебе повелела!» Не свои слова говорю, а по повелению пречистой божией матери!

Родион сказал это так твердо и был в таком восторженном состоянии, что никто не сомневался ни в одном его слове. Священник волновался, дрожал и едва мог сказать Родиону:

— Поднимись на ступеньку, повыше, слышней будет!

И, бледный, крестился и шептал молитвы, да и вся церковь крестилась и шептала молитвы.

— Пошел я третьеводни в лес, понадобилось леску для работы, и шел таким родом долго и зашел в наш большой дремучий лес,— начал Родион свой рассказ. — Был я задумавшись о грехах наших и крепко преогорчился

нашими мирскими непотребствами! Забывши дело, иду в чаще, ни на что не взираю. И вдруг меня как лютым холодом обдало; содрогнулся я, опомнился и вижу: несутся на меня по тропинке пренеобыкновенные изуверы и зверь промежду них. Несутся как вихорь двое истуканов. Не то они люди, не то неведомо что, — длинные, как деревья, и лица страшенные-престрашенные. Были ли у них ноги и руки, не в примету мне было; а что огромные, глазастые и рты у них огромные, это видел; и видел еще, что волосищи у них длинные, от маковки до земи и еще по земи хлещутся. Но только один из истуканов красный весь от маковки до земи, а другой весь черный, и промежду них «нижѐ зверь, нижѐ скотина, четвероногое». Как бурун нанеслись на меня, и возопил я в страхе: «Кто вы?» — а они уж обогнали меня, на мой оклик обернули свои страшные хари, разинули рты и стали рычать: рыгнул черный — точно дуб столетний переломил в щепки, потом красный рыгнул — еще того страшней; а потом четвероногое обернулось и понизу такое рычание пустило, что притиснулся я со страху к дереву и не могу отойтить. И след их простыл, а рычали они еще долго, и так страшно, что как бы окаменел я и мертв стал. Прижался к дереву и стою бездыханно.

Бездыханно стояла и вся толпа народа, наполнявшего церковь.

— Прижался я к дереву и, будучи в страхе и ужасе недвижим, замечаю в дремучем лесу свет белый как снег и вижу, что идет это белое на меня, и все ближе, ближе... Пришел и стал насупроти неподалеку: не то женск пол, не то мужеск, не понять мне было, — потому одет был тот человек, пресветлого лика, весь сверху донизу в белое, словно из пушистого снега, одеяние, а на голове, как платок спущен, плащаница была. Затрепетал я сего ангелообразного видения, но светлообразный сказал мне: «Мир тебе, Родионе!» — и потеплело мне сразу от этого гласу ангельского и от слова ангельского: «Мир тебе, Родионе!» Стало быть, не на худое господь посылает мне видение ангелоподобное, ежели так ласково поздоровался. Обрадовался я, услыхавши, что по имени меня светлоангельский образ обозвал, и мир посулил, и малость духом моим укрепился. И вопроси меня образ ангельский: «Что еси видел по пути сем прежде меня?»

Окрепши духом и без страха отвечал я образу ангельскому, как и что я видал и каких изуверов встретил и между ними четвероногое. И тогда светлообразный с сокрушением сердца изрек мне тако...

Здесь Родион остановился, выпрямился и в сильном возбуждении обратился одновременно к толпе и к священнику:

— Слушайте теперь, православные! Словечка не пророните из светлоангельских слов. Всё про нас было сказано!

Родион даже руку поднял над толпой и как бы грозил ей, находясь сам в величайшем возбуждении.

— Двое суток я бездыханным от этих пречистых слов лежал! Слушайте все, миряне! С небеси те слова идут к вам!

Глубокие вздохи, как темные тучи по небу, носились над удрученною грехами толпой, наполнявшею маленькую церковку.

— С сокрушением, с прискорбием и с воздыханием светлоангельский образ сказал мне такие слова: про черного изувера-истукана сказал: «это немощь черная на людей ваших», а про огненно-красного — «это, сказал, немощь — «огневица» называемая, на вас же, на людей, а четвероногое — немощь на скотину. И все это господь попустит на вас». Слушайте, миряне многогрешные! «Все это, говорит, на вас, на всех вас господь попускает за грехи ваши. За непотребную брань вашу ежеминутную, за жадность, за то, что и в праздник идете на работу, лишь бы деньги получить и пропить, а не богу отдать праздничный-то день. За братонелюбие, за пьянство и за прелестное питие табачное!» Все наше богомерзкое распутное житие пересчитал светлоангельский образ, даже до малости последней, ни про единого из нас не забыто. Миряне! Не забыто ни про единую душу, ни единого греха! Помните это, безумные! «Иди, — говорил мне светлоангельский образ, — иди ты и сказуй во всех ваших местах, всему народу, чтобы духовного чина и мирские люди отнюдь непотребною бранию не бранились и великих грехов не творили, в праздники бы, господни и богоматери, не работали, друг друга бы любили и табачного пития не употребляли, и молились бы богу, с любовию, друг за друга, молились бы о своем благоденствии и об оставлении грехов. Скажи, говорит, им, всем вашим по

всей округе: аще, говорит, послушают гласу божию, тогда господь отвратит от них гнев свой праведный, и станут они жить в благоденствии и изобилии плодов земных! Аще же не послушаются и богомерзких грехов не оставят. . .»

Родион опять угрожающе поднял руку и громко, на всю церковку, воскликнул:

— Слушайте эти слова на оба уха! Со страхом и трепетом и всем сердцем припадите к повелению!

Тяжким вздохом охнула толпа, сдвинулась плотною массой около Родиона и вперила в него пронизанные трепетом взоры.

— «Аще же, — вопиял Родион, не опуская руки, — не послушают они меня и от богомерзких грехов не отстанут, тогда не изыдут от них изуверы истуканные, черный, красно-огненный и четвероногое! Будут на них моры великие, на скот падежи, будут засухи и дожди безвременные, и хлеба будет недород и голод беспрерывный. Такожде яви мне господь!» Это мне светлозарный образ, миряне, повелел! А кто он?

Родион находился почти в экстазе.

— Он здесь, во храме! Образ пресвятыя богородицы! Она, матушка, посланница, сама от господа снизошла к нам! Она, она мне повелела взять ее праведный облик из этого храма: «Иди, Родион, в Рождествено, там, в притворе церковном, на десной стороне, в углу трапезной, в забвении образ честного моего успения». Идите, глядите! Я не свои слова говорю вам!

Толпа хлынула в притвор, загалдела, заволновалась, а Родион продолжал вопиять:

— И повелела: «возьми сей образ. . .»

— Есть, есть! Вот она, царица небесная!

Трепет, рыдания, стон и вой кликуш смешивались с криками толпы, выламывавшейся из притвора с высокоподнятою вверх запыленною иконой.

— Она, она, пресвятая! — гудела толпа.

— «И возьми, повелела, — вопиял Родион среди необычайного всеобщего волнения,— два ко-ло-кола. . .» Слушайте, миряне! «Два колокола возьми, всех убогих и сирот собери и иди!» Идите за мной, православные миряне!

Родион сам исчезнул в толпе и быстро пошел из церкви; за ним впопыхах побежал священник, и вся масса народа хлынула вон; нищие и убогие калеки, все, конечно,

собравшиеся тотчас после набата, все это тронулось за иконою. Колокола, обрубленные с маленькой колокольни, двигались вместе с толпой, качаясь на чьих-то спинах. Вся масса была в глубоком потрясении, охала, стонала, плакала; блудные бабы рвали на себе рубашки, падали на дорогу в истерике; ребятишки выли и мчались в общем бурном потоке людей. Все это двигалось за Родионом, впереди которого несли икону. Самовольно выхвачены были из церкви хоругви, и здоровенные детины мчались с ними вслед за иконой, развевая их длинные кисти по ветру. Вся толпа стремительно неслась далеко за селом, по тропинкам дремучего леса, пока не дошла до высокого, обрывистого берега между двух речек.

— Здесь! — произнес Родион и стал. — Здесь повелела владычица часовню рубить, а первое-на-перво крест на лугах поставить, а после часовни храм должон быть, а потом и монастырь будет! Ставь, ребята, крест! Ставь часовню! Повелела сама владычица-богородица!

Треск пошел по лесу, застучали топоры, заскрипели телеги. «Собрашеся, — сказано в сказании, — все множество людское, овии лес секуще, инии возяще, другие же на месте созидающе». И в этой суматохе Родион все еще доказывал о видении: объяснил, что праздники будут три раза в год и, поведав все повеление божие, поведал, наконец, и о себе нечто потрясающее.

— Ужаснулся я от тех страшных наказаний божиих! Ждут нас великие истязания, ежели хотя малостию забудем божие повеление! Ведь как и меня-то грешного господь наказал! Повелела мне царица небесная и вознеслась. Испужался я грехов наших, побежал народу объявить божию грозу. Бегу, да и запнись за пень, за колоду запнулся «и паде и разби руку свою, и абие услыша шум и ветер ужасный, и, поднявши меня вверх, удари о землю, и от этого ударения лежал я вне ума два дня и две нощи, и егда в разум прииде, пойде в село Рождествено...»

В этом бездыханном состоянии нашел Родиона народ. Все теперь было для всех поразительно ясно. Глубокое сознание грехов, страх жестокого наказания, обещание милосердия божия, все это подняло силы толпы до высшей степени. Работа кипела, и все «множество людское *единым днем* поставило на лугу крест, а на горе *создаша часовню»*, единым днем.

«И совершивши сие, поставиша в ней (часовне) образ и молитвовавше довольно, с радостью отъидоша в домы своя, славяще пречистую!..»

И домой воротились далеко уже не такими, какими были вчера. А Родион, обрадованный всем этим, добравшись до своей хибарки, со слезами радости на глазах стал лицом к темному лику образа и, весь трепещущий от счастия, прошептал:

— Слава тебе господи! Образумились-таки мои греховодники! Запало им в совесть чистое зерно! Пообдумают они теперича и о своей чистоте, и о любви к ближнему, и о сирых и убогих. Слава тебе, пречистая богородице!

Потом он отворил окошко, выглянул на улицу и послушал. Тишина стояла над деревней небывалая. Попробовала было одна необузданная бабенка песню запеть, но тотчас же получила от своего мужа такой тумак, что сразу образумилась и без слова, как мышь, шмыгнула с крыльца в дом.

Только этот тумак и слышал Родион в тишине этого вечера и радовался:

— Ишь, какая благодать! Пущай образумятся, обдумают! Пущай!

3

«Видение», изображенное в этом отрывке, написано вполне точно с церковною записью. Начиная с появления двух изуверов и кончая постройкой часовни, все, что касается собственно видения, передано без всяких прибавлений; изменен только язык, но в речах светлоангельского образа ничего не прибавлено и не убавлено. Именно эти речи — их скорбящий и человеколюбивый смысл — и заслуживают особенного внимания. Родион мог воочию видеть все то, что видел, и слышать все, что слышал; он мог в самом деле лежать два дня в обмороке, но чтобы все эти видения, все эти галлюцинации могли иметь такое определеннейшее содержание, нужно было, чтобы сам Родион крепко страдал о народном расстройстве, мучался бы этим, думал бы о том, как высвободить народ из греха, думал до нервного расстройства, до галлюцинации.

В этом видении нет ни одного слова и ни одной чудовищной неожиданности, которые бы имели источником

просто расстроенное воображение. Ничего лишнего, ненужного, ничего такого, о чем бы не болела душа Родионова; с тщательностью перечислены все пороки мирян, которые мог понимать Родион и мог ими возмущаться, страдать от них; тщательно обозначены пути к исправлению, к осветлению темных душ и порочных сердец; указаны также с поразительною ясностью все те наказания, которые и Родион и народ считали самыми жестокими. Здесь нет капли фантазии, а есть самое определенное выражение скорби о ближнем, ясно очерченной во всех подробностях.

Эта ясность, определенность в понимании своего дела по отношению к ближнему составляют непременную черту всех наших истинных радетелей и борцов с народным невежеством и горем. Впечатлительный к житейским неправдам человек, чуткая душа, раз она охвачена понятою ею скорбью, не уходит от зла, не стремится выделить себя из оскорбляющей его среды, а именно потому, что ему бог дал понять чужое безобразие и грех, идет прямо сюда, в эту расстроенную, грешную, грязную среду, и берет на себя всю черную работу высвобождения этих людей от их несчастия и горя. Человек, который не жалеет своей плоти, ходит в лютый мороз босиком или заковывает себя в вериги, с тем, чтоб изможднв плоть, сохранить собственную свою душу в чистоте, это не святой, а юродивый, божий человек. Святой тот, кто работает неустанно для бедных, темных и несчастных людей. С давних времен всякий чистый, умный, впечатлительный русский человек, раз его покорили мысли о своем душевном страдании, непременно переносит эти мысли на общие народные страдания и находит выход своим силам и своим душевным побуждениям непременно в черной работе среди беспомощных, темных и несчастных людей. Даже и в наше время, помимо проявления свойств того же типа и в высших кругах интеллигенции, и собственно в народной среде, интеллигентный человек живет и действует почти так же реально и практически на пользу ближнему, как действовал и Родион двести лет тому назад, действовал, конечно, сообразно окружавшей его обстановке и средствам действия.

В моих заметках есть следующая вырезка из одной провинциальной газеты, относящаяся к 1885 году. Летом

в Вятской губернии была сильная засуха, и суеверный народ приписал это бедствие тому обстоятельству, что полиция приостановила богослужение в церкви отца Стефана. Отец же Стефан и поселился среди суеверного народа именно только потому, что народ был суеверный. Когда-то этот отец Стефан был сельским учителем, но, вероятно, взгляды его на свои нравственные обязанности не могли быть удовлетворены вековечным толкованием четырех правил арифметики и чистописанием. Родион в свое время мог обличать и бороться против всех пороков людей своего времени. Современному сельскому учителю едва ли уже «дадут» окружающие его люди нашего времени делать что-нибудь подобное. Не чувствуя в себе силы на борьбу хотя бы в форме обличительной корреспонденции, отец Стефан решил уйти от греха и поступил в монастырь. Но и здесь, вероятно, не нашлось возможности удовлетворить всем нравственным требованиям, жившим в сознании о. Стефана; он оставил монастырь в сане иеромонаха, удалился в лес, в полуверсте от своей деревни построил себе избушку и мирно жил, занимаясь, между прочим, и поучением навещавших его. Мало-помалу слух об отце Стефане стал распространяться в народе, и к нему стало приходить множество людей всякого звания: кто поговорить и найти утешение, «кто поскорбеть о неизлечимом недуге». Жаждущий утешения словом всегда выслушивал такое от о. Стефана. Но главное, что он *сочинял книжки*: «учение, как усовершенствоваться в добре», «слово к обидимым и обидящим», о вреде пьянства и проч. В этих книжках много говорится вообще «о миролюбивых семейных отношениях». Написаны книжки языком, приноровленным к крестьянской речи. Нередко крестьяне получали от о. Стефана и денежную помощь, на покупку лошади, на посев. Мало-помалу около его жилища построились отдельные домики и церковь. Немало труда положил о. Стефан на разработку избранного им места жительства: крайне живописный лес, расположенный на скате горы, весь расчищен; правильные, утрамбованные дороги, гати во всех направлениях пересекают лес; местность, совершенно безводная до появления здесь о. Стефана, теперь имеет три пруда, для чего вода поднята на значительную высоту; все ручьи обложены дерном (местность своим видом напоминает Железноводск). Церковь еще не освя-

щена, но о. Стефан служит в ней молебны, причем поет сформированный им женский хор. Постройка церкви была разрешена архиереем Аполлосом, но письменного разрешения на это дано еще не было; вот почему церковь, как построенная без письменного разрешения, и запечатана.

Корреспондент заканчивает свое письмо желанием, чтобы церковь была открыта и освящена, так как *«несомненно»,* что *«для народонаселения* о. Стефан *своим примером приносит большую пользу».* Не знаю, оправдаются ли ожидания корреспондента. Ведь о. Стефан не *отшельник,* как поименовал его корреспондент, а, — странно сказать, — деятель общественный; вокруг него образуется общество людей, соединяющихся, прежде всего, нравственными узами; в обиходе жизни общины о. Стефана играют роль не одни только агрономические усовершенствования, и люд собирается к нему не во имя желания иметь картофель в два фунта весом, а во имя толков об усовершенствовании в добре, во имя разговоров и размышлений об «обидимых и обидящих», и, соединившись на таких нравственных началах, только *во имя* их и начинает устраивать внешний обиход своей жизни. Не знаю, будет ли в этой общине дело для мирового судьи, для судебного пристава и окажется ли надобность в кутузке. По существу созидающейся общины, именно тем-то она и привлекает народ, что ничего в ней не должно быть подобного: она и основана и цветет именно во имя наилучших нравственных побуждений. Кабатчик или ресторатор, который пожелал бы открыть для губернской публики ресторанчик с арфистками в таком живописном месте, где устроился о. Стефан, наверное получит грозный отпор ото всей общины, а что из этого обыкновенно выходит, всем нам очень хорошо известно, хотя бы только из тех бесчисленных опытов не иметь кабака, которые постоянно возникают и не в таких «особенных» общежитиях, как общежитие о. Стефана, а прямо в черных, крестьянских деревнях. Несмотря на мирские приговоры и всеобщее желание не пить, не пьянствовать, не пропиваться, кабак будет открыт непременно, кабатчик доймет, допечет мужиков. А в общине о. Стефана разве нет грехов, которыми можно донять? Расстояние между постройками неправильное, — по закону так, а на деле нехватает. Снести пять-шесть домишек, иначе снесут по распоря-

жению; обязательно станут выгонять народ за тридцать верст для починки дороги. Да мало ли! И думать об этом не стоит, так много случаев привести человека к одному, со всеми прочими, знаменателю. Одних мужицких разговоров на тему: «Эх бы, и нам так-то!» — вполне достаточно для того, чтобы усомниться в полезности существования общины о. Стефана. Что такое значит: «Эх бы, и нам *так-то*»? А вам разве теперь *не так?* В конце концов о. Стефан, если он человек жалостливый к собравшимся около него людям, либо примет на душу грех, пойдет на компромисс и дозволит кабатчику торговать (только вон в том, мол, месте, за горкой, а не здесь), либо, не желая принять греха, уйдет «в странствие».

Во время поездки по Западной Сибири мне пришлось слышать и еще об одном «радетеле» на благо простого серого человека, и хотя он также не понимает блага без его реального осуществления, но его история показывает, до какой степени времена сузили, со дней жития Родиона, размеры этого радения и его сущность.

В г. Т<обольске> мне целый день пришлось ждать тюменского парохода. Всяких разговоров и всяких сибирских типов пришлось переслушать и перевидать множество. Между прочим, памятен мне разговор одного священника с одним городским жителем. Священник был человек развязного обращения и полагал, должно быть, что раз он не при исполнении своих обязанностей, то может позволить себе при всей публике почесаться огромной рукой так, что зрители непременно посоветуют ему идти в баню. Огромный, хорошо закусивший, хохочущий и не стесняющийся в жестах батя разговаривал таким развязным тоном, каким в пору разговаривать хорошему торговцу на базаре.

— Ну, а что этот — «кляуза»? — грубо и громко спросил он у молодого человека.

— Кто такой?

— Да расстрига-то?

— А, N-в! .. Ничего. . .

— Все мудрит-мутит?

Неохотно ответил ему молодой человек:

— Все попрежнему.

— Не покоряется? Который раз с него рясу-то в участке снимают?

— Да уж раза три, кажется...

— И все прет в церковь? Все попом себя почитает еще?

— Действительно, не признает расстрижения... Прямо из участка, в сером пиджаке, вошел в церковь, в алтарь, облачился и стал служить вторым...

— Так чего же его по шее не огреют?

— Ну, вот! По шее!

— И прямо по шее! Чего тут?

— Ну уж, право, не знаю...

Скоро священник уехал на другой берег реки, на большой лодке, мягко застланной соломой и ковром. Он растянулся, как турецкий султан обыкновенно «растягивается» на лубочных картинах. С ним сели и два здоровенных же, хорошо закусивших сына; один из них был в фуражке какого-то министерства. Этот юнец, едва появился на пароходной пристани, без всякой церемонии подошел ко мне, сказал: «Позвольте папироску!» — и ни с того ни с сего заговорил о своих семейных делах, точно я был век с ним знаком. «...А старшая сестра, Мария, за становым. У нас *рука* есть... большой богач». Обжорною жадностью плотоядных существ отдавало от этих верзильных и грубых людей, и я рад был, что их унесло куда-то. Рад был и молодой человек, которого донимал разговором грубый собеседник.

Мы заговорили друг с другом, и я спросил его о том «расстриге», о котором только что шел разговор.

— Это замечательная личность!

— Может быть, известный наш недуг.. пьянство погубило его? — спросил я, так как разговор шел о нем как о забулдыге.

— О нет! Он не пьет ни капли! Это умный, энергический, живой человек... даже писатель! У него выпущено в свет очень много брошюр, книжек...

— О чем же он пишет?

— Исключительно для народа, и главным образом хозяйственные. Вообще, это человек до крайности деятельный.

— Однако вот, что-то с ним случилось?

— Да, случилось! И очень все вышло нелепо. Дело

началось с пустяков... Не довольствуясь книгами, стал он в своем приходе вводить разные хозяйственные нововведения: образчики хороших семян, разведение таких растений, которых нет в Сибири, но которые могут в ней произрастать. Словом, много работал в смысле улучшения хозяйства. Но, может быть, у него мало было земли или он просто увлекся своим делом и не обратил внимания на народное невежество, только плантации его вышли из пределов собственно его двора: весь его огород был уже разработан, и он, не думая сделать худого, разгородил его и пошел дальше, разводя разные растения на том лоскутке земли, который был между его домом и церковью, и добрался до самого алтаря, да с чем? С табаком! Народ возопиял, а невежество народа возмутило священника. Мог ли, в самом деле, такой человек уступать такой непомерной тьме? Но и мужики не уступили, пожаловались. Потребовали N-ва, внушили, приказали не раздражать народ. Пустяки, кажется? Но для N-ва это были никак не пустяки. Именно на этом пустяке он должен был признать преимущество невежества и тьмы, покориться чепухе мужицкой! А он вообще образованный, начитанный человек, именно образованный! Ко всему этому, он еще и нервный, впечатлительный, горячий, ни за что не хотел исполнить того, что ему приказывали. Я думаю, он даже не мог бы пойти на такой компромисс, чтобы разводить табак в другом месте. Ведь дело в том, чтобы не преклоняться пред невежеством, голою глупостью; он и не преклонился. А затем не мог уже избежать кары за неповиновение... И пошло: перевели в отдаленнейший приход — не поехал, протестовал... Дальше — больше... Взяло его за живое, и ринулся он в непрерывную борьбу... Ни семейное расстройство, ни недостаток, ничто его не остановило; по мере того как дело перешло совсем на иную почву и разыгрывалось уже не в деревне, а в судах, в канцеляриях, он ни на одну секунду не усомнился в том, что считал справедливым; он пробирался с своим протестом в Петербург, в высшие места, и таким образом дошел до «извержения из сана».

— Но и этого не признает?

— Да! До сих пор считает себя священником... Недавно раздевали третий раз в участке, а теперь он опять

в рясе. Замечательный человек, а измается, погибнет. И теперь он не перестает протестовать, и так же настойчиво... Книжки его покупаются охотно, вот единственное его средство. Прошел слух, что он хочет уйти в раскол... Но не знаю, верно ли это?

Кстати сказать, этот же молодой человек рассказал мне про другого местного протоиерея Л-ва, недавно умершего в Самаре и перешедшего за несколько лет до смерти в раскол. Об этой замечательной личности будет сказано особо, в одном из следующих очерков.[1] Общественная деятельность этого образованного священника происходила не в той среде, о которой идет у нас речь. Я говорю теперь только о «радетелях» в среде нашей темной крестьянской массы и поэтому опять возвращаюсь к разговору об г. N-ве, также желавшем быть радетелем в темной крестьянской среде.

Так же, как Родион, как о. Стефан, и священник N-в не смог сберечь для собственного «удовольствия» своих знаний и своего понимания о недостатках и горестях «темного народа» и сейчас же отдал их этим самым темным массам, нескладная, бестолковая жизнь которых и возмутила его. Этот тип, наиболее яркий образец которого в нашем рассказе представляет Родион, постоянно приметен в нашем обществе в настоящее время. Наши учителя и учительницы в огромном количестве делали свое дело подвижнически, не ремесленным образом и не из-за хлеба, не из-за хлеба только работали и работают врачи, фельдшера, акушерки. Но не знаю, скажут ли они сами, что деятельность их может быть оживотворена сознанием связи ее с подъемом и просветлением личности, духовной жизни крестьянина.

Заглянем, для проверки разницы, опять в те глухие места, где действовал когда-то Родион.

В этих местах теперь считается ревизских душ 2589, тогда как наличных уже 6600 душ. Крестьяне живут преимущественно земледелием, а в зимнее время, кроме того, небольшая часть населения занимается кустарным промыслом, делает сани, коробья, берестяные бураки,

---

[1] «Деревенские раскольники». Ниже, в очерках «Из текущей жизни». (*Прим. автора.*) (В данное собрание сочинений очерк не вошел. — *А. З.*)

тележные колеса. Промысел этот поддерживает как при отбывании казенных повинностей, так и в хозяйственных расходах; причина весьма незавидного положения крестьян — малоземелие, неимение лесов, вследствие чего они арендуют очень много земли в соседних помещичьих дачах, уплачивая за арендованные земли, отпуск леса и выгон много денег. Положение родионовских потомков, как видите, изобилует несравненно бóльшим количеством скорбей, чем было их у прародителей, но зато и радетелей у теперешних потомков Родиона почти такое же количество, как и самых скорбей; то, что у них земли нет, это самым подробным образом исследовано и занесено в статистический сборник; то, что при тесноте пространства и утроившегося количества жителей могут в село прийти опять те самые два изувера, один красноогненный, а другой черный и между ними «четвероногое», это также не составляет тайны для образованного общества, и как только явится четвероногое, так явится и ветеринар; как только начнется эпидемия красно-огненного или черного качества, так явится и врач; священник будет хоронить мертвых и крестить живых; староста будет собирать подать; воров и пьяниц берут кутузка и суд; истощают и развращают народ кабатчик и кулак, и так далее.

Несмотря на такое количество радетелей, никаких явно осязаемых результатов, которые бы доказали, что родионовский потомок в чем бы то ни было превзошел своих предков, пока, кажется, не видать. Все радетели и сами по себе изнурены и истомлены одиночеством однообразнейшего труда, а те, о которых радеют, не только не дожили до расширения своих духовных потребностей, до бережения своей души, но как бы и думать-то об этой роскоши перестали. С их личной совести снята всякая ответственность за общественное зло, тогда как радетель Родион прямо соединял общественное зло — красно-огненную и черную болезнь и все беды и язвы, изъедавшие народ, — с личными грехами и пороками этого народа: «питие табаку», «пиянство», то есть всякие личные неопрятности он умел отразить в общественных бедствиях деревни, привести в связь личную опрятность или неопрятность с проявлением того и другого в обществе. Способ радения нашего времени снимает с нашей совести ответ решительно за все то зло, которое тво-

рится кругом нас. Кражи, самоубийства, всякого рода несчастия, о которых мы читаем ежедневно в газетах, не касаются нас, читателей, ни в каком отношении. «Дознание производится»— и конец делу, и следа не остается от кровавой драмы или от ужаснейшего несчастия.

Родион же требовал от человека ответа за все эти общие грехи. Эпидемии и падежи и прочие напасти он связывал с неопрятностью личной нравственности обывателей. Расколоучитель, заманивая в свою секту, прельщает не материальными выгодами, а осмысливает и осложняет личные потребности вовлекаемого в секту. «Куда нам, подлецам!» — говорит человек, убедившийся в своем свинском житии. Расколоучитель доказывает ему противное, «вынет» из его сознания это самопрезрение, вдохнет бодрость и некоторую гордость сознания своей душевной ценности, освежит представление в человеке «образа божия», и вот человек уже не вернется туда, где «все мы подлецы», не может вернуться. Конечно, «личная» чистота раскольника весьма и весьма-таки частенько выражается в замкнутости, в отчуждении и даже в явной вражде к людям, не осененным тем просиянием, которым осенен просиявший. Частенько этот просиявший, для сохранения собственной чистоты, не церемонится, для устроения своего уютного, уединенного жития, опустошать и забирать в лапы целые деревни и уезды серого «церковного» народа. Иной разъедается на своей заимке до размеров мамонта и, таким образом, устраивает для собственной своей души трехэтажные апартаменты, но такими, из жира и сала созданными, капищами «для пребывания светлой души» проявление деятельности раскола не исчерпывается; множество самых прекрасных и гуманных учреждений возникало под влиянием идеи бережливого охранения личности и совести человеческой в обществе — идеи, возникшей опять же из личного побуждения беречь свою душу.

Наш же «серый» крестьянин материальные заботы всякого рода вынужден ставить неизмеримо выше забот о собственном грехе. Несомненно, «грех» томил его; между прочим, желание «уйти от греха» играет не последнее место и в переселенческом движении. Но кому уйти нельзя и ждать ниоткуда нечего, во имя отстранения только материальной нужды, тот, несмотря на все

обилие радетелей, иногда вынужден прибегать также к союзной жизни, но примерно вот какого рода:

«Я, вдова Н. С. Ш., с согласия сына Мирона (13 лет), золовки Настасьи и тещи Ш., по случаю смерти мужа и *неимения средств к пропитанию малолетних детей и золовки, которая в настоящее время находится калекою и даже сама ходить не может*, а свекровь находится уже в преклонных летах (80), из детей же: сыну 13 лет, одной дочери 5 лет и другой 3 года, — почему я, Ш., *для пропитания вышеупомянутого семейства и содержания хозяйства*, вступаю в законное супружество с крестьянином Р., которого принимаю в дом, вместе с сыном его Кондратием 6 лет».[1]

Не знаю ничего ужаснее этого союза там, где человек и подумать-то не смеет о собственном благообразии, чему учил Родион. Материальное горе чувствуется так неотразимо, что нетрудно «прозакладывать» и последние остатки души. Вот и отец N-в, имея возможность, согласно общему направлению жизни, «радеть» только в какой-нибудь одной отрасли «улучшения быта», живя в деревне, не имел уже ни права, ни возможности связать практику выгод травосеяния и бранденбургского овса с удовлетворением нравственного благообразия человека, как это мог делать Родион, и, конечно, не мог иметь успеха.

4

Перебирая и припоминая вновь все пережитое и перечитанное и углубляясь воображением в самое отдаленное прошлое, я постоянно видел перед собою облики радетелей, всегда близких к облику Родиона. В каком бы звании и общественном положении они ни находились, в какие бы времена ни жили, раз неотразимо возникнет в совести их нравственная потребность «радеть» о благе ближнего, всегда радение это выражалось по образу действий Родиона. И сейчас не оскудевает русская жизнь человеком с сердцем чутким и горячим в стремлении к добру.

---

[1] «Северный вестник», <1888>, № 9. Ст<атья> Щербины: «Договорные семьи».

ЧУТКОЕ СЕРДЦЕ

(Из памятной книжки)

1

...Прошлым летом Анна Петровна Иванова, земская акушерка, поехала погостить и поотдохнуть недели две у своей старухи матери, жившей в соседней губернии, и, несмотря на то, что она ехала действительно «отдыхать» и что она действительно «устала», устала не только от практики, но и вообще от беспрерывных хлопот, которых у нее было всегда великое множество, все-таки она не утерпела, чтобы не взять с собой не только необходимых для ее дела инструментов, но прихватила еще и книжек «для народного чтения», лечебников, календарей, даже кое-чего из детской одежды. «Может, понадобится» и «может, случится», — без таких предположений она не жила на свете, кажется, ни одной минуты.

Эту простую, сердечную заботу, которую постоянно искали ее внимательные глаза, ощутил в ней даже простой мужик, тот самый извозчик, который ее вез и с которым она крепко торговалась, прежде чем наняла.

— Сердцем-то горяча, а душа у нее добрая! — сразу понял он, глянув на ее очень и очень простое лицо, и даже «книжка подмышкой», а также и то, что она была «стриженая», даже и этого признака неблагонадежного человека ямщик не поставил ей во грех.

Хотя мужикам и не была известна полностью вся эта обширная поэма о «стриженых» и долгогривых, все-таки и до них, чрез местную пиджачную интеллигенцию, дошли кое-какие сведения о том, по каким именно признакам можно различать врагов от радетелей. Но опыт жизни с этими долгогривыми и стрижеными, то есть самое тщательное, почти следственное изучение их дел и поступков, частенько-таки убеждал следователей (всегда беспощадно строгих), что и в тех и в других, и в долгогривых и в стриженых, иной раз также «случаются» добрые люди, жалостливые сердца, благодаря чему строгие следователи в конце концов и додумались до простого, всегда свойственного простому человеку вывода: «Надо разбирать и судить, *глядя по человеку»*. Так вот и извозчик, наученный опытом, сразу расчухал, что «стриже-

ная» Анна Петровна — человек хороший, простой, из тех людей, у которых совесть чистая, душа детская, а сердце горячее, и только потому не стал долго торговаться и повез ее «задешево».

Двух верст они не отъехали от постоялого двора, где акушерка переменила лошадей, а уж между ними шел самый настоящий, одинаково важный для них обоих, разговор. И ямщик чувствовал, что разговор именно и ей, стриженой-то, так же существенно важен, как и ему, длиннобородому.

— Уж непременно вы жен-то своих тираните! — убежденно и с непритворным огорчением говорила Анна Петровна. — Знаю я это, довольно видела!

— Нет, не бьем мы баб! — с искренним волнением в голосе протестовал извозчик, сидя уже полуоборотом к Анне Петровне. — Это уж горе бьет, несчастье, с кем не бывает? Не токма бить, а даже и оставить их дома из-за заработка, и то не хотим! Упираемся идти в отход всячески, и уж из всех сил дом бережем! У нас этого нет, чтобы на фабрику уйти, пока бог хранит. А трудно! И бабам трудно и мужикам невмоготу... Нету, барышня, не бьем, почитаем!.. В наших местах бабы-то не то летом всякую полевую работу справляют, а и всю зиму за станом сидят, да не то день, а и ночь! Наших баб нельзя не почитать! Почитаем, верно тебе говорю, а невмоготу жить стало! Арендуем земли по тридцать рублей под лен... Нельзя без денег обойтись, то и дело: «отдай, отдай!» Сама знаешь! В прежнее время прямо возили в город в первые руки, и цена была хорошая, а теперича господь наслал на нас саранчу — «скупщиков»!.. Так и шмыгают по всей округе. Запутали всех в долги, цену сбили — беда!.. Да и земля-то не родит, исчахла, дай бог сам-два, а коли сам-три, так и не знаем, как бога благодарить! А всё крепимся, всё к дому жмемся, не хотим оторваться или, сохрани господи, баб наших пустить в отход! Не дай этого господи!

— Разве никто из помещиков не продает здесь земли?

— Сколько угодно земель продается, да поди-ко укупи!

— Как? — заговорило в Анне Петровне ретивое. — А Крестьянский банк? Ведь у вас есть Крестьянский банк в губернии? Отчего вы не покупаете?

— И банк у нас есть, и это мы очень прекрасно знаем, а поди-ко укупи из банка-то!

— Что ты это говоришь? Там люди хорошие, понимают вашу нужду. Я знаю, у нас в губернии Иван Федорович такой хороший! Все сделает мужикам. Отчего же вы не согласитесь, не выберете кого-нибудь? Как так? вам дают деньги на покупку земли, а вы не сообразите, как купить?

— И соображали, матушка ты моя, и выбирали, а все толку нет! И банк есть, и земля есть, и мужик есть, которому земля нужна, всё есть! И все бы хорошо, да замешался между нами тремя жадный человек, такой же наш брат мужик, как волк, и все на свою сторону норовил обернуть, и банк и землю.

— Кто же он, подлец этакой? — совсем рассердилась Анна Петровна.

— Много их, не один и не два, а тьма! Сама ты посуди, ведь не все мужики равны по карману-то. Есть ведь и у нас, у лапотников, мужики с толстою мошной, след ли ему в компании с нами, с беднотой, идти, когда у него есть своя компания? Их меньше нас, да денег у них больше, купят для своей компании, каждый помещиком станет, нам же в аренду будет отдавать, да еще чище помещика сдерет!

— Так ведь вас больше! — горячилась Анна Петровна. — Отчего же вы не сговоритесь и сами от себя не пошлете депутата?

— Сговаривались и депутатов посылали, да вот как у нас вышло-то: продавала одна барыня имение, и мы послали старосту. Чего выбирать, коли он и так выбран? И пошел он туда, прямо сказать, за все общество хлопотать, да враг-то силен! Деньги теперь мутят нашего брата, денег нам надо! Вот ведь порча какая пошла! Вот и наш староста пошел к барыне-то, сказал ей все, что было велено, а та сейчас согласилась, даже обрадовалась, что мужикам, да на грех послала его к управляющему. А управляющий-то, мало что на мужицкую цену не согласен, уж имел своего покупателя купца, жоха настоящего. Купцу-то надо было лес изводить, денег он за имение давал больше, чем мужики, и взятку управляющему дал хорошую. Вот управляющий-то и говорит: «Хоть барыня и рада продать вам, мужикам, но у меня семейство, меня тоже надо пожалеть, а мне купец

три тысячи награды дает. Бери и ты от меня триста рублей, откажись и ступай с богом, есть и другие места! А не согласишься, я уж сумею барыню разговорить».

— Взял? — вспыхнув, воскликнула Анна Петровна.

— Взял! взял, чортова кукла! взял! Утаил от нас, сказал: «Уж продана!» Взял, анафема!

— Ах он! Ах! — вне себя от волнения восклицала Анна Петровна, стуча дождевым зонтиком в дно телеги и тем заглушая эпитеты, которыми она, по всей вероятности, награждала негодного мужичонку. Нельзя было расслышать этих эпитетов также и ямщику, потому что и сам он также находился в волнении и не мог прекратить своего рассказа громким, напряженным голосом:

— Взял, пострел! Продал, изменник! Да на эти же иудины деньги и еще раз перепродал нас же, анафема!

Лицо Анны Петровны стало совсем больное; она хотела что-то спросить и вдруг закашлялась, схватилась за грудь, но глазами и рукой давала ямщику знать, чтобы он продолжал. Долго она откашливалась, приходила в себя, и долго ямщик повествовал о новой измене недобрых людей против бедного крестьянства.

— И перепродал-то как: в компанию тихомолком с прочими плутами вступил, не задумался ни единой минуты! Вот ты гляди теперича округ себя: видишь (ямщик показывал кнутом), вон виднеется деревня Язева, а вон — Солнцево... Видела? Обернись-ко боком-то, погляди, — эво будет тебе деревня Чеботарева, а глянь за спину и Шишкину деревню приметишь... Так и идут округом целых двадцать пять деревень, вот в этот, в левый бок, да-алеко их и много в левый-то бок, покуда до Язева-то опять добежишь. Тут в округе-то и наша деревня Осиновая... И все-то, ро́дная ты моя, двадцать-то пять деревень, как мухи облепили богатейшее имение господское, графское. Все мы у него арендовали, и всем нам без него житья бы не было, и что управляющий хотел, то и брали с нас. Тридцать рублей десятина под лен! Чего уж! И вдруг пошел слух: продает барин имение это. Побежала весть по всей округе, надоумили добрые люди опять о Крестьянском банке. «Беспременно нам эту землю надобно купить! Купят кулачье — шкуру сдерут!..» Идет забота по всей линии, из деревни в деревню, — а как все двадцать пять согласить? Кому

доверить? Пробовали доверять, сама видела, что вышло? И одну-то, и ту доверенный надул!.. Галдеть галдим, а толку нет, а время идет, того и гляди кулацкие когти вопьются... Однакоже прошел слух — были какие-то мужики у самого у барина, решились, сходили к нему, рассказали свое житье-бытье... «Что ж, — говорит барин, — я не прочь. Мужикам-то, говорит, для меня еще приятнее. Пусть добром меня поминают. Пришлите трех-четырех человек!..» А как нам трех-четырех выбрать из двадцати-то пяти обществ? И половины-то друг дружку хорошенько не знаем! Надумали от каждой деревни по два человека, чтоб один другого подправлял когда надо. «Нет, — говорит барин, — этак я не могу, я не привык... Говорить с полсотней народу не могу! Созывайте волостной сход, выбирайте старшину доверенным, — ведь целою волостью выбираете старшину-то?..» А ведь и впрямь, думаем, так. Пошло по округе, собрали в четырех волостях сходки, выбрали четырех старшин: «Делайте, ребята! Постойте за мир крещеный!» Богу помолились, отправили. Пошло дело в ход. Согласен барин. В город надо ехать. Стали наши депутаты шнырять, шмыгать то в город, то из города. То вместе съедутся, то разъедутся, по неделям их нет. «Что же, как?..» — «Погодите, ребята! Надо разузнать, что банк даст, барин цену поднял эво какую!» Пошел слух — цену барин просит огрома-адную!.. Батюшка ходит по приходу, тоже поговаривает словно ненароком: «Свяжетесь, говорит, с банком, не развяжетесь! И детям закаетесь на банк надеяться! Коли недоимку не платишь, и то имущество продают, а как еще долгу тысяч шестьдесят на шею навалите да не заплатите, разве помирволят? И старое-то, что было, продадут, а новое и так отнимут... И деньги-то, какие дадите, тоже пропадут...» И даже из газеты нам читал, как банк рушит хозяйства... Что такое? — думаем. — Зачем же эдакой неприятный банк уделан? Будто бы ведь для хорошего, так мы понимаем, а тут вот и батюшка пужает. «Рады, говорит, что где-то деньги дают, так обеими руками и хватаетесь. А потом кулаком слезы утирать станете!» И депутаты-то наши тоже на батюшку стали кивать: «Недаром, мол, отец Федосей скорбит! Да и барин не снисходит!» И стала брать нас

оторопь, ро́дная ты моя! Потому стращать — стращают, а сами депутаты ни дня, ни ночи покою не знают; — шмыгают и в город, и к батюшке, и к барину. «Не мутят ли, мол, и тут чего-нибудь? .» Пошло по всей линии сомнение, стали было думать, как разузнать? Ан, ро́дная ты моя, третьего дня, вот как мы с тобой едем, так трое суток назад, стало быть, в среду, вся ихняя язва-то и открылась! Прикатил купец Камилавкин из города в волость, да прикатил-то, может, получасом раньше, чем живорезы-то наши собрались, да и отрапортовал: «Имение уж, говорит, куплено у барина, только купили его не всеми деревнями, а конпанией, товариществом. Ваши депутаты да прочие, у кого деньжонки есть, вот это и есть товарищи!» И наш изменник в той же компании! «А я, — говорит купец-то, — лес у них, у компаньонов, за десять тысяч приторговал! Эти деньги пойдут барину в задаток... Теперича вот приехал поглядеть лесок, денька чрез три-четыре и денежки отдам, а в скорости и опять приеду лес рубить, вас в работники нанимать!» Ка-ак зарезал нас купец этими словами! Пришибло нас всех по всей округе! И ведь всё нашим именем орудовали. «Бедные, говорят, мужички, цена велика, сбавьте, ваше сиятельство!» И ведь сбавил! Поверил! Потом пришли к барину, отказались от мирской покупки: «Не одолеть, говорят, нашим мужикам! Уступите, говорят, ваше сиятельство, товариществу; мы, мол, тоже крестьяне, всё своего брата поддержим!» Да и предали нас на съедение! .. Вот, ро́дная, племя-то чортово какое развелось!

У извозчика выступили слезы на глазах. Анна Петровна была в полном изнеможении.

— Когда был купец? — бессильным шопотом спросила она.

— Третьего дня, ро́дная, третьего дня!

— А может быть, задаток и не отдан еще?

— Задаток-то, пожалуй, и не отдан, да чего сделаешь теперича? Уж лес продали!

Минута была роковая в жизни двадцати пяти деревень. Одна эта минута — и надежды сотен людей облегчить свое изнурительное существование должны замереть в них навсегда; перед ними и перед их подрастающим поколением ничего иного уж не будет,

кроме безысходной тяготы неблагодарного, изнурительного труда. Что бы мы, читатель, сделали с вами в такую роковую минуту? Разве мужики не рассказывали нам, при наших случайных встречах с ними, чего-нибудь подобного? Много мы ощущаем страдания, много ворчим, клянем всех и вся, ропщем на себя, на Бисмарка, на Европу, даже в конце концов додумываемся до мысли о самоубийстве, всякий раз, когда нас потрясет какая-нибудь ошеломляющая бессмыслица нашей жизни, но и только! Не такова была Анна Петровна.

— Но задаток, может быть, еще не отдан? — трепещущим голосом повторила она, как бы про себя. Щеки ее зарделись лихорадочным румянцем, и, не дожидаясь ответа ямщика, она решительно сказала ему: — Вези меня к барину! Слышишь? Далеко он живет?

Ямщик остолбенел и глядел на Анну Петровну со слезами на глазах и с открытым ртом.

— Слышишь? Далеко ли живет барин? Где усадьба?

Анна Петровна стала теребить его за плечо, опять стучала зонтиком, и через несколько секунд столбняка, ямщик сразу пришел в неописанное волнение.

— Поедешь? — дергая и уже настегивая лошадь и задыхаясь от волнения, с испугом и радостью прогудел он глухим голосом: — Скажешь? А мо... а может... Бо-бог?

И он драл и гнал лошаденку.

— Вези прямо к барину! Если не дан задаток, можно все поправить! Надо рассказать?

— Скажи, ро́дная, скажи!..

И драл и драл клячу.

Кое-как, во время этого неистовства над клячей, Анна Петровна узнала, что до усадьбы восемь верст в сторону от ближайшей деревни, до которой оставалось версты три. Она сообразила, что на этой кляче ямщик ее не домчит, объяснила отуманенному огромным значением роковой минуты ямщику, чтоб он прямо мчал в тот двор деревни, где есть свежие лошади, и что она там умоется и оденется, потому что пыль уже густым слоем лежала на ее лице и одежде.

— Что, ребята, не проезжали депутаты к барину? — орал ямщик, несясь по деревне, до которой, наконец, доехали.

— Не! — орали ребята.

— Слава тебе, царица небесная! Не проезжали! Запрягай скорей! Едет барышня к барину! Всю правду скажет!

Мигом была запряжена другая телега, мигом умылась, оделась, причесалась Анна Петровна и, в компании с старым ямщиком, который присел на облучок, помчалась к барину. Анна Петровна и сама бы не могла рассказать, каким образом она добралась до владельца богатого имения; таких мелочей она даже и не помнила и только замерла сердцем, когда, наконец, увидела барина и должна была спросить его:

— Вы... получили задаток за землю?

— Нет! — изумленно глядя на взволнованную женщину, коротко ответил барин. — Еще не получал. Сейчас должны быть...

Анна Петровна сразу ослабла и без приглашения опустилась, почти упала в кресло, ноги у нее подкосились.

— Вас обманули... Вам говорили: «крестьяне не могут купить, бедны!..» Сбили цену!.. Крестьяне могут, могут! Вас обманули!

Владелец не успел даже и сообразить еще, в чем дело, как Анна Петровна уже с необычайным волнением, со всею непритворною искренностью огорченного сердца, заражая слушателя своим гневом против кулацкой подлости, наглости, обмана, торопливо и спешно рассказала ему всю предательскую историю. История изумила владельца. Кулацкая гнусность оскорбила его. И он, не сообразив и не подумав, кто всё это ему сказал, и кто пред ним сидит, и почему эта «стриженая» вмешалась в его и крестьянские дела, а единственно только из ненависти к злу, которою заразила его чистосердечнейшая мольба Анны Петровны, с искренним негодованием произнес:

— Ах, негодяи! Ах, Колупаевы! Надо сейчас дать знать в банк!

— Я поеду сама! Я скажу! Я сама сейчас!

— Но как же так?

— Я скажу! Вы только прогоните этих обманщиков! Прогоните и приезжайте!

Широкий ямской тарантас на лучшей тройке с лучшего постоялого двора, весь битком набитый «конпаньонами», товарищами, во всю мочь мчался к имению того самого барина, откуда уже выехала Анна Петровна. Веселы и шумно-разговорчивы были эти новые образчики будущих рабовладельцев, и сияли их лохматые лица так же ярко, как и красные рубахи.

— Вот и наш Иуда-предатель! — возопил старый ямщик, когда мимо телеги, на которой ехала Анна Петровна, промчалась эта кулацкая орда. — Вон он ноги свесил наружу, бороденкой трясет, дьявол!

Орда выпучилась проницательными взорами на этих проезжих, удивилась радостному тону мужика, который заклеймил изменника, и промчалась, умчав с собой звуки еще нескольких недобрых слов:

— Прозевали!

Эти неприветливые слова гаркнули им все мужики, облепившие телегу, на которой ехала Анна Петровна. Кроме старого ямщика, на эту телегу уселось с краев еще человека четыре крестьян, все без шапок, все босиком и все в радостном возбуждении.

Среди их радостного галдения не замолкал и радостный голос Анны Петровны, прерываемый иногда кашлем.

Скоро голос этот слышался уже в комнате председателя Крестьянского банка, слышался и в канцелярии, и везде сердечность каждого слова, сказанного Анной Петровной, была как бы знаком того, чтобы на эти слова сходились люди с таким же простым, но деятельным сердцем, какое слышалось даже в тоне речи Анны Петровны. Не расспрашивали ее, кто она такая, но прямо чувствовали, что дело, о котором идет речь, возмутительное и нельзя допустить, чтобы оно было выполнено. Искреннее сочувствие выказал председатель, заскорбел и бывший в присутствии «хороший человек», хотя и посторонний банку, какой-то Николай Петрович; и его, постороннего, взяло за живое, и еще Андреян Егорович пришел из канцелярии, и тот «вышел из себя», и таким образом дело пошло в ход.

— Да мы на моих лошадях поедем, — сказал Николай Петрович, обрадовавшись, что он неожиданно «ожил», хотя, конечно, пять минут назад и подозревать

не мог, что его умчит по каким-то делам какая-то Анна Петровна. — Я их знаю, этих мужиков! — радостно говорил он, чувствуя, что «положительно» следует действовать.

— Чего же вы смотрели?

— Так ведь...

И сначала едут Николай Петрович с Анной Петровной, берут на подмогу старого ямщика, переезжают с ним из деревни в деревню, объявляют об обмане. А потом, вместе с владельцем, едет уж и чиновник Крестьянского банка, оба они составляют в каждой деревне особые приговоры, и дело принимает законный ход. Убедившись, что дело кончилось благополучно, Анна Петровна опять нанимает старого ямщика, садится в его телегу, кладет туда сумочку, связку книг и продолжает путь к матушке.

А скоро в газетах появляется известие, что «в такой-то губернии, в такой-то волости, 25 деревень всем миром, без всякого изъятия хотя бы одного из его членов, купили у графа Н. до трех тысяч десятин земли, с быстротой и точностью разделили ее, сразу ожили, подняли свое хозяйство и на нескольких десятках десятин земли, которая осталась от общего передела, вздумали устроить мирскую сыроварню».

Но прежде, нежели в газетах появилось это известие, становой пристав Буцефалов, жених дочери отца Феодосия, покинул свою невесту и предпочел вступить в брак с купчихой Коробейниковой.

2

Животворные последствия горячего порыва чуткого сердца Анны Петровны оказались также животворными и не в одной Семеновке, где внукам и правнукам завещано вечно поминать на каждой молитве Анну Петровну за здравие. Животворное значение получила сущность этого порыва и в среде людей совершенно иного положения, людей, бедствующих не от материального изнурения, а от изнурения и истощения нравственной, духовной жизни. Произошло это второе оживотворение так же неожиданно и случайно, как и первое. Анна Петровна, уезжая к матери «отдохнуть», не думала не гадала, что ей по пути предстоит осчастливить семеновцев. Не думал и не гадал податной инспектор Гаврилов, от-

правляясь после театра в «Малый Ярославец» с единственною целью «хорошенько подзакусить», что и ему придется кого-то оживотворить рассказом о подвиге Анны Петровны, которой он даже и не знал, о которой только слышал что-то, а что слышал, давно позабыл.

Первая «неожиданность», совратившая Гаврилова с истинного пути «к буфету», была неожиданная встреча старых товарищей, людей, которые не видели друг друга не менее двадцати лет и совершенно случайно сошлись после театра в «Малом Ярославце». Казалось бы, что после такой продолжительной разлуки встреча должна быть радостная, задушевная и беседа оживленная, но вышло не так; встретились задушевно и радостно, но оживленной беседы не состоялось, и это — вторая неожиданность для податного инспектора, а из нее и произошло все последующее..

Все эти собеседники давно не помышляли о прошлом, утратив в своем сознании все его значение и смысл и находясь только под впечатлением настоящего. «Настоящее», казалось им, всеми способами стремится к тому, чтобы стереть с лица земли людей ихнего поколения, и, думая так, они имели на то весьма существенные основания.

С половины шестидесятых и все семидесятые годы все эти старые товарищи были очень близки друг к другу. Почти все они были большею частью в Петербурге, а если и разъезжались по разным концам России, то все-таки ни на минуту не теряли между собою взаимной связи. У всего тогдашнего молодого поколения было большое и действительно *общее* дело. Составитель учебника для сельской школы, копошась над этою новою и трудною работой в холодной, нетопленной каморке на Петербургской стороне, не мог ограничиваться только изложением своего предмета, арифметическую задачу нельзя было без всяких изменений перепечатать из гимназического учебника в народный. «Локомотив, который пробегает в час столько-то верст», надо было заменить телегой, на которой Ермолай вез хлеб на мельницу, следовательно, надобно было много думать об общем строе народной жизни.

Точно такими же целями руководствовался и не такой, повидимому, малый работник общего дела, как составитель учебника арифметики для народной школы,

а и такой крупный деятель, как председатель губернской управы. Он отстаивал крупные, основные вопросы: реформы налогов, земельное управление, кредит, деревенское самоуправление, сход, суд, и во всем этом лежало одно и то же основное начало, проникавшее все частности земского дела и все их объединявшее, именно начало обновления жизни, обезличенной бурмистрами, самостоятельным старанием народных масс о собственном и взаимном благополучии. Дела большого, а главное, *общего* было много как для маленького человека, так и для большого.

Но идея не успела даже и начать осуществляться на деле, как угрюмая, сердитая старина стала ему поперек. С успехом, совершенно непропорционально громадным сравнительно с успехом дела составителя учебника, дела земца, эта старина с первых же дней реформы направила всю свою стихийную силу на то, чтобы не дать ходу молодым побегам жизни. Самые неистовые, явные хищничества, земельные, банко́вые, железнодорожные, торжественно, безбоязненно, победоносно предъявляют себя молодому поколению ежедневно, в течение многих и многих лет. И в то же время корреспонденция сельского учителя, направленная против сельского хищника, губила этого корреспондента и нимало не вредила хищнику. Немудрено, что такое продолжительное несоответствие добрых и злых течений в нашей жизни разрешалось тою ужаснейшею *истерикой*, которая надолго пришибла сплошь все русское общество. Люди, по тем или иным причинам устоявшие или устранившиеся от истерической эпидемии, стали понемногу разъединяться друг от друга, стали подумывать чаще, чем прежде, «о хлебе» и о тихом пристанище.

Вот, по всем этим основаниям, понемногу разъединялись друг от друга и те «старые товарищи», которые спустя долгие годы встретились неожиданно в «Малом Ярославце». Все они уже большею частью служили, но старались выбирать такие места, где им не скажут примерно следующего: «Ваш доклад написан прекрасно. Но поставьте, пожалуйста, частицу *не* там, где у вас сказано в утвердительном смысле, и тогда будет именно так, как следует». Предпочитали они поэтому такого рода места,

где не требовалось ни мнений, ни убеждений служащего, а платились деньги только за механический труд: банк, счетное отделение в железнодорожном управлении, статистический комитет, словом, такие места, где главную роль играют счеты, записывание цифр и возможность совершенно свободно размышлять о том, что из этих цифр вышло, хотя размышлять и *молча*. Что ж? молча можно с полным беспристрастием и неустрашимостью раскритиковать или разоблачить какую-нибудь плутоватую цифру и, благодаря этому, можно не продавать за чечевичную похлебку своих взглядов и убеждений. И точно, если даже теперь, при полном, повидимому, разъединении старых товарищей, забредет к кому-нибудь из них письмо, также от какого-нибудь старого товарища, но во сто раз более, чем они, несчастного, все они не отложат в дальний ящик дела о помощи, или хлопот по иным его просьбам, и сделают все, что нужно, все, что возможно в их положении.

Но с годами и эта возможность хоть немного «ожить» в каком-нибудь сочувственном деле стала все более и более уменьшаться, и то, что в них осталось истинно хорошего, непроданного за хлеб и неизменного, все это большею частью практиковалось только в узких пределах собственной семьи. Семьи их, большею частью сложившиеся уже не в молодых годах, после многочисленных и трудных испытаний, передряг, страданий, в большинстве случаев возникали из искренно сознанной привязанности, сознательной любви, которая и береглась ими свято и нерушимо. Такие семьи тщательно берегут личную самостоятельность друг друга, берегут чуткую совесть своих детей и, конечно, тревожатся об их участи.

Вот почему те из случайно встретившихся старых товарищей, кому бог дал устроить, наконец, себе «тихое пристанище» как в заработке, так и в семье и которые по совести решили, что теперь единственное и существенное их дело — «семья» и «дети», — первым делом, при их случайной встрече, конечно, прежде всего хотели бы говорить о семье, о детях. Но их прошлое само собой заградило путь к этой искреннейшей беседе: с полнейшей ясностью оно напоминало им о том, «какие они были», оно напоминало об этом их внешностию (сединой, а то и лысиной), их теперешним положением, удовольствием жить

в «тихом пристанище». Припомнив те прекрасные дни «юности», которые им было радостно вспомнить, вся последующая жизнь припомнилась им лишь в тяжких воспоминаниях, вызывала в их памяти гораздо больше черного, чем белого, и вот почему шумный разговор собеседников, неизбежный вообще при случайных встречах старых знакомых, на этот раз не мог быть оживленным и не сулил этого оживления в дальнейшей беседе.

К счастью их, неожиданно нашлась было весьма благодарная тема для общего разговора; некоторые из этих старых товарищей, а ныне податных инспекторов, чиновников при Крестьянских банках, служащих в железнодорожных управлениях и т. д., пользуясь отпуском в Петербург, не преминули побывать и в театре, видели драму «Иванов», и так как о ней много говорили, то и они нашли возможным по поводу нее коснуться вообще состояния «современного общества». Не растревоживая, таким образом, личных воспоминаний своего прошлого, они получили возможность высказать то, что в своих банках и управлениях они *молча* думали о настоящем.

И первое время разговор на эту тему как будто бы и действительно оживился.

— Ловко он схватил все это безобразие! Отлично!

— Живо, верно, чудесно! — слышалось с разных сторон.

А железнодорожный служащий, по фамилии Усачов, немного уже охмелевший, задумал было придать разговору шутливое направление и тоном легкой насмешки сказал через весь стол растолстевшему статистику Кондратьеву:

— А? Михаил Петров? А? Брат? До чего мы дожили-то? Михаил Петров? Слышишь, что ль?

— Слышу, слышу! — отвечал ему Кондратьев, — что такое? до чего дожили?

— «Давай с тобой кувыркаться!» Помнишь, в первом действии?

— Что-о-о? — в недоумении отозвался было и податный инспектор Гаврилов, больше всех поседевший, но меньше всех прикасавшийся к стакану. — Кто? Что?

— Умнейшая, братец ты мой, женщина! — иронизируя

и соболезнуя, продолжал Усачов. — Женщина, которая из-за убеждения — понимаешь ли? — из-за известных целей, конечно высших, переменила веру, бросила семью, состояние, пошла за человеком принципа. И теперь, в наши времена, до того все это в ней иссякло, что она этому самому Иванову, мужу, предлагает иногда *от скуки* кувыркаться! «Вели принести сена и давай с тобой кувыркаться!» А? Это Сарра-то, которая шла на подвиг! И ведь когда ей в голову-то пришло? Ведь перед смертью, ведь она умирала уже! Каков успех-то? А ну-ко и мы с тобой так-то... помрем «кувырком»? Ведь доживают люди? Почему ж мы-то? Разве наша жизнь умнее?

Но шутливая речь Усачова не имела успеха. Растолстевший статистик омрачил ее и тоном речи и самой речью.

— Нет, друг любезный! — сказал довольно сурово Михаил Петрович Усачову. — Дожили, действительно дожили до такого безобразия, какое представлено в драме «Иванов», это верно! но какие-такие люди дожили до такого состояния — этого я, кажется, не понимаю; я даже вот что тебе скажу: объяснять причины такого бессмысленного существования известной части общества тем, что некоторые из этих страдальцев погибают от слишком напряженной общественной деятельности, — это значит с больной головы валить на здоровую!

— Это, брат Михайло, верно! — все более и более обмягчаясь благодаря постоянно пополняемому стакану, уже почти лепетал Усачов. — Верно, Миша! Не присваивай чужого имущества!

— Погиб и развалился вдребезги, превратился в прах от слишком напряженной деятельности! — уже с некоторым негодованием в голосе продолжал Михаил Петрович. — Слишком страстно предался, видите ли, устройству школ каких-то, вероятно ссудо-сберегательных товариществ, словом, изорвался в любви к ближнему до того, что, будучи земским гласным, не может ехать в собрание, а предпочитает отдохнуть от своих ужаснейших разочарований все-таки при *ней*. И ведь читает советы: не женитесь на женщинах с убеждением, не суйтесь в реформы, все это прах, все это доводит до бессмысленного состояния. И газеты то же твердят: «Самопожертвование довело до бессмыслицы!»

— И ведь всего только «год тому назад» Иванов был «поглощен» кипучей деятельностью! [1] — с тонкой насмешкой проговорил «служащий в Крестьянском банке», все время неразговорчивый, но не скучный и внимательный слушатель.

— Да! — рассердился уже совсем Михаил Петрович. — «Я, — говорил Иванов, — год тому назад был необыкновенно оживлен деятельностью». [2] А Сарра считает не год назад, а три года. «Три года назад, говорит, он был совсем другой!»... Числа-то даже перезабыли!

И вслед за тем началась скучная и томительная речь и именно об этих безобразиях жизни. Оживленная беседа положительно не удавалась, чему немало способствовал «служащий в Крестьянском банке», неожиданно перенесший разговор о современном обществе в такую таинственную область, что даже и скучные разговоры иссякли, замерли, и слушатели были почти окончательно помрачены.

— Жизнь этих людей, — глубокомысленно проговорил он, соображая о чем-то важном, — это не жизнь! Это... *гипноз!*

Этих страшных слов было совершенно достаточно для того, чтобы даже Усачов окончательно замолк и забыл про то, что надо доливать стакан. Но оратор, убедившись, что все общество находится в столбняке, нашел этот момент весьма удобным для того, чтобы прочитать сотоварищам целую лекцию о гипнотизме, тянувшуюся не менее как полтора часа. Пересказывая все, что происходило

---

[1] Из драмы «Иванов»... «Если когда-нибудь в жизни тебе встретится молодой человек, горячий, искренний, неглупый, и ты увидишь, что он любит, ненавидит и верит не так, как все, работает и надеется за десятерых, сражается с мельницами, бьется лбом о стены, если увидишь, что он взвалил на себя ношу, от которой хрустит спина и тянутся жилы, то скажи ему: не спеши расходовать свои силы на одну только молодость, побереги их для всей жизни; пьяней, возбуждайся, работай, но знай меру, иначе жестоко накажет тебя судьба!» (Действие IV, явл. IX.)

[2] Действие III, явл. VI: «...Еще *года нет*, как я был здоров и силен, был бодр, неутомим, горяч, *работал этими самыми руками,* говорил так, что трогал до слез даже невежд, *умел плакать*, когда видел горе, возмущался, когда встречал зло. Я знал, что такое вдохновение, знал прелесть и поэзию таких ночей, когда от зари до зари сидишь за рабочим столом или тешишь свой ум мечтами. Я веровал, в будущее глядел, как в глаза родной матери... А теперь, о боже! утомился».

на этом товарищеском вечере, я никак не могу пропустить и этой длиннейшей лекции, но постараюсь пересказать ее в самом кратком виде.

Прежде всего он обратил общее внимание на *свойство* и *качество* гипнотического *сна.*

— Такой ли это сон, каким спит дворник Егор, сидя зимой у ворот? Всякому известно, что не только приказание или «внушение»: «Егор, отвори!» — не действует на Егора, спящего у ворот, но что если и палкой его потолкать, и даже за воротник шубы потрясти довольно энергически, да притом же непристойно повторять во всеуслышание всей улицы: «Егор, отвори!» — и то Егор не послушает этих внушений и будет спать до тех пор, покуда не будет приподнят за тот же воротник усилиями обеих рук вопиющего к нему человека. Не так спит субъект загипнотизированный. Он засыпает не по требованию всего организма, не исключая и желающего отдохнуть *сознания,* а именно только одним *сознанием.* Желая довести человека до гипнотического сна, стараются удалить из всего многосложного механизма, называемого человеком, только *одного этого хозяина,* повелителя над всем этим огромным хозяйством, именуемым человеческою жизнью, и действуют при этом именно так, чтобы *сознательная* деятельность хозяина и повелителя сошла на нуль, сосредоточилась на бессмыслице, на пустяке, от которых хозяин уходил, не понимая ее: показывают светящуюся точку, «сосредоточивают» внимание на кольце, на камне в перстне, просят *ни о чем не думать,* кроме предлагаемой бессмыслицы. Сознанию нечего делать с бессмыслицей, и оно уходит; тогда человеку, у которого уже *нет царя в голове,* говорят «спи!» — и он остается в ту же секунду вполне *без* малейшего *сознания самого себя;* но организм его вовсе *не спит:* он видит, слышит, ходит и делает все, что ему *прикажет* — уж не собственный его хозяин, *царь его* собственной *головы,* а всякий чуждый ему хозяин, всякая чужая воля и мысль; его живое бессознательное тело, его живой, но без царя в голове, организм не только воспринимает беспрекословно всевозможные, не от него идущие впечатления, но откликается даже и на неосязаемые влияния: магнит, коснувшись этого живого трупа северным полюсом, коверкает его в страшных судорогах, тогда как прикосновение южного полюса раз-

ливает во всем его организме ощущение чего-то необычайно радостного и приятного. Когда же этому рабу внешних впечатлений говорят: «проснись!» — он опять оживает «с царем в голове» и видит в стуле стул, а не преступника, теперь его нельзя заставить убить, заставить украсть, теперь он скажет: «не хочу!», «глупо!», «подло!», теперь его хозяин, царь, царствующий над всем достоянием его естества, оберегает свое право сопротивления внешним впечатлениям, отгоняет иные из них, другие берет, хранит, бережет.

— Такие-то минуты бывают и вообще в жизни человеческой, когда сознанию человека обрезаны крылья, когда хозяин божественного механизма почти бросает хозяйство, и тогда живой труп начинает жить не сознанием впечатления, а *ощущением* впечатлений... Люди, изображенные г. Чеховым, живут только *ощущениями*. Они выросли и жили именно в то время, когда сознательная жизнь все убывала и убывала...

Некоторое время вся компания находилась как бы в самом непробудном гипнотическом сне. Но когда «служащий» замолк и, находясь несколько в возбужденном состоянии, налил себе стакан вина, то сотоварищи как бы проснулись, вспомнив, что и они забыли про свои стаканы, и скоро, пробужденные от сна, шумно стали сообщать собственные свои комментарии на эту лекцию.

— Помилуйте! — вопиял кто-то, покрывая все голоса, — все снято с плеч, все! Никто ни в чем не ответствен.

— Если бы «хозяин» в моей голове жил, как подобает хозяину, принимая одно, отвергая другое, я бы боролся с тем, что мой хозяин не принимал, отвергал. В этом и жизнь!

— А теперь магнит действует: пришел к Иванову южный полюс в амазонке и развеселил, а тарелка с объедками на письменном столе рассердила и огорчила.

— А жена-то взбесила? Северный полюс! Точь-в-точь, как северный полюс судороги производит. А та, южный полюс, весела, и Иванов весел, и весел даже тогда, когда жена умирает на его же глазах!

— Всю беду валят на страстность в труде «для общества»? — почти с ожесточением уже гремел Михаил Петрович. — Это «жертвы ошибки» — жить во имя общего счастья? Можно исчахнуть от тоски, но не потерять сознания!

И затем Михаил Петрович стал рисовать картину страданий людей своего поколения. Не замедлили присоединиться к нему и другие товарищи с своими воспоминаниями, но, начав речь о том, что убеждение не гаснет в самых тяжких препятствиях, идущих ему наперерез, незаметно стали припоминать только одни препятствия. Общая картина невознаградимых страданий, вместе с тягостными картинами жизни, о которых шла речь, благодаря драме «Иванов» положительно привела всех опять в самое тяжелое душевное настроение. Стали пить мрачно, говорить злобные речи.

Вот тут-то податному инспектору и стало «невмоготу».

Показалось ему, что из речей собеседников оказывается, будто уж и свету ниоткуда не видно, тогда как он постоянно убеждался, что это не так.

И вдруг он вспомнил молву про Анну Петровну и рассказал о ней первое, что ему вспомнилось.

— Я сную по всей губернии из конца в конец, — пояснил он свой рассказ, — вижу тьму всякого народу и постоянно убеждаюсь, что плодится и множится у нас на Руси тип простого, доброго человека, который воистину любит ближнего, *как самого себя.* Прочитайте в газетах известие о каком-нибудь хорошем деле на пользу общую, — знайте, что без доброго человека, без Анны Петровны, дело, наверное, не обошлось. Пока — добрый, незаметный человек только еще стережет худое и мертвое дело и делает живое дело там, где придется и случится. Но придет время, живое дело потребуется в больших размерах, и «верный в малом» несомненно «и во многом будет верен». А раз у нас потихонечку множатся добрые люди, Анны Петровны, как же смеете вы, старичье вы преунылое, выть и скрежетать о вашем мучительном прошлом и лжесвидетельствовать, будто бы оно миновало, не оставив следа, и что якобы ничего не вышло? Вышло и выросло! И ничего не пропало! Вышли и выросли Анны Петровны, выросли тысячами и сотнями тысяч, а поживут они, вырастут и целые тьмы!

Осушив, вслед за этим гимном Анне Петровне, целый стакан кахетинского, чего с Гавриловым вообще не бывало, он уже не имел никакого сомнения в том, что облыселое, поседелое, отолстелое и одряхлелое «старичье», унылое и омраченное до рассказа об Анне Петровне,

действительно и, так сказать, бесповоротно просияло детскою радостью, ожило и воскресло из мертвых.

Нельзя было сомневаться в этом еще и потому, что лакей гостиницы «Малый Ярославец», очень скоро после воскресения «собеседников» из мертвых, попросил этих господ немного «потишеть», так как в соседнем кабинете дамы «обижаются», и что если им угодно, то можно отвести другой кабинет, в отдаленном месте. И в другом кабинете старичье не унялось, и не могло оно уняться до белого света, потому что вся прошлая жизнь теперешнего «старичья», омраченная в последние годы непрерывным сознанием ее бесплодности, безрезультатности, пожалуй, даже причинности царящей в обществе апатии к общественному делу, — теперь эта прошлая юношеская жизнь их благодаря рассказу об Анне Петровне воскресла в их сознании с настоящим ее смыслом, дала возможность ощутить в себе в тягостную минуту жизни каплю искреннего сознания, что прошлое, хотя и утраченное, не было ошибкой, заблуждением и что оно принесло даже видимо хорошие результаты. А это большое счастье для человека, оканчивающего жизненный путь!

И действительно, после рассказа Гаврилова точно гора свалилась с плеч у всех собеседников. Вспомнилась светлая сторона трудных времен, тяжкая жизнь, согретая горячим желанием относиться к ближнему, *как к самому себе,* и все, что оставалось в их сердцах живого и нетленного, все вышло на белый свет и широко распахнулось.

— Дамы обижаются! — опять вопияли лакеи.

— Михайло! — гневался буфетчик, — скажи им! Что это такое?

— Не слушают, Иван Матвеевич!

Около шести часов утра на Большой Морской слышны были даже возгласы:

— Городовой!

Но в конце концов этот неожиданно сделавшийся приятным вечер никто из сотоварищей (опять разъехавшихся и разъединившихся по своим «местам»), надо думать, долго не забудет.

НЕВИДИМКА АВДОТЬЯ

(Из записок служащего «по найму»)

1

...Первым делом по приезде моем в г. N была, разумеется, необходимость найти квартиру. Приятель мой, служивший в N-ском обществе взаимного кредита (он-то и переманил меня в N из г. ***, где я служил на железной дороге), зашел за мною поутру в скверненький номерок «Славянской гостиницы», и мы вместе отправились на поиски. Сначала, конечно, некоторое время мы употребили просто на обзор «нового» города, но когда оказалось, что он точь-в-точь такой же, как и тот, из которого я приехал, только дома и церкви, совершенно похожие на дома и церкви старого моего пепелища, расставлены в ином порядке, чем там, — тогда мы, в сотый раз убедившись в однообразии наших губернских и уездных местожительств, усердно приступили к неотложному делу, — и вскоре квартира была отыскана.

Здесь я должен сказать два слова о себе и о своих записках, чтобы читатель знал, с кем он имеет дело и какие именно записки придется ему читать. Я человек, как говорится, маленький. С семнадцати лет, едва окончив гимназию, я принужден был «кормить» большую семью, оставшуюся «без средств» после смерти отца. С семнадцати лет я должен был служить, то есть *наниматься* на то или другое место, за то или другое вознаграждение, и, разумеется, размеры вознаграждения имели в жизни моей большое значение: живешь-живешь где-нибудь, получаешь рублей пятьдесят, вдруг какой-нибудь приятель пишет — «приезжай! есть место на семьдесят!», и волей-неволей приходится разрывать начавшиеся в г. N знакомства, а потом опять, от какой-нибудь прибавки в несколько десятков рублей, снова разрывать их. «Наемному» человеку, понукаемому нуждой, нельзя иначе и поступать.

Скучна и холодна такая жизнь, и вот такою-то жизнью я прожил тридцать пять лет, выжидая, покуда подрастут братишки и сестренки и получат возможность сами добывать себе хлеб. Из этой автобиографии читатель может видеть, что записки мои не могут обещать чего-либо осо-

бенно занимательного; жизнь прошла среди смешанной толпы таких же почти «нанимающихся» на разные работы людей, как я сам, но все-таки это была жизнь; все-таки кое-что я переживал душой, кое-что меня сильно волновало, занимало, а иной раз и до слез трогало. Вот я и хочу, от скуки, от нечего делать и, пожалуй, частию оттого, что литературная работа доставляет мне гораздо более удовольствия, чем работа над банковыми книгами, записать кое-что из моих воспоминаний, и если начинаю с г. N, а не с г. *** или с какого-либо другого места моей разнообразной служебной географии, то просто потому, что мне почему-то кажется, будто так будет лучше. Я собственно не знаю, «с чего начать?», и начинаю поэтому с чего-нибудь.

2

Итак, я при помощи товарища нанял квартиру со столом, в две комнаты. Ход в эти две комнаты был со двора, совершенно отдельный от хозяев, и квартира сообщалась с хозяйской половиной только чрез кухню. Оказалось, что месяца два тому назад эти две комнаты занимал сам хозяин, «отставной чиновник, ходатай по делам», отец многочисленного семейства, которое все теснилось в другой половине маленького дома, выходившей окнами на улицу. Ровно два месяца тому назад ходатай по делам и отец многочисленного семейства, отправившись с какими-то доверителями-купцами в уездный город на «мировой съезд», вывалился из тарантаса, причем случилось как-то так, что доверители навалились на него, а на доверителей навалился тарантас; может быть, к тому же, кто-нибудь из них был пьян, а может быть, и все они, не исключая ямщика, были под хмельком, — точных подробностей никто не знал, даже и из семейных, но в конце концов ходатай по делам оказался мертвым, один из доверителей опасно ушибленным, а другой доверитель и ямщик кое-как добрались до города и объявили семейству ходатая по делам:

— Помер хозяин-то!

Хозяина привезли, похоронили, и многочисленное семейство осталось без хозяина, то есть нежданно-негаданно, от какой-то случайности, образовалась целая куча народу, и взрослого и маленького, без средств, без цели

жизни, без знания жизни, словом, без кормила и весла. Такая крайняя беспомощность, неизбежный результат семьи, в которой на первом плане фигурирует *«глава»*, а все остальное толчется только вокруг этого самого *главы*, хорошо мне знакома; и потому едва хозяйка дома, показывая комнаты, отдававшиеся в наем, со слезами на глазах рассказала историю с тарантасом, а главное, едва я увидел эту недоумевающую толпу женщин и детей, толпившихся в дверях, как мне тотчас, и протом совершенно ясно, представилось и прошлое этой семьи и ее настоящее.

Не было никакого сомнения, что «покойник» был истинный кормилец и подпора всего этого люда. Разумеется, он, как говорится, «пер на своей шее» тяжелую ношу расходов, добывал деньги на эти расходы, как и где мог, думал об этой добыче день и ночь, брал ее где нахрапом, где поклоном, словом, работал в поте лица, но работал только потому, что чувствовал на своей шее «обузу». Очевидно, что он и отгородил себе эти две отдельные комнатки для того, чтобы ему эта «обуза» не докучала. Он доставит ей поросенка, притащит рыбу, купит кусок холстины, материи, словом, все сделает, потому что на нем «хомут» и нельзя не идти в хомуте, когда «обуза» толкает в спину, но, работая как вол, он делает это под непременным условием, чтобы в его дела «не совали носа». «Не суйся», «не лезь!», «не твое дело», «знай свое дело», «у меня и без вас есть об чем подумать» — вот требования и мотивы их, которыми непременно должно было руководствоваться семейство покойного ходатая. Мне представлялось, как он, добыв где-нибудь штуку материи, сунет ее жене, скажет: «на!» — и уйдет в свою половину читать бумаги, а жена и бабушка и дочь примутся рассматривать материю, хвалят рисунок, пробуют добротность, проектируют наряд и потом уложат материю в комод, оставаясь в полном неведении того, как она досталась «главе семейства», за какие труды, за какие дела. Покойник, очевидно, был вполне уверен, что «все они» ровно ничего не понимают (да это и действительно справедливо) и ровно ничего не поймут, если бы даже *«их»* собралось в двадцать раз больше, и что поэтому для всех *их* весьма достаточно просто сказать — «на!» и уйти. Очевидно было для меня также и то, что и семей-

ство покойного, начиная от бабушки до последнего ребенка, было твердо уверено, что ему именно не до́лжно совать носа в дела родителя и хозяина. Они твердо знали, что от «делов», какие делает этот родитель и хозяин, зависит все их существование, и что именно поэтому нельзя, невозможно мешаться в них. Надо всячески поэтому стараться угодить главе, посторониться от него, дать ему дорогу. И вот утром, когда хозяин и добытчик бегает и рыщет по делам, семья занимается тем, что «ждет» его к обеду, кой-чем убивая время (за чаем, за кофеем); после обеда добытчик спит, а семья «не суется» и ждет его к чаю, гадая на картах, сидя под окном и глядя на улицу. Идут года, семья растет, добыча становится труднее, глава уж не просто «прет в хомуте», а «воротит с корнем», а семья, видя это, совсем отвыкает понимать что бы то ни было, кроме нужд и желаний главы, предъявляемых «дома».

И вдруг — смерть! Нет главы, нет смысла ни в обеде, ни в ужине, ни за самоваром; невозможно объяснить, зачем собралась такая куча народу и почему для этой кучи ныне нет никаких денег? Что за безобразие такое? Разве так можно? Разве это справедливо?

Именно в таком невозможно беспомощном состоянии было семейство, в котором я нанял квартиру. Ни бабушка, ни вдова решительно не знали, что им теперь делать? Очевидно, покойник много работал для них и сумел добиться, что они «не знали нужды», но очевидно было, что и при покойнике и после него его семейные ровно ничего не понимали ни в жизни, ни в деньгах, ни в добыче их. Это обнаружилось при первом же посещении.

— Сколько же вы желаете за комнату? — спросил я вдову, длинную женщину с белыми глазами, из которых постоянно лились слезы.

— Пятьдесят! — пролепетала она, рыдая, и когда мой приятель, как говорится, «ахнул» от удивления и едва удержался, чтобы не сказать: «опомнитесь!», так вдова еще сильнее залилась слезами.

— Боже мой! — воскликнула она. — Но ведь нам нуж-жно?!

— Надо кормиться-то или нет? как по-твоему? — басом сказала бабушка, глядя на нас как на разбойников.

— Кормиться надо, только пятьдесят рублей — это невозможно!

— Невозможно! — басом произнесла бабушка. — А возможно не евши сидеть? Ты должен об этом подумать!

Вдова всхлипывала; дочь, девушка лет шестнадцати, полная, высокая (она пробовала держать экзамен в гимназию, но сконфузилась своего вполне уже женского роста и ушла) и, повидимому, добрая девушка, зарделась от «стыда» за бабушку, но, как мне показалось, что и она также не совсем хорошо понимала: почему нельзя платить пятидесяти рублей, когда они нужны?

После долгих переговоров кое-как уговорились. За тридцать пять рублей в месяц квартира была нанята со столом.

— Ну, бог с тобой! — заключила торг бабушка. — Живи!

— Что делать! — глубоко вздохнув, произнесла вдова, вытирая глаза, — делать нечего! Когда нельзя больше, что же я могу? Но только вы уж, пожалуйста, дайте мне за пять месяцев! .. Уж...

— Помилуйте! Ведь это больше полутораста рублей! Мне таких денег взять негде!

— Нет, бога ради!

— Ей-богу, я не могу. Спросите у него (я сослался на товарища). Жалованье выдают помесячно.

— Ну, я вас прошу.

— Извините!

Я было хотел удалиться...

— Пожалуйста! — порываясь ко мне, продолжала хозяйка. — Если можно! Ведь вы служите? Где вы служите?

— В банке.

— Во-от! — загремела бабушка, как бы обличая меня.

— Вот видите! — обрадовалась вдова. — Неужели же вы не можете взять из банка? Неужели же они не поверят своему служащему? А мне, я вам откровенно скажу, ужасно нужно!

— Попроси, попроси хорошенько! — советовала бабушка мне. — Ан, глядишь, и дадут!

Надо было много терпения, чтобы доказать нуждавшемуся в средствах семейству всю невозможность этой операции. Да и то в конце концов никто из них не поверил нашим доводам, даже девушка, и та сомневалась

в том, что мы говорим правду. А бабушка только рукой махнула и уж не басом, а шопотом произнесла:

— Ну, бог с вами!

Затем вдова повела нас в свою половину, прося посмотреть продажный стол и поискать для него покупателя. Стол был круглый, окрашенный под орех, но цена ему была семьдесят пять рублей, потому именно, что вдове нужны были такие деньги. Наконец, гимназистик первого класса (одевал и платил за него какой-то купец, обязанный чем-то покойному ходатаю), сын вдовы, принес откуда-то из чулана какую-то «вещь», о которой никто не имел определенного понятия, не зная, зачем она, и все поэтому думали, что за нее можно взять «хорошие» деньги. Вещь оказалась старым большим вентилятором, у которого к тому же было выломано колесо. Вдова просила нас, не найдем ли мы покупщиков, причем она согласилась взять, «что дадут», не торгуясь, так рублей пятнадцать, но когда мы и тут отказали ей в своем содействии, то она вновь заплакала и, всхлипывая, едва могла проговорить:

— Чем же я буду жить-то, скажите вы мне, пожалуйста?

3

В течение нескольких дней по переезде на квартиру (я переехал в тот же вечер) я мог до некоторой степени обстоятельно изучить нравы и будничный обиход жизни моих хозяев. Положим, что в этом изучении ни для меня, ни для кого другого не было и нет особой надобности, но что же мне, нанятому одинокому человеку, и изучать-то, кроме того случайного общества, в которое бросает случайно полученный заработок? Хорошо, попадется книга, читаешь от доски до доски. А нет книги, лежишь, смотришь в стену и слушаешь, что за стеной. Все это, конечно, как отдых, после целого дня корпенья над бумагами и счетами. Вот таким образом и тут изучал я моих хозяев. Особливо мне бросилась в глаза одна черта, господствовавшая во всех их поступках и мыслях, именно лень. Лень одеваться, лень идти, лень двинуться с места, и в то же время упрек друг к другу в этой лени.

— Да двинься ты хоть на минуточку! — сидя на лежанке в другой комнате, упрекает бабушка барышню. — Видишь, Ванюшка плачет! Экая неповоротливая!

— Что мне двигаться с места на место? Там Ваня.

— А! Как же! — отвечает Ваня, — так я и буду бегать из угла в угол!

— О господи, — вопиет вдова многочисленного семейства, приютившаяся на диване. — Где это Авдотья?

— Авдотья! Авдотья! — звонко вторит барышня.

— Авдотья! — басом вопиет бабушка.

— Авдотья, тебя зовут! — телеграфирует откуда-то гимназист.

И целый хор людей, которым «лень подняться», начинает вопиять что-то к Авдотье.

— Что ты, барыня экая, оглохла? — басит бабушка.

— Звали, звали, звали!.. — колокольчиком звенит барышня, — а ребенок кричит целый час!

— Хоть бы одну-то, одну-то минуту дали спокойно отдохнуть! — слышится жалобный голос вдовы.

Иной раз они так «присидятся» к своим местам, кто к окну, кто к дивану, кто к печке, что сидят неподвижно по целым часам, по временам только вздыхая или зевая и почесывая кто плечо, кто спину, кто глаз. Сидят и молчат. «Не зажигай огня!» — слышу из-за стены. И тьма даже приятна и пригодна им. Что они, думают ли в такие минуты о чем-нибудь или просто отдыхают после главенства «покойника», не знаю, но всякий раз, когда мне приходилось вступать с ними в какие-нибудь разговоры, меня поражала в них еще и масса лени умственной. Необходимо сказать, что если в этаком истуканном состоянии заставал их гость, будь то и я (спросить — который час?) или кто-нибудь из старых знакомых, — ими моментально (в буквальном смысле!) овладевала какая-то необычайная суматоха, или, вернее, какая-то необыкновенная, нервная толкотня: и какой-то испуг, точно гость — удар молнии, и радость, точно гость принес двеститысячный выигрыш, — и вдруг все забормочут, засуются из угла в угол, застыдятся, перепугаются, словом, сразу, мгновенно произведут такую нелепицу, что решительно не понимаешь, что такое тут происходит? Что такое толкуют они, о какой-то и чьей-то бороде? Потом о масленице, о дяденьке Родионе Ивановиче... Только

очнувшись у себя в комнате, начинаешь догадываться, что̀ за причина такого непостижимого бормотанья? Изволите видеть: бабушке моя борода напоминала бороду Родиона Ивановича, барышня поспешила объяснить, как она на масленице гостила у Родиона Ивановича в Москве, а вдова тоже считала нужным дополнить, что Родион Иванович был третий брат ее мужа, от второго брака Ивана Родионыча, который по первому браку и т. д. Вот каким путем образовывался тот проливень слов, под которым я обыкновенно стаивал всякий раз, когда мне приходилось заглянуть к хозяевам. Стоишь и ждешь, скоро ли кончится.

Но, с другой стороны, хотя они и могли трещать и чирикать по-птичьему, и даже с некоторым успехом, но «думать» решительно уже не были в состоянии. Всего менее была способна к какой бы то ни было мало-мальски логической мысли — бабушка. Уж, кажется, как бы такому старому человеку, у которого есть внучата, которая «прожила век», вынянчила, вывела в люди и пристроила детей; как бы такому человеку не привыкнуть к крепкой думе? — а между тем она не могла связать и двух мыслей. Об чем бы ни начинал я с ней речь, всегда ее ответы были совсем ни к чему не подходящие. Скажешь, например: «Дорого жить стало!» А бабушка (и всегда с сердцем!) ответит: «Дорого! А... не дорого, вон... тоже... один... какой-то прохвост, прости господи, с железной дороги, на трех женах женился, да и развез их по разным городам! Небось не дорого?.. да!» Скажешь ей на это: «Да я не о том говорю»... — «Ну да! Не о том! А о чем же? Нонче все больно разговаривать-то хитры стали (и всё с сердцем, даже всем тучным телом двигает!). Разговаривают, разговаривают — а...» И остановится, помолчит, да вдруг и кончит: «А вот воров да разбойников — полон город развели!» Словом, ни единого мало-мальски определенного мнения я никогда не мог услышать от нее ни по одному вопросу.

Только одно затвердила она, повидимому, весьма основательно: в старину деньги «*сами шли в дом*, а теперь всё *из дому*». Неоднократно пытался я разузнать от нее, почему именно в старину была такая благодать, а теперь нет? и, конечно, ничего не узнал. «Отчего?» — спросил я. «Да вот от того!» — «Отчего же?» — «От всего». —

«Нынче, — говорил я, — до Москвы доехать стоит два рубля по железной дороге, а в старину стоило рублей пятьдесят: в старину чиновник получал три рубля в месяц, а теперь нет писаря, который бы брал меньше тридцати. Теперь какой-нибудь кондуктор на железной дороге получает сорок рублей, а в старину сорок рублей получал генерал». Словом, подобрав ей множество опровержений, я всякий раз получал в ответ какую-нибудь необычайную нелепицу. «Да, да! — забормочет она. — Как же, генерал! так и есть! Да, да, вон на трех женах женился... так сейчас и генерал за это?»

Вдова, как женщина помоложе, отличалась от бабушки (своей матушки) тем, что иногда исправляла фактические неточности, например, скажет: «не на трех женах, а на двух». Или: «генералы и в старину получали много», но течение мыслей ее ничуть не различалось от течения их у бабушки, так как вдове, повидимому, вовсе не была заметна нелепица ее ответов.

Барышня, как представительница молодого поколения, уже ясно понимала, что на известный вопрос должен быть и ответ мало-мальски подходящий, и поэтому поминутно конфузилась за бабушку и за мамашу. «Ах, бабушка, или ах, маменька, разве они об этом говорят? Они об одном, а вы об другом, они говорят о том, что теперь жалованья больше, а вы «на трех женах женился!» Но когда я, поверив ее конфузливости за бессмыслицу бабушки и мамы и предположив в ней, на этом основании, бо́льшую смелость мысли, попробовал было завести с ней более или менее разумную беседу, то прародительская лень мысли вдруг ударила меня, как говорится, наотмашь, с первых же слов.

— Отчего бы вам, — сказал я раз, — не заняться, например, медициной? Будете доктором!

— Я! — сказала она в испуге.

— Вы! Проучитесь пять лет...

— Пять лет! — прошептала она, побледнев как смерть.

— Зато потом будете лечить, получать деньги...

— Пять лет! — коснеющим языком пролепетала она, стала кутаться в платок, точно ее знобило, и смотрела на меня такими сумасшедшими глазами, какими, наверно, смотрел только человек, знающий, что его сейчас

поведут в острог. Я даже сам перепугался и, право, точно замер от холоду. Так больше я и не заводил «разумных» разговоров.

Интересна была в них, то есть собственно в бабушке и во вдове, и еще одна любопытная черта. Кажется, уж они были люди мало думающие и как будто сонные какие, а посмотрите, как ловко врали! Положительно, я удивлялся, откуда у них берется изобретательность? Главным образом изобретательность эта проявлялась в объяснениях, почему плох обед или почему иной раз как бы совсем не было обеда. Надо сказать, что маломальски сносно я ел не более первых пяти дней по переезде в квартиру, а затем питательность пищи, предлагаемой мне хозяевами, стала быстро терять в процентном содержании. Мясо исчезло и заменилось киселем, завтра горохом, потом кашей. И всякий раз то бабка, то сама вдова придут и в объяснение такого неудачного обеда расскажут какую-нибудь правдоподобную историю. То из всех лавок начальство отобрало мясо и выбросило в реку, то будто бы в кухню вошел беглый солдат и, не говоря ни слова, унес пятнадцать фунтов мяса, которое лежало на лавке, то мясник запер лавку, потому что просватал дочь, то все мясо забрали к губернатору, угощают полк. Так как такие легенды надо было рассказывать в первый месяц почти каждый день, то я не мог не удивляться этой необыкновенной способности и тому, в каком совершенстве она разработана в них. Но в конце концов мне было и страшно за них и больно, и я не раз задавал себе вопрос: «Как это они проживут на свете, а главное, как и теперь-то еще они ухитряются жить?»

4

Однажды, возвратившись с моей служебной поденщины и садясь за стол, чтобы пообедать, я остановил на минуту старуху Авдотью, которая, поставив на стол миску с каким-то легендарным варевом, хотела уйти, и сказал:

— Кстати, отдай-ко, бабушка, хозяйке деньги.

Нам только что роздали жалованье.

Старуха взяла деньги, но не ушла. Маленькая, сгорб-

ленная, она держала бумажки в худых, трясущихся руках, пристально глядела на них и молчала.

Я уже принялся за легендарное варево и по обыкновению успел уже убедиться, что либо начальство, либо мясник, либо вор или губернатор опять удрали с провизией какую-нибудь ехидную штуку, — а старуха все стоит около меня, все смотрит молча на бумажки, и бумажки эти трясутся в ее дрожащих руках. Поглядел я на старуху и ем.

— А я, — прошептала она наконец, — не отдам!

— Чего не отдашь?

— Не отдам им денег-то!

Я молча смотрел на старуху, она молча смотрела на деньги.

— Ни боже мой, не отдам! — решительно сказала она. — А много ли тут денег-то?

— Да все, тридцать пять рублей.

— Ну и не отдам ни единой копейки! Икры ей, старой псовке, купи, да меду, да постного сахару, старая шутовка! Да и сама-то тоже не хуже старухи... «пастилы, да чтобы не кислая, а и кислая, так чтоб с розовым цветом». На что уж внучка-то, молодой человек, а и та пример берет: миндальных, вишь, ей орехов в сахаре, к чаю. Только бы жевать, прости господи, тьфу!

Говоря это, старуха дрожащими пальцами завязывала деньги в угол платка и, очевидно, сильно волновалась.

— Это ты — кому же? Хозяевам не хочешь денег-то отдавать? — спросил я.

— А то кому ж? Знамо, хозяевам.

— Как же так?

— Чево это?

— Да не отдашь-то? Ведь они осердятся?

— Чево-о? Осердятся? Да нешто я не видала на своем веку их сердцов-то? Я, милый ты мой...

И вдруг старуха залилась слезами и в то же время заговорила скоро, взволнованно и много.

— Я... мне седьмой десяток, я... с малых ден только, милушка, и живу в сердцах в эфтих! Я крепостная, ангел ты мой, дареная, да и сирота... И какова, ты суди, моя жизнь!.. Бывало, меня покойница, госпожа Бахефма-херша (старуха с трудом выговорила какую-то немецкую фамилию), — вот этакой вот палкой, с обезьяньим

набалдашником, за всякую малость! А мне, девчонке, и семи лет не было, батюшка! А как подарили меня в приданое к Анфисе Петровне, стало быть к Бахе-фма-херовой дочери, стало быть, которая за майора вышла... (Старшая-то, Алена Петровна, вышла за генерала, а средняя, Ликадина Петровна, сбежала с учителем, а младшая-то, Анфиска, за майора...) Как отдали меня ей, каторжной, так она за всякую малость, — воротничок ли не поспел, чулок ли не на ту ногу подаю, — чем ни попадя! То есть, что вот... Да вот у меня и сейчас знак есть над бровью, вот видишь, вот!.. Это она книжкой (судя по времени, вероятно «Библиотекой для чтения»: книги, как известно, были толстые и весьма распространенные в образованном обществе того времени). Подставила я ей скамейку под ноги, а книжка-то на коленках у ей, а я и толкни коленку-то, книжка-то и закрылась... И не может отыскать места! С сердцов она меня и отпотчевала. Уж потом барин нашел ей в книжке-то, кое она там место вычитывала... И, да то ли было! А как Анфиска-то подарила меня этому самому жиду проклятому, Самойлу Петровичу, за благодарность, что...

И бесконечною, душною, как пыль, поднятая сухим ветром, вереницею поднялись воспоминания старухи, этой жертвы крепостных порядков, этого бесправного, беспомощного, обезличенного существа. Имена мужчин и женщин, попадавшихся в истории старухи, постоянно перемешивались с выражением: «чем ни попадя», «пролежала полгода в горячке», «подарили», «продали», «купил меня и подарил», «с тех пор рукой не владею и в груди не пущает, как он меня истиранил занапрасно». Старуха спешила высказаться, путалась в рассказе; но несмотря на эти незнакомые имена господ, на непонятные для меня родственные связи разных Анфис с Самойлами Петровичами, невозможная биография старухи выяснилась мне, по мере спутанных повествований ее, во всей ее глубочайшей бесчеловечности. Люди живут, женятся, умирают, родятся, сходятся, расходятся, и между ними как неодушевленный предмет, десятки лет не зная покою и устали, мечется обезличенное человеческое существо. Оно всю жизнь думает только о чужом, делает только для чужих, заботится чужой заботой; оно идет туда, куда нужно другим; просыпается, ложится спать

или вовсе не спит, смотря по тому, как этим другим потребуется; оно переменяет места жительства тоже по чужому желанию и приказу; все его отношения, знакомства, связи, все по чужой воле и возникают и прекращаются. Ни минуты в жизни старуха в себе самой не ощущала себя. Она была *«вся чужая»*! Буквально *«вся»*! Несмотря на беспорядочность рассказа старухи, на постоянные перерывы слезами, на слова и фразы, скрадываемые ее беззубым ртом, представление о том, что она всю жизнь была вся чужая, до того ясно сложилось во мне, что я ни минуты не мог сомневаться в полной правдивости ее выражения, которым она, как-то вдруг, закончила свой рассказ:

— Ты думаешь, о себе я хлопочу-то? На-а ч-то мне! Положи ты вот на стол тыщу рублей, отдавай ее мне, и то я ее не возьму, на что мне? Мне уж, поди, скоро и в землю лечь пора... А жалко мне смотреть на них! Обидно мне, что дурашными людьми живут. Ведь всё проедят, и куда денутся!.. а ведь я их знаю!.. Меня им подарили.

Оказалось, что последние тридцать лет старуха была во власти того семейства (собственно покойного его главы), в котором я нанимал квартиру. Подарил, то есть отдал ее на вечные времена в услужение покойному чиновнику — Самойло Петрович, за какое-то дело, и она, верная своему кресту — жить чужой заботой, — тридцать лет работала на семью моих хозяев, как на свою собственную.

— Теперь вот и волю дали, а куда я пойду?.. У меня всего и есть своего — могилка сырая! Я ведь стара, родной!.. А ведь они меня, как молоденькую, мают. Погляди, что мучения кажинный день по лавкам приму. Везде должны; на десять заберем, рубль отдадим, а на двадцать просим. Ведь вон намедни мясник-то даже затрясся со злу, как я ему сказала: «поверь, мол, еще!» Даже задохнулся со злу, аспид настоящий! Ведь уж мне не под силу... Помоложе была, так я, бывало, и не таких Ерусланов повертывала по-своему, тоже ведь! Ну, а теперь уж — стара! Нет! Вот и не отдам им, мотовкам, а сама все распорядки справлю. Ругайся, сколь влезет! И-и, батюшка! Я и господнего-то суда не страшусь, —

будь его святая воля! — а побоюсь, что на меня хозяева будут бесноваться? Есть чего! Мне это к стене горох. Я о них хлопочу-то, не о себе. Пу-ща-ай!

5

Рассказ старухи, отбивший у меня всякую охоту от обеда, окончательно разъяснил мне весьма непонятное для меня обстоятельство, именно возможность существовать для семьи, подобной той, в которой я жил. Очевидно было, что старуха, даримая и продаваемая, есть именно та самая «невидимка», которая на своих плечах выносит все тягости ежедневного обихода жизни семьи, которая заботится, думает о ней, не имея никакой иной заботы, кроме заботы о чужой нужде. Не будь этой невидимки, что бы стали делать все эти ленивые люди?

Откровенно говоря, хотя вопрос о том, как могут существовать на свете такие люди, как семейство вдовы, приходил мне в голову не один раз, но я почему-то не трудился разрешать его, иначе я давным бы давно открыл присутствие невидимки. Рассказ старухи, открывший мне всю тайну жизни ленивой и беспомощной семьи, тотчас же заставил меня припомнить множество, повидимому незначительных, эпизодов, окончательно выяснивших мне все громадное значение дареной старухи в праздном и бесцельном существовании этой семьи.

Припомнилось мне, как однажды, во время лихорадки, которая одно время мучила меня, я проснулся часа в три зимней ночи. В окна глядела еще совершенная тьма, и мертвая тишина царила в доме. Эти тишина и тьма как бы обязывали закрыть глаза и спать, но заснуть я не мог. Темнота мешала думать, мысли мелькали без начала и без конца. Какой-то шорох привлек мое внимание и дал возможность сосредоточить рассеянные мысли на вопросе о том, кто, какое существо производит этот шорох: мышь или человек? Покуда я размышлял над этим вопросом, непрекращавшийся шорох убедил меня, что это не мышь, а человек, и именно невидимка Авдотья. Это она слезает с печи... и что-то шепчет... Скоро из кухни, куда из моих двух комнат была дверь, проник ко мне красный луч света. Авдотья зажгла огонь, ходит, чуть слышно шепчет. Слышится: «Господи Иисусе

Христе. Матери преподобные! Никола-мученик...» И вслед за тем что-то зашлепало и глухо застучало. Стук был тупой и глухой. Э! Да это она месит тесто. Она и проснулась из-за этого теста до свету, ведь господам нужны пироги, булки. Они вон спят (бабка храпит, отрывисто, сердито, точно лает); не проснись Авдотья, и все бы остались без булок. Если мы умеем только спать, то кто-то должен уметь стряпать, печь для нас булки, таков закон, по всей вероятности где-нибудь «начертанный», иначе Авдотья должна была бы спать, так же как и все. В бессонницу бог знает что лезет в голову. Слушая шлепанье и стук весла о тесто, я разрешал вопрос о том, где и кем «начертан» вышеупомянутый закон? Но стук прекратился, и вопроса я не разрешил. Теперь, подумал я, старуха ляжет спать. Не тут-то было. Смотрю, дверь в мою комнату тихо-тихо приоткрылась, и сгорбленная фигура невидимки с величайшей осторожностью проникла в мою комнату. Она крадется, ступает необутыми ногами, но едва проникла в ту комнату, где я спал, как вдруг совершенно исчезла, неведомо куда. Покуда она пробиралась от кухонной двери до двери моей комнаты, я еще видел очертание ее маленькой сгорбленной фигурки; но в моей комнате она пропала, исчезла. Ни звука, ни шороха, ни старухи. Боже мой! Да она, сгорбившись, крадется по полу и шарит что-то. Она почти не дышит и необыкновенно осторожно касается рукою пола, около кровати и под кроватью. Очевидно, она старается «не потревожить» жильца. «Пущай его спит!» — думает старуха, зная, что «не спать» обязана она. Но вот исчезнувшая фигурка опять обрисовывается в дверях, сначала моей комнаты, потом кухни, и вслед за тем из кухни доносится шарканье щетки. Старуха чистит мои сапоги. Долго, не менее часу, идет эта работа. Сочтите, сколько в доме ног, и все ноги должны быть в благоприличном виде. А кому позаботиться? И вот невидимка, зная это, просыпается до свету.

Чрез час, когда окно в моей комнате начало белеть зимним рассветом, бледным, белым, как бумага, старуха тем же порядком приползла к моей кровати с вычищенными сапогами, и затем на некоторое время из кухни ничего не было слышно. Это не значило однако, чтобы старуха бездействовала. Вероятно, она ходила по спя-

щему дому и разносила вычищенную обувь. Скоро опять послышалось из кухни: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас грешных! Господи благослови! Преподобные мученики!» Скрипнула дверь на двор, и за стеной, а потом под окном, послышался скрип старухиных шагов по мерзлому снегу. Что она делает? Через несколько минут старуха возвращалась тяжелою поступью, так что ступени черного крыльца скрипели под ее шагами. Вновь заскрипела кухонная дверь, послышалось усталое, тяжелое дыхание старухи, и вслед за тем шум воды... Старуха притащила ведро воды и вылила его в кадку. Тяжело ей, она старается отдышаться и опять уходит, а через несколько минут опять тащит ведро, опять несколько минут не может отдохнуть, опять шепчет: «Угодники праведные! Господи помилуй!..» И так работает больше двух часов: мало ли на столько ртов надо воды? Одних самоваров в сутки придется поставить не меньше десятка: скука ведь господам-то! Не чистить же им самим свои сапоги для развлечения.

А затем, — так как кроме булок, самоваров, чистого платья, нужно еще тепло и еда, то вот посмотрим, как об этом хлопочет невидимка. На дворе стало уже совсем светло, и мне хорошо было видно, каких трудов стоит старухе отопить наше жилье: необычайных усилий стоило ей выдернуть из загородки, отделявшей двор от небольшого огорода, примерзлую длинную и тяжелую жердь, которая рухнула, наконец, на землю вместе со старухой; затем началась рубка дров при помощи старого, с прямым топорищем и, повидимому, тупого топора. Согнувшись в три погибели, старушка изо всех сил тукала топором в мерзлое дерево, повидимому без успеха; часто она выпускала из рук топор и подносила иззябшие руки ко рту, дышала в горсть и, помахав то правой, то левой рукой, снова принималась за неблагодарный труд при помощи своего тупого топора.

Глядишь, в кухне грохнула связка дров, потом грохнула другая у моей печки, потом и в хозяйских комнатах. «Господи Иисусе Христе, помилуй нас грешных», — шепчет старуха, обвязанная каким-то рваным платком, подпоясанная кушаком, стоя на коленях около печки и накладывая ее дровами. Затрещали дрова, запахло берестой, пошло по дому тепло.

6

Но не в физическом только труде, которого для господ не полагается, заключались обязанности Авдотьи относительно всех «овец без пастыря», за которыми она ходила. Вот она наносила дров, воды, затопила печи, перечистила платье, замесила тесто, поставила самовары и мне и хозяевам, словом, сделала все, чтобы мы могли пить, есть, быть в тепле, и все-таки не конец ее работам.

— Мишенька! — осторожно будит она гимназиста. — Девятый час... вставай, батюшка! Вот и чулочки. и сапожки... Уж бегут ученики-то по улице! Вставай, касатик!

— Сча-а-с!.. — с сожалением в голосе произносит гимназист.

Крайне редко, однако, случалось, чтобы гимназист поднялся согласно собственному заявлению, то есть сейчас. Большею частию Авдотья не раз и не два принимается будить его. Он спал около теплой кухонной печки, которая нагревает первую от кухни комнату, и мне почти каждое утро приходилось слушать поистине родительские увещания Авдотьи, старавшейся мягкими, но убедительными доводами победить в гимназисте удовольствие покоя в теплом уголке.

— Мишенька! Ведь нехорошо, кормилец, как опоздни́шься-то! Вставай, родной!.. Эво, уж к обедням ударили! Булочка тепленькая есть!

Но вот, наконец, при помощи теплой булочки и увещаний, юный отпрыск и будущая опора семьи встал, оделся и умылся. Остается только взять книги, надеть теплое пальтишко и идти; но именно в этот-то момент гимназистом почти всегда овладевала необычайная тоска. Вчера он ложился спать, уверяя себя, что завтра встанет рано и сделает *все*, а сегодня (как и всегда) проспал, да и недоспал к тому же.

— Ну, ну, со Христом, снаряжайся, Мишенька! Вон у соседей нахлебники когда уже побежали!

— У меня, Авдотья, калоши разорвались.

— Зашила, матушка моя, зашила я калоши!

Молчание.

— Поздно уж, пора!.. Ну, Мишенька!..

— Отчего ты меня раньше не разбудила? Куда я

теперь пойду? Как приду, меня сейчас накажут! — слезливо говорит гимназист.

— Ну, авось не накажут!.. Успеешь!.. коли скоренько побежишь, еще успеешь... И-их бы поскорей, поскорей побежал, глядь и поспел, и учитель похвалит. Ну-ну, Мишенька! Христос с тобой, ну, родной!

— Погоди пожалуйста, Авдотья! То не будила, а то гонит сломя голову... У меня живот болит, я вот разогнуться не могу... Куда я пойду? Запрут в карцер, как опоздаю, а у меня вон. дух так и спирается от боли.

— А ты побеги попроворней, разогрейся, ан он, живот-от, и пройдет!.. А уж коли очень схватит, и назад воротись. Что за беда? А как ежели сидеть-то будешь, и хуже животу-то от этого, от сиденья-то! А ты бы побег, побег молоденькими ножками... И-их, как хорошо! Авось ничего, Мишенька! Ну, родной, попробуй-кось!

— Что ты мне толкуешь, когда я отлично знаю, что у меня смерть как схватывает!

Тактика гимназиста состоит в том, чтобы протянуть время до тех пор, покуда не проснется маменька или бабушка. Тут уж у него, наверное, отыщутся заступники. Стоит только бабке или матери показаться в дверях кухни, как гимназист жалобным, слезливым голосом произносит такой потрясающий для родительского сердца монолог, результат которого — полная победа лени гимназиста.

— Она меня не разбудила, а я не успел выучить из арифметики. А третьего дня учитель арифметики посадил Егорова в карцер за одну только ошибку. Разве я виноват, что она не разбудила? Они сейчас запрут в карцер, а если из арифметики поставят единицу, тогда наказывают... А я даже вздохнуть не могу, как меня схватывает! Зачем она меня не разбудила? Разве я виноват?

И гимназист остался бы дома.

Но не подоспей на помощь лени, олицетворяемой детищем, родительская любовь, Авдотья добьется своего и выживет из кухни на улицу гимназиста, несмотря на страшные судороги в животе, которые его схватывают.

Перепробовав всевозможные кроткие меры и мягкие слова, она принимается его стыдить, усовещивать тем.

что он не жалеет ни матери, ни сестер. Он большой, должен учиться, чтобы помогать семейству, а он вот вместо того не хочет учиться. Неученые бывают извозчики, лакеи, дворники. А разве приятно будет маменьке, как его никуда не примут, а возьмут да лоб забреют в солдаты? Вот тогда вспомянет, как занапрасно на живот пенял, да поздно будет.

— А в солдатах-то как? Там возьмут, поставят тебя, да и начнут палкой колотить, где ни попадя! Вот как в солдатах-то!.. А то вот у одних господ тоже вот эдак-то молодой барчук не учился, не учился, а как пришел в возраст, поглядели-поглядели на него да прислали бумагу — сослать его в каторжную работу в Сибирь, а в Сибири-то как зачали его, друга милого, пороть!

— Где моя шапка?

— А вот, милушка! Вот она!

— Ты что ж мне раньше не сказала, что она у тебя? А я искал, не нашел! Ежели бы я знал, я бы не искал и готовил из арифметики! А ты, вот! Зачем ты не сказала, что у тебя шапка?

— А ты не спрашивал, как спросил, так она и есть... На, красавчик, вот она!..

— Ты зачем ее смяла? Где моя арифметика?

— А уж не знаю! Какая она из себя-то?

— Тоненькая, пестрая!

— А я сейчас...

Старуха проворно уходит и тотчас возвращается.

— Эта ли?

— Разве это арифметика? Это география! Я говорю, тоненькая, длинная и пестрая. Что за бестолковая такая!

— На-ко вот, всё что было книг принесла, выбирай любую.

— Я тебе говорю, одну книгу надо, а ты весь дом притащила? Разве это арифметика? Разве это тоненькая книга? Что ты, ослепла что ли?..

— Ну, ну, родимый, прости уж!.. Не знаю я... Коли не эти, то и еще поищу...

Гимназист умолкает. Очевидно, ненавистная арифметика найдена.

— Нашел, что ли?

— Когда ты ничего не понимаешь, так нечего тебе и спрашивать.

Кое-как гимназист, ежеминутно старавшийся ставить себе всевозможные преграды к удалению из дому, доведен, однакоже, до необходимости уйти. Он делает это с сердцем, громко хлопает дверью, и старуха после его ухода шепчет:

— Ох, грехи, грехи тяжкие! Настави его на ум, на разум, матушка, царица небесная!

Наконец просыпаются бабка и барыня, а часам к двенадцати и барышня. Первая входит в кухню бабка и басом произносит:

— Ты что не смотришь за печкой? Там уголья выпали, а ты тут толчешься, ничего не видишь?

Или что-нибудь в этом роде, но непременно выговор, замечание или, всего чаще, прямо брань.

Барыня тоже начинает с упреков и выражений неудовольствия.

— Ты, Авдотья, когда-нибудь совершенно выведешь меня из терпения! Самовар подала, а полоскательницы нет? Когда я договорюсь? Когда будет этому конец?

И вот начинается день скуки, праздности, праздного недовольства, обиженного на всё и всех ворчанья, день, весь от начала до конца переполненный призывами Авдотьи из разных углов дома. «Авдотья, где утюг? Авдотья, кажется, кто-то стучится! Авдотья! что же самовар? Авдотья! двадцать раз тебе говорят, сотри с окна воду! Авдотья, Авдотья, Авдотья!»

Идут дни, невидимка все держит на своих плечах, и «овцы без пастыря» кое-как живут на белом свете, исключительно благодаря этой невидимке.

ИЗ ЦИКЛА

«МЕЛЬКОМ»

КРЕСТЬЯНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

1

Существенный недостаток во всех проектах *жить трудами рук своих,* то есть уйти в деревню, существовать земледельческим трудом, положить начало колоний и «поселений из людей интеллигентных», несомненно заключается в совершенном отсутствии каких бы то ни было указаний, касающихся положения интеллигентных *женщин* в этих проектируемых колониях. Обязанности, порядок жизни, пределы труда и нравственные достоинства трудовой жизни для интеллигентных «мужчин», хотя кое-как, но все-таки выяснены в проектах поселений в более или менее удобопонятном виде: за образец будущей трудовой жизни взят образ жизни современного мужика, причем одна из школ, начавших проповедь о необходимости «идти в деревню», проповедует идеал трудовой жизни в смысле самого каторжного труда *наемного работника*, сопряженного со всевозможными тягостями: серые щи, сон на голых досках, лапти, «выворачивание пней» на постройку собственной избы, и непременно с усилиями, от которых трещит спина; хочешь жить «по-народному», так поезжай в лес за дровами в трескучий мороз, вези дерево на продажу в город в ураган и метель, а уж от насекомых постарайся избавиться своими средствами. Та же участь *поденщины* предлежала и женщине в этой школе каторжного труда. Г-жа Метелицина должна была переобуться из башмаков в сапоги, вязла по колено в навозе, ездила на кляче за водой, а когда кляча упиралась, то она «била клячу по морде». Словом, и для мужчин и для женщин проповедовались все прелести,

которые до последней степени изнуряют и самого крестьянина.

Другая школа трудовой жизни очерчивает образ того же мужика в более мягких очертаниях, и как образчик рекомендуется не поденщик, а «земледелец», «пахарь». Поле, соха, а за нею идет пахарь. Достоинство этого пахаря заключается в том, что он добывает хлеб своими трудами, чужого не ест, чужим трудом не пользуется, следовательно, совесть у него покойна, а в этом-то «самая суть» и есть.

Есть и еще школа, руководствующаяся в желании «идти в деревню» уже чисто практическими целями: оградить *свою* впечатлительную душу от зол *городской* цивилизации, устроить *себе угол,* где бы мысль (о будущем, конечно) работала без стеснения и не ощущалось бы необходимости бесплодной борьбы за идею, чего невозможно избежать в городе. Но, чтобы устроить должным образом «угол» буддийского спокойствия и «свободы миросозерцания», рекомендуется такими практическими деятелями обороняться также и в деревне от всяких нарушений буддийского спокойствия — мужицкого невежества, алчности мужика, неискоренимого в этом мужике стремления обобрать этого барина. Оборонившись от городской цивилизации уединенным углом, огородившись заборами и окопавшись канавами от вторжения деревенского невежества и хищнических инстинктов мужика, практический интеллигент утверждает, что именно тогда-то ему, интеллигенту, живя в деревне, и будет возможность воздействовать на развитие народных масс.

Единственно только те действительные *радетели* о народном благе и совести, которые несут в деревню свои *знания* — врачи, фельдшерицы, учительницы, не рассчитывая на какую бы то ни было личную пользу (чистота совести, буддийское спокойствие, расстройство здоровья от серых щей, как возвращение долга на́роду и пр.), — единственно только они и делают действительно народное дело, имеющее уже видимые последствия самого хорошего качества. Но в этой среде «несть ни мужеского, ни женского пола» и каждый (всяческая) делает свое дело по мере возможности.

Все же перечисленные выше школы, теории и возникающие на основании их опыты поселений до настоящего

времени не свидетельствовали еще ни о каких успехах, и все «учители», «наставники» и «пророки» также не могут указать хотя каких-нибудь ясных последствий своих учений в благоприятном смысле. Расстроивши желудки серыми щами, простудившись во время возки дров или же сшив два сапога «собственными руками», ученики все-таки не могут ощущать в своем сознании, что они делают доброе дело людям, а не самим себе.

Грех учителей и наставников заключается, прежде всего, в узкости взгляда на строй народной жизни. Если что в ней есть существенно важного для человеческого существа, так это не серые щи, не уединение, не успокоение своей совести «на собственноручном сапоге», а широта размеров трудового обихода жизни, многосложность умственной и физической жизни, возникающая из удовлетворения «своими руками» всех своих потребностей, то есть полнота жизни человеческого существа.

Но брать этот образчик широкой многосложной трудовой жизни, не включая в нее образа крестьянской женщины, труд которой во всех подробностях объединен с трудом ее мужа, мужика (что и делает *семью),* — это дело весьма непохвальное. Предполагается, что интеллигентный *пахарь* будет пахать, интеллигентная крестьянка будет рожать детей и кормить их своею грудью. Определять не для крестьянской и не для интеллигентной, а вообще для женщины такую бессмысленную цель жизни, значит не признавать в ней человека, и действительно, мы видим, что «учители» именуют женщину «черноземом», и даже почему-то иногда находят необходимым, говоря о «женщине», упоминать и о корове. Если же перечислить все, что умом и руками делает в доме крестьянская женщина, то есть все то, что не касается ее черноземного плодородия, так и увидим, что ее жизнь исполнена величайшей многосложности труда: она не только родит и кормит, но прядет, ткет и шьет платье на всю семью, она же ходит за скотом, стирает, жнет, сеет, косит, носит воду. И сказку сказывает, и песней убаюкивает, и с песней прядет каждую нитку холста. На сказку, на песню, на пряжу, на тканье нужен ум не коровий, а человеческий, и, следовательно, если брать образчиком трудовой жизни не тяготу, а широту и, так сказать, «поэзию» земледельческого труда и основанного на нем всего строя народной

жизни, то невозможно умалчивать о трудовых и нравственных достоинствах крестьянской женщины, достоинствах, дающих ей полную возможность (раз только она, вследствие крайней необходимости, не вынуждена будет уйти из деревни на заработки) во всех отношениях независимого существования. А чтобы наши учители и наставники, призывающие нас к трудовой жизни, не загоняли женщину, первейшую силу всякой семьи, «в стадо» и вообще относились к ней по-человечески и по-христиански, мы попытаемся в этой заметке собрать (с борку и с сосенки) такие факты, сообщаемые местною печатью и касающиеся текущей действительности крестьянской жизни, в которых достоинства крестьянской женщины сказываются с достаточной ясностью и дают нам, простым смертным, некоторую возможность очистить в нашем сознании образ женщины как человека, затуманенный теориями душеспасительного труда.

2

К величайшему прискорбию (без *прискорбия* не обходится на Руси ни одно хорошее дело), необходимо сказать, что достоинства крестьянской женщины стали очерчиваться в сообщениях местной печати именно только в тех случаях, когда корреспондент местной газеты повествует о *крайнем расстройстве* [1] в земельных, хозяйственных и семейных отношениях крестьян тех местностей, от-

---

[1] Редко, чрезвычайно редко повествует местная печать о деревнях, живущих в довольстве и достатке. Нельзя поэтому не привести сообщения «Смоленского вестника» о крестьянах Дорогобужского уезда, Смоленской губ., где крестьяне почти вовсе не нуждаются в *отхожих промыслах*. Этим более оседлым характером занятий населения Дорогобужского уезда объясняются такие его особенности, *как больший прирост населения, больший численный состав семьи и большее равновесие численных отношений полов, чем в других четырех уездах*. Но ведь это значит, что люди живут здесь дольше, а стало быть, отличаются лучшим здоровьем, что члены семьи теснее связаны между собой (и это дает право заключать о лучшей их нравственности), *и что, наконец, молодой парень всегда имеет возможность найти себе подходящую невесту и почти каждая девушка — выждать жениха*. В общем, здесь столько условий, делающих жизнь нормальнее и счастливее, что уже ради этого одного можно предпочесть те немногие, и притом эфемерные, выгоды, какие доставляют крестьянину «отхожие промыслы».

куда идет его сообщение. Крестьянская женщина, с ее великими трудовыми и нравственными достоинствами, всегда упоминается в такого рода сообщениях как доказательство полнейшей невозможности мужскому населению деревни выполнить, при помощи земледельческого труда, все лежащие на нем обязанности. Бывают случаи, когда в крестьянских семьях не оказывается ни одного мужчины, и, следовательно, нет никакого участия мужской силы в выполнении многосложнейшего труда «в поле и в доме», и однакоже крестьянская женщина, — раз только она, так или иначе, прикосновенна к владению землей, — и в таком, повидимому, беспомощном положении, как мы увидим, может и умеет справиться *единоличным* трудом.

«Три крестьянина Юхновского уезда, Федотовской волости, дер. Морозова, Лаврентий Яковлев, Андрей Никитин и Епифан Ефимов, в числе девяти наличных душ мужского пола и семи женского, в 86 г. купили (товариществом) в смоленск<ом> крестьянск<ом> позем<ельном> банке землю. В 86 г. умер Епифан, а в 87 г. отправились за ним и Андрей и Лаврентий, и таким образом товарищество, в своих главных представителях, вымерло. Наследники же их, мужчины, *все ушли* на заработки в Петербург. *Остались одни женщины; они распоряжались хозяйством, собирали следуемые банку платежи и отсылали их в смоленское отделение Крестьянского банка.* Недавно отделением присланы в Федотовское волостное правление только что вышедшие правила о крестьянских товариществах, в силу которых каждое товарищество должно избрать из своей среды выборного, иметь книгу приговоров своих сходов и товарищескую печать. Федотовский старшина теперь в большом затруднении, как поступить с Морозовским товариществом. Старики вымерли, молодежь ушла на сторону, остались, говорит, одни бабы.

«— Что ж, бабы, что ли, будут выбирать бабу же выборным? Пошлю, говорит, в отделение, чтобы разъяснили, как в данном случае поступить, то есть в составлении приговора об избрании *бабы выборным*?»[1]

---

[1] «Смоленский вестник», 1889 г., № 133.

То обстоятельство, что женщина может вести единолично (распоряжаться) хозяйство, это дело обычное, если только на ее долю выпадет случай быть родоначальницей многочисленной семьи. Образы таких *домохозяек,* несомненно возвышающие в нашем сознании образ женщины вообще, изображены, между прочим, в «Деревенских письмах» г. М. З. [1] В письме десятом автор рассказывает о лично ему известных домохозяйках, самостоятельно заправлявших обширными хозяйствами за смертью своих *большаков.* Хозяйства эти, управляемые женщинами-домохозяйками, бывали иногда до того обширны, что из заимки, которую населяла одна семья, со смертью двух *женщин-большаков,* образовалась целая деревня и быстро разрасталась в селение, утратив, конечно, принцип общего хозяйства. Таким *большаком* после смерти *стариков* пришлось быть, между прочим, и одной девушке.

В сороковых годах в зажиточной семье У-вых умерли в молодых летах два родных брата, из которых один был *большак.* От одного остались жена и дочь, от другого два малолетних сына и три дочери. Вдова, имевшая только дочь, ушла в монастырь; вдова другого брата скоро умерла, и надо всеми шестью сиротами осталась *большухой девушка,* сестра покойных братьев. «Хозяйство было большое, до двадцати дес<ятин> посевов и соответственное количество скота. Но девушка, Василиса Андреевна, не потерялась. Работая смолоду, она не хуже знала всю крестьянскую работу и продолжала вести хозяйство в прежних размерах; в помощь ей были старые работники. Вставая с петухами, она успевала все состряпать, подоить коров и на рассвете вместе с работниками отправлялась в поле и в огороде работала. Кроме крестьянских, земледельческих работ, она обшивала всю семью: ткала холсты, сукна и кушаки, валяла валенки, шила шубы, поддевки, только что не плотничала». Кроме всего, она воспитывала и ходила за всеми детьми и по целым ночам сидела над ребенком, если он хворал. К знахаркам она не обращалась, а имела всегда лекарства. Вырастила внуков и внучек, поженила их и замуж отдала, и внучат взрослых уже видела, но в 86 году умер ее старший

---

[1] Печатались в 1888 году в «Восточном обозрении».

племянник, 48 лет, на котором уже лежали заботы состарившейся Василисы Андреевны, и она сама «рухнула». Семья перед разделом состояла из 21 человека.

Способность быть «домохозяйкой», то есть держать на своих плечах весь обиход семейной и хозяйственной жизни, не иссякла в крестьянской деревне и в наши дни.

«Акулина из деревни Сергейкова, — пишет «Сельский обыватель», [1] — женщина трудолюбивая, но судьбой обиженная. Более 10 лет она, как лошадь, работает на детей своих и на мужа-пьяницу. Сначала по людям ходила, потом села на надельную землю в деревне. Кое-как отстроилась, сама пашет, сама косит, а с прошлой весны начала и сама сеять. Обсевал поля в прежнее время муж ее, Алексей, но сеятель этот каждое лето уносил с поля часть семян в кабак, отчего всходы были редкие и ужйн хлеба получался плохой. Отсыпка семян на пропой производилась Алексеем вкупе с соседями своими, тайно от баб своих тоже пропивавшими семена. Акулина доглядела, узнала, куда сила уходит с нивки ее, и решилась сама взять в руки севалку. К удивлению соседей, первый посев ее вышел удачным, хлеб уродился хорошо. Обстоятельство это было не по душе соседям, пропой семян стал обнаруживаться, бабы стали нападать на мужиков, указывая им на Акулинину нивку с добрым всходом овса и ячменя.

— От этой бабы все беспорядки в деревне! — говорили мужики, собравшись на улице, чтобы потолковать, когда начинать сеять рожь.

На сходку, по обыкновению, пришла и Акулина.

— Вот что, Акулина, мы скажем тебе: сеять на поле мы тебя не пустим, потому нет от нас на это согласия, — заговорил Максим.

— А по какой-такой причине вы меня не пустите? Ведь я, кажется, на свою ниву пойду, — ответила она.

— А потому не пустим, что закону нет, чтобы баба сеяла; от этого может случиться, что все мы без хлеба останемся, потому команда ваша дома должна сидеть, а не сеять, исстари так заведено. Вишь ты, порядки новые заводить не позволим!

---

[1] «Смоленский вестник», № 32.

— Погляжу, как вы мне не позволите. На это есть суд и управа.

— Вот что, ребята, ну ее к лешему; пусть сеет, а только должна она поставить нам за дозволение четверть водки, — вмешался в разговор Мартын.

— Что правда, то правда, — ответили мужики.

— Значит, за водку можно сеять, а без водки нельзя? Бесстыжие глаза у вас; суму хотите отнять у нищего. Не дам вам водки, а если станете приставать, в волость пойду, по чистой правде все там распишу, — закричала Акулина.

На третий день после этого случая Акулина вместе с соседями своими разбрасывала на поле семена. Угрюмо и искоса поглядывали мужики на этого оригинального севца.

Так вот какова эта баба Акулина. Много горя и нужды перенесла она; но ребятишки ее уже стали подрастать; четыре белоголовых мальчика выглядывают здоровяками; старшему из них уже исполнилось тринадцать лет; а тут, к удивлению всей деревни, муж ее, Алексей, целый месяц водки не пил и купил куль ржи; за двенадцать лет своей семейной жизни в первый раз подумал о дворе своем и, *повидимому,* не на шутку принялся за работу».

Этих двух примеров весьма достаточно, чтобы видеть полную возможность для крестьянской женщины жить на земле трудами рук своих и руководить обширным семейным хозяйством. Но этими, собственно трудовыми качествами далеко не исчерпываются достоинства, свойственные женщине трудовой, крестьянской среды. Не о едином хлебе хлопочет деревенская женщина; независимость, возможность прожить на свете без кабалы, не только обязательной в труде «по найму», но даже и кабалы «мужа», нередко считающего свою жену за рабочую скотину и не видящего в ней ничего человеческого, также служат несомненным основанием стремления не отрываться «от земли», от крестьянства и земледельческого труда.

3

Во время поездки прошлым (88 г.) летом в поселки вятичей, переселившихся в Уфимскую губернию, *впервые* пришлось познать это стремление крестьянской женщины

своим уменьем в труде оборонить свою независимость. Пять новых поселков, возникших в недалеком друг от друга расстоянии и, главное, населенных переселенцами, вышедшими почти из одной и той же местности Вятской губернии, невольно возбудили желание узнать, каким образом распределилась общественная земля, оставшаяся после ухода такого значительного количества односельчан?

Отвечал на этот вопрос один из вятичей, который весною прошлого года был по своим личным делам на старых местах, видел своими глазами все перемены, которые там произошли после ухода односельчан на новые места, и однакож, когда ему сделан был вопрос о переделе оставшейся земли, очевидец порядков на старых местах призадумался, даже плечами пожал и ответил с легкой улыбкой недоумения:

— Если бы по мужицким душам считать, так оно и можно бы расчесть, по скольку на душу пришлось... А теперь не знаешь, как и сообразить, — *стали, вишь, баб в души засчитывать!*

Легкая улыбка, с которою ответил очевидец на заданный ему вопрос, передалась и тем поселенцам, которые присутствовали при разговоре. О какой-нибудь насмешке насчет «баб» нельзя было и думать, глядя на эти улыбающиеся и в то же время недоумевающие лица; напротив, казалось, что «новость», принесенная очевидцем, не противоречила их воззрению на трудовые способности «бабы», и только простое и скорое осуществление бабьих талантов «на деле» могло вызвать на лицах крестьян ту улыбку, в которой гораздо больше сказывалось «удовольствие», нежели неожиданность.

— Так что же? — с полною уверенностью в возможности таких фактов присовокупил один из участвовавших в разговоре переселенцев. — Вон и у нас Авдотья Кострякова овдовела, а души-то мужнины держит все, никому не сдает полвершка.

— Второй год «держит» землю-то на две души! — пояснил еще кто-то из собеседников, относясь, повидимому, к этому поступку Авдотьи с большим уважением.

Маленькое вторжение шутливого элемента (намек на ухаживание за Авдотьей какого-то парня) в разговоре о важном деле в конце концов не повредило значению сущности нового явления.

— Как же, дожидайся! — пояснил другой из собеседников. — Это *он* к Авдотье-то в мужья норовит, а не она! Наш же он парень, да беден, земли нечем взять. «Кабы повенчаться, так тогда, говорит, пожалуй, окроме Авдотьиной земли, еще бы на душу взял». Ну, а Авдотья-то не очень сдается.

— «Церковь, говорит, оченно далеко!» — вновь подшутил тот же шутник. — «Ежели бы церковь была поближе, так я б давно повенчалась с Кузьмой!»

— Конечно, мало ли что болтают, — не обращая на шутки никакого внимания, проговорил, повидимому обстоятельный, крестьянин. — А ежели разобрать дело, так у Авдотьи-то и свой сын через три-четыре годика погляди-кось какой работник будет. Держит она Кузьму действительно наравне, как свой человек, а из хозяек не желает в мужние-то жены идти. «Пускай, говорит, хоть моя шеюшка-то после покойничка отойдет». Вот и бережется... «Поживу-ка, говорит, пока что *без хозяина!»*

В другой раз то же предпочтение крестьянскою женщиной быть «хозяйкой», жить «без хозяина», подтвердилось при следующих обстоятельствах.

Поезд Николаевской дороги остановился на какой-то станции, где остановка пять минут и где есть буфетец. Дело было летнее, все пассажиры высыпали на маленькую платформу. Шум и громкие, поспешные требования сельтерской, пива, водки и беспрестанное хлопанье пробок не заглушили, однако, жалобного плача какой-то женщины, около которой уже собралась публика. Кто-то из крестьян, очевидно уже знававших горе этой женщины (одета она была совершенно по-петербургски — шляпка, дипломат, зонтик), объяснял любопытным и соболезнующим зрителям причину слез плачущей женщины таким образом:

— У нее муж помер... Осталось трое детей... Только было стала хорошее жалованье получать, стали поправляться, ан вот бог-то его и прибрал!

— Как не заплакать! Теперь все сама делай!

— Сестра, вишь, есть мужнина, — продолжал знакомый с положением несчастной женщины, — ну, у «вдвох» как никак...

— Куда ж женщинам справить все по хозяйству!

Какая-то искренно сочувствовавшая горю вдовы петербургская барыня, понимая до некоторой степени предстоявшую несчастной женщине трудную, изнурительную жизнь, с непритворным состраданием в голосе сказала ей:

— Каково это прокормить одной троих детей!

Ко всеобщему удивлению, после этих сочувственнейших слов петербургской барыни петербургская горничная и крестьянская вдова на мгновение сдержала свои слезы и, смахнув их платком с заплаканных глаз, довольно твердым голосом произнесла, обращаясь к барыне:

— А нешто легче жить в прислугах-то?

Ясное, даже острое выражение в глазах ее упрека за подневольную жизнь в «прислугах», также не знающую ни днем, ни ночью покоя, сказалось в упорном взгляде ее, который она вперила в глаза сочувствовавшей ей даме, и всем зрителям и любопытствовавшим стало понятно, что труды «прислуги» и труды «хозяйки» не одно и то же и что плачущая женщина ободрилась от одной мысли, что она будет трудиться «на себя», а не *на хозяина* и не *по найму*.

4

Но наиболее несомненным доказательством того важного обстоятельства, что земля нужна крестьянской женщине не для единого хлеба, а и для обороны[1] своего человеческого достоинства от погибели, неизбежной при необходимости бросить деревню и идти на заработки, может служить нижеследующее извлечение из статьи г. Рева, напечатанной в «Юридич<еском> вестн<ике>,[2] касающейся опять-таки *расстройства в земельных порядках* и в данном случае выясняющей вопрос *о поземельных отношениях крестьян,* владеющих землею не на общинном начале, а подворно.

Земельные отношения, о которых идет речь, определены автором как *земельное сутяжничество* и отмечены как народное *движение,* резко обнаружившееся в последнее

---

[1] Такого рода обороны женской самостоятельности мы имели уже случай коснуться в путевых заметках («По Шексне»).

[2] Май 89 г.

время. Причина возникновения и роста этого движения совершенно ясна. «С одной стороны, народонаселение деревень быстро увеличивается, а с другой — земли в его распоряжении остается столько же, сколько было дано ему в момент освобождения от крепостной зависимости. Влияние Крестьянского банка и частных земельных покупок, в смысле уменьшения земельно-деревенских распрей, совершенно не заметно. Обстоятельства складываются обыкновенно так, что при помощи банка, а тем более путем частных покупок, земля достается в руки тех крестьян, которые в ней наименее нуждаются, достается в руки деревенских «богачей», людей и без того в земельном отношении довольно обеспеченных; *деревенская же беднота принуждена довольствоваться кусочками «наделов»*. И вот теперь, спустя двадцать восемь лет после освобождения, нужда *среди массы крестьян в земле* сделалась уже настолько очевидною, что, при сохранении прежних условий обработки почвы, явилась *необходимость погони за земельными участками,* необходимость *оттягиванья* таких участков у родственников путем суда. «Сутяжничество» растет, и этот рост, способствуя развитию в селах *между крестьянами взаимного озлобления, доходящего очень часто до кровавых столкновений,* в то же время благодаря причинам, *указанным ниже,* грозит созданием такой земельной путаницы, которую потом едва ли удастся скоро и благополучно расхлебать». [1]

Определив весьма точно причины «сутяжничества» из-за земли и указав на перспективы грозных его последствий, автор выбирает более чем из трехсот решенных одним только л-ским волостным судом (дело происходит в какой-то из южнорусских губерний) не менее двадцати пяти исков, предъявленных волостному суду о правах на наследственную землю и заслуживающих особенного внимания как «образцы», в которых наиболее ярким образом отразилась, во-первых, неопределенность взглядов суда при решении исков и, главным образом, сутяжническая этих исков особенность. Но, к величайшему нашему удивлению, во всех этих двадцати пяти образчиках *сутяжничества* и суда, путающегося в своих решениях, только в пяти случаях являются истцами действительно кресть-

[1] Стр. 99—100.

яне, то есть *мужики,* все же остальные двадцать дел по двадцати искам предъявляются *исключительно женщинами*-крестьянками. Фактов, которые бы доказали *озлобление крестьян* между собою, нет в этих исках *ни единого.* Да и в тех пяти исках, в которых фигурируют *крестьяне,* два из них возникли по жалобам двух опекунов над малолетними сиротами, — следовательно, не из личных расчетов; один возник по жалобе *на опекунов,* а два последних были предъявлены двумя братьями к дяде и предъявлены по сущей справедливости: «Иван и Никита Голяки жаловались на своего дядю, Федора Голяка. Оказалось, что дед их, владевший при жизни земельным участком по уставной грамоте, умер двенадцать лет тому назад, и тогда же умер и их отец, а они сами никакого участия в делах семьи не принимали. Суд удовлетворил их претензии и выделил им половину Федоровой земли». Дело совершенно справедливое, но, повторяем, вместе с предыдущими четырьмя, исчерпывает решительно *все иски,* начатые *крестьянами,* то есть мужиками. В остальных же двадцати — *крестьянка* первое слово каждого иска наследственной земли.

«*Крестьянка* д. Нападовки, Федосья Дергачева, жаловалась на своего дядю Петра Дергача, требуя от него части владеемой им земли...»

«*Крестьянка* города Липовца, Евдокия Загородная, жалуется на своего свекра, который, после смерти ее мужа, не дает снохе и двум внучатам (дев. 10 и сын 1 г.) *ни поля, ни пахотной земли...*»

«*Крестьянка* д. Нападкова, Марья Калашникова, жаловалась на своего свекра и требовала земли *не для себя, а для своих двух дочерей, оставшихся после смерти ее мужа».* Словом, все страницы статьи г. Рева пестреют словом — *крестьянка, крестьянка, крестьянка,* и непосредственно за ними следует: *земля,* наследственная *земля,* участок *земли* и т. д. Все это дает весьма существенное основание для того, чтобы видеть, какое важное значение в жизни крестьянской женщины имеет земля. Во всех исках крестьянок только два или три раза решение суда окончилось денежным вознаграждением истицы, но и причины такого решения очевидны: у свекра, с которым начата была одна из тяжб женой его сына, у самого было еще девять человек детей. Суд отказал в земле и присудил

«на сирот» двадцать рублей со свекра. Совершенно справедливо удовлетворен судом и иск *солдатки* м. Россоша, Акулины Ходаковой, также на ее свекра *по первому мужу*, крестьянина Дмитрия Шумника. «Жалобщица объяснила, что она была замужем за сыном Шумника, Захарием, с которым прижила дочь Анну, и затем Захарий умер, а она вновь вышла замуж за солдата Ходака. Так как у Шумника, кроме Захария, других детей нет, то она просит признать ее дочь *участницею в пользовании земельным наделом* свекра. Ответчик не пожелал признать при своей жизни внучку «участницей», говоря, что сам желает пользоваться своею землей. Суд постановил: «основываясь на том обстоятельстве, что за смертию Захария Шумника, умершего тому восемь лет, осталась дочь его Анна, и что грунтовладелец, дед Анны, Дмитрий Шумник, не принимает ее участницей в пользовании половинной части земельного надела», суд признал Анну *участницей и удовлетворил просьбу ее матери».*[1]

5

Теми же особенными и свойственными исключительно крестьянской женщине качествами, то есть возможностью для нее независимого существования и возможностью выполнять свои не только материнские, но и *общественные* обязанности, несмотря даже на невозможность иметь законного мужа, мы объясняем себе и те прискорбные для нас, простых смертных, *своевольства* крестьянской молодежи обоего пола, которые определяются как «переживания» коммунального брака и гетеризма и понимаются простыми смертными в смысле как бы первобытного канкана. Не говоря о полуязыческих инородцах (чуваши, черемисы, мордва), даже у истинных христиан, каковыми почитают себя раскольники, до того момента, когда образуется, *наконец, семья,* молодежь обоего пола несомненно проявляет все признаки переживания первобытного своевольства.

По свидетельству Н. М. Ядринцева, первобытное своевольство молодежи в алтайских раскольничьих обществах,

---

[1] Стр. 110.

определяемое выражением «птичий грех», «переживается» молодежью до брака с полнейшей свободой и без всякого стеснения со стороны родителей. Г. Краснов[1] также удостоверяет об этом своевольстве не только в добрачных, но и в брачных отношениях обоих полов алтайских раскольников, причем оба писателя утверждают, что, несмотря на это своевольство, нигде по всей русской земле нельзя найти такого всестороннего крестьянского хозяйственного благосостояния, как именно в этих своевольных раскольничьих общинах.

Но Алтай все-таки место более или менее дикое, и немудрено, что в нем не могло быть особенной надобности в препятствиях переживанию первобытного своевольства. Но что сказать о раскольниках поволжских, живущих не в дебрях, а среди условий жизни, уже тронутых высшею культурой, если и они решительно ничем не отличаются от алтайских своевольников? По свидетельству знатока раскола П. И. Мельникова, сожительство федосеевцев и других беспоповцев, не имеющих освященных браков, крепко и неразрывно. Но «до тех пор, пока не сойдутся в сожительстве, и молодые люди и молодые девушки грешат; но как скоро сошлись, поселились в одном доме, стали жить как муж с женою, этого рода грехи навсегда прекращаются». Один из расколоучителей и основателей того же федосеевского согласия, Иван Алексеев, находивший необходимым освящение брака (то есть *сожительства*) родительским благословением, чтобы в нем были «крепость и честь», изображает добрачные отношения девушек и парней, то есть то, что у П. И. Мельникова определено словом *грешат,* — в подробностях совершенно непривлекательных: «сыновья их (федосеевцев) и дщери их юнии сами досматривают юноши дев, а девы юношей, и сватовство свое или по нощем темным, или по гумнам, или по лесам, по посиделкам, без благословения отца-матери и без всякого гражданского чина и обычая, сами собою, убегом и, помешкавши или в лесе, или где в отъезде, в свой дом аки новобрачные приезжают».

Этих двух несоединимых свойств в одном и том же человеческом существе — коммунального и законного брака, добрачного «гетеризма» и крепости и прочности

---

[1] Кн<ижки> «Недели», 90 г., № 1.

семейного союза, однако, еще недостаточно для того, чтобы простой смертный был окончательно сбит с толку в понимании нравственных принципов нашего крестьянства обоего пола, и в особенности крестьянских женщин. Что может подумать простой смертный, если я сообщу ему, что все вышеприведенные цитаты о добрачном поведении юношей и дев заимствованы нами из статьи г. Савельева: «Браки по благословению родителей»,[1] в которой приведено множество решений волостного суда по делам, касающимся того же своевольства уже не дев и юношей, *а мужей и жен, считающихся* в *браке,* то есть после того, как окончился «гетеризм» и установилась «семья»?

Своевольство в юности, крепость и твердость в браке, и в том же браке опять своевольство, то есть обоюдное, без всякого стеснения, проявление желания расторгнуть брачные отношения, — как объяснить всю эту путаницу взаимных отношений мужчин и женщин? В 1871 году хохловский волостной суд присудил *жену* к аресту за то, что она ушла от мужа и не возвращается к нему без уважительной причины. Но жена не только не согласилась на возвращение, *но еще бросила в лицо судей повойником.* Одна крестьянка, только что вышедшая в минувшем мясоеде (71 г.) замуж по родительскому благословению, почему-то была отвезена своим мужем обратно к ее родителям; отец отринутой дочери предъявил иск о возвращении ее имущества, а муж в то же время изъявил желание, чтобы жена его возвратилась к нему. Но жена не согласилась и заявила суду, что она *не венчана,* и суд решил возвратить жене ее имущество. Заявление жены, что она *не венчана,* было для нее только средством расторгнуть брак, так как если бы она не оборонилась этим указанием на брак церковный, то волостной суд не допустил бы расторжения брака, так как брак «по родственному благословению» почитается волостным судом, состоящим из православных, так же нерасторжимым, как и церковный. «Решения волостных судов, — читаем мы в статье г. Савельева, — по поводу этих браков по родственному благословению возникают обыкновенно по жалобе обеих сторон, *чаще женщин,* на притеснения одною стороной другой или по просьбам о востребовании иму-

[1] «Волжск<ий> вестн<ик>» 89 г., № 89.

щества, когда одна сторона, вследствие той или другой причины, *не желает* продолжать сожительства. Из некоторых решений волостных судов можно заключить, что крестьяне придают этим бракам такое же значение, *как и церковным,* и за самовольное расторжение их подвергают виновных наказанию, а иногда и вовсе отказывают в расторжении».

«Бывают даже случаи, когда судьи с большим упорством проводят свои воззрения о законности браков «по благословению родителей». Сюда относятся решения дроздовского волостного суда от 1875 года. Муж жаловался на жену за нежелание жить с ним, и волостной суд определил *арестовать жену на семь дней* и потом водворить к мужу. В волостном суде Хвостиковской волости, наоборот, дело разбиралось по жалобе мужа на жену за то, что она ушла от него и не желает возвращаться, вследствие чего просил развода (д. 1874 г.). Ответчица заявила, что она ему — не жена, а «жила в работницах», на что муж возражал, что он «женился по родительскому благословению и взаимному согласию», вследствие чего волостной суд решил *в иске отказать* и предоставить хлопотать о разводе в подлежащих местах. Здесь судьи, находя себя некомпетентными в расторжении брака, тем не менее самый брак признали за действительный».

Статья г. Савельева состоит из двух больших фельетонов и переполнена множеством исков обеих сторон, «по каким-либо причинам не желающих продолжать сожительства». Самое уважение, проявляемое судом к раскольничьим бракам и бракам по родительскому благословению, ничуть не меньшее уважения и почитания брака церковного, само по себе свидетельствует о том, что судьи имели уже опыт в решении таких же исков и среди православных крестьян.

Кроме этого предположения, я, по личному опыту, могу свидетельствовать, что в волостных судах просьбы «законных» крестьянских жен об отдельном виде на жительство явление весьма нередкое. По личному опыту, даже и в такой совершенно уже православной среде, как крестьянское население Новгородской губ<ернии>, и то уход жены от мужа, иногда без всяких разрешений, практикуется довольно часто. В зиму 1888 года в той деревеньке, где я по временам бываю, было только две

свадьбы (ожидали *восемь!*), причем мужья были пришлые из других соседних деревень, и обе увезенные в чужие семьи девушки после двух-трех месяцев замужества возвратились к своим родителям, и никакими силами их не могут вернуть к мужьям. У каждой из них по ребенку, но и это не способствует к семейной жизни в подчиненном положении семьям мужей.

Итак, опять-таки своевольство в добрачной юности и, несмотря «на крепость» брачного сожительства, своевольство и в этом, якобы «крепком», браке. Есть ли какое-нибудь соотношение, какая-нибудь связь между добрачным и послебрачным своевольством? Окончился ли гетеризм, или продолжается даже и после брака? И на чем основано своевольство, смелость уходить от мужа, унося с собой ребенка, а иногда и не одного, и почему крестьянская жена крестится на церковь, радуясь, что в «волостном» ей дали отдельную бумагу?

Все эти недоразумения будут для нас понятны, если мы, так сказать, собственными глазами рассмотрим «своевольство молодежи» в его реальном, действительном проявлении и своими глазами увидим также реальные, действительные основания к этому своевольству.

«Во всем Нарымском крае[1] весною, когда снег начнет таять и в полях покажется вода, вокруг почти каждого селения устраиваются несколько винокурен или балаганов из ветвей, иногда крытых соломою, где почти все хозяйки приготовляют для себя вино (самосидка). Туда свозится несколько кадочек и бочек для затора вина, там его затирают, там и гонят. Затерев два пуда, может быть, последней в доме муки, хозяйка проводит в этом балагане по крайней мере три дня и три ночи.

Спать ей, бедной, тут некогда, да притом, *откровенно сказать, несмотря на холод, на ветер и прочие неудобства, каждая хозяйка считает это время самым счастливейшим во всем году*. Тут к ней приходят соседки и знакомые с пряхами и проводят с ней иногда целый день. Из дома ей приносят дочери чай, сахар, разные печенья. Тут угощает она подруг своих чаем, угощает их вином,

---

[1] «Записки Зап<адно> Сиб<ирского> Отдела имп<ераторского> Геогр<афического> Общ<ества>: «Крестьяне Нарымского края», ст<атья> Григоровского.

еще горячим, и всегда ложкою, а не рюмкою, затем, что вино надобно пробовать часто, чтоб не сделать его уж очень слабым, а поэтому каждая из подруг и сама хозяйка часто пробуют его ложечкой. От этого пробования и хозяйка и подруги всегда навеселе, а другие уже бывают и чересчур веселы. Рассказы, прибаутки, смех почти не прерываются целый день. Перед вечером сюда приходит с работы муж винокурки; он в это время поблизости рубит дрова и всегда «с устатку» заходит сюда выпить горячего; с ним иногда приходит сосед или приятель, и тому тоже подается водка. Настает ночь, и тогда к винокурке приходит на помощь ее дочь с своими подругами-девушками, чтобы дать матери немножко соснуть и посидеть вместо нее около вина. Они приносят с собою из дома ужин. Затем после ужина сюда собираются молодые ребята поиграть с девками; им тоже подается по чарке. Начинаются веселые разговоры, шутки, прибаутки, деревенские остроты. Хозяйка, утомленная долгою бессонницей, прикурнет где-нибудь в балагане и спит богатырским сном. Ребята начинают заигрывать с девками, огонек курится и освещает очень мало пространства. *И что тут делается, только знает темная ночь да сами действующие лица.* Действительно, такие таинственные ночи довольно заманчивы для воображения деревенской молодежи, и каждая *хозяйка донельзя любит их, по воспоминанию о своем прошлом, как и она проводила некогда подобные ночи на винокурне,* а потому я и сказал, что *каждая хозяйка почитает это время самым счастливейшим».*

То, что автор скрыл в неопределенном выражении — *«что тут делается, знает только темная ночь да еще сами действующие лица»,* очевидно, означает не что иное, как неминуемое «переживание гетеризма по установленному типу». Но почему же состарившейся женщине, к которой в шалаш приходят взрослые уже дочери, нет в жизни лучшего воспоминания, как эти тайны темных ночей? И почему для этих молодых девушек также останутся *наилучшими* воспоминаниями те же *темные ночи* и то, что во время их делается молодежью?

Ответ мы находим именно тот, который всего понятнее и приятнее простому смертному: та самая девушка, которая, сделавшись старухой, будет вспоминать девичьи

годы и темные ночи,— в 15 лет, то есть именно в те годы, когда она впервые начинает переживать впечатление этих ночей, *уже входит во всю хозяйскую и домашнюю работу.* Она уже умеет отлично плавать на лодке, умеет жать, косить, метать сено, боронить и даже неводить рыбу; умеет, конечно, и коров подоить, и прясть, шьет рубахи, платья, вяжет чулки. Умеет разными травами красить белую пряденую шерсть, умеет найти эти травы и соткать из этой пряжи для себя юбку с разными цветными клетками. Мало того, сделавшись женой и приняв на свои плечи *весь* хозяйственный труд, в *буквальном смысле,*[1] она до старости сохраняет такую силу жизненности, что находит возможным нести этот труд, не теряя веселого настроения духа. Как только утром проводят мужиков на промысел, тотчас являются соседки с прядками *на посиденки.* Тут пойдет угощение чаем, разговоры, и так продолжается, пока вернутся мужики. Иногда, накормив поскорей мужиков, женщины уходят на новую посиденку, где непременно тоже идет угощение. В рабочую пору

[1] Мужик Нарымского края ленив и всячески старается увильнуть от трудов в доме и в поле. Чем ходить за сохою да за землею, ему лучшим кажется ходить целый день по лесу, положив на плечо ружье, покуривая трубку, посвистывая да поглядывая по сторонам. Попал зверек — убил, а нет, так и не надо — завтра попадет. Или целый день лежит на берегу реки, в балагане, ест до отвала лучшую рыбу и посмотрит два-три раза ловушку. Чего же лучше? Любо ему такое дело, потому что нет за него ни пред кем отчета; старики не могут спросить: отчего не добыл зверя? Здесь не на пашне, работа не видная, не то что поехал бы за сеном да не привез его. Если же этот промышленник-зверолов, поставив свои клепцы и черканы, добыл десяток-другой белок, с десяток колонков, какую-нибудь лисицу, то уж все семейные считают его настоящим промышленником. Тогда он для дома уже ни за что не нарубит дров, не съездит за сеном, не станет пахать и убегает от всякой домашней работы, под предлогом, что вот тут-то видел зверя (стр. 9). А когда он доживет до сорока лет, так уж окончательно прекращает всякие работы, считая себя стариком, так как дети его женаты и замуж выданы. И вот он начинает жить исключительно в свое удовольствие. Любит он лежать и валяться на перине, которая непременная принадлежность каждого дома и каждого из живущих в нем счастливцев: птичьего пуху тьма! Перины созидают огромнейшие, и вот труженик сорокалетний начинает отдыхать от трудов праведных, любит он на этой перине вдоволь выспаться со своею старухой, которая также полагает, что она *старуха* (то ли дело, когда она была молода!), и родит, во время отдохновения, иногда до пяти детей (стр. 15).

посиденки идут с перерывами, а зимой по два раза в день; без посиденок женщину томит тоска, клонит сон, а на посиденках и не дремлется и работа идет скорее.

Все это делает и пятнадцатилетняя девушка, и, следовательно, именно в эти юные годы она так многосторонне оборонена в свободе и самостоятельности своего существования, что ее ничего не стесняет в самых бескорыстных и искренних проявлениях чувства к своему ровеснику-парню, ее будущему мужу.

Вот эта-то возможность жить на белом свете без всякой опеки и попечения и объясняет нам право крестьянской женщины уйти от тирана-мужа, взяв на обе руки по ребенку, объясняет все эти разводы и требования отдельного вида и вообще объясняет стремление не покоряться произволу, не заглушать голоса своей совести, и все потому, что есть *золотые руки,* которые всё могут сделать и от всего оборонить.

ОТВЕТЧИКИ [1]

(Продолжение предыдущего)

1

...Те же самые своевольные, независимые крестьянские женщины обречены на неминуемую гибель, если только, по тем или иным причинам (о причинах будет сказано подробней), будут вынуждены оставить родной дом, деревню и искать хлеба на стороне и в труде по найму.

[1] Эта заметка написана в самый разгар всеобщего гнева против «варшавских детоубийц». *«Женщины Ироды», «Избиение младенцев»* — иначе не говорилось в печати о Скублинской и ее зверских злодействах. В конце ноября 1890 г. в Варшаве окончился процесс Скублинской, и общественная совесть чистосердечно сказала об этом деле свое справедливое, даже покаянное слово: «Варшавский дневник», сообщая судебный отчет по делу Скублинской, между прочим замечает: «Скублинская все больше и больше располагает к снисхождению не только жалким видом, частыми слезами и, повидимому, искренностью в показаниях, но и впечатлением, вызванным всем ходом дела, — *складывается убеждение, что она совсем не такой изверг, каким представила ее обществу печать, и даже не в такой степени преступна, как ее изображали».*

Ужасное дело о варшавских «детоубийствах» еще не подлежало суждению гласного суда, — но мы уверены, что суд, если и не оставит без наказания женщин, «кормившихся» около «брошенных» детей, то он, несомненно, выяснит те великие неправды современного строя жизни, в котором множество матерей не могут исполнять своих материнских обязанностей и множество детей обречены быть брошенными своими родными матерями.

Прежде всего, конечно, несметное множество крестьянских женщин, оторванных от своего хозяйства, и в большинстве самого цветущего возраста, поглощает всякий *город*, большой или малый, все равно. Каждый городской дом не может ни в каком случае обойтись без прислуги как мужской, так и женской. И если мы выделим из общего числа прислуги вообще только одних женщин, и притом таких, которые исполняют в доме лишь черную работу (не говорим о гувернантках, компаньонках и пр.), то увидим, что и этого рода тружениц семейный дом требует в весьма немалом количестве: кормилицы, няньки, горничные, кухарки, швеи, прачки, все это *необходимые* в каждом семействе радетели и пособники, без которых *никоим образом* не может обойтись ни один обывательский городской дом. И если это количество *необходимых* пособников помножить на сотни и тысячи таких же семейств, количество которых увеличивается по мере возрастания народонаселения, то получится поистине несметное множество *одних только женщин,* которых поедает чрево *города* и которые обречены на полнейшую невозможность хотя бы подобия независимого существования.

Неудивительно поэтому, что *подкидыш* есть в настоящее время непременная принадлежность *«городских известий»* всякой газеты, издающейся в таких городах, где г. Купон в большей или меньшей степени запустил свой «коготок»; не говоря о столицах, — Одесса, Ростов, Киев, Казань и все поволжские крупные торговые пункты почти *ежедневно* свидетельствуют в своих листках о подкинутых младенцах. Но в тех же листках, не в городских известиях, а на последней странице объявлений, целые столбцы также ежедневно свидетельствуют, какое огромное количество бездомовного народа (и опять-таки *преимущественно женщин*) ищет труда, работы, места, то есть вообще куска хлеба. *Ежедневный подкидыш,* боль-

шею частью в единственном числе, и ежедневная масса, десятки и сотни женщин, ищущих куска хлеба, эта параллель между размерами женской нужды и одним-двумя брошенными детьми ясно свидетельствует о том, что брошенный ребенок — не продукт распутства и разврата темной городской «массы», как это утверждают, между прочим, некоторые исследователи варшавских событий.

Подкидыш, то есть *брошенный* ребенок, есть прямое последствие скопления в городах огромного количества рабочего народа обоего пола, *необходимого* для обихода жизни городского обывателя, а следовательно, он, обыватель, не имеющий никакой возможности обойтись без покупного труда, и есть прямой и первый *ответчик* за *брошенного* ребенка брошенной на произвол судьбы женщины.

Мы подчеркиваем слово *брошенный,* потому что только в *городе* матери случайно рожденных детей могут быть поставлены в положение, не дающее им никакой возможности их растить и даже кормить хотя несколько дней; *незаконные* родятся в деревне, но участь их не такая, какова участь городского *незаконного.* «В одном из селений Лаишевского уезда,[1] при производстве коренного передела земли, общество сильно занимал вопрос: наделить или не наделять землею незаконнорожденных? Большинство склонилось к тому, чтобы не наделять, во-первых, потому, что «кто его знает, чей он?— нашинского или чужого?» — а во-вторых, и, пожалуй, *главным образом* потому, что *надели их землей, так солдатки да вдовы* столько натаскают ребят, что им, чего доброго, придется половину поля отрезать». В данном случае *отказ* в наделе землей объясняется только крайним малоземельем той местности, где находится указанное выше селение. Очевидно, что если бы у мирян было во владении достаточное количество земли, о *незаконнорожденных* и речи не было бы на миру, как не было ее и до сих пор. С другой стороны, какая разница в положении *этих безмужних* женщин, имеющих в своем распоряжении только «свои руки», и такой же женщины, трудами рук своих существующей не в деревне, а в городе. Оказывается, что будь

---

[1] «Казанский листок».

у деревенской *безмужней* женщины какое-либо малейшее соприкосновение с *землей*, так она безбоязненно может ответствовать сама за себя; *незаконные*, которым отказывается в земле, не брошены деревенскими матерями, а *выращены*, и только малоземелье не дает их детям полного равенства в положении со всяким мирянином того сельского общества, где он родился.

Даже из одного этого примера — возможности для крестьянской женщины, будучи безмужней, не продавать своих рук из-за хлеба — городской нетруждающийся обыватель должен убедиться, что женщина решается идти к нему в услужение в том только случае, когда для нее утрачены все пути к *независимому* существованию, и что, следовательно, он благоденствует только усилиями тех человеческих существ, которые обречены необходимостью отказаться навсегда даже от тени мысли о возможности жить без кабалы.

2

Чтобы слова наши не были бездоказательными, приведем два-три самых заурядных жизненных факта, непосредственно касающихся благосостояния городского обывателя. «31-го августа[1] в камере мирового судьи 1-го участка слушалось дело по обвинению от полиции крестьянской девицы Прасковьи Ермолаевой Лазаревой в подкинутии младенца. Обвиняемая признала себя виновною и объяснила следующее. Отдав на воспитание свое новорожденное дитя, она поступила в кормилицы. Несмотря на то, что обвиняемая ежедневно выдавала приемной матери своего дитяти по 15 к. и снабжала молоком, последняя требовала 5 р. разом, которых она еще не зажила. В 12 ч. ночи ей принесли назад ее ребенка. Вероятно, вследствие того, что обвиняемая не могла удовлетворить двух младенцев, оба кричали. *Хозяевам, конечно, это было неприятно. Не имея ничего в перспективе, кроме заработка в качестве кормилицы,* она поставлена была в необходимость расстаться с своим родным дитятею. Полюбовный муж ее, будучи рассержен тем, что

[1] «Волжск<ий> вестн<ик>», 1889 г., № 215.

его не допустили к обвиняемой, расследовал все это дело и заявил в часть. В настоящее время младенец у нее на руках, а она сама живет вместе с вероломным возлюбленным *в качестве прислуги* в доме у его отца. Рассмотрев дело, судья приговорил Лазареву к 4-дневному аресту при земском арестном доме».

Если бы обожатель *не рассердился* и не был *лично обижен* полицией, то дело о подкидыше никогда бы не выяснилось так, как оно выяснилось на суде. Обожатель не сердится и ничего к облегчению свой сожительницы не предпринимает, зная, что ребенок его отдан старухе и что его сожительница принуждена *безвыходным положением* идти в кормилицы, кормить чужого ребенка. Хозяева, не уплатив ни копейки женщине, покинувшей для их благополучия собственного ее ребенка, однакоже, не задумываются высказать ей свое неудовольствие, что она не сумела отделаться от своего ребенка, и нимало не протестуют против ее отчаянного поступка.

Вот при каких условиях получает обыватель *кормилицу,* прачку, швею, обшивающую все его семейство. И швея, так же, как и кормилица его детей, жертвует для него всеми своими правами на независимое существование. Фактические доказательства сказанного заимствуются нами из венской корреспонденции, касающейся того же вопроса, о котором идет речь, так как положение швеи московской, казанской, петербургской и пр. совершенно одно и то же, что и положение швеи «заграничной». «Вот бюджет венской белошвейки, — пишет корреспондент «Русск<их> вед<омостей>», — из числа «обеспеченных», то есть работающей на магазин и поэтому не имеющей надобности искать работу. Магазины белья платят своим работницам за изготовление 10 рубах от 1 гульд<ена> до 1 гульд<ена> 50 кр<ейцеров>. Так как умелая белошвейка в состоянии изготовить 10 рубах в 2 дня, работая 12 ч. в день, то заработок ее в день составляет 75—50 крейцеров; расходы же ее, считая только самое необходимое для поддержания жизни, следующие: квартира в день — 17 кр. (5 гульд. в месяц); литр молока для приготовления кофе, заменяющего завтрак, обед и ужин, стоит 12 кр.; кофе, цикорий и сахар — 10 кр., хлеб — 6 кр. и, наконец, керосин — 5 кр. Дневной расход, как видим, составляет уже 50 кр.

Но в этом бюджете нет места ни расходам на платье и обувь, ни расходам на детей, если они живут при матери-работнице. Очевидно, что своим трудом белошвейка (как и рукодельница) не может прожить. Ей приходится искать помощи благотворителей, а не нашедши ее, выбирать между жизнью впроголодь и... проституцией».

Что же касается последнего рода гибели женщин, то городской обыватель вполне признает необходимость этой оформленной печатными правилами погибели женщин и как должное вносит в свой бюджет все городские расходы по части «гигиены».

3

Но расходов по части сохранения жизни подкидышей, в появлении которых в подворотнях, на тротуарах, на церковных папертях — он, горожанин, член городского *общества,* [1] есть несомненный виновник, — об этом расходе ни в одном городском бюджете нет пока и помина. За исключением земств, добровольно возлагающих на свои плечи бремя попечения о призрении подкидышей, то есть исполняющих обязанности, всею полностью лежащие на *городском* обывателе, почти во всех многонаселенных, оживленных г. Купоном городах попечение о брошенных детях продолжает быть делом частной благотворительности, делом частной инициативы человеколюбивых людей.

В Варшаве воспитательный дом основан благодаря иностранцу аббату Бодуэну; в Одессе дело призрения

---

[1] В № 213-м «Волжского вестника» 1889 г. помещена заметка: *«Один из сотни подкидышей»,* вопиющая о грубом *равнодушии общества к этим несчастным человеческим существам.* Одно уж заглавие заметки «Один из сотни» свидетельствует о количестве этих брошенных детей. «Здесь *трудно обвинять, мать ребенка,* — говорит автор заметки, — бог знает, какие *тяжелые условия* заставили ее бросить свое детище? Может быть, стыд, может быть, страх перед людьми, *нищета* — были причиной, побудившей несчастную забыть чувства матери?.. Теперь все эти подкидыши поступают на воспитание в *земское сиротское отделение,* но поступают туда *далеко не все: половина их мрет* под заборами, пока будут замечены прохожим». *О тяжких условиях* мы имеем уже понятие из разбирательства у мирового судьи, приведенного выше.

подкидышей также, повидимому, лежит главным образом на плечах частных благотворителей.[1] И нигде во всех этих густонаселенных городах (где одних *кормилиц,* то есть матерей, вынужденных *бросить собственных детей,* требуются целые десятки тысяч), управы не принимают ни малейшего участия в увеличении средств благотворительных учреждений, средств, возрастающих в своих размерах по мере увеличения народонаселения и пропорционально этому увеличивающегося количества брошенных детей.

«В 1876 г. в варшавском воспитательном доме «Младенца Иисуса» было принято 3607 детей; в 1877 — их поступило 3639; в 1879 г., после введения новых правил, принято *лишь* 1213, а в 1880 г. — 1172. *Очевидно, что непринятые ежегодно полторы тысячи детей* поступили, с 1879 года, на воспитание Скублинских, *которые и не замедлили отправить их на тот свет».* Последняя фраза г. корреспондента нам кажется написанной единственно из суетного желания не отставать в понимании варшавских событий в смысле первенствующего значения в них известных «зверообразных» личностей. Это тем более несправедливо, что из других корреспонденций того же автора мы узнаем, что Скублинские до такой степени изнуренные нуждою существа, что при полицейском осмотре из всех пяти злодеек только на одной была рубашка, а все прочие носили свои лохмотья *на голом теле!* Еще более несправедливое мнение о Скублинских заключается в обвинении их в умысле морить детей голодом:[2] «на *семь* подкидышей Скублинская покупала *всего-навсего полбутылки молока».* Но варшавский приют отказал не семи, а (в течение десяти лет) пятнадцати тысячам мла-

---

[1] В Одессе в двух приютах для подкидышей, «Павловском» и «Обществе призрения младенцев и родительниц», за двадцать пять лет принято 4440 подкидышей, то есть примерно до 150—160 младенцев в год; неизвестно, однакоже, в какой степени увеличивалось количество подкинутых младенцев по мере оживления промышленности и коммерции и сколько найдено людьми и частью собаками уже *мертвых* младенцев? Из 4440 в одних только двух приютах Одессы умерло 2872 младенца.

[2] В воспитательных домах Петербурга и Москвы в течение 125 лет умерло до 21-летнего возраста из 1 293 917 принятых подкидышей — 1 188 646, то есть 88%. Расход годовой 2½ милл. Каждый ребенок обходится в год 690 руб. («Нов<ое> вр<емя>», № 5030).

денцев даже и в единой капле молока, оправдывая свой поступок *недостатком средств!* Действительно, средств у приюта маловато. «Любовь к ближнему» как бы закаменела в сердцах его руководителей на тех тридцати тысячах рублей ежегодных расходов, которые в той же неизменной цифре тратились приютом с первых дней его открытия и до последнего дня настоящего года. Этот *недостаток средств* (а какие средства у Скублинской?) несомненно свидетельствует именно об окаменении человеколюбивого чувства, потому что если бы в нем не замерла идея милосердия, положенная в основание учреждения, он бы не мог не возвестить обществу о необходимой помощи.

Не менее бесчувственное отношение видим мы в полнейшем безучастии общества к явной, очевидной для каждого обывателя, гибели целых тысяч брошенных детей, нарожденных бедным, пришлым из-за куска хлеба, народом. В течение десяти лет в глазах Варшавы один за другим возникали процессы о «фабриках ангелов», но город довольствовался решениями суда, взыскивая со Скублинских по 50 руб. штрафа, и ни малейшим образом не ощущал на своей совести обязательной для него, неминуемой, неизбежной *повинности.*

4

Недостаток средств начинают испытывать также и земства, добровольно принявшие на свои плечи бремя городских обязанностей. Несколько лет тому назад губернское земство выстроило в гор. Самаре при земской больнице приют для подкидышей и устроило в воротах больницы ясли, «куда безбоязненно могли бы опускать младенцев, составляющих по той или иной причине тягость для их родителей». Затем у земства явилась мысль: «что делать с приемышами, когда они подрастут?» — вследствие чего управе было поручено выработать доклад о дальнейшей судьбе питомцев приюта. На следующий год управа доложила очередному собранию, что, по ее мнению, «прежде чем придет для губернского собрания время забот о дальнейшей судьбе подкидываемых

детей, ему предстоит решить неотложный вопрос о том, что делать с той массой детей, *которую создал* и *вызвал практикуемый ныне порядок»*. Докладчики заявляли, что если останутся «ясли» и ничем не стесняемое подкидывание в них младенцев, то лет через пять будут подбрасывать по нескольку тысяч детей, *и на воспитание их, быть может, нехватит всей сметы губернского земства;* если же будет установлен *открытый прием* младенцев, то «с уверенностью можно сказать, что число подкидываемых сразу уменьшится и будет выражением *действительной* нужды, а не корысти и злоупотреблений». Несмотря на возгласы и протесты *лже*-филантропов (?), земское собрание 18-го декабря 1888 г. постановило: «ясли при приюте закрыть».[1] А вслед за тем, прибавим от себя, в «Русск<их> ведомост<ях>» появилась корреспонденция из Самары, в которой сказано, что «злоупотребления» продолжаются, несмотря на закрытие яслей, и подкидышей стали подбрасывать прямо на лестницу земской управы, что и доказывает неосновательность мнения, высказанного в сообщении из Самары, будто бы количество подкидышей возрастает именно вследствие *закрытого* приема подкидышей. Варшава неопровержимо доказала неосновательность этого предположения. Но что совершенно справедливо в сообщении самарского корреспондента, так это именно то, что действительно у самарского, да и у всякого, земства нехватит и всего земского бюджета, если только оно, *земство,* будет брать на свои плеча ответственность за грехи *городских* обывателей.

Самара — город богатейший, с каждым днем расширяющий пределы коммерческих операций, и, следовательно, обязанный отвечать за участь случайно рожденных в среде чернорабочего народа, который поглощается Самарою десятками тысяч и который обогащает ее обывателей миллионами. Средств у городского обывателя должно быть полным-полно, и расплатиться ему за собственные свои грехи ничего не стоит, если только он (как и вообще все городские управления) не будет извлекать *средств* из нищенского заработка того же рабочего люда, как это делается теперь. Та же Самара не только создает «огромные» театры и величественные здания, стоящие многих

---

[1] «Русск<ие> вед<омости>», 1889 г., № 21.

сотен тысяч, но без малейшего вреда для своего сундука, и даже прямо без всякого расчета, может просто-таки «швырять» деньги, как говорится, «на ветер» и притом опять-таки тысячами. [1]

В прямое подтверждение невозможности для земства отвечать за чужие грехи может служить ужаснейшее положение земского приюта для подкидышей в Симферополе, о котором сообщает самые мрачные сведения корреспондент «Москов<ских> вед<омостей>». Дети мрут массами как в приюте, так и в деревнях, чего таврическое земство и не утаивает. Но стоит только представить себе, что такое означает Таврическая губерния в смысле потребления для хозяйственных надобностей главным образом опять-таки молодого женского поколения, чтобы знать, кто именно настоящий ответчик за *брошенных* детей. Одно овцеводство, стрижка и мойка шерсти в хозяйствах, имеющих стада овец в десятки и сотни тысяч,

---

[1] За что, например, самарская дума заплатила архитектору г. Жиберу около трех тысяч рублей и зачем собственно вызвала его из Петербурга? По словам *одного* из самарских корреспондентов, дума вызвала г. Жибера, во-первых, «для выполнения деталей по внешней отделке строящегося собора и, во-вторых, для увенчания здания куполами». Эти сведения *первого* корреспондента опровергает *второй*: дума, — говорит он, — в заседании 2-го апреля 1885 года постановила обратиться к г. Жиберу *не за разработкой деталей* и не для покрытия здания куполами, а с тем, чтобы он приехал освидетельствовать появившиеся трещины в недостроенном еще соборе. *Первый* корреспондент прибавляет к двум опровергнутым уже сведениям еще и третье: «Жибер одобрил постройку купола, получил за осмотр 3000 р.» Но и это третье сведение первого корреспондента также оказывается опровергнутым вторым корреспондентом: г. Жибер не мог одобрить постройку купола, так как в бытность его в Самаре в 1885 постройка была доведена до барабанного кольца и *куполов еще не существовало*. Г. Жибер получил не 3000 р., а 2000 р. Что же касается *трещины*, о которой сообщает *первый* корреспондент, то второй корреспондент вовсе не протестует против этого сообщения и говорит о трещине так: *«В настоящее время есть одна значительная трещина, видимая снаружи,* появившаяся еще в 1882 г. вследствие неравномерной осадки, но *не имеющая никакого значения»*. И вследствие того, что *видимая снаружи трещина* не имеет никакого значения, второй корреспондент опять опровергает первого, утверждая, что за видимую трещину Жибер во второй приезд получил «не 3000 р., как утверждает первый, а всего 600 руб.». Теперь пусть сам читатель решит, за что собственно получил 2 тысячи 600 рублей архитектор Жибер, и вообще, во имя каких существенных надобностей выбросила на ветер 2600 рублей касса самарского городского управления?

поглощает труд сотни и тысячи женских рабочих рук. Корреспондент и само земство объясняют смертность подкидышей *невозможностью иметь кормилиц*. Но ведь *кормилицы*-то и есть те работницы, которых из-за куска хлеба поглощают крупнейшие хозяйства южнорусского края. Стоит побыть в июньской ярмарке в Каховке, близ Херсона, в этом центральном пункте покупки и продажи рабочих рук, чтобы видеть, какое количество женской молодежи, нанимаемой на полевые работы, на табачные плантации, на хозяйства, практикующие овцеводство, поглощается Крымом, Юго-западным краем и Новороссийским краем, и чтобы убедиться, что ничего подобного не знали их родные матери, будучи крепостными и подневольными.

5

Из всего, что было сказано, кажется, уже есть некоторая возможность сделать более или менее определенные заключения: каждый ребенок, законно или незаконнорожденный, все равно, раз он *брошен, покинут* на произвол судьбы его родною матерью, несомненно свидетельствует о полнейшей невозможности для нее исполнить должным образом свои материнские обязанности.

Причины такого безвыходного положения женщин, в большинстве принадлежащих к крестьянской среде, таятся, прежде всего, в многосложном расстройстве трудового строя народной жизни. Не касаясь всей многосложности этого расстройства (именно потому, что оно действительно многосложно), для нас достаточно будет указать, во-первых, на отхожие промыслы (следствие невозможности существовать земледельческим трудом) и, во-вторых, на воинскую повинность. То и другое отнимает от деревни массы мужской молодежи и преграждает, таким образом, равной по количеству массе молодежи женской возможность существовать собственным своим хозяйством, вследствие чего отхожие промыслы становятся необходимостью также и для женской молодежи.

Вот из этого-то многочисленного количества крестьянских женщин, не имеющих возможности существовать своим хозяйством, прежде всего получают великое множество всякого рода женской *прислуги* города, городские

обыватели, и, следовательно, они же должны быть и первыми ответчиками за последствия случайных сожительств трудящихся для блага обывателей безмужних женщин.

За городами следуют, как потребители женского труда, так и ответчики за последствия случайных сожительств, фабрики и заводы [1] всякого рода, и в особенности фабрики и заводы, специально эксплуатирующие женский труд, как эксплуатируют, например, табачные фабрики. [2]

За фабриками и заводами следуют, как потребители и ответчики, вообще все те предприятия, промышленные и хозяйственные, которые так или иначе пользуются трудом безмужних и бесхозяйственных женщин.

Что же касается до организации дела сохранения жизни и дальнейшей участи подкидышей, то мы не имеем даже и возможности касаться этого многосложного дела в настоящей заметке, имевшей целью только определить: кто именно виновник и *ответчик* за погибель такого множества брошенных детей и на ком лежит обязанность давать средства, «платить деньги» и образовать общий *сиротский* для всего государства капитал на спасение и воспитание «брошенных детей».



ИЗВОЗЧИК С АППАРАТОМ

1

На днях, часа в три после полудня, на тротуаре Невского, близ Литейной, прихватив еще некоторую часть мостовой, столпилось довольно много народу. Глядя издали, можно было догадываться, что толпа окружила

---

[1] Вот *случайно* попавшее на глаза известие, когда писалась эта заметка. «Орехово-Зуево. 1-го марта. Сюда стали стекаться массы рабочего народа... *Наполовину женщины*, требующиеся на пунцовых фабриках по уборке, расстилке и сушке тканей. Фабриканты не спешат наймом, ссылаясь на прошлогодний запас товаров». «Русск<ие> вед<омости>», № 61.

[2] В одном Ростове-на-Дону на двух фабриках насчитывается более 4 т<ысяч> девушек.

извозчика и что, по всей вероятности, около этого извозчика происходит одна из тех уличных сцен, которые, по обыкновению, начинаются и оканчиваются при непременном участии городового. Но всех, кто присоединялся к толпе и хотел «своими глазами» видеть, что там делается, прежде всего удивляло отсутствие главнейшего элемента уличной сцены, то есть именно городового. Городового не было; не было «скандала», не было пьяной или больной женщины, не было пьяного или больного, оборванного рабочего, подмастерья, которых бы отправляли в участок или в больницу. Неподвижно стояли новые извозчичьи дрожки, неподвижно сидел извозчик и неподвижно стояла молчаливая толпа. Это молчание и в то же время очевидное внимание толпы к чему-то такому, что с первого взгляда не было возможности понять, становили несведущего зрителя в некоторое недоумение, тем большее, что фигура извозчика, тощая от тощих деревенских кормов, и в особенности его лицо, хотя и молодое, безбородое, но уже достаточно истощенное теми же кормами, носило, кроме того, ясный отпечаток несомненной тоски, несомненного угнетения духа.

Достаточно было только оглядеть эту молчаливую толпу и эту удручающую фигуру извозчика, чтобы тотчас же обратиться с расспросами к ближайшему соседу:

— Что тут такое? Зачем народ собрался?

Не сейчас, однако, ответил сосед. Видно было, что толпа только обдумывала и всматривалась в то, что ее интересовало, не решаясь приступить к гласному выражению суждений.

— Инструмент новый объявился! — наконец промолвил, как бы нехотя, кто-то из «простых» и замолчал.

— Аппарат *против* извозчиков изобретен! — уже гораздо смелей, бойчей и громче провозгласил другой человек, также из простых.

— Против... извозчиков? — оживленно и даже визгливо воскликнул третий зритель.

— Единственно во вред извозчику изобретено! Теперь вот он (объяснитель показал рукой на извозчика, который от этого жеста как будто еще более съежился и оробел), — теперь он ни единой копейки не может от хозяина утаить!

— Эво, ребята, *он,* железный-то дьявол! — пояснил еще новый посторонний наблюдатель.

— Где *он,* чорт-то?

— Да вон на левом крыле-то! Круглый, черный.

На левом крыле дрожек действительно оказался «аппарат»; круглый, как большие круглые столовые часы, окрашенный в черную краску. Он был приделан так, что как бы глядел на извозчика из-под его локтя, и стоило только взглянуть одновременно на аппарат и на извозчика, чтобы совершенно ясно понять, отчего и извозчик, как говорится, был «как в воду опущен». Он ясно ощущал, что этот железный дьявол не спускает с него своих мертвых, но постоянно недоброжелательных глаз ни на единую минуту; он каждое мгновение подкарауливает «из-под локтя» каждый шаг извозчика; каждую минуту и каждому прохожему человеку, а в настоящее время большой толпе народа, он, «железный», свидетельствует, что извозчика караулят, что его стерегут, чтобы он не плутовал. Кто только поглядит на «железного чорта» и поймет, «в чем дело», всякий скажет: «это чтобы извозчик денег не припрятывал». Поэтому извозчик ощущал себя на своих козлах в таком же угнетенном состоянии духа, какое в былые времена испытывал преступник на позорной колеснице, которого возят по улицам, наполненным народом, для посрамления и возбуждения в нем раскаяния и который со всех сторон слышит шопот толпы: «Убил!.. Это он убил?..» И наш оробевший извозчик, несомненно, ощущал, что аппарат всякого, кто ни посмотрит на него, непременно заставит подумать: «Это чтобы извозчик не воровал! Воруют! Теперь не украдешь, брат!»

— Да, брат, — слышалось из толпы, но вовсе не враждебным тоном, — да, брат, теперь чайку-то не попьешь!

— Каждая, друг любезный, копеечка видна. Циферблат не свой брат!

— Оборудовали машинку!

— Железный, железный, а все знает, анафема!

Этот невраждебный к извозчику тон разговоров, которого он не мог не ощутить, осмелил его настолько, что он решился сказать и свое слово, но сказал он его все-таки оробевшим голосом:

— Прежде только всего и было, что «отдай два рубля в сутки». «Где хошь возьми, а отдай». Бывает, свои

отдашь, а бывает, в праздник, и свои покроешь, и хозяину отдашь, и себе останется. Из чего ж бьемся-то?

Он замолк неожиданно, как бы вспомнив, что под локтем стережет его «железный» караульщик, и, обиженно кинув робкий взгляд на этого караульщика, сделался опять недвижим и уныл.

«Что уж! — говорило его унылое лицо. — Сдирай шкуру-то! Такая наша доля!»

В то же время не прекращалось и разъяснение свойств аппарата.

— То есть все начисто показывает — сколько верст проехал, сколько выручил.

— И не то еще! Сколько проехал! Сколько *простоял* порожнем!

— Не все и тут-то! Простоит он порожнем — одна цифра выскакивает; а ежели седока поджидал — другая.

— Да, брат, тут уж не пошлешь гостинчика в деревню! Как хозяин глянул, вся твоя совесть, во множественном числе, как на ладони!

— А ежели по цифрам недодаст, как вы думаете, господа? Может он в суд представить, инструмент-то?

— И даже вполне! И окончательно представит!

— Э-ге-ге!

— Дядя! А что аппарат-то, ежели «на чай», имеет цифру-то?

— Не дают! — с глубокой обидой отозвался извозчик, — поглядят *ему* в нутро и выдадут копейка в копейку! А жалованье-то по-старому. Да одежу держи сам. А из-за чего бьешься?

Наконец появился и городовой и стал «производить порядок».

— Чего стал? — прежде всего повелительно сказал он извозчику и повелительно прибавил:

— Отъезжай!

А затем «честью» обратился и к публике:

— Разойдитесь, господа, разойдитесь, прошу вас!

Преступник на позорной колеснице отъехал, снова, видимо, упав духом, потому что «железный караульщик» ожил, открыл свои неумолимые глаза и впился ими, изпод локтя, в подкарауливаемого неплательщика.

Вслед за извозчиком стала расходиться и толпа зрителей. Один из них, человек, по виду напоминавший

старого камердинера, не спеша ступая по тротуару, так же не спеша толковал о том же аппарате с двумя своими сотоварищами и сумел их даже насмешить.

— Наживет-то он, хозяин-то, наживет, а сам уж ни за что на дрожках с инструментом не поедет!

— Ой? Что так?

— Ни во веки веков не поедет! Теперь он в пятом часу утра объявится в семействе, говорит жене: «заседал в комитете». Я знаю эти дела очень тонко! «Заседал, говорит, утомлен, покойной ночи, душенька». Ну жена, конечно, чует, что шампанским отдает, понимает: «соврал!», а допытаться не может. Горничной дает три целковых: «Поди, узнай у кучера, где был?» А *он* уж и горничной обещался шляпку подарить и кучеру пятишну дал. Ну, и мелют ей. Я это тонко знаю! А как она да вникнет в инструмент-то.

— Ну, где бабе!

— Чего? Коли ее возьмет за живое? вникнет, брат! не бес-по-кой-ся! Тонко разберет! Уж тогда, брат, узнает она, как ты «заседал»! Как увидит в инструменте — верст двенадцать, — стало быть и был на островах, в Аркадии либо в Ливадии... А как окажется простой часов в шесть, так и это плутовство сообразит... Ну-ко, скажи-ка ей тогда: «в комитете утомился, заседал!»

— Ха, ха, ха! Вот так инструмент!

— Да она ему глаза выцарапает! Вот тебе и комитет!

— Нет! Ни вовеки не поедет! Это уж верно. А что с извозчика счистит все до порошинки — это так! Это ему выгодно...

— Заседал он! Ха-ха-ха! «Я, говорит, душенька, «заседал», утомленный сделался!»

— Ха-ха-ха!

Собеседники со смехом свернули с тротуара и стали переходить улицу.

Таким образом, «аппарат *против* извозчиков» был обсужден тою частью толпы, которая сохранила умение и желание вести общую беседу «на улице», именно так, как и следовало обсудить его людям «простого» звания: «выйдет ли что-нибудь *«нашему-то* брату» на пользу?» Оказалось, что на пользу «нашему брату» ничего не вышло от аппарата. Аппарат отнимает доход, а не прибавляет его. Выяснено было зло этого изобретения и с дру-



гой стороны: безжалостный к работнику хозяин очень жалостлив к самому себе; без пощады подкарауливая работника на каждом шагу, сам он решительно не желает, чтоб его могли подкарауливать; в работнике, без всякого снисхождения, видит плута и без пощады стремится его уличить, сам же всячески старается спрятать как можно подальше свои плутни.

«Аппарат-то он аппарат, а совести-то в нем нет!»

С этой именно точки зрения и шло обсуждение аппарата, которое можно было слышать в толпе на улице.

2

Совершенно не то и совершенно не с той точки зрения мы услышали на другой день после уличной сцены мнение, исходившее уже не из толпы, а из среды так называемой «чистой публики», и этот голос одного из ее сочленов прозвучал уже не на тротуаре, не на улице, а на столбцах «одной большой петербургской газеты».

Нельзя не быть благодарным этой газете за то, что она предоставила этому голосу из «чистой публики» прозвучать без всякого стеснения, потому что голос этот поистине может считаться «знамением нашего времени».

С неподдельной радостью какой-то искреннейший доброжелатель для всех, кто только «не извозчик», человек, несомненно принадлежащий к «чистой публике», извещал на другой день после уличной сцены всех читателей большой газеты о том величайшем счастии, которое получила вся «чистая публика» благодаря этому благодетельнейшему аппарату. Никакой иной причины для опубликования этого письма нельзя было найти, кроме самого искреннего желания обрадовать *всех нас,* всех, нуждающихся в извозчиках, известием, что аппарат изобретен действительно *против* них, и что именно вследствие этого, то есть вреда, который он наносит извозчикам, мы, «чистая публика», не можем не отнестись к этому событию с самой глубочайшей радостью.

Рассказав в подробностях конструкцию аппарата, обрадованный им обыватель повествует о нем и восхваляет его так:

«Задняя сторона аппарата утром запечатывается содержателем извозчиков посредством наложения пломбы; вечером, по вскрытии аппарата, хозяин видит, сколько всего выручено в течение дня... *Вам* (то есть всем нам, которых автор хочет обрадовать) *нет надобности не только торговаться, но даже и разговаривать с извозчиком: доехали, посмотрели на циферблат и уплатили ту цифру, которую он показывает. В настоящее время, в особенности в дождливую погоду*, или если вы с узлом, *извозчик менее 20 коп. никуда не повезет,* не говорю уже о разъездах из театров, со станций железных дорог. Тогда как *на извозчике с аппаратом за версту, хотя бы и под проливным дождем, вы заплатите 10 коп.* Забыли вы одеть калоши, — за проезд через грязную площадь или улицу вы платите *пять копеек.* Предложите *обыкновенному* (!) *извозчику* (!) *5 коп. — он вас осмеет».*

Я вполне уверен, что читатель только лишь в первое мгновение по прочтении этой радостной вести не найдет в ней ничего иного, кроме каких-то ничтожных слов, напечатанных петитом и написанных также каким-то «петитом-обывателем»; но если в нем осталась хотя бы только тень воспоминаний о «забытых словах» и если он под влиянием этих воспоминаний даст себе труд хотя бы одну минуту подумать над сущностью ничтожной радости обывателя, то он наверное разглядит в этой «серой капле», брызнувшей на столбцы газеты из «серой трясины серого болота», [1] — наисущественнейший признак нашего времени, — то есть настойчивое, грубое стремление оберечь только свою личность, свои ничтожные личные надобности и желания, и освободиться от малейшей личной тяготы, налагаемой взаимными отношениями человека к человеку.

Говоря об этом «признаке времени», я характеризую его в общих чертах, как преобладающем в данную минуту в «чистой публике» всего белого света. Собственно та часть русского общества, которая не выказывает желания, чтобы с его плеч были сняты тяготы общественных обязанностей, никогда не приходила к измельчению жизненных интересов по собственному побуждению. Помимо всевозможных случайностей, имеющих в жизни и деятельности общественного деятеля немалое значение, — необходимо принять во внимание, что причины ослабления общественной мысли в значительной степени зависят и зависели от мрачных, не человеколюбивых течений

[1] «Последняя страница» М. Е. Салтыкова.

европейской жизни в последние пятьдесят лет. Люди сороковых годов, так называемые «западники», получали от европейской жизни впечатления светлые, не забывавшиеся до старости и до старости оживлявшие, молодившие этих людей; мы, их потомки, получали с сороковых годов и получаем до наших дней почти исключительно самые безотрадные впечатления, угнетающие мысль, раз она идет против «царящего зла». Но нельзя было предположить, чтобы «угнетение мысли» могло выработать тип человека, который бы находил свое положение лучшим, счастливейшим против того, каким оно было прежде. Человек, жизнь которого потускнела и сузилась, не может понимать этой перемены иначе, как в смысле своего падения, иначе, как в смысле несчастия, не иметь общения с обществом, не вносить его интересов в интересы собственной жизни.

Но вот изобретается аппарат *против извозчиков*, и из «чистой публики» раздается радостный голос о необыкновенном облегчении всего нашего общества, и даже не от «всех прочих забот», а единственно только от извозчика и *разговора* с извозчиком! С искреннейшим и величайшим удовольствием на всю Россию со столбцов газеты возвещается, что *обыкновенный извозчик* имел дерзость *осмеять* седока, если бы он ему предложил пятачок за переезд по грязи через площадь; теперь же извозчик, обузданный аппаратом, *не посмеет* ни осмеять, ни отказаться от пятачка. *«Вас»* радуют известием, что аппарат обуздал извозчика не только в отношении права не взять пятачка, но еще *принудил* его брать *гривенник* за конец в целую версту, *несмотря на проливной дождь,* и что, к вашему счастию, у «обыкновенного извозчика» отнят в вашу пользу не менее как целый рубль серебром. Наконец, чтобы окончательно привести всех *вас*, то есть всех нас, людей «из чистой публики», уже в полнейшее восхищение, вам говорят, что благодаря аппарату вам дано полное право не только не торговаться, *но даже и не разговаривать с извозчиком.* Обращено самое искреннее внимание всей «чистой публики» на возможность не промочить ваших ног, когда случайно *вы* забыли ваши калоши, на ваш узел, с которым вы теперь доедете за пятачок «без разговоров»; обращено внимание на экономию в рубль серебром, и в двугривенный,

и в пятачок, и до небес превознесен *гривенник,* который дает вам право целую версту гнать извозчика, несмотря на проливной дождь. Словом, все пятачки, гривенники, двугривенные, рубли, которые аппарат отнял у извозчика и предоставил в *вашу* пользу, — перечислены с величайшею радостью, а что извозчик вообще доведен до полного ничтожества, почти до необходимости мертвого молчания, это сказано с выражением чистого торжества.

И в то же время ни тени мысли об извозчике, у которого аппарат отнял такую массу пятачков, гривенников, двугривенных и рублей и которого он, как говорится, «притиснул к стене»; ни тени внимания, хотя бы самого микроскопического, не оказано ему голосом «из чистой публики». Ни единого звука не потрачено этим голосом «из чистой публики» на уяснение участи «притиснутого» аппаратом извозчика. Ни малейшего внимания не обращено на то, что извозчик мокнет в каждый проливной дождь, что он мокнет и на «обратном пути», и на протяжении знаменитой версты, и еще перед окончанием спектакля; ни единого слова не сказано о том, что отнятый у извозчика рубль нужен ему и на одежу, постоянно промокающую и прежде срока, данного хозяином, изнашивающуюся, и на рюмку водки, чтобы согреть свое промокшее тело, нужен и на семью, и на подати, и на хлеб, на существование. Услуга его, человека, взявшего на себя из-за куска хлеба обязанность мокнуть на проливном дожде и доставлять до дому «чистую публику», которая без этой услуги должна бы была тащиться по грязи пешком, ничего этого даже и не мелькнуло в сознании панегириста «аппарата против извозчика». Он только искренно, от всего сердца радуется, что у извозчика отнято пропасть заработка и что сам он доведен до ничтожества и мертвого молчания!

К счастию, аппарат сильно промахнулся, не присвоив себе — «на чай». Добродушный обыватель, расплачиваясь с хозяином по циферблату, по совести продолжает давать извозчику «на чай», «на водку» и, конечно, ожесточает «железного дьявола».



НОВЫЕ НАРОДНЫЕ СТИШКИ

(Из деревенских заметок)

1

. . .Сегодня первый день «светлой недели» — светлое воскресенье. И точно, есть в этом светлом дне что-то поистине «светлое». Вчера еще, в страстную субботу, то есть за несколько часов до «светлого дня», на деревне, на всем обиходе ее жизни, на всех ее обывателях отражались еще темные, суровые, скучные тени зимнего времени, зимнего прозябания; даже и предпраздничные хлопоты не убавили темноты этих зимних теней. «Бери полтеленка!» — слышится краткая речь обывателя, сказанная деловым, сухим тоном: «Ну-к што ж!» — таким же деловым тоном отвечает другой обыватель, и оба молча идут по грязи улицы, по грязи двора прямо в грязнейший хлев и здесь молча прерывают ножом юный звук юного телячьего баритона, свидетельствующего о том, что давно бы бабе надобно принести юнцу молока. Звук прерван сразу, перерезан как нитка, и опять из хлева слышатся суровые звуки: «Два пуда пятнадцать...» — «Ну-к што ж!» Четырьмя лапами дерут молчаливые обыватели шкуру, теребят нутро, гвоздят топором в телячью спинную кость и, сказав друг другу «прощавай», волокут на плечах каждый к своей бабе по полутела невинно убиенных телят. А когда они волокут телят, откуда-то от соседей слышен неистовый, истерический вопль свиньи. Но и этот вопль вдруг прекратился в мертвом молчании деревенской улицы, и слышится опять тот же звук, доказывающий, что и над свиньей орудуют уж топором. Молчание в это время всеобщее, работа черная, грязная; молчат мужики, молча неистовствуют грязные с головы до ног бабы в океане накопленной за зиму грязи, которую надо всю истребить к светлому дню. Позднею ночью плетутся обыватели из жарких бань в еще более жаркие избы; пахнет здесь сырым горячим полом, горячим хлебом, горячим мясом. Еле-еле дотягивают до заутрени.

Но вот и утро светлого дня. День ясный и тихий, и опять тишина на дворе и на улице, но уже не та суровая

тишина, что вчера: отдыхают люди от зимы, от поста, от хлопот и от розговен. Веет началом полевого весеннего труда, дело идет к весне, к травке, к зелени древесной. «Святая!» — покончено, стало быть, с зимой, с сугробами, вьюгами, гололедицей. Начинается новая жизнь, и уж измены в ней к худому и к суровому не будет. Тихо и пустынно в деревне, пока не отойдет поздняя обедня; да и после поздней обедни народ расходится молча: поспать еще тянет каждого. Но к часу дня посреди дороги идет уже «гостить» в соседнюю деревню молодой парень; он, конечно, в пиджаке, в высоких сапогах и с гармонией, которою открывает сезон мясоеда. Он только тронул, перебрал, сделал два-три «перебора», главным образом на басах, и явно для всех таким образом засвидетельствовал, что сезон весенний начался.

А скоро вслед за звуком гармонии, как и всегда, неведомо откуда доносятся звуки девичьих песен. Откуда они? Никогда не угадаешь. Но они всегда одни и те же, они вековечны в своей приятнейшей гармонии и милы именно тем, что вечны, неизменны; неведомо откуда несутся, но всегда доносят вековую радость жить на свете. Чего-чего не пережито этой деревней, хотя бы в эту зиму? И холод, и всякий недостаток, и хворь, и домашняя, семейная вражда; были случаи, опивались люди, замерзали, было убийство, были случаи, что человек разорился, другой сгорел; были неприятности из-за податей, из-за долгов кулакам; были горькие слезы, когда миленьких дружков в солдаты гнали, отчего из восьми невест, вполне уверенных, что прошлым мясоедом они уже будут замужем, только две пристроились, да и то одна через месяц, вся избитая, воротилась к родителям. Горя, нужды, тоски, холода, голода, слез, злобы — тьма! Но вот несутся же эти животворные, вечные, неизменные звуки, несутся они, как звуки песни жаворонка. Неизменна эта песня сначала для малого ребенка, потом для молодого парня и, наконец, для старика. Человек был ребенком — стал стариком, а жаворонок все тот же: все так же прячется в солнечном луче, в глубине светлого воздуха и поет все ту же, вековечно-неизменную, радостную песню. И народная песня такая же вековечно-неизменная, и она говорит только о неуга-

симой, несокрушимой силе жизни, напоминает только эту радость жить, звучит никогда не стареющим, вечно и неизменно юным звуком.

Конечно, если разыскать этот хор и подойти к нему поближе да послушать, как «визжат» эти измучившиеся за зиму и приготовляющиеся мучиться летом крестьянские девушки, — то, может быть, впечатление было бы и другое; но я говорю именно о наилучшем впечатлении, которое производят эти девичьи хоры. Трогали меня и прежде эти неведомо откуда доносящиеся отрадные, вечно неизменные и вечно целебные, животворящие звуки; но в тот светлый день, о котором теперь идет речь, они как-то особенно взяли меня за живое. «Ведь не угасает жизнь-то! — подумалось мне. — Неизменно живет живая душа!» Горя много знавал я — и своего и чужого; много знали мы, деревенские обыватели, всяких мучений от суеты сует. Не отдохнуть ли хоть немножко в этой музыке народной песни, где и горе-то облечено в такую форму выражения, которая оживляет сердце ощущением радости «вечной жизни»?

Под таким впечатлением я и задумал пересмотреть разные тетрадки с новыми народными стишками, в разные времена доставленные мне кой-кем из моих приятелей или по моей просьбе записанными самими крестьянами, и извлечь из них все, что хоть мало-мальски может дать понятие, о чем *теперь* поет народ? Точного и обстоятельного ответа на этот большой вопрос в этой заметке никоим образом быть не может: и материала у меня немного, весь он к тому же состоит из лоскутков и клочков, и относится он частью к одной местности, а частью взят из таких условий народной жизни южных губерний, которые с нашими северными местами не имеют ровно ничего общего.

2

Какой-нибудь новой *песни,* которая бы вышла непосредственно из земледельческой среды, я не слыхал, и в тетрадках, где записано то, что поется народом, нет ничего, что бы имело законченную форму. Поэты, выходящие из крестьянской среды (такие поэты есть,

и об одном из них я расскажу ниже), хотя уже и могут благодаря знанию грамоты изложить свои сочинения письменно, но большею частью они уже тронуты какими-нибудь посторонними крестьянской жизни влияниями, почему в их произведениях иногда высказываются самые, как говорится, «превратные» понятия о хороших и худых явлениях жизни.

Как-то зимой, рано утром, явился ко мне в Петербург один из таких поэтов, разузнав предварительно мой адрес в деревне. Это был крестьянин лет тридцати двух — тридцати пяти, одетый по-приказчичьи, с мелкими завитками белокурых волос на голове и в бороде, человек нервный, сиявший каким-то внутренним возбуждением, и с первых же слов знакомства немедленно приступил к чтению своих стихов. Он читал их быстро, что называется, бормотал, тискал одно слово в другое, так что я не раз просил его говорить пореже. Было чрезвычайно необыкновенно видеть этого мужика, который, в семь часов утра, читает мне поэму собственного сочинения о своей жизни.

Он женился молодым мальчиком на красавице и жил с ней по-крестьянски года два. В это время один барин какого-то разорявшегося и угасавшего рода влюбился в сестру своего бывшего дворового; брат этой сестры стал вытягивать из барина чрез нее деньги, стал наживаться и скоро вышел в купцы, выстроил завод, да и влюбился в жену нашего поэта. Аромат денег и наживы тогда только что начинал ощущаться в деревенской атмосфере и сильно щекотал непривычное к нему обоняние мужиков и баб. Жена поэта недолго думала, ушла от мужа и в течение восьми лет, в свою очередь, сумела вконец разорить новоявленного купца-заводчика; оба они в течение восьми лет только кутили и гуляли, и догулялись до того, что к концу восьми лет муж беглянки видал ее вместе с любовником в городе пьяных, оборванных, валяющихся в грязи. Но, истощив средства своего друга, баба, наконец, ушла от него, скрылась, пропала неизвестно куда. Через пять лет муж, уже хлопотавший о разводе, узнает, что жена его живет в Петербурге на хорошем месте, получает хорошее жалованье и ведет себя так, что лучше и не надо. Он

разыскал ее, разыскал не более четырех дней перед тем как прийти ко мне, и вот почему, придя ко мне, был в нервном, возбужденном состоянии. Он опять сошелся с женой, нашел, что она хорошая женщина, что ее надобно простить, потому что и сам он перед ней за эти тринадцать лет разлуки был «оченно виновен», хотя тотчас после того, как она сбежала, ходил в монастырь и советовался с монахами: «как ему жить одному?» Года три исполнял он советы монахов, а потом и погиб. Очевидно было, что он переживал очень трогательные минуты или по крайней мере очень многосложные. Между прочим, он сказал и про жену:

— Вот уж четвертый день живем, слава богу! И даже вот какая стала: я ей все стихи сказываю, а она говорит: «что ты, говорит, про божественное чего-нибудь мне не скажешь?» Вот какая стала!

И, немножечко помолчав, прибавил:

— Ну, и состояние действительно имеет!

Зашла речь о любовнице барина, куда она девалась?

— А замуж вышла, как барин-то всего решился.

— Да разве ничего, что она «такая» была?

— Так ведь лучше с «состоянием» взять, чем без состояния.

Какие-то тлетворные влияния, очевидно, попортили его простые взгляды на жизнь. И точно, в промежуток тринадцати лет разлуки с женой он не все жил в деревне; один раз занялся на сыроваренном заводе, но когда завел это дело в своем хозяйстве, то отец избил его в пьяном виде и по совету завистников выгодному делу — соседей. Потом он ушел в контору к какому-то купцу и жил там в большом приволье. О купце этом он написал целое хвалебное стихотворение, которое также ставит в тупик всякого здравомыслящего человека Купец этот был так называемого «рыковского» типа, расширял, улучшал и оживлял местность, а потом оказался на «скамье». И этого маленького Рыкова превознес народный поэт.

— Не он один виноват! Однако всё на одного себя принял, никого не выдал! Дал людям округ себя нажиться.

Вот его взгляды на старые и новые времена:

Прежде плохо деды жили
Тем, что барину служили,
А теперь пришла свобода —
Ходим в школу по три года.
И из наших молодцов
Много стало мастеров:
Кто котельщик, кто столяр,
Кто сапожник, кто маляр,
Или шорник, иль печник,
Иль косульный уставщик,
Тот извозчик, иль подрядчик,
Тот приказчик, иль нарядчик.

Вот как стало хорошо! А вот небольшой стишок, уже без всяких «предвзятых идей»:

Цвет лазоревый люблю, —
В свете нет его милей!
Я подруженьке срублю
Нову горенку теплей.
Сад зеленый рассажу,
Весь березками уставлю.
С милой рядом посижу,
А немилых — всех оставлю!

Ну как, читатель?
Погодите, то ли еще будет!

3

В народной жизни, как и в жизни «общества», переживается, несомненно, время «переходное». Все «новости» современной деревни, перечисленные поэтом *(«прежде плохо деды жили»)*, дают возможность понять, почему деревня не может еще, как говорится, собраться «с умом», окрепнуть в определенных взглядах на собственное существование и судить, во имя их, обо всем окружающем. Поколеблена поэтому же и творческая мысль народа, но что она живет непрестанно, в этом не может быть никакого сомнения.

Не из чего собрать и сложить народу песню, но сочинить «стишок», откликнуться на разнообразнейшие

явления обыденной жизни, этого даже и «утерпеть» нельзя народу. И вот он сочинил так называемую «частушку», то есть «куплет» (слово в слово), и этими «частушками» откликается на каждую малость жизни. Три тетрадки этих «частушек», находящихся в моих руках, всего около 200 №№, все записаны в деревнях,[1] находящихся в весьма недалеком друг от друга расстоянии, и в каждой из этих тетрадей встречается не более трех или четырех повторений одной и той же «частушки», и то непременно с какою-нибудь местною особенностью.

Но 200 №№ «частушек» положительно капля в море в том несметном количестве произведений народного сочинительства в этом роде, которое неведомым путем создается неведомыми поэтами чуть не каждый божий день и непременно в каждой деревне. Собрав эти «частушки» с такою же тщательностью, как собираются статистические сведения о всяких мелких подробностях хозяйства в крестьянском дворе, и разработав их соответственно тем сторонам народной жизни, которых они касаются, мы имели бы точное представление о нравственной жизни народа. Ничего подобного читатель не найдет в этой заметке, но все-таки он почувствует свежесть и молодость народной души.

Некоторые из «частушек» носят совершенно определенный характер женского и мужского «сочинения», например:

Неужели ты завянешь,
Аленький цветок?
Неужели не вспомянешь,
Миленький дружок?

Это женская «частушка». Та же «частушка» сказывается мужчиной так:

Неужели ты завянешь,
Травушка шелковая?
Неужели не вспомянешь,
Дарья бестолковая?

Или — мужская также «частушка»:

Ай да, ай да!
Моя милка молода!

---

[1] Новгородской губ.

Молода годочком,
Глупая умочком.
Молода, нестарая,
Самоварчик ставила...

Нечто «мужиковатое» видно иной раз и в любовной «частушке» мужского сочинения:

Где ты, милая, хорошая,
Лазоревый цветок?
За тебя, моя пригожая,
Подрались мы разок..,

В женских «частушках» таких неуклюжих напоминаний о любви нет. Но о мести из-за любви и женская «частушка» также не церемонится в выражениях:

Кабы знала негодяя,
Не любила бы его, —
Посеред синёва моря
Затопила бы его!

Вообще же темы, которых касаются мужские и женские «частушки», почти одинаковы, хотя женские имеют то преимущество пред мужскими, что рисуют множество женских типов всякого качества:

Вот труженицы:

Дождь пойдет, сенцо обмочит,
Будет маменька ругать, —
Помоги-ко, мой хороший,
Мне зародец дометать.

Кабы знала бедна девушка,
Где ей замужем бывать,
Помогла бы злой свекровушке
Хоть капусту поливать.

Отношение к матери:

Уж ты миленький ты мой,
Ловкая ухватка!
За тебя не забранит
И родная матка!

Хорошо тому гулять,
У кого родная мать:
Матка встретит, и проводит,
И в окошко поглядит.

Ты, мамаша золотая,
Не брани за молодца.
Если будешь ты бранить —
Буду крадучи любить.

А теперь пойдет любовь и хорошая и нехорошая.

Мой-от миленький работает в лесу,
Напеку ему рогулек, отнесу.
Все бы, все бы во елочках стояла,
Все бы, все бы в ту сторонку глядела, —
Мой он миленький, он черненький,
Хоть и черненький, печальненький!

Провожала я до речки,
Слез не оказала,
За баскаковским леском
Залилася голоском.

Милый мой, милый мой!
Милый — веры не одной.
Верой — милый — староверы!
Староверочке любой!

Неужели надоела
Своей матери-отцу?
Неужели я достанусь
Разнесчастному вдовцу?

Мой дружочек женится —
Вся жизнь переменится!
А как обвенчается —
Вся любовь кончается!

Кабы знала, не ломала
Вишенья, не вызревши;
Кабы знала, не любила
Милого, не вызнавши.

Погляжу я с моста в речку:
В речке темная вода;
По глазам милова видно,
Что обманывал меня!

По чужим я разговорам
Брошу милого любить;
По ретивому сердечку —
Мне вовеки не забыть.

Но есть тип девичий и посмелей тех скромных и огорченных, которые видны в приведенных «частушках»:

Своего я милова
Из артели *выбрала*,
Очень просто выбирать —
Он ловчее всех ребят.

Что ж ты, милый, не пришел,
Я тебе *велела?*
Всю я ночку не спала,
Все в окно глядела.

Я вечор в гостях гостила,
На беседе я была;
Я хорошего миленка
Во любовь себе *взяла.*
Можно радостью назвать:
Он хорош собой и статен,
Очень ловок на словах,
Я с ним долго танцевала,
Он мне руку крепко жал,
Я руки не отнимала.
И в лице явился жар...
Вышла в сени *простудиться,*
Чтобы жар с лица сошел.

Вот еще из смелых:

Для чего мне заходить,
Милый, за тобою?
Для чего мне приносить
Дороги подарки?
Возьму милого за ручку
И пойду с ним в хоровод.

Но есть в «частушках» и еще более смелые типы девушек:

Батька рожь молотил,
Я подворовала —
Понемножку, по лукошку,
Все милому на гармошку.

Батьке сделаю беду —
Самоходочкой уйду!
По-за тыну, по-за тыну,
По-за дядину овину,
По-за нашему двору,
Самоходочкой уйду!
Не даешь мне, мама, воли —
Улечу, как пташка в поле;
Не увидишь от крыльца,
Как проеду от венца...

Есть и застенчивая:

Не ходи, милаша, на дом,
Не садись со мною рядом;
Сядь к подружке, не ко мне;
Все она расскажет мне.

Есть и такие:

«Право, ноженька болела,
Я прихрамывала!»
(Сама Лешеньку, Алешеньку
Обманывала!)

Я любила Петю летом,
Петя бегал все с конфетом..
А уж Ванюшку зимой...
Чтоб не сел со мной другой.

А вот и совсем *грешница:*

Провожала дружка милого
Я до города Кириллова,
До канавы Белозерския,
До большой ли что дороженьки, —
Иструдила свои ноженьки!
Ах! Милаше покорилась...
До Череповца в погонюшку гналась,
Было лесом идти боязно,
Деревнями идти совестно,
А по задворкам — собаки злы,
По заполью — так ребята удалы.

Так и неизвестно, чем кончилась эта погоня несчастной женщины.

«Частушка» не пропускает без отметки ни одно новое лицо, появившееся в деревне. Пришел солдат, сыровар,

о каждом сейчас же сочинена «частушка»; есть поэтому «частушки», где фигурирует и сельский учитель.

Я учителю два слова, —
Не учить до Покрова,
Дай повыстрочить платок,
А потом учи годок.

Желанные родители,
Пошли гулять учители,
Не буду кофий разливать,
Пойду с учителем гулять.

Обо всех этих мужских и женских отношениях горький опыт не девичьей, а уже *бабьей* жизни поет невеселые песни:

Ой, не рвитесь вы, девицы,
Замуж скоро выходить!
Вы не верьте молодцам,
Хоть и божатся.
Они божатся, клянутся,
Отойдут — и засмеются.
После смеху позабудут,
Вас совсем любить не будут.

Навязались супостаты,
Холосты ребяты;
Мимо девушек идут —
Шляпы не снимают;
Возле девушек сидят —
Неучливо говорят..

Есть еще среди крестьянского населения особый класс деревенских жителей, которые чувствуют себя чуждыми в деревне и вполне одинокими. В Новгородской губ<ернии> повсюду можно встретить питомцев Воспитательного дома, сирот, брошенных детей. «Частушки», которые и они, питомцы, сочиняют о самих себе, заметно отличаются от общего любовного тона всех «частушек» оседлой деревенской молодежи.

Наши матки, дурочки,
Нас бросали в улочки;
Спасибо добрым людям —
Вскормили белым грудям!

Сиротинка бедный
Пристал к девушке одной,
Словно к матери родной.
Нет! Матушка неродная,
Похлебка все холодная.
Породнее бы была,
Погорячей бы налила!

Все «частушки», которые я привел в этой заметке, заимствованы мною почти исключительно из произведений женского ума; мужских «частушек» я почти не приводил здесь.

4

Если наш крестьянин-земледелец затрудняется новизнами собственной своей теперешней жизни и не может разобраться в мыслях относительно настоящего и будущего, то крестьянин-«рабочий», крестьянин, оторванный от деревни фабрикой, заводом, шахтой, напротив, уже давно вполне определил свое положение, свое настоящее, свое будущее и уже сознательно не может даже и мечтать о каком бы то ни было изменении в своем положении.

Крестьянин все еще пытается истолковать разные новинки времени непременно в собственную пользу. Объявят закон о лесо-*охранении*, он моментально принимается за лесо-*истребление*. Почему это? Потому что тогда, после опустошения, к мужикам *должны* отойти все леса, какие только есть. Часто изменяются рисунки бумажных денег — сегодня одни, завтра другие, — и опять мужик знает уже, зачем это делается: для разных людей будут и деньги разные, — для мужиков одни, для евреев другие, а для купцов третьи. Каждый живи только на свои деньги; тогда «арендатель» может и тысячи рублей совать мужику, но «арендательские» деньги для мужика, все равно что щепки. Посуется, посуется «арендатель», не найдет рабочих и «должен пропасть», а земля «сама собой» к мужикам поступит, потому что они и без денег знают, что с ней делать. [1]

---

[1] До чего в стариках крестьянах вкоренились несбыточные слухи о земле, могут служить два сообщения о тех же самых слухах в «Сельский вестник» (№№ 44—45) настоящего (90) года:

Ничего подобного не может прийти в голову *рабочему* человеку. Он твердо знает, что жизнь его от юных дней и до могилы будет только растрачиваться, без малейшей для него личной надобности, с самою математическою точностью; растащат ее, расщипят фабрики, заводы, шахты, по часам, по звонкам, по свисткам, а не зря, не «дуром», не как-нибудь. Знает он, что этот унылый и угрожающий свист заводского свистка в темную ночь, до зари и до заутрени, растревожит его и поднимет на усталые ноги.

Знает он, что и сонный вскочит он на этот свист, и сонный станет у станка, и сонный полезет в темную, сырую шахту. Знает он и то, что вовеки не уйти от станка, если только случай, какой-нибудь год необычайного урожая, который вдруг поправит его семью на полгода, не даст ему возможности провести эти полгода «округ» разоренного домишки. Положение *рабочего* так определенно, что ему о нем нет никакой возможности «раздумывать», и вот почему «песни рабочих» в точности и полной определенности изображают их подлинное положение, а не мелкие подробности жизни, что мы видим в «частушках».

В руках моих находится несколько песен *рабочих* в шахтах, полученных[1] с Юга и Екатеринославской губернии. Хотя и смысл их и условия местности вовсе не напоминают ни в чем наших новгородских «частушек», но раз дело зашло о народной песне, пусть читатель узнает кое-что и о том, что думает рабочий человек и как он живет.

«С юга и с севера России. Из Лысвенского завода, Пермской губ. мастеровой Шеборшин сообщает, что гр. Шувалов предлагает заводским крестьянам покупать у него землю по 13 р. за десят<ину>. «Ее покупают охотно», но не все общественники; многие из них *внимают разным* толкам, распускаемым ничего не понимающими людьми, о том, что земля отберется и отдастся им даром». Второе сообщение из Кубанской области, Новощербин<ов>ской станицы. «Родственники рабочих, зашедших на заработки в нашу область, пишут, чтобы они *не нанимались на зиму, а шли домой*, так как вся земля переходит во владение крестьян». Г. Гудай, сообщающий об этом ложном слухе, просит ред<акцию> «С<ельского> в<естника>» разъяснить народу бессмыслицу таких слухов. Редакция точными указаниями на законоположения опровергает эти ложные слухи.

[1] От С. З. Витьбина.

Вот рабочий день шахтера.

На Дону открыли знаменитые залежи антрацита и тотчас же принялись за разработку.

Там прорыты ямы, норы,
Там работают шахтеры.
Одна яма там такая,
Огромадная, большая, —
Сорок сажен глубины,
Три аршина ширины.
Сверху здания большие,
Там машины паровые
И канаты дротяные.
В них проведен там шнурок,
Наверху висит звонок;
Только дернешь за шнурок,
Сверху вдарит молоток,
Верховой дает свисток.
Не успел он просвистать, —
Накопилось — негде встать!
В шахту всех нас швыронуло!
Не успел сказать и слово,
Уж кричат: «Слезай, готово!»
По продольням разошлись,
За работушку взялись.
Распроклята жизнь шахтера!
День и ночь мы работаем,
Ровно в каторге сидим,
День и ночь мы со свечами
Смерть таскаем за плечами!
Один бог небесный с нами,
Никакой нужды не знаем!

Описывается и гибель шахтера, которого слишком второпях тащат из шахты. Садясь в бадью,

С белым светом он простился:
«Прощай, солнце, прощай, месяц,
Прощай, белая заря!
Все премилые друзья!»
Вдруг бадейка всколыхнулась —
В шахту бедный полетел!

А вот как живут шахтеры:

Нет, ребятушки, трудней,
Как работа шахтерей:
Шахтер рубит, шахтер бьет,
Под землею ход ведет.
Он подходит ко стволу,
В гору голос подает:

«Вы, бадейные, не спи!
Воротные, не дреми!
У нас завтра день субботний,
На получку все пойдем.
Мы получим денег много
И в кабак их понесем!»

Дует, дует ветерок
Из трактира в кабачок.
Там бутылки шевелятся
И стаканы говорят!
Идет шахтер в кабачок,
Берет водку, табачок.
Пьем мы водку, пьем мы ром,
Завтра ж — по миру пойдем!

Что шахтерска жизнь проклята,
Кто не ведает про то?
В божью церковь он не ходит,
Он не знает про нее.
День и ночь он работает,
Ровно в каторге всегда!
Придет праздник-воскресенье —
Уж шахтер до свету пьян!
В кабачок бежит детина —
Словно маковка цветет;
С кабака ползет детина —
Как лутошечка гола!
Ой, гола, гола, гола,
В чем мамаша родила!

Кабак — вот в чем рабочий видит облегчение своего тяжкого труда. Никаких иных перспектив он и не подозревает даже. Неведомая сила вытаскивает его из дому и тащит его в яму под землею, на сорок сажен глубины. Он с испугом озирается кругом: «Прощай, солнце! Прощай, месяц! Прощай, милые друзья! . .» Не видно, чтобы он хоть на минуту допустил мысль о каком-нибудь изменении в своей участи. Он не знает еще и силы той, которая «швыряет» его в яму; но он твердо знает свое положение, ясно видит, что кроме «кабака» нет никакого облегчения в его жизни и не будет. [1]

[1] В течение двух-трех лет, после «горьких песен рабочих», «рабочий вопрос» широко разрабатывается в законодательстве. Страхование жизни, вознаграждение за увечья, уменьшение числа часов и запрещение ночной работы женщинам и подросткам, — все это не соответствует безнадежным мыслям рабочих о невозможности облегчения.

РАССКАЗЫ



1. ПРОСТОЕ СЛОВО

I

В темный, неприветливый, непогожий августовский вечер мы — то есть я, моя младшая сестра и одна приезжая гостья (по правде сказать, очень неприятная дама, госпожа Петухова), как-то слишком долго засиделись на галерее (дело было в деревне), и засиделись именно, кажется, потому, что все трое находились в каком-то неподвижно-тяжелом и неприятном расположении духа. Всем нам вообще было нехорошо на душе прежде всего от этого надоедливого дождя: грубо колотит он в тонкую крышу галереи, и колотит как-то бестолково, без малейшего такта, ритма, а как-то вразбивку, вперемежку; он не «идет» ровно и не «шумит» успокоительно, как хороший летний дождь, ровно льющийся на равнину из ровно идущей над землею тучи, а только каплет с неба, каплет грубыми разнозвучными каплями из разорванных клоками туч.

Собственно мое личное настроение духа, кроме этого несносного дождя, неприятного вообще для всех нас, значительно, как мне кажется, осложнялось теми впечатлениями, которые давало мне чтение газеты. Впечатления эти были... Не знаю, как определить их.

Я знаю одно: в нашей деревенской, крестьянской жизни, в будничном ее обиходе чрезвычайно редко встретится вам такое явление, которое бы вы не могли тотчас привести в связь с общим ходом жизни деревенского дня, так и с каждою крошечною частностью, из которых этот день соткан; в глубине этих частностей всегда отыщется центр, *главное*, вокруг которого группируются эти

частности, которое окрашивает их в тот или другой цвет... Побежал народ куда-то с граблями, — стало быть, идет туча, спешат собирать сено; баба проворно начинает стаскивать с забора развешанное на просушку белье; мужик промчался в пустой телеге, спешит ко дворам, — надо ему что-нибудь сделать «до дождя». Каждая из этих мелочей, частностей, ничем не похожа одна на другую, но у всех у них один общий центр. «Дождик, должно быть, будет!» — говорите вы, глядя и на толпу с граблями, и на бабу, и на мужика.

Но вот у меня в руках, на бумаге напечатан, не крестьянский, «по солнушку» живущий, а просто «газетный» день, и читая его, не можешь уловить, что именно связывает первую строчку газетного листа с последней? Афганистан, слух о санитарной комиссии, что, мол, будет заседать седьмого числа, что Сара Бернар продает свои юбки, осыпанные бриллиантами, что мещанин Каблуков, придя в трактир, потребовал рюмку водки и нож и, выпив водку, распорол ножом себе горло, объяснив потом в участке, что сделал это с тоски, «так как три месяца жил без прописки паспорта». За мещанином Каблуковым следует обширная кисейная, газовая статья о балете, за балетом плетется унылая-преунылая повесть о неурожае в западном углу Пирятинского уезда; далее еще более плачевное повествование о «кузьке», а за «кузькой» вдруг, как снег на голову, появляется блестящий посланник княжества Монако, и имея по правую руку «Кузьку», а по левую «*Ищут* (на первой странице) под вторую закладную», а на третьей — после сообщения о короле Альфонсе, который уехал в Сан-Себастьян,— «*Ищут* собаку», «*Доктор* принимает больных», «*Акушерка* с постоянными кроватями» и целая толпа *«Ищу!»*, «Ищу!», «Ищу!», «Студент»... «Дом»... «Сбежал» и, наконец, сам «редактор-издатель».

Спрашивается, где же во всем этом газетном дне то *главное*, что дало бы мне возможность объяснить частности, причину их и порядок их следования в течение газетного дня? В деревне я могу понять, почему, например, вот эта баба теперь, в семь часов пятнадцать минут вечера, поднимается из-под горы с ведрами на плечах, — надо поить скотину, такое время. Но в газетном дне я не знаю, почему мне нужно *знать,* о чем будет 7-го числа

рассуждать комиссия, и почему об этом меня необходимо известить при помощи прессы. Однако это совершенно непонятное и не имеющее смысла известие вторгается в мою голову без всяких резонов, вторгается в ту минуту, когда я все понимал, что видел перед собою, и заставляет меня без всякой надобности прервать правильное течение мыслей.

Переживешь понятный, объяснимый и связный во всех мелочах деревенский день, так и ночью, если что-нибудь приснится, все будет понятно, все будет продолжением понятных впечатлений дня. Проснешься и отчетливо помнишь, что приснился Егор: шел *будто бы* он за водой, а я *будто бы* спросил его... Все подробно и все, как днем. А как проглотишь хороший газетный лист, да, храни бог, добрый редактор после двух дней праздника, желая вознаградить за два утраченных листа бумаги, пришлет «нумерок» с надписью «в этом № *восемь* страниц», так ночью уж непременно кричишь, а отчего кричал, что такое приснилось, ни вспомнить, ни рассказать, ни понять, — ничего невозможно. Вот что иной раз творит с нашим братом, деревенским читателем, газета политическая, общественная, литературная и экономическая, особливо когда *«в этом № восемь страниц!»*

В этот несчастный вечер в моих руках и перед моими глазами находился именно такой несчастный, убийственный нумер газеты. С «уважаемых» столбцов, без всяких резонов, теребили мозг самой необъяснимой разнокалиберностью впечатлений и, вместе с негармоническим, разнозвучным стуком капель дождя, до последней степени нескладно настраивали все мое существо.

Но что было несравненно тяжелее и мучительнее дождя и газеты, — так это именно госпожа Петухова.

II

Госпожа Петухова, приехав к нам «отдохнуть», «провести денек», «поговорить», начиная с самого утра и потом почти вплоть до отъезда с ночным поездом, ни на минуту не переставая, пилила всех нас, весь дом, самыми раздражительными, самыми скрежещущими словами, рассказами, мнениями и соображениями. С раннего утра

какой-то мрачный фиолетовый бант, укрепленный на самом темени ее сухощавой, со сморщенным лицом голове, трясся от негодования, всплескивал концами лент как бы от ужаса, запрокидывался навзничь от отчаяния и презрения.

Ее сын, ее Коля, «этот гениальный мальчик», этот необыкновенный ребенок, который, будучи пяти лет от роду, нарисовал такой домик, что один знаменитый художник побледнел, ахнул и сказал:

— Из него непременно выйдет второй Магомет!

— Может быть, Рафаэль? — поправила ее сестра.

— Мне все равно! Наплевать мне на всех, — отвечала госпожа Петухова, — я люблю моего сына и этого довольно! — И затем непрерывно шли раздирательные монологи, все о том же «гениальном ребенке».

— И *они* смели! Где правда? Сколько низости, гадости в этих инспекторах, директорах, учителях! А все — дамы! О, эти дамы! Вы не знаете, понятия не имеете, что такое эти наивные личики, ангельские улыбки, бархатные лапки. Они разорвут вас на части, они ни перед чем не задумаются, лишь бы провести своего сына и раздавить чужого! Да, раздавить, раздавить им нужно! Они не задумаются все пустить в ход, им ничего не стоит пуститься «во все тяжкие», лишь бы добиться своего! И сколько тут сала, грязи! Сколько тут деревенщины, неотесанности, грубейшего невежества, которое так и сквозит в каждом движении, в каждом жесте!

Она, госпожа Петухова, от одного только прикосновения к этим разодетым кривлякам чувствует дрожь во всем теле, инстинктивное отвращение. Ее природное изящество, которое у нее в крови, содрогается от малейшего прикосновения. Да, госпожа Петухова чистой французской крови! Не думайте, пожалуйста, что раз она была замужем за офицером Петуховым, так она уж и в самом деле какая-нибудь Петухова! Она урожденная Пономарева, и вот именно поэтому-то она и есть чистая француженка. А отчего? Оттого что дураки! Неучи! Оттого что ослы, невежи! Будь это за границей, там бы все понимали, в чем дело, а у нас, когда ее отец, пленный француз Поль-Мари, быть может даже граф какой-нибудь («В Коле есть что-то особенное, что-то заграничное в крови»), оставшись в России и сделавшись управляющим одной помещицы, женился на матери мадам Пету-

ховой, девице из духовного звания, так эти дураки, вместо того чтобы звать его как следует, Поль-Мари, стали коверкать «понмарь», а потом выдумали, мерзавцы, и Пономарева! Вот что такое «урожденная Пономарева»! И все это потому, что подлость, глупость, гадость, зависть, вот почему! Потому что негодяи! Да нет! .. Это ужасно! .. Если только подумать, что ее мальчик, ее Коля, в котором даже слепой увидит удивительные, гениальные черты, унаследованные от матери, от чистой парижской крови ее отца, мальчик живой, впечатлительный,— два раза не может выдержать будто бы экзамена! Не может добиться ваканции ни там, ни там, ни там! Нет! Гаже, отвратительней...

То есть всю душу вымотала нам госпожа Петухова! И это целый божий день, с раннего утра, и это при всяком случае! И куда бы она ни пошла (а она целый день постоянно совалась во все места, все обегала, осмотрела, узнала), отовсюду она приносила нам же непременно какое-нибудь режущее слово, оскорбительное мнение, отталкивающее подозрение. И так целый день и весь этот несчастный вечер. Даже то обстоятельство, что я сидел с газетой в руках и читал, и что, следовательно, нужно было не мешать мне, и то очень мало сдерживало госпожу Петухову, всю наполненную неприязнью и негодованием. Бант ее выходил из себя непрерывно; плечи иногда так внезапно коробило, и, разумеется, от отвращения, что лампа дребезжала на столе, а от внезапного взрыва гнева руки ее как-то сами собой рвали косынку, которую она вязала, и разбрасывали по столу и по полу крючки и спицы. На что уж сестра моя, человек молодой и спокойный, а и та нет-нет, да и опустит на колени свое шитье и смотрит на меня умоляющими глазами.

III

Так тянулось, казалось мне, бесконечно долго. Но мое чтение все-таки сдерживало госпожу Петухову от удовольствия громко высказывать свои проклятия, и это, очевидно, очень затрудняло ее.

— Смотрите! Смотрите! — наконец-таки не выдержала она и вдруг зашептала, или, лучше, зашипела каким-то

злым шопотом, бросая вязание и толкая в плечо одной рукой меня, а другою сестру. — Смотрите, смотрите, ради бога, какая отвратительная и злая тварь!

Она так испугала нас этим ужасным шопотом, приглашавшим смотреть нас что-то неизвестное, что сестра в испуге вскинула глазами к потолку — уж не горит ли там? а я выронил газету и не знал, куда смотреть, вниз, вверх, направо или налево.

— Смотрите на кошку! Смотрите на кошку! — шептала с возрастающей ожесточенностью госпожа Петухова, хватая меня за руку и пригибая ее к земле, — видите?

И точно, мы увидели кошку. Озираясь на шопот госпожи Петуховой, кошка тихонько шла от дверей, ведущих в кухню, вдоль всей галереи, направляясь к другой, боковой двери, ведущей в сени. Она шла и несла в зубах маленького котенка, голова и задние лапки которого свешивались вместе. Котенок молчал, не пикнул и точно спал.

Настроенные общим недобрым состоянием духа и злой воркотней госпожи Петуховой на нехорошие, дурные мысли, мы все, едва увидали кошку, как стали почему-то думать о ней нехорошо и сердито.

— Видите, какая отвратительная тварь! — уже громко произнесла госпожа Петухова, когда кошка скрылась в дверях сеней. — Она хочет забросить, зашвырнуть их! Я уж второй раз замечаю ее! Вы читаете, не видите, а она уже давно таскает их из кухни!

В это время кошка быстро пронеслась в обратный путь.

— Видите, как она спешит к тем котятам, которые там остались? Вы знаете, сколько у ней котят?

— Нет, не знаем, — сказал кто-то из нас.

— Ну, а я знаю! Я была там, видела... У ней восемь котят. Так вот, слабеньких, нелюбимых, она и таскает прочь, чтобы любимым оставить больше молока! О, эти женщины! О-о-о! Вы не знаете, не знаете, понятия не имеете, на что они способны! Они способны раздавить... Смотрите, смотрите! Опять! Ах, палач этакой, а?

И опять мимо нас не спеша прошла кошка и пронесла куда-то другого котенка.

— Вот видите! Она оставляет самых отборных. Я смотрела, я видела этого серенького! Он слабенький, болезненный, и вот она его... Пойдемте! Пойдемте за ней!

С лампой в руках я пошел вперед, в сени, откуда идет лестница в такие же сени наверху. Едва мы показались с огнем, как кошка шмыгнула мимо нас на галерею.

Мы поднялись наверх. Здесь в углу сеней стоял старый большой и высокий сундук, а кругом все было пусто, и котят нигде не было видно. Но госпожа Петухова не унывала. Она подошла к сундуку, плотно приткнутому в угол, заглянула в промежуток между сундуком и стеной и воскликнула так, что даже бант ее стал на дыбы:

— Вот что она делает! Она пихает их за сундук! Им здесь дышать нечем! Она хочет, чтобы они задохнулись! Умерли! Смотрите, какая злодейка!

Госпожа Петухова рванула сундук к себе, и действительно тотчас же упали на пол два котенка: они действительно были как бы прищемлены между сундуком и стеной.

— Ну, как это вам покажется?

«Да-а! — подумали мы. — Точно, есть что-то нехорошее... Похожее на правду...» И нам стало очень жаль этих котят; они тряслись, ползли, распластав лапки, совали свои слепые рыльца туда-сюда и запищали, сначала чуть-чуть, а с каждой секундой все громче и, наконец, без перерыву.

А мы все стояли с лампой и глядели на них, недоумевая.

— Ну, не бессердечное ли это животное? — говорила госпожа Петухова и хотела было уже взять одного котенка в руки, как перед ней неожиданно очутилась кошка. Она, очевидно, была удивлена нашим посещением и, очевидно, была сердита.

Злобно посмотрела она на нас; села на пол, против своих птенцов, которые пищали, тряслись и куда-то хотели двинуться, но не двигались, потому что ноги их разъезжались в разные стороны, и стала рычать.

Писк раздражал ее; чем сильнее делался он, тем сильнее рычала кошка, не трогаясь с места. Потом она приблизилась к ним, уселась против них чуть не вплотную и рычала все ожесточенней, ожесточенней, глядя горящими глазами.

— Это от страху! Это они от страху! — поясняла госпожа Петухова, когда котята в самом деле замолкали

вдруг, разом, как только злобный рев матери увеличивался. — Они коченеют от страха! Видите, видите!..

Кошка ожесточалась: котята затихли, как бы окаменели не то от страшного рычанья, не то от влияния страшного взгляда.

— Пойдемте! Пойдемте отсюда! Она бросится! — возопила госпожа Петухова, и мы ушли, не досмотрев этой неприятной картины.

IV

Господи боже мой! Вот выдался денек! Ни одного светлого, мягкого впечатления, все жестко, нескладно, грубо, злобно и пробуждает только черные мысли. Нескладно, темно, хоть глаз выколи, и в этом темном августовском вечере, и в этом нескладном дожде, а уж в жизни, — так все сплошное зло и безобразие! И мещанин Каблуков нелеп, безобразен и отвратителен, и балет возмутителен среди кузек и неурожаев, и инспекторы злы, и учителя несправедливы, злы матери и эгоистичны дети, — и везде все неправда, злоба, желание раздавить человека, спихнуть его с дороги, не задумываясь о средствах. И в кухне госпожа Петухова открыла зло в кухарке, в ее мыслях, поступках, в говядине даже приметила подлое молчание красного куска о том, что в нем не три, а два фунта, даже животные, кошки какие-то, и те оказались злодеями, убийцами, стремящимися из-за любви к любимым котятам истребить нелюбимых. Сколько столпилось самых отчаянных впечатлений, самых черных мыслей, самых грубых, жестоких, коробящих случайностей! Черные, тяжкие мысли забрались в сознание каждого из нас; черными, не живыми впечатлениями сверлили мозг во время тяжкого, нездорового сна. Вот какой выдался бессердечный день, завершившийся злыми мыслями злого вечера!

А бывает ведь, что такие злые, несправедливые дни настигают не какую-нибудь человеческую единицу, а тяжелым, жестоким гнетом, точно прессом каким, давят на сознание целых масс и целых стран, и давят не дни, а годы, десятки лет. И беда, если такие черные мысли заберутся в голову человека, который...

Да, вот, например, был у нас становой пристав Полупьянов; так чего только мы, мирные обыватели его стана, не перетерпели за двадцать лет его командования! И только потому, что в его голову забралась черная мысль, будто все обыватели кругом виноваты, кругом подлы, кругом негодяи и мошенники. Начнут девки песни петь по весне, — разврат, который следует истребить «с корнем», так как, прежде чем петь песни, надобно приучиться скорбеть от одного только сознания, что недоимки не уплачены. А попадется ему вполне исправный, основательный мужик, который аккуратен, как часы, и никаких недоимок не имеет, опять виноват; мало быть аккуратным, надо иметь еще «страх», то есть надо бояться чего-то беспрерывно, — а он идет и не боится, даже не знает, зачем собственно живет на свете Иван Иваныч Полупьянов? А это прямой разврат, потому что если он не будет иметь «страха» пред Иваном Ивановичем, то не будет его иметь и «пред». Ласково обращается учитель с учениками — он вносит явный разврат, так как с детства приучает крестьян к неповиновению, и учителя следует искоренить; обращается учитель грубо, опять следует его искоренить; а так как этих двух искоренений не согласишь воедино, то и следует вообще искоренять то существо, которое именуется учителем. Бьет муж жену, отец сына — это значит, что развратился волостной суд и что именно судей-то и надобно наказывать розгами; не бьет отец сына и муж живет с женой хорошо, опять «вредное направление», отсутствие повиновения и умения подчиняться, а ведь если жена не будет подчиняться мужу, или сын отцу, то жена как мать внушит это будущим поколениям, а сын как будущий плательщик, не привыкнув подчиняться пред отцом, не станет подчиняться и «пред». Словом, все на его взгляд было и жило так, что только схватывало горло удушьем негодования от одного только зрелища. Он замучил губернскую администрацию беспрерывными доносами о неискоренимом и все более и более развивающемся зле, развивающемся повсеместно и во всех направлениях. Послушать его, так все жители стана, от мала до велика, всеми силами стремятся только к тому, чтобы причинить *себе* «непоправимое зло» (эти слова он постоянно употреблял в своих доносах); они стремятся якобы к тому,

чтобы уничтожить скотину у себя, не сеять полей, а пьянствовать, предаваться разврату, разрывать семейные и родительские узы и в конце концов погибнуть без религии и с песнями. Долго губернское начальство верило донесениям и принимало меры, долго он пугал начальство тем, что законных законов мало, а нужны еще беззаконные законы, но, наконец, вдруг, точно по мановению волшебного жезла, Полупьянов сразу заговорил совершенно другое.

На пожаре, бывшем в одной из деревень полупьяновского стана, на счастье г. Полупьянова присутствовал г. начальник губернии, и на глазах-то этого начальника отличавшийся на пожаре Полупьянов получил удар горевшей доской в голову. Это обстоятельство изменило мнение начальника губернии о Полупьянове; он собирался уже выгнать его за ложные доносы, но «подвиг», очевидцем которого он был, заставил его переменить мнение о Полупьянове, и последний из становых приставов сделан был исправником. И вот, как только он сделался «внезапно» исправником, так тотчас же, как рассказывают, стал и думать и говорить совершенно иначе.

Впрочем, едва ли мне нужно говорить о перемене взглядов, происшедшей в г. Полупьянове вследствие неожиданного повышения в должности, перемене, о которой к тому же нет еще никаких достоверных сведений, если я сам, лично на себе испытал, что значит светлая минутка, *простое, правдивое* слово, мгновенно изменяющее самые мрачные взгляды на самые мрачные вещи и делающее, опять-таки мгновенно, светлым и добрым то, что за минуту пред этим казалось черным и злым. *Злой вечер* долго лежал тяжелым бременем у всех нас на душе, — ни гулять не хотелось, ни в окно выглянуть, ни посмеяться. Напротив, явилось желание не прерывать мрачных мыслей, явилась охота, перерывая старые журналы, с особенным вниманием прочитывать мрачные стихотворения мрачных поэтов, умирающих в стихах, взывающих о смерти; целый день по крайней мере я впивал в себя удовольствие думать о смерти: «Умри!» — говорит один поэт. «Я умираю!» — говорит другой. «О, смерть!» — с наслаждением восклицает третий. Даже один мрачный рассказ, оканчивающийся словами: «Я поднес дуло ре-

вольвера к виску, спустил курок, и меня не стало!» — нисколько не удивил меня своим окончанием, — так я умер духовно под влиянием злого дня и злых мыслей, навеянных им. И все эти злые мысли рассеяли все те же кошки!

V

Я совсем забыл о них, как забыл обо всех подробностях злого вечера, чувствуя только общую тяготу впечатления, и вдруг иду как-то раз через те самые сени, где мы в тот злой вечер присутствовали вместе с госпожой Петуховой при начинавшемся убийстве, глядь, — а убийца лежит посреди пола на левом боку, и все ее восемь ребят тычутся своими носами к ее сосцам, тычутся без жалости, даже, кажется, понемногу двигают ее с середины сеней к стене, а она не двигается, не бежит, не рычит, а только приподняла немного голову и смотрит спокойно, самодовольно на меня да на кухарку Авдотью, которая тут же стояла с половой щеткой в руках. Авдотья пришла сюда раньше меня и, видимо, с большим удовольствием смотрела на эту сцену.

Авдотья настоящая крестьянская женщина, вся живущая только живым, живьем, вся находящаяся в плену живой растущей травы, живого зеленеющего поля, живой квокчущей птицы, живых мычащих телят, поросят, поющих, вопиющих, взывающих разинутой пастью о еде, необходимой только для того, чтобы жить, не рассуждая о том, что из этого последует. Авдотья жила и живет так потому, что кругом нее все живет и требует участия Авдотьи. Если бы спросить Авдотью, какая у нее «руководящая» цель жизни, зачем она встает до свету, зачем мечется от коров к телятам, от кур к гусям и от огорода к полю, так она бы могла только ответить, что куры требуют ее участия, иначе собаки выпьют яйца, что и телята без нее пропадут, и корова может захворать и умереть, и рожь погниет, — а так, чтобы у нее была «руководящая» нить, едва ли можно сказать утвердительно: «мы этим делам не занимаемся!» — скажет она на вопрос о руководящей нити, и пойдет мочить веник в пруду, пойдет лазить по чердакам, искать, где неслись куры, и все босиком. Башмаки у нее в сундуке заперты.

Так вот эта Авдотья, *живой* человек, думающий только о *живом*, также стояла перед убийцей и улыбалась.

— Ишь ты, горькая какая! — сочувственно говорила она. — Ну-кась, выкорми восемь-то штук! Всиё утробу-то выпьють... Ведь несмыслены! Только бы молочка, только бы молочка... Вот сейчас экую ораву откормила, а сама беги, мышей лови, ешь что ни попадется, — ведь они того и гляди опять запищат, опять подавай им! А ведь сердце-то болит, как запищат-то! Эко, горькая какая! Не смогла я в ту пору хоть бы пятерых утопить, все бы ей легче... Не могу я этого! И курицу зарезать, так перед богом, лучше мне сейчас расчет, а не возьмусь я за это!

— А зачем же, — сказал я, — она таскала котят за сундук? Ведь они задохнуться могли?

И я рассказал Авдотье всю сцену предполагавшегося убийства нелюбимых детей в пользу любимых. Авдотья выслушала, пошла к сундуку, отодвинула его, осмотрела, и сказала:

— Это она их спрятать хотела... Ишь, дети ходят котят смотреть, трогают... Ведь она боится — «ну-ко ногу ему переломят или уронят?» Да эта Петушиха в ту пору в кухню-то пришла, всюду свой нос злющий стала совать. И меня-то глазами ест, что, мол, не три фунта, а два, и под лавку-то нос сует, и котяток-то всех перетаскала, перевертела в руках... Ну вот Машка-то и испужалась, — «долго ли до греха, как этак-то вертеть махоньких деток?» Вот она ночью-то и стала таскать... Вишь, в сундуке-то одной дощечки нет, сбоку-то — вот! вот она туда и пролезала... Одного пронесет, за другим пойдет, а тому-то боязно, страшно, холодно, он и карабкается вон... Ну, а выкарабкается и упадет!.. Несмыслен ведь!.. А то, эво ты! Своего рабенка погубить! Это нашей сестре, в случае чего, иной раз стыдно, — ну-ко замуж не возьмут? Срамота! А ей чего?

— А зачем же она рычала-то? Злилась-то на них?

— А вы чего тут с лампами-то толкались? Чего вам тут надо? Она и сердится, что пищат. «Не смейте, мол, пищать, а то найдет разный народ... Чего вы, мол, народ-то скликаете? Еще унесет кто-нибудь...» Да это как же можно? На одну Петушиху посмотреть, так это чего уж? Конечно, испугаешься, постращаешь! Эко, миляга, какую семью завела! Ишь, как пьют-то, глупенькие!

И вот от одного живого слова, сказанного живым человеком и по-«живому», сразу изменилась вся «картина», все побуждения, которыми мы объясняли ее: вместо кровопролития и убийства, — самая пламенная любовь, вместо убийцы, злой и расчетливой твари, — самая добрая, самая нерасчетливая, самая любящая мать! Не больше как через две недели эта любящая мать совершила еще великий материнский подвиг. Стояли уже последние сентябрьские дни; осень вошла во все права; все повяло, пожелтело, но дни стояли светлые, блестящие, сухие.

В одно такое светлое, яркое утро, достаточно теплое для того, чтобы можно было по-летнему пить на галерее чай, мы были свидетелями такого эпизода с этими самыми убийцами и предполагавшимися к убиению. Предполагавшиеся к убиению теперь были уже в возрасте, бродили и мяукали по всему дому и сами приготовлялись жить самостоятельно. Предполагавшиеся к убиению в это утро шумно играли в засохшей клумбе, прятались там среди сухой, подмерзавшей уже травы, а убийца Машка сидела около этой клумбы и смотрела на них. Дети ее были здоровы и веселы, а она, напротив, была худа, неуклюжа, с впалыми боками и отвислым животом. Того живого самодовольства, которое было у нее в глазах, когда она лежа кормила своих восьмерых наследников, теперь не было даже и следа, напротив, в глазах ее была та тоска, та как бы тупая печаль, которая всегда заметна у матерей в тот момент, когда они почувствуют, что обязанности их к детям кончились, что дети уже *все сами* понимают, что им уже ничего не нужно, и когда вследствие этого у матери рождается тяжкая мысль: зачем же все это было нужно, то есть зачем такая тьма хлопот, страданий? Вот в таком именно настроении и сидела Машка на солнце. А в это время из сарая по направлению к клумбе медленно, но свободно, легко, шла одна из дочерей Машки и несла в зубах *первую* мышь.

Мышку держала она в самом углу рта, держала изящно, чуть-чуть, и точь-в-точь так же изящно и легко, как «молоденькая» хозяйка, только что начинающая новое хозяйство: вся новенькая с головы до ног, изящно и легко держит она в изящных ручках кожаный мешочек,

со стальными цепочками и замочками, и идет не как «молоденькая» женщина, а как «молоденькая» хозяйка, идет, положим, в Гостиный двор. Дочь нашей Машки была чрезвычайно грациозна и мила в своей прогулке. Она не была голодна, не спешила уничтожить свою добычу, шла медленно, даже остановилась посмотреть, что такое делается с остальными ее братьями и сестрами. Постояла, посмотрела, прищуриваясь на солнце, и прошла медленно и кокетливо мимо своей матушки.

Мать посмотрела на нее. Задумалась. Несколько секунд посидела она неподвижно, не шевеля даже головой, а потом поднялась и пошла. Пошла медленно, тихо, трудно переставляя ноги. Пошла она через клумбу, по дорожке ушла в траву, ушла и... не возвратилась!

Авдотья видела эту сцену и, когда Машка исчезла, объяснила это исчезновение «по-живому», таким образом:

— Видно, уж надо нового места искать, коли дети в возраст пошли. Ведь она, покуда детей-то не было, одна в доме хозяйствовала, — все мыши во всех местах, все у нее, у одной, в распоряжении были. Ну, а тут как восемь-то детенков в возраст пришли, да как увидела она, что дочка-то уж и сама принялась хозяйствовать, с мышонком идет — вот она и думает: «Что мне с ними делить? Не ссориться же с родными детьми? Пускай уж лучше они хозяйствуют! Оставлю, мол, им полный дом в духовное завещание, пусть живут! Ну, а уж сама, как-никак, где-нибудь доживу век-то...» Ну и пошла искать нового места, а им все хозяйство предоставила... Теперь, поди, где-нибудь у мужика приютилась. А у него и мышей-то во всем доме сроду не было, самим есть нечего... Ну, да уж не пойдешь против своего нарождения, — сама не доешь, да им дашь! Вот она, Машка-то, и ушла... Сердце-то у нее совестливое!

Так вот какая оказалась эта убийца! И благодаря одному только *простому, живому слову* живой души Авдотьи не только мгновенно изменилась вся жестокая сцена злого вечера, во всем объеме и содержании, и осветилась во всевозможных мелочах светом и любовью, — но и вообще весь мрак и тьма, навеянные на душу злым вечером, исчезли без следа.

VI

Принесли газету, — и в газете, кажется, все было постарому: и балет, и мещанин, и кузька, а думалось о газете уж не то. «Слава богу, что этот огромный лист напоминает мне, равнодушному человеку, о том, что мещанин Каблуков наложил на себя руки; что бы была за ужасная жизнь, если бы о ее ужасах не напоминал этот лист?»

Как раз в такую-то минуту опять приехала к нам в гости и госпожа Петухова. Смотрим — вся сияет! Тот же бант торчит у нее на темени, то же сухощавое лицо, и такая же она чистокровная парижанка, как и в тот раз, но послушайте, что она говорит:

— Какие милые, какие добрые инспектора и директора, и вообще сколько внимания, доброты! Можете представить, — Коля мой действительно плохо подготовлен. Хоть я и мать, но я говорю правду. Действительно плохо, и что же? Директор, такой добрый, совершенно святой старичок, говорит мне: «Ваш сын действительно мало знает, но ведь затем он и идет учиться... Школы существуют именно для незнающих; стало быть, прежде всего, двери школы нужно отворять для тех, кто ровно ничего не знает. Школа — для незнающих, их-то и надобно принимать, иначе и школы не нужны. Зачем они нужны для знающих?» И принял моего Колю, обласкал, погладил по голове, поцеловал. Неправда ли, какой милый, добрый, святой человек? «Будет учиться — узнает, а не учась, не будет знать ничего». Неправда ли, как это все удивительно? Гениально?

И про женщин вообще, и про матерей в частности, она теперь отзывалась совершенно иначе: все они пламенно любят своих детей, все они готовы отдать жизнь за них, все они готовы пожертвовать собою. Хороших, отличных, добрых, нежных матерей она теперь, в последний приемный день в гимназии, видела ужасно много, — все это такие любящие сердца!

Бант на темени госпожи Петуховой трясся попрежнему беспрерывно, но какая разница с тем вечером: теперь этот бант ласково кивал, раскланивался направо и налево, и не щетинился, а как бы манил, звал всякого подойти поближе, чтобы выслушать радостные речи

госпожи Петуховой. «Какая милая, работящая, славная женщина у вас эта Авдотья!» — сказала она, когда Авдотья прошла мимо и поклонилась. А когда мы рассказали госпоже Петуховой о кошке, так госпожа Петухова даже прослезилась:

— Что вы хотите? Мать!

И долго утирала слезы на своем морщинистом, но уже добром лице.

И опять все произошло единственно только от простого, доброго человеческого слова. «Знаешь?» — «Нет, не знаю». — «Ну, так учись!» Кажется, чего проще и справедливей? А между тем сколько эта простота разгоняет мрака, ненависти, негодования, зависти, мрачных, злых мыслей и еще большее количество злых, бесчеловечных поступков, и все опять-таки оттого, что с человеком поступлено по-человечески, «с живым сделано по-живому».

Неожиданная перемена в воззрениях, словах, суждениях и мыслях госпожи Петуховой, неожиданное превращение убийцы в любящую мать невольно заставило меня подумать и о становом приставе Полупьянове. Про него рассказывают, что теперь, после того как удар доски в голову на пожаре изменил его положение к лучшему, радикально изменились и все его взгляды.

— Ну, что такое, что девки песни поют? — будто бы говорит он, — пускай! Ведь они работают круглый год, ведь не все же молотить да молотить! ведь душа у человека есть, существует поэзия! Не беда, если и учитель ласков с учениками, что не дует их ремнем, — ведь это дети, с ними надо лаской, кротостью, добром... И мужика нечего приучать к страху, повиновению, он и без того терпит много. Драть? Пора бросить это занятие, это несправедливо! Ведь всем известно, что в нынешнем году неурожай, так к чему же этот волостной террор? Ведь это все люди! Надо же когда-нибудь смотреть на людей по-людски... Бог ведь есть!

И я не знаю, отчего бы не поверить, что взгляды Ивана Ивановича Полупьянова могли измениться или даже вовсе изменились в либеральном направлении? Они, правда, не превратят неурожая в урожай, но при них будет *только неурожай,* а не так, как было при старых взглядах Ивана Ивановича, — «неурожай» и рядом с ним

слова: «непоправимое зло», за которыми еще слова: «искоренить и истребить», а за ними еще словечки: «в самом корне», а затем уже отчаянная мысль об особенных законах. Просто неурожай, — а всего остального и не нужно бы! И право, давно бы пора из этой тоски, тьмы и смерти выбираться на белый свет, к «живой заботе о живом», к простому человеческому взгляду на человека и его желания.



2. «НА МИНУТКУ»

I

— Ну, как же у вас тут? как живется? ничего?

— Да все по-старому! Чего нам делается? Живем помаленьку!

Этими обычными словами, очевидно не имеющими никакого определенного смысла и значения, невольно обмениваешься с деревенскими обывателями всякий раз, когда, после долгой отлучки, и главным образом зимою, случится «на минутку» заглянуть в деревню. Не придают этой взаимной перемолвке никакого существенного смысла и те деревенские люди, начиная с ямщика, везущего с вокзала, с которыми приходится столкнуться в короткое время случайного приезда.

И все-таки, когда минуют эти короткие минуты, и сани ямщика обратно бегут к вокзалу, и когда припоминаешь все невольно виденное и слышанное, почти всегда оказывается, что эти ничего не значащие слова были едва ли не единственным ласковым впечатлением, которое осталось на душе. Обычные слова ничего не означали, но они говорились с желанием собеседников относиться друг к другу «по-приятному», говорились не с унылым лицом, тогда как малейшее «касательство» в разговоре к вопросам реальной деревенской действительности почти всегда омрачало и мысли и лица собеседников. Прискорбный тон, прискорбный вздох были всегда началом такого подлинного разговора о подлинных обстоятельствах деревенской жизни, потому что с удивительным постоянством такой разговор всегда почти касался какого-нибудь прискорбного факта.

Иной раз подолгу нет желания даже и «на минутку» заглянуть в деревню, хотя бы и по какой-нибудь незначительной надобности, и тем менее для того, чтобы «отдохнуть» во впечатлениях народной жизни. Последнее положительно невозможно, так как если вы, живя в самом центральном месте механизма мероприятий ко благу отечества, чувствуете, что в них есть иногда недомолвки и недоделки, то видеть осуществление всего этого вживе и въяве, в той ячейке общественного организма, которая именуется деревней, — значит не получить ничего, кроме самых унылых мыслей. Если же иногда при этом все-таки является неотразимое желание заглянуть в деревню «на минутку», то это происходит только в такие мгновения, когда суета сует хлопотливой столичной жизни прекратит, наконец, самую малейшую возможность понимать смысл как того, что приходится переживать, так и вообще смысл своего существования. Тогда является неотразимая потребность освежить свои нервы какими-нибудь впечатлениями живого, не подлежащего изменениям и дополнениям естества, вековечной, живой книги жизни природы.

При таких обстоятельствах даже простой, но настоящий, белый снег, пушистыми сугробами укрывающий простор полей, и тот уже освежает измаявшиеся нервы впечатлением ничем не поврежденного естества. В столице снег бывает снегом только тогда, когда еще только падает с неба, когда он, пушистый и белый, мелькает за окном, пытаясь приютиться на железном подоконнике. Но едва он достигнет земли, как тотчас пропадает о нем всякое представление. Толпы дворников, околодочные, даже иногда частный пристав, все это хлопочет и суетится над чем-то, подлежащим немедленному истреблению. Это «что-то» дерут железными скребками, пихают метлами, валят в каком-то разлагающемся, трупном виде в грязнейшие ящики на дровнях и поспешно увозят с глаз долой; это уже не снег, и то, во что превращено самое естество пушистого снега, этого и передать невозможно. Понятно поэтому желание хоть снег-то увидеть в его настоящем естестве, а не мероприятие над каким-то разложившимся трупом. И, право, хорошо на нескрипучих полозьях ехать по мягкому снегу. Особливо хорошо это, когда кругом ненарушимая тишина, а еще лучше, когда к тому же и тьма кругом кромешная. Звякает только

непривязанное у дуги кольцо, но тьма и тишина так успокаивают нервы, что этот едва слышный, хотя и однообразный звук не тревожит их.

Не нарушимая ничем тишина, та самая, которую без всякого преувеличения можно именовать «мертвою тишиной», много, много дает она целебного успокоения всему измаявшемуся телу. Темная, черная ночь, смиловавшись над измученными нервами, по которым столичный день, как полупьяный тапер на разбитом инструменте, колотит с утра до ночи, закрывает, наконец, крышку инструмента и ни единым толчком не трогает избитых струн. Не знаю, отдыхают ли струны после тиранства тапера, но нервы, не получающие никаких впечатлений, и мысль, совершенно ослабленная тьмой, изъемлющей от ее внимания все впечатления действительности, начинают приходить в себя, выпрямляются и, так сказать, «молча» восстановляют свои физические силы; сердце бьется правильно и делает свое дело покойно, заботливо, как заботливая мать, которая ходит ночью по детской и неслышно одевает, укутывает разбросавшихся и раскидавшихся детей своих. Побыть в такой ненарушимой тишине, будь она в долгой дороге по рыхлому снегу или же в тепло натопленной комнате, в глухую ночь, под теплым деревенским полушубком, исполняющим дело забытого в городе одеяла, — это такое спасение для изорванных, полураздетых, иззябших, не покрытых и не защищенных ничем нервов, какого не найдешь в самую глухую пору столичной ночи, всегда освещенной, как днем.

Хорошо также действует на нервы, а иной раз и прямо на оздоровление сознания, всякая живая, бессловесная тварь, выросшая в деревне на всей своей воле и воспитывавшаяся единственно под руководством самобытных, никем и ничем не реформированных и не систематизированных стремлений и целей. Навстречу вам, подъехавшему к деревенскому дому, вылетает с лаем и со всеми приемами бесстрашной обороны молодая собака, с густою, курчавою шерстью, и вы с истинным удовольствием замечаете, что ведь это тот самый щенок, который летом вместе с другими пищал где-то под крыльцом, ничего не видя и в то же время стараясь найти молоко матери. И вот он является в полном развитии всех своих способностей, талантов, дарований, целей и обязанностей. Ни-

какая система воспитания не наложила на него своей тенденциозной печати; что ему было дано, того и достиг без помехи, и одно уже это дает вам возможность ощутить такое впечатление, которого не получишь от человека, которому всего-навсего осталось дополучить до полного самоудовлетворения — пять или шесть еще не полученных «прибавок». Щенок, развивший все, что ему было дано, не утаивший ни одного своего собачьего таланта, не отказавшийся ни от одной собачьей обязанности и не изменивший ни одному собачьему убеждению, не утративший ни одного из собачьих прав, дарованных ему, в числе прочих тварей, создателем вселенной, освежает своим гармоническим существованием воспоминание о праве личного благообразия. Благообразие щенка отозвалось и в вас желанием непременно привлечь к себе эту милую тварь.

Но милая тварь нейдет, а продолжает лаять и оборонять свою личность от всякого посягательства. Булка, которая оказывается у вас в руке, производит в непосредственной натуре щенка совершенно не то действие, какое вы привыкли видеть в обыкновенном обиходе жизни. Не только она не возбуждает в щенке умиления и низкопоклонства, как это бывает обыкновенно, но, напротив, приводит его в величайшее раздражение: булка, очевидно, должна заманить его со двора в сени, принудить к вилянию хвостом. Никогда этого не будет! Булка принадлежит ему и должна быть отдана без всяких уступок; он дождется своего, а не покорится; он лег на брюхо, положил голову между передними лапами, сверкает глазами и рычит, и бьет хвостом в негодовании. Иногда в негодовании вскочит на все четыре лапы, перевернется на одном месте с рычанием, «гамкнет» раз, два и три так повелительно, что булка сама перелетит в сени. Взяв то, что ему следует, щенок с рычанием и бранью за ваше желание попрать его независимость немедленно уже умчится в какое-нибудь неприступное место. И в то же время, не покорившись булке, он без всяких насильственных мер, распоряжений и подтверждений всю ночь бескорыстно исполняет свои обязанности: всю ночь не спит, сторожит, не смыкает глаз. И опять думается о том, как бы хорошо было жить, не покоряясь булке, и делать то, что велит совесть! Подумаешь об этом и поотдохнешь.

Вот только такие-то освежения и хороши в деревне; независимый в поступках щенок, крепкий сон без малейших признаков каких-нибудь сновидений, невзволнованное, ровное биение сердца в ненарушимой ночной тишине, белизна чистого пушистого снега, — вот и все, что ценно в короткие посещения деревни в глухую зимнюю пору.

Но врожденная потребность жить и быть с людьми заставляет желать и живого слова, живого человеческого общества. Приехав в дом и ожидая, пока прибежит парень, на котором лежат обязанности истопить холодную печь и поставить самовар, — не хочется отпустить и ямщика, и с ним хочется поговорить. А раз пошла речь о будничных заботах деревенского недосуга, всегда можно быть уверенным, что разговоры будут далеко не веселого содержания. Так бывало всякий раз в короткие приезды «на минутку», так было и в тот вечер, о котором идет речь.

II

Натаскав при помощи ямщика дров и поставив самовар, парень жарко растопил печку и, греясь около нее, сидел на полу. Я тут же примостился, не раздеваясь и ожидая, пока согреется комната. Ямщик подсобил зажечь лампу, предварительно переломив, как соломинку, ламповое стекло, съездил за другим в лавочку и, простившись, уехал; самовар начал трещать и стрелять разгоревшейся лучиной, а парень, поталкивая дрова, стал разговаривать.

— А у нас на станции человека недавно ядом извели!

Еще когда парень пошевелил только губами, я уже опасался за предмет разговора. Первые же слова парня подтвердили мои подозрения, и я уже прямо пошел навстречу прискорбной истории.

— Кто же это сделал? — спросил я. — И за что?

Парень помолчал, помешал в печке, потолкал там кочергой и сказал:

— Мне отец не велел разузнавать... Я было пошел поспрошать... Так отец говорит: «Не смей! Коли тебя там увидят, так и самого в острог посадят!» Ну, я и не стал. А он уж четвертый день лежит, пухнет... черный стал... страсть!

— Кто ж он такой?

— Да так... распутный какой-то был... Даже раз был такой случай, ножом он в кабаке в драке пхнул одного мужика... Потому что набалован был с детства... Баловался, пьянствовал...

— Да кто ж он такой?

— Да он тут на дороге служил, в мастерской где-то. И то — когда служит, а когда так болтается. Сирота он, без отца, без матери, а только что не из бедных; после смерти отца остался ему в наследство дом у станции... А ведь теперь у станции-то земля уж по саженям продается. Ну вот, доходу-то и было, за одно постоялое сколько приходилось... Деньги-то вольные, малый и приучился баловаться; послужит месяц, другой, наделает скандалу — его и вон! Помотается пока что, пока деньжонки соберутся, а потом и опять за свое, и в карты стал играть... Думали так, что пропадет, а он в последнее время как будто и очувствовался, жениться вздумал. Вот старик-то и думает: «дело плохо, надо как-нибудь его прекратить...» Взял, да и дал... яду...

Решительно не было никакой возможности понять, в чем дело, и я вынужден был приступить к подробному допросу.

— Рассказывай ты все по порядку, — сказал я. — Как было дело? С чего началось?

— А началось дело таким родом: идет этот самый Игнашка на машину, на вечерний поезд, половина шестого. И шел он на поезд — хотел ехать к невесте... Невеста его живет на другой станции, верст восемь.. Идет он как следует, приодевшись, и попадается ему Егор, старик тут один, отставной старый солдат. «Здравствуй!» — «Здравствуй!» — «Куда, мол?» — «К невесте». — «Доброе, мол, дело, дай бог час!.. Надо, говорит, спрыски сделать... Зайдем-кось ко мне, — у меня настойка припасена». Малый-то был охоч до вина, а тут, сказывают, которые слышали, будто заупрямился, не хотел пить-то. А старик-то Егор уломал его, затащил-таки, угостил Игнашку настойкой... Игнашка хватил стакана два и побежал на машину. А на машине-то, как только она тронулась, так с ним и началось... Приехал на станцию ни жив ни мертв. Куда уж к невесте! Еле домой на товарном довезли, все мучился, и промучился двое суток,

и рассказал людям, как Егор-то его угощал... А Егор-то полагал, что он в дороге умрет, ничего не скажет...

— Да за что ж его отравил Егор-то? И кто он такой?

— А люди сказывают, из-за дома он этот яд дал... Дом — главная причина в этом деле!

Новая неожиданная путаница рассказа поставила меня в решительный тупик.

— Нет, — сказал я, — ты все путаешь! Говори, прежде всего, кто такой Егор?

— Да шут его знает, кто он такой! Он у нас живет тут лет двадцать... Нога у него одна испорчена, на войне, сказывал, хромает... Жил он все на квартирах, — где за полтину, где за рублик в месяц... Сапоги шил, а то так и самовары лудил, и деньжонки в рост давал. Как он жил, неизвестно никому в точности... Сказывали люди, что и паспорта-то настоящего у него не было...

Парень помолчал, подумал и, видимо обремененный сложностью своих мыслей, выговорил, затрудняясь в каждом слове.

— Так вот главная причина и сказывают — дом!

— Да при чем же тут дом-то, наконец?

Парень посмотрел на меня неподвижными глазами, очевидно удивляясь, как это я ничего не понимаю.

— Так ведь дом-то Игнашкин! — сказал он таким тоном, который доказывал, что парень почти уже вышел из терпения.

Но и я не вытерпел бессмыслицы, которую молол парень, и не без раздражения заметил ему:

— Я тебя спрашиваю: при чем тут дом и при чем тут Егор? Дом Игнашкин, но почему Егор его за это отравил ядом, вот что мне объясни.

Лицо парня вспыхнуло и выразило напряженное усилие еще раз и притом сразу выяснить все это дело.

— Так ведь он был любовник Авдотьин-то!

— Кто любовник? Игнашка или Егор?

— Егор был Авдотьин любовник! Вот как Игнашка-то задумал жениться, Егор-то испужался... «Ну-кася дом-то отойдет».

— Да кто же, наконец, Авдотья?

— В любовницах она у Егора состояла, а теперь и он и она старики стали! Вот как Игнашка-то захотел жениться...

— Постой, — сказал я, — говори сначала, кто такая Авдотья?

Парень, очевидно, почувствовал, что вопрос этот вывел его из затруднения, потому что лицо его сразу прояснилось.

— Да мачеха она Игнашкина! — оживленно проговорил он. — Отец-то Игнашкин женился на ней на второй, а в скорости и сам умер. Оставил он в наследство Игнашке дом; вот мачеха-то и стала жить с сиротой, доход с дома получать, да и связалась в это время с Егором-то. Вот от каких пор и пошло все это дело-то!

— Так бы ты и говорил!

— Так ведь не сразу на разговор-то хороший нападешь! Теперь-то я все могу подробно рассказать.

И рассказал:

— Игнашкин отец, сказывают, дом-то нажил, когда еще дорога строилась, подрядчиком он был. Ну, деньжонки были, вот и прихватил земельки около станции. Первая-то жена у него, сказывают, была хорошая, да прожила недолго; а на Авдотье он женился, только чтобы было кому за ребенком смотреть. Первую-то жену любил, а эту так уж... для хозяйства. Одинокую взял, — ни отца нет у нее, ни матери, — работницей была на дороге, землю таскала. Ну, хоть и не красивая была, а добрая... Вот, когда умер Игнашкин-то отец, этот самый Егор-то и подмазался к ней... Ежели бы она замуж за него вышла, тогда и дом и ребенка наверное бы отобрали какие-нибудь родственники. Да и родня уже нашлась и на дом зарилась, а Авдотью стерегли. А куда ей из дому-то выйти, чем жить? Ни у нее, ни у Егора ничего нет. Вот они и стали жить таким-то манером. Из теплого-то дома на мороз, да на «милостинку» выйти — кому охота? Ну, Авдотья-то будто и жила как незамужняя, и доход получала, и Егорке помогала. Покуда Игнашка маленький был, Егор-то и прямо в его доме ночевывал, а как стал подрастать, стали они скрываться от Игнашки. Однако Авдотья баба добрая, стыдливая... Стала побаиваться, как бы мальчонка-то не сообразил, баловать его стала, дозволяла все, ни в чем не отказывала. Вот он и избаловался, а как стал понимать, что он хозяин, да слухи разные стал про мачеху слышать, и начал на нее даже похрапывать... Добрые люди научат! «Ты у ней тереби

деньги-то! У нее там битком набито!» Ну, и теребил. Конечно, деньги бывали, и Егорке много было дадено, только у Егорки тоже не держались, возьмут в долг и не отдадут... Жаловаться не смел, — спросят: «откуда?» А у него и паспорта нет. Вот так и шло. Малый-то все шибче да шибче свою власть над мачехой стал показывать. Иной раз пропьется, станет из мачехи деньги теребить, и ежели у ней нет, возьмет сам из имущества, заложит и пропьет. А потом опять теребит. А ежели совсем нету уж ничего, не верит, грозится: «Я с моим домом такую жену возьму, что ахти! Я вас, мол, уволю из дому...» И такой стал изверг непреклонный! Старуха-то, сказывают, плачет, плачет, бывало. Сохнуть даже стала. Да и невестины-то родители тоже дали весть, чтобы мачеха с любовником вон из дому шли, что этого их дочь видеть не может... Лавочники они, мелкие... Уж, конечно, муж молодую жену послушает, а не мачеху. Вот старики-то и перепугались.

— Неужели и Авдотья участвовала?

— Про Авдотью слухов нет... Она не отходила от Игнашки, как его привезли... Все слезами заливалась, и сейчас убивается... А вот про Егора-то — говорят! Да и точно, состарился он крепко. Ноги-то уж совсем перестают двигаться, деньжонки растащили дотла... И уж друг к дружке привыкли... Оно ведь страшно на старости-то лет по миру-то идти. Вот Егор-то, должно быть, и надумал... Как увидал, что Игнашка и в самом деле жену берет, и испужался. Ежели от Авдотьи отстать — помочи не будет от нее, родные будут смотреть в оба. А Авдотье, ежели Егора не бросить, тоже остаться нельзя в доме, всю жизнь разберут, всякую копейку станут высчитывать... Вот Егорка-то с отчаянности, надо быть, решился. «Помрет, мол, а я на Авдотье женюсь...» Ан вон как вышло-то!

— Что же теперь с ними?

— Да, сказывают, оба в темной сидят. Авдотья-то и сейчас убивается. Глаза не просыхают.

Печка накалилась, и самовар, после шумного кипения со всевозможными напевами, наконец уже клокотал в каком-то затаенном бешенстве.

— Кому же теперича дом-то достанется? — как последний вывод из всего случившегося, вопросил парень, втаскивая на стол клокочущий самовар.

Но разговор на эту тему не продолжался, так как, во-первых, надобно было пить чай, а во-вторых, образы этих двух несчастных, погибших стариков, сидящих теперь в тюрьме, тяготили мрачными мыслями.

Не только простой деревенский парень, который все-таки мог хоть по клочкам собрать более или менее достоверные черты, обрисовывающие причины несчастия двух стариков, понимал, что прежде всяких подробностей, касающихся личной истории и обстоятельств несчастных стариков, надобно почему-то обратить внимание главным образом на «дом», на имущественный вопрос, но и вся так называемая «деревенская интеллигенция», то есть люди «пиджаков», «часов» и «резиновых галош», с которыми мне приходилось встретиться на обратном пути, все они при расспросах о происшествии первым словом рассказа ставили непременно то же самое слово «дом», а потом уже снисходили и до припоминания, из пятого в десятое, подробностей жизни несчастных.

— Главная причина — дом! Вот как я полагаю!

— Да кто же они такие!

— А право, хорошенько я этого не могу вам сказать.

Суровая сущность своей и чужой жизни ощущается деревенским обывателем вполне ясно; он гораздо больше и основательнее понимает все, что касается безнадежности своего и чужого положения, чем то, что сулят мечты о каком-нибудь счастливом исходе. Никаких радующих перспектив жизнь не только не рисует ему, но даже пока и не намекает на них. Драма, кое-как рассказанная парнем, скоро отошла на задний план, и в разговоре его опять на первом месте появился «дом». Что теперь будет с домом? Кто в нем теперь будет жить и кормиться? Пройдут годы, и вы можете быть уверены, что ваши вопросы «о доме» всегда будут удовлетворены любым из деревенских жителей; но через три-четыре дня после того, как «возьмут и увезут» старика и старуху, о них и помину не будет.

III

Парень, к моему великому удовольствию, решительно не препятствовал мне молчать и думать, сколько мне будет угодно, и постарался занять эти молчаливые часы

усерднейшим чаепитием. Даже тогда, когда из чайника стала вливаться в стакан только одна вода, и тогда он не оставлял своего занятия до тех пор, пока нас обоих не осенила мысль о том, что самовар распаяется.

Наконец кончилось и чаепитие, съеден был десяток яиц с черным хлебом, выпита крынка молока, и явилось желание лечь спать. Улеглись мы спать в разных углах двух разных комнат, тепло натопленных, и некоторое время лежали молча. Я курил, а парень иногда икал, от избытка в чаепитии, а иногда зевал, но пока еще не спал и вдруг опять завел речь:

— Холода у нас тут стояли бедовые! Дён десять продержались. Ветром так и нажигает. Около будки один человек даже замерз.

Опять чем-то неприветливым погрозилась мне деревенская жизнь. И не хотелось бы мне тревожить своих мало-помалу успокаивавшихся нервов и мыслей новым повествованием, несомненно о чем-нибудь прискорбном, но я никак не мог промолчать уже просто потому, что другой человек разговаривает со мной.

— Здешний?

— Нет, прохожий. Опять их видимо-невидимо идет взад и вперед по тракту... Откуда только берутся?.. Этот-то, должно, во хмелю был, жгло, должно быть, у него нутро. Нашли его в таком виде, будто в канаву нагнулся воды напиться... Голову нагнул, губами к снегу припал и руками уперся этак, локтями вверх, шапка тут же с боку лежит... А одежи почесь никакой нет... пинжак только... на ногах лапти...

— Так и неизвестно, кто?

— Кто ж его знает, кто они такие? .. Их, этих прохожих, такая сила идет, видимо-невидимо! Кажется, ежели по полушке подавать, так и то в разор разоришься.

Уже по этому вступлению я ясно видел, что предстоит речь именно какого-нибудь безнадежного содержания, и сожалел, что речь эта началась.

Но, к моему удивлению, собеседник мой, начавший разговор о таком нерадостном явлении большой московской дороги, как голытьба и бродяжный народ, вдруг почему-то повеселел, сбросил с ног полушубок, сел на своей постели, и радостно проговорил:

— Эх! Не был ты у нас по осени-то! Что у нас тут было, — так и вовеки этого не будет! И правнуки-то этого не дождутся наши!

— Что же такое случилось?

— Пронеслась, как солнце по небу прокатилась божия матерь, чудотворная тихвинская икона! .. Голытьбу всю сразу подобрала, приютила, да что! — все-то мы точно по небу вместе с нею пронеслись! Точно подняла она, заступница, нас всех с земли к раю небесному! .. Хорошо! дюже, дюже хорошо! .. И вовеки этого не будет! . Уж каких живорезов, а и то слеза прошибала, и мошну развязывали. Конечно, жалко нам, а что хорошо было, так и пересказать этого невозможно!

— Отчего же и кого жалко-то было?

— А ее, матушку-заступницу, жаль нам было очень. Ведь она в Тифине-то жила у нас триста, почитай, лет... Мы к ей привычны, и думы этой у народа не было, чтобы она от нас ушла! Однако вот ушла! Тифинцы-то долго не отдавали ее старорусcцам. Она, точно, из Руссы была перенесена в Тифин по случаю моровой язвы. Так ведь оставалась же она, матушка, там триста лет! Стало быть, уж не гневалась. А тут старо-то-руссцы опамятовались, стали просить: «Отдайте, она наша!» Ну а тифинцы-то стали упираться, не отдают. Годов, может, двадцать они согласия-то своего не давали. Тогда и старорусcцы осерчали. «Не отдадите, говорят, добром, так мы вытребуем судом!» И зачали дело. Подали прошение, «так и так». Ну, бумага пошла своим чередом, однакож и тут не скоро дело шло. Много раз они, тифинцы-то, отписывались, затягивали дело, строчили бумаги. Наконец того, выходит решение судебное из синода: «Отдать без разговоров!» Ну, тут тифинцы-то уж и приуныли.

— И отдали?

— Как же не отдать-то? Только что тифинцы себе на уме: отдали, да не сразу. «На ней, говорят (опять же бумагу об этом посылают в Старую Руссу), риза в двенадцать тысяч, вся в драгоценных камнях, так мы ее, мол, снимаем, ризу-то!» Тут и старорусcцы испужались. «Нет, говорят, мы без ризы несогласны!» И пошло у них дело ходко. Собрали они и все двенадцать тысяч отвалили тифинцам, а в скорости и сами примчались получать. Привалило вместе с ними многое множество старорусcцев, —

что ж ты думаешь? Не пускают их тифинцы на постой. «Старорусские будете?» — «Старорусские!» — «Проваливай от ворот!» — «Да мне лошадь некуда поставить!» — «Да нам-то что? Ставь куда хошь!» — «Нет ли овса?» — «Нету для вас овса!» — «Дай хоть хлеба кусок!» — «Нет для вас ни хлеба, ни ночлега!» А народу все подваливает, а провизии не дают. Что будешь делать? Однакож, старорусcцы перетерпели голодовку, — ждут. Дождались дня, хотят взять икону-то, вдруг, сказывает народ, поднялась страшенная буря, так и валит деревья по дороге, по которой нести-то ее, владычицу, надо. Вот тифинцы-то и опять захорохорились было. «Это она, матушка, не хочет к вам, к старорусcцам идти, хочет у нас остаться! Никакая бумага тут не может препятствовать!» А старорусcцы-то, не будь глупы, сами им в оборотку доказывают: «Нет, говорят, не так по-нашему-то! По нашему, по старинному мнению, выходит, что на вас, на тифинцев, владычица гнев свой имеет, за ваши каверзы, подвохи всякие, за то, что вы нам пищи не давали, неприветливы были к нам!» Спорились, перетакивались всячески, пока архимандрит не приехал. Ну, тут уж окончательно нельзя. Вынесли ее, матушку, простились архимандриты у монастыря, поклонились друг дружке, и народ понес икону. И все тут уж были заодно, — и тифинцы, и старорусcцы, — и из всех сел и деревень так тысячами народ и подваливает. Как придут в село, так уж навстречу идет причт с хоругвями, встречает, и в церковь несут ее. Причты-то вот иной раз спорились с путеводителями старорусскими-то! Иной раз выйдут мужики из деревни, где нет церкви, всем обществом, просят отслужить молебен, а причт препятствует. «Вы, говорит, должны идтить в приходскую церковь, там обязаны молиться... Это, говорит, не годится, чтобы церковный-то доход отбивать». Так путеводитель-то, говорят, все посохом стучал в землю на причт-то, стучит и так что-то неласково говорит: «Как так, говорит, народу вы молиться не дозволяете?» И все посохом-то стучит в землю. И у нас тоже на станции пожелали икону-то с тракту, в вокзале, отмолебствовать, так и тут тоже причт обеспокоился, не стал было пущать, с повороту-то! «Мы, говорит, из церковных сумм выдадим, что вам на станции обещают! Поворачивайте,

будьте так добры, на тифинский тракт!» Так путеводитель-то и тут все посохом-то об землю стучал и горячился. Однакож не уступил и поворотил-таки на вокзал, — да в вокзал-то было не пронести, — двери тесные, пришлось на улице служить... И это причту было не по душе. «На улице-то сколько народу соберется? Тысячи! А кто же после того в храм-то пойдет? Это храму убыток!» Горячился причт очень, да и путеводитель тоже не отставал, все посохом-то — стук, стук, стук об мостовую-то! Даже, говорят мужики, благословить потом не мог. «Подождите, говорит, православные, рука у меня ослабла!» Ну, как-никак, а все вышло по-хорошему. И на станции была, и в храме была владычица, и уж как хорошо в путь-дорогу тронулась — и сказать невозможно! Высоко ее несли, матушку, надо всеми тысячами вверху сияла она, как жар на солнце горела... Женщины, особливо монашенки (собралось их — не пересчитать!), таково-то хорошо пели: «заступница усердная!» — словно ангелы на небеси. И ни на минуточку не замолкали ни днем, ни ночью. Так идет толпа несметная и поет! И откуда что взялось! Кто поил этот народ, кто кормил? Она, владычица! В поле остановятся — сами костры загораются, котлы большущие на кострах закипают, провизия всякая варится, все пьют, едят, все сыты, все довольны! А пение всю ночь, весь день вокруг иконы, и всегда множество народу, и всю дорогу на руках... Как прошла она, так весь наш тракт как ветром продуло — нет голытьбы ни единой души! всех подобрала, всех пропитала, всех приютила! А теперь вот опять голытьба повалила!

Пронеслось в воображении парня воспоминание о необыкновенном явлении, но суровая действительность, видимо, опять отяготила его мысль. Он призамолк, вздохнул, походил босиком по темным комнатам, воды попил и опять лег и стал укладываться. Скучные времена, наставшие после того, как прошла икона, ни парню, ни мне нельзя было уже оставить без обозрения.

— И откуда ее, голытьбы этой, — в раздумье сказал парень, зевая, — тьма этакая, — понять невозможно!

— Откуда же она, в самом деле, берется? — сказал и я.

— Да бог ее знает, откудова она валит! Идут из Питера с проходными листами и с дороги опять назад в Питер ворочаются, и опять их оборачивают назад. Один высылается из Питера двадцать восемь раз, это уж на моих глазах. Нарождено голого народу тьма-тьмущая! И кого-кого тут нет, в этих бродяжках! Нашему брату, мужику, нельзя не дать, — он жальче всех. Иной горемыка бьется, бьется в Питере-то изо всех сил, годов пять бьется, для деревни деньги сколачивает по копеечке. Ест только, чтобы сила на работу была, а уж ни водки, ни папироски, — ни-ни! Эдакого-то одною рюмкой свалишь с ног, одурманишь... Иной такой-то покончит свои дела, собирается домой, дай, думает, хоть рюмочку на дорогу выпью, да и свалится с ног, да как и в части очутится — не знает! А там уж денег у пьяного не оставят!.. Вот таких-то и жалко до смерти! Бежит домой из Питера, как сумасшедший. И отца, и жену, и мать, всех жалеет, и всех боится. Все они ждут не дождутся, надеются на него. Наголодались, натерпелись, а у него уж ни гроша нет, есть нечего! Много таких бежит мимо по тракту. Трясется, пужается, плачет, ничего в рот не может взять. Забежит, оглядит, дышит как постав на водяной мельнице, губы сохлые... Заплачет, ни слова не скажет, — опять бежать. Эдакого-то и сам догонишь, за руку остановишь, дашь. А ведь сколько за хлебом к нам идет такого голого народу, что и дать-то ему жалко! Видно, что дармоед. Вскочит в избу в пинжаке, как осиновый лист дрожит: «Хлебца, Христа ради»!» Поест, оттает и начнет хвастать: «Я, — говорит один такой-то, — голос имею преотличный... Сто рублей в месяц получал в театре в Петербурге. Только, говорит, пост начался, так закрыли места, где поют. Иду теперь к матери отдохнуть». Слушаешь его пустые слова-то, а ведь ежели есть в кармане грош, как не дать? Ведь раздет, на дворе мороз. Пробежит такой-то из Петербурга, думаешь, совсем пропал, может и замерз в дороге, ан, глядь, прошел пост, опять мчится в Петербург. «Дайте хлебца, Христа ради!» Теперича, оказывается, был в церковном хоре весь пост, денег получал много, да дьякон подвел, выгнали. Теперь опять в театр. И взад и вперед носит такого-то, как щепку по

ветру, а наш брат все отдай, да отдай. Да и сметы им нет, этим захожим людям!

— Есть, стало быть, и такие, — спросил я, — что не следует и давать им?

— Их всяких много! Иной нищий идет и хлеба просит, и сам же ругается на тебя. Однажды сидим мы так-то всем семейством за обедом, входит прохожий. На голове шапка с красным околышем, халат надет теплый, подпоясан и уши подвязаны. Сапоги тоже есть. Вошел, шапки не снял, огляделся кругом. «Какая, говорит, у вас, у мужиков, гадость в избах... Точно, говорит, в хлеву». — «Так зачем же ты пришел-то сюда? Иди своею дорогой!» — «Я, говорит, озяб, устал. Нельзя мне не отдохнуть». Не гнать же человека? Сел. Что-то у него в лице как будто полоумное было. Задумчивый. «Большая, говорит, на свете теперь неправда настала. У каждого мужика-дурака есть и земля, и хлеб, и изба, а в дворянстве, случается, кровные дворяне и пристанища не имеют! Это должно прекратиться! Что это такое, говорит, за подлость? Я, дворянин, должен у какого-то мужичонки просить позволения погреться? В этаком хлеву? Тьфу!» Надо бы по шее благословить, — ну, бог, мол, с ним, пущай поврет в свое удовольствие. «А ты сам-то дворянин, что ли, будешь?» — спрашиваем. «Я, говорит, самой чистой дворянской крови с материнской стороны. Моя мать была настоящая дворянка, генеральская дочь, только отец, стало быть, мой дед, разорился, должна была выйти за купца. А кровь у меня чистая дворянская! По бумагам я мещанин, а по крови настоящий дворянин. Бумага — наплевать. Дворянский дух и кровь — вот главное дело, а во мне и кровь и дух дворянские есть! Я у помещика на псарне ночую, мне там милее, чем у мужика на печке. Во мне есть благородная кровь. Я и пропадаю из-за дворянской чести. По бедности пустили меня после смерти отца по коммерческой части. И я, как благородный человек, исполнял свое дело, пылинки чужой не взял. Образование имел собственное, чтением занимался. За мои услуги фабрикант был очень мне благодарен, потому я все его дела увеличил, размножил, обогатил. Он сам, этот фабрикант-то, говорил мне: «Такого благородного человека я в жизнь не видал. Все мое семейство из-за тебя

живет в богатстве»... И старшая его дочь мне говорила: «Вы наш благодетель... Я вас обожаю». Письма писала. Совершенно верно выходило ей быть за мной замужем... Обнимала. А между тем ихняя подлая мужицкая кровь объявилась же наконец. Выдали за выкреста, богача... Из-под носу выхватили, невежи! Ну, я минуты не оставался, надел, что было мое, бросил фабрику и ушел. Маменька еще была жива, прожил с нею все и тогда совсем ушел. Не хочу покоряться! Не поклонюсь! Выкрест-то всю семью разорил в корень. Пусть. Хожу по монастырям, пусть кормят! И по помещикам, потому благородный должен помочь благородному. У меня дворянская чистая кровь! И к мужикам хожу и беру у них хлеб, яйца и деньги, но не как нищий, а как барин!..» Как брякнул он это, признаться, взяло и нас за живое. «Нет, говорим, эта пора прошла!» — «Нет, говорит, не прошла! Не может этого быть, чтобы барину не было удовольствия! Мне и схимник сказывал: «Будет, говорит, оборот! Не может быть, чтобы дворянин пропадал. Будет ему дано опять в оборот все старое. Всякому дворянину будет дано». Я и сны вижу. Этого не может быть, чтоб у мужиков было у каждого все, а у дворянина нет! Скоро вам, дуракам, будет приказано посмирней быть»... Должно что полоумный. Сидит, сидит: «Как! заорет, чтобы дворянам не было предоставлено жить по-дворянски? Для чего это мужики предназначены? Почему бог создал дворян и мужиков? Будет! Не нищий я, а барин! Это будет! Я просить не буду, а прямо ты мне должен дать, как барину. Дай хлеба, я не ел». Вот ведь какие! Палкой замахивается. Как не дать? Только уйди, сделай милость! Дали и этому полоумному. Засунул хлеб за пазуху, опять оглядел избу: «Какая, говорит, у вас тут все подлость! Даже тошнит. Вонь, смрад, точно свиньи!» Вот ведь какие бывают! А и этим как не дать? Ведь под окном может с голоду помереть, а кто отвечать будет? А может, он, полоумный, и чего еще хуже сделает?

Собеседник прервал рассказ и, как бы обиняком, спросил:

— А что, может, и вправду будет это, что полоумный-то говорил? Я так думаю, что полоумный он, непременно! Разве есть слухи какие?

Поговорили мы на эту тему и опять возвратились к прерванному разговору:

— И какие иной раз веселые бывают из них — страсть! Кажется, весь ободран, голоден, идет неведомо куда, без пути, без дороги, а нет-нет, да и представит комедию! Стою я раз на станции на платформе, смотрю, идет оборвыш, чуть не в чем мать родила. Палка длинная, ноги босые, сам верста ростом. Вошел по ступеням на платформу, стал, огляделся, увидел жандарма и закричал: «Жандарм! Поди сюда, каналья! .. — и палкой стучит. — Живо!» Жандарм осерчал, подскочил. «Ты как, говорит, смеешь так говорить?» Бродяга опять застучал палкой и закричал: «Молчать, каналья! Я — сенатор! Пошел, дай телеграмму, чтобы разыскали десяток папирос петровских, в курьерском забыл! В купе чтобы искали, исполняй! Пшол!» Ну, конечно, сгребли его, волокут в кутузку, а он не унимается: «Да хорош ли у вас там, канальи, буфет?» — «Иди, иди, любезный, увидишь, какой буфет!» — «Чтобы сейчас затопить камин и бифштексу три порции!» В кутузку усадили, и оттуда чудит: «Ни соусу нету, ни шампанского не дают! Ах вы, такие-сякие!» Увидал меня сквозь решетку и говорит: «Мужик! Принеси мне краюху хлеба, а то, ей-богу, околею с голоду! ..» Ну, как не дать?

Поговорили затем, уже крепко позевывая, вообще про обилие разлакомленного сладкими кусками дармоедного народа, вырабатываемого особенными условиями городской жизни, и тяжести расходов, которые эта голытьба возлагает на придорожное крестьянское население, и понемногу разговор возвратился к началу.

— А уж как хорошо было, как владычица-то прошлась по нашим местам! Сколько она приютила бесприютных и голодных накормила! Разжалобились богомольцы, развязали кошели, не обижали бедных. Когда это бывало? Сколько нищего народу до дому добралось, а иной, может, с десятком рублей за мастерство взялся, человеком стал. Долго этак-то не раздобреет жадный человек, как в ту пору владычица его раздобреть заставила! .. Вовеки не дожить нам всем, и с бродягами вместе, до этакой радости! .. Теперь опять к нам, мужикам, в окошко постукивают: «Подайте, Христа ради!»

Хорошо говорил мой собеседник о необыкновенно замечательных днях, но все-таки в конце концов мы заснули, а проснувшись, уже и совсем не имели для разговора какого-нибудь интересного материала. Молча доехали до станции и, прощаясь, опять обменялись обычным ласковым: «Спасибо!» — «Дай бог вам!» — «Счастливо оставаться!» — и не хмурым, а ласковым взглядом проводили друг друга.

3. БОГОМОЛКА

I

...Всевозможные развлечения, устраиваемые летними посетителями Л<ипец>ких минеральных вод, были окончательно исчерпаны. Ездили за город, катались на лодках, опять ездили за город, но уже соединенными компаниями, взлезали на колокольню любоваться видом города, который и так был виден довольно ясно, и, наконец, скука настала страшная. Нужно было отдохнуть от этого «летнего» отдыха. Но как? В этом затруднительном положении совершенно неожиданно помог мне случай.

В одно утро в гостинице, где я стоял, появился ямщик, предлагавший свои услуги везти на богомолье в соседний монастырь, верст за пятьдесят. В монастыре на днях должен быть храмовой праздник, на который съедется народ отовсюду. Это предложение было для меня как нельзя более кстати, и мы уговорились тотчас же.

Ехать нужно было на другой день часа в два дня, выехали мы, разумеется, не в два, а под вечер, что, впрочем, было гораздо лучше. Ехали мы не спеша, по узкой проселочной дороге, сухой и хорошо укатанной, переваливаясь с холма в долину, снова взбираясь на холм, точно такой же, как и первый; неслышно и чуть-чуть постукивая телегой, пробегали мы по сырой и мягкой дорожке луга, миновали деревню с ярким огнем лучины [1] в тусклом и маленьком стекле тусклого и маленького крестьянского окна, курили и думали каждый о своем, — впрочем, вернее — о своем деле думал только ямщик;

---

[1] Было в <18>73 г.

я, единственный его пассажир, затем и лежал в этой телеге, чтобы «о своем» — не думать.

По мере того как начинало темнеть, по дороге стали попадаться люди, пешие и ехавшие в таких же повозках, как и мы, — это были богомольцы, торопившиеся к ночлегу, в ближайшую деревню. Мы вместе с этими пешеходами, скоплявшимися близ деревни в партии, прибыли на ночлег поздно ночью. Постоялый двор был полнехонек народом: в сенях, в избах, в телегах и других экипажах, переполнявших двор, повсюду спал или приготовлялся спать усталый народ, охая, кряхтя, поминая слова молитвы. Я последовал примеру богомольцев и тоже лег в телеге, под открытым летним небом.

Проснулся я рано и вышел со двора на улицу. Здесь у ворот я присел на широком камне, поставленном на двух кусках дубовых обрезков, плотно закутавшись от утреннего холода в пальто. Деревенская улица мне была знакома, и мне нечего было разглядывать в ней.

II

В это время к дому приближалась богомолка; она шла скорыми, проворными шагами, нагнув лицо к земле и проворно работая палкой. Поровнявшись со мною, она остановилась, спросила не то у меня, не то у кого-то невидимого мне, «пущают ли?» — и, как бы не расслышав моего утвердительного ответа, села на другой камушек и с трудом перевела дух.

Лицо этой старушки заставило невольно обратить на нее внимание: такое красивое, умное лицо не часто приходится встречать в простонародных странницах. Черные, острые, наблюдательные, умные глаза придавали ее хотя и красивому, но утомленному и уже заметно не молодому лицу оттенок умной задумчивости. Но когда я заговорил с ней, в этих умных глазах, в пристальности, с которой она уставила их на меня, и быстроте, с которой она вдруг опускала их, смотрела в сторону, я заметил что-то странное, как будто в голове ее не совсем было ясно.

Я спросил ее — «откуда она?»

Она отвечала, что издалека, что идет к угоднику, а оттуда отправится тотчас же в другое место. Я заметил ей,

что такие частые и далекие переходы утомительны и вредны, что она вот и теперь еще не отдышалась порядком.

— Иному человеку, — сказала она в ответ, — и жить-то нельзя, покуда не умучает себя! Покуда умучил себя хорошенько, будто и можно на белый свет смотреть, а дай-ка ему отдых и покой — так он!..

Она отвернулась в сторону и махнула рукой.

— Что ж он? — спросил я.

— А то, — сказала она, глянув на меня тем странным взглядом, в котором виделось что-то ненормальное в ее сознании, — а то, что бес в нем просыпается, да! Ну-ко, поди, сладь с ним в то время!

— Бес?

— Да! дьявол пробуждается! проснется и начнет обозлять тебя на людей. Ну, и взбесишься, полезешь на всех с кулаками. Разве так можно с добрыми людьми жить?

— А может быть, люди-то в самом деле не добрые, а дурные? — начал было я, но богомолка, быстро прервав меня, сказала:

— Кому ты это говоришь? Я не от зубов хожу исцеляться, — зубы у меня все целы и здоровые, как жемчуг; не детей я хожу просить, — мужа у меня нету, умер; опять и обещания никакого я не давала, — зачем мне бегать так-то по тысячи верст? И дома можно молиться! А уж, стало быть, я знаю *его*, стало быть, *он* надо мной забирал силу! Я знаю это! Мне теперь пятый десяток идет, а *он* меня с детства во власть взял! От кого я и родилась-то, не знаю. Матушку свою помню, а отца никогда не видала. Не то беда, что «незаконная», а то беда — *чья?* вот что! Матушка, покойница, бывало, говорит: «*Чья* ты, Аграфенушка?..» — «Не знаю, маменька» — «И лучше тебе не знать!»

— Неужели ты в самом деле веришь, что есть какой-то бес и может войти в человека?

— Что ж я, с ума, что ль, сошла? Покойница матушка и сама-то измучилась от *него*... Это я уж потом от тетки узнала: «Ходил, говорит, он к ней, к твоей матери, каждую ночь, целую зиму... И слышно, говорит, за перегородкой разговор идет шопотом... Подкрадемся, — говорят; вскочим с фонарем, — а там никого нет, только мать бьется как в лихорадке. Измаялась, иссохла, как щепка, отвезли потом к Тихону Задонскому — ну, *он* и вышел!

Вот и со мной тоже... И мать-то всегда боялась, что и меня *он* иссушит. А ты говоришь, люди плохи!.. Кроме добра мне ничего никто не делал, я и беситься-то начинаю, когда мне жить станет покойней! Вот зиму нонешнюю купцы Собакины как меня ублажали, а что ж? Перепругала всех, расплевалась со всеми и ушла! вот и бегу! Ох, друг ты мой, не учи! — знаю! *Он* меня с самого младенческого возраста стал соблазнять-то! Я еще была девчонкой, в игрушки играла, а уж он вокруг меня шмыгал!..

— Ну, какой же он? Есть у него какое-нибудь обличье? На кого он похож?

— Да ни на кого не похож. То будто и совсем его нет, а так, невзначай, обхватит, — на улице ли, на речке ли, — обхватит, расцелует. «Красавица ты! Миллионщица будешь!» Умчит в лавку, игрушек, гостинцев целый подол насыплет и сгинет! Играю в анбаре, лакомлюсь, а он округ ушей все мне шепчет, в сердце впивается, голову мутит гордостию. Маменька спросит: «Откуда гостинцы, кто дал?» — «Не знаю!» — «Видела ты его?» — «Нет, не видала!» Вот матушка и стала пугаться. «Крестись, крестись, Аграфенушка, как этак-то соблазнять тебя будет!»

— И еще было?

— Всю жизнь он меня ест — поедом! Купить меня даже у матери хотел! Сначала объявился барыней... Играем мы, девчонки, на улице, идет барыня, а с ней другая... Остановились, расспрашивают, разговаривают... *Он* мне каждое слово подсказывает; говорю, сама не знаю, откуда у меня что берется? «Ах, если бы взять ее от матери!» Тут я испугалась, закричала, они и сгинули! Тут уж их, должно быть, несколько было!

— Да может быть это в самом деле была барыня? Бывают бездетные, берут чужих детей?

— Барыня? Вот какая она была барыня! Прибежала я в избу с улицы-то, — а маменька-то моя едва жива. «Опять, говорит, хотели тебя отнять от меня... Приходил, говорит, бородатый какой-то, говорит: «Деньги, говорит, дадим, на всю жизнь хватит, — только отрекись от дочери на веки веков!» Маменька как услыхала это, да крестом его, да закричала: «отойди от меня, сатана!» Он захохотал, как дьявол, и сгинул, а маменька рассудка лишилась. Вот после этого-то, когда уж он вьявь объявился, тут уж я и сама стала пугаться. Стала опять всякую

работу исполнять, измаешься, будто полегчает. А потом опять! И все он меня на гордость разжигал — а как разъел мое сердце, так и на грех стал наводить!.. Как мы жили? бедно, ровно нищие, только-только кормились, и я с шести лет уже за матерью на речку белье носила, помогала ей, из чего мне гордиться? А у меня, поди-кось, что было в башке-то, — то было, и сказать не расскажешь! Бывало, сяду за стол, играю будто на фортепьяне, будто я барышня, перебираю пальцами так-то по столу, и что ж? ведь будто слышу: вот чистая музыка, чистая вот-вот по комнате раздается! Мать глядит, глядит на меня, — да зальется слезами. А сны какие видела? проснусь, бывало, да и спрашиваю матушку: «Где, мол, мои золотые башмачки? А что я в хоромах танцевала? Ах, маменька, какие там красавицы были! но я всех лучше себя оказала!» После таких снов, бывало, без слез ни за что дело не обходилось. Опомнюсь, увижу, что это сон, — реву, реву, — и мать тоже ревет, ревет, потом браниться начнет, замахиваться, а потом и совсем бить начинала, потому с каждым годом *он* все дальше да больше!

— Как стала я приходить в возраст, тут он, говорила я тебе, стал и на грех меня наводить. Просверлил мне сердце-то гордостью, да и стал любоваться, как я на грех-то стала легка! Первый раз, помню, с дочерью головы случилось... Добрые были люди, часто нам помогали, дай бог им здоровья! Пришла она к матушке, принесла чаю, сахарку. Девочка ровесница мне была... Пришла она, а во мне эта почесть-то и заговорила... «Как ты позволяешь, чтобы этакая тетеря чванилась над тобой? разве можно тебя с ней, с толстомясой, уравнять?» И завертело! Такие стала я ответы ей давать, такие ответы, прямо насмехаться стала! Она мне говорит: «Как ты, дура, себе это позволяешь?» — «Как дура?» Слово за слово, цап ее по щеке!.. И сама не помню! Изуродовала меня матушка в то время, ах как изуродовала! Пришла я в чувство, думаю, господи, что я сделала! — добрый человек принес чаю, сахару, а я как с ним поступила? Сама, глядючи на мать, что она измучилась от моего поступка, — реву, реву, бьюсь, бьюсь, молюсь, молюсь, а *он* все шепчет, только уж со злом шепчет... Чую, что рад, — в грех ввел! Вот так с этого и пошло! Раззадорит на худое дело, а потом и оплюет! И никаких сил нет! Упаду,

измучаюсь, ничего не помню... Видишь, голубчик! не люди! Люди нам всегда добра желали, а это *он*!

Нервная дрожь и видимый испуг и ужас охватил и потряс богомолку, когда она в каком-то исступлении воскликнула:

— За что я мужа погубила? Какой человек! Изойдя весь свет, нашел ли бы ты такую добрую, ангельскую душу? А ведь я его забила в гроб, заклевала его, насмерть заклевала!

— Как же так?

— Как! — говорила тебе, чем он сердце-то мое разъел?

— А издевался-то?

— Сто раз улестит! Опять сто раз раззадорит! Стала я невеста, опять разъел мне душу! Все мне так-то представлялось, что со мною непременно что-нибудь должно случиться, не в пример против других. Хожу в отрепках, в опорках, а в мечтах — лучше я всех! Вот словно говорит он: «Наплюй на всех!» — И что же? Что ж ты думаешь? И сбывалось! Хоть бы вот как я замуж вышла. Слушаешь — как та, да другая вышла за богача, да за такого, за сякого, а он говорит: «Ты их превзойдешь». Глядишь, слух новый пошел — молодые, мол, худо живут, и деньги есть, и все есть, а драться, мол, ругаться стали... «Ты, говорит, превзойдешь!» — И что ж? Ведь превзошла! Как ты думаешь, за меня, за нищую, босоногую, растрепу, стал, матушки мои голубушки, наипервейшего богача сын свататься. (В лавке у него на два двугривенных печенки купила.) Что ни делали родители-то, ругали, били, колотили, родня — так на весь город его срамила — «нет!» А уж меня-то в ту пору костили, боже милостивый! А я все будто знать никого не хочу. Глас дает знать: «будешь за ним!» Кончилось так, что пришел отец к нам в конуру. «Где, говорит, твоя дочка-шкуренка, выводи ее!» Я вышла. «Что ты, говорит, шкуренка, с моим сыном сделала?» Стала я давать ответы. Слушал, слушал старик: «Ах ты, говорит, бесовка проклятая! Напрохвостилась ты в трущобе-то, честному человеку с тобой не сговорить! Змеиный твой язык! Заела ты моего сына змеиным языком, и меня заедаешь!» А нечто это мой был ум? Это все он!» «Заела, заела меня, змея!» — кричал отец на меня, однако дал согласие! Тут уж я ходила, земли под собой не слыхала! сколько тогда за моего-то жениха

девиц норовило выйти, — все на меня зубы скалили: «Муж-то твой ангел, а ты-то дьявол!» И вправду, человек был тихий, благородный, кроткий, непьющий, ангельская душа, одно слово. Ног я под собой не слышала в ту пору... Кажется, чего бы еще? А он, что со мной под венцом-то сделал? «Из корысти, говорил, продалась!.. Оплела дурака, — где твоя совесть? У меня в когтях!.. Поклянись-то теперь в любви, поцелуйся, да взгляни в его харю!..» Стою я под венцом, вся как лист трясусь; стали целоваться, — глянула я на мужа на молодова, — и такая меня сразу взяла отчаянность! Господи!.. Показался он мне вдруг некрасивый, нос толстый, глаза белые, — представился он мне вроде как совсем глупый. «Боже мой, боже мой! И на что польстилась!» А он шепчет: «Велико счастье за лабазником! Оставила бы его толстомясым купеческим дурам, пусть бы они владели... Не тебе в мясной лавке сидеть и, вместо муженька-то, сдавать сдачу копейками!» Заголосило у меня в сердце, господи боже! Поцеловаться пришлось под конец венца, так насилу, насилу смогла! На всех навела смуть, тоску! Пир не в пир вышел, и закону я с супругом в то время не приняла. Тут сраму-то! Муж-то ходит, голову схвативши, плачет (добрый был, чисто ангел кроткий!), а мне он все хуже да хуже... Он зарыдает, — а мне того противнее, — «за какого слюнявого пошла!» Все злей да злей! Ей-богу правда! Уж вся родня собралась, — наступили на меня... а от этого он мне еще стал гаже. По городу-то смех над ним. Сидит, сидит в лавке, придет, весь пахнет, обнимется с женой... Я ему: «Что ты, с ума сошел?..» Огорчу его. Родитель его придет, говорит: «Целуй его!» А бес: «За что его свиное рыло целовать? Погляди какая харя». Погляжу, — так и есть! А бес-то: «Погляди, говорит, куда ты попала? Нешто это люди?» Погляжу, господи! Уроды-то! Боже милостивый, что это? И не понимаю, что говорят, и что им надо, и кто они такие? Злюсь, мечусь как угорелая. Муж-то, бывало, целую ночь рыдает, — а я больше, да больше! Что ни скажет — все мне кажется, что он хочет меня совратить, уйду с кровати, стану одеваться, бежать! А куда бы мне бежать от этакого упокою? Всего было много, полная чаша, жить бы да жить. Нет, вывертывает меня оттуда сила бесовская! В два годика таким манером забила муженька,

заклевала его, — чах, чах, — зачах, помер! Тут я опамятовалась было на минуту... Я всегда опамятываюсь и робею, когда меня совсем пришибет, что ни двинуться, ни с места встать!

— Хоть бы вот и теперь... Хорошо, что я ног под собой не слышу, устала, ну я с тобой будто и толком говорю... А дай-ко мне хозяин отдышать, накорми, напои меня, сейчас я стану мечтать; станет мне показываться, придет мне в голову то, что никто не видит, не примечает, примусь я злиться, и за ваши же благодеяния — пойдете вы от меня все в дураках, да в шутах... А за что? Вы мне добро делаете, а я вам зло? Что это? Бес! Уйти мне скорей, господь с вами!

Старушка действительно скоро собралась, молча выпила воды в сенях постоялого двора, молча поклонилась и поспешно ушла.

Долго смотрел я ей вслед, а потом долго искал ее на богомолье и почему-то спешил пробраться в толпе туда, откуда слышались истерические вопли «кликуш» («к угоднику» много привезли порченых женщин), но не нашел и не встретился с ней. Побуждало меня к этой встрече настойчивое желание понять сущность этого беса, не слушать ее, а расспросить и дознаться понятных причин ее мучений. Нелепица бесовского влияния и все признаки чрезвычайной впечатлительности, не только ко всякой несправедливости, но и ко всему, что некрасиво, грубо, оскорбительно в чувстве изящного, все это требовало разгадки загадочной жизни богомолки. Умное лицо, умные глаза затмевали нелепицу ее рассказа; и всякий раз, когда мне вспоминалось это лицо и эти глаза (а это бывало очень нередко), богомолка и ее мучения выяснились мне как погибель умного, впечатлительного человека в темном царстве, не видевшего света, изувеченного путаницей диких понятий. «Что бы было с этой порченой старушкой, если бы в ребяческом возрасте бес действительно ее купил и из подвала перенес ее в хоромы? надел бы настоящие золотые башмачки, то есть дал бы ее уму и впечатлительности широкий простор восприятия впечатлений?»

Шло время, и образ «порченой» совершенно был позабыт, а богомолка вспоминалась как жертва суеверной и невежественной среды.

III

Вот в этом-то смысле, спустя долгое время после встречи с нею, я и «росписал» ее однажды в одном обществе, где, между прочим, зашел разговор о темноте русского простого народа, о том, что без посторонней помощи, и именно без помощи людей знающих, искренно преданных народному делу, тьма эта никогда не рассеется. Хороший, преданный делу сельский учитель, дельная книга — вот спасение против обуревающей наш народ тьмы. Слово «тьма» — воскресило во мне впечатления встречи с богомолкой, и когда я ее «росписал» должным образом, многие из собеседников крепко призадумались. В числе их был один земский гласный, сам вышедший из крестьянского сословия, и теперь очень и очень известный человек, пожилой, добродушный и наблюдательный.

— Да, — сказал он, — это положительно верно!.. Если б не одна совершенно нелепая и невероятная случайность, я бы не вылез из лаптей и, может быть, валялся бы теперь пьяный у кабака! Ни книг, ни школ, ни учителей, ничего этого в наши времена и в помине не было!.. Спасло меня...

Он добродушно улыбнулся, развел руками и, недоумевая, произнес:

— Спасло меня только одно, случайное *мгновенье*... удивительная неожиданность!

— Что ж такое? Расскажите, Иван Петрович.

Иван Петрович рассказал действительно нечто необыкновенное. Никакой связи с рассказом о богомолке оно не имело, но о тайнах тьмы, поглощающих массу талантливых людей (а в числе их я почитаю и богомолку), рассказ Ивана Петровича заслуживает внимания.

— Я ведь был мужик, простой, настоящий мужик, которому предстояла самая обыкновеннейшая мужицкая лямка. И каюсь, лично я, вплоть до той минуты, о которой хочу рассказать, решительно не могу сказать о себе ни единого слова в похвальбу, в голове моей не возникало до этой минуты никаких «вопросов», не происходило никакой работы, вся она начинена была детскими сказками, страхами, детскими играми, ребячьими, начинавшими переходить в мужичьи, заботами и больше ничего.

Скажу больше: я так был туп, что мне надо было пять раз повторить фразу, прежде нежели бы я раскусил ее, да и тут обыкновенно я не всю ее раскусывал, а всегда оставалось что-нибудь, по лености головы, не осмысленное, за что, конечно, следовал подзатыльник. Тринадцати лет я уж стал подумывать о том, как я женюсь и буду с женой лежать на печке. Как вдруг совершилось почти до того смешное и удивительное, что я не только забыл о печке думать, но вот, как видите, вместо неплательщика превратился в земского гласного. Вот что случилось.

«Как теперь помню этот удивительный день. Я лежал на печке и смотрел на интереснейшую сцену, происходившую в горнице. А в ней шло угощение после крестин новорожденной маленькой сестренки. Отец, фельдшер-кум и кума, и несколько знакомых мужиков заседали за столом, убранном по-праздничному, угощались водками разных цветов, в бутылках с раскрашенными ярлыками; я думал о том, что когда выпьют водку, я утащу самую красивую из бутылок и спрячу. Отец суетился и потчевал гостей, вытаскивая с загнетки разные яства. В числе этих яств была небольшая чашка, в ней лежала жареная щука, залитая яйцами и запеченная вместе с ними.

«— Пожалуйте! — говорил отец, поднося ее фельдшеру-куму. — Откушайте!

«— Сам-то ты что же не ешь?

«— Нам этого нельзя, — говорил отец, — у нас вон пирог есть постный, а это мы уж собственно только для вас скоромненького-то припасли!

«Очень аппетитно смотрела щука, и я бы охотно отведал ее, если бы день был не постный (была пятница — отлично помню), и я с завистью смотрел на фельдшера, который, нарушив «закон», принялся уплетать это кушанье за обедом. И вдруг, в эту-то минуту, во мне навсегда кончился серый русский мужик. Вдруг, моментально и совершенно определенно, без моего ведома, пронесся в моей голове такой вопрос:

«Да почему же эта щука стала от яиц скоромной, а яйца не сделались постными?»

«Я даже сам был как бы ошеломлен этой мыслью, так неожиданно пронеслась она в моей башке! И тотчас же голова принялась за работу и пошла молоть, как жернов:

«Грех, грех, есть скоромное в постные дни, говорят все: отец, мать, батюшка, но вот оказывается, что неизвестно еще, не постные ли яйца-то иной раз бывают? За что ж тогда каяться на духу в том, что оскоромился? Да и что это такое за постное и за скоромное? Сколько грехов прекращается само собою, если окажется, что яйца могли стать постными, как щука могла сделаться скоромной? Знает ли об этом кто-нибудь? Может, и других грехов тоже будет меньше, если разобрать?»

«И так далее до бесконечности. Словом, с этого дня, чего прежде не бывало, я стал думать обо всем как беспощадный критик. Щука разорвала висевшую передо мной завесу невежества, и «дух отрицания и сомнения» вселился в меня как бес!

«А уж раз он вселился, с ним не совладаешь. Покоряясь ему сначала в вопросе о степени скоромности щуки, — я обращался за разрешением задачи сначала (в тот же вечер) к отцу, которого немало удивил своим вопросом, но который сказал мне: «Почем я знаю... это поп знает». Пошел к попу, который, засмеявшись, ответил, что мне дано два уха и один язык для того, чтобы я более слушал, а менее болтал, что скоромное всегда будет скоромным, а постное постным. Но эти ответы уж меня не удовлетворили. Я ясно видел своими глазами постное, превращающееся в скоромное, и уж не верил. Нет, думал я, тут надо разобрать! Стал смотреть, слушать, приглядываться, нет ли где в чем-нибудь еще подвоха вроде щуки, — и скоро в самом деле заметил повсюду такую массу оскоромленных щук, что уже не мог не думать, не мог заставить ум молчать... Так и пошло... Как я выбился из мужицких лаптей, — это вопрос другой... Я знаю только одно, что всему этому виною — «скоромная щука»!»

И опять я вспомнил мученицу-богомолку; не узнай Иван Петрович омраченной тьмою ее жизни, не вспомнилась бы ему и минута его просияния.

4. ПАМЯТЛИВЫЙ

I

— Нет! Это чорт знает что такое! — неистово воскликнул Семен Васильевич, с треском отрываясь вместе с креслом от письменного стола и в бешенстве бросая стальное перо о бумагу, которую он писал, для доклада в комиссию, с величайшей тщательностью. Неистовый, раздирающий душу крик ребенка донесся из дальней детской и, с каждой минутой усиливаясь, вывел, наконец, Семена Васильевича из всяких пределов терпения.

— Целая орда баб, и ни минуты покою! Точно режут мальчишку! — кричал он во всеуслышание своего пустого кабинета, выбегая из него как бешеный. И хотя до детской надо было пройти всего пять-шесть шагов, но и в этот кратчайший промежуток времени он мгновенно и притом ожесточенно ощутил всю изнурительную сущность всей своей жизни, вплоть до того глупого доклада, над которым он корпел в кабинете из-за шести тысяч годового оклада. И все ощутилось как бессмыслица: и доклад, и жизнь, и дом, и этот крик. «Какое тут семейство? — Бессмыслица! лавочные счеты! кубики... плетения. тьма денег, как в бездонную бочку! Нет времени доглядеть за ребенком». Все это кипело и клокотало в нем, когда он с грохотом и громом распахнул дверь в детскую и закричал:

— Что это такое за ад кромешный?

Жена, почти уже готовая ехать с Макаровыми, которые должны были заехать, в Панаевский театр, нянька с довольно острым турнюром, старуха теща и гувернантка, прибежавшая на крик из другой комнаты, где

давала урок, — все они, не умолкая, говорили множество всяких слов, говорили беспрерывно, громко, звонко, воодушевленно и так много, что никто ничего не понимал, и в то же время все копошились около трехлетнего мальчика, которого совершенно не видно было в этой толпе склонившихся голов и приподнятых турнюров. Взглянув на бешеную фигуру Семена Васильевича, все они не прекращали неумолкаемого крика и, очевидно, что-то отнимали у ребенка.

— Отдай! отдай!.. — на тысячи ладов трещала эта толпа женщин.

— М-мои гво-о-здики! — неистово кричал детский голос.

Ожесточенный Семен Васильевич еще более и острее ожесточился от этой жестокости женщин, которые, по его мнению, решительно бесчеловечны к детям. Вырвать из рук, сделать по-своему, когда ребенок сопротивлялся всеми силами, сказать ему обманом: «вот птичка летает!» и, когда он, плача, поверит, поднимет головку, разинет ротик, отыскивая птичку, тут-то ему и воткнут в рот ложку с касторовым маслом, задушат, заставят чуть не подавиться, надуют, обманут и вообще натворят без зазрения совести тьму нравственного насилия из-за касторового масла. Злоба закипела в нем белым ключом, и в особенности на жену, у которой был в волосах самый невинный цветок, и которая «отнимала» от мальчика что-то, как околодочный.

— Что вы, режете, что ли, Ваську? — неистово завопил он.

— Вы всегда кричите как сумасшедший! — громко и взволнованно воскликнула жена. — Он набрал гвоздей и не отдает... Вы никогда не хотите узнать. .

— За каким чортом он набрал гвоздей? За чем же вы смотрите? Где вы были?

— Я только на одну минуту, — робко проговорила нянька.

— Я все слышала! — сердито говорила жена, продолжая теребить руку мальчика. — Отдай! Слышишь, я тебе говорю? Отдай!

— Мои гво-зди-ки.

И мать и нянька разнимали его руки, и Семен Васильевич хотел было отнять у них ребенка, но последний

вдруг испустил такой убийственный вопль, какой исторгает какая-нибудь острая боль. Вместо того чтобы наброситься на женщин, Семен Васильевич в бешенстве закричал на мальчика:

— Отдай, каналья! Сейчас отдай! — и так топнул ногой, так гаркнул, что мальчик мгновенно разжал руки и, не переставая кричать и рыдать, остановил на отце пристальный, темный, глубокий недоумевающий взгляд.

— Ну, скажите пожалуйста! Проколол гвоздями ручку до крови!

— И не отдавал! — ужаснулась мать. — А это что такое?

В другой руке у мальчика оказалось маленькое колесо от ножки стула.

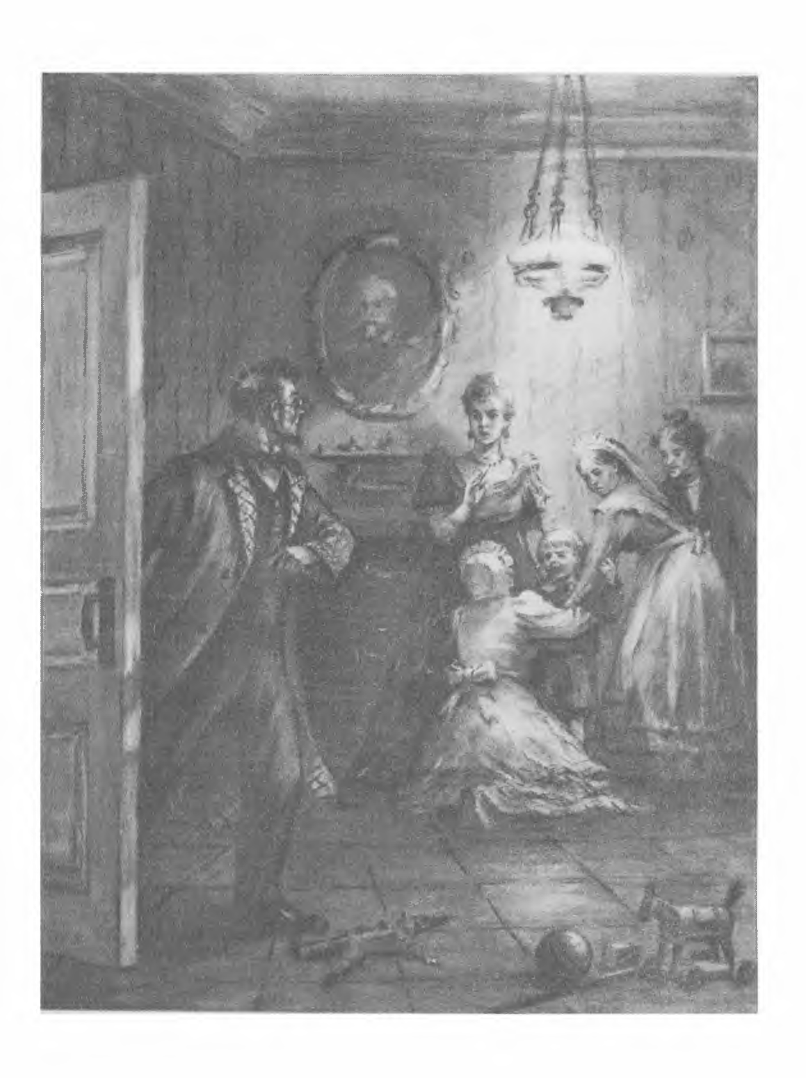
— Чорт знает, что такое! — подняв плечи и ошеломленный всей этой бессмыслицей, с глубоким презрением и весь красный сказал Семен Васильевич, смотря жене прямо в глаза. — Постоянно хвастаетесь вашей любовью к детям. Умеете же вы занять ребенка! Колесо от стула и гвозди! На одни игрушки тратится тьма денег, а тут гвозди обрадовали! Видно, что вы ужасно много ума кладете в вашу любовь к детям.

— Вы всегда хотите меня оскорбить, — с полными слез глазами, страдальческим голосом проговорила жена.

— Какая великая цель — выдумывать вам оскорбления!

И Семен Васильевич, не слушая того, что говорила уже совсем расплакавшаяся жена, вышел вон, не оглянувшись и громко хлопнув дверью. Громкими, тяжеловесными шагами прошел он в кабинет, разорвал, скомкал и бросил в корзину под стол испачканный лист доклада, опять рванул по полу креслом, толкнул его и направо и налево и, наконец, упал в него, теребя и ероша свои преждевременно седые волосы.

— Фу ты, боже мой! — вырывалось у него из сдавленной груди, и мысли одна другой мрачнее одолевали голову. Именно гвозди и это колесо от ножки стула неопровержимо доказывали, какая чепуха таится в его семейном обиходе. Мало того, что не умеют занять ребенка, хотя и тратят на это сотни рублей в год, — ведь ребенок мог взять тот гвоздь в рот, мог подавиться, умереть! Вокруг каких же таких, более важных, чем надзор за ре-



бенком, идей идет вся эта домашняя суета и на что тратится такая масса денег?

— И хотят закрыть женские курсы! — вслух и громко воскликнул Семен Васильевич и стал опять проклинать все на свете.

Ребенок затих, но все домашние терзались своим личным горем и обвиняли в своем несчастии друг друга. Даже нянька проклинала жизнь и барыню; барыня плакала о глубочайшем горе жить с таким грубым мужем, который ей достался. Семен Васильевич ясно видел, что вся его жизнь, все его жертвы во имя семейного благополучия пошли прахом, и ни к какому выводу, после целого часа таких мучений, не пришел, но не мог опять не вздохнуть и не сказать: «Фу ты, боже мой!»

Резкий, дребезжащий звонок прервал эти терзания семьи.

— Макаровы приехали! О, чорт бы их побрал! — срывая пиджак и жилет и с бешенством бросаясь за занавеску к умывальнику, воскликнул Семен Васильевич.

— Макаровы приехали! — потускневшим голосом сказала в дверь жена Семена Васильевича.

— Знаю! — заскрежетал Семен Васильевич и неистово загремел подножкой умывальника.

Чрез полчаса четырехместная коляска везла Семена Васильевича, его жену и Макаровых в театр Панаева.

— Я хотела надеть шерстяной платок...

— Тепло! Я тоже хотела...

— Говорят, земская реформа отложена?

И так понемногу разговорились.

II

Утром следующего дня Семен Васильевич, осторожно притворив дверь спальни, тихими шагами, в мягких, не производящих ни малейшего стука и скрипа туфлях, прошел в свой кабинет и умылся.

Во всем доме было тихо, несмотря на то, что был уже десятый час утра, и на столе лежали номера новых газет. Закурив папиросу и захватив с собой эти номера, он пробрался в столовую, где собственно для него был готов уже самовар. Внимание его к специальным телеграммам

о поездке императора Вильгельма в Австрию было прервано нежным голоском его трехлетнего Васи, который чуть-чуть доносился до него из детской. Он вдруг вспомнил, каким зверем он был вчера, как он неистово топнул на этого мальчика, точно хотел его сокрушить, ясно увидел, как он, Семен Васильевич, неизмеримо глуп был вчера в своем бешенстве и как он виноват перед своим мальчиком. Нежный голосок, продолжавший щебетать, как щебечет на утренней заре птичка, заставил его положить газету, и он, поправив поприличнее и подпоясав халат, пошел в детскую.

Мальчик был уже одет, причесан и весело рассказывал няне что-то многосложное. При виде отца он опять стал смотреть на него темным, неподвижным, недоумевающим взглядом и сразу затих и замолк.

— Ну, что ты, мальчуган? — садясь на корточки, нежно сказал Семен Васильевич и погладил мальчика по голове, — но увидал (и знал почему), что это не произвело на него впечатления удовольствия.

— Дай-ка мне ручку, мальчонок! — еще нежнее сказал Семен Васильевич, и, несмотря на то, что и нянька сказала: «Дай, Вася! Сначала сам поцелуй у папы, а потом дай!» — Вася едва поднял вялую, холодную ручонку и потом сам чуть-чуть прикоснулся к губам отца.

— Ишь, какой ты сердитый!

Схватив ладонями его тоненькие ребра и слегка теребя его, сконфуженный, заискивающим голосом говорил Семен Васильевич:

— Ведь ты подумай сам: ты набрал в руки гвоздиков и оцарапал до крови... Ну, что если бы ты положил в рот, проглотил? Ведь у тебя есть игрушки? Зачем тебе такая дрянь? колесо от стула? гвоздики? Разве тебе мама не покупает игрушек?

— Нет, мне гвоздики надо! — настойчиво сказал мальчик.

— И теперь тебе нужны все-таки гвоздики?

— Нужны мне!

— Ну хорошо, ну где твои гвоздики? Ну где ты их нашел? Покажи мне.

Мальчик оживился, взял отца за руки и потащил его.

— Пойдем, я покажу. Их спрятали на шкаф.

— Ну пойдем, пойдем!

Семен Васильевич, полунаклонившись, шел за мальчиком по коридорам и остановился у шкафа. На верху этого шкафа был какой-то коробок, на который мальчик указал пальцем:

— Вот! Возьми! Достань!

— Ну хорошо, отлично! Ну вот коробок. Да, действительно, тут гвозди. Ну и что же?

— Как помнит! — не утерпела сказать нянька, вспыхнув от удовольствия. — Смотрел, как прятали! А мы уж, кажется, куда их занесли! Ах, милочка какой!

Мальчик тянул отца за полу халата и воодушевленно говорил:

— Молоток! Возьми молоток...

— Да где же, голубчик, я возьму?

— Поди, поди сюда!

— Ну, ну, ну, хорошо, пойдем.

Мальчик тащит отца к кухне.

— Там! там!

— Скажите пожалуйста, — обратился отец мальчика к няньке, — знает, где молоток! Принесите, пожалуйста, Авдотья Петровна.

Неизвестно почему развеселившаяся Авдотья Петровна, как вихрь, помчалась в кухню, а отец и сын продолжали разговор.

— Ну вот она принесет молоток; ну что же мы будем делать?

— Надобно его прибить.

— Что такое прибить? Что же мы прибивать будем?

— А от ножки? Знаешь? Хоро-ошенькое такое, колесико...

— Это от стула-то?

— Оно такое круглое... вертится...

Авдотья Петровна примчалась с молотком.

— Авдотья Петровна! — улыбаясь и чему-то радуясь, сказал Семен Васильевич. — Надо добыть колесико от стула.

— Это зачем?

— Не постигаю! Где оно? Поищите, пожалуйста.

— Там, там! — волнуясь с каждой минутой, почти кричал мальчик и опять тащил отца.

— Ну пойдем, пойдем!

— Ах, какой выдумщик! — качая головой и восхищаясь, шептала Авдотья Петровна.

— Ну уж пойдем, веди, веди! Ну где же колесо-то от ножки?

Разыскали и колесо, и таким образом все, что требовалось мальчику и с чем он вчера не хотел расстаться, — все было теперь у няньки, у самого мальчика и у отца.

— Ну что же мы будем делать? Вот и гвоздик, и молоток, и колесо от ножки. Ну, не глупенький ли ты? Ну зачем все это?

— Теперь надо прибить к столу!

— К столу прибить эту ножку?

— Да, да! Прибить! Ее надо прибить!

— К столу? Зачем?

— Мне надо!

Мальчик это сказал так, что, кажется, готов был заплакать, и Семен Васильевич поспешил исполнить совершенно несообразное желание ребенка. Когда колесо от ножки было прибито так, что самое колесо высунулось вперед, отец, недоумевая, спросил:

— Так?

Мальчик тронул колесо пальцем — и оно завертелось; тогда вдруг лицо его просияло, большие глаза загорелись радостью и он громко сказал:

— Няня, оно готово! Давай мне твои ножницы! Я буду их точить сам!

Семен Васильевич не мог еще и вдуматься в эти слова, как нянька ахнула, руками всплеснула и мгновенно сообразила все.

— Ах ты, мой голубчик дорогой! Это он не забыл! Ах ты, красавчик! Поставила я его на окно, и смотрели мы на улицу, точильщик на тротуаре точил. Я и думаю: не повернет ли он в наши ворота? У меня ножницы совсем иступились. Смотрели, рассматривали. «Видишь, говорю, вертится? . .» Ну, точильщик окончил и ушел, и не к нам, а прочь. Я осерчала, топнула ногой и представилась, будто плачу. Обхватил меня за шею, целует: «Жалко тебе, нянечка?» Хнычу я: «Жалко, жалко! Что я буду делать с тупыми ножницами?» Целует, руки от глаз моих отымает. «Я сам тебе выточу, я сделаю. Не плачь, няня. Я тебе наточу. Я умею! Я умею все, я все тебе сделаю!»

— Дайте мне ножницы! — все время этой речи, кончившейся слезами и смехом, кричал мальчик. — Я наточу! Я наточу сам, оно вертится!

— Ведь неделю тому назад было!

— Ты не будешь плакать? — теребил мальчик няньку и тащил ее к своему станку. — Дай мне твои ножницы.

— Да не наточишь ты их, голубчик ты мой дорогой! — поймав мальчика, уже добравшегося до своего станка, обняв его и осыпая поцелуями, шептал умиленный Семен Васильевич.

Вот что таится иногда в этом бессмысленном, повидимому, детском крике, невозможном, необъяснимом капризе, который нельзя ничем иным прекратить, кроме ошеломления строжайшим приказанием или криком. Скучая купленными, лавочными, игрушечными впечатлениями, картонными и деревянными людьми и животными, чуткое, впечатлительное детское сердце, находящее возможным наполнять жизнью даже бездушную куклу, живет истинным человеческим чувством, руководствуясь неиспорченными, свежими, едва показавшими росток побуждениями любви. Досуг ли в условиях теперешней семейной жизни следить за правильным развитием изящного чувства любви, начинающейся в ребенке с первых дней сознания? Вся семья и каждая семья в современном обществе огорчена в лице всех своих членов обилием личного горя, происходящего из неизбежного разъединения интересов, и употребляет огромные усилия на то, чтобы как-нибудь поддержать между своими членами хотя внешнее обличие нравственной связи. Такие перлы движения детского сердца во имя наилучших человеческих побуждений не видны и не заметны в общей семейной тяготе. Кричит ребенок, мучается, но всякий измучен во сто раз больше, чем он, и поэтому спешит либо прикрикнуть, либо сунуть игрушку, то есть успокоить, не дать выясниться истинному сердечному побуждению, которое может быть совсем не то, какое можно удовлетворить кубиками и плетением. Вот об этом-то и скорбел Семен Васильевич, пока трясся на извозчике, направляясь в департамент, а в департаменте вся эта скорбь, по обыкновению, была сейчас же подавлена канцелярской суетою сует.

Когда проснулась мать Васи, Семена Васильевича уже не было дома. Нянька долго рассказывала ей эту историю, и рассказывала с величайшим восхищением. Все время барыня слушала молча и молча пила кофе. Но когда история была рассказана и пересказана вполне, она с недовольным видом отодвинула пустую чашку и резюмировала всю эту историю так:

— Вчера орал, зачем я отнимаю гвозди, а сегодня сам сует ему их в руки! А когда мальчик подавится гвоздем — кто будет виноват? Конечно, я! Это всегда так!

Она с горечью вздохнула, и в этом тоне начался день и протянулся до вечера, причем несправедливость обиды была проявлена систематически — во всевозможных мелочах дня.

— Хоть ложись и умирай, — вот как определила этот день прислуга, укладываясь спать в три часа ночи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАВНЕНИЕ «ПОД-ОДНО»[1]

(Из памятной книжки)

1

Рассказ бурмистра, весь проникнутый восторженным поклонением старого раба крепостному праву и крепостным порядкам, хотя и веял по временам неприветливым, могильным холодом неприветливого прошлого, но я слушал его с большим любопытством и вниманием, так как чувствовал, что благодаря этому крепостному панегирику темная для меня деревенская действительность понемногу начинает выясняться. Нет спора, что взгляды старика на современные порядки и непорядки, на современное положение народа вообще, исключительно с «хозяйственной» точки зрения, с точки зрения расстройства *земледельчески-хозяйственной* организации деревни, — нет спора, что взгляды эти узки, ограничены, но их определенность и подлинность, основанные на многолетнем опыте, невольно овладевали моим вниманием, так как давали возможность хотя что-нибудь уяснить себе в многосложной, исполненной загадок, картине народной жизни. Не говоря о том, что благодаря рассказу бурмистра я мог понять те бесчисленные темные деревенские мелочи, которые ставят в тупик всякого не деревенского

[1] Настоящий отрывок есть продолжение и окончание рассказа «Старики», напечатанного в XI кн. «Русской мысли» 1881 года. — Хотя редакция журнала и не вполне согласна с некоторыми из выводов, делаемых уважаемым автором, тем не менее она сочла долгом поместить на страницах своего журнала произведение, проникнутое присущими его автору глубоким сочувствием интересам и нуждам народа и несомненным знанием народной жизни. (Прим. редактора журнала «Русская мысль». — *А. З.*)

жителя, выражаясь, например, в таких мнениях, как то, что «некому смотреть за мужиком», или что «надо драть мужика за то, что он косит в сапогах, а не в лаптях», и т. д., — не говоря, повторяю, об этих мелочах, даже крупные, — не говорю вопросы, а именно загадки народной жизни, — загадки, загадываемые ею почти ежеминутно, — и те как будто получили возможность быть разгаданными, и все благодаря тому же рассказу старого крепостника.

Чтобы читатель мог и сам лично убедиться в том, какую услугу оказал нам старый бурмистр, приведем некоторые из этих загадок, а потом попробуем разгадать их на основании мнений и взглядов бурмистра. Далеко ходить за этими загадками нам не приходится, так как если у нас с вами, читатель, есть на столе два-три журнала, да если к тому же мы имеем привычку ежедневно просматривать по нескольку газет, так загадок этих у нас с вами ежедневно, как говорится, полны руки, девать некуда... Возьмем для начала хоть такое явление, как прошлогодний голод.

Осенью прошлого года во всех почти поволжских губерниях оказался страшный неурожай: хлеб тотчас после уборки достиг огромной цены, почти двух рублей за пуд, а спустя месяц стал дороже двух рублей. Печеный хлеб в Самаре, Саратове, этих житницах России, начал продаваться по небывалой цене — 4 и 5 коп. фунт. Неурожай и голод очевидны. Люди, принимающие близко к сердцу народное горе, писали корреспонденции в газеты, переполненные ужасающих подробностей: то вы читаете, что в такой-то деревне вдова-крестьянка повесилась от голода; то вам рассказывают о целых деревнях, голодающих сплошь. Корреспондент посещает жилища крестьян и в каждом из них находит истомленных, опухших людей, которые ничего не ели вторые и третьи сутки. Хлеб, присылаемый из голодных мест в редакции газет, потрясает своим ужасным видом. Появляются описания таких пищевых изобретений, от которых волос становится дыбом: один мужик на глазах корреспондента ел чуть не осиновое полено; веником он вымел амбар, в котором не было ничего, кроме куриного помету, прибавил туда лебеды, сена, соломы, осиновой коры и все сие, замесив, поставил в печь (которая очень часто бывает совершенно

нетопленная, так как дров купить не на что). Но и этой пищи (!!), прибавляет корреспондент, едва ли хватит семейству, состоящему из семи душ. К описаниям таких ужасных съестных припасов прибавлялось обыкновенно, «что скот продан за бесценок; коровы продавались за один рубль и много два; жеребята двухлетние покупались за 50 коп., телята по гривеннику, а лошадей отдавали почти даром». Под впечатлением этих ужасов самый язык корреспонденций как бы озверинелся, так как о людях начали писать только как о голодных ртах; вместо слов: «человек» стали писать «едок». В семье столько-то «едоков». Иногда писалось: «столько-то ртов». Одни ужасы следовали за другими... А в то же время такие совершенно непреложные, неопровержимые факты, как «голод» и «неурожай», начали осложняться новым неожиданным и совершенно загадочным элементом, а именно: хлеб, который *тотчас после урожая* стоил 2 р. пуд, начал дешеветь. «Что это значит?» — вопрошает недоумевающий читатель. А между тем, что ни день, то цена хлеба ниже да ниже. В августе она была два рубля, в январе — около полутора, в феврале — еще меньше, а в марте — 90 коп. Что за чудо? Откуда такая благодать? В самое обыкновенное, более или менее урожайное время всегда хлеб дорожает к весне, потому что как бы его ни было много, а его съедают за зиму, к весне его останется меньше и цена ему будет дороже. Тут же происходит что-то невероятное. Хлеба *не могло* быть потому, что неурожай полный, видимый, ясный для всех и каждого. Опухшие мужики — не фантазия, а факт, удостоверенный сведущими и добросовестными людьми. Кроме того, из этого неурожая сравнительно самая большая часть собранного зерна куплена-таки иностранными торговцами и увезена за границу. Хлеба, стало быть, осталось в обращении ничтожная часть, да и из этой ничтожной части приобретено земствами голодающих мест тоже масса хлеба, крайне по размерам недостаточная для самого умеренного прокормления населения. Но хотя земство и не могло приобрести столько, сколько требовалось, все-таки оно приобрело столько, сколько было можно. Этот приобретенный земством хлеб должен быть съеден народом. Хлеба нет — очевидно, а хлеб все дешевле да дешевле... К маю месяцу, когда обыкновенно

хлеб ужасно дорог, он оказывается по 80 коп. пуд, в июне — 70 коп. Что за чудеса? Откуда взялся хлеб? Если предположить, что его навезли из других урожайных мест, то, не говоря уж о затруднениях перевозки весной в распутицу, — затруднениях, прямо ложащихся на цену хлеба и увеличивающих ее, весной *обыкновенно везде* хлеб дорожает, везде его мало, да, наконец, там, где хлеба было бы много, он, *наверное*, уж продан, по примеру прежних лет, на месте, — продан туда же и тем же лицам, как и прежде, — израсходован, как расходовался всегда. Во всяком случае, если бы хлеб и оказался привозным, то цена ему никак не могла упасть, он не мог подешеветь никоим образом. Раз на такой огромной территории, как Россия, оказывается такое пустое, бесхлебное место, как голодающее Поволжье, какой бы где бы ни был урожай, распределенный равномерно в урожайных и неурожайных местах, должен бы был *везде* повысить цену хлеба, так как его стало бы меньше даже и в урожайных местах, и, стало быть, везде хлеб должен был дорожать к весне, то есть по мере того, как его съедают; а между тем подивитесь, хлеб начинает дешеветь и что ближе к весне, то больше, и притом где ж? — в том самом месте, где осенью люди ели кору, где баба повесилась с голоду, где продавали ребят... А хлеб все дешевле да дешевле... И в конце концов недоумевающий читатель газет поражен таким известием, опубликованным в одном из весенних нумеров любой газеты: «Крестьянин такой-то, выехав на базар продавать хлеб, был несказанно изумлен, узнав, что цена хлеба упала с 2 руб. до 70 коп. за пуд. Возвратившись домой с непроданным хлебом, он затосковал и в ночь с такого-то числа на такое-то повесился в риге на вожжах под самым переметом».

Господи боже наш! — восклицает читатель, у которого все эти известия с самой осени ложились камнем на душу,— да что ж все это означает? То женщина вешается, потому что хлеб 2 рубля, то мужик вешается, потому что он 70 коп. Что же будет, если вместо голода господь пошлет урожай, хлеб упадет в цене, спустится до 25 коп.? Если вешаются от дешевизны, как и от дороговизны, то при хорошем урожае должна развиться сущая эпидемия самоубийств: начнут топиться, накладывать на себя

руки... А урожай, как на грех, тут и есть. «Небывалые всходы!», «Зерно дало 14 колосьев по 80 зерен!», «С десятины получилось до 200 пуд. чистого хлеба!» Читаешь и не знаешь — радоваться или плакать. И действительно, несмотря на огромный, небывалый урожай, уже слышатся голоса: «Едва ли крестьянин улучшит свое благосостояние... Дешевизна хлеба при дороговизне скотины... Самая плохая лошадь на Покровской ярмарке продавалась не менее ста рублей, теленок 12—15 руб., корова — 40—60 руб.», и т. д. Чувствуете вы, что в виде огромного урожая надвигается какая-то новая беда. «Буди воля твоя!» — говорите вы со вздохом и все-таки в конце концов не можете понять, откуда взялся хлеб, когда был неурожай, и почему этот таинственный хлеб начал дешеветь к весне вопреки всем вероятиям.

Это загадка нумер первый.

Нетрудно нам отыскать и загадку нумер второй и третий. Развертываем книжку журнала и читаем статью — «Санитарное состояние русской деревни». По словам автора, основанным на самых точных сведениях, доставленных земскими управами, смертность в наших деревнях, благодаря невозможным гигиеническим условиям, возросла за последнее десятилетие до огромных размеров. Цифры рождений и смертности, выведенные автором за десятилетний период времени, поистине поражающие. Например, в таком-то селении, за такой-то период времени число рождений было 133, а число умерших — 154, и так далее, целые страницы ужасающих цифр. Умирает больше, чем родится, — дело очевидное и доказано автором до того неопровержимо, что, читая статьи, представляешь поле, усеянное костями, по которому медленно ходит становой, подобно Руслану, изумленный этими «мертвыми костями», — становой, недоумевающий, с кого же получать ему подати. Причиною такого опустошения выставляется дурное питание, а причиною дурного питания — недостаточность земельных наделов. Но, думаем, читатель, если причина — в малоземелье, то ведь по нашим общинным порядкам земля убылых душ разлагается на живущих. Страшна и ужасна такая ужасная смертность, но остающиеся в живых, получая больше земли после покойников, могут улучшить свое благосостояние хотя на время... Не тут-то было!

Вот другая статья — «Об отхожих промыслах» — доказывает, что, и помимо смертности, малоземелье гонит народ из деревень... Массы брошенных земель встречаются повсюду. Избы с заколоченными окнами и воротами свидетельствуют, что человеку, поставленному в невозможность существования, оставалось одно — бросить все и уйти, куда глаза глядят... Затем, на основании сведений, доставленных земскими управами, приводится ряд цифр, из которых видно, что отхожие промыслы обезлюживают деревню хуже чем дифтерит, хуже чем смертность, непропорциональная рождаемости... Корень таких выселений из деревень лежит, по словам автора, в малоземелье, недостаточности наделов, не обеспечивающих самого элементарного пропитания. «Ведь остается же кому-нибудь земля-то, брошенная умершими и ушедшими в отхожий промысел? Кому ж она достается?» — ломает голову недоумевающий читатель и решительно теряет всякую способность определенно ответить на вопрос, когда третья статья — «О переселении» — доказывает ему, на основании сведений, доставленных земскими управами, что опустошенная смертностью, дифтеритом, сибирской язвой и отхожими промыслами деревня, — деревня с забитыми воротами и окнами, — высылает ежегодно целые толпы переселенцев. «Целыми вереницами, — пишет корреспондент, — тянутся чрез наш город переселенцы, направляясь в Сибирь, в Тобольскую губернию... Партия переселенцев в 300 человек при ста подводах проследовала чрез наш город...»

Эти известия являются наряду с известиями об опустошительной смертности и об отхожих промыслах. Смертность опустошает, отхожие промыслы опустошают, земель остается много пустых, — зачем же еще искать этих земель за тысячи верст? На этот раз оказывается, что переселяются от густоты... Как так? Люди мрут, как мухи, санитарные и гигиенические условия безбожны — и вдруг оказывается какая-то густота? Но густота налицо. Сведения, доставленные из достоверных источников, удостоверяют, что рождаемость превышает смертность: так, за десятилетний период времени в такой-то местности умерло 7 человек, а родилось 127; в такой-то никто не умер, а народилось видимо-невидимо... В конце концов за десятилетний период времени густота населения увеличилась

до такой степени, что на каждую действительную, а не ревизскую, душу нехватает и по $^1/_4$ десятины во всех трех полях, и вот этот-то излишек населения, в полном смысле слова обреченный на голодную смерть дома, и ищет новых мест... Откуда же, спрашивает читатель, у этих нищих явилось сто подвод, на которых они проехали чрез город N, как сообщает корреспондент? Если им самим нечем было прокормиться, то как же могли они приобрести скотину, телеги и т. д.? Наконец, чтобы быть кое-как сытым в течение полугода, необходимого на дорогу до Тобольской или Томской губернии, и то необходимо иметь средства не маленькие... Но положим, что у них нет никаких средств, — что они нищие, — какая же польза нищему тащиться за 3—4 тысячи верст, из знакомых мест в незнакомые? Ведь в Томской губернии если ему и дадут землю, то избу, лошадь и множество хозяйственных принадлежностей, необходимых для того, чтобы земля кормила человека, он должен купить. На что же, на какие средства он купит? Посмотрите вот на нищего, который у вас под окном просит милостыню, — много ли вы сделаете ему пользы, если возьмете его в том виде, как он есть, да на собственные средства перенесете куда-нибудь, тысяч за шесть верст, в самую благорастворенную природу, — много ли ему от этого будет лучше?

Нет, думает читатель, есть и тут, в этом деле, что-то тайное, какая-то загадка... Конечно, смертность и убыль населения, а с другой стороны, прирост последнего, при малоземелье, имеют влияние, но... Но вот получается новый нумер газеты, в котором сказано: «Чрез наш город проследовала партия переселенцев из ...ской губернии. В числе 30-ти семей, пробирающихся в Томскую губернию, находилось две семьи весьма зажиточных крестьян, а один из них имел на родине более 100 десятин собственной земли, пятнадцать голов рогатого скота, 10 лошадей. Имущество его ехало на шести подводах, причем лошади были собственностью крестьянина...» Итак, что же должен вывести из всего этого недоумевающий читатель? Народ мрет от малоземелья, но остающаяся после умерших земля неизвестно куда девается. Народ бросает землю — и опять эта земля, брошенная, никому не приносит добра. Мрет, бросает, — стало быть, пустыня остается? — Нет, не пустыня, а, напротив,

необыкновенная густота, — до такой степени необыкновенная густота, что на действительную душу приходится едва по $1/4$ десятины, чего недостаточно для прокормления даже в течение месяца... И вот массы этого бедного, нищего народа пускаются в путь за несколько тысяч верст на *своих* лошадях, на *своих* харчах, которых в течение 6 месяцев потребуется этим неимущим не менее как на 200 руб. на человека и скотину.. Но мужика, переселяющегося от 100 десятин собственной земли, — читателю уж ровно нечем объяснить: ни смертность, ни прирост, ни малоземелье, ни дифтерит, ни кровавый понос, ни что другое, никакие цифры, хотя бы самые достоверные, — тут не помогают. Богач-мужик прет в неведомую даль вопреки всяких уверений и доказательств — и окончательно сбивает с толку читателя...

Таких загадок мы могли бы привести великое множество, если б и без того не чувствовали неудовольствия, которое должен испытать всякий человек, более или менее озабоченный народным делом, читая написанное нами. «Так что же, — слышится нам негодующий вопрос недовольного читателя, — неужели, по-вашему, все, что пишется о народных несчастиях, вздор и чепуха? Неужели все это — пустые фразы и ложь? И, наконец, возможно ли издеваться над народными несчастиями, когда я сам, собственными своими глазами...», и т. д. Нет, отвечаю я, все, что пишут о народных бедствиях, — все это сущая правда. Не только бывает то, что пишут, а ежедневно, ежеминутно в деревне случаются такие возмутительные вещи, которые могут привести нервного человека в содрогание, и крайне жаль, что такие вещи пишутся только в экстренных случаях, выплывают на божий свет только в такие исключительные минуты, как всенародные бедствия вроде поголовного мора или поголовного неурожая. Все это — и подлинность малоземелья, и подлинность голодовок, и подлинность необычайной смертности — я признаю; я признаю полную возможность самоубийств с голоду, признаю достоверность описанной корреспондентом невозможной пищи (наконец, я сам видел эту пищу и помимо корреспондента); словом, все это я считаю совершенно верным, правильным, достойным сочувствия, гнева, скорби, помощи, — и все-таки чувствую, что во всем этом полчище ужасов есть еще что-то, что неприятно отравляет

искренность скорби, искренность рыданий о народной массе... Есть в этой массе достовернейших бедствий какая-то черта, которая воспитывает во мне какие-то враждебные побуждения, рождает какие-то недобрые мысли относительно той же самой народной массы, которые мешают только сочувствовать, *только* любить, *только* верить... Почему-то, одновременно со скорбью, с желчным упреком интеллигенции (уж заодно с другими будем подразумевать под этим словом обыкновенное козлище отпущения — земство) — рождается желание какого-то инстинктивного движения кулаком в эту же самую народную массу... Чувствуется, что тут, в ней же, есть какая-то неправда, язвы, червоточина... Начинают даже рисоваться такие «народные» морды, которым весьма бы желательна даже сибирская язва...

Обыкновенно в подобных случаях люди сочувствующие молчат, глотают, так сказать, эти дурные, неведомо откуда рождающиеся, побуждения. Бывало, сочувствуешь-сочувствуешь и голоду, и дифтериту, и малоземелью, и опять голоду, а на душе не только не ощущается подобающего гнева, не только не пробуждается энергии, необходимой для подвига, для борьбы, а прямо сказать — только апатия, оскомина досады... И из борьбы этих двух душевных настроений, одно другому мешающих, всегда выходило какое-нибудь мертвенно-бледное умозаключение: председателем училищного совета не предводителя надо, а председателя земской управы, — или что-нибудь в этом же мертвенно-бледном смысле... Находясь вот в таком душевном, также мертвенно-бледном, состоянии, я бы, признаюсь, не мог дать ответа на предлагаемые жизнью загадки с тою твердостью и прямотой, на которую подвинул меня рассказ бурмистра. А теперь, если бы читатель сделал мне подобный допрос, я бы мог, кажется, сказать ему что-нибудь простое и понятное.

2

Предположим, что лицо, желающее вести беседу о проклятых вопросах деревенской жизни, нашлось, что лицо это, искренно сочувствуя народу, проникнуто искреннейшим благоговением к «обиженному землевладению»

и искреннейшим негодованием против так называемой интеллигенции, — и вот между нами начинается разговор.

— Откуда, — вопрошает меня воображаемый собеседник, — взялся хлеб, когда был неурожай, и почему этот хлеб подешевел, вместо того чтобы подорожать?

— Хлеб, милостивый государь, был там же и взялся оттуда же, где был и голод. В одних и тех же деревнях люди умирали с голоду, ели кору, пухли и т. д. — и в тех же самых деревнях были люди, которые не умирали с голоду, а напротив — поправлялись и толстели; в одних и тех же деревнях были люди, которые продавали лошадь за рубль серебром, — и были другие люди, которые ее покупали за этот самый рубль и которые теперь продают ее назад за сорок и пятьдесят рублей...

— При общинном землевладении? — с негодованием (как мне кажется) перебивает меня воображаемый собеседник.

И как мне ни трудно огорчить вопрошателя, но, скрепя сердце, я говорю:

— При общинном... Увы, при общинном землевладении!

— В одних и тех же деревнях?

— В одних и тех же.

— А смертность?

— Точно то же и со смертностью: мрут больные, голодные, худородные, а отъевшиеся — здравы и невредимы... Одни мрут, как мухи, а другие толстеют, как борова.

— В одних и тех же деревнях?

— В одних и тех же.

— И при общинном землевладении?

— При общинном.

Лицо воображаемого собеседника моего вспыхнуло яркою краской негодования. Он, как мне кажется, готов был отвернуться от меня, прекратить разговор; но оскорбление, которое нанес я ему своими ответами, до того взволновало его, что, отворачиваясь и негодуя, он гневно задает мне, так сказать «в упор», такой вопрос:

— Так вы что же... вы думаете, что хлеб был припрятан у одних в то время, как другим нечего было есть?

Слово «припрятан», признаюсь, коробит меня. Я был бы очень доволен, если бы собеседник мой не произносил такого грубого слова, требующего от меня не менее гру-

бого, жестокого ответа, но делать было нечего, и, собравшись с силами, я решаюсь произнести ужасное слово:

— Увы, — говорю я, содрогаясь, — припрятан!

Сказав это, я чувствую, что мороз пробежал у меня по коже. Я сам до такой степени потрясен этим словом, что едва я выговорил его, как у меня является непреодолимое желание «поправиться», сказать что-нибудь другое, помягче; но, вопреки усилиям, хотя и сам не верю, что я опять, подобно ворону Эдгара Поэ, прокаркал:

— Припрятан!..

Опять хотел поправиться, — и опять прокаркал:

— Увы, припрятан! Увы!

— При общинном землевладении? — весь багровый от негодования, вопрошает воображаемый собеседник, видимо желая, чтоб я очувствовался, опомнился.

Но я, как бесчувственный истукан, не могу ни придумать, ни вымолвить чего-нибудь иного, кроме того же грубого ответа:

— При общинном землевладении,— говорю я и, чтобы хотя сколько-нибудь смягчить неприятное впечатление моей грубости, прибавляю: — Увы, увы, увы!

Но воображаемый собеседник уже не глядит на меня, — он не хочет на меня смотреть и не говорит со мною... Это меня задевает за живое. За что такая немилость? И почему такое высокомерное нежелание видеть и знать правду текущей минуты? Не обращая поэтому внимания на надутые негодованием щеки собеседника и не заботясь особенно о том, слушает он меня или нет, я, собственно для того, чтобы доказать, что у меня нет личной причины распускать дурные вести о народе, решаюсь сказать воображаемому собеседнику следующее:

— Если вы, — говорю я ему, — печалуетесь о народе с целью выработать для себя пригодную для народного блага нравственную задачу или, говоря еще проще, хотите не даром есть хлеб, вырабатываемый народными руками, — то вам нечего бояться и негодовать на неизбежное и решительно вредно успокаиваться на таких делениях русского общества, как такие три группы: народ, община, деревня — одно; кулаки, грабители — другое; ничего не делающая интеллигенция — третье. Такое деление, хотя и вполне определенное, суживает вашу задачу и вашу заботу и приучает как к неосновательному

негодованию, так и к не менее неосновательным надеждам. Ввиду неосновательности такого деления общества, приведу следующий пример.

«Нынешнею весной нужда заставила одного крестьянина той деревни, в которой я живу, продать сено. Крестьянин этот бедный; он еще молодой парень, лет девятнадцати. Зимой он превращается в газетчика, и вы, бывая в Петербурге, наверное, видали, как он, где-нибудь на углу Владимирской и Невского, подпрыгивая на обледенелой панели и постукивая от холода голыми руками, предлагал вам нумерок газеты, рекомендуя обратить внимание на замечательный процесс. Весною газетчик снимает с себя форменную шапку и идет в деревню пахать. Здесь на руках его и почти только его трудами живет старик отец, человек больной, почти не слезающий с печи, старуха мать и двое малолетних детей — сестра и брат. . Быстро исчезает зимний заработок (хотя прошлою зимой газетчик был доволен) — и бедняк поднимается на хитрости. Он продает сено, которого еще нет, своему соседу, у которого есть лишние три целковых. Сосед, ввиду того, что сена в действительности не существует и неизвестно, какой будет урожай, дает газетчику самую ничтожную цену (именно по 8 коп. пуд). Газетчик продает именно этому соседу, а не кому-нибудь другому, потому что именно этому соседу «подходит» его участок, а не кому-нибудь другому, и на этом же основании сосед покупает. . В мае месяце начинает чуть-чуть обрисовываться урожай трав. На дворе холодно, ветры, дождей нет. Сена́ поднимаются плохие, — стало быть, впереди виднеется хорошая цена... И вот к этому соседу идет другой, у которого есть в кармане не три, а шесть рублей, — идет потому, что ему это «подходит», и предлагает за сено не восемь, а двенадцать копеек. А так как мужик, купивший у газетчика, тоже не богач и всегда нуждается в деньгах, то и продает сено этому другому соседу, а этот, убедившись в июне месяце, что сена будет мало, что часть скота придется продать и что продать сено теперь же выгодно, — гораздо выгоднее, чем постепенно стравливать его скотине, которую все-таки придется продать задешево, — продает это сено третьему соседу, которому эта покупка также «подходит» и который уже прикупил у других. И так далее продажа того же самого сена

идет из рук в руки до тех пор, пока в июне не налетят скупщики-специалисты и не купят всего, закупленного местными жителями у местных жителей по частям, сена. В конце концов сено, проданное и перепроданное чрез десятки рук, является в Петербурге на сенном рынке у Ивана Предтечи и продается по 85 к. серебром за пуд. К этому надо прибавить следующее: специалист-скупщик, покупая у «крестьян» перекупное сено, ставит условием — доставить его в такое-то место. С таким же условием покупает и третий сосед у второго, второй у первого, а первый у газетчика. Газетчик, продавая несуществовавшее еще сено, обещался и обязался вывезти его в такое-то место, и это обязательство газетчика первый покупщик сосед перепродал второму, второй — третьему, а третий — специалисту. Настает осень. Сено скошено, сложено в копны и необходимо его вывозить. Но у газетчика нет лошади. А так как специалист-скупщик ждать не будет и так как он может перевезть на свой счет, а потом взыскать, при помощи волостного суда, с того «третьего» соседа, у которого он перекупил газетчиково сено, то этот третий понуждает вывозить сено второго соседа, второй сосед — первого, а первый идет к газетчику и говорит: «Ты что ж, Митрофан, не вывозишь? Али мне отвечать за тебя? Али мне самому везти? Из чего ж мне нанимать-то? Я сам только что четыре копейки пользы взял на свои деньги.. Обязался, так вези, — все же ты не четыре, а восемь копеек пользы получил». То же самое говорит и третий сосед второму, а второй — первому. Все они получили тоже по четыре копейки пользы. Да и специалист-скупщик тоже получил только четыре копейки, несмотря на то, что продает по восьми гривен. Сосчитайте в самом деле, чрез сколько рук прошло сено? Таким образом оказывается, что газетчик в сущности получил больше всех. В случае неисполнения обязательства, то есть недоставки, взыскание обрушится на него, и взыскание это может вконец разорить его, так как специалист-скупщик может нанять перевозчиков по какой угодно цене. И вот он, чтобы не разориться до конца, чтобы избежать суда, сам идет к четвертому соседу и нанимает его вывезти сено. И этот четвертый, «видя нужду», берет с газетчика только четыре копейки, — берет, жалея его, по-божески, так как с скупщика мог бы взять и больше;

а так как у газетчика денег нет, то, видя его нужду, соглашается взять в уплату теленка, цена которому полтора рубля. Теленок ему «подходит», он выпаивает его и продает за тринадцать рублей телятникам... Спрашивается: где во всей этой истории кулак-злодей и где народ, которого кулак грабит? Предположим, что мы с вами имеем право искоренять зло и прямо возьмемся за истребление кулаков; прежде всего сажаем в острог специалиста-скупщика, но по расследовании дела находим, что он невиновен. Он в самом деле получил барыша только четыре копейки, — то же, что и газетчик, — и в свое оправдание говорит: «пить-есть тоже надо». Затем точно так же получили по четыре копейки и все четыре соседа, и сам газетчик тоже получил четыре, по примеру прочих, — так что если мы «возьмемся» за сенного специалиста, то с тою же строгостью должны взяться и за того мужика, у которого он купил, потом за второго и за первого соседей... И если мы будем строги и справедливы до конца, то должны отобрать от газетчика те три рубля, которые он выручил за продажу несуществовавшего сена, и оставить его, таким образом, без всяких средств к жизни. Положим, что сено останется при нем; но что ж он с ним сделает? Не самому же ему есть его... Таким образом, будучи строги и справедливы, мы вконец уничтожим газетчика, а между тем ведь неправда, заключающаяся во всем этом, явная: газетчик, выручив по нужде за пятьдесят пудов сена четыре рубля, при существующей цене в восемь гривен потерял *своих собственных* денег тридцать шесть рублей, сосед *потерял* рублей двадцать пять, второй сосед—рублей пятнадцать и т. д.,— все они *потеряли,* и все они думают, что нажился *только* сосед, — все они видят у соседа тот самый барыш, который следовало бы получить «мне», а не ему, и все они чувствуют неправильность, расстройство. Все они угнетены и все угнетают. А общинное землевладение стоит твердо, непоколебимо, держится в том самом виде и в том самом смысле, как держалось испокон века... Мало того, общинное землевладение стоит нерушимо и непоколебимо, а в то же время над ним и независимо от него возникает такое явление. Представьте вы себе на месте газетчика — человека кроткого, робкого и забитого — другой, более впечатлительный и живой тип. Получив

за сено и за телушку четыре копейки чистого барыша, он проел их, остался без всего и с завистью видит, что сосед, который на его сене нажил тоже четыре копейки, купил на них валенки и новый подхомутник, — видит, что другой сосед, перекупивший, кроме газетчикова сена, еще лоскуток у другого, такого же горемыки, и наживший с обоих тоже копейки по четыре, купил корову, — третий, на то же перекупленное сено, с прибавкой сена третьего горемыки, нарядил дочь такой франтихой, что к ней нельзя подступиться ему, несчастному газетчику, у которого на ногах лапти и нет ни пиджака, ни часов, — и, наконец, самый последний обладатель его сена, специалист-сенник, не только разгуливает пред ним в великолепных сапогах, не только щеголяет серебряными часами, не только всегда при деньгах, дающих ему возможность щеголять и покорять всех девушек, но и прямо презрительно смотрит на газетчика, прямо не желает с ним водить компанию, прямо, одним своим видом, доказывает газетчику, что между ними неизмеримая разница, что они — небо и земля... Глядит, глядит такой горемыка на этот олицетворенный результат своего разорения и иной раз пожелает поровняться с ним, продаст лошадь, управский овес, данный на посев, купит пиджак и часы и так же развязно щелкает орехи на посиделках... Но это может продолжаться недолго. Часы куплены, а есть фактически нечего, и девица, за которой ухаживает бедняк, притворяющийся богачом, отлично видит и понимает это, а потому и не склоняется. Рано ли, поздно ли, а необходимо продать и пиджак и часы, как необходимо было продать сено. Идут годы, горемыка терпит и видит, что из рук у него все что-то уходит: ушло сено, ушла телушка, лошадь, управский овес, часы, пиджак,—все уходит куда-то к соседу, к другому, к третьему. Но он прощает первому из них, потому что тот немного взял, всего один подхомутник; зато он косится на второго, почти сердит на третьего, к дочери которого нельзя приступиться, и уж окончательно ненавидит последнее пристанище своих барышей — специалиста-сенника, франта, богача, туза, аристократа. Он-то, очевидно, и грабит всех; в этом ему сочувствуют и соседи, — все видят центр, в котором сосредоточились их барыши, и все, только не в одинаковой мере, энергично думают: «Вот этих-то грабителей надо бы

извести!» — «Ишь награбил, обобрал всех и уехал!» — «Только на гармонии, подлец, играет, да девок портит, а добро-то — мое, «и мое», «и мое», «и мое» и вообще — наше! . .» И вот из глубины этой неправды возникает мысль о «своем средствии» против зла, так как правды не сыщешь. . . Специалист-сенник только что было собрался наутро отваливать с нагруженными барками в Питер, только что было завалился спать на душистом сене, после последней гулянки в хороводе, глядь — потянуло откуда-то дымком, побежал по сену огонек. . «Пожар!» В соседней церкви бьют набат, мужики бегут с крючьями и ведрами, а в стороне, где потемней, стоит какой-то босой человек и, растирая на ладони крошки табаку, поглядывает на пожарище и шепчет про себя: «Оно так-то, пожалуй что, поприятнее будет — своим-то средствием. . . Пожалуй что, эдак-то попревосходней будет. Эво, эво как! Так-то лучше, поровней выйдет, между прочим. А то ишь ты, друг любезный, выдумал! . .» Кто не знает примеров применения «своего средствия» именно в таком виде? Конечно, о них не разговаривают в народе, а просто делают молча; но это ничуть не мешает «средствиям» оставаться почти без всяких результатов, так как немедленно после того, как «выжгут» какого-нибудь грабителя, на его место является другой, — является сам собой, из той же самой расстроенной среды, — является неизбежно, даже против воли, если хотите. Выжгут живореза, но этим не помогут газетчику, — ему все-таки надо продать сено за грош; он навяжет его соседу только дешевле, сосед тоже навяжет другому соседу, и в конце концов выйдет либо один живорез, у которого сено это копится и который волей-неволей должен везти его в Питер сам (притом он сразу богатеет вдвойне), либо несколько мелких перекупщиков, которые сразу образуют в деревне несколько побогатевших на чужой счет перекупщиков соседей. Искореним мы их — и, быть может, все сено деревни скопится у газетчика, к нему привалит счастье, часы, пиджак и т. д., но «живорез» в той или иной форме все-таки будет, потому что он есть результат общего расстройства деревенского организма, он есть цвет, корень которого в земле, в глубине всей совокупности условий народной жизни. Если я вам скажу, что вот эта редька росла корнем вверх, вы мне не поверите,

а когда дело касается народной жизни, вы (я обращаюсь к воображаемому собеседнику) именно упорно настаиваете на этой несообразности, то есть начинаете доказывать, что гнусные явления вроде кулачества растут корнем вверх наружу и не получают соков из земли, из почвы, из народа. И я не спорю, что эти дурные явления занесены сюда, как ветер заносит крапивное семя; но я говорю, что земля, на которую занесено крапивное семя, питает и растит его, и сколько бы вы ни поступали с этою крапивой «своим средствием», на тот манер, как я рассказал выше, крапива будет расти только гуще, толще, сильнее. До тех пор, покуда соки, питающие крапиву, не уйдут на другое, на питание какого-нибудь полезного растения, — крапиву не вырубишь топором и она не засохнет добровольно. . Вот в том-то, чтобы люди не были поставлены в необходимость действовать такими топорными средствами, как то, которое употреблено было для искоренения сенника, — убеждаться в бесплодности этих «средствий», — в том, чтобы газетчик сполна получал свои восемь гривен за пуд сена, чтоб он не злился на соседей, а соседи не наживались на его счет, — в этом-то и заключается задача образованного человека, человека, знающего, откуда несется крапивное семя, а также и то, что почва, земля податлива и к добрым и к худым семенам. Между тем сложность переживаемой народом минуты, — сложность, следовательно, лежащих на вас, образованном человеке, обязанностей (если вы хотите не даром есть хлеб), — умаляется и как-то обесцвечивается, во-первых, слишком несоразмерными надеждами, возлагаемыми на общинное землевладение, и, во-вторых, слишком обесцвеченным представлением понятия «народ». В последнее время слово «народ» стало представляться такою же почти коллективной однородностью, как, например, «овес», или «сено», или «икра». . . Народ — это что-то одномысленное, какая-то масса, где все частицы и во всем совершенно равны друг другу, одномысленны, одинаковы даже в нравственных побуждениях. Рассказывают, что миряне прибили мирянина, который помог вдове в то время, как все прочие его соседи не могли этого сделать. «Не смей делать добро, когда мы все не можем сделать того же!» Если это правда, то коллективная однородность деревни хуже аракчеевских казарм. Но нам кажется,

что это неверно и что такое ни с чем несообразное равнение вытекает из слишком нерассудительного поклонения пред общинным землевладением, а главным образом пред ритуалом распределения общинных земель. Это распределение также сделалось предметом неумеренного идолопоклонения и неумеренных надежд. Пред ритуалом распределения земель и угодий по душам и т. д. стали стушевываться все другие человеческие стороны деревенской жизни: нет ни восхода, ни заката солнечного, нет ни баб, ни девок, ни свиданий, ни песен, — все исчезло пред межевыми знаками и межевыми ямами. Народ только и делает, что говорит о принципах обычного права, да о межевых знаках; с детских лет крестьянин якобы только и думает, что о колышках, столбиках, о дележе лугов и т. д. и т. д. Деревенские люди, если сходятся поговорить, то говорят непременно о высшей межевой справедливости. Иной раз кажется, что все деревни наши населены кандидатами на судебные должности, штудирующими Пахмана или Якушкина. Пишут целые романы, в которых авторы воодушевляются планами генерального межевания, купчими крепостями и нотариальными актами. Я понимаю, что в жизни образованного человека бывают минуты отчаяния, когда он теряет голову, теряет веру и рад ухватиться «за что-нибудь», рад увидеть, что есть на свете что-нибудь справедливое, что можно влюбиться в какую-нибудь жердь, как памятник справедливейшего мирского поступка; но при всем том нельзя не видеть, что это неумеренное поклонение совершенству распределения земельных средств существования, — совершенству уравнения *источников* существования, якобы проникающего с неизменной последовательностью и во все другие общественные отношения деревенских людей,— беспрестанно ставит человека, желающего служить народу, в самое нелепое и бессмысленное положение. Например: голод, народ голоден, ему необходима помощь. Помощь распределяется согласно правильности распределения земли, — правильности, доведенной до совершенства. На деле же оказывается, что при таком-то совершенно правильном распределении помощь вся оказывается в руках богачей деревенских, а у несчастных газетчиков ничего не оказывается. Газетчики помирают, а соседи — первый, второй и третий — получают по пре-

порции, причем больше всех получает тот, у кого по богатству есть еще прошлогодний хлеб и который на получаемую помощь делает оборот. Такую раздачу вы основываете на общинном ручательстве, полагая, что здесь все друг за друга, а на деле такая раздача заставляет даже припрятывать хлеб, у кого он есть, чтобы даром не отвечать понапрасну за таких людей, как газетчик. Да, наконец, самого поверхностного взгляда на современную деревню достаточно для того, чтобы не подводить «под одно» всех деревенских жителей и все деревенские мнения и желания. Основывать однородность деревенских интересов на общинном землевладении так же несправедливо, как если бы на основании общинного владения петербургским водопроводом, из которого вода равномерно распределена по всем жилищам, от дворца до лачуги за Нарвской заставой, и притом совершенно одинаковая вода, то есть как во дворце, так и в лачуге вода эта одного цвета, свойства, вкуса, идет от одного и того же источника, по совершенно одинаковым трубам и распределяется каждому по надобности его, — если бы, повторяю, на одинаковости и правильности распределения воды я основал одинаковость целей, желаний, стремлений, хотя бы только до известной степени, между всеми тысячами людей, населяющих тысячи квартир с одинаково проведенной водой, или вздумал бы на основании того, что вода распределена между всеми на основании потребностей каждого, «сколько кому надо», — вздумал бы представить себе, что и средства обывателей распределяются так же равномерно и притом «сколько кому надо», — то едва ли бы с моей стороны в этом не было ошибки. А между тем на основании общинного землевладения строятся именно такого рода фантазии; правильность и точность межевых отношений переносятся на отношения нравственные; равнение *средств* к жизни продолжается, совершенно произвольно, и в сфере нравственных отношений до того, что будто бы нельзя помочь вдове отдельно от «мира» и что «за такие дела» мир колотит благотворителя до полусмерти... Нет сомнения, у деревни есть общие интересы, — такие, которые сплачивают деревню и делают ее «как один человек». Но если народ единят вести и слухи о земле, нужда в земле, лугах и вообще потребности и заботы о *средствах* жизни, — если во имя

таких потребностей он думает и поступает однородно, все как один, так ведь и Петербург восстанет *весь,* как один человек, если я запру водопровод, да и Москва возликует, — вся Москва, от дворца до Грачовки, — если я объявлю, что «будет водопровод»... И все-таки, делаясь в этих случаях как один человек, ни Петербург, ни Москва не спасают себя от тех общественных разъединений, которые существуют в них сию минуту. Деревенская жизнь вступает в совершенно *новый* фазис, становится в совершенно *новые* условия, под совершенно новые влияния и давления, для которых *не было прецедентов* никогда с основания Руси (например, железные дороги), — влияния и давления могущественнейшие, имеющие за собою прошлое ничуть не менее давнее, чем общинное землевладение, имеющее за собою страшную силу новизны, любопытства, соблазна, влияний и давлений, разлакомливающих личное чувство на личные удобства и блага. Возникают, благодаря этим влияниям и давлениям, совершенно новые явления, явления огромного расстройства всего организма, а вы (я продолжаю обращаться к воображаемому собеседнику) упорно не желаете вникнуть во всю глубину этого расстройства, отворачиваетесь от них, отделываетесь от них небрежным выражением: «все кулаки!», — потому что вы якобы до такой степени «влюблены» в народ, что не можете переносить грубого с ним обращения... В межевых ямах и столбах (которые в действительности только одни остаются в полном вашем распоряжении, так как во всем прочем вы, как говорится, пикнуть не смеете) — вы видите и спасение, и блестящее будущее, и проч., и проч. Но межевые столбы были всегда, во все дни и годы русской жизни, а *кроме их* чего-чего не произошло в этой жизни! И помешали ли сии великолепные ямы какому бы то ни было злодейскому давлению? Правда, вы скажете, что иногда народ справлялся своим «средствием». А я спрошу: «Справился ли?» Вы говорите: «И теперь пробуждается». А я спрашиваю: «Как именно?» — «Бить начал». — «Кого?» — «Да родителей даже колотит. Сын колотит родителя потому, что родитель глуп, а сын умен; родитель не понимает, а сын понял...» Я спрашиваю опять: «За что ж родителя-то бить? Разве родитель виноват? Не глуп ли этот просвещенный сын? И потом: драка — разве это

«средствие»? Вспомните «покойный» Великий Новгород: там ли мордобитие, как «средствие» для решения общественных вопросов, не было возведено на высшую степень? Там ли драка не была разработана так же совершенно, как, например, в настоящее время электричество? Бывали там, милостивый государь, столь великолепные мордобития, что, по словам народной песни, бывало иногда

Набито мужичья — что непогодою!

«То есть так бывало набито (для решения общественных вопросов), что мужичье, как снег после вьюги, «набито» было в подворотнях, в ямах, в оврагах, висело на заборах, на перилах мостов, валялось кучами, сугробами, — и что же вышло в конце концов? Уж не будем вспоминать, как пришла Москва, как она дала, говоря простым слогом, «леща» и как в конце концов от многовековой драки не осталось решительно никаких следов. Поглядите теперь на этот Рим русский... На пустом месте стоит памятник, смысл которого известен в точности только сторожу и почти неизвестен народу, а против памятника, на другом берегу великого Волхова, и тоже на пустом месте, стоят два мешка со снетками. Снетки продаются по 2 руб. 30 коп. пуд, вместе с мешком, и все сие соединено великолепным гранитным мостом, тоже пустым, построенным герцогом Вюртембергским. Говорят, правда, что иногда по ночам, при свете месяца, Волхов начинает роптать, вспоминает будто бы старину и притом вполне согласно с тем, как об этом сказано в учебнике Иловайского, излагая свои исторические сведения стихами. Очень вероятно, что что-нибудь подобное и бывает, только для этого необходимо хорошо вытвердить учебник г. Иловайского, так как действительность едва ли вдохновит Волхов даже ночью».

Говоря это, я вижу, что воображаемый мой собеседник весьма недоволен шутливым тоном, который я позволяю себе принять, говоря о таком серьезном деле, как «народ» и «общинное землевладение». Кроме того, я вижу, что, несмотря на все мои разглагольствования, воображаемый собеседник решительно не внемлет мне и слово «припрятан» мучит его точь-в-точь так же сильно, как и в начале моих разглагольствований. Ввиду этого я вновь возвращусь к самому корню дела.

В шестидесятых годах, говорю я, ввиду крестьянской реформы, вопрос об общинном землевладении был поставлен едва ли не в той же степени серьезно, как и в настоящее время. Все мы помним жаркие дебаты в императорском Вольном Экономическом Обществе и в журналистике. Но тогдашняя постановка вопроса имела, как нам кажется, то важное отличие от нынешней «влюбленности» в этот вопрос, что целию его постановки было уяснение практического значения общины ввиду практического значения реформы. Огромное, практически, то есть на деле, возможное улучшение народного быта, стоявшее тогда у всех перед глазами и даже зависевшее от этих «всех», должно было, при разработке вопроса об общине, сосредоточивать внимание заинтересованных в ней лиц также только на ее действительно практических, для действительного дела нужных и пригодных сторонах. Правда, и в настоящее время народная жизнь требует немало точно также практических, совершенно ясных и необходимых улучшений, — правда, и теперь она могла бы сосредоточить общественное внимание на действительном, нужном и трудном деле; но так как в настоящее время, по словам одного моего знакомого купца: «Никому — ничего — нельзя» (трехцветное знамя), то и не мудрено, что внимание к народной жизни, остановленной в своем правильном течении, ушло в несущественные мелочи и в них стало искать какого-либо пристанища своей мысли... Только полная невозможность какого-нибудь серьезного правдивого дела может заставить человека восхищаться проявлениями общинного начала в том, что вот эти два крестьянина выпили каждый по отдельной рюмке, закусили *одним* яйцом и т. д. В шестидесятых годах можно было делать дело взаправду, в самом деле, а от этого и общинное начало в крестьянской жизни рассматривалось также с той стороны, которая взаправду нужна, которая взаправду заслуживает внимания. В этом отношении несомненные достоинства общины были, если читатель помнит, выяснены со стороны их *естественной* выгоды и справедливости. Слово *естественной* я подчеркиваю особенно, особенно обращаю на него внимание

читателя, так как слово это означает, что, несмотря ни на какие мероприятия, ни на какие усилия разрушить общину, она будет существовать — при известных условиях — непременно. Она выгодна, она справедлива, и, что бы вы ни делали с ней, она, опять-таки при известных условиях, непременно должна существовать, — что все мероприятия к ее разрушению будут только напрасною, бесплодною, разрушительною тратой народных сил, — словом, что община должна при известных условиях образоваться так же естественно, так же *сама собою*, как хлебное зерно, посаженное в землю, само собою вырастит колос и тот же хлеб. В самом деле, представим себе, что десять, двадцать человек, не имеющих ни малейшего понятия об общине, — положим, разночинцев, оставшихся без мест приказных (которых, кстати сказать, и то бы следовало устроить по-божески), — словом, людей, не читавших ни одной статьи о переделах и межевых ямах, — поставлены в необходимость жить крестьянством, то есть своими руками добывать хлеб непосредственно из земли, — не из лавки за деньги, а из земли, вот из этого участка, отведенного казной. Предположим, что казна этим людям отвела участок во столько-то десятин и сказала: «Вот вам земля, за которую вы платите столько-то с десятины». Представьте себе, что эти двадцать человек — люди самые разнохарактерные: один — верзила-почтальон, который на кулачном бою убивал человека с одного удара наповал; другой — слабосильный дьячок, с головокружением от пьянства; этот — холостой, а этот — с кучей ребят. Представьте себе, что они, как люди неопытные, разделили землю поровну. «Нас десять человек», — стало быть, разделим на десять, и кончено... И вот они разделили, хотя и это трудно предположить, потому что при дележе немедленно же, *сейчас* же, в ту же минуту, как только предстала надобность делить, у всех несомненно должна была родиться мысль о качестве земли. Но предположим, что они разделились на равные участки и знать друг друга не хотят. Почталион выбрал для себя живописный холм, — ему понравился вид; он вытянулся во весь рост и запел: «Быть может, на ха-алме немом...» Но вот ему понадобилось ведро воды. Пошел он за водой и видит, что дьячок лучше его

распорядился, поместившись у речки: «вода тут и есть», — а почталиону приходится таскать ее на свой холм бог знает откуда. Ведь, как никак, надо заводить огород, а огород надо поливать. Ну-ка, если придется не одно, а сто ведер перетаскать в сутки, ведь это заболит, пожалуй, хребет-то. И вот почталион говорит: «Нет, точно что холм живописен, и вид есть, а надо, чтобы дьячок подвинулся, пустил меня к воде... Дьячок не пускает. Начинаются ссоры, брань, но в конце концов, после тысячи недоразумений, *естественно* и неизбежно должно выйти решение, чтобы все становили свои избы к воде. Вода всем нужна, всем нужны огороды, все мы платим за десятину одни и те же деньги, — почему же дьячок будет иметь воду близко от огорода, а я, почталион, далеко? Есть ли тут какая-нибудь справедливость? Покуда я буду мучиться — таскать воду на свой холм, дьячок успеет полить огород и приняться убирать сено, в то время как мое сено будет лежать и гнить. Итак, «все избы у речки и все огороды ближе к воде»... Решение это, хотя после недоразумений и драк, как видите, неизбежно, *естественно-выгодно* и вытекает не из общинного «духа» (которого у наших поселенцев-разночинцев никогда не было), а из личной выгоды и личного удобства. Решив вопрос об огородах и воде, поселенцы, ничего не понимающие в деревенских делах, однако думают, что землю следует разделить по участкам: вот это — почталиону, это — дьячку, и т. д., прямо от изб по линии до конца участка; вода общая, а земля каждому отдельно. Но и тут немедленно возникают недоразумения: у почталиона оказываются на участке три старых пня, а у дьячка все ровно; кроме почталиона, недоволен дележом и третий поселенец, бывший кондуктор. На его участке оказалось больше половины песку, на котором не уродится даже репейник, а у соседа почталиона, напротив, земля жирная, как зернистая икра. И вот возникает вопрос о более правильном дележе — дележе на хорошие, средние и плохие участки, а этих последних — по душам, по дворам; но тут оказывается, что почталиону хороший участок достался слишком далеко, а худой близко, — а дьячку хорошая под самым домом, да и худая недалеко. Это опять неправильно; дьячок будет работать почти около дома,

а я, почталион, буду терять время на переезды с хорошей на худую, — очевидно, что нужно, чтоб и дьячок терял время на переезды. Таким образом, *само собой,* совершенно естественно, возникает вопрос о дележе еще более точном, — расстояние между участками должно быть одинаково; если у меня хорошая земля у двора, то худая должна быть далеко, у другого далеко хорошая, а худая близко и т. д. Итак, все выходит само собой, естественно рождается в сознании поселенцев, которые совершенно и понятия не имеют об общине. Но, положим, что нашелся между ними такой поселенец, который ни за что не согласен на все эти естественные меры. Он хочет жить сам по себе, один; он отделил себе участок и говорит: «знать никого не хочу!» Он начинает строить дом; 120 бревен, необходимые по малой мере на самую первобытную избу, он должен вывозить из лесу по крайней мере 60 дней; столько же, если не больше, он тратит времени на рубку избы, не имея времени на то, чтобы пахать, сеять, жать, и все время оставаясь под открытым небом. Он хочет загородить свой участок от всех соседей, но на одну только десятину ему нужно жердей (принимая окружность десятины в 320 сажен и полагая на каждую сажень только по три жердины) 960 штук, да 320 столбов, к которым они должны быть привязаны, итого 1280 штук мелкого леса. Но так как у него не одна десятина, а самое малое четыре, то, чтобы огородить эти четыре десятины, ему потребуется, по вышеприведенному расчету, 3680 штук мелкого лесу. Но кроме этого, отделившись от соседей, он должен подумать и о других загородях. Скотина может зайти в огород, поэтому нужна новая загородь, поперечная, на что потребуется еще 150 жердей; затем оказывается необходимым огородить и все три поля, чтобы скотина не могла зайти ни в рожь, ни в овес, и на эти загороди кладите по малой мере 1500 жердей; всего же для такого умника потребуется никак не меньше 6600 штук мелкого леса. Во-первых, это — опустошение, за которое его так же похвалят, как и за то, если б он оставил соседей без воды, а во-вторых — на вырубку и вывозку такого количества лесу должна уйти масса времени... Таким образом, отдельно жить от соседей, не обращать на них внимания — делается решительно

невозможным. *Волей-неволей* надобно им поклониться и волей-неволей все должны поклониться всем. Все строят избы для всех. Мы видели, что, стройся каждый сам, один, надобно употребить 60 дней на вывозку леса. При общинном же труде и помощи лес вывозится в 3 дня (поселенцев 20 человек), и, таким образом, в 60 дней будет лес у всех, причем для всякого *будет легче* сделать это дело. И опять естественная выгода. Точно так же и загороди. В них не оказывается надобности, если будет общее пастбище, и вот — общие луга. Словом, межевая точность и справедливость рождаются в сознании этих людей, не имеющих понятия об общине, само собой, совершенно естественно и даже против воли. В шестидесятых годах и доказывалась естественность этого порядка, — говорилось, что разрушить этот порядок нельзя, как нельзя ждать, что если я просуну палку в воду, то в воде останется после этого дыра. Какие б искусственные меры ни употреблялись для разрушения этого порядка, ничего не будет кроме затруднения, напрасной потери рабочих сил, времени, напрасного недовольства. Этой практической стороны общинного землевладения, по нашему мнению, совершенно достаточно для того, чтобы дорожить возможностью существования таких порядков у нас на Руси. Но можно ли думать, что эти порядки переработают порядки совершенно другие, которые налегают на деревню, и можно ли надежду на эту переработку видеть во всех вышеупомянутых межевых достоинствах, а главное — можно ли эти межевые достоинства произвольно распространять и на личные отношения общественников, на их характеры и нравственные особенности и миросозерцание? — Нет, не в этих межевых совершенствах, вытекающих из побуждений личной выгоды, лежит устойчивость и своеобразность миросозерцания народных масс, а в свойствах их труда, — в свойствах не столько землевладения, сколько земледелия, — в той своеобразности трудового года, который не похож на трудовой год барина, фабричного, купца и т. д. Вы говорите: «несмотря ни на какие давления и исторические безобразия, крестьянин наш *устоял*, и т. д.» Я же говорю: нет такого крестьянина, в какой бы стране он ни был, который бы не устоял против всевозможных исторических

давлений, если только он продолжает быть тем, что называется крестьянином, то есть земледельцем. Возьмите хоть крестьянина французского. Он ли не должен был очувствоваться после всех этих передряг и революций? Но он точь-в-точь такой же равнодушный к разглагольствованиям Гамбетты человек, как и его прадедушка был равнодушен к разглагольствованиям Руссо. Ему некогда (до сих пор он не удосужился!) узнать как следует, за что пропал Людовик XVI, как забрался на престол Наполеон I, куда запропастился Наполеон III... У него был недосуг по хозяйству: то телят поили, то навоз возили на пашню. Словом, «устоял» и остался точь-в-точь в том самом виде, как стоял его тысячелетний предок. А общинного землевладения нет, и межевые ямы стоят совсем по-другому. Отчего же он устоял и так упорно сохранил свой крестьянский тип? Оттого, что устояло солнце красное на небе, — оттого, что устояла вот эта речка, устояла эта земля, устояла рожь, овес и лен, — оттого, что устояли ветры, дожди и грозы, — оттого, что устояли засухи, падежи, градобития, урожаи и голодухи, — устояли зима, лето, весна и осень. Словом, оттого, что устояли все условия его труда, — условия, от которых он в зависимости, которые складывают его мысль, определяют его заботу, его горе, его радость. Не в земле*владении*, а в земле*делии* лежат типические черты нашего народа, его непоколебимое терпение, покорность судьбе, чистота его помыслов, не знающих, что такое выдумка. В однородности земледельческого труда, которым на русской земле живут миллионы, лежит и однородность народного миросозерцания, однородность народного типа, однородность народных желаний. Миллионы людей живут в совершенно одинаковых условиях труда; все они одинаково зависят от этого солнца, от этого дождя, от этого града и т. д.; все они понимают друг друга, понимают печали и радости, хотя не думают, чтобы все и во всем были «под одно». Над правильным дележом земли, над одинаковыми условиями труда есть счастье, сила, ум, талант, с которыми ничего не сделаешь «силой», которых не искоренишь, но которые проявляются на одном и том же деле, на земледелии, которые учат незнающего, дают пример, образчик лучшего. Возьмем

пример: рядом живут два крестьянина; один богатеет с каждым годом, другой с каждым годом отстает от него, но этот отстающий знает, что сосед его богатеет потому, что сильней его, потому, что ловчей работает, что он встает до свету, что на его полосу пал дождь, когда не пал на другие.. Но это неравенство для него понятно, не возбуждает ненависти, не может возбуждать, — он знает, что, будь он силен так же, как сосед, и случись с ним то же, что с соседом, — и он бы стал богатеть. Это понятное неравенство. Тут все понятно, тут можно поучиться, перенять. В крайнем случае только можно вздохнуть от зависти, но поступить с таким богачом «своим средствием» не придет никому в голову, и тем паче не придет в голову избить этого богача за то, что он помог вдове. У нас, и у богача и у бедняка, — средства равны, труд одинаков, одним и тем же процессом мы достаем хлеб, но неодинаковы таланты, силы, дарования, счастье... Если же в деревне, с одной стороны, возникает мысль «о своем средствии» и если, с другой стороны, является потребность идти в переселение человеку, у которого «своей земли сто десятин», — то очевидно, что в народной среде произошло огромное расстройство, и притом именно в однородности труда, в *однородности средств* к существованию. Крестьянин, переселяющийся с насиженного места, бросающий родную сторону и идущий на чужбину в неведомую даль, есть родовитый аристократ пашни. Общинные порядки, межевые ямы и столбы — все это осталось так же, как и было на его родине, но стала пропадать та понятливость и безгрешность (даже и в жестокости) отношения соседских и домашних, в которых он вырос и помимо которых он ничего не понимает. Он прет за тридевять земель, чтобы начинать сызнова, с земли, чтобы советоваться только с нею, с солнцем и с небом, чтобы, только слушаясь их, иметь безгрешное право приказывать домашним то-то и то-то, взыскивать, требовать, хвалить и миловать. От керосиновой лампы он идет к лучине, от полусапожек, в которых стали щеголять снохи, к лаптям, от ситцевых платьев — к домотканному холсту, — словом, он желает реставрировать весь понятный и в мельчайших подробностях зависимый от безгрешного труда — земледелия —

порядок. В этом порядке, основанном на труде, в котором «нет греха», он обретает и свое достоинство, и свое спокойствие духа, и свои права гнева, милости, доброты. Он не понимает, а если и понимает, то ненавидит этого соседа-шаромыжника, который понял дух века, стал скупать и перепродавать овес и благодаря грехом наживаемому богатству затмевает его, природного крестьянина, богатеющего только праведным путем, только по воле божией, дающей талант, силу, счастье... Нет возможности быть ему и добрым, отвести душу на добром деле, помогая вот этому газетчику. Шаромыги, как мы видели, довели газетчика до мысли о «своих средствиях», помутили понятную разницу между богатым крестьянином и бедным, сделали ее непонятною, неправильною, небожескою и научили злым мыслям. Не поможет он газетчику потому, что газетчик обижен, зол и норовит сделать гадость (немало ведь разжилось соседей на его счет). Не желая приставать к шаромыгам и невинно терпеть от разозленного бедняка, этот аристократ пашни снимается с места и идет за тридевять земель... Да и вообще идет на переселение не круглый бедняк, — надо иметь хоть какие-нибудь средства, чтобы пройти тысячу верст и начать жить сызнова... Нищий, перенесенный на воздушном шаре за тридевять земель, так и останется нищим, если ему не помочь... А ведь переселенцам не помогают ни орудиями, ни скотом, а они идут. Это значит, что стало худо, неловко жить чистому крестьянину-земледельцу, — неловко потому, что оказалось необходимым и возможным наживать деньги грехом, — не земледельческим только трудом, а разными иными способами, и, пользуясь своим крестьянским соседством и крестьянским положением, употреблять неправильно нажитые деньги на еще большее расстройство своих соседей. Словом, в настоящее время, в самой маленькой деревне, как и в таком громадном верзиле, как Лондон, становится возможным жить не своим, а чужим трудом. От этих непорядков обиженные ими хотят отделаться «своими средствиями»; а так как эти «средствия» могут в конце концов после дальних окольных путей привести к тому, что можно и должно сделать теперь, и притом просто, спокойно, без всяких новгородских приемов, — то воображаемый мною

слушатель значительно воодушевил бы себя и укрепил свою энергию в народном деле, если бы сосредоточил свое беспристрастное внимание именно на огромности общественных непорядков деревни, вместо того, чтобы возлагать неосновательные надежды на межевые ямы и общинное землевладение: оно не нуждается в защите, пока выгодно. Оно не обороняет от непорядков, — до того не обороняет, что какие-нибудь живорезы нарочно «вкупаются» в общество деревни, чтобы свободнее опустошать его. Из этого уже видно, до какой степени запутаны современные деревенские отношения и как горько думать, что они ничем, кроме «своих средствий», распутаны не будут.





ПРИМЕЧАНИЯ

ОЧЕРКИ ПЕРЕХОДНОГО ВРЕМЕНИ

Первое издание сочинений Г. И. Успенского в восьми томах было выпущено книгоиздателем Ф. Ф. Павленковым в 1883—1886 годах. Оно имело значительный успех, и в 1889 году Павленков предпринял второе издание сочинений Успенского, на этот раз в двух томах убористого текста. Несмотря на то, что это издание по сравнению с первым было дополнено, за пределами его осталось много произведений Успенского. Из них писатель сформировал третий том собрания сочинений, вначале предполагавшийся в виде полутома. Книга вышла в издании Павленкова в 1891 году.

Основу тома составил цикл «Поездки к переселенцам». Кроме него, Успенский включил циклы «Невидимки» и «Мельком», а также рассказы и статьи разных лет («Простое слово», «На минутку», «Федор Михайлович Решетников», «Праздник Пушкина» и др.). Для этого же тома Успенский сформировал и новый цикл, названный им «Очерки переходного времени». В большинстве своем эти произведения и входят в состав данного тома настоящего издания.

Успенский был недоволен третьим томом собрания своих сочинений. «Я третий том *не уважаю*, — писал он В. А. Гольцеву 19 февраля 1891 года, — для меня он надгробная плита, издание, *вынужденное* нуждой, крайней необходимостью не поколеть с голоду».

Редакторская работа над томом велась Успенским в большой спешке. Писатель желал избежать цензурных осложнений, поэтому многое из текста выбрасывал и переделывал, он перерабатывал свои старые произведения, давая им место в книге,— и делал это не всегда удачно.

Сказанное особенно касается цикла «Очерки переходного времени», в который Успенский объединил произведения, написанные за тридцать лет его литературной деятельности и не вошедшие ни

в первое, ни во второе издания сочинений. Мотивировка такого объединения дана Успенским в предисловии к циклу следующим образом: «Основанием этому была та несомненная особенность русской жизни, вследствие которой «переходное время» стало в последние тридцать лет как бы обычным «образом жизни» русского человека». Нельзя не видеть, что при правильности, в целом, такого определения оно имеет чересчур общий характер и весьма условно помогает объединению самых разнообразных очерков и рассказов о «переходном времени». Успенский в этом цикле касается неурядиц крестьянской жизни, проблемы интеллигенции, взаимоотношений между «образованным обществом» и народом, описывает свои впечатления от поездок на Кавказ и в Царьград, помещает путевые записи, сделанные «на проселочной реке» в глубине России, и т. д. Разнообразная тематика цикла, однако, имеет общее содержание в главном своем направлении. Это мысли и наблюдения чуткого писателя, страдающего от неустройства русской действительности и напряженно искавшего путей к народному счастью.

Для цикла «Очерки переходного времени» Успенский переработал ранние рассказы («Отцы и дети», «Семейные несчастия», «Остановка в дороге»), очерки 1880-х годов («Старый бурмистр», «Заячья совесть», «Расцеловали!»), а также включил в переделанном виде неиспользованные ранее отдельные звенья циклов «Безвременье» («На Кавказе»), «Письма с дороги» («В Царьграде»), «Концов не соберешь» («Верный холоп», «Как рукой сняло!»). В таком виде цикл и перепечатывается в данном томе с исключением некоторых очерков, не представляющих большого интереса для массового читателя.

I. ОТЦЫ И ДЕТИ

Впервые опубликовано в журнале «Русское слово», 1864, III, «Эскизы чиновничьего быта. I. Будни. II. Семениха», и 1864, XII, «Эскизы чиновничьего быта. III. Учителя. IV. Другая пора». Вошло в сборник «Очерки и рассказы», СПБ., 1866; «Будни» и «Учителя» перепечатаны также в сборнике «Глушь. Провинциальные и столичные очерки», СПБ., 1875.

Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

Стр. 8. *Севастопольская война* — война России с Англией, Францией, Турцией и Сардинией 1853—1856 годов, закончившаяся военным разгромом русского самодержавия. Цитаделью русской обороны был г. Севастополь.

Стр. 8. *Пряжка* — нагрудный знак, которым награждались чиновники за беспорочную службу.

Стр. 16. *Охотник* — подставной наемный рекрут, идущий на военную службу взамен другого лица, заплатившего ему за это, что не возбранялось правилами рекрутского набора.

Стр. 18. *Всемирный потоп* — эпизод библейского сказания о сотворении мира. Успенский имеет в виду реформы, произведенные русским правительством после окончания Крымской войны, явно преувеличивая их значение.

Стр. 35. *Баш-Кадык-Лар* — селение в Карской области, памятное по сражению между русскими и турецкими войсками 19 ноября 1853 года, увенчавшемуся блистательной победой русской армии.

— *Синопское сражение* произошло 18 ноября 1853 года. Русский флот под командой вице-адмирала П. С. Нахимова у берегов Анатолии, вблизи Синопа, разгромил турецкую эскадру.

— *Андронников* И. М. (1798—1868) — генерал, разбивший в 1853 году турецкие войска у крепости Ахалцых и одержавший в 1854 году при Чолоке победу над вчетверо сильнейшим турецким корпусом.

— *«Бежин луг»* — рассказ И. С. Тургенева; «Повесть (у Успенского ошибочно «рассказ») о капитане Копейкине» входит в состав поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

II. СЕМЕЙНЫЕ НЕСЧАСТИЯ

Впервые опубликовано в журнале «Женский вестник», 1867, III, перепечатано в сборнике «Глушь», СПБ., 1875. Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

В своем рассказе Успенский изображает конфликт между затхлой провинциальной средой и представителем разночинной молодежи, получившим образование в Петербурге и бесконечно отдалившимся от мелких интересов захолустного чиновничества. Конфликт этот настолько резок, что рвутся кровные связи — сын, приехавший из Петербурга погостить к родителям, вынужден уехать, и ему «с мужиками-то, видно, приятнее, чем с отцом, с матерью...

III. ОСТАНОВКА В ДОРОГЕ

Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1868, VII, перепечатано в сборнике «Глушь». Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

Стр. 66. *Комиссаров* — шапочный мастер, 4 апреля 1866 года отвел руку Каракозова, стрелявшего в Александра II, за что был возведен в дворянское достоинство.

Стр. 67. *Ветх деньми* (слав.) — стар.

IV. СТАРЫЙ БУРМИСТР

Рассказ составлен Успенским для третьего тома собрания сочинений из двух его произведений: «Старики» (первоначально опубликовано в журнале «Русская мысль», 1881, № 11) и «Равнение «под-одно» (там же, 1882, № 1). Каждое из них было затем перепечатано в сборнике «Власть земли», М., 1882. Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

В рассказе «Старый бурмистр» Успенский продолжает поиски ответа на «проклятые вопросы деревенской жизни», что столь характерно для его творчества 80-х годов. Недостатки и тяготы реформы 1861 года оказались настолько значительными, что заставили иных крестьян вспоминать о временах крепостного права, когда «земледельчески-хозяйственная организация деревни» была значительно крепче и опытные бурмистры следили за порядком в деревенской общине.

Пореформенная деревня быстро расслаивалась, в нее широко проникало капиталистическое влияние «господина Купона», что отчетливо видел Успенский. Возврат к старому порядку был невозможен и не нужен, но неустройство крестьянской жизни требовало от писателя своего объяснения — такими разительными оказались противоречия жизни. Успенский не мог решить этих вопросов, для него еще сохраняла в какой-то мере свою силу «власть земли», и ею частично объясняется для него тяга крестьян к переселению, где можно им будет «начинать жизнь *сызнова*, с земли».

Стр. 80. *Аракчеевская дорога.* — А. А. Аракчеев (1769—1834) — всесильный временщик при Павле I и Александре I. В 1806 году ему была поручена организация военных поселений, куда направлялись армейские полки и дивизии. В военных поселениях царил палочный казарменный режим, неоднократно вызывавший восстания поселенцев. В Новгородской губернии, состоявшей под непосредственным начальством Аракчеева, было размещено три дивизии. Их подневольными трудами местность была относительно благоустроена, в частности проведены и обсажены деревьями дороги.

Стр. 110. *Ворон Эдгара Поэ.* — Эдгар По (1809—1849) — американский писатель-романтик, автор поэмы «Ворон» (1824), рефрен которой составляет карканье ворона «Never more!» — «Больше никогда!»

V. ЗАЯЧЬЯ СОВЕСТЬ

Впервые опубликовано в «Книжках «Недели», 1885, X, под заглавием «Заячье «направление». Из разговоров со старым бурмистром». Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

Стр. 114. *«Савле, Савле! Что мя гониши?»* — Автор письма Сидор Коробков приводит цитату из книги «Деяния апостолов» (IX, 4). Савл — иудейское имя апостола Павла (христианская мифология). *«Трудно тебе противу рожна прати»* — наступать против рогатины, копья (Даль).

VI. «РАСЦЕЛОВАЛИ!»

Впервые опубликовано в журнале «Пчела», 1877, № 16, 17 апреля, № 17, 24 апреля, под заглавием «Из путевых заметок. 1. На новых местах. 2. Добренький старичок», перепечатано в «Книжках «Недели», 1888, X, под заглавием: «Расцеловали!» (из «Забытых страниц»)». Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

VII. НА КАВКАЗЕ

В 1883 году Успенский напечатал в «Отечественных записках» два очерка: «Из путевых заметок. I. Мелочи путевых воспоминаний» (V) и «Из путевых заметок. II. Кавказские горы: Гудаур, Нобель и Палашковский, Батум» (VI). Составляя третий том, он переработал эти очерки и объединил их в один, которому дал заглавие «На Кавказе». Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

В конце января 1883 года Успенский выехал на Кавказ, посетил Владикавказ, Тбилиси, Поти, Батуми, Баку, Ленкорань, Астрахань и только в мае возвратился в Петербург. Поездка обогатила писателя множеством новых фактов и наблюдений, связанных главным образом с развитием капитализма в России, положением народных масс и отношением к ним интеллигенции. На окраинах царской России хозяйничанье «господина Купона» было особенно безудержным и свирепым, и Успенский выразительно показывает это в своем очерке. Сущность общественно-экономического процесса, происходившего в 1880—1890-е годы на Кавказе, вскрыта В. И. Лениным в работе «Развитие капитализма в России»:

«Русский капитализм втягивал таким образом Кавказ в мировое товарное обращение, нивелировал его местные особенности — остаток старинной патриархальной замкнутости, — *создавал себе рынок* для своих фабрик. Страна, слабо заселенная в начале пореформенного периода или заселенная горцами, стоявшими в стороне от мирового хозяйства и даже в стороне от истории, превращалась в страну нефтепромышленников, торговцев вином, фабрикантов пшеницы и табаку, и господин Купон безжалостно переряживал гордого горца из его поэтичного национального костюма в костюм европейского лакея (Гл. Успенский)» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 521).

Стр. 152. *«Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!..»* — цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Тишина».

Стр. 153. *Гуниб* — сильное укрепление в Дагестане, взятое в 1859 году русскими войсками. Во время штурма был захвачен в плен начальник повстанцев-мюридов Шамиль.

Стр. 155. *«Ордюр»* — ordure (франц.) — сор, нечистоты, грязь.

Стр. 158. *Гудаур* — населенный пункт на Военно-грузинской дороге у подножия Крестового перевала.

Стр. 162. *Головинский проспект* — главная улица города Тифлиса (ныне проспект Руставели города Тбилиси).

— *Евдокимов* Н. И. (1804—1873) — один из генералов русской армии на Кавказе. *Барятинский* А. И. (1814—1879) — в 1850-е годы главнокомандующий Отдельным кавказским корпусом, позднее наместник Кавказа.

Стр. 163. *Струи Арагвы и Куры...* — строки из поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Успенский допускает перестановку строк.

Стр. 164. *Нобель, Палашковский* — крупные капиталисты-нефтепромышленники.

Стр. 174. *Порто-франко* (итал.) — порт, пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. Батуми был занят русскими войсками в 1878 году во время войны с Турцией и согласно мирному договору был объявлен порто-франко. Такое положение существовало до 1886 года.

VIII. В ЦАРЬГРАДЕ

Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости», 1886, № 177, 1 июля, № 182, 6 июля, № 187, 11 июля, № 196, 20 июля. Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

В марте 1886 года Успенский выехал на Кавказ, побывал на черноморском побережье, в Одессе, затем остановился в Севастополе. Отсюда он в июне дважды выезжал в Константинополь (Стамбул, Царьград) на пароходе, а затем предполагал побывать в Болгарии. Однако эта поездка не состоялась. В Болгарии ожидался политический переворот, власть ставленника русского правительства принца Баттенберга колебалась (он был низвержен в августе 1886 года), и Успенскому решительно отсоветовали намеченную поездку. Он сообщал жене 12 июня 1886 года из Константинополя: «В русском консульстве мне сказали, что ехать теперь в Болгарию опасно: там с минуты на минуту ждут переворота; либо Баттенберга выгонят, — либо он начнет колотить своих врагов» (Г. И. Успенский. Полн. собр. соч., т. XIII, изд. АН СССР, 1951, стр. 519).

Из Константинополя Успенский через Керчь и Севастополь в июле возвратился в Чудово и продолжал обрабатывать для печати материалы своих заграничных впечатлений.

Стр. 193. *Байрам* — мусульманский праздник, оканчивающий месяц поста (рамазана).

Стр. 194. *Дольма-Бахче* — летний дворец султана Турции на берегу Босфора.

— *Мурад* — сын турецкого султана Абдул-Меджида, возведенный на престол дворцовым переворотом 30 мая 1876 года и свергнутый 31 августа того же года. Психически ненормальный, Мурад в качестве экс-султана жил во дворце Чараган на берегу Босфора.

Стр. 195. *Золотой Рог* — бухта Мраморного моря, Константинопольская гавань.

— *Святая София* — мечеть в Константинополе (Стамбуле).

Стр 196. *Бакшиш* (перс.) — взятка.

Стр. 203. *Н. И. Ашинов* — авантюрист, услугами которого не пренебрегало правительство Александра III. Он объявил себя «вольным казаком», набрал до двухсот искателей приключений и отправился в Африку добывать колонии для России. В январе 1889 года отряд Ашинова захватил крепость Сагалло во французской колонии Обок (на Красном море), но был выбит французскими войсками. Избегая международных осложнений, Александр III распорядился выслать вернувшегося в Россию Ашинова в Якутскую область. Успенский находил, что Ашинов — «личность

замечательная, как знамение времени», и считал его политическим авантюристом, характерным в качестве временного «героя» буржуазно-капиталистического мира.

Стр. 208. *Нелидова* — жена русского посла в Турции А. И. Нелидова, исполнявшего эти обязанности в 1880—1890-е годы.

Стр. 225. *«Не догнать тебе бешеной тройки!»* — строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка».

Стр. 226. *Рамазан* — тридцатидневный пост у мусульман, приходящийся на девятый месяц мусульманского лунного года.

IX. ВЕРНЫЙ ХОЛОП

Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

Очерк представляет собой переработку третьего очерка цикла «Концов не соберешь» — «Голоса из публики» («Русские ведомости», 1889, № 17, 17 января).

Успенский, пользуясь письмом своего корреспондента, рассматривает в канун двадцатипятилетия земских учреждений, созданных после крестьянской реформы 1861 года, вопрос о взаимоотношениях барина и мужика. Разбирая очерк И. А. Гончарова «Слуги», автор корреспонденции показывает, что еще в недавнее время можно было интересоваться человеком из народа только с точки зрения его отношения к барину, не обращая внимания на его личные качества. Но времена изменились, и господа начинают видеть в представителях низших классов, с которыми им приходится сталкиваться, своих «меньших братьев» и не могут оставаться равнодушными к их внутреннему миру и духовному развитию. Это хорошо, тут «нам стало лучше».

Пересылая редактору «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому свой очерк, Успенский сообщал ему: «Этот фельетон и следующий отвечают на два вопроса: 1) В чем мы за 25 лет стали *лучше* и 2) В чем в то же время стали *хуже*. Первый написан по поводу только что вышедшего 9 т. соч. Гончарова, второй на основании газетных материалов из новых провинциальных газет, которых я выписал 10 штук, внеся трехмесячную плату. Я думаю, что этот обзор существеннейших черт времени необходим, чтоб была в очерках определенная мысль. 1) Лучше мы стали — в личных своих заботах об общем долге. Они стали сложней, искренней (воспоминания Гончарова доказывают, как в этом отношении мы ушли

вперед); 2) Хуже стали в проявлении общественного дела. Много сделано и забот на общую пользу, а общественного дела и общественной жизни нет» (сборник «Русские ведомости», М., 1913, стр. 247—248).

X. КАК РУКОЙ СНЯЛО!

(Из текущей жизни)

Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

Очерк «Как рукой сняло!» был составлен Успенским при подготовке третьего тома сочинений из двух очерков, ранее входивших в цикл «Концов не соберешь»: «Теперь не наше дело!» («Русские ведомости», 1889, № 103, 16 апреля) и «Два разных порядка деревенской общественной жизни» (там же, № 124, 7 мая).

Решив не включать цикл «Концов не соберешь» в собрание своих сочинений, Успенский переделал отдельные очерки, придал им форму самостоятельных произведений и поместил в другие циклы (например, в «Очерки переходного времени»).

В очерке «Как рукой сняло!» ставится очень волновавшая Успенского тема общественной самодеятельности. Правительство Александра III уничтожало любые проявления этой самостоятельности системой полицейско-бюрократических мероприятий, введением новых должностей чиновников, земских начальников, которым были подчинены крестьянские самоуправления и т. д. На примере отношения жителей Тюмени к переселенцам Успенский подчеркивает, что мероприятия правительства оказывали разлагающее влияние, успокаивали «общественную совесть» и усиливали разрыв между мужиком и барином. Далее Успенский рассматривает последствия «облегчения» от мирских забот крестьянских обществ, прослеживает усиление их внутреннего разлада, вызванного процессом развития капитализма в России. Особое внимание писателя привлекает ссылка в Сибирь по приговорам сельских обществ, правом которой чрезвычайно широко пользовались кулацкие элементы деревни, освобождаясь от неугодных им людей. Этому вопросу Успенский посвятил особую статью — «Ссылка по приговорам обществ», напечатанную в газете «Русские ведомости», 1889, № 316, 16 ноября.

ПОЕЗДКИ К ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

1. ОТ КАЗАНИ ДО ТОМСКА И ОБРАТНО

Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости» под заглавием «Письма с дороги», 1888, № 167, 19 июня; № 190, 12 июля; № 197, 19 июля; № 209, 31 июля; № 223, 14 августа; № 230, 21 августа; № 235, 6 августа; № 243, 3 сентября; № 253, 14 сентября; № 262, 23 сентября; № 292, 25 октября; № 310, 10 ноября. Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

2. ОТ ОРЕНБУРГА ДО УФЫ

Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости», 1889, № 194, 16 июля; № 203, 25 июля; № 243, 3 сентября; № 282, 12 октября. Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

3. НЕ ЗНАЕШЬ, ГДЕ НАЙДЕШЬ

Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости», 1888, № 356, 27 декабря, в составе цикла «Концов не соберешь». Вошло в третий том сочинений Успенского в качестве третьей части цикла «Поездки к переселенцам». Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891. При жизни Успенского рассказ был, кроме того, без существенных изменений опубликован в книге «Аграфена. — Не знаешь, где найдешь. (Для взрослых.)», изд. В. И<кскуль>, М., 1892, и в сборнике «Четыре рассказа», М., 1893.

Цикл очерков «Поездки к переселенцам» посвящен вопросам переселенческого движения русских крестьян, охватившего с начала 1880-х годов особенно значительные массы населения средних областей России. Эта тема давно занимала Успенского, но только летом 1888 года ему удалось совершить поездку в Сибирь, куда главным образом переселялись крестьяне. Писатель с большой ответственностью отнесся к выполнению своей задачи и рассматривал поездку в Сибирь как важное общественное поручение, которое он обязан был выполнить в качестве летописца страданий русского крестьянства.

Маршрут Успенского сложился следующим образом. Около 10 июня 1888 года он выехал на пароходе из Казани в Пермь.

Из Перми по горнозаводской железной дороге Успенский проехал в Тюмень, куда, вероятно, прибыл 16—17 июня. Здесь он провел около двух недель, знакомясь с переселенческим движением, затем на пароходе отправился в Томск. Известно, что прибыл он в Томск 13 июля («Сибирская газета», 1888, 17 июля, № 54, стр. 5), что плавание по Тоболу и Оби заняло 8 суток, что в Тобольске он 16 часов ожидал парохода; следовательно, Тюмень Успенский оставил 3—4 июля.

В Томске Успенского ждали. «Сибирская газета» еще 9 июня поместила известие следующего содержания: «Наш знаменитый писатель Глеб Иванович Успенский будет в это лето путешествовать по Сибири и с одним из следующих пароходов прибудет в Томск. Как говорят, Глеб Иванович едет с целью ознакомления с переселенческим движением».

Успенский принял участие в работе редакционного коллектива «Сибирской газеты», готовившего номер, посвященный открытию в Сибири первого университета. В № 55 этой газеты от 22 июля была помещена статья Успенского «А. П. Щапов», написанная в память выдающегося ученого, славного уроженца Сибири.

Писатель ознакомился с переселенческой станцией в Тюмени, побывал у новоселов в 40 верстах от города и собрал обильный цифровой и фактический материал. 28 июля Успенский на лошадях отправился обратно в Тюмень, через Колывань, Каинск, Омск и Тюкалинск.

Путь был не близкий, около 1500 км, затем свыше 700 км по железной дороге до Перми и Волгой в Казань. Более 20 дней продолжалось обратное путешествие Успенского. 19 августа он пишет В. М. Соболевскому уже из Чудова, сговариваясь относительно печатания в «Русских ведомостях» писем о переселенцах.

Переселение крестьян для царского правительства было одним из средств решения аграрного вопроса в России. Стремясь освободиться от последствий естественного прироста населения в условиях острого малоземелья, опасаясь увеличения масс обезземеленного и голодающего крестьянства, правительство в интересах помещиков рекламировало переселение в Сибирь и поощряло его.

Но организация переселения была поставлена совершенно неудовлетворительно. Как указывал В. И. Ленин, вся переселенческая политика самодержавия была «насквозь проникнута азиатским вмешательством заскорузлого чиновничества, мешавшего

свободно устроиться переселенцам, вносившего страшную путаницу в новые земельные отношения, заражавшего ядом крепостнического бюрократизма центральной России окраинную Россию». (В. И. Ленин. Сочинения, т. 13, стр. 388—389).

Бедственное положение переселенцев привлекло внимание прогрессивной печати и передовых деятелей восьмидесятых годов. Начинается изучение переселенческого движения, ведется статистический учет его, суммируются наблюдения. Важную роль в развитии этого интереса сыграла работа И. Гурвича «Переселения крестьян в Сибирь» (1889).

В этой книге, названной В. И. Лениным «превосходным исследованием» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 150), Гурвич рассматривает причины, заставляющие переселенцев покидать родные края и искать счастья в новых местах, и описывает ход переселения. Тяга в Сибирь чрезвычайно развилась в русском крестьянстве к началу 1880-х годов. За два года в Сибирь проследовало 74 000 человек, — то есть почти столько, сколько за предыдущее тридцатилетие (79 000). И темп переселения с годами продолжал возрастать.

После закона о реформе 1861 года, никак не затронувшего вопросов переселения крестьян, правительство регулировало переселение частными распоряжениями. Только в 1881 году было приступлено к выработке закона о крестьянских переселениях. В 1886 году были утверждены общие положения: к переселению допускаются наиболее нуждающиеся крестьяне, по определению местной администрации переселенцам выдаются ссуды и т. д. Тогда же были введены должности администраторов по переселению и в Екатеринбург, Оренбург, Златоуст, Тобольск и Томск командированы правительственные чиновники для содействия переселенцам. Их деятельность была сразу же ограничена ничтожными средствами — для всей России размер расходов на переселение был установлен в сумме 20 тысяч рублей... Закон о переселении был утвержден только 13 июля 1889 года.

Успенский был потрясен открывшейся перед ним в Сибири картиной бедственного состояния переселенцев и чудовищных злоупотреблений местных властей и столичных чиновников. Для всестороннего изучения вопроса весной 1889 года он посетил другой крупный район переселения крестьян центральных губерний России — Башкирию. Во время этого посещения Башкирии Успенский вскрыл ряд крупных административных злоупотреблений и выявил разорительную для переселенцев роль так называемого Крестьянского банка. В очерках «От Оренбурга до Уфы»,

Успенский говорит о «гибели Башкирии» и расхищении башкирских земель «в самых бесстыжих размерах», о позоре, который навлекает на себя царизм, содействуя этому расхищению. Писатель утверждает, что «подлог» является первоначальником так называемой культуры Оренбургского края — подлог со своими бесчисленными ветвями и отростками, который разросся «в единую, темную, дремучую, как глухой темный лес, кляузу». Новые владельцы башкирских земель не имеют подлинных, законных документов, подтверждающих их право на владение. Но с тем большим упорством они кляузничают в судах, оттягивая у башкир их исконные земли. И суд идет навстречу грабителям.

Переселение русских крестьян в Башкирию началось после реформы 1861 года. Организация башкирского народа, имевшего свое военно-сословное устройство, была ликвидирована, и башкир приравняли к «свободным сельским обывателям». В 1865 году в Башкирии было образовано 808 сельских обществ, объединенных в 130 волостей, прежние нормы земельного права были ликвидированы, и башкиры превратились в крестьян, не имевших никаких прав на земли, которыми пользовались доселе.

Пореформенные мероприятия правительства разорили башкир и вынудили их к сдаче своих земель в аренду по чрезвычайно низким ценам. В феврале 1869 года было утверждено новое положение, согласно которому башкирским общинам разрешалась продажа «свободных» земель и лесов.

Это правительственное распоряжение позволило различного рода эксплуататорам буквально наброситься на башкирские земли и приступить к открытому расхищению земельных богатств Башкирии. Пользуясь поддержкой и помощью правительственных учреждений, многочисленные собственники с помощью грубого обмана занимали башкирские земли, обезземеливали население.

На эту систему колониального угнетения башкирский народ ответил восстанием 1874 года, захватившим Осинский уезд Пермской губернии. В 1879 году в четырех уездах башкиры вместе с татарами, протестуя против политики самодержавия, разгромили волостные правления. В начале 1880-х годов движение расширилось, захватив ряд уездов Башкирии и смежных губерний. Восставшие уничтожали усадьбы русских помещиков и местных богачей, башкир и татар, убивали эксплуататоров, рубили леса, захватывали пашни. Для борьбы с крестьянами правительство выделило специальные войска, с помощью которых в 1884 году

восстание было ликвидировано. Десятилетием позднее, в 1894 году, оно вспыхнуло с новой силой, подтверждая стихийный протест башкир против расхищения земель и руссификаторской политики царского правительства. Однако и это восстание было жестоко подавлено.

На башкирских землях, захваченных помещиками и кулаками, а также на общинных землях, оставшихся у башкир, правительство расселяло выходцев из центральной России и Заволжья, желая таким путем смягчить в стране аграрный вопрос. На территории Уфимской губернии русское население с 1860-х до 1900-х годов выросло более чем на 1 миллион человек, вдвое увеличилась плотность населения на квадратную версту, значительно возросло распахивание земель, леса сводились, степи превращались в поля.

Чуткий наблюдатель русской действительности, патриот и демократ, Успенский с тревогой следил за ходом развития капитализма в России, скорбел о разорении крестьянства и негодовал на интеллигенцию, уклонявшуюся от забот о городских и сельских тружениках. Очерки «Поездки к переселенцам», печатавшиеся в виде газетных корреспонденций, привлекли внимание русского общества к вопросам переселения крестьян и содействовали организации благотворительной помощи переселенцам. Последние годы творческой жизни Успенского прошли под знаком этой большой и важной темы. Правдивый рассказ писателя о страданиях русских крестьян никогда не потеряет своего политического и художественного значения.

Работы Успенского по переселенческому вопросу свидетельствуют о необычайном внимании его к крестьянской жизни. Писатель непрерывно следил за сообщениями печати, изучал собранные материалы как исследователь и сообщал о своих выводах читателю как подлинный трибун-публицист. Успенского прежде всего заботит практическое решение вопроса, он стремится облегчить народную нужду, дорожит каждой возможностью облегчить страдания крестьянства. Он делится с читателем своими наблюдениями и обобщениями и призывает к помощи народу. Успенский мучительно искал выхода из тупика, в который привела страну политика царского правительства, но найти его не мог. Земельный вопрос, как и все другие вопросы народной жизни, был решен только после Великой Октябрьской социалистической революции.

Стр. 293. *Бисмарк,* Отто, князь (1815—1898) — государственный деятель Пруссии, с 1871 года рейхсканцлер Германской империи. Политика Бисмарка была глубоко враждебна России, в которой он видел главное препятствие для первенства Германии среди европейских государств. В 1879 году Бисмарк заключил военный союз с Австро-Венгрией, в 1882 году к нему присоединилась Италия. Был образован Тройственный Союз, направленный против Франции и России.

Буланже, Жорж-Эрнест (1837—1891) — французский генерал, в 1886—1887 годах военный министр, добившийся установления во Франции военной диктатуры, используя недовольство реакционной политикой буржуазных республиканцев со стороны мелкой и средней буржуазии.

В 1889 году Буланже был избран в палату депутатов, но его тайные связи с монархистами оказались разоблаченными, он был лишен депутатской неприкосновенности и бежал в Бельгию, где покончил с собой в 1891 году.

Для Успенского Буланже олицетворял тип авантюриста, появившегося в обстановке политического кризиса, фигуру, типичную для капиталистического мира, где «господин Купон» угнетает и грабит трудящихся.

Стр. 308. *Кержак* — старообрядец, последователь вероучения одной из религиозных сект, отколовшихся от официальной православной церкви во второй половине XVII века. Название происходит от названия реки Керженец, левого притока Волги в б. Нижегородской губернии. Вблизи этой реки находился крупный центр старообрядчества.

Стр. 314. *Кельсиев*, Вас. Ив. (1835—1872) — литератор, эмигрант. Сотрудник Герцена и Огарева по изданию «Колокола» и приложения к нему «Общее вече». Отличался интересом к вопросам раскола, видя в этом религиозном движении прежде всего политическую основу. Издал в Лондоне «Сборник правительственных сведений о раскольниках» (1861—1862), «Собрание постановлений по части раскола» (1863) и др. В 1867 году вернулся в Россию, был прощен правительством и сотрудничал в реакционной печати («Русский вестник», «Заря» и др.).

Стр. 356. *Рокамболь* — герой многочисленных уголовно-авантюрных романов французского писателя Понсон дю Террайля (1829—1879) «Похождения Рокамболя» и «Воскресший Рокамболь».

Стр. 375. *Н. В. Ремезов* (р. 1857) — землемер Уфимской губернии, в 1886 году выпустил книгу «Очерки из жизни дикой

Башкирии», отмеченную В. И. Лениным в работе «Развитие капитализма в России» как «живое описание того, как «колонизаторы» сводили корабельные леса и превращали «очищенные» от «диких» башкир поля в «пшеничные фабрики» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 218).

Стр. 376. *Крестьянский* поземельный *банк* был основан в 1882 году. Учреждение банка помогало правительству уничтожить в крестьянстве какие бы то ни было надежды на проведение земельных реформ. Увеличение наделов было возможно только при покупке крестьянами земли, банк должен давать им денежные ссуды. Операции банка были чрезвычайно затруднены для клиентов-крестьян. Невзнос в срок процентов по займу влек за собой продажу принадлежащего крестьянину участка земли и превращал его в нищего. Услугами банка с успехом пользовалась только кулацкая верхушка деревни.

В 1885 году был учрежден Дворянский земельный банк, имевший целью поддержку дворянского землевладения. Он предоставлял кредит на гораздо более льготных условиях, чем Крестьянский банк (под 4,5% вместо 6,5%), и превышал его в 8—9 раз размерами своих операций (в 1893 году 42 млн. р. против 5 млн. р. в Крестьянском банке).

Стр. 402. *Сабан* (тюркск) — род примитивного двухколесного плуга.

Стр. 409. *Косуля* (обл.) — вид сохи, отваливающей землю только на одну сторону.

Стр. 414. *Менониты* — одна из протестантских сект, возникшая в XVI веке в Голландии и распространившаяся в странах Западной Европы. В России немцы-мениониты появились в 1789 году в числе 228 семейств и были поселены на территории б. Екатеринославской и Таврической губерний, получив ряд хозяйственных льгот и освобождение от военной и гражданской службы. В 1874 году все колонисты в России были привлечены к воинской повинности. В связи с этим немцы-менониты стали уезжать в Америку. До 1876 года переселилось около 1800 семейств.

Об устройстве одной из партий переселенцев и вспоминает Успенский, основываясь на явно преувеличенном рассказе П. Дементьева в народническом журнале «Устои» (1882, № 10) о состоянии менонитских колоний. Успенский достаточно здраво оценивает капиталистический порядок, хочет подчеркнуть значение Сибирской железной дороги для нужд переселенческого движения и только в этом смысле приводит сведения о роли американских железнодорожных компаний в освоении пустынных территорий страны.

Стр. 424. *Поэтапом проехать* — то есть быть отправленным с партией арестантов. До распространения в России железных дорог арестанты передвигались по грунтовым дорогам. Этапами назывались пункты дневок и ночлега, отстоявшие один от другого на 15—25 верст, специально устроенные или нанятые здания с оборудованными местами для ночлега и кухнями для приготовления пищи, содержавшиеся на средства государственного казначейства.

НЕВИДИМКИ

Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

Цикл очерков «Невидимки» был составлен Успенским для третьего тома его сочинений из произведений, ранее опубликованных в других циклах. Так, очерк «Невидимка Авдотья» впервые был напечатан в журнале «Русское богатство», 1880, кн. II и V, под названием «Овцы без пастыря» в цикле «С места на место (Записки наемного человека)». Перепечатан в кн. «Власть земли. Очерки и отрывки из памятной книжки», изд. В. М. Лаврова, М., 1882 (на обложке 1883), затем включен в третий том сочинений Успенского. Очерк «Слепой певец» впервые появился в цикле «Грехи тяжкие» в журнале «Русская мысль», 1888, кн. XII. В том же цикле были опубликованы очерки о Родионе радетеле и об акушерке Анне Петровне («Русская мысль», 1889, кн. II и IV). Последний очерк, кроме того, был напечатан в книжке «Как обманывают темных людей. — Чуткое сердце», изд. В. И<кскуль>, М., 1892.

Для третьего тома сочинений Успенский объединил четыре указанных очерка в новый цикл «Невидимки», заново отредактировав текст, по которому они и воспроизводятся в настоящем издании.

Опасаясь цензуры, Успенский смягчал первоначальный текст очерков, многое переделывал, смягчая общественно-политический характер своих наблюдений и выводов. Из шести очерков цикла «Грехи тяжкие» вышло четыре, оказалось замененным и заглавие — цикл был назван «Невидимки». Но в нем попрежнему говорилось о тяжких грехах по отношению к народу, которые творят эксплуататоры всех мастей и видов, о жалкой роли интеллигенции, забывающей о простом русском человеке. С большим

сочувствием Успенский рисует колоритные фигуры «радетелей о народной совести», ходатаев и заступников за трудящегося человека, оберегающих его «от притеснений «господина Купона» — капиталиста и помещика.

Стр. 463. *Л-в* — И. Г. Люцернов (1836—1888) — священник, преподаватель духовных учебных заведений, в конце жизни порвавший с официальной церковью и перешедший в раскол. Успенский писал о нем в статье «Деревенские раскольники».

Стр. 474. *Колупаевы* — ставшая нарицательным именем для обозначения Купона, купца и т. п. фамилия одного из персонажей М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Стр. 480. *Драма «Иванов»* — произведение А. П. Чехова.

ИЗ ЦИКЛА «МЕЛЬКОМ»

Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

Формируя корпус третьего тома своих сочинений, Успенский образовал новый цикл под названием «Мельком», снабдив его подзаголовком: «Заметки о текущей народной жизни». В этот цикл вошло семь произведений: «Деревенские раскольники», «Крестьянские женщины», «Ответчики», «Извозчик», «Новые народные стишки», «Деревенские корреспонденты и публицисты» и «Неудачные покупки земель».

Редакция настоящего издания, рассчитанного на широкие круги советских читателей, сочла возможным выбрать четыре из семи произведений цикла, опустив такие статьи, как «Деревенские раскольники», «Деревенские корреспонденты и публицисты» и «Неудачные покупки земель», не представляющие, по ее мнению, должного интереса для собрания избранных произведений писателя.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Впервые опубликовано в журнале «Русская мысль», 1890, № 4, с подзаголовком «Из текущей народной жизни». Включено в третий том сочинений Успенского.

Статья Успенского содержит критику народнических теорий о «сближении с народом», проектов «жить трудами рук своих»,

для чего интеллигенту надлежало «опроститься» и принять образ жизни крестьянина. Во всех этих надуманных «теориях» женщине отводилась только роль матери, которая должна рожать и кормить детей. Успенский требует прежде всего отношения к женщине как к человеку и рядом примеров, почерпнутых из печати и из личных наблюдений, показывает, насколько значительна роль женщины в крестьянском быту, раскрывает большие возможности женщины как умного работника и организатора хозяйства, стремление женщин к самостоятельному, инициативному труду.

ОТВЕТЧИКИ

Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости», 1890, № 63, 6 марта, под заголовком «О царе Ироде» (по поводу варшавских детоубийств)». Затем включено в третий том сочинений Успенского.

Поводом для написания статьи послужило уголовное дело некоей Скублинской и ее сообщников, слушавшееся в конце октября 1890 года в Варшавском окружном суде («Варшавский дневник», 1890, 24 октября — 1 ноября, №№ 231—238) и привлекшее широкое общественное внимание. Скублинская жила тем, что принимала за вознаграждение «на воспитание» детей, приносимых ей матерями, и кроме того брала их из воспитательного дома. Младенцы выдерживали недолго: они умирали от голода и от отсутствия ухода. Количество детей, умерщвленных Скублинской, осталось неустановленным; во всяком случае оно составляло несколько десятков. Приговор суда носил чрезвычайно мягкий характер: Скублинская и ее компаньонка были приговорены к трем годам тюремного заключения, остальные сообщники осуждены на срок до шести месяцев.

Подготовляя статью для собрания сочинений, Успенский исключил ее первый раздел, в котором говорилось об изображениях сюжета «избиение младенцев при царе Ироде», где фигурируют воины, убивающие детей, и нет «виновника — царя Ирода, по злодейскому замыслу которого и совершается все то, что изображено на картине». Упоминание о деле Скублинской было перенесено в примечание, а вся статья поставлена в связь со статьей «Крестьянские женщины» как ее продолжение, посвященное теме бедственного положения одиноких матерей, вынужденных «подкидывать» своих детей. Виновником трагической судьбы трудящейся

женщины, работающей по найму, Успенский считает «город», находящийся во власти «господина Купона», то есть капиталистический режим, о чем достаточно ясно говорится в статье.

ИЗВОЗЧИК С АППАРАТОМ

Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости», 1889, № 162, 14 июня. Включено в третий том сочинений Успенского.

Очерк первоначально входил в цикл «Концов не соберешь» как заключительный. Он заканчивался вопросом «Что же будет дальше?», вынесенном и в заголовок. В письме редактору «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому при посылке очерка Успенский писал о своем намерении продолжить цикл и поставить вопросы о том, «что будет с фабрикой?» и «что будет с бабой?». Первый замысел остался неосуществленным, второй был отчасти реализован в очерке «Крестьянские женщины».

НОВЫЕ НАРОДНЫЕ СТИШКИ

Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости», 1889, № 110, 23 апреля. Включено в третий том сочинений Успенского.

Внимание и интерес Успенского к народному творчеству замечательно проявились в очерке «Новые народные стишки», впервые в литературе поставившем вопрос о частушке как о новой поэтической форме фольклора и закрепившем за нею название «частушки». В четвертой главе очерка Успенский говорит о шахтерских песнях и цитирует их, также выступая здесь одним из наиболее ранних собирателей и публикаторов рабочего фольклора.

Содержание частушек и песен помогает Успенскому с новых сторон осветить волновавшие его вопросы тяжелого положения крестьян и рабочих в условиях развивающегося в России капитализма.

Стр. 553. *Рыков* И. Г — директор банка в Скопине, б. Рязанской губернии, расхитивший доверенные ему деньги. Судебный процесс Рыкова и его соучастников, происходивший в ноябре — декабре 1884 года, привлек внимание печати. Фамилия главного обвиняемого приобрела в 80-е годы нарицательный смысл как обозначение растратчика.

РАССКАЗЫ

1. ПРОСТОЕ СЛОВО

Впервые опубликовано в «Книжках «Недели», 1885, IV. Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

Стр. 568. *Сара Бернар* (1844—1923) — известная французская трагическая актриса, гастролировавшая в России.

«НА МИНУТКУ»

Впервые опубликовано в журнале «Русская мысль», 1889, № 1. Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

Стр. 595. *Пронеслась... чудотворная тихвинская икона!..* — Перенос иконы божией матери из Тихвина в Старую Руссу был произведен осенью 1888 года.

3. БОГОМОЛКА

В журнале «Иллюстрированная неделя», 1873, № 1, 7 января, Успенский напечатал небольшое произведение «Бес вселился. (Рассказ богомолки)». Позднее, в журнале «Пчела», 1878, № 1, 1 января, был опубликован им рассказ «Скоромная щука». (Отрывок)». Впоследствии Успенский переработал оба этих произведения и объединил их в рассказ «Богомолка», который в данном виде включил в третий том собрания своих сочинений.

Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

4. ПАМЯТЛИВЫЙ

Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости», 1888, № 316, 16 ноября, под заголовком «Из жизни детей». Перепечатано в «Книжках «Недели», 1891, № 1, под заголовком «Тягота». Включено в третий том собрания сочинений. Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАВНЕНИЕ «ПОД-ОДНО»

Впервые опубликовано в журнале «Русская мысль», 1882, № 1, как продолжение рассказа «Старики», напечатанного там же (1881, X) и вошедшего в сборник «Власть земли», М., 1882. Для третьего тома Успенский объединил оба произведения в очерк «Старый бурмистр» и дал ему место в «Очерках переходного времени».

Печатается по журнальному тексту.

В. И. Ленин в работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» (1894), вскрывая непонимание народниками классового антагонизма внутри крестьянства, ссылался на исследование одного из первых русских марксистов И. Гурвича «Экономическое положение русской деревни» (М., 1896, стр. 123, первое издание на английском языке, Нью-Йорк, 1892; В. И. Ленин цитирует по этому изданию до выхода русского перевода). Ленин привел цитату из книги Гурвича, содержавшую характеристику народничества 1870-х годов и оценку взглядов Успенского: «Глеб Успенский одиноко стоял со своим скептицизмом, отвечая иронической улыбкой на общую иллюзию. Со своим превосходным знанием крестьянства и со своим громадным артистическим талантом, проникавшим до самой сути явлений, он не мог не видеть, что индивидуализм сделался основой экономических отношений не только между ростовщиком и должником, но между крестьянами вообще. См. его статью «Равнение под-одно» в «Русской мысли» 1882 г., № 1» (назв. соч., стр. 106)». (В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 238).

Ввиду того, что «Равнение «под-одно» Успенский значительно переработал для последующего издания, редакция сочла необходимым привести в приложении к циклу «Очерки переходного времени» полный текст очерка, как он был напечатан в «Русской мысли» и стал известен В. И. Ленину.

Стр. 642. *Пахман* С. В. (р. 1825) — русский юрист, профессор Казанского, Харьковского, Петербургского университетов, автор ряда трудов по гражданскому праву и др. *Якушкин* Е. И. (р. 1826) — юрист-этнограф, специалист в области «обычного права», исследователь вопросов крестьянского земледелия.

Стр. 645. *Набито мужичья — что непогодою* — строка из былины о Василии Буслаеве.

— *Памятник* — памятник тысячелетия России, сооруженный в Новгороде в 1862 году по проекту академика М. О. Микешина.

— *Учебник Иловайского.* — Д. И. Иловайский (р. 1832) — автор учебников по всеобщей и русской истории для средних учебных заведений, не имевших никакой научной ценности, но пользовавшихся широким распространением.

Стр. 646. *Трехцветное знамя* — государственный флаг России состоял из белого, синего и красного полотнищ.

Стр. 651. *Гамбетта* (1838—1882) — французский адвокат и политический деятель.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗ ЦИКЛА «ОЧЕРКИ ПЕРЕХОДНОГО ВРЕМЕНИ»

ПОЕЗДКИ К ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

НЕВИДИМКИ

ИЗ ЦИКЛА «МЕЛЬКОМ»

РАССКАЗЫ

Глеб Иванович
УСПЕНСКИЙ

Собрание сочинений, т. 8

Редактор П. П. Быстров

Художник А. Я. Малков

Художественный редактор
А. М. Гайденков

Технический редактор
Л. П. Крючкина

Корректор Н. Т. Шабанова

Подписано к печати 22/IV 1957 г.
Бумага $84\times108^1/_{32}$. — 21,37 печ. л. =
= 25,06 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 34,08+
+6 вкл.=34,36 л. Тираж 120000 экз.
Заказ № 1773. Цена 11 р.

Гослитиздат. Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической промышленности. 4-я тип.
им. Евг. Соколовой. Ленинград,
Измайловский пр., 29.

11 р.

ГОСЛИТИЗДАТ
1957